

ЖИЗНЬ
БЕНВЕНУТО
ЧЕЛЛИНИ





Д ж о р д ж о Вазари. — Портрет Бенвенуто Челлини
(деталь фрески, изображающей Козимо I,
окруженного художниками)

ЖИЗНЬ
БЕНВЕНУТО,
СЫНА МАЭСТРО
ДЖОВАННИ
ЧЕЛЛИНИ,
ФЛОРЕНТИНЦА,
НАПИСАННАЯ
ИМ САМИМ
ВО ФЛОРЕНЦИИ



*Перевод с итальянского
М. ЛОЗИНСКОГО*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Москва 1958

LA VITA DI BENVENUTO DI M^o GIOVANNI
CELLINI FIORENTINO SCRITTA PER LUI
MEDESIMO IN FIRENZE

Вступительная статья и примечания
Л. ПИНСКОГО

Оформление художника
Г. ФИШЕРА



БЕНВЕНУТО ЧЕЛЛИНИ И ЕГО «ЖИЗНЕОПИСАНИЕ»

I

«Нет другой книги на нашем языке, которую было бы так приятно читать, как «Жизнеописание» Челлини», — писал самый известный итальянский критик XVIII века Баретти. Эта восторженная оценка показательна для отношения потомства к замечательнейшему памятнику мемуаристики эпохи Возрождения. Увлекательный рассказ художника о своей жизни вызывает острый интерес у историков культуры и философов, искусствоведов и лингвистов, поэтов и критиков, а также среди широких кругов читателей. На немецкий язык книгу перевел в 1803 году сам Гете, снабдив свой перевод очерком о Челлини и его времени. Ровно четыре столетия отделяют нас от того момента, когда автор приступил к своим воспоминаниям, но интерес к ним возрастает, о чем свидетельствуют все новые издания и исследования.

Славу этой книги мемуаров нельзя, однако, объяснить громким именем ее автора как художника. Это не отраженный свет.

Флорентийский золотых дел мастер и скульптор Бенvenuto Челлини (1500—1571) был несомненно высокоодаренным худож-

ником, но имя его не стоит в первом ряду великих мастеров итальянского Возрождения. Это имя не первого ранга. Как известно, современники восторгались его ювелирным искусством, и здесь, вероятно, не было ему равных в Италии. Но из всех замечательных творений Челлини-ювелира, так интересно описанных и его мемуарах, до нас почти ничего не дошло. Драгоценный материал, с которым работал Челлини, сыграл роковую роль в судьбе его созданий. Так, во время итальянских кампаний была переплавлена в слиток для выплаты контрибуций Бонапарту знаменитая застежка папской ризы с изображением бога отца, о которой художник рассказывает в главах 43—44 и 55 книги I своих мемуаров. Единственный дошедший до нас шедевр Челлини-ювелира — это золотая солонка Франциска I, но и она еще при жизни художника, в 60-е годы XVI столетия, во время религиозных войн, дважды была внесена в списки золотых ценностей, подлежащих переплавке, и только случайно уцелела. Множество колец, ожерелий, камей, медальонов, фермуаров, а также маятников, подсвечников и ваз, хранящихся в европейских музеях, приписывается Челлини без достаточных оснований. Среди этих экспонатов много изделий мастеров позднейших эпох или иных стран. Потомство охотно приписывало Челлини все шедевры ювелирного искусства. И уже одно это заставляет подозревать, что манере Челлини, быть может, несколько и не хватало неповторимого своеобразия.

Образцы его мастерства чеканщика и резчика сохранились лучше. До нас дошли почти все его медали и монеты. Но здесь у Челлини были достойные соперники (Карадоссо и Леони).

Время пощадило и лучшие творения Челлини-скульптора: бронзового «Персея» и две замечательные модели к нему (Флоренция), мраморное «Распятие» (Эскуриал), бюсты Биндо Альтовити (Бостон), Козимо I (Флоренция), а также «Нимфу Фонтенбло» (Лувр), «Борзую» (Флоренция) и некоторые другие работы. Пристрастие скульптора к динамизму и резкости обнаруживает в нем талантливого ученика позднего Микеланджело. Но богатство внутреннего содержания и значительность идей учителя обычно не под силу Челлини, и поза его героя уже несколько театральна и искусственна. В наше время статуя Персея не вызывает того энтузиазма, с каким ее встретили современники Челлини в день 27 апреля 1554 года, когда она была выставлена под аркой Лоджии деи Ланци. Композиция кажется нам загроможденной фигурами и барельефами подно-

жая, поза Персея — малоустойчивой, трактовка тела — противоречивой, а аксессуары, например шлем героя, — излишне детализированными. В целом скульптура Персея обнаруживает технику орнаментального ювелирного искусства, перенесенную в ваяние, требующее, однако, большего духовного содержания и простоты выразительных средств. Две сохранившиеся модели «Персея» — бронзовая и восковая, — в особенности последняя, производят благодаря малому размеру и простоте позы лучшее впечатление, чем сама статуя.

Впрочем, характер реализма бронзовых бюстов, а также, пожалуй, мраморного «Распятия», доказывает, что Челлини более других своих современников сохранил связь с традициями итальянского искусства поры расцвета, хотя в общем его творчество уже отмечено налетом маньеризма, усиливающегося в искусстве позднего Возрождения.

Не слава Челлини-художника поддерживает интерес потомства к его «Жизнеописанию». Скорее наоборот. Прав был Гете, когда писал, что «Челлини обязан своей славой едва ли не больше своему слову, чем творениям», ибо «своим пером, едва ли не вернее, чем резцом, он оставил прочный памятник себе и своему искусству». Если имя Челлини стало нарицательным для всего золотого века художественного ремесла, который мы охотно называем «челлиниевским», хотя от самого Челлини-ювелира, как мы видели, мало что сохранилось, то известную роль здесь сыграли вдохновенные страницы его автобиографии. Загипнотизированные наивной саморекламой Челлини, поклонники его таланта готовы были приписать ему любой безымянный ювелирный шедевр. С другой стороны, отчасти основываясь на указаниях из «Жизнеописания», такие исследователи, как Плон и другие, могли установить в целом ряде случаев его авторство. Так, лишь в XIX веке доказано, что эскуриальское мраморное «Распятие» принадлежит резцу Челлини, и установлено, что «венская солонка» является той самой знаменитой солонкой, которую создал Челлини для Франциска I.

Своей славой мемуары Бенвенуто Челлини не обязаны также какому-то исключительному богатству исторических свидетельств или точности в их передаче. Челлини не историк своего времени. Он жил в бурную, переломную для развития европейского общества эпоху, богатую всемирно-историческими событиями и глубоко трагическую для Италии. Великие географические открытия, перевороты в науке, начало Реформации, вели-

кая крестьянская война, социальные брожения века — обо всем этом нет ни малейшего упоминания в его мемуарах. Единственный эпизод итальянской истории, отразившийся и в книге, — осада замка Святого Ангела, — освещен чисто биографически: автор рассказывает, как события повлияли на его личную судьбу. В своих записках Челлини неоднократно предупреждает, что он не историк, что пишет «только свою жизнь» и «то, что к ней относится». А между тем он жил и работал при папском дворе и при дворе короля Франции — в средоточиях тогдашней политической жизни! «Жизнеописание» Челлини и, скажем, такая вершина в жанре автобиографии, настоящая энциклопедия своей эпохи, как «Былое и думы» нашего Герцена, — это два полюса, два антипода мировой мемуаристики.

Но если Челлини так сузил рамки своего «Жизнеописания», то в чем интерес и на чем основана слава его мемуаров?

II

Читателя «Жизнеописания» прежде всего поражает могучая, волевая и целеустремленная натура автора. Со страниц безыскусного рассказа, который художник под старость, сидя за работой в мастерской, диктовал хворому четырнадцатилетнему мальчику, сыну соседа, встает резко очерченный характер. Но в этом самобытном характере бессознательно воплотились нравы века и народная жизнь. Поэтому образ Челлини, вобрав в себя, как в фокус, черты целой эпохи, покоряет и убеждает как совершенный художественный образ.

Подобно другим художникам и поэтам итальянского Возрождения от Данте до Микельанджело, Челлини — питомец городской культуры, взращенный строем жизни вольных городов-государств. «Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентинца, написанная им самим во Флоренции» открывается горделивой генеалогией потомственного горожанина, род которого восходит к полубогатырским временам, когда зачинался город. Гордость за Флоренцию, которая «поистине всегда была школой величайших дарований», и даже известное высокомерие по отношению к другим городам (отзвуки традиционных распрей) нередко чувствуется в «Жизнеописании». Бурная политическая жизнь итальянских городов-синьорий, как известно, послужила прологом к истории буржуазного прогресса в Европе,

и среди итальянских городов — за Флоренцией наибольшие заслуги как за мастерской передовых идей Возрождения, недаром ее иногда называют «яйцом нового времени».

Правда, ко времени выступления Челлини культура итальянских городов уже клонилась к упадку. Новые атлантические пути мировой торговли, проложенные великими географическими открытиями, лишают итальянские города их экономических преимуществ и приводят к хозяйственному кризису и упадку. К тому же Италия в XVI веке не смогла перейти к единым национальным формам развития, а начало собственно капиталистической эры открывается там, «где... уже значительно увял наиболее яркий цветок средневековья — свободные города»¹. Республиканские городские вольности сменяются деспотией реакционных мелких князей (во Флоренции устанавливается власть Медичи). Как мы дальше увидим, это в значительной мере определило биографию Челлини, его непоседливый образ жизни, его судьбу, в которой он наивно усматривает влияние «зловредных звезд». Но независимая и мощная натура Челлини в основном еще связана с прогрессивными завоеваниями периода расцвета городской культуры, с теми представлениями о человеке и его месте в мире, о его возможностях и правах, о его достоинстве и назначении, которые веками складывались в среде итальянских гуманистов.

Бенвенуто Челлини не обладал широким гуманистическим образованием, обычным для его современников. Он не только не знал ни греческого, ни латинского, но плохо ладил даже с грамматикой родного итальянского языка. Нигде в его произведениях не видно следов особой начитанности. Меньше всего это человек книжной культуры. По своему происхождению и жизненной школе он близко стоял к простому народу. И если немногие сентенции общего характера, сопровождающие его живое повествование, не только близки по духу этическим положениям гуманистов, но и буквально их повторяют, то это лишь показывает, насколько вся атмосфера тогдашнего итальянского общества была пропитана этими идеями.

«Жизнеописание» — это прежде всего рассказ о достойно прожитой, значительной жизни, отмеченной большими творческими дерзаниями, увенчавшимися успехом благодаря независимому духу, непреклонной энергии человека.

¹ К. Маркс, Капитал, Госполитиздат, 1955, т. 1, стр. 720.

Тем самым «Жизнеописание» Челлини — как бы реальный, осуществившийся идеал итальянского Возрождения.

Уже само начало мемуаров знаменательно: «Все люди всяческого рода, которые сделали что-либо доблестное (*virtuosa*) или похожее на доблесть (*virtù*) должны бы... описать свою жизнь». Здесь мы сразу сталкиваемся с понятием, являющимся как бы этическим девизом всей эпохи итальянского, да, пожалуй, и всего западноевропейского Ренессанса. Значение слова «вирту» для Возрождения (как и всякое богатое в своей исторической конкретности понятие) может быть только приблизительно передано современным русским словом «доблесть». Слово «вирту» вызывает у итальянца XV—XVI веков целый комплекс представлений.

Это прежде всего представление о значительных, великих делах, на которые способен человек, рожденный не для прозябания в обыденном и мелочном, и которыми ознаменована прожитая им жизнь. В известной характеристике людей Возрождения у Энгельса, где отмечается их «титанизм», лучше всего выражено существо «вирту» как нравственной и эстетической нормы. «Жизнеописание» Челлини повествует о творческой жизни художника, превзошедшего в своем искусстве всех предшественников и изумившего современников своими шедеврами, перед которыми должно будет склониться и потомство.

И этой славой Челлини обязан — таково его убеждение — только творческому началу своей индивидуальности, своему свободному гению, а не общественному рангу, не происхождению. В этом — прогрессивная, демократическая сторона идеала «доблести». Сын маэстро Джованни, бедного музыканта и зодчего, он, Бенвенуто, добился всего, полагаясь только на себя и свои силы. «Гораздо больше горжусь тем, что, родясь простым, положил своему дому некоторое почтенное начало, чем если бы я был рожден от высокого рода»¹. В этих словах, проникнутых гордостью плебея и чувством человеческого достоинства, звучит общий для всех гуманистов мотив учения о «доблести» и истинном благородстве. «Насколько больше заслуги построить дом, чем обитать в нем... Благородство — атрибут доблести», — учил гуманист Поджо Браччолини. «Не в богатстве, не в занимаемой должности, а единственно только в доблести духа заключается

¹ «Жизнеописание», кн. 1, гл. 2.

благородство» (Кристофоро Ландино). Еще Петрарка писал, что «кровь всегда одного цвета. Благородным человек себя делает своими великолепными делами».

Страницы мемуаров Челлини — это преимущественно рассказ о его делах, его «Труды и дни». Вначале — годы учения во Флоренции, затем — странствования подмастерьем, наконец годы мастерства и славы. Болонья, Пиза, Рим, Париж, Флоренция. Не только «из края в край, из града в град», но и от одной области искусства — к другой. Разные виды многогранного ювелирного мастерства, резьба печатей и медалей, чеканка монет. Игра на флейте и корнете, которой он впервые обратил на себя внимание папы Климента VII. Фортификация и зодчество. Артиллерийское искусство, к которому он, по его признанию, даже «более склонен», чем к ювелирному. Разумеется — как и у других итальянских художников и ученых, как у Микеланджело, его учителя, — поэтические опыты (образчиком его стихов служит написанная в тюрьме поэма в терцинах). И — как венец его творческого развития — высокое искусство ваятеля.

«Питая благородную зависть» к прославленным мастерам, переходя от одного искусства «чрезвычайно трудного» к другому, «наитруднейшему», «никогда не уставая от труда, который оно мне задавало», — рассказывает автор записок, — «я беспрестанно старался преуспевать и учиться». «Все эти сказанные художества весьма и очень различны друг от друга; так что если кто исполняет хорошо одно из них и хочет взяться за другие, то почти никому они не удаются так, как то, которое он исполняет хорошо; тогда как я изо всех моих сил старался одинаково орудовать во всех этих художествах»¹.

Разве в этих строках не запечатлен идеал «многосторонности» целой эпохи? Но еще незадолго до рождения Челлини идеал этот красноречиво формулирует Пико делла Мирандола в речи «О достоинстве человека»: человек «по собственному произволу чертит границы своей природы», «по собственному желанию избирает место, дело и цель» своих занятий. «Он сам себе творец, и сам выковывает окончательно свой образ», ибо «дивное» и возвышенное назначение человека в том, что «ему дано достигнуть того, к чему он стремится, и быть тем, чем он хочет».

¹ Кн. 1, гл. 26.

Такое представление о назначении человека и вся этика «доблести» связаны с безграничной верой в себя, в свои творческие силы. Мемуары Челлини в этом смысле — удивительно характерный исторический документ. Меньше всего этому благочестивому христианину, каким он неизменно себя характеризует, присуща первейшая христианская добродетель — смирение духа. Чтобы вывести его из себя, достаточно окружающим только усомниться в том, справится ли он с задачей, осуществит ли свой необычайный замысел, особенно в искусстве, где он еще новичок. Это неминуемо вызовет с его стороны град упреков, саркастических стрел, язвительных оскорблений. Его заказчики и их консультанты должны безусловно в него верить. Творческие сомнения в своих силах ему неведомы. «Рвением и усердием» в работе он всегда достигнет высшего совершенства и заставит всех признать, что он не только сравнялся с античными художниками, но и превзошел их, ибо и античное искусство — перед которым он вместе с другими мастерами Возрождения преклоняется! — не может быть непревзойденным. Чем труднее задача, тем больше она его воодушевляет. Девиз поддерживающего небесный свод Атланта на одной из его медалей: «Summa tulisse juvat» — «Высшее сладко нести» — мог бы стать творческим девизом самого Челлини.

Впрочем, и девизом всей его жизни. В ней немало приключений из ряда вон выходящих, на грани сказочного или просто фантастических. Не говоря уже о побеге из замка Святого Ангела или о рукопашных схватках с врагами, где Челлини неизменно оказывается победителем, ибо «никогда не знал, какого цвета бывает страх», он еще в детстве совершает подвиги, напоминающие Геркулесовы, а впоследствии, ни много ни мало, вступает в прямые сношения с силами ада и неба: некромантические заклинания в Колизее и лицезрение Христа в тюрьме — «вещь величайшая, какая случалась с другими людьми» (после чего над его головой, как он сообщает, засиял нимб, как у святого).

Безграничная вера в себя — и в оценках своих произведений и в рассказах о своих приключениях — то и дело переходит у Челлини в забавное самомнение, в невероятное хвастовство и смешные фанфаронады. Но, отражаясь на достоверности сообщаемых фактов, эта особенность мемуаров никак не умаляет типичности образа самого рассказчика и даже, пожалуй, усугубляет колорит характера.

Гиперболический стиль Челлини, страстный и восторженный, его фантастика неотделимы от его чувства жизни, от эстетики «фантастического реализма» его эпохи, питавшей повышенный интерес к идеализированным, сказочным приключениям (рыцарские поэмы Боярдо и Ариосто в Италии, роман Рабле о великанах во Франции). В основе этой эстетики героического и необычайного лежало то же историческое представление о безграничных возможностях свободного человека. И было бы странно, если бы мемуары того времени (например, «Жизнеописание великих полководцев и знаменитых дам» выдающегося французского мемуариста XVI века Брантома) отличались трезвой мерой и авторской скромностью. У Рабле, современника Челлини, любимый герой Панург утверждает, что «человек стоит столько, во сколько он сам себя ценит». Под этими словами, выражающими в гротескной форме гуманистическую веру в человека, мог бы подписаться и Челлини.

Но путь к значительным делам, к «доблести», лежит через деятельность страстную, неустанную, напряженную. При каждом новом заказе Челлини «разбирает нетерпение» скорее принимаясь за дело, и он тотчас же начинает с «великим усердием работать». Получив долгожданный мрамор, он не в силах запастись терпением и сделать вначале модель. Он тут же начинает обтесывать статую Аполлона и Гиацинта: «такая мне была охота работать из мрамора».

Когда Франциск I советует Челлини беречь свое здоровье и не утруждать себя чрезмерно, тот заявляет в ответ, что «сразу же заболел бы, если бы не стал работать». И больше всего ему льстит изумление окружающих перед этим «удивительным человеком», который «должно быть, никогда не отдыхает». Своим резцом в мастерской он действует так же, как на площади кинжалом, — «смело и с некоторой долей ярости». Знаменитый, ставший уже хрестоматийным, рассказ об отливке «Персея»¹ дает достаточно яркое представление о творческой ярости, творческом раже художника, преодолевающего упорное сопротивление материала, укрощающего своим словом даже неистовство стихий — огня и воды. Можно подумать, что перед Челлини, когда он диктовал эти вдохновенные страницы, возникал образ бога отца в дни сотворения мира, увековеченный на плафоне Сикстинской капеллы его учителем Микеланджело. «Ужасающее величие»

¹ Кн. 2, гл. 75—77.

(terribilità) и «ярость» (furore), характерные для итальянского искусства XVI века и для эпики «доблести», пронизывают и образ Челлини и этом эпизоде. Его помощники признают, что он себя показал «не человеком, а сущим великим дьяволом», и «сделал то, чего искусство не могло сделать; и столько великих дел, каковых было бы слишком даже для дьявола».

Этот идеал великих дел предполагает натуры цельные и решительные. Девиз своего современника Аретино «жить решительно» (vivere risolutamente) разделяет и автор «Жизнеописания». Жить для него значит действовать. Решение он принимает сразу, не колеблясь, как бы в силу внутреннего, неотвратимого импульса, и действует со страстной целеустремленностью. Эта цельность Челлини, так поражающая его позднейшего буржуазного читателя, — характерная историческая черта человеческого типа его эпохи. Отсюда и господство в мемуарах чисто повествовательного начала. Рассуждения, медитации играют здесь небольшую и скорее орнаментальную роль. Нет в «Жизнеописании» и интереса к психологическому анализу. Если Челлини прекрасный рассказчик, то это во многом связано с его чуждой рефлексии деятельной и цельной натурой.

Это темперамент неукротимый, неумный и буйный. Мемуары Челлини переполнены рассказами о потасовках, драках, кровавых столкновениях с личными врагами, соперниками, а то и просто с первыми встречными, имевшими несчастье его задеть неосторожным словом. Свой длинный кинжал, с которым Челлини не расстается, он пускает в ход весьма «решительно». И так как он «по природе немного вспыльчив», — замечание это не может не вызвать улыбки у читателя — а «распалясь», он «становится как аспид» или «как бешеный бык», то дело часто кончается худо, и на его совести есть несколько убийств, хотя не видно, чтобы это его особенно тревожило. Несомненно, что о своих драках автор мемуаров рассказывает с удовольствием, не без гордости сообщая, как он один ворвался в дом к оскорбителю, где, орудия кинжалом направо и налево, нагнал страху, как «в судный день», и вышел победителем против дюжины противников. Вообще, начиная с участия, пятнадцатилетним юношей, в уличной потасовке, за которую он подвергается изгнанию в Сиену, реестр подобного рода подвигов ведется не менее аккуратно, чем перечень художественных работ, и эти подвиги описываются с немалым красноречием и гордостью.

Исследователи «Жизнеописания» Челлини, исходя из этого, часто говорят об «аморальности» флорентийского художника, «не признающего никаких нравственных авторитетов, кроме своей индивидуальной воли». Его этика сближается с «моральным индифферентизмом» Макиавелли, и Челлини тогда оказывается неким «хищником в джунглях». Независимо от оценки критика — осуждает ли он такую позицию «по ту сторону добра и зла», или восхищается ею, — это чудовищная модернизация (свойственная многим новейшим декадентским работам о культуре Возрождения), это искажение реального образа автора мемуаров. Скорее наоборот — читателю запоминаются многие патриархальные черты природы и морали Челлини. Он — хороший, почтительный сын, горячо любящий брат и вообще образцовый семьянин. С какой теплотой он рассказывает о сестре и ее семье, которой он помогает всю жизнь. В отношениях с помощниками и слугами он верен традиции «доброе старое время»: с Феличе (в Риме), с Асканио (в Париже) он обращается, как с родными детьми. Кое-кто из его учеников оказывается впоследствии неблагодарным, но большей частью они ему преданы за заботу и щедрость. Колотушек им, видно, при вспылчивом нраве маэстро достается во время работы немало (а рука у него тяжелая!), но это тоже в духе обычая. Многие места книги рисуют автора преданным другом, хорошим товарищем, остроумным сотрапезником, гостеприимным хозяином. В его характере и стиле жизни много добродушия. Ему чужды тайные интриги или вероломство, пустившие такие глубокие корни в обществе века Цезаря Борджиа. Он действует прямо и открыто. Наконец, его наивное благочестие для XVI века уже достаточно старомодно. И было бы странно ожидать от него ниспровержения всяких моральных норм. Это явно не его сфера. Челлини, лишенному разлагающего цинизма, скорее присуще традиционное и естественное чувство долга.

И, пожалуй, именно поэтому всякая несправедливость или нанесенная ему обида легко приводят его в ярость. И тогда в ход пускаются кулаки и кинжал. Апеллировать к органам общественного порядка или правосудия — такая мысль ему и в голову не может прийти. Прятаться за чужой широкой спиной! Прибегать к крючкотворству! Слава богу, у него есть еще пара крепких рук, а после его удара остается только «бежать за духовником, потому что врачу тут уже делать нечего». С органами правосудия он не ладит всю жизнь. Их вмешательство в

личные дела граждан, их борьба с самоуправством — для него явное покушение на традиционное право междоусобиц. Старинное кулачное право ближе его сердцу и, конечно, более достойно уважения, чем судебная волокита. Ведь здесь исход спора решает все та же «доблесть»!

Необычайно интересна и колоритна в этом смысле глава 27-я книги II его мемуаров. Челлини недавно приехал во Францию, и, несмотря на лестный прием у короля и ряд выгодных заказов, ему скоро стало здесь не по себе. Настолько, что он даже собирается поскорее закончить начатые работы и вернуться в Италию, «не в силах будучи ужиться со злодействами этих французов» (в устах Челлини эта жалоба звучит весьма забавно). Оказывается, что он уже успел «для своей защиты учинить много этих самых дел». А во Франции несколько другие порядки, чем в итальянских городах. В Италии на «эти самые дела» смотрели часто сквозь пальцы, и наказание обычно сводилось к изгнанию из города; буйство ему легко сходило с рук. Здесь же весьма развито судопроизводство, и против постановлений муниципалитета иногда бессилен сам король. Буржуазия во Франции развивалась под знаменем укрепления законности и порядка, тогда как развитие итальянских городов шло путем завоевания независимости и изъятия автономных городов из общегосударственного подчинения. Поэтому во Франции у Челлини сразу возникает ряд процессов: с соседями, с натурщицей и т. д. Эти тяжбы приводят его в отчаяние. С отворачиванием он сообщает об этой страсти французов к тяжбам: тяжбы даже продают и «дают в приданое», а кто не умеет судиться — пропащий человек. Челлини вручает повестки — и вот он и зале суда. Здесь ему, иностранцу, все кажется просто позорительным. Наконец, он приходит к выводу, что перед ним настоящая картина ада, а судья, «этот удивительный человек — истинный облик Плутона». Челлини саркастически берется даже прокомментировать одно темное место из песни VII «Ада» Данте, который, как известно, одно время жил в Париже и перенес, дескать, в свою поэму восклицание судьи, призывающего публику к порядку. А толкователи Данте этого не поняли... Вся эта глава мемуаров достойна занять место рядом с эпизодами о сутягах из «Гаргантюа и Пантагрюэля». Она им конгениальна.

Впрочем, общественные порядки в XVI веке таковы, что поведение Челлини отнюдь не является каким-то вызовом общепринятым нормам морали. Через жизнь он проходит «с откры-

тыми глазами и с доброй охраной, и отлично вооруженный, в кольчуге и наручах». Не только в Италии, где ему легко прощают и убийство капрала и убийство папского ювелира, как бы безмолвно признавая за ним неписаное право сведения личных счетов, но и за Апенниннами сам король поощряет его самоуправство. По приезде Челлини в Париж король дарит ему свой замок Нель для мастерской. Но там уже давно поселился прево (верховный судья), который отказывается подчиниться приказанию короля. Приходится исполнительным органам применить силу — против самого блюстителя законности! Но принятых мер оказывается недостаточно, и тогда король советует Челлини: «Поступите по вашему обычаю...» Исход этой распри решает уже упомянутый длинный кинжал Челлини... Таковы нравы.

Прав Гете, отмечая глубокую внутреннюю связь характера Челлини и его этики с правовым и политическим состоянием переходного времени. «Даже войны тогда были не больше как крупными дуэлями» (например, нескончаемые распри между Карлом V и Франциском I). Образ Челлини, как и воплощенная в нем ренессансная этика «доблести», если их не модернизировать в духе новейшей буржуазной «аморальности», представляют своими достоинствами, как и своими пороками, определенную ступень общественного сознания переходной эпохи: его завоевания и достижения и его примитивность сравнительно с позднейшим развитием.

III

Жизнь Бенвенуто Челлини вел беспокойную и кочевую. И не только в молодые годы, годы учения, когда он покидает родной город, чтобы совершенствоваться в игре на флейте у мастеров Болоньи и в ювелирном искусстве в Пизе и Риме. Тридцать лет скитаний по разным городам Италии. Дважды он перебирается во Францию, часто пробует обосноваться в Риме. Флоренция, признание у прославленных мастеров ее «чудесной школы», влечет его к себе, и он часто приезжает в родной город, но не задерживается в нем подолгу. И лишь под старость Челлини возвращается во Флоренцию, однако без твердого решения тут осесть. Он еще посещает Венецию, безуспешно ведет переговоры с новым папой Павлом III, но уже вынужден провести остаток жизни под властью неблагоприятных герцогов Флоренции.

Чем объясняется этот непоседливый образ жизни и скитания Челлини? Конечно, известную роль здесь сыграла отмеченная выше экономическая депрессия и упадок итальянских городов начиная с конца XV века. Как отмечалось в нашей критике, итальянские коммуны и синьории уже не в состоянии были обеспечить своих художников заказами. Диспропорция между высоким развитием художественной культуры и материальным упадком Италии усиливает в XVI веке стремление художников к эмиграции во Францию и другие страны. Даже гений Леонардо да Винчи не всегда находит поддержку на родине, его грандиозные технические и художественные замыслы остаются несущественными, и он кончает свои дни в Париже, на службе у французского двора. На протяжении нескольких веков Италия становится поставщиком даровитых художником и государственных деятелей для соседей, и тип странствующего художника или артиста, как и тип крупного авантюриста (Казанова, Калиостро), связан в европейской культуре XVI—XVIII веков именно с Италией (вспомним «Египетские ночи» Пушкина).

И все же это еще не объясняет биографии Челлини. Если недостаток заказов побуждает его покинуть Флоренцию и перебраться в Рим или Париж, то все же непонятно, почему флорентийский мастер не остается в Париже, где он завален работой и получает огромное содержание на службе у двора. Почему он не остается во Франции и не обретает здесь второй родины, как, например, его соперник болонец Приматиччо, декоратор дворца Фонтенбло, или живописец Джованбатиста Россо, не менее известный под офранцузенным именем «мэтр Ру»? Кочевая жизнь Челлини отчасти обусловлена характерной для эпохи страстью к путешествиям, желанием «увидеть свет»: «Мне всегда нравилось видеть свет, и, никогда еще не бывав в Мантуе, я охотно отправился». Но это стремление руководило им больше в молодости. В постоянных переездах зрелых лет решающую роль сыграла независимость его характера, как и его представление о роли художника и его месте в обществе.

В глазах Челлини талант и гений выше всякого герцогского титула или кардинальского сана. Он, Бенвенуто Челлини, имеет право на удобства в пути не меньше, чем герцогский сын, и когда он заболевает, врач должен помнить, что его жизнь дороже жизни всех кардиналов Рима. «Таких, как я, ходит, может быть, один на свете, а таких, как ты, ходит по десять в каждую дверь», —

бросает он в лицо майордому Козимо I, ибо нет, кроме него, человека, который смог бы создать его «Персея». Во всех этих суждениях мы узнаем традицию флорентийской культуры, ее антифеодальные идеи.

Но автор «Персея» живет уже в период заката этой культуры. Он уже на службе при дворе кардиналов и пап, герцогов и королей. Сам «Персей» был ему заказан тираном Козимо I как символ победы этого узурпатора над обезглавленной республиканской вольницей. По всему видно, что эти старые политические нравы флорентийскому ювелиру уже не очень дороги. Правда, герцог Алессандро, предшественник Козимо I, еще подозревает Челлини в тайных сношениях с изгнанниками-республиканцами; ему доложили, что Челлини хвастал, будто хотел бы первым взойти на стены Флоренции вместе с заговорщиками в день их победы. Но это, видимо, напраслины, возводимые на художника личными врагами. Он сам по крайней мере уверяет в этом читателя, хотя все же должен был бежать в Рим, спасаясь от герцогского гнева. Он уже не верит в будущее республиканской партии и насмехается после убийства Алессандро над теми, кто надеется, что можно будет при избрании ограничить власть нового герцога: «Нельзя давать законов тому, — иронически замечает он, — кто их хозяин». Поведение Челлини во Флоренции в 1530 году, когда флорентийская республика готовилась к героической защите против объединенных войск императора и папы, показывает, что он не питал никаких иллюзий, не верил в возможность победы. Призванный в ополчение для защиты городских стен, он, после некоторых колебаний, тайно уезжает в Рим, приняв приглашение папы Климента VII, врага республиканцев. Подобно другим художникам (а также поэтам и ученым) XVI века, он возлагает все надежды на просвещенного мецената в лице папы или короля. По существу Челлини уже достаточно аполитичен. И это показательно для наметившегося в Италии упадка общественного самосознания в век, который Микеланджело с негодованием назвал «блестящим и постыдным».

Знаменателен ответ Челлини республиканцам, предающимся ликованию, после того как в Рим пришло известие об убийстве герцога Алессандро. Они насмехаются над художником, готовившим медаль в честь герцога: «Ты нам хотел обессмертить герцогов, а мы не желаем больше герцогов», — говорят они ему, на что Челлини, защищаясь, отвечает: «О дурачье! Я бедный золотых дел мастер, который служу тому, кто мне платит, а

вы надо мной издеваетесь, как если бы я был глава партии». Он предсказывает им, что новый герцог, Козимо I, будет куда хуже прежнего¹.

Эти слова — «служу тому, кто мне платит» — первым из художников Возрождения сказал, кажется, Леонардо да Винчи. И — пусть в меньшей мере, чем у его гениального старшего современника и земляка, — они все же полны горечи и у Челлини. Эта формула является общим местом у деятелей искусства того времени и свидетельствует о новой зависимости художника, характерной для буржуазного общества. Подобные заявления чередуются поэтому с обычными проклятиями власти денег и заключают в себе существенный оттенок: у этих «наемных» художников, «кондотьеров искусства», каким является и Челлини, нет внутреннего уважения к тем, кому они создают памятники своими творениями, кого они славословят в литературных посвящениях. У настоящих мастеров эпохи эти отношения между художником и меценатом чисто коммерческие, но именно поэтому художник стремится сохранить автономию своего искусства, его внутреннего содержания, как и личную независимость.

Мемуары Челлини с этой стороны представляют большой исторический интерес. Поставленный жизнью перед необходимостью стать художником при дворе, он все же далек от уже складывавшегося тогда типа придворного художника. В своем поведении он никак не удовлетворяет идеалу придворного, нарисованному его старшим современником Балтасаром Кастильоне в трактате «Придворный».

Живя при дворе пап и владетельных особ, он прежде всего достаточно несдержан в речах и поступках. Папу Павла III он, как утверждал кое-кто, назвал «разодетым снопом соломы», и тот ему в свое время это припомнил. Заболев в Мантуе лихорадкой, он в раздражении громко «проклинал Мантую и того, кто ей хозяин», и вызвал гнев герцога («но в гневе, — замечает Челлини, — мы были равны»). Герцогу Козимо, в ответ на его сомнения, он прямо дает понять, что «его светлость» «не разбирается в искусстве». Папе, когда тот у него отнял монетный двор, он велит передать, что папа тем самым отнял монетный двор у себя, а не у него, Челлини, а когда папа захочет ему вернуть этот двор, то он не пожелает его брать вновь и т. д. и т. п. Если — при-

¹ Кн. 1, гл. 89.

нимая во внимание склонность автора мемуаров к хвастовству — можно и усомниться в абсолютной точности передачи подобных дерзких выходов, то в общем свидетельства современников показывают, что он действительно «не умел изображать льстеца». Его «Жизнеописание» изобилует стычками с сановными советниками двора, и в уста папы Климента VII он вкладывает собственную презрительную оценку придворных: «Больше стоят сапоги Бенвенуто, чем глаза всех этих прочих тупиц».

Да и как ему с ними ладить, если ему предлагают быть всего лишь только «исполнителем» замыслов заказчика или его советников, а это явная «придворная чепуха»! За ним уже установилась прочная слава, что он «всегда хочет делать наоборот», а не то, что угодно заказчику. Даже король Франциск I, более снисходительный к Челлини, чем другие меценаты, упрекает его за то, что он «оставляет в стороне его — короля — желания и что он недостаточно послушен», потому что без ведома короля, не кончив заказы, принимается за осуществление других, собственных замыслов и не любит, чтобы ему диктовали, над чем работать.

К этому нужно добавить, что, при всем неистовстве и «ярости» в труде, работы, которые он стремится довести до совершенства, подвигаются медленно. Над «Персеем», например, он работал девять лет, давая при этом пищу злословию соперников и завистников, утверждавших, что он, золотых дел мастер, не справится с таким большим скульптурным замыслом. Челлини часто торопят заказчики, но он с этим не считается, наверное памятуя, что «удивительный» и «великий» Леонардо да Винчи почти четыре года готовил картон для фрески «Битва при Ангиари» и столько же лет писал портрет «Джиоконды», что «Тайная вечеря» создавалась целых десять лет, а макет колоссального памятника Франческо Сфорца — целых шестнадцать, да и то остался незавершенным. Неоконченными остались также и основные работы самого Челлини во Франции: двенадцать серебряных статуй-светильников и колосс Марса. Эта медлительность взыскательного художника приводит порой к рукопашным стычкам с нетерпеливыми заказчиками, как, например, во время работы над вазой для испанского епископа, когда пришлось показать слугам этого сановника дуло пищали с зажженным фитилем. Порой у Челлини пытаются отнять незаконченную вещь, а он отказывается ее отдать, ведет себя дерзко, и тогда

даже папе приходится унижаться и упрашивать его завершить работу.

Таким образом, «сделав из необходимости добродетель» — употребляя любимое выражение автора¹, — Челлини оказывается не на высоте положения как придворный художник. Ему легко прощают убийства, но не строптивость и дерзкую независимость. «Этот дьявол Бенвенуто не выносит никаких замечаний... Нельзя же быть таким гордым с папой»². То, что скрепя сердце приходилось прощать гению республиканца Микеланджело, не так легко сходило даровитому золотых дел мастеру. И если папа Климент VII, более тонкий знаток искусства — как никак из рода Медичи! — в общем благоволил к земляку (отчасти в силу традиционных связей родов Челлини и Медичи) и отпускал ему грехи не только убийства, но и недозволенной гордыни, то отношения Челлини с новым папой Павлом III довольно скоро испортились непоправимо. Челлини заключают в тюрьму, где его долго держат как человека опасного.

Любопытно, что в то время, когда Челлини томился в замке Святого Ангела, его приятель, известный писатель Аннибало Каро, делает в своих письмах по этому поводу следующее замечание: «Вина Бенвенуто пустяжна сравнительно с таким суровым наказанием... но боюсь, что характер Бенвенуто, безусловно очень странный³, может ему повредить... Ведь его речи могут потревожить любого государя... Просто не знаешь, что делать с его упрямством. Ему советуют, как себя вести, но эти советы остаются втуне, так как его резкости ему еще кажутся недостаточными».

Не удивительно, что при таком «очень странном» для придворной среды характере Челлини не удастся ужиться и при французском дворе, где вскоре он создал себе непримиримого врага в лице фаворитки короля. Так и не закончив своих работ, он уезжает во Флоренцию, где создает своя лучшие произведения и достигает высшей славы как скульптор. Но и здесь, при дворе герцога Козимо, независимый характер Челлини мешает его жизненному благополучию, и он рад бы опять куда-нибудь уехать. Противоречие между натурой Челлини и его местом в

¹ Это характерное для века и многозначительное выражение встречается и у Рабле, и у Фиренцуолы, и др. писателей XVI века.

² Слова Климента VII (кн. 1, гл. 56).

³ Подчеркнуто нами. — Л. П.

жизни движет его биографию и определяет его «превратную и кусачую судьбу».

В своей судьбе он суеверно видит влияние «зловредного сочетания звезд». Но для нас несомненно, что это было сочетание «исторических» звезд, тех новых, что уже всходили над горизонтом его времени, и старых, что еще светили в его ренессансной душе, своей наивной прямоотой завоевавшей ему симпатию потомства.

IV

«Жизнеописание» Челлини принадлежит к той разновидности мемуарной литературы, где личность автора, вынесенная на первый план, господствует над всем повествованием и больше всего приковывает к себе внимание. Но этот колоритный образ выступает на живописном бытовом фоне, представляющем немалый исторический интерес. Беспокойные дороги и шумные площади, зала суда и тюремные камеры, папский двор и королевские апартаменты, но прежде всего повседневный быт художника века Возрождения в Италии, его дом и мастерская, условия его работы, зависимость от титулованных потребителей, взаимоотношения с соперниками, с товарищами по ремеслу или с учениками и натурщицами — все это хорошо запоминается читателю. Сцены, посвященные беседам художника с духовными и светскими князьями (например, та, где приводится суждение папы Павла III, что мастера, «единственные в своем искусстве, не могут быть подчинены закону», цитируемое историками и критиками), незабываемы и полны исторического колорита. Если память в изложении событий, от которых он отделен двадцатью — тридцатью годами, ему порой изменяла в отдельных частностях — некоторую роль здесь могла играть и кичливость художника, — нет сомнений, что нарисованная им историческая картина в целом верна. Сочетание эстетической изысканности и грубой жадности у папских прелатов, деспотизм и власть интриганов в Ватикане, своеобразие раннего французского Возрождения при дворе Франсиска I — все это изображено Челлини достаточно ярко.

Читая мемуары, мы находимся все время в атмосфере того повышенного интереса к искусству, в частности к орнаментальному, которое свойственно культуре Возрождения. Сам Челлини, золотых дел мастер и скульптор, еще связан с такими выдаю-

шимися художниками предыдущего века, как Донателло и Гиберти, Полайuolo, Гирландайо и Боттичелли, которые также прославились как искусные ювелиры. А у его современников уже более определилось отделение художественного ремесла от высшего искусства.

В живом повествовании Челлини отдельные эпизоды переходят в законченные бытовые новеллы. Такова, например, глава 30-я кн. I о веселом ужине у скульптора Микеланьоло, пленившая Гете изображением нравов римской художественной богемы. Или забавная сцена заклинания бесов в Колизее (гл. 64, кн. I), живо рисующая силу суеверий в то время¹. Такую же самостоятельную ренессансную новеллу составляют эпизоды со служанкой-натурщицей Катериной, на которой Челлини заставляет жениться своего подмастерья Паголо.

В целом «Жизнеописание» Челлини сохраняет скорее художественный интерес, чем ценность объективного исторического свидетельства. Если кое-кто из критиков заходит слишком далеко, называя эту книгу «романом», то все же нет сомнения, что отдельные факты и эпизоды не обладают правдивостью целого — верно нарисованной картины его века.

Вся эта книга написана языком, который сам по себе обладает своеобразным и незабываемым очарованием. На фоне блестяще образованных современников, мастеров пышного, закругленного, «правильного» стиля, автор «Жизнеописания» был человеком малограмотным. Но дело не только в том, что Бенвенуто Челлини оставил в своих мемуарах незаменимый памятник живой устной речи флорентийского простолюдина XVI века. Как настоящий человек эпохи Ренессанса, питая большое уважение к «учености», к «культуре», к развернутому, богатому, но соразмерному слогу, Челлини, особенно в рассуждениях, пробует свои силы в сложном Цицероновском периоде, однако, запутавшись в нем, вырывается на волю, так и оставив словесное здание недостроенным. Законы грамматические, как и законы юридические, явно его стесняют. Но и здесь он меньше всего ниспровергатель норм: он просто их еще не усвоил.

¹ О ее типичности можно судить по тому, что еще Боден, младший современник Челлини, крупнейший прогрессивный публицист Франции и один из основоположников теории государственного права нового времени, оставил после себя труд «Демонomanия», полный учености и проникнутый непоколебимой верой в нечистую силу.

В своем стиле Челлини идет «естественным» путем. Он не сомненно обладает природным красноречием высокоодаренной страстной натуры. Его бурный, динамичный стиль увлекает читателя. Страсти — величайшие ораторы, скажет в следующем столетии французский мыслитель Ларошфуко.

Светотени в мемуарах резкие. Весь мир делится на тех, кто за него, Челлини, или враждебен ему. Отсюда и характеристики — восторженные или саркастические, отсюда «едкая и колкая ирония», которой Челлини «играет как кинжалом» (по выражению его исследователя Плона).

Читателю, конечно, запомнится гиперболичность его определений: изумительнейший синьор Джованни; изумительный рубака; изумительное войско; неопикуемая болезнь; неопикуемые труды; неопикуемая жажда; болезнь его безмерная; его домоправительница — самая искусная, какая когда-либо рождалась и настолько же самая сердечная; его друг — самый удивительный юноша и самый отважный; даже за обедом его удивительно накормили. Это в высокой мере пристрастный и эмоциональный стиль человека, который прошел жизненный путь в борьбе с врагами и завистниками, в борьбе с самой судьбой, как бы руководствуясь надписью на одной из своих медалей: «Fortunam virtute devicit» — «Доблестью судьбу победил».

Как мы узнаем в начале «Жизнеописания» от самого автора, Челлини приступил к своей автобиографии в возрасте пятидесяти восьми лет, то есть в 1558 году. Он еще писал ее в 1566 году и, доведя рассказ до 1562 года, оставил свой труд неоконченным. При его жизни мемуары не были опубликованы, и первые их издал Антонио Кокки в Неаполе в 1728 году, то есть через полтора века после смерти Челлини. Эта публикация, сделанная еще на основе искаженного списка, вызвала, однако, всеобщий интерес, и в 1771 году появился первый английский перевод мемуаров, а в 1803 году — немецкий (Гете).

В начале XIX века у букиниста была найдена оригинальная рукопись «Жизнеописания». Ее издал во Флоренции в 1829 году Франческо Тасси.

Из приводимого в настоящем издании письма Бенвенуто Челлини к Бенедетто Варки видно, что в ходе работы над мемуарами автор обращался к известному историку Флоренции, сво-

ему другу, с просьбой исправить его слог и придать ему литературную форму. Но художественный такт удержал гуманиста Варки от «подскабливания» и «подправки» неправильного, но сильного языка Челлини, что неизбежно повлекло бы за собой обеднение стиля автобиографии. Присланная рукопись была возвращена автору с замечанием, что в таком виде она ему, Варки, больше нравится.

На русский язык «Жизнеописание» Челлини переводилось дважды, но не с оригинала, а с французского перевода, где язык книги сглажен в соответствии с нормами литературной речи. Лишь в советские годы «Academia» выпустила образцовое издание «Жизнеописания» (1931). Перевод, мастерски выполненный М. Лозинским, является не только первым русским переводом с итальянского оригинала, но и блестящей попыткой художественного воспроизведения характерного, яркого и выразительного, хотя и не всегда грамматически правильного, языка этого замечательного литературного памятника.

Настоящее издание воспроизводит этот перевод.

Л. Пинский



**ПИСЬМО БЕНВЕНУТО ЧЕЛЛИНИ
К БЕНЕДЕТТО ВАРКИ¹**

Высокопревосходнейший даровитый мессер Бенедетто и премного мой досточтимейший.

Раз ваша милость мне говорит, что эта простая речь о моей жизни больше вас удовлетворяет в этом чистом виде, нежели будучи подскобленной и подправленной другими, что показалось бы не настолько правдой, насколько я писал; потому что я старался не говорить ничего такого, чтобы мне памятью идти на ощупь, а говорил чистую правду, опуская большую часть неких удивительных происшествий, которым другие, которые бы это делали, придали бы этому большую важность; но имея сказать столько великих вещей, и чтобы не делать слишком большого тома, я опустил большую часть малых. Я посылаю моего слугу, с тем чтобы вы ему отдали мою сумку и книгу, и потому, что я думаю, что вы не могли бы дочитать всего, так и чтобы не утруждать вас столь низким делом, и потому, что то, чего я желал от вас, я получил, и этим преудовлетворен, и от всего моего сердца вас за это благодарю. Теперь я вас прошу, чтобы вы не заботились читать дальше и мне ее вернули, оставив себе мой сонет,

потому что я весьма хочу, чтобы он отдавал немного блеском вашего изумительного лоцила; и отныне вскоре я приеду вас посетить и охотно послужить вам в чем умею и могу.

Пребывайте здоровы, прошу вас, и не оставляйте меня вашим благоволением.

Из Флоренции. Дня 22 мая 1559.

Если бы ваша милость сочла возможным оказать кое-какую помощь этому моему монашку у братии дельи Аньоли, я буду вам много обязан. Всегда к услугам вашей милости вполне готовый

БЕНВЕНУТО ЧЕЛЛИНИ

На обороте:

Высоковельможному и превосходительному мессер Бенедетто Варки, моему досточтимейшему.

ЖИЗНЬ
БЕНВЕНУТО,
СЫНА МАЭСТРО
ДЖОВАННИ
ЧЕЛЛИНИ,
ФЛОРЕНТИНЦА,
НАПИСАННАЯ
ИМ САМИМ
ВО ФЛОРЕНЦИИ





Я Жизнь мою мятежную пишу
В благодаренье господу Природы,
Что, дав мне душу, блюл ее все годы.
Ряд знатных дел свершила и дышу.

Мой Рок жестокий без вреда сношу;
Жизнь, слава, дар, дивящий все народы,
Мощь, прелесть, красота и стать породы;
Поправ одних, другим вослед спешу.

Но мне премного жаль, что столько ране
Средь суеты потеряно годин:
Наш хрупкий разум ветр разносит всюду.

Раз тщетно сетовать, доволен буду,
Всходя, как нисходил, желанный ¹ сын
В цветке, возросшем в доблестной Тоскане ².

Я начал писать своею рукою эту мою жизнь, как можно видеть по нескольким склеенным листкам, но, рассудив, что я теряю слишком много времени и так как это мне казалось непомерной суетой, мне повстречался сынишка Микеле ди Горо из Пьеве а Гроппине, мальчуган лет четырнадцати приблизительно;

и был он хворенький. Я начал его сажать писать и, пока я работал, сказывал ему мою жизнь; и так как я находил в этом некоторое удовольствие, то я трудился много усерднее и делал гораздо больше работы; так я и оставил ему это бремя, каковое надеюсь продолжать настолько и впредь, насколько буду помнить.



КНИГА ПЕРВАЯ



I

Все люди всяческого рода, которые сделали что-либо доблестное или похожее на доблесть, должны бы, если они правдивы и честны, своею собственною рукою описать свою жизнь; но не следует начинать столь благого предприятия, прежде нежели минет сорок лет. Убеждаясь в этом теперь, когда я переступил за возраст пятидесяти восьми полных лет, и находясь во Флоренции, моем отечестве, памятуя о многих превратностях, постигающих всякого, кто живет, будучи в меньших таких превратностях, чем когда-либо до сих пор, — мне даже кажется, что я в большем душевном довольствии и телесном здравии, чем когда-либо раньше, — и вспоминая о кое-каких благих отрадах и кое-каких неопикуемых бедствиях, каковые, когда я оборачиваюсь назад, ужасают меня удивлением, что я достиг до этого возраста пятидесяти восьми лет, с каковым, столь счастливо, я, благодаря милости божией, иду вперед.

II

Хотя те люди, которые потрудились с некоторым отенком доблести, и дали миру весть о себе, ее одной должно бы быть достаточно, видя, что ты — человек, и

ведомый; но так как приходится жить тем способом, как видишь, что живут другие, то таким образом сюда приводит немного мирского суеславия, каковое имеет многообразные начала. Первое — это поведать другим, что человек ведет свой род от людей доблестных и стародавнейших. Меня зовут Бенвенуто Челлини, сын маэстро Джованни, сына Андреа, сына Кристофано Челлини; мать моя — мадонна Элизабетта, дочь Стефано Граначчи; и тот, и другая — флорентийские граждане. Мы находим написанными в летописях, составленных нашими флорентинцами, весьма стародавними и людьми достоверными, как то пишет Джованни Виллани¹, что можно видеть, как город Флоренция построен в подражание прекрасному городу Риму, и можно видеть некоторые следы Колоссея и Терм. Все они возле Санта Кроче; Капитолий был там, где теперь Старый рынок; Ротонда вся еще цела, которая была сделана для храма Марса, теперь она для нашего Сан Джованни. Что это было так, отлично видно, и отрицать этого нельзя; но сказанные здания много меньше римских. Тот, кто велел их построить, был, говорят, Юлий Цезарь с некоторыми римскими вельможами, которые, победив и взяв Фьезоле, воздвигли на этом месте город, и каждый из них взялся построить одно из этих замечательных зданий. Был у Юлия Цезаря первейший и храбрый военачальник, каковой звался Фиорино из Челлино; есть такой замок, в двух милях от Монте Фиаскони. Этот Фиорино расположился станом под Фьезоле, там, где теперь Флоренция, чтобы быть ближе к реке Арно, ради удобства войск, и все эти солдаты и прочие, у кого было дело к сказанному военачальнику, говорили: идем во Флоренцию, — как потому, что сказанного военачальника звали Фиорино, так и потому, что в том месте, где у него был сказанный его стан, по природе этого места, было изобильнейшее множество цветов². И вот, когда зачинался город, Юлию Цезарю понравилось это красивое имя, и потому, что оно дано было кстати, и потому, что цветы служат добрым предзнаменованием, и это имя Флоренции он дал именем сказанному городу; также и для того, чтобы оказать эту честь своему

храброму военачальнику; и он тем более к нему благоволил, что извлек его из весьма скромного места и сам сделал его таким замечательным человеком. То имя, которое говорят эти ученые измыслители и исследователи таких происхождений имен, говорят, будто от того, что она стоит на Арно³; это вряд ли может быть, потому что и Рим стоит на Тибре, и Феррара стоит на По, и Лион стоит на Соне, и Париж стоит на Сене; однако же у них имена разные и происшедшие другим путем. Так мы находим и так полагаем, что происходим от доблестного человека. Затем мы находим наших же Челлини в Равенне, еще более древнем городе Италии, и там они большие вельможи; имеются они и в Пизе, и я их находил во многих местах христианского мира; да и в этом Государстве их осталось несколько семейств, людей ратных; и не так еще много лет тому назад один юноша, по имени Лука Челлини, безбородый юноша, дрался с испытанным воином и храбрейшим человеком, который не раз сражался на поединках, по имени Франческо да Викорати. Этот Лука, по своей доблести, с оружием в руках одолел его и сразил с таким мужеством и доблестью, что изумил свет, который ожидал совсем обратного: так что я горжусь тем, что восхожу к доблестным людям. О том, как я снискал некоторую честь моему дому, каковая, при этом нашем теперешнем житье, по причинам, которые известны, и моим искусством, каковое не много приносит, в своем месте я об этом скажу; причем я гораздо больше горжусь тем, что, родясь простым, положил своему дому некоторое почтенное начало, чем если бы я был рожден от высокого рода и лживыми качествами запятнал его или очернил. Пока же начну о том, как богу было угодно, чтобы я родился.

III

Предки мои обитали в Валь д'Амбра, и там у них было великое множество владений; и как маленькие вельможи, удалясь туда из-за усобиц, они и жили; все это были люди ратные и весьма храбрые. В те времена

один из их сыновей, младший, которого звали Кристофано, затеял великую распрю с некими их соседями и приятелями; и так как с той и с другой стороны за это взялись главы семейств и они увидели, что огонь зажегся настолько изрядный, что грозит опасностью обеим семьям разрушиться вконец, то, рассудив это, те, что постарше, по уговору, мои убрали прочь Кристофано, и так же и другая сторона убрала прочь другого юношу, причину распри. Те отправили своего в Сиену; наши отправили Кристофано во Флоренцию и здесь купили ему домик на Виа Кьяра, у монастыря Сант'Орсоло; а у Понте а Рифредди купили ему очень хорошие владения. Сказанный Кристофано во Флоренции женился, и имел сыновей и дочерей, и устроил всех своих дочерей, остальное поделили меж собой сыновья, после смерти отца. Дом на Виа Кьяра вместе с кое-каким другим имуществом достался одному из сказанных сыновей, по имени Андреа. Этот точно так же женился и имел четырех детей мужского пола. Первого звали Джироламо, второго — Бартоломео, третьего — Джованни, который потом стал моим отцом, четвертого — Франческо. Этот Андреа Челлини был весьма сведущ в зодческом деле того времени и, как своим искусством, им и жил. Джованни, который стал моим отцом, больше, чем который-либо из остальных, занимался им. А так как, чтобы преуспевать в сказанном искусстве, как говорит, среди прочего, Витрувий¹, необходимо знать немного музыку и хорошо рисовать, то Джованни, став хорошим рисовальщиком, начал заниматься музыкой и вместе с тем научился очень хорошо играть на виоле и на флейте; и будучи человеком весьма прилежным, мало выходил из дому. Соседом у них стена об стену был некто, звавшийся Стефано Граначчи, у какового было несколько дочерей, всё красавицы. И вот богу было угодно, чтобы Джованни приметил одну из сказанных девушек, по имени Элизаббета; и так она ему понравилась, что он к ней посватался; а так как отцы, по близкому соседству, отлично были знакомы, то учинить этот брак было легко; и каждому из них казалось, что он очень хорошо устроил свои дела. Сначала

эти добрые старики сговорились о браке; затем начали толковать о приданом; и был между ними небольшой дружеский спор, потому что Андреа говорил Стефано: «Мой сын Джованни — отменнейший юноша и во Флоренции, и в Италии, и пожелай я женить его раньше, то я имел бы одно из самых крупных приданых, какие даются во Флоренции людям нашего звания»; а Стефано говорил: «Ты прав тысячу раз, но у меня пять дочерей и столько же сыновей, так что если подсчитать, то это все, что я могу натянуть». Джованни некоторое время слушал, скрытый от них, и, подойдя внезапно, сказал: «О мой отец, я пожелал и полюбил эту девушку, а не их деньги. Горе тем, кто хочет поживиться приданым своей жены. И раз вы хвастали, что я такой умный, то неужели я не сумею содержать мою жену и удовлетворить ее нужды хотя бы с меньшей суммой денег, чем вам хочется? Так вот я вам заявляю, что эта женщина — моя, а приданое пусть будет вашим». Хотя на это немного и рассердился Андреа Челлини, каковой был чуточку горяч, несколько дней спустя Джованни взял себе жену и никогда потом не требовал никакого больше приданого. Они услаждались своей молодостью и своей святой любовью восемнадцать лет, с великим, однако, желанием иметь детей; затем, после восемнадцати лет, сказанная его жена выкинула двух младенцев мужеского пола, по причине малого разума врачей; затем снова забеременела и родила девочку, и ей дали имя Коза, по матери моего отца. Два года спустя она снова забеременела; и так как на прихоти, которые бывают у беременных женщин, полагают много заботы, а они были точь-в-точь такие же, как и в прежние роды, то решили, что она должна произвести девочку, как и первая, и уговорились дать ей имя Репарата, чтобы повторить мать моей матери. Случилось, что она родила в ночь всех святых, после дня всех святых², в половине пятого³, ровно в тысяча пятисотом году. Повитуха, которая знала, что они ждут его девочкой, обмыв создание, завернув в прекраснейшие белые пелены, подошла тихонечко к Джованни, моему отцу, и сказала: «Я несу вам чудесный подарок,

какого вы и не ждали». Мои отец, который был истинный философ, расхаживал и сказал: «То, что бог мне посылает, всегда мне дорого», и, развернув пелены, увидел воочию неожиданного младенца мужского пола. Сложив престарелые ладони, он поднял вместе с ними очи к богу и сказал: «Господи, благодарю тебя от всего сердца; этот мне очень дорог, и да будет он Желанным». Все те лица, которые были при этом, радостно его спрашивали, какое ему дать имя. Джованни ничего другого им не ответил, как только: «Да будет он Желанным (Бенвенуто)». Так решили, такое имя дало мне святое крещение, и так я и живу с помощью божьей.

IV

Еще был жив Андреа Челлини, мой дед, когда мне было лет уже около трех, а ему перевалило за сто. Однажды меняли некую трубу у водостока, и из него вылез большой скорпион, какового никто не заметил, и из водостока он спустился наземь и ушел под скамью; я его увидел и, подбежав к нему, схватил его руками. Он был такой большой, что когда я его держал в ручонке, то по одну сторону торчал наружу хвост, а по другую сторону торчали обе клешни. Рассказывают, что я с великим торжеством побежал к деду, говоря: «Посмотри-ка, дедушка, какой у меня красивый рак!» Тот, увидев, что это скорпион, от великого страха и от тревоги за меня чуть не упал замертво; и с великими ласками стал его у меня просить; а я только еще больше сжимал его, плача, потому что никому не хотел его отдавать. Мой отец, который точно так же был дома, прибежал на эти крики и, остолбенев, не знал, чем помочь, чтобы это ядовитое животное меня не убило. Тут ему попались на глаза ножницы; и вот, играючи со мной, он отрезал ему хвост и клешни. После того как он избавился от этой великой беды, он счел это за доброе предзнаменование. Когда мне было лет около пяти и отец мой однажды сидел в одном нашем подвальчике, в каковом учинили стирку и остались ярко гореть дубовые дрова, Джованни, с виолой

в руках, играл и пел один у огня. Было очень холодно; глядя в огонь, он вдруг увидел посреди наиболее жаркого пламени маленького зверька, вроде ящерицы, каковой резвился в этом наиболее сильном пламени. Сразу поняв, что это такое, он велел позвать мою сестренку и меня и, показав его нам, малышам, дал мне великую затрещину, от каковой я весьма отчаянно принялся плакать. Он, ласково меня успокоив, сказал мне так: «Сынок мой дорогой, я тебя бью не потому, чтобы ты сделал что-нибудь дурное, а только для того, чтобы ты запомнил, что эта вот ящерица, которую ты видишь в огне, это — саламандра, каковую еще никто не видел из тех, о ком доподлинно известно». И он меня поцеловал и дал мне несколько квартир¹.

V

Начал мой отец учить меня играть на флейте и петь по нотам; и хотя возраст мой был самый нежный, когда маленькие мальчики обычно находят удовольствие в какой-нибудь свистульке и подобных игрушках, я имел к этому неопишное отвращение; однако, единственно чтобы слушаться, играл и пел. Отец мой изготовлял в те времена удивительные органы из деревянных трубок, клавишины, наилучшие и прекраснейшие, какие тогда можно было видеть, виолы, лютни, арфы, красивейшие и превосходнейшие; он был инженер и, чтобы делать инструменты, как-то снаряды для наводки мостов, снаряды для валяльных мельниц, всякие другие машины, работал изумительно; по слоновой кости он был первым, который хорошо работал. Но так как он и влюбился-то в ту, которая с ним стала — он мне отцом, а она — матерью, быть может из-за этой же флейточки, занимаясь ею много больше, чем следовало, то он был приглашен флейтчиками Синьории играть вместе с ними. Когда он продолжал так некоторое время для собственного удовольствия, они стали так его упрашивать, что сделали его таким же флейтчиком. Лоренцо де'Медичи¹ и Пьеро, его сын, которые его очень любили, увидели потом, что он весь отдался флейте и забросил свой прекрасный талант и свое пре-

красное искусство; они лишили его этого места. Мой отец очень рассердился и считал, что они учинили ему великую обиду. Он сразу принял за свое художество и сделал зеркало, около локтя² в поперечнике, из простой и слоновой кости, с фигурами и листьями, великой тщательности и прекрасного рисунка. Зеркало имело вид колеса; посередине было зеркало; вокруг было семь кругов, в каковых были вырезаны и выложены слоновой и черной костью семь Добродетелей; и все зеркало, а также и сказанные Добродетели, находились в равновесии; так что если вращать сказанное колесо, то все Добродетели двигались; а в ногах у них был противовес, который держал их стоймя. А так как он имел некоторые познания в латинском языке, то вокруг сказанного зеркала он сделал латинский стих, который гласил: «В какую бы сторону ни вращалось колесо Фортуны, Добродетель стоит твердо».

Rot'a sum: semper, quoquo me verto, stat Virtus.

Малое время спустя ему было возвращено место флейщика. Хотя кое-что из всего этого было еще до того, как я родился, но так как я об этом помню, то я не хотел оставить это в стороне. В те времена эти игроки были всё именитейшие мастера, и среди них были такие, которые принадлежали к старшим цехам³, шелковому и шерстяному; по этой причине отец мой не гнушался заниматься этим художеством; и величайшим на свете желанием, какое у него имелось на мой счет, это было, чтобы я сделался великим игроком; а величайшим на свете огорчением, какое я мог иметь, это было, когда он со мной об этом рассуждал, говоря мне, что если бы я захотел, он видит меня таким способным к этому делу, что я стал бы первым человеком в мире.

VI

Как я оказал, отец мой был великим слугой и другом Медицейского дома, и когда Пьеро был изгнан¹, то он доверялся моему отцу в премногих самоважнейших делах. Потом, когда пришел великолепный Пьеро

Содерини², отец же мой был в должности игроца, то Содерини, узнав об удивительном таланте моего отца, начал пользоваться им в самоважнейших делах как инженером; и пока Содерини оставался во Флоренции, он так любил моего отца, как только можно себе вообразить; и в те времена, так как я был в нежном возрасте, мой отец велел сажать меня на плечи и заставлял меня играть на флейте, и я исполнял сопрано вместе с дворцовыми музыкантами перед Синьорией и играл по нотам, а служка держал меня на плечах. Потом гонфалоньер, то есть сказанный Содерини, находил большое удовольствие в том, чтобы я болтал, и давал мне гостинцы, и говорил моему отцу: «Маэстро Джованни, научи его, вместе с музыкой, и остальным твоим прекрасным искусствам». Каковому мой отец отвечал: «Я не хочу, чтобы он занимался никакими другими искусствами, как только игрой и слаганием; потому что в этом художестве я надеюсь сделать величайшего человека в мире, если бог дарует ему жизнь». На эти слова возразил один из этих старых господ³, говоря маэстро Джованни: «Сделай так, как тебе говорит гонфалоньер; почему бы ему никогда не быть ни чем другим, как только хорошим игроцем?» Так прошло некоторое время, пока не вернулись Медичи⁴. Как только Медичи вернулись, кардинал, который стал потом папой Львом⁵, весьма обласкал моего отца. Тот герб, что был на дворце Медичи, пока они отсутствовали, с него были убраны шары⁶, и на нем написали большой красный крест, каковой был гербом и эмблемой Коммуны; так что, как только они вернулись, красный крест соскоблили и в сказанном щите поместили его красные шары и сделали золотое поле, устроив все очень красиво. Мой отец, у которого была от природы подлинная поэтическая жилка и даже немного пророческая, что несомненно было у него божественным, под сказанным гербом, как только он был открыт, поместил такие четыре стиха; гласили они так:

Сей герб, который был еще вчера
Под милосердной схоронен святыней,
Свой гордый лик опять являет ныне
И ждет священной мантии Петра.

Эту эпиграмму прочла вся Флоренция. Немного дней спустя умер папа Юлий II. Кардинал де'Медичи отправился в Рим и, вопреки ожиданию всех, был избран папой, и это был папа Лев X, щедрый и великодушный. Мой отец послал ему свои пророческие четыре стиха. Папа прислал ему сказать, чтобы он ехал туда и благо ему будет. Он не хотел ехать; и вот, вместо воздаяния, его лишил дворцовой должности Якопо Сальвиати, как только был сделан гонфалоньером. Это и было причиной, почему я поступил к золотых дел мастеру; и то я учился этому искусству, то играл, без всякой к тому охоты.

VII

Когда он мне говорил такие слова, я просил его, чтобы он мне позволил рисовать столько-то часов в день, а все остальное время я готов играть, только чтобы его удовлетворить. На это он мне говорил: «Так, значит, ты не любишь играть?» На что я говорил, что нет, потому что это казалось мне искусством гораздо более низким, чем то, которое у меня было в душе. Мой добрый отец, придя от этого в отчаяние, отдал меня в мастерскую к отцу кавалера Бандинелло¹, каковой звался Микеланьоло², золотых дел мастер из Пинци ди Монте, и был весьма искусен в этом художестве. Никаким родом он не блистал, а был сыном угольщика; это не в упрек Бандинелло, каковой положил основание своему дому, если тот пошел от доброго начала. Как бы оно там ни было, мне сейчас о нем говорить нечего. Когда я там прожил несколько дней, мой отец взял меня от сказанного Микеланьоло, как человек, который не мог жить без того, чтобы не видеть меня постоянно. Так, к своему неудовольствию, я продолжал играть до пятнадцатилетнего возраста. Если бы я захотел описывать великие дела, которые со мной случились вплоть до этого возраста и к великой опасности для собственной жизни, я бы изумил того, кто бы это читал; но чтобы не быть таким

пространным и так как мне многое нужно сказать, я это оставлю в стороне.

Достигнув пятнадцатилетнего возраста, я, вопреки воле моего отца, поступил в золотых дел мастерскую к одному, которого авали Антонио ди Сандро, золотых дел мастер, по прозвищу Марконе, золотых дел мастер. Это был отличнейший работник и честнейший человек, гордый и открытый во всех своих делах. Мой отец не хотел, чтобы он платил мне жалованье, как принято другим ученикам, с тем чтобы я, так как я добровольно взялся исполнять это художество, встал мог рисовать, сколько мне угодно. Это я делал весьма охотно, и этот славный мой учитель находил в этом изумительное удовольствие. Был у него побочный сын, единственный, каковому он много раз ему приказывал, дабы оберечь меня. Такова была великая охота, или склонность, и то и другое, что в несколько месяцев я наверстал хороших и даже лучших юношей в цехе и начал извлекать плод из своих трудов. При этом я не упускал иной раз угодить моему доброму отцу, то на флейте, то на корнете играя; и всегда он у меня ронял слезы с великими вздохами, всякий раз, как он меня слушал; и очень часто я, из любви, его ублажал, делая вид, будто и я тоже получаю от этого много удовольствия.

VIII

Был у меня в ту пору родной брат, моложе меня на два года, очень смелый и прегорячий, который стал потом из великих воинов, какие были в школе изумительного синьора Джованнино де'Медичи¹, отца герцога Козимо; этому мальчику было лет четырнадцать, а мне на два года больше. Однажды в воскресенье, около 22 часов², он был между воротами Сан Галло и воротами Пинти, и здесь он повздорил с неким юнцом лет двадцати, со шпагами в руках; он так ретиво на него наступал, что, люто его ранив, продолжал теснить. При этом присутствовало великое множество людей, среди которых было немало его родичей; и, видя, что дело идет по скверному пути, они схватили

множество пращей, и одна из них попала в голову бедному мальчику, моему брату; он тотчас упал наземь, без чувств, как мертвый. Я, который случайно находился тут же, и без друзей, и без оружия, кричал брату, как только мог, чтобы он уходил, что того, что он сделал, хватит; покамест не случилось, что он, таким вот образом, упал, как мертвый. Я тотчас же подбежал, и схватил его шпагу, и стал перед ним и против нескольких шпаг и множества камней; я не отходил от брата, пока от ворот Сан Галло не подошло несколько храбрых солдат и не избавили меня от этого великого неистовства, много дивясь тому, что в такой молодости такая великая храбрость. Так я отнес моего брата домой, как мертвого, и, прибыв домой, он пришел в себя с великим трудом. Когда он выздоровел, Совет Восьми³, который уже осудил наших противников и выслал их на несколько лет, также и нас выслал на полгода за десять миль. Я сказал брату: «Иди со мной»; и так мы расстались с бедным отцом, и, вместо того, чтобы дать нам сколько-нибудь денег, потому что у него их не было, он дал нам свое благословение. Я отправился в Сиену, разыскать некоего почтенного человека, который звался маэстро Франческо Касторо; и благо я как-то раз, убежав от отца, пришел к этому честному человеку и пробыл у него несколько дней, пока за мной не прислал отец, занимаясь золотых дел мастерством, то сказанный Франческо, когда я к нему явился, тотчас же меня узнал и приставил к делу. Когда я таким образом принялся работать, сказанный Франческо дал мне жилье на все то время, что я пробуду в Сиене; и там я поселил моего брата и себя и занимался работой много месяцев. Брат мой знал начатки латыни, но был такой молоденький, что не вошел еще во вкус науки и только и делал что гулял.

IX

В это время кардинал де'Медичи, каковой впоследствии стал папой Климентом¹, возвратил нас во Флоренцию, по просьбе моего отца. Некий ученик моего

отца, движимый собственным зломыслием, сказал сказанному кардиналу, чтобы тот послал меня в Болонью учиться хорошо играть к одному мастеру, который там был; каковой звался Антонио, действительно человек искусный в этом игрецком художестве. Кардинал сказал моему отцу, что если тот меня туда пошлет, то он даст мне в помощь сопроводительные письма. Отец мой, которому этого до смерти хотелось, послал меня; я же, будучи не прочь увидеть свет, отправился охотно. Прибыв в Болонью, я стал работать у одного, которого звали маэстро Эрколе дель Пиффери, и начал зарабатывать; и в то же время я каждый день ходил на урок музыки и в короткие недели достиг весьма больших успехов в этой проклятой музыке; но гораздо больших успехов достиг я в золотых дел мастерстве, потому что, не получив от сказанного кардинала никакой помощи, я поселился у некоего болонского миниатюриста, которого звали Шипионе Каваллетти; жил он в улице Баракканской божьей матери; и здесь я рисовал и работал для одного, которого звали Грациандио, иудей, у какового я очень хорошо зарабатывал. Полгода спустя я вернулся во Флоренцию, где этот Пьерино флейтщик, когда-то бывший учеником моего отца, был этим очень недоволен; я же, чтобы угодить моему отцу, ходил к нему на дом и играл на корнете и на флейте вместе с его родным братом, имя которому было Джироламо, и был он на несколько лет моложе сказанного Пьеро и был очень порядочный и хороший юноша; полная противоположность своему брату. Как-то раз среди прочих, зашел к этому Пьеро мой отец, послушать нашу игру; и придя в превеликое удовольствие от моей игры, сказал: «Я все ж таки сделаю изумительного игроца наперекор тем, кто хотел мне помешать». На это Пьеро ответил, и сказал правду: «Гораздо больше пользы и чести извлечет ваш Бенвенуто, если он займется золотых дел мастерством, вместо этого дуденья». От этих слов мой отец пришел в такое негодование, видя, что также и я того же мнения, что и Пьеро, что с великим гневом сказал ему: «Я всегда знал, что это ты мне препятствовал в этой моей столь желанной цели, и это ты сделал так, что

меня устранили с моего места во дворце, платя мне той великой неблагодарностью, которой принято вознаграждать великие благодеяния. Я тебе его добыл, а ты его у меня отнял; я тебя научил играть и всем искусствам, которые ты знаешь, а ты преиятствуешь моему сыну исполнить мою волю; но держи в памяти эти пророческие слова: не пройдет, я не говорю лет или месяцев, но и нескольких недель, как за эту твою столь бесчестную неблагодарность ты провалишься». На эти слова Пьерино возразил и сказал: «Маэстро Джованни, большинство людей, когда состарятся, вместе с этой самой старостью дуреют, как сделали и вы; и я этому не удивляюсь, потому что вы наищедрейше роздали все свое имущество, не подумав о том, что вашим детям оно может понадобиться, тогда как я думаю сделать как раз наоборот, оставить своим детям столько, чтобы они могли помочь и вашим». На это мой отец ответил: «Худое дерево никогда не приносило доброго плода, а наоборот; и еще я тебе скажу, что ты худой человек, и дети твои будут безумные и бедные и придут за подаванием к моим дельным и богатым детям». Так он ушел из его дома, и оба они бурчали друг другу неистовые слова. Тут я, который стал на сторону моего доброго отца, выйдя из этого дома вместе с ним, сказал ему, что хочу отомстить за оскорбления, которые этот негодяй ему учинил, с тем, чтобы вы мне позволили заниматься рисованием. Мой отец сказал: «О дорогой сын мой, я тоже был хорошим рисовальщиком; но для прохлаждения от этих столь удивительных трудов и из любви ко мне, который тебе отец, который тебя родил, и вскормил, и положил начало стольким достойным дарованиям, на отдыхе от них, неужели ты мне не обещаешь взять иной раз эту самую флейту и этот нежнейший корнет, и к некоторому усладительному своему удовольствию, услаждая себя, поиграть?» Я сказал, что да, и весьма охотно, из любви к нему. Тогда добрый отец сказал, что эти самые дарования будут наибольшей мезтью, которую за оскорбления, понесенные от его врагов, я бы мог учинить. После этих слов не прошло и месяца, как этот сказанный Пьерино, строя погреб в одном своем доме,

который у него был на виа делло Студио, и находясь однажды у себя в нижней комнате, над погребом, который он строил, со многими товарищами, говорил как раз о своем учителе, каковым был мой отец; и когда он повторял слова, которые тот ему сказал об его провале, то не успел он их сказать, как комната, где он был, потому ли, что погреб был плохо выведен, или одним могуществом всевышнего, который платит не по субботам, провалилась; и эти камни свода и кирпичи, падая вместе с ним, раздробили ему обе ноги); а те, кто был с ним, оставшись над краем погребца, не потерпели никакого вреда, а только остались ошеломлены и изумлены; больше всего тем, что он им только что перед этим с издевкой рассказал. Узнав об этом, мой отец, вооружившись, отправился к нему и, в присутствии его отца, которого звали Никколайо да Вольтерра, трубач Синьории, сказал: «О Пьеро, мой дорогой ученик, очень меня печалит твоя беда; но, если ты помнишь, я еще недавно тебя предупреждал; и все-таки случится между твоими детьми и моими то, что я тебе сказал». Малое время спустя неблагодарный Пьеро от этого увечья умер. Он оставил после себя бесстыдную свою жену с одним сыном, каковой спустя несколько лет приходил ко мне в Рим за милостыней. Я ему ее дал, потому что в моей природе творить милостыню, и потом я со слезами вспомнил то благополучие, в каком пребывал Пьеро, когда мой отец сказал ему эти слова, то есть что дети сказанного Пьерино еще придут за подаением к его дельным детям. И об этом довольно говорить, и пусть никто никогда не смеется над предвещаниями честного человека, несправедливо его оскорбив, потому что это не он говорит, а это голос самого бога.

Х

Меж тем я занимался золотых дел мастерством и им помогал моему доброму отцу. Другому моему сыну и моему брату, по имени Чеккино, как я сказал выше, преподав ему начатки латинской словесности,

потому что он желал сделать меня, старшего, великим игроком и музыкантом, а его, младшего, великим ученым законоведом, не в силах будучи побороть того, к чему нас склоняла природа, которая сделала меня приверженным к изобразительному искусству, а моего брата, который был прекрасного сложения и изящества, всецело склонным к ратному делу; и будучи еще очень молоденьким, уйдя однажды после первого урока в школе изумительнейшего синьора Джованнино де'Медичи; придя домой, когда меня не было, будучи хуже снабжен платьем и застав своих и моих сестер, которые, тайком от моего отца, дали ему мой плащ и камзол, отличные и новые, потому что, помимо помощи, которую я подавал моему отцу и моим добрым и честным сестрам, я от сбереженных моих трудов сделал себе это пристойное платье; видя себя обманутым и что у меня отняли сказанное платье, и не находя брата, ибо я хотел его у него отнять, я сказал моему отцу, почему он позволяет, чтобы мне чинили такую великую несправедливость, когда я так охотно утруждаюсь, чтобы ему помочь. На это он мне ответил, что я его добрый сын, а что этого он обрел, какового думал, что утратил; и что необходимо и даже самим богом предписано, чтобы, у кого есть добро, давал тому, у кого нет; и чтобы ради любви к нему я снес эту обиду; что бог воздаст мне всяких благ. Я, как юноша неопытный, возразил бедному удрученному отцу; и, взяв некий мой скудный остаток платья и денег, пошел к одним из городских ворот; и не зная, какие ворота те, что приведут меня в Рим, попал в Лукку, а из Лукки в Пизу. Придя в Пизу, — было мне тогда лет шестнадцать, — остановившись возле среднего моста, где так называемый Рыбий камень¹, перед лавкой золотых дел мастера, смотря со вниманием, что этот мастер делает, сказанный мастер меня спросил, кто я такой и какое мое ремесло: на что я сказал, что работаю немного в том же самом искусстве, которым занят и он. Этот честный человек сказал мне, чтобы я вошел к нему в лавку, и тотчас же дал мне работу, и сказал такие слова: «По твоему славному виду я заключаю, что ты

честный и хороший». И он выложил передо мной золото, серебро и камни; а когда я отработал мой первый день, то вечером он привел меня в свой дом, где он жил пристойно с красивой женой и детьми. Вспомнив о том горе, которое мог иметь из-за меня мой добрый отец, я ему написал, что я живу у очень доброго и честного человека, какового зовут маэстро Уливьери делла Кьостра, и выделяваю у него много прекрасных и больших работ; и чтобы он был спокоен, что я прилежно учусь и надеюсь этими знаниями вскоре принести ему пользу и честь. Мой добрый отец тотчас же на письмо ответил, говоря так: «Сын мой, любовь моя к тебе такова, что, если бы не великая честь, которую я соблюдаю превыше всего, я бы тотчас же собрался ехать за тобой, потому что, поистине, мне кажется, что я лишен света очей, не видя тебя каждый день, как я привык. Я буду стараться по-прежнему вести мой дом к доблестной чести, а ты старайся совершенствоваться в искусствах; и я только хочу, чтобы ты помнил эти простые четыре слова, и их соблюдай, и никогда их не забывай:

В какой бы ни пришел ты дом,
Живи не кражей, а трудом».

XI

Попало это письмо в руки этому моему учителю Уливьери, и он тайно от меня его прочел; потом он мне открылся, что прочел его, и сказал мне такие слова: «Значит, мой Бенвенуто, меня не обманул твой славный вид, как это мне подтверждает одно письмо, которое попало мне в руки, от твоего отца; по каковому это должен быть очень добрый и честный человек; считай же, что ты у себя в доме и как бы у своего отца». Живя в Пизе, я пошел посмотреть Кампо Санто¹ и нашел там много красивых древностей, то есть мраморных гробниц; и во многих других местах в Пизе я видел много других древних вещей, над которыми все те дни, какие у меня оставались от моей работы в мастерской, я прилежно утруждался; а так как мой учитель

с великой любовью приходил меня повидать в моей комнатушке, которую он мне дал, то, видя, что все свои часы я трачу на художество, он возымел ко мне такую любовь, как если бы был мне отцом. Я сделал большие успехи за тот год, что я там прожил, и работал из золота и серебра значительные и красивые вещи, каковые придали мне превеликого духу идти дальше вперед. Отец мой между тем писал мне очень ласково, что я должен вернуться к нему, и в каждом письме напоминал мне, что я не должен терять эту музыку, которой он с таким трудом меня обучил. При этом у меня тотчас же пропадала охота когда-либо возвращаться туда, где он, до того я ненавидел эту проклятую музыку; и мне поистине казалось, что я был в раю целый год, когда я жил в Пизе, где я никогда не играл. К концу года Уливьери, моему учителю, представился случай поехать во Флоренцию, чтобы продать кое-какой золотой и серебряный лом, который у него имелся; а так как в этом вреднейшем воздухе я схватил небольшую лихорадку, то с нею и с учителем я вернулся во Флоренцию, где мой отец учинил превеликие ласки этому моему учителю, нежно упрашивая его, втайне от меня, чтобы он согласился не увозить меня обратно в Пизу. Хворая, я провел около двух месяцев, и мой отец с великой нежностью заботился о моем лечении и выздоровлении, постоянно говоря мне, что он не может дожидаться, пока я буду здоров, чтобы послушать немного мою музыку. И когда он беседовал со мной об этой музыке, держа в руке мой пульс, потому что он имел некоторые познания в медицине и в латинской науке, то он чувствовал в этом самом пульсе, как только он принимался говорить о музыке, такие великие перебои, что часто перепуганный и в слезах уходил от меня; так что, видя это его великое огорчение, я сказал одной из этих моих сестер, чтобы мне принесли флейту; и хотя у меня все еще была лихорадка, но, так как инструмент этот очень неумотительный, то у меня не случилось перебоев, когда я играл с такой прекрасной постановкой рук и языка, что отец мой, вдруг войдя, благословил меня тысячу раз, говоря мне, что за то время, что

я был вдали от него, ему кажется, что я сделал великие усвоения; и просил меня, чтобы я продолжал и впредь и что я не должен терять такой прекрасный талант.

XII

Когда я выздоровел, я вернулся к своему Марконе, честному человеку, золотых дел мастеру, каковой давал мне зарабатывать, каковым заработком я помогал моему отцу и дому своему. В это время приехал во Флоренцию один ваятель, которого звали Пьеро Торриджани¹, каковой прибыл из Англии, где он прожил много лет; и так как он был очень дружен с этим моим учителем, то каждый день приходил к нему; и, увидев мои рисунки и мои работы, сказал: «Я приехал во Флоренцию, чтобы набрать как можно больше молодых людей; потому что, имея исполнить большую работу для моего короля, я хочу себе в помощь своих же флорентинцев; а так как твой способ работать и твои рисунки скорее ваятеля, нежели золотых дел мастера, то, благо мне предстоят большие работы из бронзы, я в одно и то же время сделаю тебя и искусным, и богатым». Это был человек замечательно красивый, чрезвычайо смелый; похож он был скорее на великого вояку, чем на ваятеля, особенно своими удивительными жестами и своим зычным голосом, с этакой привычкой хмурить брови, способной напугать любого храбреца; и каждый день он повествовал о своих подвигах у этих скотов англичан. При этом случае он завел речь о Микеланьоло Буонарроти; причиною чему был рисунок, который я сделал, копия с картонка божественнейшего Микеланьоло. Этот картон был первым прекрасным произведением, в котором Микеланьоло выказал свои изумительные дарования, и делал он его в соревновании с другим, который делал такой же, с Лионардо да Винчи, а должны они были служить для зала Совета во дворце Синьории. Изображали они, как Пиза была взята флорентинцами; и удивительный Лионардо да Винчи взял для выбора изобразить конный бой со взятием знамени, столь божественно сделанные, как только

можно вообразить. Микеланьоло Буонарроти изобразил на своем множестве пехотинцев, которые, так как дело было летом, начали купаться в Арно; и в эту минуту он изображает, что бьют тревогу, и эти нагие пехотинцы бегут к оружию, и с такими прекрасными телодвижениями, что никогда ни у древних, ни у других современных не видано произведения, которое достигало бы такой высокой точки; а как я уже сказал, и тот, что у великого Лионардо, был прекрасен и удивителен. Стояли эти два картона — один во дворце Медичи, другой в папском зале. Пока они были целы, они были школой всему свету². Хотя божественный Микеланьоло сделал потом большую капеллу папы Юлия³, он уже ни разу не подымался до этой точки и наполнил: его талант никогда уже не достигал силы этих первых опытов.

ХIII

Теперь вернемся к Пьеро Торриджани, который, с этим моим рисунком в руке, сказал так: «Этот Буонарроти и я ходили мальчишками учиться в церковь дель Кармине, в капеллу Мазаччо¹; а так как у Буонарроти была привычка издеваться над всеми, кто рисовал, то как-то раз среди прочих, когда он мне надоел, я рассердился гораздо больше обычного и, стиснув руку, так сильно хватил его кулаком по носу, что почувствовал, как у меня хрустнули под кулаком эти кость и хрящ носовые, как если бы это была трубочка с битыми сливками; и с этой моей метиной он останется, пока жив». Эти слова породили во мне такую ненависть, потому что я беспрестанно видел деяния божественного Микеланьоло, что у меня не только не явилось охоты ехать с ним в Англию, но я и вида его выносить не мог.

Я продолжал все время во Флоренции учиться на прекрасном пошибе Микеланьоло и от такового никогда не отступал. В эту пору я завел общение и теснейшую дружбу с одним милым юношей моих лет, который точно так же работал у золотых дел мастера. Имя ему было Франческо, сын Филиппо и внук Фра Филиппо², превосходнейшего живописца. От частого

общения у нас родилась такая любовь, что мы ни днем, ни ночью никогда не расставались; а так как к тому же его дом был полон прекрасных набросков, которые сделал его искушенный отец, каковых было несколько книг, рисованных его рукой, изображения прекрасных римских древностей, то, когда я их увидел, они меня весьма влюбили, и около двух лет мы водились вместе. В эту пору я сделал серебряную вещицу барельефом, величиной с руку маленького ребенка. Вещица эта служила пряжкой к мужскому поясу, которые тогда носились такой величины. На ней была вырезана купа лиственцев, сделанная на античный лад, со множеством младенцев и других красивейших машкер. Вещицу эту я сделал в мастерской у одного, которого звали Франческо Салимбене. Когда эту вещицу увидели в золотых дел цехе, то мне дали славу лучшего молодого работника в этом цехе. И так как некий Джованбатиста, по прозвищу Тассо³, резчик по дереву, юноша как раз моих лет, начал мне говорить, что если я хочу отправиться в Рим, то и он охотно пошел бы со мной; этот разговор, который у нас с ним был, происходил как раз после обеда, и так как я по причинам все той же музыки поссорился со своим отцом, то я сказал Тассо: «Ты мастер на слова, а не на дела». Каковой Тассо мне сказал: «Я тоже поссорился со своею матерью, и будь у меня столько денег, чтобы они довели меня до Рима, то я бы даже не стал возвращаться, чтобы запереть свою жалкую лавчонку». На эти слова я добавил, что если он из-за этого остается, то у меня при себе имеются такие деньги, которых хватит, чтобы нам обоим добраться до Рима. Так, беседа друг с другом, пока мы шли, мы неожиданно очутились у ворот Сан Пьеро Гаттолини. На что я сказал: «Мой Тассо, вот ворота, которых ни ты, ни я не заметили; и раз уж я здесь, то мне кажется, что я сделал полдороги». Так мы с ним говорили, он и я, продолжая путь: «Ах, что-то скажут наши старики сегодня вечером?» Так говоря, мы заключили условие не вспоминать о них больше до тех пор, пока не прибудем в Рим. И вот мы привязали фартуки за спиной и почти втихомолку дошли до Сиены. Когда мы пришли в Сиену, Тассо сказал, что

натрудил себе ноги, что дальше идти не хочет, и просил меня ссудить его деньгами, чтобы вернуться; на что я сказал: «Мне тогда не хватит, чтобы идти дальше; а тебе следовало подумать об этом, трогаясь из Флоренции; но если это ты из-за ног решаешь не идти, то мы найдем обратную лошадь в Рим, и тогда у тебя не будет повода не идти». И вот, взяв лошадь, видя, что он мне не отвечает, я направился к римским воротам. Он, видя мою решимость, не переставая ворчать, как только мог ковыляя, позади очень далеко и медленно шел. Когда я достиг ворот, то, сжалившись над моим товарищем, я подождал его и посадил его позади себя, говоря ему: «Что бы завтра сказали про нас наши приятели, если бы, собравшись в Рим, у нас не хватило духу миновать Сиену?» Тогда добрый Тассо сказал, что я говорю правду; и, так как он был человек веселый, начал смеяться и петь; и так, все время распевая и смеясь, мы доехали до Рима. Было мне тогда ровно девятнадцать лет, так же, как и столетию. Когда мы прибыли в Рим, я сразу же поступил в мастерскую к одному мастеру, которого звали Фиренцуола. Имя его было Джованни, и был он из Фиренцуолы в Ломбардии, и был искуснейшим человеком по выделке утвари и крупных вещей. Когда я ему показал немножко эту модель этой пряжки, которую я сделал во Флоренции у Салимбене, она ему изумительно понравилась, и он сказал такие слова, обращаясь к одному подмастерью, которого он держал, каковой был флорентинец и звался Джаннотто Джаннотти и жил у него уже несколько лет; он сказал так: «Этот из тех флорентинцев, которые умеют, а ты из тех, которые не умеют». Тут я, узнав этого Джаннотто, обернулся к нему, чтобы заговорить; потому что, пока он не уехал в Рим, мы часто ходили вместе рисовать и были очень близкие приятели. Он так рассердился на те слова, которые ему сказал его учитель, что сказал, что со мной незнаком и не знает, кто я такой; тогда я, возмущенный такими речами, сказал ему: «О Джаннотто, когда-то мой близкий друг, с которым мы бывали там-то и там-то, и рисовали, и ели, и пили, и ночевали на твоей даче, мне нет нужды, чтобы ты свидетельствовал обо мне этому

честному человеку, твоему учителю, потому что я надеюсь, что руки у меня таковы, что и без твоей помощи скажут, кто я такой».

XIV

Когда я кончил эти слова, Фиренцуола, который был человек очень горячий и смелый, обернулся к сказанному Джаннотто и сказал ему: «О жалкий негодяй, и тебе не стыдно применять такие вот способы и приемы к человеку, который тебе был таким близким товарищем?» И с той же горячностью обращаясь ко мне, сказал: «Поступай ко мне и сделай, как ты говорил, чтобы твои руки сказали, кто ты такой». И дал мне делать прекраснейшую серебряную работу для одного кардинала. Это был ларец, копия с порфиروهого, который перед дверьми Ротонды¹. Кроме того, что я скопировал, я сам от себя украсил его такими красивыми машкерками, что мой учитель пошел хвастать и показывать его по цеху, что из его мастерской вышла такая удачная работа. Он был величиной около полулуктя и был приспособлен, чтобы служить солонкой, которую ставят на стол. Это был первый заработок, который я вкусил в Риме; и часть этого заработка я послал в помощь моему доброму отцу; другую часть я оставил себе на жизнь и на это стал заниматься изучением древностей, до тех пор, пока у меня не вышли все деньги, так что мне пришлось вернуться работать в мастерскую. Этот Батиста дель Тассо, мой товарищ, недолго пробыл в Риме, потому что вернулся во Флоренцию. Принявшись за новые работы, мне пришла охота, когда я их кончил, переменить учителя, потому что меня подговаривал некий миланец, которого звали маэстро Паголо Арсаго. Этот мой первый Фиренцуола имел великое препирательство с этим Арсаго, говоря ему в моем присутствии некоторые оскорбительные слова, так что я взял слово в защиту нового учителя. Я сказал, что родился свободным и таким же свободным хочу и жить, и что на него жаловаться нельзя; а на меня и того меньше, потому что мне по условию причитается еще несколько скудо; и, как вольный ра-

ботник, я хочу идти, куда мне нравится, раз я знаю, что никому не причиняю ущерба. Так же и этот новый мой учитель сказал несколько слов, говоря, что он меня не звал и что я сделаю ему удовольствие, если вернусь к Фиренцуоле. К этому я добавил, что раз я знаю, что никоим образом не причиняю ему ущерба, и раз я кончил начатые мои работы, то я хочу принадлежать себе, а не другим, и кто меня желает, пусть у меня меня и просит. На это Фиренцуола сказал: «Я у тебя просить тебя не желаю, и ты ни за чем больше ко мне не показывайся». Я ему напомнил про мои деньги. Он начал надо мной смеяться; на что я сказал, что так же хорошо, как я управлялся с орудиями за той работой, которую он видел, не менее хорошо я управляюсь со шпагой для возмещения своих трудов. При этих словах случайно остановился один старичок, которого звали маэстро Антонио да Сан Марино. Это был первейший и превосходнейший золотых дел мастер в Риме, и он был учителем этого Фиренцуолы. Слыша мои речи, которые я говорил так, что их отлично можно было слышать, он тотчас же за меня заступился и сказал Фиренцуоле, чтобы тот мне заплатил. Пререкания были великие, потому что этот Фиренцуола был изумительный рубака, куда лучше, чем золотых дел мастер; однако же правда взяла свое, да и я с той же силой ее поддерживал, так что мне заплатили; и с течением времени сказанный Фиренцуола и я, мы стали друзья, и я крестил у него младенца, по его просьбе.

XV

Продолжая работать у этого маэстро Паголо Арсаго, я много зарабатывал, все время отсылая большую часть моему доброму отцу. По прошествии двух лет, на просьбы доброго отца, я возвратился во Флоренцию и снова стал работать у Франческо Салимбене, у которого очень хорошо зарабатывал, и очень старательно учился. Возобновив общение с этим Франческо, сыном Филиппо, хоть я и много предавался кое-каким удовольствиям, по причине этой проклятой музыки, я

никогда не упустил нескольких часов днем или ночью, каковые я отдавал занятиям. Сделал я в ту пору серебряный «кьявакоре», так их в те времена называли. Это был пояс шириной в три пальца, который принято было делать новобрачным, и был он сделан полурельефом с кое-какими круглыми также фигурками промеж них. Делался он для одного, которого звали Раффаэлло Лапаччини. Хотя мне за него прескверно заплатили, такова была честь, которую я из него извлек, что она стоила много больше, чем та цена, которую я из него по справедливости мог извлечь. Работая в ту пору у многих разных лиц во Флоренции, где я знавал среди золотых дел мастеров нескольких честных людей, как этот Марконе, мой первый учитель, другие, которые слыли очень хорошими людьми, наживаясь на моих работах, грабили меня как могли изрядно. Видя это, я отошел от них и относился к ним как к мошенникам и ворам. Один золотых дел мастер среди прочих, звавшийся Джованбатиста Сольяни, любезно уступил мне часть своей мастерской, каковая была на углу Нового рынка, рядом с банком, который держали Ланди. Здесь я сделал много красивых вещей и зарабатывал немало; мог очень хорошо помогать своему дому. Пробудилась зависть в этих моих дурных учителях, которые у меня прежде были, каковых звали Сальвадоре и Микеле Гуасконтти; у них в золотых дел цехе было три больших лавки, и они делали крупные дела; так что, видя, что они меня обижают, я пожаловался одному честному человеку, говоря, что довольно бы с них тех грабежей, которые они надо мной чинили под плащом своей ложной, показной доброты. Когда это дошло до их ушей, они похвалились, что заставят меня горько пожалеть о таких словах; я же, не зная, какого цвета бывает страх, ни во что или мало во что их ставил.

XVI

Случилось однажды, что, когда я стоял облокотясь у лавки одного из них, он меня окликнул и стал то прекать меня, то стращать; на что я отвечал, что если бы они поступили со мной как должно, то я говорил бы

о них, как говорят о хороших и честных людях; а так как они поступили наоборот, то пусть пеняют на себя, а не на меня. Пока я разговаривал, один из них, которого зовут Герардо Гуасконти, их двоюродный брат, быть может по уговору с ними, выждал, чтобы мимо прошел выюк. Это был выюк кирпичей. Когда этот выюк поравнялся со мной, этот Герардо с такой силой толкнул его на меня, что сделал мне очень больно. Тотчас же обернувшись и видя, что он этому смеется, я так хватил его кулаком в висок, что он упал без чувств, как мертвый; затем, повернувшись к его двоюродным братьям, я сказал: «Вот как поступают с такими ворами и трусами, как вы». И так как они хотели что-то предпринять, потому что их было много, то я, всплыв, взялся за ножик, который у меня был при себе, говоря так: «Если кто из вас выйдет из лавки, то другой пусть бежит за духовником, потому что врачу тут нечего будет делать». Эти слова до того их устрашили, что ни один не двинулся на помощь двоюродному брату. Как только я ушел, и отцы и сыновья побежали в Совет Восьми и там сказали, что я с оружием в руках напал на них в их лавке, вещь во Флоренции небывалая. Господа Совет вызвали меня к себе; я явился; и тут они дали мне великий нагоняй и ругали меня, как потому что видели, что я в плаще, а те в накидках и куколях, по-городскому, так еще и потому, что противники мои успели поговорить с этими господами на дому, с каждым в отдельности, а я, как человек неопытный, ни с кем из этих господ не поговорил, полагаясь на великую свою правоту; я сказал, что так как на великую обиду и оскорбление, которые мне учинил Герардо, я, движимый превеликим гневом, дал ему всего только пощечину, то мне кажется, что я не заслуживаю такого свирепого нагоняя. Едва Принцивалле делла Стуфа¹, каковой был в числе Восьми, дал мне договорить «пощечина», как он сказал: «Ты ему не пощечину дал, а ударил кулаком». Когда позвонили в колокольчик и всех выслали вон, то в мою защиту Принцивалле сказал товарищам: «Заметьте, господа, простоту этого бедного юноши, который обвиняет себя в том, что будто дал пощечину, думая, что это меньший проступок, чем удар

кулаком; потому что за пощечину на Новом рынке полагается пеня в двадцать пять скудо, а за удар кулаком — небольшая, а то и вовсе никакой. Это юноша очень даровитый и содержит свой бедный дом своими весьма изобильными трудами; и дай бог, чтобы у нашего города таких, как он, было изобилие, подобно тому, как в них у него недостаток».

XVII

Было среди них несколько замотанных куколей¹, которые, подвигнутые просьбами и наветами моих противников, будучи из этой партии Фра Джироламо², хотели бы посадить меня в тюрьму и наказать меня поверх головы; всему этому делу добрый Принцивалле помог. И так они мне устроили небольшую пеню в четыре меры муки, каковые должны были быть пожертвованы в пользу монастыря Заточниц. Как только нас позвали обратно, он велел мне, чтобы я не говорил ни слова под страхом их немилости и чтобы я подчинился тому, к чему я приговорен. И вот, учинив мне здоровый разнос, они послали нас к секретарю; я же, бурча, все время говорил: «Это была пощечина, а не кулак», так что Совет продолжал смеяться. Секретарь, от имени суда, велел нам обоим представить друг другу поручительство, и только меня одного приговорили к этим четырем мерам муки. Хоть мне казалось, что меня зарезали, я тем не менее послал за одним своим родственником, какового звали маэстро Аннибале, хирург, отец мессер Либродоро Либродори, желая, чтобы он за меня поручился. Сказанный не захотел прийти; рассердившись на такое дело, распляясь, я стал, как аспид, и принял отчаянное решение. Здесь познается, как звезды не только направляют нас, но и принуждают. Когда я подумал о том, сколь многим этот Аннибале обязан моему дому, меня обуял такой гнев, что, готовый на все дурное и будучи и по природе немного вспылчив, я стал ждать, чтобы сказанный Совет Восьми ушел обедать; и оставшись там один, видя, что никто из челяди Совета за мной не

смотрит, воспламененный гневом, выйдя из Дворца, я побегал к себе в мастерскую и, отыскав там кинжальчик, бросился в дом к своим противникам, которые были у себя дома и в лавке. Я застал их за столом, и этот молодой Герардо, который был причиной ссоры, набросился на меня; я ударил его кинжалом в грудь, так что камзол, колет, вплоть до рубашки, проткнул ему насквозь, не задев ему тела и не причинив ни малейшего вреда. Решив по тому, как входит рука и трещит одежда, что я натворил превеликую беду, и так как он от страха упал наземь, я сказал: «О предатели, сегодня тот день, когда я вас всех убью». Отец, мать и сестры, думая, что это судный день, тотчас же бросившись на колени, громким голосом, как из бочек, зывали о пощаде; и, видя, что они никак против меня не защищаются, а этот растянут на земле, как мертвец, мне показалось слишком недостойным делом их трогать; и я в ярости сбежал с лестницы и, очутившись на улице, застал всех остальных родичей, каких было больше дюжины; у кого была железная лопата, у кого толстая железная труба, у иных молотки, наковальни, у иных палки. Налетев на них, как бешеный бык, я четверых или пятерых сбил с ног и вместе с ними упал, все время замахиваясь кинжалом то на одного, то на другого. Те, кто остался стоять, усердствовали как могли, колотя меня в две руки молотками, палками и наковальнями; и так как господь иной раз милосердно вступается, то он сделал так, что ни они мне, ни я им не причинили ни малейшего вреда. Там осталась только моя шапка, какою овладев, мои противники, которые далеко было от нее разбежались, каждый из них пронзил ее своим оружием; когда затем они стали искать промеж себя раненых и убитых, то не было никого, кто бы пострадал.

XVIII

Я пошел к Санта Мариа Новелла¹ и, сразу же натолкнувшись на брата Алессо Строцци, с каковым я не был знаком, я этого доброго брата именем божьим

попросил, чтобы он спас мне жизнь, потому что я учинил великое преступление. Добрый брат сказал мне, чтобы я ничего не боялся; потому что, какое бы зло я ни учинил, в этой его келейке я вполне безопасен. Приблизительно через час Совет Восьми, собравшись в чрезвычайном порядке, вынес против меня один из ужаснейших приговоров, которые когда-либо были слышаны, под угрозой величайших кар всякому, кто меня приютит или будет обо мне знать, невзирая ни на место, ни на звание того, кто меня укроет. Мой удрученный и бедный добрый отец, явясь в Совет, упал на колени, прося помилования бедному молодому сыну; тогда один из этих бешеных², потрясая гребнем заматанного куколя, встал с места и с некими оскорбительными словами сказал бедному моему отцу: «Убирайся отсюда и сейчас же выйди вон, потому что завтра мы его отправим на дачу с копейщиками». Мой бедный отец, однако же, смело ответил, говоря им: «То, что бог судит, то вы и делаете, и не больше». На что этот же самый ответил, что бог наверняка так и судил. А мой отец ему сказал: «Я утешаюсь тем, что наверняка вы этого не знаете». И, выйдя от них, пришел ко мне вместе с неким юношей моих лет, которого звали Пьеро, сын Джованни Ланди; мы любили друг друга больше, чем если бы были братьями. У этого юноши была под накидкой чудесная шпага и отличнейшая кольчуга; и когда они пришли ко мне, мой отважный отец рассказал мне, как обстоит дело и что ему сказали господа Совет; затем он поцеловал меня в лоб и в оба глаза; сердечно меня благословил, говоря так: «Сила божья тебе да поможет». И, подав мне шпагу и доспех, собственными своими руками помог мне их надеть. Потом сказал: «О добрый сын мой, с этим в руке ты живи или умри». Пьер Ланди, который тут же присутствовал, плакал, не переставая, и дал мне десять золотых скудо, а я попросил его вырвать мне несколько волосиков с подбородка, которые были первым пушком. Брат Алессо одел меня монахом и дал мне в спутники послушника. Выйдя из монастыря, выйдя за ворота Прато, я пошел вдоль стен до площади Сан Галло; и,

поднявшись по склону Монтуи, в одном из первых домов я нашел одного, которого звали Грассуччо, родной брат мессер Бенедетто да Монте Варки³. Я тотчас же расстригся и, став опять мужчиной, сев на двух коней, которые там для нас были, мы ночью поехали в Сиену. Когда я отослал этого Грассуччо обратно во Флоренцию, он навестил моего отца и сказал ему, что я благополучно прибыл. Мой отец очень обрадовался, и ему не терпелось встретиться опять того из Восьми, который его оскорбил; и, встретив его, он сказал так: «Вы видите, Антонио, что это бог знал, что станется с моим сыном, а не вы?» На что тот ответил: «Пусть только попадется нам еще раз». А мой отец ему: «Век буду благодарить бога, что он его вызволил».

XIX

Будучи в Сиене, я подождал нарочного в Рим и к нему присоединился. Когда мы переехали Палью, мы встретили гонца, который вез известие о новом папе, каковой был папа Климент¹. Прибыв в Рим, я стал работать в мастерской у маэстро Санти, золотых дел мастера; хотя сам он умер, но мастерскую держал один его сын. Этот не работал, а все дела по мастерской давал делать юноше, которого звали Лука Аньоло да Иези. Этот был из деревни и еще малым мальчишкой пришел работать к маэстро Санти. Ростом он был мал, но хорошо сложен. Этот юноша работал лучше, чем кто-либо из тех, кого я до той поры видал, с превеликой легкостью и с большим изяществом; работал он только крупные вещи, то есть отличнейшие вазы, и тазы, и тому подобное. Начав работать в этой мастерской, я взялся сделать некои подсвечники для епископа Саламанки, испанца. Подсвечники эти были богато отделаны, насколько требуется для такого рода работы. Один ученик Раффаэлло да Урбино, по имени Джанфранческо и по прозвищу Фатторе², это был очень искусный живописец; и так как он был дружен со сказанным епископом, он ввел меня к нему в большую милость, так что у меня было множество работы

от этого епископа, и я зарабатывал очень хорошо. В те времена я ходил рисовать когда в Капеллу Микеланьоло³, а когда в дом Агостино Киджи⁴, сиенца, в каком-то доме было много прекраснейших произведений живописи руки превосходнейшего Раффаэлло да Урбино; и бывало это по праздникам, потому что в сказанном доме проживал мессер Джисмондо Киджи, брат сказанного мессера Агостино. Они очень гордились, когда видели, как юноши вроде меня приходят учиться в их дом. Жена сказанного мессера Джисмондо, видя меня часто в этом своем доме, — эта дама была мила, как только можно быть, и необычайно красива, — подойдя однажды ко мне, посмотрев мои рисунки, спросила меня, ваятель я или живописец; какой-то даме я сказал, что я золотых дел мастер. Она сказала, что я слишком хорошо рисую для золотых дел мастера, и, велев одной своей горничной принести лилию из красивейших алмазов, оправленных в золото, показав их мне, пожелала, чтобы я их ей оценил. Я их оценил в восемьсот скудо. Тогда она сказала, что я очень верно их оценил. Затем она меня спросила, возьмусь ли я хорошо их оправить; я сказал, что очень охотно, и в ее присутствии сделал небольшой рисунок; и сделал его тем лучше, что находил удовольствие беседовать с этой такой красивой и приветливой благородной дамой. Когда я кончил рисунок, подошла другая весьма красивая благородная римская дама, которая была наверху и, спустившись вниз, спросила у сказанной мадонны Порции, что она тут делает; та, улыбаясь, сказала: «Я люблюсь на то, как рисует этот достойный молодой человек, который и мил, и красив». Я же, набравшись чуточку смелости, хоть и смешанной с чуточкой застенчивости, покраснел и сказал: «Каков бы я ни был, я всегда, мадонна, буду всецело готов вам служить». Благородная дама, тоже слегка покраснев, сказала: «Ты сам знаешь, что мне хочется, чтобы ты мне служил»; и, передавая мне лилию, сказала, чтобы я взял ее с собой; и кроме того, дала мне двадцать золотых скудо, которые были у нее в кошельке, и сказала: «Оправь мне ее так, как ты мне нарисовал, и сохрани мне это старое золото, в которое она

оправлена сейчас». Благородная римская дама тогда сказала: «Будь я на месте этого юноши, я бы ушла себе с богом». Мадонна Порция добавила, что таланты редко уживаются с пороками и что если бы я это сделал, я бы сильно обманул ту славную внешность честного человека, какую я показываю; и, повернувшись, взяв за руку благородную римскую даму, с приветливейшей улыбкой сказала мне: «До свидания, Бенвенуто». Я еще посидел немного над рисунком, который делал, копируя некую фигуру Юпитера, руки сказанного Раффаэлло да Урбино. Когда я ее кончил, уйдя, я принялся делать маленькую восковую модельку, показывая ею, какой должна потом выйти самая работа; когда я понес ее показывать сказанной мадонне Порции и тут же присутствовала та самая благородная римская дама, о которой я сказал раньше, то обе они, премного удовлетворенные моими трудами, учинили мне такую похвалу, что, движимый чуточкой гордости, я им обещал, что самая вещь будет еще вдвое лучше, чем модель. И вот я принялся, и в двенадцать дней закончил сказанную вещь, в форме лилии, как я сказал выше, украшенную машкерками, младенцами, животными и отлично помуравленную; так что алмазы, из которых была лилия стали по меньшей мере вдвое лучше.

XX

Пока я работал над этой вещью, этот искусник Луканьоло, о котором я говорил выше, выказывал великое этим недовольство, много раз повторяя мне, что мне будет гораздо больше пользы и чести, если я буду помогать ему работать большие серебряные вазы, как я было начал. На что я сказал, что я всегда смогу, когда захочу, работать большие серебряные вазы; а что такие работы, как та, что я делаю, случается делать не каждый день; и что от таких вот работ не меньше чести, чем от больших серебряных ваз, а пользы и гораздо больше. Этот Луканьоло поднял меня на смех, говоря: «Вот увидишь, Бенвенуто,

к тому времени, когда ты кончишь эту работу, я потороплюсь кончить эту вазу, которую я начал, когда и ты свою вещицу; и тебе на опыте станет ясно, какую пользу я извлеку из своей вазы и какую ты извлечешь из своей вещицы». На что я ответил, что охотно буду рад учинить с таким искусником, как он, такое испытание, потому что при конце этих работ будет видно, кто из нас ошибался. Так каждый из нас, немножко с презрительным смешком, свирепо нагнув голову, желая, и тот и другой, привести к концу начатые работы; так что дней приблизительно через десять каждый из нас с великим тщанием и искусством закончил свою работу. Работа Луканьоло сказанного была огромная ваза, каковая подавалась к столу папы Климента, куда он бросал, когда бывал за трапезой, косточки от мяса и шелуху от разных плодов; вещь скорее роскошная, чем необходимая. Была эта ваза украшена двумя красивыми ручками, и множеством машкер, больших и малых, и множеством красивейших листьев, такой прелести и изящества, какие только можно себе представить; и я ему сказал, что это самая красивая ваза, которую я когда-либо видел. На это Луканьоло, думая, что я убедился, сказал: «Не хуже кажется и мне твоя работа, но скоро мы увидим разницу между той и другой». И вот, взяв свою вазу, отнеся ее к папе, тот остался чрезвычайно доволен и тут же велел ему заплатить, сколько полагается за такие крупные изделия. Тем временем я снес свою работу к сказанной благородной даме мадонне Порции, каковая, весьма дивясь, сказала мне, что я далеко превзошел данное ей обещание; и потом добавила, говоря мне, чтобы я потребовал за свои труды все, что мне угодно, потому что она считает, что я заслужил столько, что если бы она подарила мне замок, то и то она бы считала, что едва ли меня удовлетворила; но так как этого она сделать не может, то она сказала, смеясь, чтобы я потребовал того, что она может сделать. На что я ей сказал, что величайшая награда, желаемая за мои труды, это угодить ее милости. И, точно так же смеясь, откланявшись ей, я пошел, говоря, что не желаю иной награды, чем эта.

Тогда мадонна Порция сказанная обернулась к этой благородной римской даме и сказала: «Вы видите, что эти таланты, которые мы в нем угадали, сопровождаются вот чем, а не пороками?» И та и другая были восхищены, и мадонна Порция сказала: «Мой Бенвенуто, слышал ли ты когда-нибудь, что когда бедный дает богатому, то дьявол смеется?» На что я сказал: «Ему так невесело, что на этот раз мне хочется, чтобы он посмеялся». И когда я уходил, она сказала, что на этот раз она не хочет оказать ему такую милость. Когда я вернулся в мастерскую, у Луканьола были в свертке деньги, полученные за вазу; и, когда я вошел, он сказал: «Дай-ка сюда для сравнения плату за твою вещицу рядом с платой за мою вазу». На что я сказал, чтобы он сохранил ее в таком виде до следующего дня; потому что я надеюсь, что как моя работа в своем роде не хуже, чем его, так я жду, что такую же покажу ему и плату за нее.

XXI

Когда настал следующий день, мадонна Порция, прислав ко мне в мастерскую одного своего домоправителя, он меня вызвал наружу и, дав мне в руки сверток, полный денег, от имени этой синьоры, сказал мне, что она не хочет, чтобы дьявол слишком уж над ней смеялся; выражая, что то, что она мне посылает, не есть полная плата, которой заслуживают мои труды, со множеством других учтивых слов, достойных такой синьоры. Луканьола, которому не терпелось сравнить свой сверток с моим, как только я вернулся в мастерскую, в присутствии дюжины работников и других соседей, явившихся сюда же, которым хотелось увидеть конец такого спора, Луканьола взял свой сверток, с издевкой посмеиваясь, сказав: «Ух! Ух!» три или четыре раза, и высыпал деньги на прилавок с великим шумом; каковых было двадцать пять скудо в джулио¹, и он думал, что моих будет четыре или пять скудо монетой. Я же, оглушенный его криками, взглядами и смехом окружающих, заглянув

этак малость в свой сверток, увидав, что там все золото, у края прилавка, потупив глаза, без малейшего шума, обеими руками сильно вверх поднял мой сверток, каковой и опорожнил, вроде как мельничный насып. Моих денег было вдвое больше, чем его; так что все эти глаза, которые было уставились на меня с некоторой усмешкой, тотчас же, повернувшись к нему, сказали: «Луканьоло, эти деньги Бенвенуто, которые золотые и которых вдвое больше, имеют гораздо лучший вид, чем твои». Я был уверен, что от зависти, вместе со стыдом, который понес этот Луканьоло, он тотчас же рухнет мертвым; и хотя из этих моих денег ему причиталась третья часть, потому что я был работник, ибо таков обычай: две трети достаются работнику, а остальная треть хозяевам мастерской, — лютая зависть превозмогла в нем жадность, каковая должна была произвести как раз обратное, потому что этот Луканьоло родился от мужика из Иези. Он проклял свое искусство и тех, кто его научил ему, говоря, что отныне впредь не желает больше выделывать этих крупных вещей, а желает заняться выделкой только такой вот мелкой дряни, раз она так хорошо оплачивается. Не менее возмущенный, я сказал, что всякая птица поет на свой лад; что он говорит сообразно пещерам, откуда он вышел, но что я ему заявляю, что отлично справлюсь с выделкой его хлама, а что он никогда не справится с выделкой такого вот рода дряни. И, уходя во гнев, сказал ему, что скоро он это увидит. Те, кто при этом присутствовал, вслух его осудили, отнесясь к нему, как к мужику, каким он и был, а ко мне, как к мужчине, как я это выказал.

XXII

На следующий день я пошел поблагодарить мадонну Порцию и сказал ей, что ее милость поступила наоборот тому, что говорила; что я хотел, чтобы дьявол посмеялся, а она его заставила снова отречься от бога. Мы оба весело посмеялись, и она мне заказала еще несколько красивых и хороших работ. Тем вре-

менем я домогался, через посредство одного ученика Раффаэлло да Урбино, живописца, чтобы епископ Саламанка заказал мне большую вазу для воды, так называемую «аккуеречча», которые служат для буфетов и ставятся на них для украшения. И сказанный епископ, желая сделать их две, одинаковой величины, одну из них заказал сказанному Луканьоло, а другую должен был сделать я. А что до отделки сказанных ваз, то рисунок их нам дал сказанный Джоанфранческо, живописец. И так я с удивительной охотой принялся за сказанную вазу, и мне отвел кусочек мастерской некий миланец, которого звали маэстро Джованпьеро делла Такка. Наведя у себя порядок, я подсчитал деньги, которые могли мне понадобиться для кое-каких моих дел, а все остальное отослал в помощь моему бедному доброму отцу; каковой, как раз когда ему их уплачивали во Флоренции, столкнулся случайно с одним из этих бешеных, что были из Совета Восьми в ту пору, когда я произвел этот маленький беспорядок, и который, понося его, сказал ему, что отправит меня на дачу с копейщиками во что бы то ни стало. А так как у этого бешеного были некои дурные сынки, то мой отец кстати сказал: «С каждым могут случиться несчастья, особенно с людьми вспыльчивыми, когда они правы, как случилось с моим сыном; но посмотрите по всей остальной его жизни, как я сумел его добродетельно воспитать. Дай бог, в услужение вам, чтобы ваши сыновья поступали с вами не хуже и не лучше, чем поступают мои со мной; потому что как бог создал меня таким, что я сумел их воспитать, так там, где мои силы не могли достигнуть, он сам мне его избавил, вопреки вашим чаяниям, от ваших свирепых рук». И, расставшись с ним, про все это происшествие он мне написал, упрасывая меня, ради создателя, чтобы я играл иной раз, дабы я не терял этого прекрасного искусства, которому он с такими трудами меня обучил. Письмо было полно самых ласковых отеческих слов, какие только можно услышать; так что они вызвали у меня нежные слезы, желая, прежде чем он умрет, убла-

жить его в изрядной доле по части музыки, ибо господь ниспосылает нам всякую дозволенную милость, о которой мы его с верою просим.

XXIII

Пока я усердствовал над красивой вазой Саламанки и в помощь у меня был только один мальчонка, которого я, по превеликим просьбам друзей, почти что против воли, взял к себе в ученики. Мальчику этому было от роду лет четырнадцать, звали его Паулино, и был он сыном одного римского гражданина, каковой жил своими доходами. Был этот Паулино самый благовоспитанный, самый милый и самый красивый ребенок, которого я когда-либо в жизни видел; и за его милые поступки и обычаи, и за его бесконечную красоту, и за великую любовь, которую он ко мне питал, случилось, что по этим причинам я возымел к нему такую любовь, какая только может вестись в груди у человека. Эта страстная любовь была причиной тому, что, дабы видеть как можно чаще просветленным это чудесное лицо, которое по природе своей бывало скромным и печальным; но когда я брался за свой корнет, на нем вдруг появлялась такая милая и такая прекрасная улыбка, что я нисколько не удивляюсь тем басням, которые пишут греки про небесных богов; если бы этот жил в те времена, они, пожалуй, еще и не так соскакивали бы с петель. Была у этого Паулино сестра, по имени Фаустина, и я думаю, что никогда Фаустина не была так красива¹, про которую древние книги столько болтают. Когда он иной раз водил меня на свой виноградник, и, насколько я мог судить, мне казалось, что этот почтенный человек, отец сказанного Паулино, не прочь сделать меня своим зятем. По этой причине я играл много больше, нежели то делал прежде. Случилось в это время, что некий Джаньякомо, флейтщик из Чезены, который жил у папы, весьма удивительный игрец, дал мне знать через Лоренцо, луккского трубача, каковой теперь на службе у нашего герцо-

га², не желаю ли я помочь им на папском Феррагосто³ сыграть сопрано на моем корнете в этот день несколько моттетов, которые они выбрали красивейшие. Хотя у меня и было превеликое желание окончить эту мою начатую красивую вазу, но так как музыка вещь сама по себе чудесная и чтобы отчасти удовлетворить старика отца, я согласился составить им компанию; и за неделю до Феррагосто, ежедневно по два часа, мы играли сообща, так что в день августа явились в Бельведере и, пока папа Климент обедал, играли эти разученные моттеты так, что папе пришлось сказать, что он никогда еще не слышал, чтобы музыка звучала более сладостно и более согласно. Подозвав к себе этого Джаньякомо, он спросил его, откуда и каким образом он раздобыл такой хороший корнет для сопрано, и подробно расспросил его, кто я такой. Сказанный Джаньякомо в точности сказал ему мое имя. На это папа сказал: «Так это сын маэстро Джованни?» Тот сказал, что это я и есть. Папа сказал, что хочет меня к себе на службу среди прочих музыкантов. Джаньякомо ответил: «Всеблаженный отче, за это я вам не поручусь, что вы его залучите, потому что его художество, которым он постоянно занят, это — золотых дел мастерство, и в нем он работает изумительно и извлекает из него много лучшую прибыль, чем мог бы извлечь, играя». На это папа сказал: «Тем более я его хочу, раз у него еще и такой талант, которого я не ожидал. Вели ему устроить то же жалованье, что и вам всем; и от моего имени скажи ему, чтобы он мне служил и что я изо дня в день также и по другому его художеству широко буду давать ему работу». И, протянув руку, передал ему в платке сто золотых камеральных скудо⁴ и сказал: «Подели их так, чтобы и он получил свою долю». Сказанный Джаньякомо, отойдя от папы, подошедши к нам, сказал в точности все, что папа ему сказал; и, поделив деньги между восемью товарищами, сколько нас было, дав и мне мою долю, сказал мне: «Я велю тебя записать в число наших товарищей». На что я сказал: «Сегодня обождите, а завтра я вам отвечу». Расставшись с ними, я стал

раздумывать, надо ли мне соглашаться на такое дело, принимая во внимание, насколько оно должно мне повредить, отвлекая меня от прекрасных занятий моим искусством. На следующую ночь мне явился во сне мой отец и с сердечнейшими слезами упрашивал меня, чтобы, ради любви к создателю и к нему, я согласился взяться за это самое предприятие; на что я ему будто бы отвечал, что ни в коем случае не желаю этого делать. Вдруг мне показалось, что он в ужасном обличи меня устрашает и говорит: «Если ты этого не сделаешь, тебя постигнет отцовское проклятие, а если сделаешь, то будь благословен от меня навеки». Проснувшись, я от страха побежал записываться; затем написал об этом моему старику отцу, с каковым от чрезмерной радости случился припадок, каковой чуть не привел его к смерти; и тотчас же он мне написал, что и ему приснилось почти то же самое, что и мне.

XXIV

Мне казалось, что, так как я исполнил почтенное желание моего доброго отца, то всякое дело должно мне удаваться к чести и славе. И вот я с превеликим рвением принялся заканчивать вазу, которую начал для Саламанки. Этот епископ был весьма удивительный человек, богатейший, но угодить ему было трудно; он каждый день присылал взглянуть, что я делаю; и всякий раз, когда его посланный меня не заставал, сказанный Саламанка приходил в величайшую ярость, говоря, что отнимет у меня сказанную работу и даст ее кончать другим. Причиной тому была служба этой проклятой музыке. Однако же я с превеликим рвением принялся днем и ночью, так что, приведя ее в такой вид, что ее можно было показать, я сказанному епископу дал на нее взглянуть; какого одолело такое желание увидеть ее законченной, что я раскаялся, что показал ее ему. Через три месяца я закончил сказанную работу, с такими красивыми зверьками, листьями и машкерами, какие только можно вообразить. Я тотчас же послал ее с

этим моим Паулино, учеником, показать этому искуснику Луканьоло, сказанному выше; каковой Паулино, с этой своей бесконечной прелестью и красотой, сказал так: «Мессер Луканьоло, Бенвенуто говорит, что посылает вам показать свое обещание и ваш хлам, ожидая увидеть от вас свою дрянь». Когда тот сказал эти слова, Луканьоло взял в руки вазу и долго ее осматривал; затем сказал Паулино: «Красивый мальчик, скажи своему хозяину, что он великий искусник и что я его прошу считать меня своим другом, а в остальное не входить». Превесело передал мне это извещение этот милый и чудесный мальчуган. Сказанную вазу отнесли к Саламанке, каковой пожелал, чтобы ее оценили. В сказанной оценке участвовал этот Луканьоло, каковой весьма лестно мне ее оценил и расхвалил на много больше того, чем я ожидал. Взяв сказанную вазу, Саламанка, чисто по-испански, сказал: «Клянусь богом, что я так же буду медлить с платежом, как и он тянул с работой». Услышав это, я остался крайне недоволен, проклиная всю Испанию и всех, кому она мила. Была у этой вещи, среди прочих отличных украшений, ручка из цельного куска, тончайшей работы, которая, при помощи некоей пружины, держалась прямо над отверстием вазы. Когда однажды сказанный монсиньор показывал, чтобы похвастать, эту мою вазу неким своим испанским господам, случилось так, что один из этих господ, когда сказанный монсиньор вышел, слишком неосторожно действуя красивой ручкой у вазы, эта нежная пружина, не выдержав его мужицкой силы, в руках у него сломалась; и так как ему казалось, что он натворил великую беду, то он попросил дворецкого, который ее ведал, поскорее отнести ее к мастеру, который ее делал, чтобы тот немедленно ее починил, и обещать ему любую цену, сколько он ни потребует, лишь бы поскорее было починено. Когда, таким образом, ваза попала мне в руки, я обещал починить ее со всей скоростью, и так и сделал. Сказанная ваза была мне принесена перед едой; в двадцать два часа явился тот, кто мне ее принес, каковой был весь в поту, потому что всю дорогу бежал,

ибо монсиньор еще раз снова ее потребовал, чтобы показать неким другим господам. Поэтому этот дворецкий не давал мне вымолвить ни слова, говоря: «Живо, живо, неси вазу». Я же, собираясь не спешить и ее не отдавать, сказал, что торопиться не желаю. Служитель этот пришел в такую ярость, что, показывая вид, что одной рукой он берется за шпагу, а другой намеревался и силился вломиться в мастерскую; в чем я ему немедленно воспрепятствовал оружием, сопровождаемым многими резкими словами, говоря ему: «Я не желаю ее тебе отдавать; и ступай сказать монсиньору, твоему хозяину, что я желаю деньги за свои труды, прежде чем она выйдет из этой мастерской». Тот, видя, что не мог добиться дерзостью, принялся меня умолять, как молятся кресту, говоря мне, что если я ему ее отдам, то он сделает так, что мне заплатят. Эти слова ничуть не поколебали меня в моем решении, продолжая говорить ему то же самое. Наконец, отчаявшись в предприятии, он поклялся, что приведет столько испанцев, что они меня изрубят на куски, и убежал бегом, а я тем временем, отчасти веря этому их смертоубийству, решил мужественно защищаться и привел в порядок одну свою чудесную пищаль, каковая мне служила, чтобы ходить на охоту, говоря про себя: «Если у меня отнимают мое имущество заодно с трудами, то еще уступать им и жизнь?» Во время этого прения, которое я вел сам с собой, появилось множество испанцев вместе с их домоправителем, каковой, на их заносчивый лад, сказал им всем, чтобы они входили и забирали вазу, а меня отколотили палками. На каковые слова я им показал дуло пищали с зажженным фитилем и громким голосом закричал: «Нехристи, предатели, нешто громят таким способом дома и лавки в Риме? Сколько из вас, ворыг, подойдет к этой дверце, столькох я из этой моей пищали уложу на месте». И, наведя дуло этой пищали на их домоправителя и делая вид, будто я готовлюсь выстрелить, сказал: «А ты, разбойник, который их науськиваешь, я хочу, чтобы ты умер первым». Тотчас же он пришпорил конька, на котором

сидел, и во весь опор поскакал прочь. На этот великий шум высыпали наружу все соседи; да кроме того, мимо проходило несколько знатных римлян, которые сказали: «Убей этих нехристей, мы тебе поможем». Эти слова возымели такую силу, что, весьма устранившиеся, они от меня удалились; так что, по необходимости, принуждены были поведать весь случай монсеньору, каковой был прегорд и всех этих слуг и подчиненных изругал как потому, что они учинили такое бесчинство, так и потому, что, раз начав его, не довели до конца. Тут подвернулся тот живописец, который ко всему этому имел касательство; каковому монсеньор сказал, чтобы он сходил ко мне передать от его имени, что если я сейчас же не принесу ему вазу, то от меня самым большим куском останутся уши; а если я ее принесу, то он мне тотчас же выдаст за нее плату. Это меня ничуть не испугало, и я велел ему передать, что сейчас же пойду рассказать обо всем папе. Тем временем у него прошел гнев, а у меня страх, и вот, имея слово неких знатных римских вельмож, что он меня не обидит, и с твердой уверенностью в уплате за мои труды, снарядившись большим кинжалом и своей доброй кольчугой, я явился в дом к сказанному монсеньору, каковой велел снарядиться всей своей челяди. Когда я вошел, рядом со мной был мой Паулино с серебряной вазой. Это было не более и не менее, как пройти сквозь Зодиак, потому что один изображал льва, другой скорпиона, третий рака; однако мы все же достигли особы этого попишки, каковой разразился самыми разиспанистыми поповскими словесами, какие только можно вообразить. Но я не подымал головы, чтобы на него взглянуть, и не отвечал ему ни слова. У какового, казалось, все пуще возрастал гнев; и, велев подать мне, чем писать, он мне сказал, чтобы я написал собственной рукой, говоря, что вполне удовлетворен и получил сполна. На это я поднял голову и сказал ему, что очень охотно это сделаю, если сперва получу свои деньги. Рассвирепел епископ; и угрозы и препирательства были великие. Наконец, я сперва получил деньги, затем расписался и, веселый и довольный, пошел домой.

Когда об этом услышал папа Климент, каковой уже видел эту вазу раньше, но она не была ему показана как моей руки, он пришел в превеликое удовольствие, и надавал мне много похвал, и говорил на людях, что превесьма меня любит; так что монсиньор Саламанка очень раскаивался, что учинил мне эти свои страдания; и чтобы замирить меня, послал мне с тем же самым живописцем сказать, что хочет заказать мне много больших работ, на что я сказал, что охотно их выполню, но хочу за них плату раньше, чем их начну. Также и эти слова дошли до ушей папы Климента, каковые подвигли его на великий смех. При этом присутствовал кардинал Чибо¹, каковому папа и рассказал всю распрю, какая у меня вышла с этим епископом; затем он обратился к одному из своих приближенных и велел ему, чтобы он постоянно давал мне работу для дворца. Сказанный кардинал Чибо послал за мной и, после многих приятных разговоров, заказал мне большую вазу, больше той, что была у Саламанки; также и кардинал Корнаро² и многие другие из этих кардиналов, особенно Ридольфи³ и Сальвиати⁴; ото всех у меня были заказы, так что я зарабатывал очень хорошо. Мадонна Порция, вышесказанная, сказала мне, что я должен открыть мастерскую, которая была бы совсем моей; и я так и сделал и не переставал работать на эту достойную благородную даму, каковая мне давала превеликий заработок, и я, пожалуй, благодаря именно ей показал свету, что я чего-нибудь да стою. Я завел большую дружбу с синьором Габбриелло Чезерино, каковой был гонфалоньером Рима; для этого синьора я исполнил много работ. Одну, среди прочих, примечательную: это была большая золотая медаль, чтобы носить на шляпе; на медали этой была изваяна Леда со своим лебедем⁵, и, будучи весьма удовлетворен моими трудами, он сказал, что велит ее оценить, чтобы заплатить мне за нее справедливую цену. И так как медаль была сделана с большим умением, то эти цеховые оценщики оценили ее много выше, нежели он вообра-

жал; так медаль осталась у меня в руках, и я ничего не получил за свои труды. С этой медалью приключился такой же случай, как и с вазой Саламанки. Но чтобы эти дела не отнимали у меня места для рассказа о делах большей важности, я коснусь их вкратце.

XXVI

Хоть я несколько и отклонюсь от своего художества, но так как я желаю описать свою жизнь, то меня вынуждают некоторые эти самые дела не то чтобы подробно их описывать, но все ж таки сжато о них упоминать. Однажды утром, в день нашего святого Иоанна¹, я обедал со многими нашими соотечественниками, различных художеств, живописцами, ваятелями, золотых дел мастерами; среди прочих примечательных людей там был один по имени Россо, живописец², и Джанфранческо, ученик Раффаэлло да Урбино, и многие другие. И так как в это место я их пригласил запросто, то все смеялись и шутили, как бывает, когда соберется вместе много людей, радующихся столь удивительному празднику. Проходил случайно мимо некий ветреный молодой человек, задир, солдат синьора Риенцо да Чери³, и, на этот шум, насмехаясь, наговорил всяких поносных слов о флорентийской нации. Я, который был предводителем всех этих даровитых и почтенных людей, сочтя оскорбленным себя, тихонько, так что никто меня не видел, этого самого настиг, каковой был с некоей своей гулящей девкой и, чтобы смешить ее, все еще продолжал чинить это издевательство. Подойдя к нему, я его спросил, он ли тот наглец, который дурно отзывался о флорентинцах. Он тотчас же сказал: «Я тот самый». На каковые слова я поднял руку, ударив его по лицу, и сказал: «А я вот этот». Тотчас же схватились за оружие, и тот и другой отважно; но не успела начаться эта ссора, как многие вмешались, став скорее на мою сторону, чем иначе, и слыша и видя, что я прав. На следующий затем день мне был принесен вызов, чтобы драться с ним, каковой я принял весьма

весело, говоря, что, по-моему, это дело, с которым можно управиться куда быстрее, чем с делами по этому другому моему художеству; и я тотчас же пошел поговорить с одним стариком, по имени Бевилаква, каковой в свое время слыл первой шпагой в Италии, потому что двадцать с чем-то раз дрался на поединке и всякий раз выходил с честью. Этот почтенный человек был большим моим приятелем и познакомился со мной благодаря моему искусству, а также посредничал в некоторых ужасных распрях между мной и другими. Поэтому он тотчас же весело мне сказал: «Мой Бенвенуто, если бы тебе пришлось иметь дело с самим Марсом, я уверен, что ты бы вышел с честью, потому что за все те годы, что я тебя знаю, я ни разу не видел, чтобы ты затеял неправую ссору». И так он взялся за мое дело, и когда мы сошлись на месте с оружием в руках, то я, без пролития крови, так как мой противник уступил, с великой честью вышел из этого дела. Не говорю о других случаях; потому что хоть о них было бы презанятно послушать в этом роде, но я хочу уделить эти слова рассказу о моем искусстве, каковое и есть то, что подвигло меня на это самое писание; а о нем мне и без того придется говорить немало. Хоть и движимый благородной завистью, желая создать еще какое-нибудь произведение, которое настигло бы и еще превзошло произведения сказанного искусника Луканьоло, я все же отнюдь не отстранялся от своего прекрасного ювелирного искусства; таким образом, и то и другое приносило мне большую пользу и еще большую честь, и в том и в другом я постоянно делал вещи, непохожие на чужие. Жил в это время в Риме некий искуснейший перуджинец по имени Лаутицио⁴, который работал в одном только художестве и в нем был единственным на свете. Дело в том, что в Риме у каждого кардинала имеется печать, на каковой выбит его титул; печати эти делаются величиной с руку ребенка лет двенадцати, и, как я сказал выше, на ней вырезается титул кардинала, с каковым соединяются всяческие фигуры; платят за такую печать, хорошей работы, по ста и по ста с лишним скудо. Так же и к этому искуснику я питал

благородную зависть, хотя это искусство весьма обособлено от прочих искусств, которые связаны с золотых дел мастерством; потому что этот Лаутицио, занимаясь этим искусством печатей, ничего другого делать не умел. Я принялся изучать и это искусство, хоть и находил его чрезвычайно трудным; никогда не уставая от труда, который оно мне задавало, я беспрерывно старался преуспевать и учиться. Еще был в Риме другой превосходнейший искусник, каковой был миланец и звался мессер Карадоссо⁵. Этот человек выделявал исключительно чеканные медальки из пластин и многое другое: он сделал несколько «паче»⁶, исполненных полурельефом, и несколько Христов в пядень, сделанных из тончайших золотых пластин, так хорошо исполненных, что я считал его величайшим мастером, которого я когда-либо в этом роде видел, и ему я завидовал больше, чем кому-либо другому. Были также и другие мастера, которые выделяли медали, резанные по стали, каковые суть образы и истинное руководство для тех, кто хочет уметь отлично делать монеты. Все эти различные художества я с превеликим усердием принялся изучать. Имеется также прекрасное финифтяное дело, которое я не видел, чтобы кто-либо другой хорошо исполнял, кроме одного нашего флорентинца, по имени Америго⁷, какового сам я не знал, но хорошо знал его чудеснейшие изделия; каковых нигде на свете и ни один человек я не видел, чтобы кто-нибудь хоть отдаленно приближался к такой божественности. Также и за это занятие, наитруднейшее, по причине огня, который, по окончании великих трудов, вступает под конец и нередко их портит и ведет к разрушению; также и за это другое художество я взялся изо всех моих сил; и хотя я находил его весьма трудным, мне это доставляло такое удовольствие, что сказанные великие трудности мне казались как бы отдыхом; и это пристекало от особого дара, ниспосланного мне богом природы в виде столь хорошего и соразмерного сложения, что я свободно позволял себе учинять с ним все, что мне приходило на душу. Все эти сказанные художества весьма и очень различны друг от друга;

так что если кто исполняет хорошо одно из них и хочет взяться за другие, то почти никому они не удаются так, как то, которое он исполняет хорошо; тогда как я изо всех моих сил старался одинаково орудовать во всех этих искусствах; и в своем месте я покажу, что я добился того, о чем я говорю.

XXVII

В эту пору, — а был я тогда еще молодым человеком лет двадцати трех, — объявилась моровая язва¹, столь неопишуемая, что в Риме каждый день от нее умирали многие тысячи. Немного утраченный этим, я начал доставлять себе некоторые развлечения, как мне подсказывала душа, но имевшие и причину, о которой я скажу. Так как по праздникам я охотно ходил смотреть древности, копируя их то в воске, то рисунком; и так как эти сказанные древности сплошь развалины, а в этих сказанных развалинах водится множество голубей, то мне пришла охота применить против них пищаль; и вот, дабы избежать общения, утраченный чумой, я давал своему Паголино на плечо пищаль, и мы с ним вдвоем отправлялись к сказанным древностям. Из чего проистекало, что множество раз я возвращался нагруженный прежирными голубями. Я любил заряжать свою пищаль не иначе, как одиночной пулей, так что единственно благодаря искусству настреливал много. У меня была гладкая пищаль собственной работы; и внутри и снаружи ни одного такого зеркала не найти. Собственно-ручно также изготовлял я и тончайший порох, какому я нашел наилучшие секреты, какие когда-либо до сего дня кто-либо другой находил; и об этом, чтобы не очень распространяться, я скажу только одно, чему изумится всякий, кто опытен в этом деле. Это то, что при весе моего пороха в одну пядю веса пули, пуля эта у меня на двести шагов попадала в белую точку. Хотя великое удовольствие, которое я извлекал из этой моей пищали, казалось бы, отклоняло меня от моего искусства и от моих занятий, — и это правда, — но

зато оно в другом роде давало мне нечто гораздо большее, чем то, что оно у меня отнимало; причиной тому было то, что всякий раз, как я отправлялся на эту свою охоту, я премного улучшал свою жизнь, потому что воздух сильно мне способствовал. Хотя я по природе меланхоличен, стоило мне предаться этим развлечениям, как у меня сразу же веселело сердце и лучше ладилась работа, и гораздо удачнее, чем когда я непрерывно сидел над своими занятиями и упражнениями; так что в конечном счете мне от пищи было больше прибыли, чем убытку. Благодаря опять-таки этому моему развлечению я завел дружбу с некими искателями, каковые караулили ломбардских крестьян, которые приходили в известную пору в Рим окапывать виноградники. Эти самые, копая землю, всегда находили старинные медали, агаты, праземы², сердолики, камеи; находили также и драгоценные камни, как-то изумруды, сапфиры, алмазы и рубины. Эти самые искатели от этих самых крестьян получали иной раз эти сказанные вещи за сущие гроши; за каковые иной раз, и очень даже часто, повстречав искателей, я им давал во много раз больше золотых скудо, чем за сколько джулио они только что купили. Это обстоятельство, помимо большой прибыли, которую я из него извлекал, каковая составляла десять на один, а то и больше, делало меня вдобавок желанным почти всем этим кардиналам в Риме. Скажу при этом только о некоторых примечательных и более редких вещах. Мне попала в руки, среди многих других, голова дельфина величиной с крупный избирательный боб³. Среди прочих, помимо того, что эта голова была замечательно красива, природа в ней намного превосходила искусство; потому что этот изумруд был такого прекрасного цвета, что тот, кто его у меня купил за несколько десятков скудо, отдал его оправить, как обыкновенный камень, который носят на перстне; и, так оправленный, он его продал за несколько сотен. И другого рода камень: это была голова из прекраснейшего топаза, который когда-либо видан был на свете; здесь искусство сравнялось с природой. Он

был величиной с крупный орешек, и голова была так хорошо сделана, как только можно вообразить: сделана она была под Минерву. И еще камень, иной чем эти: это была камея; на ней был вырезан Геркулес, который вяжет трехзвезного Цербера. Этот был такой красоты и так великолепно сделан, что нашему великому Микеланьоло пришлось сказать, что он никогда не видел ничего изумительнее. Также и среди многих бронзовых медалей мне попалась одна, на которой была голова Юпитера. Эта медаль была больше всех, которые я когда-либо видал; голова была так хорошо сделана, что никогда еще не было видано такой медали; у нее был прекраснейший оборот с несколькими фигурками, подобно ей же хорошо сделанными. Я бы мог об этом сказать еще весьма многое, но не хочу распространяться, чтобы не быть слишком длинным.

XXVIII

Как я выше сказал, в Риме началась чума; хоть я и хочу вернуться немного вспять, я все же не отступлю от своего предмета. Приехал в Рим превеликий хирург, какового звали маэстро Якомо да Карпи¹. Этот искусный человек, среди прочих своих врачеваний, брался за некой безнадежные случаи французских болезней. А так как в Риме эти болезни весьма дружат с духовенством, особенно с более богатым, то, став известен, этот искусный человек, при помощи неких курений, являл, что чудодейственно лечит эти самые недуги, но требовал заключить условие, прежде чем начать лечить; а условия эти были в сотнях, а не в десятках. Этот искусный человек знал большой толк в рисунке. Проходя как-то случайно мимо моей лавки, он увидел ненароком кое-какие рисунки, которые у меня там лежали, среди каковых было несколько затейливых вазочек, которые я нарисовал для собственного удовольствия. Эти самые вазы были весьма различны и непохожи на все те, какие до той поры были когда-либо виданы. Сказанному маэстро Якомо захотелось, чтобы я ему сделал такие из

серебра; каковые я и сделал, чрезвычайно охотно, потому что они были по моей прихоти. Хотя сказанный искусный человек очень хорошо мне за них заплатил², во сто раз больше была честь, которую они мне принесли; потому что в цехе у этих искусников, золотых дел мастеров, говорили, что никогда не видели ничего более красивого и лучше исполненного. Едва я их ему вручил, как этот человек показал их папе; а на следующий день уехал себе с богом. Был он весьма учен: удивительно говорил о медицине. Папа хотел, чтобы он остался у него на службе; а этот человек сказал, что не желает быть на службе ни у кого на свете; и что если он кому нужен, тот может ехать за ним следом. Это была личность очень хитрая, и он умно сделал, что уехал из Рима; потому что несколько месяцев спустя все те, кого он лечил, почувствовали себя так плохо, что им стало в сто раз хуже, чем раньше; его бы убили, если бы он остался. Он показывал мои вазочки многим синьорам; среди прочих светлейшему герцогу феррарскому³, и говорил, что он их получил от некоего римского вельможи, сказав ему, что если тот желает быть вылеченным от своей болезни, то он желает эти две вазочки; и что этот вельможа ему сказал, что они античные и чтобы он сделал милость попросить у него любую другую вещь, и ему не покажется тяжело ее отдать, лишь бы эти он ему оставил; он говорил, будто сделал вид, что не желает его лечить, и поэтому получил их. Мне это рассказал мессер Альберто Бендеджо в Ферраре и с великой торжественностью показал мне их глиняные слепки⁴, на что я рассмеялся; и так как я молчал, то мессер Альберто Бендеджо, который был человек гордый, рассердившись, мне сказал: «А, ты смеешься? А я тебе скажу, что за тысячу лет по сей день не рождалось человека, который сумел бы их хотя бы только скопировать». И я, чтобы не лишать их такой славы, молчал и восхищенно ими любовался. Мне говорили в Риме многие синьоры об этой работе, что они считают ее чудесной и античной; некоторые из них — мои друзья; и я, возгордясь от такого дела, сознался, что сделал их я. Они не хотели верить; и я,

желая остаться перед ними правдивым, должен был представить доказательство и сделать новые рисунки; а то так было недостаточно, потому что старые рисунки сказанный маэстро Якомо хитро пожелал увезти с собой. На этом маленьком дельце я много приобрел.

XXIX

Чума продолжалась еще много месяцев, но я от нее отбился, так что много товарищей у меня померло, а я остался здоров и невредим. Случилось раз как-то вечером, что один мой союзный приятель привел домой к ужину некую болонскую блудницу, которую звали Фаустина. Эта женщина была очень красива, но ей было лет тридцать, а была с ней служаночка лет тринадцати — четырнадцати. Так как эта Фаустина принадлежала моему другу, то я бы за все золото мира не стал ее трогать. Хотя она и говорила, что сильно в меня влюблена, я неизменно соблюдал верность моему другу; но когда они пошли спать, я похитил эту служаночку, которая была совсем новенькая, так что горе ей, если бы ее госпожа это узнала. Таким образом, я приятно провел эту ночь, с гораздо большим моим удовольствием, чем сделал бы это с госпожой Фаустиной. Когда подошло время обедать и я, усталый, словно прошагал много миль, захотел принять пищу, у меня вдруг началась сильная головная боль, со множеством прыщей по левой руке, а на левой кисти, с наружной стороны, вскочил нарыв. Все в доме перепугались, и приятель мой, и большая корова, и маленькая, все удрали, так что, оставшись один с бедняжкой учеником, каковой не захотел меня покинуть, я чувствовал, что у меня задыхается сердце, и знал наверное, что я мертв. В это время проходил по улице отец этого моего ученика, каковой был врачом кардинала Якоаччи и жил у него на жалованье, и ученик этот и сказал отцу: «Зайдите, отец, посмотреть Бенвенуто, которому нездоровится немного и он лежит». Не задумываясь над тем, что это может быть за нездоровье, он тотчас же

зашел ко мне и, пощупав мне пульс, увидел и понял то, чего бы он не желал. Тотчас же обернувшись к сыну, он сказал ему: «О сын предатель, ты меня разорил. Как я теперь могу явиться к кардиналу?» На что сын сказал: «Куда больше, отец, стоит этот мой учитель, чем сколько есть кардиналов в Риме». Тогда врач ко мне обернулся и сказал: «Раз уж я здесь, я хочу тебя лечить. Но только предупреждаю тебя об одном: что если ты имел соитие, ты не жилец». На что я сказал: «Я имел его нынче ночью». Врач на это сказал: «С каким созданием и сколько?» Я ему сказал: «Этой ночью и с премолоденькой девочкой». Тогда, поняв, что он употребил глупые слова, он тут же мне сказал: «Так как они настолько свежие, что еще не смердят, и так как помощь поспела вовремя, то ты не так уж пугайся, потому что я надеюсь во всяком случае тебя вылечить». Когда он полечил меня и ушел, тотчас же явился один мой дражайший друг, по имени Джованни Ригольи, каковой, огорчась и моей великой болезнью, и тем, что меня покинул так одного мой товарищ, сказал: «Будь покоен, мой Бенвенуто, я от тебя не отлучусь, пока не увижу, что ты поправился». Я сказал этому другу, чтобы он ко мне не подходил, потому что я кончен. Я только попросил его, чтобы он согласился взять некоторое изрядное количество скудо, которые лежали в ларчике тут же рядом с моей кроватью, и чтобы, раз уж господь взял меня от мира, он послал их отдать моему бедному отцу, написав ему ласково, как я сам это делал, насколько позволял обиход этого бешеного времени¹. Мой дорогой друг мне сказал, что он ни в коем случае не хочет со мной расстаться, и, что бы ни случилось, и в том и в другом случае он отлично знает, что надлежит сделать для друга. И так мы двинулись вперед с божьей помощью; а так как от удивительных лекарств я начал испытывать превеликое улучшение, то вскорости я благополучно вышел из этой превеликой немощи. Еще с открытой язвой, внутри корпия, а снаружи пластырь, я отправился верхом на дикой лошадке, которая у меня была. Шерсть у нее была длиной в четыре с лишним пальца; ростом она была

совсем как крупный медвежонок, и в самом деле казалась медведем. На ней я отправился к живописцу Россо², каковой жил за Римом в сторону Чивитавеккьи, в одном местечке графа делль'Ангвиллара, называемом Черветера, и, отыскав своего Россо, каковой чрезвычайно обрадовался, я ему поэтому сказал: «Я приехал делать с вами то же самое, что вы делали со мной столько-то месяцев тому назад». Он тут же расхохотался и, обняв меня и расцеловав, потом сказал мне, чтобы я, ради графа, помалкивал. Так, счастливо и весело, с хорошими винами и отличным столом, обласканный сказанным графом, я около месяца там прожил, и каждый день, один-одинешенек, ездил на берег моря и там спешивался, нагружаясь разнообразнейшими камешками, раковинами и ракушками, редкостными и прекрасными. Последний день — потому что потом я туда больше не ездил, — на меня напало множество людей, каковые, перерядившись, сошли с мавританской фусты³, и когда они уже думали, что как бы загнали меня в некое ущелье, каковое казалось невозможным, чтобы я ушел из их рук, я вдруг вскочил на свою лошадку, решившись на опасный шаг или тут же спешься, или свариться, потому что видел мало надежды избежать одного из этих двух способов, и, божьей волей, лошадка, та самая, о которой я сказал выше, скакнула так, что невозможно поверить; так что я, спасшись, возблагодарил бога. Я сказал графу; тот поднял тревогу; фусты виднелись в море. На другой затем день, здоровый и веселый, я вернулся в Рим.

XXX

Чума почти уже кончилась, так что те, кто остался в живых, с великим весельем ласкали друг друга. Из этого родилось содружество живописцев, ваятелей, золотых дел мастеров¹, лучших, какие были в Риме; и основателем этого содружества был один ваятель, по имени Микеланьола². Этот Микеланьола был родом сиенец и был очень искусный человек, такой, что мог

выступить среди любых других в этом художестве, но прежде всего это был самый веселый и самый сердечный человек, какого когда-либо знавали на свете. Из этого сказанного содружества он был самый старший, но по телесной крепости самый молодой. Собирались мы часто; не меньше двух раз в неделю. Я не хочу умалчивать о том, что в этом нашем содружестве были Джулио Романо³, живописец, и Джан Франческо⁴, изумительные ученики великого Раффаэлла да Урбино. После того как мы уже собирались много и много раз, этот наш добрый предводитель решил, что в следующее воскресенье все мы придем к нему ужинать и что каждый из нас обязан привести свою галку, как их называл сказанный Микеланоло; а кто не приведет, тот обязан угостить ужином всю компанию. Тем из нас, кто не имел знакомства с такими непотребными женщинами, пришлось с немалыми затратами и хлопотами себе их раздобывать, чтобы не осрамиться за этим художническим ужином. Я, который рассчитывал отлично устроиться с одной очень красивой молодой женщиной, по имени Пантасилея, которая была в меня очень влюблена, вынужден был уступить ее одному моему любезнейшему другу, по имени Бакьякка⁵, который и до того, и тогда еще был очень в нее влюблен. По этому случаю возникла некоторая любовная обида, потому что, видя, что я по первому же слову уступил ее Бакьякке, эта женщина решила, что я ни во что не ставлю великую любовь, которую она ко мне питает, из чего с течением времени родилось превеликое дело, ибо она захотела отомстить за понесенное от меня оскорбление; об этом я потом в своем месте расскажу. Так как начинал близиться час, когда надо было явиться в художническое содружество каждому со своей галкой, а у меня ее не было и мне казалось слишком несуразным не справиться с таким пустым делом, и что меня особенно затрудняло, так это то, что мне не хотелось вводить в своих лучах, в среду всех этих талантов, какую-нибудь общипанную вороницу, то я и придумал шутку, чтобы добавить к веселью еще больше смеха. И вот, решившись, я кликнул юношу

шестнадцати лет, каковой жил со мною рядом; это был сын медника, испанца. Юноша этот занимался латынью и был очень прилежен; звали его Дьего; он был хорош собой, с удивительным цветом лица; очертания его головы были куда красивее, чем у античного Антиноя, и я много раз его изображал; и от этого мне было много чести в моих работах. Этот ни с кем не водил знакомств, так что никто его не знал; одевался очень плохо и как попало; влюблен он был только в свои удивительные занятия. Позвав его к себе в дом, я попросил его дать себя нарядить в женское платье, которое там было приготовлено. Он согласился и живо оделся, а я при помощи великолепных уборов быстро навел великие красоты на его прекрасное лицо: я надел ему на уши два колечка, с двумя крупными и красивыми жемчужинами; сказанные колечки были надломленные; они только сжимали ухо, а казалось, что оно проколото; потом надел ему на шею прекраснейшие золотые ожерелья и дорогие камни; также и красивые его руки я убрал кольцами. Потом, ласково взяв его за ухо, подвел его к большому моему зеркалу. Каковой юноша, увидев себя, горделиво так сказал: «О, неужели это Дьего?» Тогда я сказал: «Это Дьего, которого я никогда еще не просил ни о какого рода одолжении; а только теперь я прошу этого Дьего доставить мне невинное удовольствие; и состоит оно в том, что этом самом наряде я хочу, чтобы он отужинал в том художническом содружестве, о котором я много раз ему говорил». Скромный, добродетельный и умный юноша, откинув от себя эту свою горделивость, обратив глаза к земле, постоял так немного, ничего не говоря; потом вдруг, подняв лицо, сказал: «С Бенвенуто я пойду; идем». Я накиннул ему на голову большое покрывало, какое в Риме называется летней шалью, и когда мы пришли на место, каждый уже явился, и все вышли мне навстречу; сказанный Микеланьоло был между Юлио и Джованфранческо. Когда я снял покрывало с головы этого моего прекрасного создания, этот Микеланьоло, как я уже говорил, был самый большой шутник и весельчак, какого только можно вообразить; схватившись обеими

руками, одною за Юлио, а другою за Джанфранческо, насколько он мог такой тягой, заставил их пригнуться, а сам, упав на колени, взывал о пощаде и скликал весь народ, говоря: «Смотрите, смотрите, каковы бывают ангелы рая! И хоть они зовутся ангелами, но смотрите, среди них есть и ангелицы». И, крича, говорил.

О ангелица, дух любви,
Спаси меня, благослови.

При этих словах прелестное создание, смеясь, подняло правую руку и дало ему первосвященническое благословение, со многими приятными словами. Тогда Микеланьоло, встав, сказал, что папе целуют ноги, а ангелам целуют щеки; и когда он это сделал, юноша весьма покраснел и по этой причине преисполнился превеликой красоты. Когда мы прошли вперед, комната оказалась полна сонетов, которые каждый из нас сочинил и послал их Микеланьоло. Этот юноша начал их читать и прочел их все; это настолько умножило его бесконечную красоту, что невозможно было бы и сказать. После всяких разговоров и диковинок, о каковых я не хочу распространяться, потому что я здесь не для этого: только одно словцо мне надлежит сказать, потому что его сказал этот удивительный Юлио, живописец, каковой, многозначительно обведя глазами всех, кто там был вокруг, но больше глядя на женщин, чем на остальных, обратясь к Микеланьоло, сказал так: «Микеланьоло мой дорогой, это ваше прозвище «галки» сегодня им идет, хоть они и похуже галок рядом с одним из великолепнейших павлинов, каких только можно себе представить». Когда кушанья были готовы и поданы и мы хотели сесть за стол, Юлио попросил позволения, что он хочет сам нас рассадить. Когда ему разрешили все, то, взяв женщин за руку, он всех их разместил с внутренней стороны, и мою посередине; затем всех мужчин он усадил с наружной стороны, и меня посередине, говоря, что я заслужил всякую великую честь. За женщинами, в виде шпалер, было плетенье из живых и красивейших жасминов, каковое создавало такой красивый

фон для этих женщин, особенно для моей, что было бы невозможно сказать это словами. Так каждый из нас с великой охотой приступил к этому богатому ужину, каковой был изобилен удивительно. Когда мы поужинали, последовало немного чудесной голосовой музыки вместе с инструментами; и так как пели и играли по нотам, то мое прекрасное создание попросило, чтобы спеть, свою партию; и так как музыку он исполнял едва ли не лучше, чем все остальные, то вызвал такое удивление, что речи, которые вели Юлио и Микеланьооло, были уже не так, как раньше, шуточные, а были все из важных слов, веских и полных изумления. После музыки некий Аурелио Асколано, который удивительно импровизовал, начал восхвалять женщин божественными и прекрасными словами, пока он пел, те две женщины, между которыми сидело это мое создание, не переставали тараторить; одна из них рассказывала, каким образом она сбилась с пути, другая расспрашивала мое создание, каким образом это случилось с ней, и кто ее друзья, и сколько тому времени, что она приехала в Рим, и много всякого такого. Правда, что если бы я только и делал, что описывал подобные потехи, я бы рассказал много случаев, которые тут произошли, вызванные этой Пантасилеей, которая была сильно в меня влюблена; но так как это не в моем намерении, я касаюсь их вкратце. И вот, когда эти разговоры этих глупых женщин надоели моему созданию, которому мы дали имя Помоны, то сказанная Помона, желая отделаться от этих их дурацких разговоров, стала ворочаться то в одну сторону, то в другую. Ее спросила та женщина, которую привел с собой Юлио, не нездоровится ли ей. Она сказала, что да, и что ей кажется, будто она с месяц как беременна, и что она чувствует неудобство в матке. Тут обе женщины, между которыми она сидела, движимые состраданием к Помоне, приложив ей руки к телу, обнаружили, что она мужчина. Они быстро отдернули руки с бранными словами, какие говорят красивым мальчикам, и встали из-за стола, и тотчас посыпались крики, и с великим хохотом, и с великим изумлением, и грозный Микел-

аньоло испросил у всех разрешения наложить на меня кару по-своему. Получив «да», он с превеликими криками поднял меня на руках, говоря: «Да здравствует синьор! Да здравствует синьор!» — и сказал, что это и есть наказание, которое я заслуживаю за то, что выкинул такую отличную штуку. Так кончился этот превеселый ужин и этот день; и каждый из нас вернулся по своим домам.

XXXI

Если бы я хотел описать подробно, каковы и сколько были многочисленные работы, которые я делал разного рода людям, слишком был бы длинен мой рассказ. Сейчас мне нет надобности говорить ничего другого, как только то, что я со всяческим рвением и усердием старался освоиться с тем разнообразием и многообразием искусств, о которых я говорил выше. И так я непрерывно во всех них работал; но так как мне еще не пришло на ум случая описать какое-либо значительное мое произведение, то я подожду, чтобы вставить их в своем месте; они скоро придут. Сказанный Микеланьоло, сиенский ваятель, делал в это время гробницу умершего папы Адриана¹. Юлио Романо, живописец сказанный, уехал служить маркизу мантуанскому². Остальные товарищи разбрелись кто куда по своим делам; так что сказанное художническое содружество почти совсем расстроилось. В эту пору мне попало несколько небольших турецких кинжальчиков, и рукоять кинжала, как и клинок, были железные; также и ножны были железные тоже. На этих вещах было насечено железом множество красивейших листьев на турецкий лад и очень тонко выложено золотом; что возбудило во мне великое желание попытаться потрудиться также и в этом художестве, столь непохожем на остальные; и, видя, что оно мне отлично дается, я выполнил несколько работ. Эти работы были гораздо красивее и гораздо прочнее турецких по многообразным причинам. Одна из них была та, что свою сталь я насекал

очень глубоко и с пазухой, а в турецкой работе это не было принято; другая — та, что турецкие листья только и бывают, что листья арума с цветочками подсолнечника; хоть в них и есть некоторая прелесть, но она перестает нравиться, не то, что наша листва. Правда, в Италии мы делаем листву разными способами; так, ломбардцы делают красивейшую листву, изображая листья плюща и ломоноса с красивейшими изгибами, каковые очень приятны на вид; тосканцы и римляне в этом роде сделали гораздо лучший выбор, потому что подражают листьям аканта, иначе медвежьей лапы, с его стеблями и цветами, разнообразно изогнутыми; и среди сказанных листьев отлично размещаются всякие птички и различные звери, по чему можно видеть, у кого хороший вкус. Часть их³ можно найти естественно в диких цветах, как, например, в так называемом львином зеве, потому что так обнаруживается в некоторых цветах, и сопровождаются они другими красивыми вымыслами этих искусных художников; те, кто не знает, называют это гротесками. Эти гротески получили это название от современных, потому что они были найдены изучателями в неких земных пещерах в Риме, каковые пещеры в древности были комнатами, банями, кабинетами, залами и тому подобное. Так как эти изучатели нашли их в этих пещерных местах, потому что со времен древних почва поднялась и они остались внизу, и так как слово называет эти низкие места в Риме гротами, поэтому они и приобрели название гротесков. Но это не их название; потому что, как древние любили создавать чудища, применяя коз, коров и коней, и, когда получались такие убудки, называли их чудищами; так и эти художники делали из своих листьев такого рода чудища; и настоящее их название — чудища, а не гротески. Когда я делал в таком же роде листья, выложенные вышесказанным способом, то они получались гораздо красивее на вид, нежели турецкие. Случилось в это время, что в неких вазах, — а это были античные урочки, наполненные пеплом, — среди этого пепла нашлись некои железные кольца, выложенные

золотом еще в древности, а в эти кольца, в каждое, было вправлено по ракушке. Когда я обратился к этим ученым, они сказали, что эти кольца носили те, кто хотел остаться тверд мыслью при всяком необычайном происшествии, могущем его постигнуть как в добром, так и в злом. Тогда я решился, по просьбе некоторых синьоров, больших моих друзей, и сделал несколько таких колечек; но я делал их из хорошо очищенной стали; хорошо затем насеченные и выложенные золотом, они имели превосходный вид; и случилось иной раз, что за одно такое колечко, за одну лишь работу, я получал больше сорока скудо. В ту пору были в ходу золотые медальки, на которых всякий синьор и знатный человек любил давать вырезать какую-нибудь свою выдумку или эмблему; и носили их на шляпе. Таких работ я сделал много, и делать их было очень трудно. А так как великий искусник, о котором я говорил, по имени Карадоссо, сделал их несколько, за каковые, если на них бывало по несколько фигур, он требовал не меньше, чем по ста золотых скудо за штуку; то по этой причине, не столько из-за цены, сколько из-за его медлительности, я был приглашен к неким синьорам, для каковых, среди прочих, сделал медаль в состязание с этим великим искусником, на каковой медали были четыре фигуры, над которыми я много потрудился. Случилось, что сказанные знатные люди и синьоры, положив ее рядом с медалью удивительного Карадоссо, сказали, что моя гораздо лучше сделана и много красивее и чтобы я потребовал все, что хочу, за свои труды; потому что я так им угодил, что они хотят угодить мне так же. На что я им сказал, что величайшая награда за мои труды и которой я больше всего желаю, это сравняться с произведениями столь великого искусника, и что если их милостям так кажется, то я считаю себя вполне вознагражденным. Когда я на этом ушел, они тотчас же послали мне такой щедрейший подарок, что я был удовлетворен, и меня одолело такое желание делать хорошо, что это было причиной тому, о чем мы услышим в дальнейшем.

Хоть я немного отклонюсь от своего художества, желая рассказать о некоторых докучных происшествиях, случившихся в этой моей беспокойной жизни, и потому что я уже раньше рассказывал об этом художественном содружестве и о потехах, приключавшихся из-за этой женщины, о которой я говорил, Пантасилеи, каковая питала ко мне эту нелепую и докучную любовь; и так как она премного рассердилась на меня из-за этой шутки, когда на этот ужин явился испанец Дьего вышесказанный, и поклялась мне отомстить, то вышел случай, который я опишу, где моя жизнь подверглась превеликой опасности. Дело в том, что приехал в Рим некий юноша, по имени Луиджи Пульчи¹, сын одного из Пульчи, того, которому отрубили голову за то, что он спал с родной дочерью; этот сказанный юноша имел изумительнейший поэтический дар и хорошие познания в латинской словесности; хорошо писал; был необыкновенно изящен и красив; он ушел от какого-то епископа и был весь полон французской болезнью. И так как когда этот юноша жил во Флоренции, то в летние ночи в некоторых местах города собирались просто на улицах, где этот юноша был среди лучших, которые пели, импровизуя; и так чудесно было слушать его пение, что божественный Микеланьоло Буонарроти, превосходнейший ваятель и живописец, всякий раз, когда знал, где он, с превеликим желанием и удовольствием шел его слушать; и некий по имени Пилото, искуснейший человек, золотых дел мастер, и я составляли ему компанию. Таким образом и случилось знакомство между Луиджи Пульчи и мной. И вот, много лет спустя, в таком жалком состоянии, он мне открылся в Риме, прося меня, что я должен ради бога ему помочь. Подвигнутый к состраданию его великими талантами, любовью к родине и потому что таково свойство моей природы, я взял его к себе в дом и начал его лечить так, что, будучи таким молодым, он быстро вернулся к здоровью. Пока он восстанавливал это здоровье, он беспрестанно занимался, и я ему

помог раздобыть много книг по мере моей возможности; так что этот Луиджи, сознавая полученное от меня великое благодеяние, не раз словами и слезами благодарил меня, говоря мне, что если бог когда-либо пошлет ему удачу, он мне воздаст награду за это оказанное ему благодеяние. На что я сказал, что я сделал для него не то, что хотел бы, а то, что мог, и что долг человеческих тварей помогать друг другу; я ему только напомнил, чтобы этим благодеянием, которое я ему оказал, он отплатил кому-нибудь другому, кто будет нуждаться в нем самом, как сам он нуждался во мне; и чтобы он любил меня как друга, и таковым меня считал. Начал этот юноша бывать при римском дворе, где скоро устроился и поступил к некоему епископу, человеку восьмидесяти лет, а звали его епископом гуркским². У этого епископа был племянник, которого звали мессер Джованни; был он венецианский дворянин; этот сказанный мессер Джованни делал вид, будто превесьма влюблен в таланты этого Луиджи Пульчи, и под предлогом этих его талантов сделал его таким близким к себе, как если бы это был он сам. Так как сказанный Луиджи говорил обо мне и о том, сколь многим он мне обязан, с этим мессер Джованни, то сказанный мессер Джованни пожелал со мной познакомиться. И вот случилось, что, когда я раз как-то вечером давал маленький ужин этой уже сказанной Пантасилее, на каковой ужин пригласил многих своих достойных друзей, явились, как раз когда мы садились за стол, сказанный мессер Джованни со сказанным Луиджи Пульчи и, после обмена приветствиями, остались ужинать с нами. Как только эта бесстыдная блудница увидела красивого юношу, она сразу же возымела на него виды; поэтому, когда кончился веселый ужин, я отозвал в сторону сказанного Луиджи Пульчи, говоря ему, что, поскольку сам он заявлял, что так мне обязан, пусть он никоим образом не ищет сближения с этой блудницей. На эти слова он мне сказал: «Что вы, мой Бенвенуто, или вы считаете меня сумасшедшим?» На что я сказал: «Не сумасшедшим, а молодым»; и я ему поклялся богом, что ее я и в мыслях не имею, а вас мне будет

очень жаль, если из-за нее вы сломаете себе шею. При этих словах он поклялся, что молит бога сломать ему шею, если он хоть раз с нею заговорит. Должно быть, этот бедный юноша от чистого сердца дал богу эту клятву, потому что шею он себе сломал, как дальше будет сказано. Сказанный мессер Джованни обнаружил с ним нечистую и недобродетельную любовь; ибо видели, что каждый день сказанный юноша меняет бархатное или шелковое платье, и стало известно, что он вполне предался скверне, и забросил свои прекрасные, чудесные таланты, и делал вид, будто меня не видит и незнаком со мной, потому что я его отчитал, сказав ему, что он отдал себя во власть изменным порокам, из-за каких он когда-нибудь сломает себе шею, как он сказал.

XXXIII

Этот его мессер Джованни купил ему отличнейшего вороного коня, на какового истратил полтораста скудо. Конь этот был изумительно выезжен; так что этот Луиджи каждый день отправлялся гарцевать на этом коне перед этой блудницей Пантасилеей. Видя такое дело, я не стал этим заботиться, говоря, что все на свете следует своему естеству, и продолжал свои занятия. Случилось однажды, в воскресенье вечером, что этот ваятель Микеланьоло, сиенец, пригласил нас к себе ужинать; а было это летом. Был на этом ужине и Бакьякка, уже сказанный, и привел с собою эту сказанную Пантасилею, свою прежнюю любовь. И вот, когда мы были за столом и ужинали, она сидела посередине между мной и сказанным Бакьяккой; в самый разгар ужина она встала из-за стола, сказав, что хочет сходить по кое-каким своим надобностям, потому что чувствует боль в животе, и что сейчас же вернется. Пока мы самым веселым образом беседовали и ужинали, она задержалась немного дольше, чем следовало бы. Случилось, что, когда я стал прислушиваться, мне показалось, будто кто-то тихонько этак хихикает на улице. В руке у меня был нож, каковым я услужал себе за столом. Окно было настолько близко от стола,

что, приподнявшись немного, я увидел на улице этого сказанного Луиджи Пульчи вместе со сказанной Пантасилеей и услышал, как из них Луиджи сказал: «О, если этот дьявол Бенвенуто нас увидит, горе нам!» А она сказала: «Не бойтесь, слышите, как они шумят: они заняты всем чем угодно, но только не нами». При этих словах я, который их узнал, выпрыгнул из окна наземь и схватил Луиджи за плащ, и ножом, который у меня был в руке, я бы наверное его зарезал; но так как он был верхом на белой лошадке, то он таковую подбоднул, оставив у меня в руке плащ, чтобы спасти свою жизнь. Пантасилея бросилась бегом в церковь по соседству. Те, что сидели за столом, сразу повскакав, кинулись все ко мне, умоляя меня, чтобы я не беспокоил ни себя, ни их из-за потаскухи. На что я им сказал, что ради нее я бы с места не тронулся, а только из-за этого негодного юнца, каковой показал, что так мало меня ценит; и поэтому я не дал себя склонить никакими этими речами этих почтенных даровитых людей, но взял свою шпагу и пошел, один, в Прати;¹ потому что дом, где мы ужинали, был неподалеку от ворот Каstellо, которые вели в Прати; когда я так шел в сторону Прати, то немного прошло времени, как солнце село, и я медленным шагом повернул в Рим. Уже наступила ночь и тьма, а римские ворота не запирались. Около двух часов я подошел к дому этой Пантасилеи с намерением, если там окажется этот Луиджи Пульчи, досадить им обоим. Видя и слыша, что в доме никого нет, кроме прислужницы, по имени Канида, я пошел отнести плащ и ножны от шпаги и опять вернулся к сказанному дому, который стоял позади Банки², на реке Тибре. Прямо против этого дома был сад некоего трактирщика, которого звали Ромоло; сад этот был обнесен густой терновой изгородью, в каковой я и спрятался стоя, поджидая, пока сказанная женщина вернется домой вместе с Луиджи. Немного погодя явился туда этот мой приятель, прозванный Бакьяккой, каковой или сам догадался, или же ему сказали. Он тихонько окликнул меня: «Кум!» — так мы называли друг друга в шутку, и умолял меня господом

богом, говоря такие слова, чуть не плача: «Кум мой, я вас умоляю, чтобы вы не делали зла этой бедняжке, потому что она ровно ни в чем не виновата». На что я сказал: «Если по этому первому слову вы отсюда не уберетесь, я вас хвачу этой шпагой по голове». От страха у этого бедного моего кума тут же расстроился живот, и ему недалеко удалось отойти, потому что пришлось подчиниться. Так звездило, что было совсем светло; вдруг я слышу топот многих коней, и подъехали с одной стороны и с другой; это были сказанный Луиджи и сказанная Пантасилея, сопровождаемые неким мессер Бенвеньято, перуджинцем, камерарием папы Климента, и с ними было четверо отважнейших перуджийских капитанов с другими храбрейшими молодыми солдатами; всего их было свыше двенадцати шпаг. Когда я это увидел, то, принимая во внимание, что я не знал, куда бежать, я постарался забиться в эту изгородь. Но так как этот колючий терновник делал мне больно и я бесился, как бык, то уже было решился выскочить и бежать; в это время Луиджи обнимал сказанную Пантасилею за шею, говоря: «Я тебя еще раз поцелую, назло этому предателю Бенвенуто». Тогда, истерзанный сказанными колючками и вынужденный сказанными словами этого юноши, выскочив вон, я поднял шпагу; громким голосом я сказал: «Всем вам конец». И тут удар шпаги пришелся сказанному Луиджи в плечо; а так как этого бедного юношу эти мерзкие сатиры всего обжелезили кольчугами и всякими такими вещами, то удар получился превеликий; и шпага, повернув, попала в нос и в рот сказанной Пантасилее. Оба они свалились наземь, а Бакьякка, со спущенными штанами, вопил и убегал. Я смело обернулся к остальным, со шпагой, и эти отважные люди, услышав громкий шум, поднявшийся в трактире, думая, что там войско в сто человек, хоть и храбро взяли за шпаги, но две лошадки, среди прочих, испугавшись, привели их в такое замешательство, что, когда двое лучших были сброшены кувырком, то остальные обратились в бегство; я же, видя, что дело пошло на лад, быстрейшим бегом с честью вышел из этого предприятия, не желая испы-

тывать судьбу больше, чем должно. В этом столь непомерном беспорядке своими же шпагами ранили себя несколько этих солдат и капитанов, а сказанный мессер Бенвеньято, папский камерарий, был ушиблен и потоптан своим мулом; а один его служитель, схватившись за шпагу, упал вместе с ним и люто ранил его в руку. Эта рана и была причиной, почему, больше, чем все остальные, этот мессер Бенвеньято ругался на этот их перуджийский лад, говоря: «Клянусь господним.....³, я хочу чтобы Бенвеньято научил Бенвенуто, как жить». И поручил одному из этих своих капитанов, быть может и более смелому, чем остальные, но, будучи молод, он имел мало разума. Этот самый пришел ко мне туда, где я укрылся, в дом некоего неаполитанского вельможи, каковой, слышав и видев кое-какие работы моего художества, а вместе с ними душевное и телесное расположение, годное к воинскому делу, к каковому этот вельможа был склонен; так что, видя себя обласканным и чувствуя себя к тому же в своей стихии, я дал такую отповедь этому капитану, что, я думаю, он весьма раскаивался, что пришел ко мне. Несколько дней спустя, когда подзажили раны и у Луиджи, и у потаскухи, и у этих прочих, к этому неаполитанскому вельможе обратился с просьбой этот мессер Бенвеньято, у которого гнев прошел, помирить меня с этим сказанным юношей Луиджи и что, мол, эти храбрые солдаты, каковые ничего против меня не имеют, просто хотят со мной познакомиться. Поэтому вельможа этот сказал им всем, что приведет меня, куда они желают, и охотно меня помирят; что при этом ни с той, ни с другой стороны не должно брыкаться словами, ибо это шло бы слишком против их чести; достаточно будет для виду выпить и облобызаться, а что слова хочет сказать он сам, каковыми он охотно их убогаторит. Так и сделали. Однажды вечером, в четверг, сказанный вельможа привел меня в дом к сказанному мессеру Бенвеньято, где были все эти солдаты, которые были при этом поражении, и они еще сидели за столом. С моим вельможей было свхше тридцати смелых людей, всё хорошо вооруженных,

чего сказанный мессер Бенвеньято не ожидал. Когда мы вошли в зал, первым сказанный вельможа, а я за ним, он сказал такие слова: «Да хранит вас бог, синьоры; мы к вам явились, Бенвенуто и я, каковой люблю его, как родного брата; и мы готовы сделать все то, на что будет ваша воля». Мессер Бенвеньято, видя, что зал наполняется таким множеством людей, сказал: «Мы просим вас о мире, и ни о чем другом». И так мессер Бенвеньято обещал, что суд римского губернатора не будет меня беспокоить. Мы заключили мир; после чего я тотчас же вернулся к себе в мастерскую, но не мог пробыть и часа без этого неаполитанского вельможи, каковой то являлся ко мне сам, то посылал за мной. Тем временем сказанный Луиджи Пульчи, поправившись, каждый день ездил на этом своем вороном коне, который был так хорошо объезжен. Как-то раз среди прочих, после дождика, он гарцевал на коне перед самой дверью Пантасилеи, поскользнулся и упал, а конь на него; сломав себе правую ногу в бедре, в доме сказанной Пантасилеи он, несколько дней спустя, умер и исполнил клятву, которую от чистого сердца дал богу. Отсюда видно, что бог ведет счет добрым и злым и каждому воздает по заслугам.

XXXIV

Уже весь мир был под оружием¹. Папа Климент послал попросить у синьора Джованни де'Медичи² некои отряды солдат, и когда таковые пришли³, то они выделявали в Риме такие дела, что нельзя было оставаться в открытых мастерских. Это было причиною, почему я перебрался в добрый домина за Банки; и там я работал на всех этих приобретенных мною друзей. Работы мои в эту пору были не особенно значительны; поэтому рассказывать о них не стоит. В эту пору я много развлекался музыкой и такими удовольствиями, подобными ей. Когда папа Климент, по совету мессер Якопо Сальвиати, распустил эти пять отрядов, которые ему прислал синьор Джованни, каковой тогда уже умер в Ломбардии, Бурбон, узнав,

что в Риме нет солдат, стремительнейше двинул свое войско на Рим. По этому случаю весь Рим взялся за оружие; и вот, так как я был очень дружен с Алессандро, сыном Пьеро дель Бене, и так как в те времена, когда колоннцы приходили в Рим⁴, он меня просил, чтобы я охранял ему его дом, то при этом, более важном, случае он попросил меня, чтобы я набрал пятьдесят товарищей для охраны сказанного дома и чтобы я был их предводителем, как я это делал во времена колоннцев; поэтому я набрал пятьдесят отважнейших молодых людей, и мы вступили в его дом, на хорошую плату и хорошее содержание. Так как войско Бурбона уже подступило к стенам Рима, сказанный Алессандро дель Бене попросил меня, чтобы я пошел вместе с ним сопроводить его; и вот мы пошли, один из наилучших этих товарищей и я, а по дороге с ним к нам присоединился некий молодой юноша, по имени Чеккино делла Каза. Мы пришли к стенам Кампо Санто⁵ и здесь увидели это изумительное войско, которое уже прилагало все свои усилия, чтобы войти. В том месте стен, куда мы подошли, много молодежи было побито теми, что снаружи; здесь дрались что было мочи; стоял такой густой туман, какой только можно себе представить; я обернулся к Алессандро и сказал ему: «Вернемся домой как можно скорее, потому что здесь ничем нельзя помочь; вы видите, те лезут, а эти бегут». Сказанный Алессандро, испугавшись, сказал: «Дал бы бог, чтобы мы сюда не приходили!» и с превеликой поспешностью повернулся, чтобы идти. Я его прекнул, говоря ему: «Раз уж вы меня сюда привели, необходимо сделать что-нибудь по-мужски»; и, направив свою аркебузу туда, где я видел более густую и более тесную кучу боя, я прицелился в середину, прямо в одного, которого я видел возвышавшимся над остальными; потому что туман мешал мне разобрать, на коне он или пеший. Обернувшись затем к Алессандро и к Чеккино, я им сказал, чтобы они запалили свои аркебузы, и показал им способ, чтобы не угодить под выстрелы тех, что снаружи. Когда мы так сделали по два раза каждый, я осторожно подо-

шел к стенам и увидел среди тех необычайное смятение; оказалось, что этими нашими выстрелами убит Бурбон; это и был тот первый, которого я видел возвышающимся над остальными, как потом узналось. Уйдя оттуда, мы прошли через Кампо Санто и вошли через Сан Пьеро; и, выйдя за церковью Санто Аньоло, добрались до ворот замка⁶ с превеликими трудностями, потому что синьор Ренцо да Чери⁷ и синьор Орацио Бальони⁸ ранили и убивали всех, кто покидал битву у стен. Когда мы подошли к сказанным воротам, часть врагов уже вступила в Рим и наседала на нас. Когда замок уже собирался опустить решетку у ворот, образовалось свободное место, так что мы четверо вошли внутрь. Как только я вошел, меня взял капитан Паллоне де'Медичи и, так как я принадлежал к людям замка⁹, заставил меня расстаться с Лессандро; что я сделал весьма против воли. Когда я поднялся на башню, в это самое время по коридорам вошел в замок папа Климент; потому что он сперва не хотел уходить из дворца Сан Пьеро¹⁰, не в силах поверить, чтобы те могли войти. Оказавшись таким образом внутри, я подошел к некоему орудиям, за каковыми имел пристоур пушкано по имени Джулиано, флорентинец. Этот Джулиано, глядя промеж зубцов замка, видел, как разоряют его бедный дом и мучат жену и детей; и поэтому, чтобы не попасть в своих, он не решался запалить свои орудия и, бросив запальный фитиль наземь, с превеликим плачем терзал себе лицо; и то же самое делали некоторые другие пушкари. Поэтому я взял один из этих фитилей, велел себе помогать некоем, которые там находились, у каковых не было таких страстей; навел несколько штук сакров и фалконетов туда, где видел надобность, и ими уложил много людей у врагов; если бы этого не было, то та часть, что вступила в Рим в это утро, двинулась бы прямо на замок; и возможно, что она легко вошла бы, потому что орудия их не беспокоили. Я продолжал стрелять; поэтому некоторые кардиналы и синьоры благословляли меня и придавали превеликого духу. Так что я, воодушевясь, силился сделать то, чего не мог; доста-

точно того, что я был причиной, что замок в это утро спасся и что остальные эти пушкири снова принялись делать свое дело. Я продолжал весь этот день; когда настал вечер, в то время как войско вступало в Рим через Трастевере, папа Климент, поставив начальником над всеми пушкарями некоего римского вельможу, какового звали мессер Антонио Санта Кроче, этот вельможа первым делом подошел ко мне, учиняя мне ласки; он поместил меня с пятью чудесными орудиями на самом возвышенном месте замка, которое и называется «у Ангела»;¹¹ это место обходит весь замок кругом и смотрит и в сторону Прати, и в сторону Рима; он дал мне под начало сколько нужно людей, которыми я бы мог командовать, чтобы помогать мне ворочать мои орудия; и, велев выдать мне плату вперед, отпустил мне хлеба и немного вина и затем попросил меня, чтобы я как начал, так и продолжал. Я, который, быть может, был более склонен к этому ремеслу, нежели к тому, которое считал своим, так охотно его исполнял, что оно мне удавалось лучше, чем сказанное. Когда настала ночь и враги вступили в Рим, мы, которые были в замке, особенно я, который всегда любил видеть новое, стоял и смотрел на эту неописуемую новизну и пожар; те, кто был в любом другом месте, кроме замка, не могли этого ни видеть, ни вообразить. Однако я не стану этого описывать; я буду продолжать описывать только эту мою жизнь, которую я начал, и то, что прямо к ней относится.

XXXV

Так как я непрерывно продолжал действовать своими орудиями, то, благодаря им, за целый месяц, что мы были осаждены в замке, со мной случилось множество величайших приключений, которые все стоят того, чтобы о них рассказать; но, не желая быть столь пространным и не желая оказываться слишком в стороне от моего художества, я опущу большую их часть, говоря только о тех, которые меня

вынуждают, каковые будут наименьшие числом и наиболее замечательные. И первое из них такое: что, так как сказанный мессер Антонио Санта Кроче велел мне спуститься из-под Ангела, чтобы пострелять в некои соседние с замком дома, куда видно было, как вошли некои враги с воли, то, пока я стрелял, в меня грянул орудийный выстрел, каковой угодил в край зубца и отхватил столько, что по этой причине не сделал мне вреда: потому что это большое количество все целиком ударило меня в грудь; у меня остановилось дыхание, и я лежал на земле, простертый, как мертвец, и слышал все, что говорили окружающие, среди каковых очень сетовал этот мессер Антонио Санта Кроче, говоря: «Увы, мы лишились лучшей помощи, какая у нас была!» Подоспел на этот шум некий мой товарищ, которого звали Джанфранческо флейтщик, — этот человек был более склонен к медицине, чем к флейте, — и тотчас же, плача, побежал за графинчиком отличнейшего греческого вина; накалив черепицу, он положил на нее добрую пригоршню польни; затем попрыскал сверху этим добрым греческим вином; когда сказанная польня хорошо пропиталась, он тотчас же положил мне ее на грудь, где ясно была видна ушибина. Такова была сила этой польни, что она сразу вернула мне потерянные силы. Я хотел заговорить, но не мог, потому что какие-то дураки-солдаты набили мне рот землей, думая, что они меня ею приобщают, каковою они меня скорее отлучили, потому что я не мог прийти в себя, ибо эта земля гораздо больше меня извела, чем ушиб. Выпутавшись, однако же, из этого, я вернулся к орудийным громам, продолжая их со всем искусством и наилучшим рвением, какие я только мог измыслить. И так как папа Климент послал просить помощи у герцога урбинского¹, каковой был с венецианским войском, сказав послу, чтобы тот сказал его светлости, что до тех пор, пока сказанный замок будет продолжать зажигать каждый вечер три огня на вершине замка, сопровождаемых тремя троекратными орудийными выстрелами, что пока будет продолжаться этот знак, это будет означать, что замок не

сдался; то мне было поручено зажигать эти огни и стрелять из этих орудий; и всякий раз днем я их навел на такие места, где они могли причинить какой-нибудь большой вред; по этой причине папа любил меня еще гораздо больше, потому что видел, что я исполняю ремесло с тем вниманием, какого это дело требует. Помощь от сказанного герцога так и не пришла; поэтому я, который здесь не для этого, прочего не описываю.

XXXVI

Пока я был занят этим моим дьявольским упражнением, меня навещали некоторые из этих кардиналов, которые были в замке¹, но чаще всего кардинал Равенна² и кардинал де'Гадди;³ каковым я много раз говорил, чтобы они ко мне не являлись, потому что эти их красные шапочки видны издали, поэтому с соседних дворцов, как, например, с башни Бини, они и я подвергаемся превеликой опасности; так что в конце концов я велел от них запираяться и этим нажил большую с ними вражду. Бывал у меня часто также синьор Орацио Бальони, каковой весьма меня любил. Беседуя со мной как-то раз среди прочих, он заметил, что что-то творится в некоей гостинице, каковая была за воротами Кастелло, в месте, называемом Бакканелло. Вывеской этой гостинице служило солнце, красного цвета, намалеванное между двух окон. Так как окна были заперты, сказанный синьор Орацио решил, что прямо внутри этого солнца, промеж этих двух окон, расположились за столом солдаты и кутят; поэтому он сказал мне: «Бенвенуто, если ты возьмешься попасть на локоть от этого солнца из этой твоей полупушки, я полагаю, ты сделаешь благое дело, потому что там слышен великий шум, так что там, должно быть, очень важные люди». Каковому синьору я сказал: «Я берусь попасть в самое это солнце»; но только что вот бочка, полная камней, которая была тут же рядом с жерлом сказанной пушки, так сила огня и этого ветра, который

подымает пушка, сбросит ее вниз. На что сказанный синьор мне ответил: «Не теряй времени, Бенвенуто; во первых, не может быть, чтобы так, как она стоит, ветер от пушки ее свалил; но если бы даже она свалилась, а там внизу стоял сам папа, беда была бы не так велика, как тебе кажется; стреляй же, стреляй!» Я, не раздумывая больше, выпалил в самое солнце, как и обещал, точь-в-точь. Бочка упала, как я и говорил, и угодила как раз посередине между кардиналом Фарнезе⁴ и мессер Якопо Сальвиати, так что легко расплющила бы их обоих; а причиной тому было, что сказанный кардинал Фарнезе как раз прекнул, что сказанный мессер Якопо — причина разгрома Рима;⁵ и так как они поносили друг друга, давая простор поносным словам, то по этой причине моя бочка и не расплющила их обоих. Услышав великий шум, который происходил на этом дворе внизу, добрый синьор Орацио с великой поспешностью побежал вниз; а я, высунувшись наружу, там, где упала бочка, услышал некоторых, которые говорили: «Хорошо бы убить этих пушкарей». Поэтому я повернул два фалконета к лестнице, которая вела наверх, решившись в душе, чуть только кто первый взойдет наверх, запалить один из фалконетов. Должно быть, эти слуги кардинала Фарнезе имели поручение от кардинала прийти мне досадить; поэтому я выступил вперед и держал фитиль в руке. Узнав некоторых из них, я сказал: «О дармоеды, если вы не уберетесь отсюда и если хоть один осмелится ступить на эту лестницу, то у меня здесь два заряженных фалконета, каковыми я из вас сделаю порошок; и подите сказать кардиналу, что я сделал то, что мне было приказано моими начальниками, и это было сделано и делается в их же, духовенства, защиту, а не в обиду им». Когда они ушли, прибежал наверх сказанный синьор Орацио Бальони, каковому я сказал, чтобы он стоял поодаль, не то я его убью, потому что я прекрасно знаю, кто он такой. Этот синьор не без страха остановился немного и сказал мне: «Бенвенуто, я твой друг». На что я сказал: «Синьор, взойдите, но только один, а там приходите как вам будет угодно». Этот синьор,

который был прегорд, постоял немного и гневно мне сказал: «Мне охота больше не приходить сюда и сделать как раз обратное тому, что я думал сделать для тебя». На это я ему ответил, что, как я поставлен на эту службу, чтобы защищать других, так же я способен защитить и самого себя. Он мне сказал, что пришел один; и так как, когда он взошел, он был изменившись в лице больше, чем следовало, то я приложил руку к шпаге и смотрел на него по-собачьи. Тогда он рассмеялся и, снова порумянев лицом, наиприветливейше мне сказал: «Мой Бенвенуто, я тебя люблю как только могу, и, когда настанет время, чтобы богу было угодно, я тебе это докажу; дал бы бог, чтобы ты их убил, обоих этих мошенников, потому что один причина этих великих бед, а другой, быть может, будет причиной и худшего». И он мне сказал, чтобы если меня спросят, то чтобы я не говорил, что он тут был со мной, когда я запалил это орудие; а об остальном чтобы я не беспокоился. Шум был превеликий, и дело тянулось немалое время. Об этом я не хочу распространяться дольше; достаточно того, что я чуть было не отомстил за моего отца мессер Якопо Сальвиати, который учинил ему тысячу смертоубийств, как на то жаловался сказанный мой отец. Как-никак, я нечаянно задал ему большого страха. О Фарнезе я ничего не хочу говорить, потому что в своем месте видно будет, как было бы хорошо, если бы я его убил.

XXXVII

Я продолжал стрелять из моих орудий и с ними каждый день совершал что-нибудь замечательное; так что у папы я снискал доверие и милость неописуемые. Не проходило дня, чтобы я не убил кого-нибудь из врагов с воли. Как-то раз среди прочих папа разгуливал по круглой башне и увидел в Прати испанского полковника, какового он узнал по некоторым приметам, потому что тот когда-то состоял у него на службе, и, рассматривая его, он о нем разговаривал. Я, который был наверху у Ангела и ничего об этом

не знал, а видел человека, который там стоит и рас-
поряжается рытвем окопов, с копьцом в руке, одетый
весь в розовое, — раздумывая, что бы такое я мог
ему сделать, взял один мой кречет, который там
у меня был, а это такое орудие, больше и длиннее
сакра, вроде полукулеврины; это орудие я разрядил,
затем зарядил его изрядной долей мелкого пороха,
перемешанного с крупным; затем отлично навел его на
этого красного человека, взяв изумительную дугу,
потому что тот был настолько далеко, что по науке
нельзя было бы попасть на таком расстоянии из по-
добного рода орудия; я запалил и угодил прямо в
середину этому красному человеку, каковой, из
шегольства, привесил себе шпагу спереди, на некий
свой испанский манер; и вот, когда мое ядро, долетев,
ударилось об эту шпагу, то видно было, как сказан-
ного человека разрезало пополам. Папа, который
ничего такого не ожидал, пришел в великое удоволь-
ствие и изумление как потому, что ему казалось не-
возможным, чтобы орудие могло попасть в такую да-
лекую цель, так и потому, что этого человека разре-
зало пополам; он не мог уразуметь, как это могло
случиться, и, послав за мной, стал меня спраши-
вать. Поэтому я ему рассказал, какое я приложил
тщание, производя выстрел; но почему человек ока-
зался разрезанным пополам, тому ни он, ни я не по-
нимали причины. Преклонив колена, я попросил его
благословить меня во отпущение этого человекоубий-
ства и других, которые я учинил в этом замке на
службе церкви. На это папа, воздев руки и осенив
широким крестным знаменем мою фигуру, сказал
мне, что он меня благословляет и что он мне прощает
все человекоубийства, которые я когда-либо совер-
шил, и все те, которые я когда-либо совершу на
службе апостольской церкви. Удалившись, я пошел
наверх и с усердием безостановочно стрелял; и почти
ни один выстрел не попадал мимо. Мое рисование, и
мои прекрасные занятия, и моя красота музыкальной
игры, все ушло в игру на этих орудиях, и если бы
я рассказал подробно все те чудесные дела, какие
в этой адовости жестокой я совершил, я бы изумил

мир; но, чтобы не быть слишком длинным, я их опускаю. Скажу только о некоторых из наиболее замечательных, каковые мне необходимы; так вот, размышляя днем и ночью, что бы я мог сделать, со своей стороны, в защиту церкви, заметив, что враги сменяют караул и проходят через ворота Санто Спирито, каковые были в выстреле разумном; но так как стрелять мне приходилось вкось, то мне не удавалось причинить того великого вреда, какой мне хотелось причинить; все же каждый день их убивалось весьма изрядно; поэтому враги, видя, что эта дорога заграждена, наставили тридцать с лишним бочек однажды ночью на верхушку одной крыши, каковые мне загоразживали этот вид. Я, обдумав этот случай немного лучше, чем прежде, повернул все мои пять орудий, направив их на сказанные бочки, и стал ждать двадцати двух часов, когда как раз сменялся караул. И так как они, считая себя безопасными, шли гораздо медленнее и гораздо гуще, чем обычно, то я, запалив свои поддувала, не только сбросил наземь эти бочки, которые мне мешали, но одним этим поддувом уложил больше тридцати человек. Поэтому, так как это повторилось потом еще два раза, солдаты пришли в такой беспорядок, что, будучи, к тому же, полны добычи великого разгрома, так что иные из них желали вкусить от своих трудов, они не раз пытались взбунтоваться, чтобы уйти. Однако, сдержанные этим их храбрым капитаном, какового звали Джан ди Урбино¹, они, к великому своему неудобству, были вынуждены избрать другую дорогу, чтобы сменить свои караулы; каковое неудобство составляло свыше трех миль, тогда как по прежней не было и полумили. После этого подвига все эти синьоры, которые были в замке, оказывали мне удивительные милости. Этот случай, ибо он имел такие важные последствия, я хотел его рассказать, чтобы покончить с этим, потому что они не из того художества, которое подвигает меня писать; ибо если бы всем таким я пожелал украсить свою жизнь, то мне бы слишком многое оставалось сказать. Вот еще только одно, о чем в своем месте я скажу.

XXXVIII

Перескакивая немного вперед, расскажу, как папа Климент, чтобы спасти тиары со всем множеством великих драгоценностей апостолической камеры, велел меня позвать и заперся с Кавальерино и со мною в комнате наедине. Этот Кавальерино был когда-то слугой при конюшне Филиппо Строрци¹; был он француз, человек рождения самого подлого; и так как он был великим слугой, то папа Климент сделал его богатейшим и доверял ему, как самому себе; так что когда сказанный папа, и Кавальере, и я заперлись в сказанной комнате, они выложили перед мной сказанные тиары со всем этим великим множеством драгоценностей апостолической камеры; и он велел мне все их вынуть из золота, в которое они были оправлены. И я так и сделал; затем я завернул их каждую в кусочек бумаги, и мы их зашили в некие подкладки к папе и к сказанному Кавальерино. Затем они дали мне все золото, какового было фунтов двести, и сказали мне, чтобы я его переплавил насколько можно более тайно. Я пошел к Ангелу, где была моя комната, каковую я мог запирасть, чтобы никто мне не мешал; соорудив себе здесь из кирпичей самодувную печурку и приладив в поду сказанной печки довольно большой зольник в виде блюда, бросая золото сверху на уголья, оно понемногу падало на это блюдо. Пока эта печка работала, я постоянно бдил, чем бы мне повредить нашим врагам; а так как до окопов наших врагов внизу было от нас ближе, чем камнем бросить, то я причинял им вред в сказанных окопах неким древним ломом, которого было несколько куч, прежние замковые запасы. Взяв один сакр и один фалконет, у каковых были у обоих пообломаны жерла, я их набивал этим ломом; и когда я затем эти орудия запаливал, он летел вниз, как сумасшедший, причиняя сказанным окопам много неожиданных бед; и таким вот образом, держа их постоянно наготове, пока я плавил сказанное золото, я, незадолго до вечерни, увидел, что подъезжает вдоль края окопа один верхом на муле. Пребыстро

бежал этот мул; а тот что-то говорил тем, что в окопах. Я приготовился запалить свое орудие пораньше, чем он со мной поравняется; и так, запалив с верным расчетом, едва он поравнялся, я ему попал одним из этих обломков прямо в лицо; остаток угодил в мула, каковой упал мертвым; в окопе послышался превеликий шум; я запалил второе орудие, не без великого для них вреда. Это был принц Оранский², который нутром окопов был отнесен в некую гостиницу по соседству, куда сбежалась вскорости вся войсковая знать. Когда папа Климент услышал, что я сделал, он тотчас же послал за мной, и, спросив меня о случившемся, я ему все поведал и, кроме того, сказал ему, что это, должно быть, чрезвычайно важный человек, потому что в этой гостинице, куда его отнесли, тотчас же собрались все главари этого войска, насколько о том можно было судить. Папа, в отличнейшем духе, велел позвать мессер Антонио Санта Кроче, каковой дворянин был главой и предводителем всех пушкарей, как я говорил; сказал, чтобы он велел всем нам, пушкарям, чтобы мы навели все наши орудия на этот сказанный дом, каковых было бесконечное множество, и чтобы, по выстрелу из аркебузы, каждый палил; так что, с убийством этих вождей, это войско, которое сейчас как бы на подпорках, совсем развалится; и что, быть может, господь услышит их моления, которые они так часто возносят, и таким путем избавит их от этих нечестивых злодеев. Когда мы приготовили наши орудия, согласно приказанию Сайта Кроче, и ждали знака, об этом узнал кардинал Орсино³ и начал кричать на папу, говоря, что ни в коем случае нельзя этого делать, потому что вот-вот будет заключено соглашение, а что если этих убьют, то лагерь без вождя силой ворвется в замок и погубит их вконец; поэтому они не хотят, чтобы это было сделано. Бедный папа, в отчаянии, видя, что его режут и внутри, и снаружи, сказал, что предоставляет размыслить им. Когда приказ был таким образом отменен, я, который не мог выдержать, узнав, что ко мне идут с приказом не стрелять, запалил полупушку, которая у меня была, каковая попала в столп во

дворе этого дома, где я видел прислонившимся множество людей. Этот выстрел причинил врагам столь великий вред, что они готовы были покинуть дом. Этот кардинал Орсино сказанный хотел меня велеть повесить или убить во что бы то ни стало; против чего папа смело меня защищал. Громкие слова, которые между ними довелись, хоть я их и знаю, но так как не мое ремесло писать истории, то мне нет надобности их говорить; а буду заниматься только своим делом.

XXXIX

Переплавив золото, я отнес его папе, каковой много меня благодарил за все, что я сделал, и велел Кавальерино, чтобы тот дал мне двадцать пять скудо, извиняясь передо мной, что большего у него нет, чтобы он мог мне дать. Спустя несколько дней было заключено соглашение¹. Я отправился к синьору Ора--- Бальони, вместе с тремястами товарищами, в Перуджу; и там синьор Орацио хотел мне поручить этот отряд, какового я тогда не захотел, сказав, что сперва хочу съездить повидать моего отца и выкупить изгнание, какое у меня было из Флоренции². Сказанный синьор мне сказал, что он назначен капитаном флорентинцев; и тут же был сер Пьер Мариа ди Лотто, посланец сказанных флорентинцев, каковому сказанный синьор Орацио весьма меня препоручил, как своего человека. Так я отправился во Флоренцию с несколькими другими товарищами. Чума была неопишная, великая. Прибыв во Флоренцию, я разыскал моего доброго отца, каковой считал, что я или погиб во время этого разгрома, или вернулся к нему голым. Каковое случилось совсем наоборот: я был жив, со множеством денег, со слугой и на добром коне. Когда я явился к своему старику, такова была радость, в которой я его увидел, что я думал, пока он меня обнимал и целовал, что он от нее, наверное, тут же умрет. Рассказав ему все эти дьявольщины разгрома и дав ему в руки изрядное количество скудо, каковые я себе заработал по-солдатски, когда

мы обласкали друг друга, добрый отец и я, он тотчас же отправился в Совет Восьми выкупать мое изгнание; и оказалось случайно, что в числе Восьми был один из тех, которые мне его дали, и это был тот самый, который безрассудно сказал тот раз моему отцу, что хочет послать меня на дачу с копейщиками; поэтому мой отец отпустил в отместку несколько приличествующих слов, вызванных теми милостями, которые мне оказал синьор Орацио Бальони. При таком положении дел я рассказал отцу, как синьор Орацио избрал меня в капитаны и что мне пора начать подумывать о том, чтобы набирать отряд. От этих слов бедный отец, сразу же расстроившись, стал меня умолять господом богом, чтобы я не брался за это предприятие, хоть он и знает, что я способен и на это, и на еще большее, говоря мне при этом, что уже другой его сын и мой брат весьма отважен на войне, а что я должен заниматься тем чудесным искусством, над каковым я столько лет и с таким великим усердием потрудился уже. Хоть я ему и обещал послушаться, он рассудил, как человек умный, что если явится синьор Орацио, то, как потому, что я ему обещал, и по иным причинам, я никак не смогу преминуть, чтобы не предаться воинским делам; и вот он ловким способом задумал удалить меня из Флоренции, говоря так: «О дорогой мой сын, чума здесь неописуемая, великая, и мне все время кажется, что ты вот-вот вернешься с нею домой; я помню, что когда я был еще молодым человеком, я отправился в Мантуу, в каком-то городе я был весьма обласкан, и там я прожил несколько лет; я тебя прошу и приказываю тебе, чтобы, ради любви ко мне, и лучше сегодня, чем завтра, ты отсюда убрался и отправился туда».

XL

Так как мне всегда нравилось видеть свет и никогда еще не бывав в Мантуе, я охотно отправился, взяв деньги, которые привез с собой; а большую их часть оставил моему доброму отцу, обещав ему

помогать ему всегда, где бы я ни был, и оставив мою старшую сестру руководительницей бедному отцу. Имя ей было Коза, и так как она никогда не желала иметь мужа, то была принята в монахини к святой Орсоле, а пока оставалась в помощь и надзор старику отцу и в руководство другой моей сестре, младшей, каковая была замужем за неким Бартоломмео, ваятелем. И так, отбыв с отцовским благословением, я взял своего доброго копя и на нем отправился в Мантуу. Слишком многое пришлось бы мне рассказать, если бы я хотел подробно описывать это маленькое путешествие. Так как мир был омрачен чумой и войной, я с превеликой трудностью все же добрался потом до сказанной Мантуи; в каковую когда я прибыл, я стал искать, чтобы начать работать; и вот меня приставил к делу некий маэстро Никколо, миланец, каковой был золотых дел мастером у герцога сказанной Мантуи¹. Когда я оказался приставлен к делу, я, два дня спустя, пошел навестить мессер Юлио Романо², превосходнейшего живописца, уже сказанного, большого моего друга, каковой мессер Юлио учинил мне неопишуемые ласки и очень сердился, что я не приехал спешиться у его дома; а жил он вельможей и выполнял для герцога работу за воротами Мантуи, в месте, называемом Те³. Эта работа была велика и изумительна, как, должно быть, можно видеть и сейчас. Сказанный мессер Юлио тотчас же в весьма лестных словах поговорил обо мне с герцогом; каковой велел, чтобы я ему сделал модель, чтобы хранить частицу крови Христовой, которая у них имеется, каковая, как говорят, принесена туда Лонгином;⁴ затем он обернулся к сказанному мессер Юлио, говоря ему, чтобы он сделал мне рисунок для сказанного ковчега. На это мессер Юлио сказал: «Государь, Бенвенуто — человек, который не нуждается в чужих рисунках, и в этом ваша светлость вполне убедится, когда увидит его модель». Принявшись делать эту сказанную модель, я сделал рисунок к сказанному ковчегу, так чтобы он вполне вмещал сказанную стекляницу; затем, кроме того, сделал восковую модельку. Это был сидящий Христос, который левой

рукой, поднятой кверху, придерживал большой свой крест, прислонясь к нему, а правой рукой как бы раскрывал у себя пальцами рану на груди. Когда эта модель была закончена⁵, она так поправила герцогу, что милости были неопишутемы, и он велел мне сказать, что оставит меня у себя на службе на таких условиях, что я смогу там жить богато. Тем временем я представился его брату, кардиналу⁶, и сказанный кардинал попросил герцога, чтобы тот разрешил мне сделать архипастырскую печать его преосвященства; каковую я и начал. Пока я эту самую работу делал, меня постигла перемежная лихорадка; и поэтому, когда эта лихорадка меня забирала, я лишался разумения; так что я проклинал Мантуу, и того, кто ей хозяин, и тех, кто по доброй воле в ней живет. Эти слова были пересказаны герцогу этим его миланским золотых дел мастером, каковой прекрасно видел, что герцог хочет пользоваться мною. Когда сказанный герцог услышал эти мои недужные слова, он люто на меня рассердился; а так как я был рассержен на Мантуу, то в гнев мы были равны. Когда я кончил мою печать⁷, что заняло четыре месяца, вместе с некоторыми другими вещицами, сделанными для герцога под именем кардинала, сказанный кардинал хорошо мне заплатил и просил меня, чтобы я вернулся в Рим, в этот чудесный город, где мы познакомились. Выехав с изрядной суммой мантуанских скудо, я прибыл в Говерно, место, где был убит этот отважнейший синьор Джованни⁸. Здесь меня постиг небольшой приступ лихорадки, каковая несколько не помешала моему путешествию и, оставшись в сказанном месте, никогда уже потом у меня не бывала. Прибыв затем во Флоренцию, думая найти моего дорогого отца, постучав в дверь, в окне показалась некая бешеная горбунья и стала меня гнать с великой грубостью, говоря, что я ее извел. Каковой горбунье я сказал: «Да скажи ты мне, горбунья неподобная, неужели в этом доме нет другого лица, кроме твоего?» — «Нет, будь ты неладен!» Каковой я сказал громко: «А твоего пусть не хватит и на два часа!» На этот спор вышла соседка, каковая мне сказала, что мой

отец и все, сколько их было из моей семьи, умерли от чумы⁹; так как я об этом уже догадывался, то по этой причине скорбь была меньше; затем она мне сказала, что в живых осталась только эта младшая моя сестра, которую звали Липерата¹⁰, что ее приютила одна святая женщина, каковую звали мона Андреа де'Беллаччи. Я поехал дальше, чтобы отправиться в гостиницу. Случайно мне встретился один мой дружище; этого звали Джованни Ригольи¹¹. Я спешился у его дома, и мы пошли на площадь, где я получил вести, что брат мой жив, какового я и пошел разыскивать в дом к одному его другу, которого звали Бертино Альдобранди. Когда я разыскал брата и пошли бесконечные ласки и приветствия, а потому они были необыкновенные, что и ему обо мне, и мне о нем было сообщено о смерти каждого из нас; затем, подняв превеликий смех, с изумлением, взяв меня за руку, он мне сказал: «Идем, брат, я тебя сведу в такое место, какового ты никогда бы и не вообразил; дело в том, что я выдал второй раз замуж нашу сестру Липерату, которая совершенно уверена, что ты умер». Пока мы шли в это место, мы рассказывали друг другу чудеснейшие вещи, случившиеся с нами; а когда мы явились в дом, где жила сестра, на нее нашло такое исступление от неожиданной новости, что она упала мне на руки без чувств; и если бы при этом не присутствовал мой брат, действие было такое, без единого слова, что муж сперва не думал, что я ей брат. Когда Чеккино, мой брат, заговорил и помог бесчувственной, она быстро пришла в себя; и, поплавав немножечко об отце, о сестре, о муже, о своем сынишке, она стала собирать к ужину; и на этой веселой свадьбе за весь вечер больше не говорилось о мертвых, а велись только свадебные разговоры; и так мы радостно и с великим удовольствием отужинали.

XLI

Понуждаемый просьбами брата и сестры, я по этой причине остался во Флоренции, потому что желание мое было направлено к тому, чтобы мне вернуться

в Рим. Также и этот дорогой мой друг, о котором я уже говорил, как много он мне помог в некоторых моих невзгодах, — это был Пьеро, сын Джованни Ланди¹, — также и этот Пьеро мне сказал, что мне бы следовало задержаться несколько во Флоренции; потому что, так как Медичи были изгнаны из Флоренции², — то есть синьор Ипполито и синьор Алессандро, каковые стали потом — один кардиналом, а другой герцогом флорентийским, — этот сказанный Пьеро мне сказал, что мне следует остаться немного, чтобы посмотреть, что делается. Так я начал работать на Новом рынке, и оправлял великое множество драгоценных камней, и хорошо зарабатывал. В это время приехал во Флоренцию один сиенец, по имени Джироламо Марретти; этот сиенец долгое время жил в Турции и был человек живого ума; он пришел ко мне в мастерскую и дал мне сделать золотую медаль, чтобы носить на шляпе; он хотел на этой медали, чтобы я сделал Геркулеса, который раздирает пасть льву. И вот я принялся его делать; и пока я над ним работал, заходил много раз Микеланьоло Буонарроти посмотреть на него; а так как я очень над ним потрудился, и положение фигуры и лютость зверя были совсем другие, чем у всех тех, кто до сих пор это делал, а также потому, что этот способ работы был совершенно неизвестен этому божественному Микеланьоло, то он так хвалил эту мою работу, что меня одолело такое желание сделать хорошо, что это было нечто неопишемое. Но так как у меня не было никакой другой работы, как только оправлять драгоценные камни, то, хоть это и давало мне наибольший заработок, какой я мог иметь, я этим не удовлетворился, потому что мне хотелось работы другого свойства, чем оправлять камни; в это время случилось, что некий Федерико Джинори, юноша весьма возвышенной души, — этот юноша много лет жил в Неаполе, и так как он был весьма красив телом и внешностью, то он влюбился в Неаполе в одну принцессу, — так вот, желая сделать медаль, на каковой был бы Атлант с миром на плечах, он попросил великого

Микеланьоло, чтобы тот ему сделал небольшой рисунок. Каковой сказал сказанному Федериго: «Сходите к некоему молодому золотых дел мастеру, имя которому Бенвенуто; этот вам услужит очень хорошо; и ему, уж конечно, не требуется моего рисунка; но, чтобы вы не думали, будто я хочу избежать трудов над такой малостью, я весьма охотно сделаю вам небольшой рисунок; а пока поговорите со сказанным Бенвенуто, чтобы и он также сделал небольшую модельку; затем то, что лучше, возьмется в работу». Этот Федериго Джинори пришел ко мне и сказал мне свое желание, а также, как этот удивительный Микеланьоло меня хвалил, и что я также должен сделать небольшую восковую модельку, в то время как этот дивный человек обещал ему сделать небольшой рисунок. Мне придали столько духу эти слова этого великого человека, что я тотчас же принялся с превеликим усердием делать сказанную модель; а когда я ее кончил, некий живописец, большой друг Микеланьоло, по имени Джулиано Буджардини³, он мне принес рисунок Атланта. В это же время я показал сказанному Джулиано мою восковую модельку; каковая была весьма отлична от этого рисунка Микеланьоло; настолько, что сказанный Федериго, а также и Буджардино, решили, что я должен его делать по моей модели. И так я его начал, и его видел превосходнейший Микеланьоло, и так мне его хвалил, что это было нечто неопишное. Это была фигура, как я сказал, выбитая в пластине; на плечах у нее было небо, в виде хрустального шара, с вырезанным на нем его зодиаком, на лапис-лазуриевом поле; вместе со сказанной фигурой оно имело такой красивый вид, что это было нечто неопишное; внизу была надпись буквами, каковые гласили: «Summa tulisse juvat»⁴. Будучи доволен, сказанный Федериго заплатил мне прещедро. Так как в это время мессер Алуиджи Аламани⁵ был во Флоренции, он был другом сказанного Федериго Джинори, каковой много раз приводил его ко мне в мастерскую, и благодаря ему он стал мне очень близким другом.

XLII

Когда папа Климент двинулся войной на город Флоренцию, и тот приготовился к обороне¹, и город по всем околоткам начал снаряжать народное ополчение, то также и я был призван в свою очередь. Я снарядился богато; водился с высшей флорентийской знатью, каковые очень дружно выказывали желание сражаться для этой обороны; и держались речи по всем околоткам, известно какие. К тому же, молодые люди бывали чаще, чем обычно, вместе, и ни о чем другом не говорилось, как об этом. Когда как-то раз около полудня собралось у меня в мастерской множество мужчин и молодых людей, первейших в городе, мне принесли письмо из Рима, каковое было от некоего, которого в Риме называли маэстро Якопино делла Барка. Звали его Якопо делло Шорина, а в Риме — делла Барка, потому что он держал лодку, которая перевозила через Тибр между мостом Систо и мостом Санто Аньоло. Этот маэстро Якопо был человек очень остроумный и вел занятные и отличнейшие разговоры; когда-то он работал во Флоренции и переводил рисунки для шелкоделов. Этот человек был большим другом папы Климента, каковой находил великое удовольствие в том, чтобы слушать его разговоры. Когда он как-то раз вел эти самые разговоры, зашла у него речь и о разгроме, и о действиях замка; и папа, вспомнив обо мне, наговорил обо мне столько хорошего, сколько вообразить возможно; и добавил, что, если бы он знал, где я, он был бы рад меня залучить. Сказанный маэстро Якопо сказал, что я во Флоренции; поэтому папа велел ему, чтобы он мне написал, чтобы я к нему возвратился. Это сказанное письмо содержало, что я должен вернуться на службу к Клименту и благо мне будет. Эти молодые люди, которые тут же присутствовали, хотели знать, что это письмо содержит; поэтому я, насколько мог лучше, его утаил; затем я написал сказанному маэстро Якопо, прося его, чтобы он, ни ради хорошего, ни ради худого, никоим образом мне не писал. А тот, еще больше разохотившись, написал мне новое письмо,

которое настолько выходило из границ, что, если бы его увидели, мне пришлось бы плохо. Оно гласило, чтобы, от имени папы, я ехал немедленно, каковой хочет занять меня делами величайшей важности; и чтобы, если я хочу поступить правильно, я все бросал немедленно и не оставался действовать против папы заодно с этими сумасбродными бешеными². Увидав это письмо, я так испугался, что пошел к этому моему дорогому другу, которого звали Пьер Ланди; каковой, взглянув на меня, сразу же меня спросил, что со мной случилось, что у меня такой расстроенный вид. Я сказал моему другу, что того, что со мной случилось, что привело меня в такое великое расстройство, этого я никоим образом не могу ему сказать; я только попросил его, чтобы он взял эти вот ключи, которые я ему даю, и чтобы он вернул драгоценные камни и золото такому-то и такому-то, которых он найдет у меня записанными в книжечке; затем пусть возьмет мое домашнее имущество и немного присмотрит за ним с обычной своей добротой; а что через несколько дней он узнает, где я. Этот умный юноша, должно быть, почти догадываясь, в чем дело, сказал мне: «Брат мой, уезжай скорее, потом напиши, а о вещах своих не думай». Так я и сделал. Это был самый верный друг, самый умный, самый порядочный, самый внимательный, самый нежный, которого я когда-либо знал. Уехав из Флоренции, я отправился в Рим; и оттуда написал.

XLIII

Как только я прибыл в Рим, я встретил часть моих друзей, каковыми и был весьма хорошо встречен и обласкан, и тотчас же принялся исполнять работы все для заработка и не такие, чтобы их описывать. Был некий старичок золотых дел мастер, какового звали Раффаэлло дель Моро. Это был человек весьма известный в цехе, и в остальном это был очень почтенный человек; он меня попросил, чтобы я согласился пойти работать в его мастерскую, потому что ему надо исполнить несколько важных работ, каковые

были весьма прибыльны; и я охотно пошел. Прошло уже десять с лишним дней, а я все еще не показывался к этому сказанному маэстро Якопино делла Барка, каковой, случайно меня встретив, весьма меня приветствовал и спросил меня, давно ли я приехал, на что я ему сказал, что тому уже около двух недель. Этот человек очень рассердился и сказал мне, что я очень мало считаюсь с папой, каковой с великой настойчивостью уже три раза велел ему писать ко мне; я же, который сердился куда больше, чем он, ничего ему не ответил, но проглотил злобу. Этот человек, который был преизобилен словами, попал в колею и столько наговорил, что когда я наконец увидел, что он устал, я ему ничего не сказал, как только то, чтобы он свел меня к папе, когда ему будет удобно; каковой ответил, что можно в любое время; на что я ему сказал: «И я тоже всегда готов». Он двинулся в сторону дворца, и я с ним; это было в страстной четверг; когда мы пришли в папские покои, то, так как его знали, а меня ждали, нас тотчас же впустили. Папа был в постели, немного нездоровый, и с ним был мессер Якопо Сальвиати и архиепископ капуанский¹. Увидев меня, папа весьма необычайно обрадовался; я же, облобызав ему ноги, со всем смирением, с каким только мог, подошел к нему, показывая, что хочу сказать ему нечто важное. Он тотчас же сделал знак рукой, и сказанный мессер Якопо и архиепископ отошли очень далеко от нас. Я сразу начал, говоря: «Всеблаженный отче, с тех пор как был разгром и по сей день я не мог ни исповедаться, ни причаститься, потому что мне не дают отпущения; дело в том, что, когда я плавил золото и делал эту работу по выемке камней, ваше святейшество отдали распоряжение Кавальерино, чтобы он дал мне некоторую малую награду за мои труды, каковой я не получил вовсе, и он даже скорее наговорил мне грубостей; отправившись наверх, туда, где я плавил сказанное золото, убрав золу, я нашел фунта полтора золота в таких крупинках, вроде как просо, и так как у меня не было достаточно денег, чтобы вернуться пристойно к себе домой, я подумал воспользоваться ими и воз-

вратить их потом, когда мне представится удобство. И вот я здесь у ног вашего святейшества, каковое есть истинный духовник; и да окажет оно мне такую милость даровать мне разрешение, дабы я мог исповедаться и причаститься и через милость вашего святейшества снова обрести милость господ моего и бога». Тогда папа, со смиренным вздохом, быть может вспоминая свои горести, сказал такие слова: «Бенвенуто, я действительно тот, о ком ты говоришь, который могу отпустить тебе всякое прегрешение, тобой соделанное, и к тому же хочу; поэтому совершенно откровенно и чистосердечно выскажи все, ибо, если бы даже ты взял стоимость одной из этих тиар целиком, я вполне расположен тебя простить». Тогда я сказал: «Другого я не брал, всеблаженный отче, как только то, что я сказал; а это не достигало стоимости ста сорока дукатов, потому что столько я за это получил на монетном дворе в Перудже, и с ними я отправился утешить моего бедного старика отца». Папа сказал: «Твой отец был такой добродетельный, добрый и честный человек, какой когда-либо рождался, и ты у него не выродок; очень мне жаль, что денег было мало; но те, которые ты говоришь, что были, я тебе дарю и все тебе прощаю; поведай об этом духовнику, если нет ничего больше, что бы касалось меня; а потом, исповедавшись и причастившись, покажись опять, и благо тебе будет». Когда я отошел от папы и приблизились сказанный мессер Якопо с архиепископом, папа сказал столько хорошего обо мне, сколько вообще можно сказать про человека на свете; и сказал, что исповедал меня и дал отпущение; потом прибавил, говоря архиепископу капуанскому, чтобы он послал за мной и спросил, нет ли у меня другой нужды, кроме этого случая, чтобы он дал мне отпущение во всем, что он дает ему на это полную власть и чтобы он вдобавок обласкал меня, как только может. Когда я выходил с этим маэстро Якопино, он с величайшим любопытством меня выспрашивал, что это были за потаенные и длинные разговоры, которые я имел с папой; так как он спросил меня об этом больше двух раз, то я ему сказал,

что не желаю этого ему говорить, потому что это дела, которые его не касаются, и поэтому пусть он меня больше об этом не спрашивает. Я пошел и сделал все то, что было условлено с папой; затем, когда миновали оба праздника, я пошел ему представиться; он же, обласкав меня еще больше, чем первый раз, сказал мне: «Если бы ты приехал в Рим немного раньше, я бы дал тебе восстановить те мои две тиары, которые мы погубили в замке; но так как это вещи, если не считать камней, малостоящие, то я тебя займу работой величайшей ценности, где ты сможешь показать, что ты умеешь делать; это застежка для ризы, каковая делается круглой, в виде блюдца, и величиной с блюдечко в треть локтя; на ней я хочу, чтобы был сделан бог отец полурельефом, а посередине ее я хочу приладить ту красивую грань большего алмаза, со множеством других камней величайшей ценности; одну такую начал было Карадоссо, да так и не кончил; эта, я хочу, чтобы была кончена скоро, потому что хочу еще и сам немножко ею полюбоваться; иди же и сделай красивую модельку». И велел мне показать все камни; так что я тотчас же ушел стрелой.

XLIV

Пока вокруг Флоренции была осада, этот Федерико Джинори, которому я сделал медаль с Атлантом, умер от чахотки, и сказанная медаль досталась в руки мессер Луиджи Аламанни, каковой, спустя малое время, сам повез ее дарить королю Франциску, королю Франции, с некоторыми своими прекраснейшими писаниями. Так как медаль эта чрезвычайно понравилась королю, даровитейший мессер Луиджи Аламанни сказал обо мне его величеству несколько слов про мои достоинства, помимо искусства, с такой благожелательностью, что король выказал желание со мной познакомиться. Пока я со всем усердием, с каким только мог, усердствовал над сказанной моделькой, каковую я делал точь-в-точь той же величины, какой должна была быть самая

вещь, обиделись в золотых дел цехе многие из тех, кто считал себя способным это сделать. И так как в Рим приехал некий Микелетто, большой искусник резать по сердолику, — кроме того, он был весьма знающий ювелир и был человек старый и большой известности, — то он принял участие в заботе об обеих папских тиарах; когда я делал эту сказанную модель, он очень удивлялся, что я к нему не обратился, благо он человек знающий и в большом доверии у папы. Наконец, видя, что я к нему не иду, он сам пришел ко мне, спрашивая меня, что я делаю. «То, что мне велел папа», я ему ответил. Тогда он сказал: «Папа велел мне, чтобы я наблюдал за всем тем, что делается для его святейшества». На что я сказал, что сперва спрошу у папы и тогда буду знать, что ему ответить. Он мне сказал, что я об этом пожалею; и, уйдя от меня рассерженным, повидался со всеми этими в цехе, и, поговорив об этом деле, они его поручили сказанному Микеле; и тот, с этим своим хитроумием, заказал неким искусным рисовальщиком свыше тридцати рисунков, все друг от друга различных, этого самого замысла. И так как он имел в своем распоряжении папское ухо, то, стакнувшись еще с одним ювелиром, какового звали Помпео, миланцем, — это был большой любимец папы и приходился родственником мессер Траяно, первому папскому камерарию, — оба они начали, то есть Микеле и Помпео, говорить папе, что видели мою модель и что им кажется, что я неподходящее орудие для столь удивительного предприятия. На это папа сказал, что должен посмотреть и сам; и если я не подхожу, то надо будет поискать, кто бы подошел. Те оба сказали, что у них имеется несколько чудесных рисунков для этой вещи; на это папа сказал, что он этому очень рад, но что он не хочет смотреть их, пока я не кончу свою модель; а тогда он посмотрит всё вместе. В несколько дней я кончил модель, и, когда, однажды утром, я понес ее к папе, этот мессер Траяно сказал мне подождать, а сам тем временем спешно послал за Микелетто и Помпео, говоря им, чтобы они несли рисунки. Когда они явились, нас ввели;

поэтому тотчас же Микеле и Помпео начали разворачивать свои рисунки, а папа их рассматривать. А так как рисовальщики не ювелирного цеха не знают расположения камней, а те, что были ювелирами, их этому не научили, — потому что ювелиру необходимо, когда среди его камней располагаются фигуры, чтобы он умел рисовать, иначе у него ничего хорошего не выйдет, — то все эти рисунки укрепили этот чудесный алмаз посередине груди у этого бога отца. Папа, у которого было отличнейшее понимание, увидев такое дело, оно ему не понравилось; и когда он просмотрел их до десятка, то, кинув остальные наземь, он сказал мне, который стоял себе тут же в стороне: «Покажи-ка сюда, Бенвенуто, твою модель, чтобы я видел, та же ли у тебя ошибка, что и у них». Я подошел, и когда я раскрыл круглую шкатулочку, то словно блеск ударил папе прямо в глаза; и он сказал громким голосом: «Если бы ты сидел у меня в теле, ты бы сделал это как раз так, как я вижу; эти ничего другого не могли придумать, чтобы опозориться». Столпилось множество вельмож, и папа показывал разницу, какая была между моей моделью и рисунками тех. Когда он вдоволь похвалил ее, а те стояли испуганные и неуклюжие в его присутствии, он обернулся ко мне и сказал: «Я здесь вижу только одну беду, но она превеликой важности; мой Бенвенуто, с воском работать легко; вся штука в том, чтобы сделать это из золота». На эти слова я смело ответил, говоря: «Всеблаженный отче, если я ее не сделаю в десять раз лучше, чем эта моя модель, пусть будет условлено, что вы мне за нее не платите». При этих словах поднялся великий шум среди этих вельмож, говоря, что я обещаю чересчур много. Был среди этих вельмож один, превеликий философ, который сказал в мою защиту: «От этой красивой физиогномии и симметрии тела, которые я вижу у этого юноши, я жду всего того, что он говорит, и даже большего». Папа сказал: «Вот поэтому-то и я ему верю». Призвав этого своего камерария, мессер Траяно, он ему сказал, чтобы тот принес пятьсот золотых камеральных дукатов, Пока ждали денег, папа снова,

и уже спокойнее, рассматривал, каким красивым сплосбодом я сочетал алмаз с этим богом отцом. Этот алмаз я поместил по самой середине вещи, а над этим алмазом я расположил сидящим бога отца, в красивом повороте, что давало прекраснейшее сочетание и нисколько не мешало камню; подняв правую руку, он давал благословение. Под этим алмазом я поместил трех младенцев, которые поднятыми кверху руками поддерживали сказанный алмаз. Один из этих младенцев, средний, был в полный рельеф; остальные двое — в половинный. Кругом было большое количество разных младенцев, в сочетании с остальными красивыми камнями. Сзади у бога отца была мантия, которая развевалась, из каковой появлялось множество младенцев, со многими другими прекрасными украшениями, каковые являли чудеснейшее зрелище. Вещь эта была сделана из белого гипса по черному камню. Когда принесли деньги, папа собственноручно мне их дал и с превеликой ласковостью просил меня, чтобы я сделал так, чтобы он ее получил, пока еще жив, и благо мне будет.

XLV

Когда я нес домой деньги и модель, меня раздрало нетерпение скорее приняться за дело. Я тотчас же с великим усердием начал работать, а через неделю папа прислал мне сказать через одного своего камерария, знатнейшего болонского вельможу, что я должен идти к нему и принести то, что сработал. Пока я шел, этот сказанный камерарий, который был самым любезным человеком, какой только был при этом дворе, говорил мне, что папа не только хочет видеть эту работу, но хочет дать мне и другую, величайшей важности; а это были чеканы для монет римского монетного двора; и чтобы я вооружился, дабы суметь ответить его святейшеству; что поэтому он меня и предупредил. Явившись к папе, я развернул перед ним эту золотую пластину, где пока был изваян один только бог отец, каковой и вчерне являл

большее искусство, чем та восковая моделька; так что папа, изумясь, сказал: «Отныне впредь всему, что ты скажешь, я готов верить»; и, оказав мне много нескончаемых милостей, сказал: «Я хочу тебе поручить другое дело, к которому у меня такая же охота, как и к этому, и даже больше, если ты возьмешься его исполнить»; и он сказал мне, что ему охота сделать чеканы для своих монет, и спросил меня, делал ли я их когда-нибудь и возьмусь ли я их сделать; я сказал, что возьмусь вполне и что я видел, как они делаются, но что сам я их никогда не делал. Присутствовавший при этом некий мессер Томмазо из Прато, каковой был датарием его святейшества, будучи великим другом этих моих друзей, сказал: «Всеблаженный отец, милости, которые ваше святейшество оказываете этому молодому человеку, — а он по природе своей нарочито смел, — причиной тому, что он готов вам обещать хоть новый мир; так как вы дали ему большое поручение, а теперь присовокупляете к нему еще большее, то это будет причиной, что одно повредит другому». Папа гневно обернулся к нему и сказал, чтобы он занимался своим делом; а на меня возложил, чтобы я сделал модель большого золотого дублона, на каковом он хотел, чтобы был обнаженный Христос со связанными руками, с надписью, которая бы гласила: «Ессе Номо»¹; и оборот, где были бы папа и император, которые бы совместно утверждали крест, каковой являл бы, что падает, с надписью, которая бы гласила: «Unus spiritus et una fides erat in eis»². Когда папа заказал мне эту красивую монету³, подошел Бандинелло, ваятель, каковой не был еще сделан кавалером⁴, и со своим обычным самомнением, облаченным в невежество, сказал: «Этим золотых дел мастерам, для таких красивых вещей, необходимо давать им рисунки». На что я тотчас же обернулся и сказал, что не нуждаюсь в его рисунках для моего искусства; но что я надеюсь в скором времени, что моими рисунками его искусству я досажу. Папа выказал такое удовольствие от этих слов, какое только можно вообразить, и, обернувшись ко мне, сказал: «Ступай, мой Бенвенуто, и старайся

усердно служить мне, и не обращай внимания на слова этих сумасбродов». На этом я ушел и с великой быстротой сделал два чекана; и выбив из золота одну монету, отнеся однажды в воскресенье, после обеда, монету и чеканы к папе, когда он ее увидел, он остался изумлен и доволен не только прекрасной работой, которая правилась ему чрезвычайно; еще больше его изумила быстрота, которую я употребил. И чтобы еще умножить удовлетворение и изумление папы, я принес с собой все старые монеты, которые были деланы прежде теми искусными людьми, которые служили папе Юлию и папе Льву; и, видя, что мои гораздо больше удовлетворяют, я достал из-за пазухи указ, каковым я испрашивал эту сказанную должность чеканного мастера монетного двора; каковая должность давала шесть золотых скудо жалованья в месяц, кроме того, что чеканы потом оплачивались начальником двора и что за них давалось за три по дукату. Папа, взяв мой указ и обернувшись, дал его в руки датарию, говоря ему, чтобы он тотчас же мне его справил. Датарий, взяв указ и собираясь положить его себе в карман, сказал: «Всеблаженный отче, вашему святейшему незачем так торопиться; это дела, которые требуют некоторого размышления». Тогда папа сказал: «Я вас понял; дайте сюда этот указ». И, взяв его, тут же, собственноручно, его подписал; затем, дав его ему, сказал: «Теперь уже не может быть возражений; справьте его сейчас же, ибо я так хочу; и больше стоят сапоги Бенвенуто, чем глаза всех этих прочих тупиц». И так, поблагодарив его святейшество, веселый чрезвычайно, я ушел к себе работать⁵.

XLVI

Я все еще работал в мастерской Раффаэлло дель Моро вышесказанного. У этого почтенного человека была красавица дочка, ради которой он на меня имел виды; я же, отчасти это заметив, желал этого, но хоть у меня и было это желание, я не выражал его

ничуть; и даже был настолько скромн, что изумлял его. Случилось, что у этой бедной девушки завелась болезнь на правой руке, каковая ей изъела те две косточки, которые следуют за мизинцем и за другим пальцем, рядом с мизинцем. И так как бедную девочку, по небрежению отца, лечил невежественный лекаришка, каковой сказал, что эта бедная девочка останется калекой на всю эту правую руку, если только с ней не приключится худшего, то, увидев бедного отца таким перепуганным, я ему сказал, чтобы он не верил всему тому, что говорит этот невежественный врач. На это он мне сказал, что не дружен ни с кем из врачей, из хирургов, и что он меня просит, если я какого-нибудь знаю, чтобы я его привел. Я тотчас же послал за неким маэстро Якомо, перуджинцем, человеком весьма превосходным в хирургии; и когда он посмотрел эту бедную девочку, каковая была перепугана, потому что, должно быть, догадалась о том, что сказал тот невежественный врач, то этот знающий сказал, что ей не будет ничего худого и что она отлично будет владеть своей правой рукой; если даже эти два крайних пальца останутся немного более слабенькими, чем остальные, то это ей ни чуточки не будет мешать. И, принявшись ее лечить, когда, по прошествии нескольких дней, он захотел убрать немного этой гнили с этих косточек, то отец меня позвал, чтобы также и я пришел посмотреть немного, когда этой девочке будут делать больно. Поэтому, когда сказанный маэстро Якомо взял некои большие железа, увидав, что ими он делает мало дела и очень больно сказанной девочке, я сказал маэстро, чтобы он остановился и подождал меня восьмушку часа. Сбегав в мастерскую, я сделал стальную железку, тончайшую и изогнутую; она была как бритва. Когда я вернулся к маэстро, он с такой мягкостью начал работать, что она совсем не чувствовала боли, и в малое время кончил. За это, помимо прочего, этот почтенный человек возымел ко мне такую любовь, больше, чем к обоим своим сыновьям; и так он постарался вылечить красавицу дочку. Бу-

дучи в превеликой дружбе с неким мессер Джованни Гадди, каковой был камеральным клириком, этот мессер Джованни весьма любил таланты, хоть в нем самом не было никакого. У него жил некий мессер Джованни, грек, превеликий ученый; мессер Лодовико да Фано, подобно ему, ученый; мессер Антонио Аллегретти; ¹ мессер Аннибаль Каро ², тогда еще молодой. Со стороны были мессер Бастиано, венецианец, превосходнейший живописец ³, и я; и почти каждый день по разу мы видались со сказанным мессер Джованни; и вот, в виду этой дружбы, этот почтенный человек Раффаэлло, золотых дел мастер, сказал сказанному мессер Джованни: «Мой мессер Джованни, вы меня знаете; а так как я хотел бы выдать эту мою дочку за Бенвенуто, то, не находя лучшего способа, чем ваша милость, я вас прошу, чтобы вы мне я этом помогли, и вы сами, из моих средств, назначьте ей то приданое, какое вам рассудится». Этот чудаковатый человек не дал почти что договорить этому бедному почтенному человеку, как безо всякого решительно основания сказал ему: «Не говорите об этом больше, Раффаэлло, потому что вам до этого дальше, чем январю до ежевики». Бедный человек, совсем пришибленный, постарался поскорее выдать ее замуж; а мать ее и все на меня дулись, и я не понимал причины; и так как я считал, что они мне платят плохой монетой за многие любезности, которые я им сделал, то я собирался открыть мастерскую рядом с ними. Сказанный мессер Джованни ничего мне не сказал, пока эта девушка не вышла замуж, что случилось по прошествии нескольких месяцев. Я с великим усердием был занят окончанием моей работы и службой монетному двору, потому что снова папа заказал мне монету ценою в два карлино, на каковой было изображение головы его святейшества, а на обороте Христос на море, каковой протягивал руку святому Петру, с надписью вокруг, которая гласила: «Quare dubitasti?» ⁴. Понравилась эта монета до того чрезвычайно, что некий папский секретарь, человек величайших достоинств, по имени Санта, сказал: «Ваше святейшество может гордиться,

что у него есть монета, какой мы не видим и у древних, при всем их великолепии». На это папа ответил: «Также и Бенвенуто может гордиться, что служит государю, подобному мне, который его знает». Продолжая большую золотую работу, я часто показывал ее папе, потому что он торопил меня ее увидеть, и каждый день все больше восхищался.

XLVII

Брат мой находился в Риме, на службе герцога Лессандро¹, каковому папа в это время добыл герцогство Пеннское, а на службе у этого герцога было великое множество солдат, почтенных людей, храбрых, из школы этого величайшего синьора Джованни де'Медичи², и среди них мой брат, причем сказанный герцог его почитал, как всякого из этих прочих храбрейших. Этот мой брат однажды после обеда был в Банки, в мастерской у некоего Баччино делла Кроче, куда все эти молодцы заходили; он сидел на стуле и спал. В это время проходила стража барджелла³, каковая вела в тюрьму некоего капитана Чисти, ломбардца, тоже из школы этого великого синьора Джованнинно, но он не состоял на службе у герцога. Капитан Каттиванца дельи Строцци был в мастерской у сказанного Баччино делла Кроче. Сказанный капитан Чисти, увидев капитана Каттиванца дельи Строцци, сказал ему: «Я вам нес эти несколько скудо, которые я вам задолжал; если вы их хотите, придите за ними, пока они со мной не ушли в тюрьму». Был этот капитан охоч выставять вперед других, не стремясь испытываться сам; поэтому, так как тут же оказались в присутствии некои храбрейшие молодые люди, более охочие, нежели способные настоль великое предприятие, он им сказал, чтобы они подошли к капитану Чисти и взяли от него эти его деньги, а что если стража окажет сопротивление, то чтобы они применили к ней силу, если у них на это хватит духу. Этих молодых людей было всего только четверо, все четверо безбородые; и первого звали Бертино

Альдобранди, второго Ангвиллотто да Лукка; остальных я не помню имен. Этот Бертино был воспитанник и истый ученик моего брата, и мой брат любил его так непомерно, как только можно вообразить. И вот эти четверо смелых молодых людей подошли к страже барджелла, каковой было свыше пятидесяти стражников посреди пик, аркебуз и двуручных мечей. Недолго говоря, взялись за оружие, и эти четверо молодых людей так удивительно теснили стражу, что если бы капитан Каттиванца только показался немножко, не берясь даже за оружие, то эти молодые люди обратили бы стражу в бегство; но они немного задержались, и этот Бертино получил несколько тяжелых ран, каковые повалили его наземь; также и Ангвиллотто в то же самое время получил рану в правую руку, так что, не будучи уже в состоянии держать шпагу, отступил как мог; остальные сделали то же самое; Бертино Альдобранди был поднят с земли люто раненный.

XLVIII

Пока это происходило, все мы сидели за столом, потому что в это утро обедали больше чем на час позже обычного. Слыша этот шум, один из этих сыновей, старший, встал из-за стола, чтобы пойти взглянуть на эту драку. Этого звали Джованни, каковому я сказал: «Сделай милость, не ходи, потому что в подобного рода делах мы всегда видим верную гибель без всякой выгоды». То же самое ему говорил его отец: «Ах, сынок, не ходи!» Этот юноша, никого не слушая, побегал вниз по лестнице. Прибежав в Банки, где происходила эта великая драка, увидав, как Бертино поднимают с земли, повернув бегом обратно, он встретился с Чеккино, моим братом, каковой его спросил, в чем дело. Хотя некоторые и махали Джованни, чтобы он про это не говорил сказанному Чеккино, он сказал сдуру, как было, что Бертино Альдобранди убит стражей. Бедный мой брат испустил такой рев, что за десять миль было бы

слышно; затем сказал Джованни: «Горе мне! А мог бы ты мне сказать, кто из них убил его мне?» Сказанный Джованни сказал, что да и что это был тот из них, у которого двуручный меч, с голубым пером на шляпе. Бедный мой брат, двинувшись вперед и узнав по этой примете убийцу, бросившись с этой своей удивительной быстротой и отвагой в середину всей этой стражи и так, что ничто бы не помогло, всадив ему шпагу в живот и проткнув его насквозь, рукоятью шпаги повалил его наземь, обернувшись к остальным с такой доблестью и отвагой, что всех их он один обратил бы в бегство, если бы, когда он повернулся, чтобы ударить одного аркебузира, тот, в собственной крайности, выстрелив из аркебузы, не ранил мужественного несчастного юношу выше колена правой ноги; и когда он упал наземь, сказанная стража почти бегом торопилась уйти, дабы другой, подобный этому, не подоспел. Слыша, что этот шум продолжается, я тоже, встав из-за стола и привесив шпагу, которую в те времена носил каждый, придя к мосту Сант'Аньоло, увидел скопление многих людей; поэтому, подойдя ближе, и так как некоторые из них меня знали, то мне дали дорогу и показали мне то, что я меньше всего хотел бы увидеть, хоть и выказывал превеликое любопытство увидеть. Сперва я его не узнал, потому что он был одет в другое платье, чем то, в котором я его еще недавно видел; так что он, первый меня узнав, сказал: «Дорогой брат, пусть тебя не расстраивает моя великая беда, потому что мое ремесло мне это сулило; вели поскорее унести меня отсюда, потому что немного часов осталось жить». Так как, пока он мне говорил, мне рассказали весь случай, с той краткостью, какой такие происшествия требуют, то я ему ответил: «Брат, это величайшая скорбь и величайшее огорчение, какое только может меня постигнуть во все время моей жизни; но будь покоен, потому что раньше, чем ты потеряешь зрение, ты увидишь месть за себя твоему злодею, совершенную моими руками». Его слова и мои были такого содержания, но очень кратки.

XLIX

Стража была от нас в расстоянии пятидесяти шагов, потому что Маффио, который был их барджелло, велел части ее вернуться, чтобы унести того капрала, которого мой брат убил; так что я, пройдя очень быстро эти несколько шагов, закутанный и затянутый в плащ, подошел прямо к Маффио и наверное бы его убил, потому что народу было изрядно и я пробрался сквозь него с такой быстротой, какую только можно вообразить. Я обнажил наполовину шпагу, как вдруг меня схватил сзади за руки Берлингьер Берлингьери, юноша отважнейший и большой мой друг, и с ним было четверо других юношей, подобных ему, каковые сказали Маффио: «Убирайся, а то этот один убил бы тебя». Когда Маффио спросил: «Кто это такой»? — они сказали: «Этот брат того, которого ты видишь вон там, родной». Не желая слушать дальше, он с поспешностью удалился в Торре ди Нона;¹ а мне они сказали: «Бенвенуто, эта помеха, которую мы тебе учинили против твоей воли, была ради блага; а теперь пойдем помочь тому, кому скоро умереть». И вот, повернув, мы пошли к моему брату, какового я велел отнести в один дом. Тотчас собрался совет врачей, и они подали ему помощь, не решаясь отнять ему ногу совсем, а он, быть может, был бы спасен. Как только ему подали помощь, явился туда герцог Лессандро, каковой когда его ласкал, мой брат был еще в себе, сказал герцогу Лессандро: «Господин мой, ни о чем другом я не скорблю, как только о том, что ваша светлость теряет слугу, искуснее которого в этом ремесле она, быть может, и могла бы найти, но не такого, который бы с такой любовью и верностью служил вам, как я». Герцог сказал, чтобы он постарался выжить; а что до остального, то он отлично его знает как честного и храброго человека. Затем обернулся к неким своим, говоря им, чтобы ни в чем не было недостатка этому храброму молодому человеку. Когда герцог ушел, то избыток крови, которая не могла остановиться, была причиной тому, что он лишился

разумения; так что всю следующую ночь он бредил и только, когда ему хотели дать причастие, сказал: «Вы хорошо сделали, что исповедали меня раньше; это божественное причастие теперь невозможно, чтобы я мог его принять в этот уже разрушенный снаряд; но позвольте, чтобы я его вкусил божеством очей, через каковые оно будет принято бессмертной моей душой; и она одна у него просит милосердия и прощения». Когда он кончил эти слова и унесли причастие, он тотчас же впал в то же беспамятство, что и прежде, каковое состояло из величайших неистовств, из самых ужасающих слов, какие когда-либо могли представить себе люди; и не переставал всю ночь до утра. Когда солнце показалось над нашим горизонтом, он повернулся ко мне и сказал: «Брат мой, я не хочу больше оставаться здесь, потому что они заставят меня сделать какое-нибудь немалое дело, из-за которого им пришлось бы раскаяться, что они досадили мне». И, выпростав ту и другую ногу, каковую мы ему положили в очень тяжелый ящик, он ее занес, как бы садясь на коня; повернувшись ко мне лицом, он сказал трижды: «Прощай, прощай»; и последнее слово ушло с этой храбрейшей душой. Когда настал должный час, а это было вечером, в двадцать два часа, я его похоронил с превеликой честью в церкви флорентинцев;² а потом велел сделать ему прекраснейшую мраморную плиту, на каковой были вырезаны некои трофеи и знамена. Я не хочу оставить в стороне, что, когда один из этих его друзей спросил его, кто в него выстрелил из аркебузы, узнал ли бы он его, он сказал, что да, и дал ему приметы; каковые, хоть мой брат и остерегался меня, чтобы я этого не услышал, я отлично слышал, и в своем месте будет сказано дальнейшее.

L

Возвращаясь к сказанной плите, — некоторые удивительные писатели, которые знавали моего брата, дали мне эпиграмму, говоря мне, что ее заслуживает

этот чудесный юноша, каковая гласила так: Francisco Cellino Florentino, qui quod in teneris annis ad Ioannem Medicem ducem plures victorias retulit et signifer fuit, facile documentum dedit quantae fortitudinis et consilii vir futurus erat, ni crudelis fati archibuso transfossus, quinto aetatis lustro iaceret, Benvenutus frater posuit. Obiit die XXVII Maii. MD. XXIX¹. Ему было от роду двадцать пять лет; и так как среди солдат его звали Чеккино дель Пиффери, тогда как собственное его имя было Джованфранческо Челлини, мне хотелось изобразить это собственное имя, под которым он был известен, под нашим гербом. Имя это я велел вырезать прекраснейшими древними буквами; каковыя я все велел сделать сломанными, кроме первой и последней буквы. О каковых сломанных буквах я был спрошен, почему я так сделал, теми писателями, которые мне сочинили эту красивую эпиграмму. Я им сказал, что эти буквы сломаны, потому что этот чудесный снаряд его тела разрушен и мертв; а эти две целые буквы, первая и последняя, первая, это — память об этой великой ценности этого дара, который нам посылает господь, об этой нашей душе, зажженной его божеством; эта не сломится никогда; а последняя целая буква, это — ради знаменитой славы его великих доблестей. Это очень понравилось, и впоследствии кое-кто другой воспользовался этим приемом. Рядом я велел вырезать на сказанном камне наш челлиниевский герб, каковой я изменил в том, что ему свойственно; потому что в Равенне, городе древнейшем, имеются наши Челлини, сановитейшие вельможи, у каковых в гербе лев, стоящий на задних лапах, золотой в лазоревом поле, держащий червлёную лилию в правой лапе, а вверху связка с тремя малыми золотыми лилиями. Это наш подлинный челлиниевский герб². Мой отец мне его показывал, в каковом была только лапа со всем остальным из сказанного; но мне бы больше нравилось, чтобы соблюдался вышесказанный герб равеннских Челлини. Возвращаясь к тому, который я сделал на гробнице моего брата, — это была львиная лапа, а вместо лилии я поместил в нее топор, щит же у сказанного герба

был разделен на четыре поля; а этот топор, который я сделал, был для того только, чтобы я не забывал, что должен за него отомстить.

II

Я с превеликим усердием старался кончить эту золотую работу для папы Климента, которую сказанный папа премного хотел и посылал за мной по два и по три раза в неделю, желая увидеть сказанную работу, и всякий раз она ему все больше нравилась; и много раз он меня корил, почти что браня меня за великую печаль, которая у меня была по этом моем брате; и один раз среди прочих, видя меня удрученным и бледным больше, чем следует, он мне сказал: «Бенвенуто, о, я не знал, что ты сумасшедший; или ты не знал до сих пор, что против смерти ничем не помочь? Ты стараешься последовать за ним». Уйдя от папы, я продолжал работу и чеканы для монетного двора, а в возлюбленные взял себе мечтание об этом аркебузире, который выстрелил в моего брата. Этот самый был когда-то конным солдатом, потом поступил в аркебузиры к барджеллу, в число капралов; и что еще пуще увеличивало во мне злобу, это то, что он хвастал таким образом, говоря: «Если бы не я, который убил этого смелого молодого человека, то еще немного, и он один, с великим для нас уроном, всех нас обратил бы в бегство». Чувствуя, что эта страсть видеть его так часто — лишает меня сна и пищи и заводит меня на дурной путь, я, не заботясь о том, что делаю такое низкое и не очень похвальное дело, однажды вечером решил захотеть выйти из такой муки. Этот самый жил возле места, называемого Торре Сангвинья, рядом с домом, где проживала одна куртизанка, из самых излюбленных в Риме, каковую звали синьора Антеа. Вскоре после того, как пробило двадцать четыре часа, этот аркебузир сидел у своего порога со шпагою в руке и уже поужинал. Я с великой ловкостью подошел к нему с большим пистольским кинжалом, и, когда я ударил наотмашь, думая начисто перерубить ему шею, он точно так же очень

быстро обернулся, и удар пришелся в конец левого плеча и расколел всю кость; вскочив, выронив шпагу, вне себя от великой боли, он бросился бежать; я же, следуя за ним, в четыре шага его настиг, и, подняв кинжал над его головой, а он сильно нагнул ее, кинжал пришелся как раз между шейной костью и затылком, и в то и другое так глубоко вошел, что кинжал, что я, как ни силился его вытащить, не мог; потому что из сказанного дома Антеи выскочило четверо солдат, держа шпаги в руках, так что я вынужден был взяться за свою шпагу, чтобы защищаться против них. Оставив кинжал, я ушел оттуда и, из страха быть узнанным, пошел в дом к герцогу Лесандро, который стоял между Пьяцца Навона и Ротондой. Придя туда, я велел доложить герцогу, каковой велел мне сказать, что если я был один, то чтобы я молчал и не беспокоился ни о чем и чтобы я шел делать работу для папы, которую он так хочет, и всю неделю работал дома; особенно потому, что подошли те солдаты, что мне помешали, у каковых был этот кинжал в руке, и они рассказывали про это дело, как оно было, и какого великого труда им стоило вытащить этот кинжал из шейной кости и из затылка у этого человека, о котором они не знают, кто он такой. Тут подошел Джованни Бандини и сказал им: «Этот кинжал мой, и я ссудил им Бенвенуто, который хотел отомстить за своего брата». Речи этих солдат были великие, сожалея, что они мне помешали, хотя месть была учинена поверх головы. Прошло больше недели; папа за мной не присылал, как бывало. Потом, прислав за мной этого болонского вельможу, своего камерария, о котором я уже говорил, тот с великой скромностью мне намекнул, что папа знает все, и что его святейшество весьма меня любит, и чтобы я продолжал работать и сидел тихо. Когда я пришел к папе, тот, взглянув на меня таким свиным глазом, одними уже взглядами учинил мне жуткую острастку; потом, занявшись моей работой, начав светлеть лицом, хвалил меня чрезвычайно, говоря мне, что я много сделал в такое малое время; затем, посмотрев мне в лицо, сказал: «Теперь, когда

ты выздоровел, Бенвенуто, постарайся жить». И я, который его понял, сказал, что так и сделаю. Я тотчас же открыл прекраснейшую мастерскую в Банки, против этого Раффаэлло, и там закончил сказанную работу несколько месяцев спустя.

III

Так как папа прислал мне все камни, кроме алмаза, каковой он, для некоторых своих надобностей, заложил неким генуэзским банкирам, то у меня были все остальные камни, а с этого алмаза был только слепок. Я держал пятерых отличнейших работников и, кроме этой работы, исполнял много заказов; так что мастерская была полна всяких ценностей, в изделиях и в драгоценных камнях, в золоте и в серебре. Держал я в доме лохматого пса, огромного и красивого, какового мне его подарил герцог Лессандро, и притом что этот пес был хорош для охоты, потому что приносил мне всякого рода птицу и других животных, которых я убивал из аркебузы, также и для охраны дома был он изумителен. Случилось мне в это время, благо позволял возраст, в каковом я находился, в двадцать девять лет, взяв в служанки девушку, весьма красиво сложенную и изящную, этой самой я пользовался, чтобы ее изображать, для целей моего искусства; ублажала она также и мою молодость плотской утехой. Поэтому, так как моя комната была совсем в стороне от комнат моих работников и очень далеко от мастерской, соединенная с крохотной комнаткой этой молодой служанки, и так как я очень часто ею услаждался, и хотя у меня был всегда такой легкий сон, как ни у кого другого на свете, при подобных обстоятельствах плотского дела он иной раз становится весьма тяжел и глубок, что и случилось, когда, однажды ночью, подкарауленный одним вором, каковой, говоря, что он золотых дел мастер, высмотрев эти камни, замыслил их у меня украсть, и, вломившись поэтому в мою мастерскую, нашел много поделок из золота

и серебра; и пока он взламывал некоторые ларчики, чтобы найти камни, которые он видел, этот сказанный пес на него набросился, а он кое-как отбивался от него шпагой; так что пес несколько раз бегал по дому, вбегая в комнаты к этим работникам, которые оставались открыты, потому что было лето. Так как этого его громкого лая они не хотели слышать, он посдержал с них одеяла, и так как они все-таки не слышали, стал их хватать за руки, то одного, то другого, так что поневоле их разбудил и, лая этим своим ужасным образом, стал им показывать дорогу, направляясь вперед. Каковые, видя, что они следовать не желают, и когда он этим предателям надоел, кидая в сказанного пса камнями и палками, — а это они могли делать, потому что мною было приказано, чтобы они всю ночь держали свет, — и наконец затворив накрепко комнаты, пес, потеряв надежду на помощь этих мошенников, взялся за дело сам; и побежав вниз, не найдя вора в мастерской, настиг его; и, сражаясь с ним, уже изодрал на нем плащ и сорвал с него; да только тот позвал на помощь неких портных, говоря им, чтобы они ради бога помогли ему защититься от бешеной собаки, а эти, поверив, что это правда, выскочив наружу, прогнали пса с великим трудом. Когда наступил день, войдя в мастерскую, они увидели ее взломанной и открытой, и все ларчики поломанными. Они начали громким голосом кричать: «Беда, беда!», так что я, проснувшись, испуганный этим шумом, вышел к ним. Поэтому они, подойдя ко мне, сказали: «О мы, несчастные, нас ограбил какой-то, который поломал и унес все!» Эти слова были такой силы, что не дали мне подойти к моему сундуку взглянуть, там ли папские камни; но, от этого такого волнения лишившись почти вовсе света очей, я сказал, чтобы они сами отперли сундук, посмотреть, сколько не хватает из этих папских камней. Эти молодцы были все в одних сорочках; и когда, открыв сундук, они увидели все камни и золотую работу вместе с ними, обрадовавшись, они мне сказали: «Никакой беды нет, потому что работа и камни все тут; хоть этот вор и оставил нас в одних сорочках, благо

вчера вечером, из-за большой жары, мы все разделись в мастерской и здесь оставили свою одежду». Чувства мои сразу вернулись на свое место, и я, возблагодарив бога, сказал: «Ступайте все одеться в новое, а я за все заплачу, когда послушаю спокойнее, как этот случай произошел». Что мне было всего больше и от чего я потерялся и испугался до такой степени против моей природы, это как бы люди не подумали, что я изобразил эту выдумку с вором для того только, чтобы самому украсть камни; и потому что папе Клименту говорили один его довереннейший и другие, каковые были Франческо дель Неро, Цана де'Билиотти, его счетовод, епископ везонский и многие другие подобные: «Как это вы доверяете, всеблаженный отче, такие ценнейшие камни молодому человеку, который весь огонь и погружен не столько в искусство, сколько в оружие, и которому нет еще и тридцати лет?» На это папа ответил, знает ли кто-нибудь из них, чтобы я когда-либо сделал что-нибудь такое, что могло бы подать им подобное подозрение. Франческо дель Неро, его казначей, тотчас же ответил, говоря: «Нет, всеблаженный отче, потому что у него никогда не было к этому случая». На это папа ответил: «Я его считаю вполне честным человеком, и, если бы я увидел от него зло, я бы не поверил». Это и было то, что больше всего меня мучило и что сразу же пришло мне на память. Велев молодцам одеться заново, я взял работу вместе с камнями, вставив их, насколько мог лучше, на их места, и с ними тотчас же пошел к папе, каковому Франческо дель Неро уже рассказал кое-что о том шуме, который был слышен в моей мастерской, и сразу внушил подозрение папе. Папа, воображая скорее худое, нежели что другое, бросив на меня ужасный взгляд, сказал надменным голосом: «Что ты пришел тут делать? Что это у тебя?» — «Здесь все ваши камни и золото, и всё в целости». Тогда папа, посветлев лицом, сказал: «Ну, так в добрый час». Я показал ему работу и, пока он ее рассматривал, я ему рассказал все происшествие с вором и с моими страхами о том, что больше всего меня огорчало. На эти слова он много

раз оборачивался, пристально взглядывая мне в лицо, а тут же присутствовал этот Франческо дель Неро, и поэтому казалось, что он почти сердится, что не догадался сам. Наконец, папа, расхохотавшись от всего того, что я ему наговорил, сказал мне: «Ступай и будь по-прежнему честным человеком, как я это и знал».

ЛШ

Пока я торопился со сказанной работой и продолжал трудиться для монетного двора, в Риме начали попадаться некие фальшивые монеты, выбитые моими же собственными чеканами. Их тотчас же снесли папе; и так как ему подали подозрение на меня, то папа сказал Якопо Бальдуччи, начальнику монетного двора: «Приложи величайшие старания к разысканию злодея, потому что мы знаем, что Бенвенуто честный человек». Этот предатель, начальник двора, будучи моим врагом, сказал: «Дай бог, всеблаженный отче, чтобы вышло так, как вы говорите; потому что у нас имеются кое-какие улики». Тут папа обернулся к губернатору Рима и сказал, чтобы тот приложил немного старания к разысканию этого злодея. В эти дни папа послал за мной; потом, ловкими разговорами, перешел к монетам и весьма к слову сказал мне: «Бенвенуто, взялся ли бы ты делать фальшивые деньги?» На что я отвечал, что, по-моему, сумел бы делать их лучше, чем все те люди, которые занимаются этим гнусным делом; потому что те, кто занимается таким лодырничанием, это люди, которые не умеют зарабатывать, и люди невеликого ума; а если я, с моим малым умом, зарабатываю столько, что у меня остается, — потому что, когда я делаю чеканы для монетного двора, то каждое утро, еще не пообедав, мне удастся заработать по меньшей мере три скудо, ибо так всегда было заведено платить за денежные чеканы, а этот дурак начальник на меня зол, потому что ему хотелось бы иметь их дешево, — то мне вполне достаточно того, что я зара-

батываю с помощью божьей и людской; а если бы я делал фальшивые деньги, мне бы не удалось столько заработать. Папа отлично понял эти слова; и так как он велел искусно следить за тем, чтобы я не уехал из Рима, то он им сказал, чтобы они искали старательно, а за мной не следили, потому что ему не хотелось бы меня рассердить, что было бы причиной меня лишиться. Те, кому он это горячо велел, были некои камеральные клирики, каковые, приложив это должное старание, потому что им полагалось, тотчас же нашли его. Это был чеканщик монетного же двора, которого звали по имени Чезери Маркериони, римский горожанин; и вместе с ним был взят один гуртильщик монетного двора¹.

LIV

В этот самый день я проходил по пьядца Навона, и со мною был этот мой чудесный пудель, и, когда я поравнялся с воротами барджелла, то мой пес с превеликой прытью, сильно лая, кидается в ворота барджелла, на некоего юношу, какового как раз велел немножко этак задержать некий Доннино, пармский золотых дел мастер, бывший ученик Карадоссо, потому что у него было подозрение, что тот его обокрал. Этот мой пес делал такие усилия, чтобы хотеть растерзать этого юношу, что подвигнул стражников к состраданию: к тому же дерзкий юноша хорошо защищал свою правоту, а этот Доннино говорил не столько, чтобы было достаточно, тем более, что тут же был один из этих капралов стражи, который был генуэзец и знал отца этого юноши; и таким образом, в виду собаки и этих прочих обстоятельств, они уже хотели было отпустить этого юношу во всяком случае. Когда я подошел, и пес, не зная страха ни шпага, ни палок, снова накинулся на этого юношу, они мне сказали, что если я не уйму своего пса, то они мне его убьют. Я оттащил пса, как мог, и, когда юноша надевал на себя плащ, у него из куколя вы-

пало несколько свертков; и этот Доннино признал, что это его вещи. И я также признал там маленькое колечко; поэтому я тотчас же сказал: «Это и есть тот вор, который мне взломал и ограбил мастерскую; поэтому моя собака его и узнаёт». Я отпустил собаку, и она снова бросилась на него. Тогда вор стал у меня просить прощения, говоря, что возвратит мне все, что у него есть моего. Я снова оттащил собаку, и он мне вернул золотом, и серебром, и кольцами все, что у него было моего, и двадцать пять скудо в придачу; затем просил меня простить его. На каковые слова я сказал, чтобы он просил прощения у бога, потому что я ему не сделаю ни добра, ни зла. Я вернулся к своим трудам, а несколько дней спустя этого Чезери Макерони, фальшивомонетчика, повесили¹ в Банки, против дверей монетного двора, его товарища сослали на каторгу; генуэзского вора повесили на Кампо ди Фьоре; а я остался с еще большей славой честного человека, чем даже раньше.

LIV

Когда я почти уже кончал мою работу, случилось это превеликое наводнение, каковое затопило водой весь Рим¹. Я стоял и смотрел, что делается, и уже день кончался, пробило двадцать два часа, а воды росли непомерно. А так как мой дом и мастерская выходили спереди на Банки, а сзади возвышались на несколько локтей, потому что приходились со стороны Монте Джордано, то я, подумав прежде всего о спасении своей жизни, а затем о чести, захватил с собой все эти драгоценные камни, а самую золотую работу оставил на попечение моим работникам, и так, босиком, спустился из задних моих окон и пошел, как мог, через эти воды, пока не пришел на Монте Кавалло, где я встретил мессер Джованни Гадди, камерального клирика, и Бастиано², венецианского живописца. Подойдя к мессер Джованни, я ему отдал все сказанные камни, чтобы он мне их сберег; и он

уважил меня, как если бы я был ему родной брат. Спустя несколько дней, когда ярость воды миновала, я вернулся к себе в мастерскую и закончил сказанную работу так удачно, благодаря милости божьей и моим великим трудам, что ее признали самой лучшей работой³, которую когда-либо выдывали в Риме; так что, когда я отнес ее к папе, он не мог насытиться мне ее хвалить и сказал: «Если бы я был богатым государем, я бы подарил моему Бенвенуто столько земли, сколько бы мог охватить его глаз; но так как по теперешним дням мы бедные разоренные государи, но во всяком случае мы ему дадим столько хлеба, что хватит на его малые желания». Выждав, пока у папы пройдет этот его словесный зуд, я попросил у него булавоносца, который был свободен. На какие слова папа сказал, что хочет дать мне нечто гораздо более значительное. Я отвечал его святейшеству, чтобы он пока дал мне эту малость в задаток. Рассмеявшись, он сказал, что согласен, но что он не хочет, чтобы я служил, и чтобы я договорился с остальными булавоносцами насчет того, чтобы не служить; за что он даст им некую льготу, о которой они уже просили папу, а именно позволит им требовать свои доходы принудительно. Так и сделали⁴. Это место булавоносца приносило мне доходу без малого двести скудо в год.

LVI

Продолжая после этого услужать папе то одной маленькой работой, то другой, он поручил мне сделать рисунок богатейшей чаши; я и сделал сказанный рисунок и модель. Модель эта была из дерева и воска; вместо ножки чаши я сделал три фигурки изрядной величины, круглые, каковые были Вера, Надежда и Любовь; на подножии затем я изобразил соответственно три истории в трех кругах, полурельефом: и в одной было рождество Христово, в другой воскресение Христово, в третьей был святой Петр, распятый стремглав; потому что так мне было поручено, чтобы я сделал. Пока эта сказанная ра-

бота подвигалась вперед, папа очень часто желал ее видеть: поэтому, заметив, что его святейшество ни разу с тех пор не вспомнил о том, чтобы дать мне что-нибудь, и так как освободилась должность брата в Пьюмбо, я однажды вечером ее попросил. Добрый папа, уже не помня больше о том зуде, который его одолел при том окончании той другой работы, сказал мне: «Должность в Пьюмбо приносит свыше восьмисот скудо, так что, если бы я тебе ее дал, ты бы начал почесывать живот, а это чудесное искусство, которое у тебя в руках, пропало бы, и на мне была бы вина». Я тотчас же ответил, что породистые кошки лучше охотятся с жиру, чем с голоду; так и те честные люди, которые склонны к талантам, гораздо лучше их применяют к делу, когда у них есть в преизбытке, чем жить; так что те государи, которые содержат таких людей в преизбытке, да будет известно вашему святейшеству, что они орошают таланты; а в противном случае таланты хиреют и паршивеют; и да будет известно вашему святейшеству, что я попросил не с намерением получить. Уж и то счастье, что я получил этого бедного булавоносца! А тут я так и ожидал. Ваше святейшество хорошо сделает, раз оно не пожелало дать ее мне, дать ее какому-нибудь даровитому человеку, который ее заслуживает, а не какому-нибудь неучу, который станет почесывать живот, как сказало ваше святейшество. Возьмите пример с доброй памяти папы Юлия, который такую должность дал Браманте¹, превосходнейшему зодчему. Тотчас же откланявшись, я, взбешенный, ушел. Выступив вперед, Бастиано, венецианский живописец, сказал: «Всеблаженный отче, пусть ваше святейшество соблаговолит дать ее кому-нибудь, кто трудится в художественных делах; а так как и я, как известно вашему святейшеству, усердно в них тружусь, то я прошу удостоить ею меня». Папа ответил: «Этот дьявол Бенвенуто не выносит никаких замечаний. Я был готов ему ее дать, но нельзя же быть таким гордым с папой; теперь я не знаю, что мне и делать». Тотчас же выступил вперед епископ везонский и стал просить за сказанного Бастиано, говоря; «Все-

блаженный отче, Бенвенуто молод, и ему куда больше пристала шпага, чем монашеская ряса; пусть ваше святейшество соблаговолит дать эту должность этому даровитому человеку Бастиано; а Бенвенуто вы можете другой раз дать что-нибудь хорошее, что, быть может, окажется и более подходящим, чем это». Тогда папа, оборотясь к мессер Бартоломео Валори, сказал ему: «Когда вы встретите Бенвенуто, скажите ему от моего имени, что он сам сделал так, что Пьомбо получил живописец Бастиано; и пусть он знает, что первое же место получше, какое освободится, будет за ним; а пока пусть он старается как следует и кончает мою работу». На следующий вечер, в два часа ночи, я встретился с мессер Бартоломео Валори на углу монетного двора; перед ним несли два факела, и он шел спеша, вызванный папой; когда я ему поклонился, он остановился и окликнул меня, и сказал мне с величайшей приязнью то, что папа велел ему, чтобы он мне сказал. На какие слова я ответил, что я с большим старанием и усердием dokonчу эту работу, чем какую-либо другую; но все же без малейшей надежды когда-либо что-нибудь получить от папы. Сказанный мессер Бартоломео пожурил меня, говоря мне, что не следует так отвечать на предложения папы. На что я сказал, что, возлагая надежды на такие слова, зная, что я ни в коем случае этого не получу, я был бы сумасшедшим, если бы отвечал иначе; и, простившись, пошел заниматься своим делом. Сказанный мессер Бартоломео, должно быть, передал папе мои смелые слова, а может быть, и больше того, что я сказал, так что папа два с лишним месяца не вызывал меня, а я все это время ни за что не желал идти во дворец. Папа, который по этой работе томился, поручил мессер Руберто Пуччи, чтобы тот последил немного за тем, что я делаю. Этот честный малый каждый день заходил меня повидать и всякий раз говорил мне какое-нибудь ласковое слово, а я ему. Так как приближалось время, когда папа хотел уехать, чтобы отправиться в Болонью², и видя, наконец, что сам я не иду, он велел мне сказать через сказанного мессер Руберто, чтобы я ему

принес мою работу, потому что он хочет посмотреть, насколько она у меня подвинулась. Поэтому я ее принес, благо по работе видно было, что все главное сделано, и просил его оставить мне пятьсот скудо, частью в расчет, а частью мне не хватало очень много золота, чтобы кончить сказанную работу. Папа мне сказал: «Кончай, кончай ее». Я ответил, прощаясь, что кончу, если он мне оставит денег³. На этом я ушел.

LVII

Уехав в Болонью, папа оставил легатом в Риме кардинала Сальвиати¹, и оставил ему поручение, чтобы он торопил меня с этой сказанной работой, и сказал ему: «Бенвенуто человек, который мало ценит свой талант, а нас и того меньше; так вы уж постарайтесь поторопить его, чтобы я застал ее законченной». Этот скотина кардинал прислал за мной через неделю, говоря мне, чтобы я принес работу; на что я явился к нему без работы. Когда я пришел, этот кардинал сразу мне сказал: «Где эта твоя мешанина с луком?»² Кончил ты ее?» На что я ответил: «О пресвященнейший монсиньор, мешанину свою я еще не кончил, и не кончу, если вы мне не дадите луку, чтобы ее кончить». При этих словах сказанный кардинал, у которого лицо было скорее ослиное, чем человеческое, стал еще вдвое уродливее; и чтобы сразу положить конец, сказал: «Я тебя посажу на каторгу, и там ты скажешь спасибо, если тебе дадут кончить работу». С этим скотом и я оскотенел и сказал ему: «Монсиньор, когда я учиню грехи, которые заслуживают каторги, тогда вы меня туда и посадите; а за эти грехи я вашей каторги не боюсь; и кроме того, я вам говорю, что по причине вашей милости я теперь и вовсе не желаю ее кончать; и вы за мной больше не посылайте, потому что я никогда больше к вам не приду, разве что вы меня велите привести под стражей». Добрый кардинал пытался несколько раз послать мне ласково сказать, что я должен бы работать и что я должен бы принести ему показать; так что я

всем им говорил: «Скажите монсиньору, чтобы он прислал мне луку, если хочет, чтобы я кончил эту мешанину». И никогда других слов ему не отвечал; так что он бросил это безнадежное дело.

LVIII

Вернулся папа из Болоньи и тотчас же спросил обо мне, потому что этот кардинал уже написал ему все самое худое, что только мог, на мой счет. Будучи в величайшей ярости, какую только можно вообразить, папа велел мне сказать, чтобы я пришел с работой. Я так и сделал. В то время, пока папа был в Болонье, у меня открылось воспаление с такой болью в глазах, что от страданий я почти не мог жить, так что это была первая причина, почему я не двигал вперед работу; и такой великой была болезнь, что я думал наверняка остаться слепым; так что я даже подвел счета, чего мне должно хватить, чтобы жить слепым. Пока я шел к папе, я обдумывал, какого способа мне держаться, чтобы принести извинения, что я не мог подвинуть вперед работу; я думал, что, пока папа будет ее смотреть и разглядывать, я смогу рассказать ему все, как было; но этого мне не пришлось сделать, потому что, когда я к нему явился, он тотчас же, с грубыми словами, сказал: «Дай сюда свою работу; что, кончена она?» Я ее развернул; тут он с еще большей яростью сказал: «Божьей истиной говорю тебе, который взял себе за правило ни с кем не считаться, что, если бы не уважение к людям, я бы тебя вместе с этой работой велел выбросить из этих окон». Поэтому, видя, что папа стал таким сквернейшим скотом, я решил поскорее от него убираться. Пока он продолжал грозиться, я, спрятав работу под плащом, сказал, бурча: «Целый свет того не сделает, чтобы слепой человек был обязан работать над такими вещами». Еще больше повысив голос, папа сказал: «Поди сюда; что ты говоришь?» Я уже готов был кинуться бежать вниз по лестницам; потом решился

и, бросившись на колени, громко крича, потому что он не переставал кричать, сказал: «А если я из-за болезни ослеп, обязан я работать?» На это он сказал: «Ты достаточно хорошо видел, чтобы прийти сюда, и я не верю ничему из того, что ты говоришь». На это я сказал, слыша, что он немного понизил голос: «Пусть ваше святейшество спросит об этом у своего врача, и оно узнает правду». Он сказал: «Вот на досуге мы увидим, так ли это, как ты говоришь». Тогда, видя, что он склонен меня слушать, я сказал: «Я не думаю, чтобы у этой моей великой болезни была другая причина, как кардинал Сальвиати, потому что он послал за мной, как только ваше святейшество уехали, и когда я к нему явился, обозвал мою работу мешаниной с луком и сказал мне, что пошлет меня кончать ее на каторгу; и таково было действие этих несправедливых слов, что от крайнего волнения я вдруг почувствовал, что у меня вспыхнуло лицо, и в глаза мне хлынул такой непомерный жар, что я не находил дороги, чтобы вернуться домой; несколько дней спустя на глаза мне пало два катаракта; по этой причине я не видел ни зги, и после отъезда вашего святейшества я уже не мог ничего работать». Встав с колен, я пошел себе с богом; и мне говорили, что папа сказал: «Если должности передаются, то благоразумие с ними не передается; я не говорил кардиналу, чтобы он так рубил сплеча; потому что, если правда, что у него болят глаза, а это я узнаю от своего врача, то следовало бы иметь к нему некоторое сострадание». Тут же присутствовал один знатный вельможа, большой друг папы и человек весьма достойнейший. Когда он спросил у папы, что я за личность, говоря: «Всеблаженный отче, я вас об этом спрашиваю, потому что мне показалось, что вы в одно и то же время пришли в величайший гнев, который я когда-либо видел, и в величайшее сострадание; поэтому я и спрашиваю у вашего святейшества, кто это такой; ибо если это человек, который заслуживает того, чтобы ему помочь, я научу его секрету, который его вылечит от этой болезни»; такие слова сказал папа: «Это величайший человек, который когда-либо рождался по

его части; и когда-нибудь, когда мы будем вместе, я вам покажу его изумительные работы, и его вместе с ними; и мне будет приятно, если посмотрят, нельзя ли ему подать какую-нибудь помощь». Три дня спустя, папа прислал за мной однажды после обеда, и там же присутствовал этот вельможа. Как только я вошел, папа велел принести ему эту мою застегку для ризы. Тем временем я вынул эту мою чашу; и этот вельможа говорил, что никогда не видал такой изумительной работы. Когда появилась застегка, его изумление еще больше возросло; посмотрев мне в лицо, он сказал: «Он, однако, молод, чтобы так уметь; еще весьма способен усваивать». Потом спросил меня, как мое имя. На что я сказал: «Бенвенуто мое имя». Он ответил: «На этот раз я для тебя буду Бенвенуто¹. Возьми васильков со стеблем, цветком и корнем, все вместе, потом настой их на слабом огне и этой водой промывай глаза по нескольку раз в день, и ты наверняка вылечишься от этой болезни; но сперва прими слабительное, а потом продолжай этой водой». Папа сказал мне несколько ласковых слов; я я ушел почти довольный

LIX

Болезнь-то у меня и вправду была, но я думаю, что я ее заполучил при посредстве той красивой молодой служанки, которую я держал в то время, когда меня ограбили. Не обнаруживалась во мне эта французская болезнь целых четыре с лишним месяца, а потом покрыла меня всего как есть сразу; была она не в том роде, как та, что мы видим, а казалось, будто я покрыт какими-то пузырьками, величиной с кватрино, красными. Врачи ни за что не хотели окрестить мне ее французской болезнью; а я, однако же, говорил причины, почему я думал, что это она. Я продолжал лечиться по-ихнему, и ничто мне не помогало; и вот наконец, решившись принять дерево¹, вопреки воле этих первейших римских врачей, это дерево я его принимал со всей строгостью и

воздержанием, какие только можно вообразить, и в скором времени почувствовал превеликое улучшение; настолько, что по прошествии пятидесяти дней я был исцелен и здоров, как рыба. Затем, чтобы несколько оправиться от этих великих лишений, которые я преутерпел, я, с наступлением зимы, облюбовал ружейную охоту, каковая заставляла меня ходить под дождем и ветром и простаивать в болотах; так что в скором времени мне стало в сто раз хуже, чем было прежде. Отдавшись снова в руки врачей, непрерывно лечась, я все плошал. Так как меня схватила лихорадка, то я решил снова принимать дерево; врачи не хотели, говоря мне, что если я начну это при лихорадке, то через неделю помру. Я решил сделать вопреки их воле; и, держась того же порядка, что и прошлый раз, когда я попил четыре дня этой святой древесной воды, лихорадка прошла совсем. Я начал испытывать превеликое улучшение, и пока я принимал сказанное дерево, я все время подвигал вперед модели этой самой работы; с каковыми, за это воздержание, я создал самые красивые вещи и самые редкостные измышления, какие я когда-либо в жизни создавал. По прошествии пятидесяти дней я был вполне исцелен и затем с превеликим усердием принялся укреплять здоровье. Когда я вышел из этого великого поста, я был настолько чист от своих недугов, как если бы я возродился. Хоть мне и нравилось укреплять это мое желанное здоровье, я все же не переставал работать; так что и сказанной работе, и монетному двору, каждому из них я во всяком случае отдавал должную часть.

LX

Случилось, что в Парму назначен был легатом этот сказанный кардинал Сальвиати, каковой имел ко мне эту великую вышесказанную ненависть. В Парме был схвачен некий миланский золотых дел мастер, фальшивомонетчик, какового по имени звали Тоббия. Так как его присудили к виселице и костру, то о нем

поговорили со сказанным легатом, выставляя его перед ним весьма искусным человеком. Сказанный кардинал велел задержать исполнение правосудия и написал папе Клименту, говоря ему, что ему попал в руки человек, величайший в мире по части золотых дел мастерства, и что он уже приговорен к виселице и костру за то, что он фальшивомонетчик; но что человек это простой и хороший, потому что он говорит, что спрашивал мнения у своего духовника, каковой, говорит, дал ему на то разрешение, что он может их делать. Кроме того, он говорил: «Если вы велите доставить этого великого человека в Рим, ваше святейшество сможете сбить эту великую спесь вашего Бенвенуто, и я вполне уверен, что работы этого Тоббии вам понравятся гораздо больше, чем работы Бенвенуто». Таким образом, папа велел его тотчас же доставить в Рим. И когда тот прибыл, то, призвав нас обоих, он каждому из нас велел сделать рисунок для рога единорога, прекраснейшего из когда-либо виданных; его продали за семнадцать тысяч камеральных дукатов. Желая подарить его королю Франциску¹, папа хотел сначала богато украсить его золотом и поручил нам обоим, чтобы мы сделали сказанные рисунки. Когда мы их сделали, каждый из нас понес их к папе. Рисунок Тоббии был в виде подсвечника, на который, подобно свече, натыкался этот красивый рог, а из подножия этого сказанного подсвечника он сделал четыре единорожьих головки, самого простейшего измышления; так что когда я это увидел, я не мог удержаться от того, чтобы осторожным образом не усмехнуться. Папа заметил это и тотчас же сказал: «Покажи-ка сюда твой рисунок». Каковой был одна лишь голова единорога: в соответствии с этим сказанным рогом я сделал самую красивую голову, какая только видана; причиной этому было то, что я взял частью облик конской головы, а частью оленьей, обогатив прекраснейшего рода шерстью и другими приятностями, так что, едва увидели мою, всякий отдал ей предпочтение. Но так как в присутствии этого спора были некои чрезвычайно влиятельные миланцы, то они сказали: «Всеблаженный отец, ваше святейшество посылаете этот великий

подарок во Францию; знайте же, что французы люди грубые и не уразумеют превосходства этой работы Бенвенуто; а такие вот сосуды им понравятся, каковые к тому же и сделаны будут скорее; а Бенвенуто будет вам кончать вашу чашу, и вам окажутся сделаны две вещи зараз; а этот бедный человек, которого вы вызвали, тоже будет иметь работу». Папа, желая получить свою чашу, весьма охотно ухватился за совет этих миланцев; и вот на следующий день он назначил эту работу с рогом единорога Тоббии, а мне велел сказать через своего скарбничего, что я должен кончать ему его чашу. На каковые слова я ответил, что ничего другого на свете и не желаю, как только кончить эту мою прекрасную работу; но что если бы она была из другого вещества, чем золото, то я бы совсем легко мог ее кончить сам; но так как вот она из золота, то надобно, чтобы его святейшество мне его дал, если желает, чтобы я мог ее кончить. На эти слова этот мужик придворный сказал: «Смотри, не проси у папы золота, не то приведешь его в такой гнев, что плохо, плохо тебе будет». На что я сказал: «О вы, мессер ваша милость, научите меня немного, как без муки можно делать хлеб? Так и без золота никогда не будет кончена эта работа». Этот скарбничий мне сказал, так как ему показалось немного, что я над ним смеюсь, что все то, что я сказал, он передаст папе; и так и сделал. Папа, придя в зверскую ярость, сказал, что желает посмотреть, настолько ли я безумен, чтобы ее не кончить. Так прошло два с лишним месяца, и хоть я и сказал, что не желаю к ней и притрагиваться, я этого не сделал, а непрерывно работал с превеликой любовью. Видя, что я ее не несу, он начал весьма на меня опаляться, говоря, что накажет меня во что бы то ни стало. Был в присутствии этих слов один миланец, его ювелир. Звали его Помпео, каковой был близким родственником некоему мессер Траяно, любимейшему слуге, какой был у папы Климента. Оба они, сговорившись, сказали папе: «Если бы ваше святейшество отняли у него монетный двор, то, может быть, вы бы ему вернули охоту кончить чашу». Тогда папа сказал: «Это было бы скорее целых две беды; первая — та, что мне плохо

услужал бы монетный двор, который мне так важен, а вторая — та, что я уж наверное никогда не получил бы чаши». Эти два сказанных миланца, видя, что папа дурно расположен ко мне, наконец возмogli настолько, что он все-таки отнял у меня монетный двор и дал его некоему молодому перуджинцу, какового звали по прозвищу Фаджуоло. Пришел ко мне этот Помпео оказать от имени папы, что его святейшество отнял у меня монетный двор и что если я не кончу чаши, то он отнимет у меня и остальное. На это я отвечал: «Скажите его святейшеству, что монетный двор он отнял у себя, а не у меня, и то же самое будет у него и с этим остальным; и что когда его святейшество захочет мне его вернуть, то я ни в коем случае его не пожелаю вновь». Этот злополучный и несчастный, ему не терпелось явиться к папе, чтобы пересказать ему все это, а кое-что он добавил ртом и от себя. Неделю спустя папа послал с этим самым человеком сказать мне, что не желает больше, чтобы я кончал ему эту чашу, и что он требует ее обратно в том самом виде и состоянии, докуда я ее довел. Этому Помпео я ответил: «Это не монетный двор, чтобы ее можно было у меня отнять; конечно, те пятьсот скудо, что я получил, принадлежат его святейшеству, каковые я ему немедленно верну; а работа — моя, и с ней я сделаю, что мне угодно». Это Помпео и побежал передать, заодно с кое-какими другими зубастыми словами, которые я с полным основанием сказал ему лично.

LXI

Через три дня после этого, в четверг, пришли ко мне два камерария его святейшества, любимейших, и еще и сейчас жив один из них, епископ, какового звали мессер Пьер Джованни, и был он скарбничим его святейшества; другой был еще более знатного рода, чем этот, да только я не помню имени. Придя ко мне, они сказали так: «Папа нас прислал, Бенвенуто; так как ты не пожелал поладить с ним по-хорошему, то он говорит, или чтобы ты отдал нам его работу, или чтобы мы

отвели тебя в тюрьму». Тогда я превесело посмотрел им в лицо, говоря: «Синьоры, если бы я отдал работу его святейшеству, я бы отдал свою работу, а не его, а я свою работу не хочу ему отдавать; потому что, подвинув ее много вперед своими великими трудами, я не хочу, чтобы она досталась в руки какому-нибудь невежественному скоту, чтобы он с малым трудом мне ее испортил». Тут же присутствовал, когда я это говорил, этот вышесказанный золотых дел мастер, по имени Тоббия, каковой дерзко потребовал у меня еще и модели этой работы; слова, достойные такого несчастного, которые я ему сказал, здесь не к чему повторять. И так как эти господа камерарии торопили меня управиться с тем, что я хотел бы сделать, то я им сказал, что я уже управился; я взял плащ и, прежде чем выйти из мастерской, повернулся к образу Христа с великим поклоном и со шляпой в руке и сказал: «О милостивый и бессмертный, праведный и святой господь наш, все, что ты делаешь, делается по твоей справедливости, которой нет равных; ты знаешь, что я как раз достигая тридцатилетнего возраста моей жизни¹ и что ни разу до сих пор мне не сулили темницы за что бы то ни было; так как теперь тебе угодно, чтобы я шел в темницу, всем сердцем благодарю тебя за это». Обернувшись затем к обоим камерариям, я сказал так, с таким немного хмурым лицом: «Такой человек, как я, не заслуживает стражников меньшего сана, чем вы, синьоры; поэтому поместите меня посередине и, как узника, ведите меня, куда хотите». Эти два милейших человека, рассмеявшись, поместили меня посередине и, продолжая весело беседовать, повели меня к римскому губернатору, какового звали Магалотто. Когда мы к нему пришли, — вместе с ним был фискальный прокурор, и они меня ждали, — эти господа камерарии, все так же смеясь, сказали губернатору: «Мы вам вручаем этого узника, и смотрите за ним хорошенько. Мы были очень рады, что переняли должность у ваших исполнителей; потому что Бенвенуто нам сказал, что, так как это первый его арест, то он не заслуживает стражников меньшего сана, чем мы». Тотчас же удалившись, они явились к папе; и когда они в точности рассказали ему

все, он сперва показал вид, что хочет прийти в ярость, затем принудил себя рассмеяться, потому что тут же присутствовало несколько синьоров и кардиналов, моих друзей, каковые весьма ко мне благоволили. Тем временем губернатор и фискал то стращали меня, то уговаривали, то советовали мне, говоря мне, что разум требует, чтобы тот, кто заказывает другому работу, мог взять ее обратно по своему желанию и любым способом, каким ему угодно. На что я сказал, что этого не дозволяет справедливость и что и папа не может этого сделать; потому что папа — это не то, что какие-нибудь государики-тиранчики, которые делают своим народам все то зло, какое могут, не соблюдая ни закона, ни справедливости; поэтому наместник Христа ничего такого не может сделать. Тогда губернатор, с такими ярыжными действиями и словами, сказал: «Бенвенуто, Бенвенуто, ты добьешься того, что я с тобой обойдусь по заслугам». — «Вы со мной обойдетесь уважительно и учтиво, если желаете обойтись со мной по заслугам». Он опять сказал: «Сейчас же пошли за работой и не жди второго слова». На это я сказал: «Синьоры, разрешите мне сказать еще четыре слова относительно моей правоты». Фискал, который был ярыга много более мягкий, нежели губернатор, обернулся к губернатору и сказал: «Монсиньор, разрешим ему сто слов; лишь бы он вернул работу, это все, что нам нужно». Я сказал: «Если бы был какого бы то ни было рода человек, который велел бы построить дворец или дом, он по справедливости мог бы сказать подрядчику, который бы его строил: «Я не хочу, чтобы ты работал дальше над моим домом или над моим дворцом». Заплатив ему за его труды, он по справедливости может его отослать. Так же если бы был какой-нибудь синьор, который велел бы оправить камень в тысячу скудо, то, видя, что ювелир не услужает ему сообразно его желанию, он может сказать: «Отдай мне мой камень, потому что я не желаю твоей работы». А в этом вот деле нет ничего такого; потому что тут нет ни дома, ни камня; ничего другого мне нельзя сказать, как то, чтобы я вернул те пятьсот скудо, которые я получил. Так что, монсиньоры, делайте всё, что

можете, потому что от меня вы ничего другого не получите, как эти пятьсот скудо. Так вы и скажете папе. Ваши угрозы не пугают меня нисколько; потому что я человек честный и не боюсь за свои грехи». Встав, губернатор и фискал сказали мне, что идут к папе и что вернутся с таким приказом, что горе мне. Так я остался под стражей. Я разгуливал по зале; они часа три не возвращались от папы. Тем временем меня заходила проведать вся торговая знать нашей нации, прося меня настойчиво, чтобы я оставил это и не спорил с папой, потому что это может быть для меня гибелью. Каковым я отвечал, что я отлично решил, что мне делать.

LXII

Как только губернатор вместе с фискалом вернулись из дворца, велел меня позвать, он сказал в таком смысле: «Бенвенуто, мне, разумеется, неприятно, что я вернулся от папы с таким приказом, какой я получил; так что ты или немедленно доставь работу, или подумай о своей участи». Тогда я ответил, что, так как я никогда еще до сего часа не верил, чтобы святой наместник Христа мог совершить несправедливость, то я хочу это увидеть, прежде чем этому поверить; поэтому делайте, что можете. Опять же губернатор возразил, говоря: «Я должен тебе сказать еще два слова от имени папы, а потом исполню данный мне приказ. Папа говорит, чтобы ты мне принес сюда работу и чтобы при мне ее положили в коробку и опечатали; затем я должен отнести ее к папе, каковой обещает своим словом не трогать ее из-под печати и тотчас же тебе ее вернет; но это он хочет, чтобы сделано было так, дабы иметь в этом также и ему долю своей чести». На эти слова я отвечал смеясь, что весьма охотно дам ему свою работу тем способом, как он говорит, потому что я хочу уметь судить, на что похоже папское слово. И вот я послал за своей работой, ее опечатали так, как он сказал, и я ее ему отдал. Когда губернатор возвратился к папе со сказанной работой сказанным образом,

папа, взяв коробку, как мне передавал сказанный губернатор, повертел ее несколько раз; потом спросил губернатора, видел ли он ее; каковой сказал, что видел и что ее в его присутствии этим способом опечатали; затем добавил, что она ему показалась вещью весьма изумительной. На что папа сказал: «Вы скажете Бенвенуто, что папы имеют власть решить и вязать вещи куда поважнее этой». И в то время как он говорил эти слова, он с некоторым гневом открыл коробку, сняв веревки и печать, которыми она была перевязана; потом долго на нее смотрел и, насколько я узнал, показал ее этому Тоббии, золотых дел мастеру, каковой много ее хвалил. Тогда папа спросил его, сумел ли бы он сделать такого рода работу; папа сказал ему, чтобы он в точности следовал этому замыслу; потом обернулся к губернатору и сказал ему: «Узнайте, хочет ли Бенвенуто нам ее отдать; если он ее нам отдаст такой, пусть ему заплатят все, во что ее оценят сведущие люди; или же, если он хочет кончить ее сам, пусть назначит срок; и если вы увидите, что он хочет ее доделать, пусть ему дадут все удобства, какие он справедливо пожелает». Тогда губернатор сказал: «Всеблаженный отче, я знаю ужасное качество этого молодого человека; дайте мне полномочие, чтобы я мог задать ему взбучку по-своему». На это папа сказал, чтобы он делал, что хочет, на словах, хоть он и уверен, что он сделает только хуже; наконец, когда он увидит, что ничего другого сделать не может, пусть он мне скажет отнести эти его пятьсот скудо этому Помпею, его ювелиру вышесказанному. Вернувшись, губернатор велел меня позвать к себе в комнату и, с ярыжным взглядом, сказал мне: «Папы имеют власть решить и вязать весь мир, и тотчас же это утверждается на небесах, как правильно сделанное; вот тебе твоя работа, развязанная и осмотренная его святейшеством». Тогда я немедленно возвысил голос и сказал: «Я благодарю бога, потому что теперь я умею судить, на что похоже папское слово». Тогда губернатор наговорил мне и учинил много неистовых бахвальств; а затем, видя, что это все впустую, совсем отчаявшись в этом предприятии,

перешел на несколько более мягкий лад и сказал мне: «Бенвенуто, мне очень жаль, что ты не желаешь уразуметь своего же блага; поэтому ступай отнеси пятьсот скудо, когда хочешь, вышесказанному Помпео». Взяв свою работу, я пошел и тотчас же отнес пятьсот скудо этому Помпео. А так как, по-видимому, папа, полагая, что, по затруднительности или по какой-либо иной причине, я не смогу так скоро отнести деньги, желая снова завязать нить моего служения, когда он увидел, что Помпео является к нему, улыбаясь, с деньгами в руках, папа наговорил ему грубостей и очень горевал, что это дело обернулось таким образом; затем сказал ему: «Поди сходи к Бенвенуто в его мастерскую, учини ему все те ласки, какие может твое невежественное скотство, и скажи ему, что если он хочет кончить мне эту работу, чтобы сделать из нее ковчежец, чтобы носить в нем *Cognus Domini*¹, когда я с ним иду в процессии, то я дам ему все удобства, какие он пожелает, чтобы его кончить, лишь бы он работал». Придя ко мне, Помпео вызвал меня из мастерской и учинил мне самые приторные ослиные ласки, говоря мне все то, что ему велел папа. На что я тут же ответил, что величайшее сокровище, какого я мог бы желать на свете, это вновь обрести милость столь великого папы, каковая была утрачена мной, и не по моей вине, а только по вине моей непомерной болезни и по злобе тех завистливых людей, которые находят удовольствие в том, чтобы чинить зло; а так как у папы изобилие слуг, то пусть он больше не посылает вас ко мне, ради вашего блага; так что заботьтесь о себе хорошенько. Я не премину ни днем, ни ночью помышлять о том, чтобы делать все, что могу, для службы папе; и помните хорошенько, что сказав это обо мне папе, вы уже никоим образом не вмешивайтесь ни в какие мои дела, потому что я заставлю вас познать ваши ошибки через ту кару, которой они заслуживают. Этот человек передал папе все гораздо более скотским образом, чем я ему выразил. Так дело стояло некоторое время, и я занимался своей мастерской и своими делами.

LXIII

Этот Тоббия, золотых дел мастер вышесказанный, работал над окончанием оправы и украшения для этого рога единорога; а кроме того, папа ему сказал, чтобы он начал чашу в том духе, как он видел мою. И, начав смотреть у сказанного Тоббии, что тот делает, оставшись неудовлетворен, он очень сетовал, что порвал со мной, и хулил и его работы, и тех, кто их выдвигал, и несколько раз ко мне приходил Баччино делла Кроче ¹ сказать от имени папы, что я должен сделать этот ковчежец. На что я говорил, что я прошу его святейшество, чтобы он дал мне отдохнуть от великой болезни, которая у меня была, от каковой я все еще не вполне оправился; но что я покажу его святейшеству, что те часы, когда я могу работать, я их все потрачу на службу ему. Я принялся его изображать и тайком готовил ему медаль; и эти стальные чеканы, чтобы выбить сказанную медаль, я их делал дома; а в мастерской у себя держал товарища, который прежде был у меня подмастерьем, какового звали Феличе. В эту пору, как делают молодые люди, я влюбился в одну девочку сицилианку, каковая была замечательно красива; а так как и она обнаруживала, что очень меня любит, то мать ее, прочувяв это, догадываясь о том, что может случиться, — дело в том, что я задумал сбежать со сказанной девочкой на год во Флоренцию, в полнейшей тайне от матери, — прочувяв это, она однажды ночью тайком уехала из Рима и отправилась в Неаполь; и пустила слух, будто уехала в Чивитавеккью, а сама уехала в Остию. Я отправился следом в Чивитавеккью и натворил неописуемых безумств, чтобы разыскать ее. Слишком было бы долго рассказывать все это в подробности; довольно того, что я готов был или сойти с ума, или умереть. По прошествии двух месяцев она мне написала, что находится в Сицилии и очень несчастна. Тем временем я предался всем удовольствиям, какие только можно вообразить, и завел другую любовь, только для того, чтобы погасить эту.

Привелось мне через некоторые разные странности завести дружбу с неким сицилианским священником, каковой был возвышеннейшего ума и отлично знал латинскую и греческую словесность. Случилось однажды по поводу одного разговора, что зашла речь об искусстве некромантии; на что я оказал: «Превеликое желание было у меня во все время моей жизни увидеть или услышать что-нибудь об этом искусстве». На каковые слова священник добавил: «Твердый дух и спокойный должен быть у человека, который борется за такое предприятие». Я ответил, что твердости и спокойствия духа у меня хватит, лишь бы мне найти способ это сделать. Тогда священник ответил: «Если ты на это идешь, то уж остальным я тебя угощу вдоволь». И так мы условились приступить к этому предприятию. Раз как-то вечером сказанный священник снарядился и сказал мне, чтобы я приискал товарища, а то и двоих. Я позвал Винченцио Ромоли, большого моего друга, а сам он привел с собой одного пистойца, каковой точно так же занимался некромантией. Мы отправились в Кулизей¹, и там священник, нарядившись по способу некромантов, принялся чертить круги на земле, с самыми чудесными церемониями, какие только можно вообразить; и он велел нам принести с собой драгоценные курения и огонь, а также зловонные курения. Когда он был готов, он сделал в кругу ворота; и, взяв нас за руку, одного за другим поставил нас в круг; затем распределил обязанности; пентакул² он дал в руки этому другому своему товарищу некроманту, остальным велел смотреть за огнем и курениями; затем приступил к заклинаниям. Длилась эта штука полтора с лишним часа; явилось несколько легионов³, так что Кулизей был весь переполнен. Я, который следил за драгоценными курениями, когда священник увидел, что их такое множество, он обернулся ко мне и сказал: «Бенвенуто, попроси их о чем-нибудь». Я сказал, чтобы они сделали так, чтобы я был опять со своей Анджеликой, сицилианкой. В эту ночь нам никакого ответа не было; но я получил превеликое удовлетворение

в том, чего ожидал от такого дела. Некромант сказал, что нам необходимо сходить туда еще раз и что я буду удовлетворен во всем, чего прошу, но что он хочет, чтобы я привел с собой невинного мальчика. Я взял одного своего ученика, которому было лет двенадцать, и снова позвал с собой этого сказанного Винченцио Ромоли; а так как был у нас близкий приятель, некий Аньолино Гадди, то также и его мы повели на это дело. Когда мы пришли на назначенное место, некромант, сделав те же свои приготовления тем же и даже еще более удивительным образом, поставил нас в круг, каковой он снова сделал с самым изумительным искусством и с самыми изумительными церемониями; затем этому моему Винченцио он поручил заботу о курениях и об огне; взял ее на себя также и сказанный Аньолино Гадди; затем мне он дал в руки пентакул, каковой он мне сказал, чтобы я его поворачивал соответственно местам, куда он мне укажет, а под пентакулом у меня стоял этот мальчуган, мой ученик. Начал некромант творить эти ужаснейшие заклинания, призывая поименно великое множество этих самых демонов, начальников этих легионов, и приказывал им силой и властью бога несотворенного, живого и вечного, на еврейском языке, а также немало на греческом и латинском; так что в короткий промежуток весь Кулизей наполнился в сто раз больше, нежели они то учинили в тот первый раз. Винченцио Ромоли разводил огонь, вместе с этим сказанным Аньолино, и великое множество драгоценных курений. Я, по совету некроманта, снова попросил, чтобы мне можно было быть с Анджеликой. Обернувшись ко мне, некромант сказал: «Слышишь, что они сказали? Что не пройдет и месяца, как ты будешь там, где она». И снова прибавил, что просит меня, чтобы я у него держался твердо, потому что легионов в тысячу раз больше, чем он вызывал, и что они самые что ни на есть опасные; и так как они установили то, о чем я просил, то необходимо их улестить и потихоньку их отпустить. С другой стороны мальчик, который стоял под пентакулом, в превеликом испуге говорил, что в этом месте миллион свирепейших людей, каковые все нам грозят; потом он оказал, что появилось

четыре непомерных великана, каковые вооружены и показывают вид, что хотят войти к нам. Тем временем некромант, который дрожал от страха, старался, мягким и тихим образом, как только мог, отпустить их. Винченцио Ромоли, который дрожал, как хворостинка, хлопотал над курениями. Я, который боялся столько же, сколько и они, старался этого не показывать и всем придавал изумительнейшего духу; но я считал себя наверняка мертвым, из-за страха, какой я видел в некроманте. Мальчик спрятал голову между колен, говоря: «Я хочу умереть так, потому что нам пришла смерть». Я снова сказал мальчику: «Эти твари все ниже нас, и то, что ты видишь, — только дым и тень; так что подыми глаза». Когда он поднял глаза, он опять сказал: «Весь Кулизей горит, и огонь идет на нас». И, закрыв лицо руками, снова сказал, что ему пришла смерть и что он не хочет больше смотреть. Некромант воззвал ко мне, прося меня, чтобы я держался твердо и чтобы я велел покурить цафетикой⁴; и вот, обернувшись к Винченцио Ромоли, я сказал, чтобы он живо покурил цафетикой. Пока я так говорил, взглянув на Аньоло Гадди, каковой до того перепугался, что свет очей вылез у него на лоб, и он был почти вовсе мертв, каковому я сказал: «Аньоло, в таких местах надо не бояться, а надо стараться и помотать себе; поэтому подбросьте живее этой цафетки». Сказанный Аньоло, чуть хотел тронуться, издал громогласную пальбу с таким избытком кала, каковое возмогло много больше, нежели цафетика. Мальчик, при этой великой вони и при этом треске приподняв лицо, слыша, что я посмеиваюсь, успокоив немного страх, сказал, что они начали удаляться с великой поспешностью. Так мы пробыли до тех пор, пока не начали звонить к утрени. Мальчик опять нам сказал, что их осталось немного, и поодаль. Когда некромант учинил весь остаток своих церемоний, разоблачился и забрал большую кипу книг, которые приносил с собой, мы все вместе с ним вышли из круга, теснясь друг к дружке, особенно мальчик, который поместился посередине и держал некроманта за рясу, а меня за плечо; и все время, пока мы шли к себе по домам в Банки, он нам

говорил, что двое из тех, которых он видел в Кулизее, идут перед нами вприпрыжку, то бегом по крышам, то по земле. Некромант говорил, что, сколько раз он ни вступал в круги, еще ни разу с ним не бывало такого великого дела, и убеждал меня, чтобы я согласился заклясть вместе с ним книгу, из чего мы извлечем бесконечное богатство, потому что мы потребуем у демонов, чтобы они указали нам клады, каковыми полна земля, и таким образом мы станем пребогаты; а что эти любовные дела суета и вздор, каковые ничего не стоят. Я ему сказал, что, если бы я знал латынь, я бы весьма охотно это сделал. Ко он меня убеждал, говоря мне, что латынь мне ни к чему не нужна и что, если бы он захотел, он нашел бы многих с хорошей латынью; но что он никогда не встречал никого с таким стойким духом, как у меня, и что я должен придерживаться его совета. За такими разговорами мы пришли к своим домам, и каждому из нас всю эту ночь снились дьяволы.

LXV

Потом мы виделись изо дня в день, и некромант меня понуждал, что я должен взяться за это предприятие; поэтому я его спросил, сколько на это дело потребуется времени и куда нам придется отправиться. На это он мне ответил, что с этим предприятием мы покончим меньше, чем в месяц, и что самое подходящее место — это в горах около Норчи; правда, один его учитель заклинал здесь поблизости, в местечке, называемом Бадиа ди Фарфа; но что там у него были кое-какие затруднения, каковых не будет в горах около Норчи; и что эти норчинские крестьяне люди верные и имеют кое-какой опыт в этом деле, так что в случае надобности могут оказать удивительную помощь. Этот священник-некромант несомненно до того убедил меня, что я охотно расположился это сделать, но я говорил, что хочу раньше кончить эти медали, которые я делал для папы, и сказанному я сообщил, и никому другому, прося его, чтобы он хранил мне их в тайне. Однако я постоянно его спрашивал, верит ли он, что

в этот срок я должен встретиться с моей Анджеликой, сицилианкой, и видя, что время очень близится, мне казалось очень удивительным делом, что про нее ничего не слышно. Некромант мне говорил, что я наверно окажусь там, где она, потому что они никогда не обманывают, когда обещают так, как сделали тогда; но чтобы я держал глаза открытыми и остерегался беды, которая со мной в этих обстоятельствах может случиться, и чтобы я принудил себя перенести нечто противное моей природе, потому что в ней он усматривает превеликую опасность; и что благо мне будет, если я уеду с ним заклинать книгу, потому что таким путем эта моя великая опасность минует и я буду причиной того, что мы с ним станем пресчастливы. Я, которому начинало этого хотеться больше даже, чем ему самому, сказал ему, что так как в Рим приехал некий маэстро Джованни из Кастель Болоньезе ¹, великий искусник делать медали в том же роде, что и я делал, из стали, и что я ничего на свете так не хочу, как потягаться с этим искусником и выйти в свет, имея за собой такое предприятие, через каковое я надеюсь талантом, а не шпагой, сразить этих нескольких моих врагов. Но этот человек от меня не отставал, говоря мне: «Сделай милость, мой Бенвенуто, поезжай со мной и избеги великой опасности, которую я в тебе обнаруживаю». Пока я так расположился во что бы то ни стало прежде всего хотеть кончить мою медаль, мы уже были близки к концу месяца; при каковом, будучи влюблен до такой степени в свою медаль, я уже не помнил ни об Анджелике, ни о чем таком, то весь ушел в эту свою работу.

LXVI

Как-то раз среди прочих, близко к часу вечерни, мне вышел случай переправиться, вне обычных часов, из дому в мою мастерскую; потому что мастерскую я держал в Банки, а домик у меня был позади Банки, и в мастерскую я ходил редко; ибо все заказы я поручил исполнять этому моему товарищу, которому имя

было Феличе. И вот, побыв немного в мастерской, я вспомнил, что мне надо пойти поговорить с Лессандро дель Бене. Тотчас же встав и выйдя на Банки, я встретился с неким большим моим другом, какого звали по имени сер Бенедетто. Этот был нотариус и родился во Флоренции, сын слепого, который читал молитвы, который был из Сиены. Этот сер Бенедетто жил в Неаполе много и много лет; потом переехал в Рим я вел дела неких сиенских купцов Фиджи¹. А так как этот мой товарищ уже много раз требовал с него некие деньги, которые должен был с него получить за какие-то колечки, которые он ему доверил, то в этот самый день, повстречавшись с ним на Банки, он потребовал у него свои деньги немного грубым образом, каковой был у него обычаем; а сказанный сер Бенедетто был с этими своими хозяевами; и вот, видя, что делается такое дело, они сильно изругали этого сер Бенедетто, говоря ему, что хотят услужаться другим, чтобы не слышать больше такого лая. Этот сер Бенедетто защищался перед ними как мог и говорил, что этому золотых дел мастеру он заплатил и что он неспособен обуздывать бешенство сумасшедших. Сказанные сиенцы дурно приняли эти слова и тотчас же прогнали его вон. Расставшись с ними, он стрелой отправился в мою мастерскую, вероятно чтобы досадить сказанному Феличе. Случилось так, что как раз посередине Банки мы друг с другом встретились; и так как я ничего не знал, то, как всегда, любезнейшим образом его приветствовал; каковой мне ответил весьма грубыми словами. И тут мне вспомнилось все то, что мне сказал некромант; поэтому, держа, как только я мог, под уздцы то, что он своими словами понуждал меня сделать, я говорил: «Братец сер Бенедетто, не извольте на меня злиться, потому что я вас ничем не обидел и ничего про эти ваши дела не знаю; а если у вас вышло что-нибудь с Феличе, то ступайте, пожалуйста, и с ним и покончите; он отлично знает, что вам ответить; а так как я ничего не знаю, то вы напрасно так на меня набрасываетесь, особенно зная, что я не такой человек, чтобы сносить оскорбления». На это сказанный сказал, что я отлично все знаю, а что он способен еще и не так

меня навьючить и что Феличе и я — два великих мошенника. Уже столпилось много народу, чтобы видеть эту ссору. Вынужденный грубыми словами, я быстро нагнулся к земле и схватил ком грязи, потому что прошел дождь, и со всего маху быстро запустил им в него, метя ему в лицо. Он нагнул голову, так, что я попал ему в темя. В этой грязи был заключен обломок камня со множеством острых краев, и, ударив его одним из этих краев по темени, он упал наземь без чувств, как мертвый; так что, видя такое обилие крови, всеми окружающими было решено, что он умер.

LXVII

Пока сказанный еще лежал на земле и некоторые хлопотали о том, чтобы унести его прочь, проходил этот самый ювелир Помпео, уже сказанный выше. Это за ним послал папа для неких своих ювелирных заказов. Видя этого пострадавшего человека, он спросил, кто его зашиб. На что ему было сказано: «Бенвенуто его зашиб, потому что этот дурак сам напросился». Сказанный Помпео, живо придя к папе, сказал ему: «Всеблаженный отче, Бенвенуто только что убил Тоббию; я это видел собственными глазами». На это взбешенный папа велел губернатору, который тут же присутствовал, чтобы он меня схватил и чтобы он меня немедленно повесил на том месте, где учинилось смертоубийство, и чтобы он приложил все старания поймать меня и не являлся ему на глаза, пока он меня не повесит. Когда я увидел этого несчастного на земле, я сразу подумал о своей участи, ввиду могущества моих врагов и того, что могло из этого произойти. Удалившись оттуда, я скрылся в доме у мессер Джованни Гадди, камерального клирика, желая снарядиться как можно скорее, чтобы уехать себе с богом. На это, сказанный мессер Джованни мне советовал, чтобы я не так торопился ехать, потому что, может быть, беда еще и не так велика, как мне показалось; и, велев позвать мессер Аннибаль Каро, каковой жил у него, сказал ему, чтобы он сходил разузнать. Пока

по этому делу отдавались вышесказанные распоряжения, явился один римский дворянин, который жил у кардинала де'Медичи¹ и им присланный. Этот дворянин, отозвав в сторону мессер Джованни и меня, сказал нам, что кардинал передал ему те слова, которые он слышал, как говорил папа, и что у него нет никакого способа мне помочь, и чтобы я сделал все возможное, дабы укрыться от этой первой грозы, и чтобы я не доверял ни одному дому в Риме. Как только этот дворянин ушел, сказанный мессер Джованни, посмотрев мне в лицо, собирался прослезиться и сказал: «Увы, горе мне, потому что у меня нет никакого способа тебе помочь!» Тогда я сказал: «С помощью божьей, я помогу себе и сам; я только вас прошу, чтобы вы мне услужили одной из ваших лошадей». Уже был снаряжен вороной турецкий конь, самый красивый и самый лучший в Риме. Я сел на него, с колесной аркебузой у луки, приготовившись ею защищаться. Когда я подъехал к мосту Систо, я там застал всю стражу барджелла, конную и пешую; и вот, сделав из необходимости доблесть, смело подбоднув тихонько коня, с помощью божьей, благо у них помрачились глаза, я свободно проехал и со всей скоростью, с какой только мог, отправился в Паломбару, поместье синьора Джованбатиста Савелло, и оттуда отослал коня мессер Джованни, и даже не хотел, чтобы он знал, где я нахожусь. Сказанный синьор Джамбатиста, поласкав меня два дня, посоветовал мне, что я должен уехать оттуда и отправиться в Неаполь, пока не пройдет эта гроза; и, дав мне провожатых, велел меня вывести на дорогу в Неаполь; на каковой я встретил одного ваятеля, моего друга, который ехал в Сан Джермано кончать гробницу Пьера де'Медичи² в Монте Казини³. Звали его по имени Солосмео⁴; он мне рассказал новости, как в тот самый вечер папа Климент послал одного своего камерария узнать, как себя чувствует Тоббиа вышесказанный; и, застав его за работой, причем ничего с ним и не случилось и он даже и не знал ни о чем, доложив папе, тот обернулся к Помпео и сказал ему: «Ты негодяй, но я могу тебя заверить, что ты раздражил змею, которая тебя еще

ужалит, и поделом». Затем он обернулся к кардиналу де'Медичи и велел ему, чтобы тот разузнал обо мне, потому что он ни за что бы не хотел меня потерять. Так мы с Солосмео ехали, распевая, к Монте Казини, чтобы оттуда вместе ехать в Неаполь.

LXVIII

Когда Солосмео поприсмотрел за своими делами в Монте Казини, мы вместе двинулись к Неаполю. Не доезжая полумили до Неаполя, нам попался навстречу трактирщик, каковой стал нас приглашать в свою гостиницу и говорил нам, что он много лет жил во Флоренции у Карло Джинори;¹ и что, если мы остановимся у него в гостинице, он нам учинит премногие ласки, потому что мы флорентинцы. Каковому трактирщику мы несколько раз говорили, что не хотим к нему ехать. Этот человек, однако, то опережал нас, то нагонял, часто говоря нам все то же самое, что он хотел бы нас к себе в гостиницу. Так как он мне надоел, то я его опросил, не может ли он мне указать некую сицилианку, имя которой Беатриче, у каковой красавица дочка, которую зовут Анджелика, и они куртизанки. Этот трактирщик, решив, что я над ним издеваюсь, сказал: «Пошли господь пагубу на всех куртизанок и на тех, кому они милы!» И, подбоднув коня, показал вид, что решительно едет от нас прочь. Мне казалось, что я удачно развязался с этим дураком трактирщиком, хотя при этом я и не остался в выигрыше, потому что мне вспомнилась великая любовь, которую я питал к Анджелике, и вот, когда я беседовал о ней со сказанным Солосмео не без некоторых любовных вздохов, вдруг мы видим, что к нам с великой поспешностью возвращается трактирщик, который, подъехав к нам, сказал: «Дня два или три тому назад рядом с моей гостиницей поселилась женщина с девочкой, которых как раз так зовут; не знаю, сицилианки они или из какого другого места». Тогда я сказал: «Такую власть имеет надо мной это имя Анджелика, что я, так и быть, остановлюсь в твоей гостинице».

Мы двинулись сообща, вместе с трактирщиком, в город Неаполь и спешили к у его гостиницы, и мне не терпелось привести свои вещи в порядок, что я и сделал скорехонько; и, войдя в сказанный дом рядом с гостиницей, я нашел там мою Анджелику, каковая учинила мне самые непомерные ласки, какие только можно вообразить. Так я пробыл с нею от двадцати двух часов до следующего утра с таким удовольствием, что равного никогда не имел. И пока я наслаждался этим удовольствием, мне вспомнилось, что в этот самый день истекал месяц, который мне был предсказан демонами в некромантическом круге. Так что пусть посудит всякий, кто с ними путается, через какие неописуемые опасности я прошел.

LXIX

В кошельке у меня случайно был алмаз, каковой мне привелось показывать золотых дел мастерам; и хотя я был молод еще, но и в Неаполе меня настолько знали, как недюжинного человека, что обласкали меня премного. Среди прочих некий обходительнейший ювелир, имя каковому было мессер Доменико Фонтана. Этот почтенный человек забросил мастерскую на те три дня, что я был в Неаполе, и не отставал от меня, показывая мне множество прекрасных древностей, которые были и в Неаполе, и вне Неаполя; и, кроме того, повел меня представиться неаполитанскому вице-королю¹, каковой дал ему знать, что жаждет меня видеть. Когда я явился к его сиятельству, он оказал мне весьма почетный прием; и пока мы это учиняли, его сиятельству бросился в глаза вышесказанный алмаз; и, попросив меня показать его ему, он сказал, что если бы я стал с ним расставаться, то чтобы я, уж пожалуйста, не обошел его. На что я, получив обратно алмаз, снова подал его его сиятельству и сказал ему, что и алмаз, и я — к его услугам. Тогда он сказал, что алмаз ему очень нравится, но что ему еще гораздо больше бы нравилось, чтобы я остался у него; что он заключит со мной такие условия, что я буду им доволен. Много любезных слов сказали мы друг другу; но когда затем мы перешли

к достоинствам алмаза и мне было велено его сиятельством, чтобы я спросил за него цену, какую я думаю, без обиняков, на что я сказал, что двести скудо точная ему цена. На это его сиятельство сказал, что он думает, что я ничуть не уклонился от должного; но так как он оправлен моей рукой, а он знает, что я первый человек на свете, то, если бы его оправлял кто-либо другой, он вышел бы не таким превосходным, как кажется. Тогда я сказал, что алмаз оправлен не моей рукой и что он оправлен нехорошо; и то, что он дает, он дает благодаря своей собственной добротности; и что если бы я его переоправил, то я бы его весьма улучшил против того, что он сейчас. И, поддев алмаз ногтем большого пальца за ребра, я вынул его из кольца и, слегка почистив, подал его вице-королю; тот, довольный и изумленный, выписал приказ, чтобы мне уплатили двести скудо, которые я спрашивал. Вернувшись в свое жилье, я нашел письмо, полученное от кардинала де'Медичи, каковое мне говорило, чтобы я с великой поспешностью возвращался в Рим и сразу же отправлялся спешиться у дома его преосвященства. Когда я прочел письмо моей Анджелике, она с миленькими слезами стала меня упрашивать, чтобы я, уж пожалуйста, остался в Неаполе или же взял ее с собой. На это я сказал, что если она хочет ехать со мной, то я ей отдам на хранение те двести дукатов, которые я получил от вице-короля. Мать, увидев нас за этими тесными разговорами, подошла к нам и сказала мне: «Бенвенуто, если ты хочешь увезти мою Анджелику в Рим, оставь мне штук пятнадцать дукатов, чтобы я могла родить, а потом приеду и я». Я сказал старой мошеннице, что я охотно оставлю ей хоть тридцать, если она согласна отдать мне мою Анджелику. Когда мы на этом порешили, Анджелика попросила меня, чтобы я ей купил платье из черного бархата, потому что в Неаполе он дешев. Я на все был согласен; когда я послал за бархатом, расплатился и все, старуха, которая думала, что я совсем размяк, стала просить у меня платье из тонкого сукна для себя, и много всякого другого для своих детей, и гораздо больше денег, чем я ей предлагал. На что я приветливо обернулся к ней и сказал:

«Беатриче моя дорогая, хватит тебе того, что я предложил?» Она сказала, что нет. Тогда я сказал, что если не хватит ей, то мне хватит; и, поцеловав мою Анджелику, она со слезами, а я со смехом, мы расстались, и я тотчас же выехал в Рим.

LXX

Выехав из Неаполя ночью, с деньгами при себе, чтобы не быть подкарауленным и убитым, как это в Неаполе принято, и очутившись в Сельчате¹, я с великой хитростью и телесной силой защитился от нескольких всадников, которые на меня наехали, чтобы убить. В следующие затем дни, оставив Солосмео при его монте-казинских делах, заехав однажды утром пообедать в гостиницу в Адананьи, подъезжая к гостинице, я выстрелил в неких птиц из своей аркебузы и убил их; и железка, которая была в замке у моей пищали, разодрала мне правую руку. Хотя рана была пустячная, она казалась большой, благодаря большому количеству крови, которую проливала моя рука. Приехав в гостиницу, поставив лошадь на место, взойдя на некий помост, я застал много неаполитанских дворян, которые как раз садились за стол; и с ними была знатная молодая женщина, красивее которой я никогда не видал. Когда я вошел, следом за мной поднялся отважнейший молодой человек, мой слуга, с огромным протазанищем в руке; так что мы, оружие и кровь, навели такого страха на этих бедных дворян, тем более, что место это было гнездом убийц;² повскакав из-за стола, они взмолились богу в великом ужасе, чтобы он им помог. Какovým я сказал, смеясь, что бог им помог и что я готов защитить их против всякого, кто вздумал бы их обидеть; и когда я попросил у них немного помощи, чтобы перевязать руку, эта красивейшая знатная женщина взяла свой платочек, богато отделанный золотом, и хотела меня им перевязать; я не захотел; тогда она разорвала его пополам и с превеликой приветливостью собственноручно меня перевязала. Таким образом, немного успокоившись, мы очень весело пообедали. После обеда мы сели на лошадей и все вместе поехали

дальше. Страх еще не совсем прошел, потому что эти дворяне коварно оставили меня занимать молодую женщину, следуя немного позади; и я ехал с ней рядом на своем славном коньке, махнув моему слуге, чтобы он держался от меня поодаль; так что мы беседовали о таких вещах, каких аптекарь не продает. И я доехал до Рима с таким удовольствием, как никогда. Когда я приехал в Рим, я отправился спешиться у дворца кардинала де'Медичи; застав его преосвященство у себя, я ему представился и поблагодарил его премного за то, что он меня вызвал. Затем я попросил его преосвященство, чтобы он оградил меня от тюрьмы, а если возможно, то и от денежной пени. Сказанный синьор был очень рад меня видеть; он мне сказал, чтобы я ни о чем не беспокоился; затем он обернулся к одному своему приближенному, какового звали мессер Пьерантонио Печчи, сиенец, говоря ему, чтобы он от его имени сказал барджеллу, чтобы тот не смел меня трогать. Потом он его спросил, как поживает тот, кому я попал камнем в голову. Сказанный мессер Пьерантонио сказал, что ему плохо и будет еще хуже, потому что, узнав, что я возвращаюсь в Рим, он сказал, что хочет умереть, чтобы мне досадить. На какие-то слова с громким смехом кардинал сказал: «Он ничего лучше не мог придумать, чтобы показать нам, что он родился сиенцем»³. Затем, обернувшись ко мне, сказал: «Для нашего и твоего приличия, потерпи дня четыре или пять и не показывайся на Банки; потом ходи, где хочешь, а полоумные пусть помирают, если им нравится». Я отправился к себе домой и принялся кончать медаль, которую было начал, с головой папы Климента, какую я делал с оборотом, изображавшим Мир. Это была маленькая женщина, одетая в тончайшие одежды, препоясанная, с факельцем в руке, которая сжигала грудь оружия, перевязанного в виде трофея; и там была изображена часть храма, в каковом был изображен Раздор, скованный множеством цепей, а вокруг была надпись, гласившая: «Clauduntur belli portae»⁴. Пока я кончал оказанную медаль, тот, которого я ушиб, выздоровел, и папа, не переставая, обо мне справлялся; а так как я избегал показываться к кардиналу де'Ме-

дичи, потому что всякий раз, как я с ним встречался, его преосвященство заказывал мне какую-нибудь важную работу, чем очень мешал мне кончать мою медаль, то случилось так, что мессер Пьер Карнесекки, большой любимец папы, взял на себя заботу осведомляться обо мне; так он искусным образом сказал мне, как папе хотелось бы, чтобы я ему служил. На что я оказал, что на этих же днях докажу его святейшеству, что я никогда не покидал службы ему.

LXXI

Несколько дней спустя, кончив свою медаль, я выбил ее в золоте, и в серебре, и в латуни. Когда я показал ее мессер Пьетро, он тотчас же повел меня к папе. Было это днем, после обеда, в апреле месяце, и погода стояла прекрасная; папа был в Бельведере. Явясь перед его святейством, я дал ему в руки медали вместе со стальными чеканами. Взяв их, сразу поняв великую силу искусства, которая в них была, взглянув мессер Пьетро в лицо, он сказал: «Никогда у древних не бывало таких медалей». Пока он и другие их рассматривали, кто чеканы, кто медали, я смиреннейше начал говорить и сказал: «Если бы над властью моих зловредных звезд не было еще большей власти, которая помешала им в том, что они насильно чуть было мне не явили, ваше святейство без своей и моей вины лишились бы верного и любящего слуги. А между тем, всеблаженный отче, в таких делах, где идешь на все, не будет ошибкой поступать так, как говорят некоторые бедные простые люди, когда они говорят, что надо семь раз примерить и раз отрезать. Если недобрый лживый язык одного моего злейшего противника, который так легко разгневал ваше святейство, что оно пришло в такую ярость, велел губернатору, чтобы, как только поймает, он меня повесил; то, увидев потом такое неудобство, причинив самому себе такой великий вред, чтобы лишить себя слуги, о котором ваше святейство само говорит, каков он, я думаю наверное, что и перед богом, и перед людьми ваше святейство испытывало

бы потом немалое угрызение. А между тем добрые и добродетельные отцы, а равно и таковые же хозяева, на своих сыновей и слуг не должны так стремительно обрушивать руку; потому что сожаление потом не слугит им ни к чему. Раз господь помешал этому зловредному бегу звезд и сохранил меня вашему святейшеству, я еще раз прошу его, чтобы оно не так легко на меня гневалось». Папа, перестав рассматривать медали, с большим вниманием меня слушал; а так как тут же присутствовало много чрезвычайно важных синьоров, то папа, покраснев немного, видимо устыдился и, не находя другого способа, чтобы выпутаться, сказал, что он не помнит, чтобы он когда-либо отдавал такое распоряжение. Тогда, заметив это, я вступил в другие разговоры, так что я отвел этот стыд, который он обнаружил. Так же и его святейшество, вступив в разговоры о медалях, спросил меня, какого способа я держался, чтобы так удивительно их выбить, потому что они такие большие; оттого что у древних он никогда не видал медалей такой величины. Немного поговорили об этом, и он, который боялся, как бы я не начал ему поученица хуже прежнего, сказал мне, что медали превосходны, и что очень ему нравятся, и что ему бы хотелось сделать еще другой оборот по своему вкусу, если такую медаль можно чеканить с двумя оборотами. Я сказал, что да. Тогда его святейшество велел мне, чтобы я изобразил историю Моисея, когда он ударяет в скалу и оттуда идет вода, а сверху надпись, каковая гласила бы: «*Ut bibat populus*»¹. И потом добавил: «Ступай, Бенвенуто; и ты еще не успеешь ее кончить, как я о тебе позабочусь». Когда я ушел, папа похвалился в присутствии всех, что даст мне столько, что я смогу жить богато, уже не утруждаясь больше на других. Я усердно принялся кончать оборот с Моисеем.

LXXII

Тем временем папа занемог; и так как врачи находили, что болезнь опасна, то этот мой противник, боясь меня, поручил некоим неаполитанским солдатам,

чтобы они сделали со мной то, чего он боялся, как бы я не сделал с ним. Поэтому мне стоило многих трудов защитить мою бедную жизнь. Продолжая, я совсем кончил оборот; отнеся его к папе, я застал его в постели в прелюбом состоянии. При всем том, он учинил мне великие ласки и захотел посмотреть медали и чеканы; и, велев подать себе очки и огня, так ничего и не мог разглядеть. Он начал щупать их слегка пальцами; поделав так немного, он испустил великий вздох и сказал некоторым там, что ему жаль меня, но что, если бог вернет ему здоровье, он все устроит. Три дня спустя папа умер¹, и я, хоть мои труды и пропали, не упал духом и сказал себе, что благодаря этим медалям я сделал себя настолько известным, что всяким папой, который придет, буду применен, быть может, с большей удачей. Так я сам себе придал духу, похерив раз навсегда великие обиды, которые мне учинил Помпео; и, вооружившись с ног до головы, пошел в Сан Пьеро, поцеловал ноги покойному папе, не без слез; потом вернулся в Банки поглядеть на великую сумятицу, которая наступает в таких случаях. И когда я сидел в Банки со многими моими друзьями, случилось, что мимо шел Помпео посреди десятка людей, отлично вооруженных; и когда он как раз оказался насупротив того, где я был, он остановился с таким видом, как будто хотел со мною ссоры. Те, что были со мной, молодые люди храбрые и предприимчивые, делали мне знаки, что я должен взяться, на что я сразу подумал, что если я возьмусь за шпагу, то последует какой-нибудь превеликий вред для тех, кто как есть ни в чем неповинен; поэтому я решил, что лучше будет, если я один подвергну опасности свою жизнь. Постояв этак с две авемарии², Помпео насмешливо расхохотался в мою сторону и пошел, а эти его тоже хохотали, качая головами, и выделявали много подобных дерзостей; эти мои товарищи хотели затеять ссору; на что я сердито сказал, что свои дела я и сам умею справлять, что мне не требуется никого храбрее, чем я сам; так что пусть каждый заботится о себе. Рассердившись, эти мои друзья ушли от меня, ворча. Среди них был самый дорогой мой друг, каковому имя было Альбертаччо

дель Бене, родной брат Алессандро и Альбицо, каковой теперь в Лионе превеликий богач. Этот Альбертаччо был самый удивительный юноша, которого я когда-либо знавал, и самый отважный, и любил меня, как самого себя; и так как он отлично понимал, что эта выдержка не от малодушия, а от отчаянной храбрости, потому что знал меня прекрасно, то, отвечая на слова, он просил меня, чтобы я сделал ему одолжение позвать его с собой на все то, что я задумал предпринять. На что я сказал: «Мой Альбертаччо, над всеми другими самый дорогой, придет еще время, когда вы сможете подать мне помощь; но в этом случае, если вы меня любите, не обращайтесь на меня внимания, и займитесь вашим делом, и поскорее уходите, как сделали остальные, потому что сейчас нельзя терять времени». Эти слова были сказаны быстро.

LXXIII

Тем временем мои враги, из Банки, медленным шагом направились в сторону Кьявики, к месту, которое так называется, и достигли перекрестка улиц, каковые расходятся в разные стороны; но та, где был дом моего врага Помпео, это была та улица, которая прямо ведет на Кампо ди Фиоре; и по каким-то надобностям сказанного Помпео он зашел к тому аптекарю, который жил на углу Кьявики, и побыл немного у этого аптекаря по каким-то своим делам; хотя мне сказали, будто он хвастал той остроткой, которую ему казалось, что он мне задал, но, во всяком случае, это была его злая судьба; потому что, когда я подошел к этому углу, он как раз выходил от аптекаря, и эти его молодцы раступились и уже приняли его в середину. Я взялся за маленький колючий кинжальчик и, разорвав цепь его молодцов, обхватил его за грудь с такой быстротой и спокойствием духа, что никто из сказанных не успел заступиться. Когда я потянул его, чтобы ударить в лицо, страх заставил его отвернуться, так что я уколол его под самое ухо; и сюда я подтвердил всего лишь два удара, как на втором он выпал у меня

из рук мертвым, что вовсе не было моим намерением; но, как говорится, бьешь не по уговору. Вынув кинжал левой рукой, а правой выхватив шпагу для защиты своей жизни, причем все эти молодцы бросились к мертвому телу и против меня ничего не предприняли, я одишонок пошел по страда Юлиа, раздумывая, где бы я мог укрыться. Когда я был в трехстах шагах, меня настиг Пилото, золотых дел мастер, величайший мой друг, каковой мне сказал: «Брат, раз уж беда случилась, постараемся тебя спасти». На что я ему сказал: «Идем к Альбертаччо дель Бене, потому что я только что ему говорил, что скоро настанет время, когда он мне понадобится». Когда мы пришли в дом к Альбертаччо, ласки были неопикуемые, и вскоре явилась знать банкинской молодежи всех наций, кроме миланцев; и все мне предлагали отдать свою жизнь ради спасения моей жизни. Также мессер Луиджи Ручеллаи прислал мне предложить изумительнейшим образом, чтобы я пользовался всем, что у него есть, и многие другие большие люди вроде него; потому что все они совместно благоговяли мои руки, ибо им казалось, что он слишком меня угнетал, и они очень удивлялись, что я столько терпел.

LXXIV

В это самое время кардинал Корнаро¹, узнав про это дело, сам от себя прислал тридцать солдат со всякими протазанами, пиками и аркебузами, чтобы такие отвели меня к нему со всяческим добрым почетом; и я принял предложение, и пошел с ними, и из сказанных молодых людей еще большее число меня сопровождало. Тем временем, узнав об этом, этот мессер Траяно, его родственник, первый папский камерарий, отправил к кардиналу де'Медичи одного знатного миланского вельможу, чтобы тот сказал кардиналу, какое великое зло я совершил и что его преосвященство обязано меня покарать. Кардинал тотчас же ответил и сказал: «Великое зло совершил бы он, не совершив этого меньшего зла; поблагодарите мессер Траяно от моего имени, что он осведомил меня о том, чего я не

знал». И тут же обернувшись, в присутствии сказанного вельможи, к епископу фрулийскому, своему приближенному и доверенному, сказал ему: «Постарайтесь отыскать моего Бенвенуто и приведите его сюда ко мне, потому что я хочу помочь ему и защитить его; и кто пойдет против него, тот пойдет против меня». Вельможа, весьма покраснев, ушел, а епископ фрулийский пришел за мной в дом к кардиналу Корнаро; и, являсь к кардиналу, сказал, что кардинал де'Медичи посылает за Бенвенуто и хочет сам быть тем, кто будет его охранять. Этот кардинал Корнаро, который был сердитый, как медвежонок, весьма разозлясь, ответил епископу, говоря ему, что он так же способен охранять меня, как и кардинал де'Медичи. На это епископ сказал, чтобы он сделал милость устроить, чтобы он мог сказать мне два слова не об этом деле, а по другим надобностям кардинала. Корнаро ему сказал, чтобы на сегодня он считал, что со мной поговорил. Кардинал де'Медичи был очень разгневан; но все-таки я пошел на следующую ночь, без ведома Корнаро, под надежной охраной, посетить его; затем я попросил его, чтобы он сделал мне такую милость и оставил меня в доме у сказанного Корнаро, и сказал ему, с какой великой учтивостью Корнаро со мной обошелся; так что если его преосвященство позволит мне остаться у сказанного Корнаро, то у меня окажется одним другом больше в моих нуждах; а впрочем, пусть он располагает мною во всем, как будет угодно его преосвященству. Каковой мне ответил, чтобы я делал, как мне думается. Я вернулся в дом к Корнаро, а через несколько дней папой был избран кардинал Фарнезе;² и, покончив с более важными делами, папа сразу же затем опросил обо мне, говоря, что не желает, чтобы кто-нибудь другой делал ему монеты, кроме меня. На эти слова ответил его святейшему некий его приближенный вельможа, какового звали мессер Латино Ювинале;³ он сказал, что я в бегах из-за убийства, учиненного над неким миланцем Помпео, и добавил все мои основания весьма благожелательно. На каковые слова папа сказал: «Я не знал о смерти Помпео, но хорошо знал основа-

ния Бенвенуто, так что пусть ему немедленно выправят охранный лист, с каковым он был бы вполне безопасен». Тут же присутствовал один большой друг этого Помпео и нарочитый приближенный папы, какового звали мессер Амбруоджо, и был он миланец; и сказал папе: «В первые дни вашего папства нехорошо бы оказывать такого рода милости». На что папа, обернувшись к нему, сказал ему: «Вы в этом понимаете меньше, чем я. Знайте, что такие люди, как Бенвенуто, единственные в своем художестве, не могут быть подчинены закону; и особенно он, потому что я знаю, насколько он прав». И велел выдать мне охранный лист, я сразу же начал ему служить с величайшим благоволением.

LXXV

Зашел ко мне этот мессер Латино Ювинале сказанный и велел мне, чтобы я делал папские монеты. Тут проснулись все эти мои враги; начали мне препятствовать, чтобы я их не делал. На что папа, заметив это, изругал их всех и пожелал, чтобы я их делал. Я начал делать чеканы для скудо, на каковых сделал половинного святого Павла, с надписью, которая гласила: «*Vas electionis*»¹. Эта монета понравилась гораздо больше, чем монеты тех, кто со мной соперничал; так что папа сказал, чтобы другие не заговаривали с ним больше о монетах, потому что он хочет, чтобы тем, кто будет их делать, был я, и никто другой. Итак, я свободно принялся за работу; а этот мессер Латино Ювинале водил меня к папе, потому что папа поручил ему это. Мне хотелось получить опять указ о должности чеканщика монетного двора. Но тут папа дал себе присоветовать, сказав, что сперва необходимо, чтобы я получил прощение за убийство, каковое я получу в августе, в день святых Марий², по постановлению римских капориони³, потому что так принято каждый год в этот торжественный праздник выдавать этим капориони двенадцать осужденных; а что пока мне справят новый охранный лист, по каковому я могу жить спокойно вплоть до сказанного времени. Видя эти мои враги,

что им никаким путем не удастся возбранить мне монетный двор, они избрали другой прием. Так как покойный Помпео оставил три тысячи дукатов приданого одной своей побочной дочери, то они устроили, чтобы некий любимец синьора Пьер Луиджи, папского сына ⁴, посватался к ней через посредство сказанного синьора; так и было сделано. Этот сказанный любимец был деревенский парень, воспитанный сказанным синьором, и, как говорят, ему от этих денег досталось мало, потому что сказанный синьор наложил на них руку и хотел ими воспользоваться. Но так как этот муж этой девочки, чтобы угодить жене, много раз просил сказанного синьора, чтобы тот велел меня схватить, каковой синьор обещал ему это сделать, как только он увидит, что немного поубавилось благоволения, в котором я у папы, причем так тянулось около двух месяцев, потому что этот его слуга старался получить свое приданое, а синьор, не отвечая ничего про это, но давал знать жене, что отомстит за отца во что бы то ни стало. Хоть я кое-что об этом и знал и являясь много раз к сказанному синьору, каковой делал вид, что оказывает мне превеликое благоволение; с другой же стороны он замыслил один из двух путей, или велеть меня убить, или велеть барджеллу меня схватить. Он поручил одному своему чертенку, солдату-корсиканцу, чтобы он это сделал как можно чище; а эти прочие мои враги, особенно мессер Траяно, обещали подарить сто скудо этому корсикашке; каковой сказал, что это ему так же легко сделать, как выпить сырое яйцо. Я, который об этом проведал, ходил с открытыми глазами и с доброй охраной, и отлично вооруженный, в кольчуге и наручах, потому что такое я получил разрешение. Этот сказанный корсикашка, замышляя, по своей жадности, заработать эти деньги все целиком, думал, что может справиться с этим делом один; и вот однажды, после обеда, за мной прислали от синьора Пьер Луиджи; я тотчас же пошел, потому что этот синьор мне говорил, что хочет сделать несколько больших серебряных ваз. Выйдя из дому второпях, но все же в обычных моих доспехах, я быстро пошел по страда Юлиа, думая, что никого не встречу там в этот час.

Когда я дошел до конца страда Юлиа, чтобы повернуть к дворцу Фарнезе, то, так как у меня обычаем широко огибать углы, я увидел, как этот корсикашка, уже сказанный, встал с того места, где сидел, и вышел на середину улицы; так что я ничуть не смутился, но приготовился защищаться; и, замедлив немного шаг, подошел к стене, чтобы дать простор сказанному корсикашке. Так как он тоже подошел к стене и, когда мы были уже близко друг от друга, я понял ясно по его повадкам, что он имеет желание мне досадить и, видя, что я совсем один, думает, что это ему удастся; поэтому я заговорил и сказал: «Храбрый воин, если бы это было ночью, вы могли бы сказать, что приняли меня за другого, но так как сейчас день, то вы отлично знаете, кто я такой, каковой никогда с вами дела не имел, и никогда вас ничем не обижал, а я был бы вполне готов быть вам приятным». На эти слова он, с угрожающим видом, не уходя прочь, сказал мне, что не знает, о чем я говорю. Тогда я сказал: «Я-то отлично знаю, чего вы хотите и что вы говорите; но только это предприятие, за которое вы взялись, потруднее и поопаснее, чем вы думаете, и может, чего доброго, выйти наоборот; и помните, что вы имеете дело с человеком, который защитился бы против ста; и не в почете у храбрых людей, как вы, такие вот предприятия». Между тем и я смотрел по-собачьи, и оба мы изменились в лице. Между тем появился народ, который уже понял, что наши слова — из железа; так что у него не хватило духу взяться за меня, и он сказал: «Другой раз встретимся». На что я сказал: «Я всегда готов встретиться с честными людьми и с теми, кто на это похож». Уйдя, я отправился к синьору, каковой за мной и не посылал. Когда я вернулся к себе в мастерскую, сказанный корсикашка, через одного своего превеликого друга и моего дал мне знать, чтобы я его больше не остерегался, что он хочет быть мне добрым братом; но чтобы я очень остерегался других, потому что мне грозит величайшая опасность; ибо очень важные люди поклялись о моей смерти. Послав его поблагодарить, я стал беречься, как только мог. Немного дней спустя мне было сказано одним моим большим другом, что

синьор Пьер Луиджи отдал прямой приказ, чтобы я был схвачен в тот же вечер. Это мне было сказано в двадцать часов; поэтому я поговорил с некоторыми моими друзьями, каковые меня поощряли, чтобы я немедленно уезжал. И так как приказ был отдан на час ночи, то в двадцать три часа я сел на почтовых и выехал во Флоренцию; потому что когда у этого корсикашки не хватило духу исполнить дело, которое он обещал, то синьор Пьер Луиджи собственной властью отдал приказ, чтобы я был схвачен, только для того, чтобы утихомирить немного эту дочку Помпео, каковая хотела знать, где ее приданое. Так как он не мог удовольствоваться ее мщением ни по одному из тех двух способов, которые он придумал, то он замыслил еще один, о каковом мы скажем в своем месте.

LXXVI

Я прибыл во Флоренцию и представился герцогу Лессандро, каковой учинил мне удивительные ласки и уговаривал меня, что я должен остаться у него. А так как во Флоренции жил некий ваятель, по имени Триболлино¹, и был он мне кумом, потому что я крестил у него сына, то, когда я с ним разговаривал, он мне сказал, что некий Якопо дель Сансовино², бывший его учитель, прислал звать его к себе; и так как он никогда не видел Венеции, а также из-за заработка, который он от этого ожидает, он едет туда очень охотно; и когда он меня спросил, видел ли я когда-нибудь Венецию, я сказал, что нет; тогда он стал меня просить, что я должен проехаться вместе с ним; и я ему обещал; поэтому я ответил герцогу Лессандро, что хочу сперва съездить в Венецию, а потом охотно вернусь служить ему; и так он пожелал, чтобы я ему обещал, и велел мне, чтобы перед тем, как я уеду, я представился ему. На следующий затем день, снарядившись, я пошел к герцогу откланяться; какового я застал во дворце Пацци, в то время как там проживали жена и дочери синьора Лоренцо Чибо. Когда я попросил доложить его светлости, что я, с его дозволения, хочу ехать в Венецию,

с ответом вернулся Козимино де'Медичи, нынешний герцог флорентийский³, каковой мне сказал, чтобы я сходил к Никколо да Монте Агуто, и он мне даст пятьдесят золотых скудо, каковые деньги мне жалует его герцогская светлость, чтобы я на них гулял за его здоровье, а потом возвращался служить ему. Я получил деньги у Никколо и зашел за Триболо, каковой был уже готов и сказал мне, перевязал ли я шпагу. Я ему сказал, что тот, кто сидит на коне, чтобы ехать в путешествие, не должен перевязывать шпагу. Он сказал, что во Флоренции так заведено, потому что тут есть некий сер Маурицио⁴, который из-за любого пустяка отстегал бы самого Ивана Крестителя; потому надо носить шпагу перевязанной, пока не выедешь за ворота. Я над этим посмеялся, и так мы отправились. Сопутствовал нам нарочный в Венецию, какового звали по прозвищу Ламентоне; с ним мы ехали вместе и, миновав Болонью, однажды вечером приехали в Феррару; и когда мы там остановились в гостинице на Пьяцца, сказанный Ламентоне пошел разыскать кое-кого из изгнанников, чтобы передать им письма и поручения от имени их жен; ибо таково было изволение герцога, чтобы только нарочный мог с ними говорить, а другие нет, под страхом такого же послушания, в каком пребывали они. Тем временем, так как было немногим больше двадцати двух часов, мы пошли, Триболо и я, взглянуть, как возвращается герцог феррарский⁵, который ездил в Бельфиоре⁶ смотреть копейный бой. При его возвращении мы встретили много изгнанников, каковые глядели на нас в упор, как бы вынуждая нас заговорить с ними. Триболо, который был самый боязливый человек, каково я когда-либо звал, то и дело говорил мне: «Не смотри на них и не говори с ними, если хочешь вернуться во Флоренцию». Так мы стояли и смотрели, как возвращается герцог; потом, вернувшись в гостиницу, застали там Ламентоне. А когда было около часу ночи, туда явился Никколо Бенинтенди⁷, и Пьеро, его брат, и еще другой старик, который, как мне кажется, был Якопо Нарди⁸, вместе с несколькими другими молодыми людьми; каковые, как только вошли, стали расспраши-

вать нарочного, каждый про своих во Флоренции; Триболо и я стояли в стороне, чтобы не говорить с ними. Когда они поговорили с Ламентоне, этот Никколо Бенинтенди сказал: «Я этих двух знаю отлично; чего это они так кобенятся, что не желают с нами разговаривать?» Триболо продолжал говорить мне, чтобы я молчал. Ламентоне сказал им, что такого разрешения, какое дано ему, нам не дано. Бенинтенди прибавил и сказал, что это дурость, посылая нам черта и всякие прелести. Тогда я поднял голову со всей скромностью, с какой мог и умел, и сказал: «Любезные господа, вы нам можете очень повредить, а мы вам ничем не можем быть полезны; и хоть вы нам сказали кое-какие слова, каковые нам непригожи, но даже и из-за этого мы не хотим с вами ссориться». Этот старик Нарди сказал, что я говорил, как достойный молодой человек, каков я и есть. Никколо Бенинтенди тогда сказал: «И они, и герцог у меня в заднице!» Я возразил, что перед нами он неправ, потому что мы в его дела не вмешиваемся. Этот старый Нарди за нас вступился, говоря Бенинтенди, что тот неправ; а тот все продолжал говорить оскорбительные слова. Поэтому я ему сказал, что я ему наговорю и наделаю такого, что ему не понравится; так что пусть он занимается своим делом, а нас оставит в покое. Он повторил, что и герцог, и мы у него в заднице, опять, и что и мы, и он — куча ослов. На каковые слова, сказав, что он врет, я выхватил шпагу; а старик, которому хотелось быть первым на лестнице, через несколько ступенек упал, и все они вповалку на него. Поэтому, бросившись вперед, я размахивал шпагой по стенам с превеликой яростью, говоря: «Я вас всех перебью!» И я всячески старался не причинить им вреда, потому что слишком много мог бы его причинить. На этот шум хозяин кричал; Ламентоне говорил: «Перестаньте!» Некоторые из них говорили: «Ах, моя голова!» Другие: «Дайте мне выйти отсюда!» Это была сумятица неопишная; они казались стадом свиней; хозяин пришел с огнем; я вернулся наверх и вложил шпагу в ножны. Ламентоне говорил Никколо Бенинтенди, что он поступил дурно; хозяин сказал Никколо Бенинтенди: «Можно поплатиться

головой, если братья здесь за оружие, и, если бы герцог узнал про эти ваши дерзости, он бы вас велел вздернуть за горло; поэтому я не хочу делать с вами то, чего бы вы заслуживали; но только никогда больше не попадайтесь мне в этой гостинице, не то горе вам!» Хозяин пришел ко мне наверх и, когда я хотел извиниться, не дал мне ничего сказать, говоря мне, что он знает, что я тысячу раз прав, и чтобы я в пути хорошенько их остерегался.

LXXVII

Когда мы поужинали, явился лодочник, чтобы везти нас в Венецию; я спросил, отдаст ли он лодку в мое распоряжение; он согласился, и на этом мы сговорились. Наутро, спозаранку, мы сели на коней, чтобы ехать на пристань, которая находится в скольких-то немногих милях от Феррары; и когда мы приехали на пристань, мы застали там брата Никколо Бенинтенди с тремя другими товарищами, каковые поджидали, чтобы я подъехал; с ними было две штуки оружия на древках, а я купил в Ферраре доброе копьё. Будучи к тому же отлично вооружен, я ни чуточки не испугался, как то сделал Триболо, который сказал: «Помоги нам, господи, они здесь, чтобы убить нас!» Ламентоне обернулся ко мне и сказал: «Лучшее, что ты можешь сделать, это — вернуться в Феррару, потому что я вижу, что дело это опасное. Сделай милость, мой Бенвенуто, уходи от ярости этих бешеных зверей». Тогда я сказал: «Едем вперед, потому что, кто прав, тому помогает бог; и вы увидите, как я помогу себе сам. Разве эта лодка нанята не для нас?» — «Да, — сказал Ламентоне. — И в ней мы будем без них, поскольку сможет мои доблесть». Я тронул вперед коня и, когда я был в пятидесяти шагах, спешил и смело со своим копьём пошел вперед. Триболо остановился позади и скрючился на лошади, что твой мороз; а Ламентоне, нарочный, пыхтел и сопел, что твой ветер; потому что такая была у него привычка; но на этот раз он пыхтел больше обычного, выжидая, чем кон-

чится вся эта чертовщина. Когда я подошел к лодке, лодочник выступил мне навстречу и сказал мне, что эти несколько флорентийских господ хотят сесть вместе с нами в лодку, если я на это согласен. На что я сказал: «Лодка нанята для нас, а не для других, и мне жаль до самую сердца, что я не могу быть с ними». На эти слова некий смелый юноша Магалотти сказал: «Бенвенуто, мы сделаем так, что ты сможешь». Тогда я сказал: «Если бог и моя правота, вместе с моими силами, захотят и смогут, вы меня не заставите смочь то, что вы говорите». И с этими словами я прыгнул в лодку. Обратив к ним острие оружия, я сказал: «Этим я вам покажу, что я не могу». Когда этот Магалотти, желая немного пригрозить, взялся за оружие и двинулся вперед, я вскочил на край лодки и отвесил ему такой удар, что, не упавши он навзничь, я бы его проткнул насквозь. Остальные товарищи, вместо того, чтобы помочь ему, отступили назад; и, видя, что я мог бы его убить, а не только что ударить, я ему сказал: «Вставай, брат, и бери свое оружие, и уходи; ты видел, что я не могу того, чего не хочу, а того, что я мог сделать, я не хотел». Затем я кликнул Триболо, и лодочника, и Ламентоне; так мы поплыли в Венецию. Когда мы проплыли десять миль по По, эти молодые люди сели в фузольту¹ и догнали нас; и когда они с нами поравнялись, этот болван Пьер Бенинтенди сказал мне: «Плыви себе, Бенвенуто, мы еще увидимся в Венеции!» — «Плывите сами, я не отстану, — сказал я, — меня всюду можно видеть!» Так мы прибыли в Венецию. Я обратился за советом к брату кардинала Корнаро, говоря ему, чтобы он оказал мне покровительство, чтобы я мог носить оружие; каковой мне сказал, чтобы я его носил свободно, потому что худшее, что мне грозит, это лишиться шпаги.

LXXVIII

Так, с оружием, мы пошли навестить Якопо дель Сансовино, ваятеля, который посылал за Триболо; и мне он учинил великие ласки, и захотел дать нам обе-

дать, и мы у него остались. Разговаривая с Триболо, он ему сказал, что сейчас он не хочет им услужиться и чтобы он зашел другой раз. На эти слова я рассмеялся и шутливо сказал Сансовино: «Слишком уж далек ваш дом от его дома, чтобы ему заходить другой раз». Бедный Триболо, опешив, сказал: «Да у меня с собой письмо, которое вы мне написали, чтобы я приехал». На это Сансовино сказал, что такие люди, как он, почтенные и даровитые, могут делать такие вещи, и даже большее. Триболо пожал плечами и сказал: «Терпение», несколько раз. Тут, невзирая на обильный обед, который мне задал Сансовино, я стал на сторону моего товарища Триболо, который был прав. А так как за этой трапезой Сансовино не переставал трещать о своих великих деяниях, говоря дурное про Микеланьоло и про всех, кто занимался этим искусством, только самого себя расхваливая удивительно; то это мне до того надоело, что я ни одного куска не съел, который бы мне понравился, и только сказал такие два слова: «О мессер Якопо, почтенные люди поступают, как почтенные люди, а люди даровитые, которые создают прекрасные и добрые произведения, познаются много лучше, когда их хвалят другие, чем когда они хвалят так уверенно самих себя». При этих словах и он, и мы встали из-за стола, ворча. В этот самый день, бродя по Венеции около Риальто, я встретил Пьеро Бенинтенти, каковой был с несколькими; и, заметив, что они ищут мне досадить, я зашел в лавку к аптекарю, так что я дал пройти этой грозе. Впоследствии я слышал, что этот юноша Магалотти, с которым я обошелся уприво, много их упрекал, и так это прошло.

LXXIX

Несколько дней спустя, мы поехали обратно во Флоренцию; и когда мы остановились в некоем местечке, каковое по сю сторону Кьоджи, по левую руку, если ехать в сторону Феррары, то хозяин пожелал, чтобы ему было уплачено по его способу, раньше чем мы пойдем спать; и когда мы ему сказали, что в других

местах принято платить утром, он нам сказал: «Я хочу, чтобы мне было уплачено с вечера, и по моему способу». Я сказал на эти слова, что люди, которые желают поступать по своему способу, надо, чтобы они создали себе и мир по своему способу, потому что в этом мире так не принято. Хозяин отвечал, чтобы я ему не морочил мозги, потому что он желает поступить по этому способу. Триболо дрожал от страха и щипал меня, чтобы я молчал, дабы они не сделали нам хуже; так мы ему заплатили по их способу; затем пошли спать. Что у нас было хорошо, так это превосходнейшие постели, совершенно новенькие и действительно чистые. Несмотря на это, я так и не уснул, обдумывая всю эту ночь, что бы мне такое сделать, чтобы отомстить. То мне приходила мысль поджечь ему дом; то зарезать ему четырех добрых коней, которые у него стояли в конюшне; все это я видел, что мне легко сделать, но зато я не видел, чтобы легко было спасти себя и моего товарища. Решив, как последнее средство, поместить пожитки и товарищей в лодку, я так и сделал; и когда лошадей впрягли в бечеву, которые тянули лодку, я сказал, чтобы с лодкой не трогались, пока я не вернусь, потому что я забыл пару туфель в том месте, где я спал. И вот, вернувшись в гостиницу, я спросил хозяина; каковой мне ответил, что ему до нас дела нет и чтобы мы шли к б...м. Был там один его парнишка, конюшенный мальчик, весь заспанный, каковой мне сказал: «Хозяин не тронется ради самого папы, потому что он спит с одной лентяйкой, которой он весьма жаждал». И попросил у меня отвальное; тогда я ему дал несколько этих мелких венецианских монеток и сказал ему, чтобы он задержал немного того, который тянет бечеву, пока я не отыщу своих туфель и не вернусь туда. Поднявшись наверх, я взял ножик, который был, как бритва; и четыре постели, которые там были, я все их ему искрошил этим ножом; так что я убедился, что нанес убытку на пятьдесят с лишним скудо. И, вернувшись в лодку с несколькими обрезками этих одеял в кармане, я живо сказал бечевщику, чтобы он поскорее трогался. Когда мы немного отъехали от гостиницы, мой кум Триболо сказал, что он

забыл некои ремни, которыми перевязывал свой чемоданчик, и что он хочет вернуться за ними во что бы то ни стало. На что я сказал, чтобы он не беспокоился из-за пары маленьких ремешков, потому что я ему наделаю больших¹, сколько ему угодно. Он мне сказал, что я вечно балаганю, но что он хочет вернуться за своими ремнями во что бы то ни стало, и понуждал бечевщика, чтобы тот остановился; а я говорил, чтобы он ехал вперед, и в то же время рассказал ему о великом убытке, который я причинил хозяину; и когда я ему показал образчики кое-каких кусочков одеял и прочего, на него напал такой трепет, что он не переставал говорить бечевщику: «Тяни, тяни скорее!» И не считал себя избавленным от этой опасности до тех пор, пока мы не вернулись к воротам Флоренции. Подъехав к каковым, Триболо сказал: «Перевяжем шпаги, ради бога, и бросьте наши шутки; потому что мне все время казалось, что у меня кишки на блюде». На что я сказал: «Кум мой Триболо, вам нечего перевязывать шпагу, потому что вы ее и не развязывали»; и это я сказал только так, потому что ни разу не видел, чтобы он выказал себя мужчиной за это путешествие. Тут, посмотрев на свою шпагу, он сказал: «Ей-богу, вы сказали правду, потому что она все так и перевязана, как я ее устроил перед тем, как выйти из дому». Этому моему куму казалось, что я был ему плохим товарищем, потому что я оскорблялся и защищался против тех, кто хотел нам досадить; а мне казалось, что он сам был мне гораздо хуже товарищем, не стараясь помочь мне в такой нужде. Об этом пусть судит, кто в стороне, без пристрастия.

LXXX

Чуть только я спешился, я сразу же отправился к герцогу Лессандро и премного его благодарил за подаренные пятьдесят скудо, говоря его светлости, что я всячески готов на все, чем могу служить его светлости. Каковой сразу же мне поручил, чтобы я сделал чеканы для его монет; и первая, которую я сделал,

была монета в сорок сольдо, с головой его светлости с одной стороны, а с другой — святой Косьма и святой Дамиан. Это были монеты серебряные, и понравились они так, что герцог решался говорить, что это самые красивые монеты во всем христианском мире. Так говорила вся Флоренция и всякий, кто их видел. Поэтому я попросил его светлость, чтобы он назначил мне жалование и чтобы он велел отвести мне комнаты на монетном дворе; каковой сказал мне, чтобы я продолжал ему служить и что он даст мне гораздо больше того, о чем я его прошу; а пока он мне сказал, что отдал распоряжение начальнику монетного двора, каковым был некий Карло Аччайуоли, и чтобы к нему я и ходил за всеми деньгами, какие мне нужно; и это оказалось верно; но я так умеренно брал деньги, что мне всегда еще причиталось что-нибудь, по моему счету. Снова сделал я чеканы для джулио, каковой был святой Иоанн в профиль, сидящий с книгой в руке, и мне казалось, что я никогда еще не создавал ничего столь прекрасного; а с другой стороны был герб сказанного герцога Лессандро. После этого я сделал чекан для полуджулио, на котором я там сделал голову святого Иоанчика с лица. Это была первая монета с головой с лица на такой тонкости серебра, которая когда-либо делалась; и эта такая трудность незаметна, иначе как глазам тех, кто изощрен в этом искусстве. После этого я сделал чеканы для золотых скудо; на каковых был крест с одной стороны с некими маленькими херувимами, а с другой стороны был герб его светлости. Когда я сделал эти четыре рода монет, я попросил его светлость, чтобы он определил мне жалование и отвел мне вышесказанные комнаты, если ему угодна моя служба; на каковые слова его светлость милостиво мне сказал, что он весьма доволен и что он отдаст эти распоряжения. Пока я с ним говорил, его светлость был у себя в скарбнице и рассматривал чудесную пицаль, которую ему прислали из Германии, каковое прекрасное орудие, увидев, что я с большим вниманием на него гляжу, он дал мне в руки, говоря мне, что он очень хорошо знает, как я люблю такие вещи, и чтобы

в зачет того, что он мне обещал, я себе взял из его скарбницы аркебузу по своему вкусу, но только не эту: потому что он хорошо знает, что там много еще более красивых и столь же хороших. На каковые слова я принял и поблагодарил; и, видя, что я ищу глазами, он велел своему скарбничему, каковым был некий Претино да Лукка, чтобы тот дал мне взять все, что я хочу; он вышел с приветливейшими словами, а я остался и выбрал самую красивую и самую лучшую аркебузу, которую я когда-либо видел и которую я когда-либо имел, и ее я отнес к себе домой. Двумя днями позже я ему понес некои рисуночки, которые от меня требовал его светлость, чтобы сделать кое-какие золотые работы, каковые он хотел послать в подарок своей жене¹, которая все еще была в Неаполе. Снова я его попросил о том же моем деле, чтобы он мне его устроил. Тогда его светлость сказал мне, что он хочет сначала, чтобы я ему сделал чеканы для красивого его портрета, как я делал для папы Климента. Я начал сказанный портрет в воске; поэтому его светлость велел, чтобы в любое время, когда я приду с него лепить, меня всегда впускали. Я, который видел, что эта моя работа затягивается, позвал некоего Пьетро Паголо из Монте Ритондо, что возле Рима, каковой еще маленьким мальчиком жил у меня в Риме; и найдя его, что он живет у некоего Бернардоначчо, золотых дел мастера, каковой обходился с ним не очень хорошо, я поэтому взял его оттуда и отлично научил его прилаживать эти чеканы для монет; а тем временем я лепил герцога; и много раз я его заставлял дремлющим после обеда с этим своим Лоренцино², который потом его убил, и никого больше; и я очень удивлялся, что такого рода герцог так доверчив.

LXXXI

Случилось, что Оттавиано де'Медичи¹, каковой, казалось, правил всем, желая порадеть, против воли герцога, старому начальнику монетного двора, которого звали Бастиано Ченнини, человеку старобытному

и малосведущему, велел смешать, при чеканке скудо, эти его нескладные чеканы с моими; так что я на это пожаловался герцогу; каковой, увидав, что это правда, очень рассердился и сказал мне: «Ступай, скажи об этом Оттавиано де'Медичи и покажи их ему». Я тотчас же пошел; и когда я ему показал обиду, которая была учинена моим красивым монетам, он мне сказал по-ослиному: «Так нам угодно делать». На что я ответил, что так нельзя и что так не угодно мне. Он сказал: «А если бы так было угодно герцогу?» Я ему ответил: «То не было бы угодно мне; потому что и неправильно, и неразумно это». Он сказал, чтобы я убирался и что я это съем в таком виде, хотя бы я лопнул. Вернувшись к герцогу, я ему рассказал все, о чем мы неприятно беседовали, Оттавиано де'Медичи и я; поэтому я попросил его светлость, чтобы он не давал в обиду красивые монеты, которые я ему сделал, а меня чтобы он отпустил на волю. Тогда он сказал: «Оттавиано слишком многого хочет: а ты получишь то, чего желаешь; потому что это — оскорбление, которое чинят мне самому». В этот самый день, а было это в четверг, мне пришел из Рима обширный охранный лист от папы, говоря мне, чтобы я немедленно отправлялся за помилованием святых Марий в середине августа, дабы я мог освободиться от этого подозрения в учиненном убийстве. Отправившись к герцогу, я застал его в постели, потому что говорили, что он побеспутствовал; и, кончив в два с небольшим часа то, что мне требовалось для его восковой медали, я ему ее показал, и она ему очень понравилась. Тогда я показал его светлости охранный лист, полученный по приказанию папы, и как папа меня зовет, чтобы я ему исполнил некоторые работы; поэтому я бы, мол, вернулся и этот прекрасный город Рим, а тем временем послужил бы ему его медалью. На это герцог сказал почти что в гневе: «Бенвенуто, сделай по-моему, не уезжай, потому что я положу тебе жалованье и дам тебе комнаты на монетном дворе и еще гораздо больше того, что ты сумел бы у меня попросить, потому что ты просишь о том, что справедливо и разумно; и кто ж ты хочешь, чтобы мне прилаживал мои чудесные чеканы, которые ты мне сде-

лал?» Тогда я сказал: «Государь, обо всем подумано, потому что здесь у меня есть один мой ученик, молодой римлянин, которого я обучил и который отлично послужит вашей светлости, пока я не вернусь с оконченной вашей медалью, чтобы потом уже остаться у вас навсегда. А так как в Риме у меня открытая мастерская с работниками и кое-какими заказами, то, как только я получу помилование, я оставлю всю римскую привязанность одному моему тамошнему воспитаннику, а затем, с дозволения вашей светлости, возвращусь к вам». При всем этом присутствовал этот вышесказанный Лоренцино де'Медичи, и никого больше; герцог несколько раз ему кивал, чтобы и он также поощрял меня остаться; поэтому сказанный Лоренцино ничего другого не сказал, как только: «Бенвенуто, ты бы лучше остался». На это я сказал, что я хочу вернуться в Рим во что бы то ни стало. Тот ничего больше не сказал и все время смотрел на герцога пренебрежимым глазом. Я, кончив по своему вкусу медаль и спрятав ее в коробочку, сказал герцогу: «Государь, будьте покойны, я вам сделаю медаль много красивее, чем я сделал папе Клименту, потому что разум велит, чтобы я сделал ее лучше, ибо то была первая, которую я когда-либо делал; а мессер Лоренцо, тут, даст мне какой-нибудь прекрасный оборот, как человек ученый и величайшего ума». На эти слова сказанный Лоренцо вдруг ответил, говоря: «Я только о том и думал, чтобы дать тебе оборот, который был бы достоин его светлости». Герцог усмехнулся и, взглянув на Лоренцо, сказал: «Лоренцо, вы ему дадите оборот, и он сделает его здесь и не уедет». Лоренцо быстро ответил, говоря: «Я это сделаю как можно скорее и надеюсь сделать нечто такое, что изумит мир»². Герцог, который считал его когда придурковатым, а когда бездельником, повернулся в постели и засмеялся словам, которые тот сказал. Я удалился без дальнейших прощальных церемоний и оставил их вдвоем одних. Герцог, который не верил, что я уеду, ничего мне больше не сказал. Когда он потом узнал, что я уехал, он послал за мной вдогонку одного своего слугу, каковой нагнал меня в Сиене и дал мне пятьдесят золотых дукатов от имени

герцога, говоря мне, чтобы я на них гулял за его здоровье и возвращался как можно скорее, «а от имени мессер Лоренцо я тебе говорю, что он тебе готовит изумительный оборот для той медали, которую ты хочешь сделать». Я оставил все распоряжения вышесказанному Пьетропаголо из Рима, каким образом он должен прилаживать чеканы; но так как это дело очень трудное, то он никогда особенно хорошо их не прилаживал. Монетный двор остался мне должен за работу, за мои чеканы, больше семидесяти скудо.

LXXXII

Я приехал в Рим и взял с собой эту отличнейшую колесную аркебузу, которую мне подарил герцог, и с величайшим моим удовольствием много раз применял ее по пути, выделявая с ней неопишуемые вещи. Приехав в Рим; а так как у меня был домик в страда Юлиа, каковой будучи не в порядке, я поехал спешиться у дома мессер Джованни Гадди, камерального клирика, каковому я оставил на хранение при моем отъезде из Рима много моего красивого оружия и много других вещей, которыми я очень дорожил; поэтому я не хотел спешиваться у моей мастерской, и послал за этим Феличе, моим товарищем, и велел привести в полнейший порядок этот мой домик немедленно. Потом на следующий день я пошел туда ночевать, отлично снабдившись платьем и всем, что мне было необходимо, желая на следующее утро пойти представиться папе, чтобы поблагодарить его. У меня было двое мальчиков-слуг, а внизу у меня в доме жила прачка, которая преотменно мне стряпала. Вечером я давал ужин некоторым моим друзьям, и когда этот ужин с превеликим удовольствием прошел, я лег спать; и не успела пройти ночь, как под утро, за час с лишним до рассвета, я услышал, как с превеликой яростью колотят в дверь моего дома, так что один удар не дожидался другого. Поэтому я позвал этого моего старшего слугу, имя которому было Ченчо; это был тот, которого я водил в некромантический круг; я сказал, чтобы он пошел по-

смотреть, кто этот сумасшедший, который в такой час так зверски стучит. Пока Ченчо ходил, я, зажегши еще огонь, потому что у меня и без того постоянно всегда горит ночью свет, тотчас же надел поверх рубашки чудесную кольчугу, а поверх нее кое-какое случайное платьишко. Вернувшись, Ченчо сказал: «Увы, хозяин, это барджелл со всей стражей, и он говорит, что, если вы не поторопитесь, что он выломает дверь; и у них факелы и чего только нет». На что я сказал: «Скажи им, что я накину кое-какое платьишко и так в рубашке и иду». Решив, что это смертоубийство, как уже учиненное мне синьором Пьерлуиджи¹, в правую руку я взял чудесную шпагу, которая у меня была, в левую охранный лист, потом побежал к заднему окну, которое выходило на некоторые огороды, и тут увидел тридцать с лишним стражников; поэтому я понял, что в эту сторону мне не убежать. Поставив этих двух мальчуганов перед собой, я им сказал, чтобы они не отпирали двери, пока я им не скажу. Приготовившись, со шпагою в правой руке и с охранным листом в левой, в положении поистине оборонительном, я сказал этим двум мальчуганам: «Не бойтесь, отворяйте». Тотчас же ворвавшись барджелл Витторио и с ним еще двое внутрь, думая, что легко могут меня схватить, видя, что я так приготовился, отступили назад и сказали: «Здесь шутить не приходится». Тогда я сказал, кинув им охранный лист: «Прочтите это; и так как вы не можете меня взять, то я не желаю, чтобы вы меня и трогали». Барджелл тогда сказал некоторым из них, чтобы они меня взяли, а что охранный лист посмотрится потом. На это я смело выставил вперед оружие и сказал: «Бог да будет за правоту! Или уйду живым, или дамся мертвым». Комната была тесная; они показывали, что идут на меня силой, а у меня был вид весьма оборонительный; поэтому барджелл понял, что ему не заполучить меня иначе, чем так, как я сказал. Позвав секретаря, пока он ему велел читать охранный лист, он два или три раза пытался велеть меня схватить; но я не отступал от этого принятого решения. Оставив это дело, они бросили мне охранный лист на пол и без меня пошли прочь.

Когда я снова лег, я чувствовал себя очень взволнованным и так и не мог уснуть; я решил, что как только настанет день, велеть пустить себе кровь; поэтому я посоветовался об этом с мессер Джованни Гадди, а тот — с одним своим врачешкой, каковой меня спросил, не испугался ли я. Посудите сами, что это был за врачешкий ум, если я ему рассказал такой великий случай, а он мне задает подобный вопрос! Это был какой-то ветрогон, который смеялся почти все время и ни о чем; и вот таким образом смеясь, он мне сказал, чтобы я выпил хороший стакан греческого вина и чтобы я старался быть веселым и не бояться. Мессер Джованни, однако, говорил: «Маэстро, если бы кто был из бронзы или мрамора, и тот в подобном случае испугался бы; а тем более человек». На что этот врачешка сказал: «Монсиньоре, не все мы сделаны на один лад; этот человек не из бронзы и не из мрамора, а из чистого железа». И, взяв меня руками за пульс, с этим своим несуразным смехом сказал мессер Джованни: «Вот пощупайте здесь; это пульс не человека, а льва или дракона». Тут я, у которого пульс бился сильно, неровно, вероятно в такой степени, про какую этот болван доктор не читал ни у Гиппократата, ни у Галена, ясно почувствовал мою болезнь, но, чтобы не причинять себе большего страха и вреда, чем я испытал, я высказывал себя спокойным. Тем временем сказанный мессер Джованни велел подавать обедать, и мы всей компанией сели есть; каковая была, вместе со сказанным мессер Джованни, некий мессер Лодовико да Фано, мессер Антонио Аллегретти, мессер Джованни грек, всё люди ученейшие, мессер Аннибаль Каро¹, который был очень молод; и ни о чем другом не говорилось за этим обедом, как об этом смелом поступке. И потом они заставляли о нем рассказывать этого Ченчо, моего служку, каковой был чрезвычайно остроумен, храбр и прекрасен телом; и всякий раз, как он рассказывал об этом моем бешеном поступке, принимая те осанки, которые принимал я, и отлично передавая также слова, которые я говорил, мне всегда вспоминалось что-ни-

будь новое; и они часто его спрашивали, было ли ему страшно; на каковые слова он отвечал, чтобы они спросили у меня, было ли страшно мне, потому что ему было то же самое, что было мне. Когда эта болтовня мне надоела и так как я чувствовал себя очень не по себе, я встал из-за стола, сказав, что я хочу пойти одеться наново в голубые сукно и шелк, он и я; потому что я хотел на четвертый день идти с процессией, так как приближались святые Марии, и хотел, чтобы сказанный Ченчо нес мне зажженный белый факел. И так, уйдя, я пошел отрезать голубого сукна, с красивым кафтанчиком тоже голубого шелка и таким же камзольчиком; а ему я сделал камзол и кафтан тафтяные, тоже голубые. Когда все сказанное я отрезал, я пошел к папе; каковой мне сказал, чтобы я поговорил с его мессер Амбруоджо; потому что он распорядился, чтобы я сделал большую работу из золота. Так я отправился к мессер Амбруоджо; каковой был отлично осведомлен о деле с барджеллом, и он был в сговоре с моими врагами, чтобы воротить меня, и изругал барджелла, что тот меня не взял; каковой извинялся, что против такого охранного листа он не мог этого сделать. Сказанный мессер Амбруоджо начал со мной говорить о заказе, который ему поручил папа; потом сказал мне, чтобы я сделал рисунок и что все будет устроено. Между тем наступал день святых Марий; а так как есть обычай, чтобы те, кто получает такое помилование, отправлялись в тюрьму, то поэтому я вернулся к папе и сказал его святейшеству, что я не хочу помещаться в тюрьму и что я его прошу, чтобы он оказал мне такую милость, чтобы я не шел в тюрьму. Папа мне ответил, что таков обычай и что так должно быть сделано. На это я снова преклонил колена и поблагодарил его за охранный лист, который его святейшество мне выдал; и что с ним я вернусь служить моему герцогу флорентийскому, который с таким вожделием меня ждет. При этих словах папа повернулся к одному своему приближенному и сказал: «Пусть Бенвенуто получит помилование без темницы; поэтому пусть ему выправят его указ, чтобы все было в порядке». Когда выправили указ, папа его снова подписал; его отметили в

Капитолии; затем, в назначенный день, посреди двух дворян, я с большим почетом шел в процессии и получил полное помилование.

LXXXIV

Четыре дня затем спустя меня схватила превеликая лихорадка с ознобом неопишваемым; и, слегши в кровать, я сразу же почел себя смертным. Я велел позвать первейших римских врачей, среди каковых был некий маэстро Франческо да Норча, врач старейший и величайшей славы, какой только имелся в Риме. Я рассказал этим сказанным врачам, какая я думал, что была причина моей великой болезни, и что я хотел было, чтобы мне пустили кровь, но что мне отсоветовали; и что если еще не поздно, я просил их, чтобы они мне ее пустили. Маэстро Франческо ответил, что пускать кровь сейчас нехорошо, а тогда хорошо было и что у меня бы никакой болезни и не было; а теперь необходимо лечить меня другим путем. И вот принялись меня лечить со всем усердием, с каким только могли и умели; и я с каждым днем быстро плошал, так что неделю спустя болезнь возросла настолько, что врачи, отчаявшись в этом предприятии, распорядились, чтобы меня ублажали и чтобы мне давали все, о чем я попрошу. Маэстро Франческо сказал: «Пока есть дыхание, зовите меня во всякое время, потому что нельзя угадать, что может сделать природа в такого рода молодом человеке; а если случится, что он обомрет, примените ему эти пять средств одно за другим и пошлите за мной, и я приду в любой час ночи; потому что мне приятнее было бы спасти этого, чем какого бы то ни было кардинала в Риме». Каждый день приходил меня навестить дватри раза мессер Джованни Гадди, и всякий раз брал в руки какую-нибудь из этих моих красивых пищалей, или кольчуг, или шпаг и постоянно говорил: «Это красивая вещь, а эта еще красивее». И то же про другие мои модельки и вещицы; так что он мне надоел. И с ним приходил некий Маттио Франчези¹, у которого был такой вид, словно и он тоже ждет не дождется,

чтобы я умер; не потому, чтобы он имел что-нибудь получить после меня, но ему словно хотелось того, чего явно весьма желал мессер Джованни. Со мной был этот Феличе, уже сказанный мой товарищ, каковой мне оказывал величайшую помощь, какую только может оказать на свете один человек другому. Природа была ослаблена и измождена совсем; и во мне не оставалось настолько силы, чтобы, испустив дыхание, снова его вобрать; но все же крепость мозга была сильна, как бывала, как когда я не хворал. И хотя я был, таким образом, в уме, ко мне приходил к постели ужасный старик, который хотел затащить меня силой в свою огромнейшую лодку; поэтому я звал этого моего Феличе, чтобы он подошел ко мне и прогнал прочь этого старого мошенника. Этот Феличе, который был со мной преласков, подбегал плача и говорил: «Убирайся, старый предатель! Ты хочешь отнять у меня самое дорогое!» Тогда мессер Джованни Гадди, который тут же присутствовал, говорил: «Бедняга бредит, еще осталось несколько часов». А этот другой, Маттио Францези, говорил: «Он читал Данте², и в этой великой немощи ему это и примерещилось». И говорил этак, смеясь: «Убирайся, старый мошенник, и не приставай к нашему Бенвенуто». Видя, что надо мной потешаются, я повернулся к мессер Джованни Гадди и ему сказал: «Дорогой мой хозяин, знайте, что я не брежу и что это все правда с этим стариком, который так ко мне пристаёт; но вы бы гораздо лучше сделали, если бы убрали от меня этого несчастного Маттио, который смеется над моей бедой; и раз ваша милость удостоивает меня того, чтобы я ее видел, то вам бы следовало придти сюда с мессер Антонио Аллегретти, или с мессер Аннибаль Каро, или с кем-нибудь еще из ваших даровитых друзей, которые люди другого вежества и другого ума, чем это животное». Тогда мессер Джованни сказал, ради шутки, этому Маттио, чтобы он убирался от него навсегда; но так как Маттио смеялся, то шутка стала вправду, потому что мессер Джованни не пожелал его больше видеть и велел позвать мессер Антонио Аллегретти, и мессер Лодовико, и мессер Аннибаль Каро. Когда пришли эти достойные люди, я возымел

превеликое облегчение и долго побеседовал с ними в разумении, хоть и упрашивая Феличе, чтобы он прогнал прочь старика. Мессер Лодовико спрашивал меня, что мне видится и каков он собой. В то время как я ему ясно рисовал его словами, этот старик хватал меня за руку и силой тащил меня к себе; поэтому я кричал, чтобы мне помогли, потому что он хочет бросить меня под палубу в эту свою ужасающую лодку. Едва я сказал это последнее слово, на меня нашло превеликое изнеможение, и мне показалось, что он меня бросает в эту лодку. Говорят, что тогда в этом обмороке, что я метался и что я наговорил дурных слов мессер Джованни Гадди, что он, мол, приходит меня грабить, а вовсе не из жалости какой; и много других грубейших слов, которые заставили устыдиться сказанного мессер Джованни. Потом говорят, что я затих, как мертвый; и прождав больше часа, чувствуя, что я холодею, они оставили меня якобы мертвого. И когда они вернулись к себе домой, об этом узнал этот Маттио Францези, каковой и написал во Флоренцию мессер Бенедетто Варки, моему дражайшему другу, что в таком-то часу ночи они видели, как я умер. Поэтому этот великий талант, мессер Бенедетто, и превеликий мой друг, на не бывшую, но все же мнившуюся смерть написал удивительный сонет, каковой будет помещен в своем месте. Прошло больше трех долгих часов, прежде чем я пришел в себя; и, применив все средства вышесказанного маэстро Франческо, видя, что я не прихожу и чувство, Феличе мой дражайший бросился бегом к дому маэстро Франческо да Норча и так стучал, что разбудил его и поднял, и плача просил его, чтобы он пришел на дом, потому что он думает, что я умер. На что маэстро Франческо, который был превспыльчив, сказал: «Сынок, что, по-твоему, мне там делать, если я приду? Если он умер, мне его жаль еще больше, чем тебе; или ты думаешь, что, с моей медициной, если я приду, я могу дунуть ему в задницу и оживить его тебе?» Видя, что бедный юноша уходит плача, он его окликнул и дал ему некое масло, чтобы помазать мне пульсы и сердце, и чтобы мне стиснули как можно крепче мизинцы на ногах и на руках; и что если я

приду в себя, то чтобы сразу же послали за ним. Вернувшись, Феличе сделал все, как маэстро Франческо ему сказал; и так как уже почти рассвело, и им казалось, что нет надежды, они распорядились приготовить саван и обмыть меня. Вдруг я пришел в чувство и позвал Феличе, чтобы он скорее прогнал прочь этого старика, который ко мне пристаёт. Каковой Феличе хотел послать за маэстро Франческо; и я сказал, чтобы он не посылал, а чтобы подошел сюда ко мне, потому что этот старик сразу уходит и боится его. Когда Феличе ко мне приблизился, я до него дотронулся, и мне показалось, что этот старик в ярости удалется; поэтому я попросил, чтобы он всегда оставался возле меня. Явился маэстро Франческо, сказал, что хочет спасти меня во что бы то ни стало и что никогда не видал такой силы в молодом человеке, за всю свою жизнь, как у меня; и, сев писать, прописал мне курения, обмывания, притирания, припарки и неопишное множество всего. Тем временем я пришел в чувство с двадцатью с лишним пъявками на заднице, исколотый, обмотанный и весь искрошенный. Пришло много моих друзей посмотреть на чудесное воскресение мертвого, явились люди весьма важные, и в немалом числе; в присутствии коих я сказал, что то немногое золото и деньги, каковых могло быть около восьмисот скудо золотом, серебром, драгоценными камнями и деньгами, их я хочу, чтобы они достались моей бедной сестре, которая живет во Флоренции, имя каковой мона Липерата; все же остальное мое имущество, как оружие, так и все прочее, я хочу, чтобы досталось моему дражайшему Феличе, и пятьдесят золотых дукатов в придачу, дабы он мог одеться. При этих словах Феличе бросился мне на шею, говоря, что он ничего не хочет и хочет только, чтобы я был жив. Тогда я сказал: «Если ты хочешь, чтобы я был жив, дотронься до меня вот так и прикрикни на этого старика, потому что он тебя боится». При этих словах были такие, которые испугались, видя, что я не брежу, но говорю дельно и с разумением. Так подвигалась моя великая болезнь, и я мало поправлялся. Маэстро Франческо именитейший приходил раза четыре, а то и пять в день; мессер Джованни Гадди,

который устыдился, не показывался у меня больше. Явился мой зять, муж сказанной моей сестры; он приехал из Флоренции за наследством; и так как это был честнейший человек, то он очень обрадовался, застав меня в живых; каковой принес мне неопишумую помощь встречей с ним и тотчас же меня обласкал, говоря, что приехал только за тем, чтобы ухаживать за мной собственноручно; так он и делал несколько дней. Потом я его отослал, имея почти верную надежду на выздоровление. Тогда он оставил сонет мессер Бенедетто Варки, который таков:

НА МНИМУЮ И НЕ БЫВШУЮ СМЕРТЬ
БЕНВЕНУТО ЧЕЛЛИНИ

Кто нас утешит, Маттио? Чья сила
Нам помешает изойти слезами,
Когда, увы, не ложь, что перед нами
Безвременно на небо воспарила

Сия душа, которая взрастила
Столь дивный дар, что равного и сами
Не помним мы, и не создаст веками
Наш мир, где лучших рано ждет могила?

Дух милый, если есть за тканью тленной
Любовь, взгляни на тех, кому утрата
Печалит взор, не твой блаженный жребий.

Ты призван созерцать творца вселенной
И ныне зришь его живым на небе
Таким, как здесь ваял его когда-то.

LXXXV

Болезнь была такая неопишумая, что, казалось, ей не будет конца; и этот достойный человек маэстро Франческо да Норча нес такой труд, как никогда, и каждый день приносил мне новые лекарства, стараясь укрепить несчастный расстроенный инструмент, и при всех этих опишумых трудах казалось, что невозможно положить конец этому ожесточению; так что все врачи почти отчаялись и не знали уж, что и делать. У меня

была неопиcуемая жажда, а я остерегался, как они мне велели, много дней; и этот Феличе, который считал, что сделал редкостное дело, спасши меня, уже от меня не отходил; и этот старик уж не так мне докучал, но во сне иной раз посещал меня. Однажды Феличе вышел, и посмотреть за мной остались один мой ученик и одна служанка, которую звали Беатриче. Я спросил этого ученика, что случилось с этим Ченчо, моим служкой, и что значит, что я ни разу его не видел по моим надобностям. Этот ученик сказал мне, что Ченчо был болен еще тяжелее, чем я, и что он при смерти. Феличе им велел не говорить мне об этом. Когда он мне это сказал, я чрезвычайно огорчился; затем позвал эту сказанную служанку Беатриче, пистойку, и попросил ее, чтобы она принесла мне полным чистой и свежей воды большой хрустальный холодильник, который стоял тут же рядом. Эта женщина сейчас же сбегала и принесла мне его полным. Я ей сказал, чтобы она поднесла мне его ко рту и что, если она даст мне отпить глоток по моему вкусу, я ей подарю платье. Эта служанка, которая у меня украдала кое-какие вещицы некой стоимости, из страха, как бы не раскрылась покража, была бы очень рада, если бы я умер; и поэтому она дала мне отпить этой воды, в два приема, сколько я мог, так что я, наверное, выпил больше бутылки; затем я накрылся, и начал потеть, и уснул. Феличе, вернувшись после того, как я проспал, должно быть, около часа, спросил мальчика, что я делаю. Мальчик ему сказал: «Я не знаю; Беатриче принесла ему этот холодильник, полный воды, и он его почти весь выпил; теперь я не знаю, умер он или жив». Говорят, что этот бедный юноша чуть не рухнул наземь от великого огорчения, которое ему было; затем взял здоровенную палку и принялся ею отчаянно колотить эту служанку, говоря: «Ах, изменница, ты мне его убила!» Пока Феличе колотил, а она кричала, а я видел сон; и мне казалось, что у этого старика в руке веревки; и когда он хотел собраться, чтобы меня вязать, Феличе его настиг и ударил его топором, так что этот старик побежал, говоря: «Дай мне уйти, и я долго сюда не приду». Тем временем Беатриче, громко крича, вбежала ко мне в

комнату; поэтому проснувшись, я сказал: «Оставь ее, потому что, может быть, чтобы мне и повредить, она мне так помогла, что ты при всех твоих стараниях ничего не мог сделать ничего из того, что она сделала все; придите мне помочь, потому что я вспотел; и поторопитесь». Воспрянул Феличе духом, обтер меня и помог мне; и я, который чувствовал превеликое улучшение, посулил себе здоровье. Когда явился маэстро Франческо и увидел великое улучшение, и что служанка плачет, а ученик бегаёт взад и вперед, а Феличе смеется, то этот переполох навел врача на мысль, что тут произошел какой-то необычайный случай, так что он и был причиной этого моего великого улучшения. Тем временем явился тот, другой, маэстро Бернардино, который сначала не хотел мне пускать кровь. Маэстро Франческо, искуснейший человек, сказал: «О, могущество природы! Она знает, чего ей надо, а врачи ничего не знают». Тотчас же ответил этот пустомеля маэстро Бернардино и сказал: «Если бы он выпил еще бутылку, он сразу был бы здоров». Маэстро Франческо да Норча, человек старый и с большим весом, сказал: «Он бы погиб, чего дай вам бог». И потом обратился ко мне и спросил меня, могли бы я выпить больше; на что я сказал, что нет, потому что я вполне утолил жажду; тогда он обернулся к сказанному маэстро Бернардино и сказал: «Вы видите, что природа взяла ровно столько, сколько ей нужно было, ни больше, ни меньше? И она точно так же требовала, чего ей надо, когда бедный юноша просил нас пустить ему кровь; если вы знали, что теперь его спасение было в том, чтобы выпить две бутылки воды, отчего вам было сразу не сказать? И ваша была бы заслуга». При этих словах врачешка ушел, ворча, и больше уж не показывался. Тогда маэстро Франческо сказал, чтобы меня взяли из этой комнаты и чтобы меня распорядились перенести на который-нибудь из римских холмов. Кардинал Корнаро, услышав, что мне лучше, велел перенести меня в одну свою усадьбу, которая у него была на Монте Кавалло; в тот же вечер меня с большой заботливостью перенесли в носилках, хорошо укутав и

усадив. Едва я прибыл, как меня начало рвать; с каковой рвотой у меня вышел из желудка волосатый червь, величиной с четверть локтя; волосы были длинные, и червь был мерзейший, в разноцветных пятнах, зеленых, черных и красных; его сохранили для врача; каковой сказал, что никогда не видел ничего подобного, и потом сказал Феличе: «Теперь позаботься о твоём Бенвенуто, который выздоровел, и не давай ему чинить беспутств; потому что, хоть это его и спасло, всякое другое беспутство его теперь убило бы тебе; ты сам видишь, болезнь была такая великая, что, если бы мы собрались его соборовать, мы бы не успели; теперь я вижу, что при некотором терпении и времени он еще создаст новые прекрасные произведения». Потом обернулся ко мне и сказал: «Мой Бенвенуто, будь умницей и не чини никаких беспутств; и когда ты поправишься, я хочу, чтобы ты сделал мне богоматерь твоей руки, потому что я хочу всегда молиться ей за тебя». Тогда я обещал ему это; потом я его спросил, хорошо ли будет, если я перееду во Флоренцию. Тогда он мне сказал, чтобы я сперва немного окреп и что надо еще посмотреть, как действует природа.

LXXXVI

По прошествии недели, улучшение было такое малое, что я самому себе стал почти что в тягость; потому что я больше пятидесяти дней пребывал в этом великом мучении; и, решившись, я снарядился; и в паре коробов¹ мой дорогой Феличе и я отправились во Флоренцию; и так как я ничего не написал, то я прибыл во Флоренцию² в дом моей сестры, где был этой сестрой и оплакан, и осмеян зараз. В этот день меня пришли повидать многие мои друзья; среди прочих Пьер Ланди, который был наибольший и самый дорогой, какой у меня когда-либо был на свете; на другой день пришел некий Никколо да Монте Агуто, каковой был превеликий мой друг, и так как он слышал, как герцог говорил: «Бенвенуто сделал

бы гораздо лучше, если бы умер, потому что он сюда приехал, чтобы угодить в петлю, и я никогда ему не прошу»; то, придя ко мне, Никколо с отчаянием мне сказал: «Увы, Бенвенуто мой дорогой, зачем ты сюда приехал? Разве ты не знал, что ты сделал герцогу? Я слышал, как он клялся, говоря, что ты приехал, чтобы угодить в петлю во что бы то ни стало». Тогда я сказал: «Никколо, напомните его светлости, что то же самое уже хотел со мной сделать папа Климент, и так же несправедливо; пусть он велит следить за мной и даст мне поправиться, потому что я докажу его светлости, что я всегда был ему самым верным слугой, какой у него когда-либо будет во всю его жизнь, и так как какой-нибудь мой враг оказал из зависти эту скверную услугу, то пусть он подождет моего выздоровления, и когда я смогу, я дам ему такой отчет обо мне, что он изумится». Эту скверную услугу оказал Джорджетто Васселларио³, аретинец, живописец, быть может в награду за столько благодеяний, ему оказанных; ибо я содержал его в Риме и давал ему на расходы, а он поставил мне вверх дном весь дом; потому что у него была этакая сухая проказочка, которая ему извела руки вечным чесанием, и когда он спал с одним славным подмастерьем, который у меня был, которого звали Манно, думая, что он чешет себя, он ободрал ногу сказанному Манно этими своими грязными ручищами, на каковых он никогда не стриг себе ногтей. Сказанный Манно взял у меня расчет и хотел его убить во что бы то ни стало; я их помирил; потом я устроил этого Джорджо к кардиналу де'Медичи⁴ и всегда ему помогал. За это в награду он и сказал герцогу Лессандро, будто я говорил дурное про его светлость и будто я хвастал, что хотел бы первым взойти на стены Флоренции вместе с врагами его светлости, изгнанниками. Эти слова, как я узнал потом, ему велел сказать этот благородный человек Оттавиано де'Медичи⁵, желая отомстить за то, что герцог на него рассердился из-за монет и из-за моего отъезда из Флоренции; но я, который был неповинен в этой взведенной на меня напраслине, ничуть не испугался; и от-

менный маэстро Франческо да Монтеварки с превеликим искусством меня лечил, а привел его мой дражайший друг Лука Мартини ⁶, каковой большую часть дня проводил со мной.

LXXXVII

Тем временем я отослал в Рим преданнейшего Феличе позаботиться о тамошних делах. Приподняв немного голову от подушки, что случилось по прошествии двух недель, хоть я и не мог ступать ногами, я велел себя отнести во дворец Медичи, наверх, где маленькая терраса; так я велел себя посадить, чтобы подождать герцога, пока он пройдет. И, подходя со мной беседовать, многие мои придворные друзья весьма удивлялись, что я взял на себя такое беспокойство и велел принести себя этим способом, будучи от болезни в таком плохом состоянии, говоря мне, что я бы должен сначала подождать, пока буду здоров, а потом уже представиться герцогу. Их собралось много, и все смотрели на меня, как на чудо; не только потому, что они слышали, что я умер, но еще больше казалось им чудом, что я кажусь им мертвецом. Тогда я сказал, в присутствии всех, как какой-то гнусный негодяй сказал моему господину герцогу, будто я хвастал, что хотел бы первым взойти на стены его светлости, и затем будто я говорил дурное про него; поэтому у меня не хватает духу ни жить, ни умереть, если я сначала не очишусь от этого позора, и узнать, кто тот дерзкий негодяй, кто сделал этот ложный донос. При этих словах собралось большое множество этих вельмож; и так как они выказывали, что имеют ко мне превеликое сочувствие, и один говорил одно, а другой другое, то я сказал, что ни за что не желаю уйти отсюда, пока не узнаю, кто тот, кто меня обвинял. При этих словах подошел среди всех этих вельмож маэстро Агостино, герцогский портной, и сказал: «Если ты только это хочешь узнать, то сейчас узнаешь». Как раз проходил вышесказанный Джорджо, живописец; тогда маэстро

Агостино сказал: «Вот кто тебя обвинял; теперь можешь узнать сам, правда это или нет». Я смело, притом что я не мог двигаться, спросил Джорджо, правда ли это. Сказанный Джорджо сказал, что нет, что это неправда и что он никогда этого не говорил. Маэстро Агостино сказал: «Ах, висельник, или ты не знаешь, что я это знаю наверное?» Тотчас же Джорджо ушел и сказал, что нет, что это не он. Прошло малое время, и вышел герцог; тут я сразу же велел приподнять меня перед его светлостью, и он остановился. Тогда я сказал, что я явился сюда этим способом, единственно чтобы оправдаться. Герцог посмотрел на меня и удивился, что я жив; потом сказал мне, чтобы я старался быть честным человеком и выздороветь. Когда я вернулся домой, Никколо да Монте Агуто пришел меня проведать и сказал мне, что я избежал одной из гроз, величайшей на свете, которой бы он никогда не поверил; потому что он видел мою беду, написанную непреложными чернилами, и чтобы я старался поскорее поправиться, а потом уезжал себе с богом, потому что она идет из такого места и от человека, который сделал бы мне худо. И, сказав «берегись», он мне сказал: «Чем ты досадил этому мерзавцу Оттавиано де'Медичи?» Я ему сказал, что я ему никогда ничем не досаждал, а что он мне досаждал изрядно; и когда я ему рассказал весь случай с монетным двором, он мне сказал: «Уезжай с богом, как можно скорее, и будь покоен, потому что скорее, чем ты думаешь, ты увидишь себя отомщенным». Я старался поправиться; дал наставление Пьетро Паголо насчет чеканки монет; потом уехал с богом, возвращаясь в Рим, не сказав ни герцогу и никому.

LXXXVIII

Прибыв в Рим и много повеселившись с моими друзьями, я начал герцогскую медаль; и уже сделал в несколько дней голову на стали, лучшая работа, которую я когда-либо делал в этом роде, и ко мне

заходил каждый день по меньшей мере раз некий дурачина, по имени мессер Франческо Содерини¹; и, видя, что я делаю, много раз мне говорил: «Ах, изверг, так ты хочешь нам обессмертить этого бешеного тирана! А так как ты никогда еще не делал ничего прекраснее, то по этому видно, что ты наш заклятый враг, и такой уж их друг, хоть и папа, и он дважды хотели тебя без вины повесить; то были отец и сын; теперь берегись святого духа». Считали за верное, что герцог Лессандро был сыном папы Климента². Еще говорил сказанный мессер Франческо и клялся определенно, что, если бы он мог, то он бы у меня украл эти чеканы от этой медали. На что я сказал, что он хороню сделал, что сказал мне это, и что я их так буду беречь, что он никогда больше их не увидит. Я дал знать во Флоренцию, чтобы сказали Лоренцино³, чтобы он мне прислал оборот медали. Никколо да Монте Агудо, которому я написал, написал мне так, говори мне, что спрашивал об этом этого сумасшедшего меланхолического философа Лоренцино; каковой ему сказал, что днем и ночью ни о чем другом не думает и что он это сделает, как только сможет; однако он мне сказал, чтобы я не возлагал надежды на его оборот и чтобы я сделал таковой сам по собственному моему измышлению; и что, когда я его кончу, чтобы я свободно принес его герцогу, и благо мне будет. Сделав рисунок оборота, который казался мне подходящим, и со всем усердием, с каким я мог, я подвигал его вперед; но так как я еще не оправился от этой непомерной болезни, я находил великое удовольствие в том, чтобы ходить на охоту с моей пищалью вместе с этим моим дорогим Феличе, каковой ничего не умел делать в моем искусстве, но так как постоянно, и дни, и ночи, мы бывали вместе, то всякий воображал себе, что он весьма превосходен в искусстве. Поэтому, так как он был большой забавник, мы тысячу раз с ним смеялись над этой великой славой, которую он приобрел; а так как его звали Феличе Гуаданьи, то он говорил, балагурия со мной: «Мне бы следовало называться Феличе Guadagni-росо, если бы вы не помогли мне

приобрести столь великую славу, что я могу именовать себя *Guadagni-assai*»⁴. А я ему говорил, что есть два способа зарабатывать: первый, это когда зарабатываешь для себя, а второй, это когда зарабатываешь для других; так что я хвалю в нем гораздо больше этот второй способ, нежели первый, потому что он заработал мне жизнь. Эти разговоры бывали у нас много и много раз, но среди прочих однажды в крещение, когда мы с ним были возле Мальяны, и уже почти кончался день; в какой-то день я убил из своей пищали весьма изрядно уток и гусей; и так как я почти решил не стрелять больше, то засветло мы повернули поспешно к Риму. Позвав свою собаку, какую я звал по имени Барукко, не видя ее перед собой, я обернулся и увидел, что сказанная ученая собака делает стойку над некоторыми гусями, которые уселись в канаве. Поэтому я тотчас же слез; изготовив свою добрую пищаль, я очень издали по ним выстрелил и попал в двоих одной пулей; потому что я никогда не желал стрелять иначе, как одной пулей, каковой я стрелял на двести локтей и по большей части попадал; а другими способами нельзя этого сделать; так что когда я попал в обоих гусей, один почти что мертвый, а другой раненый, и так как раненый кое-как летал, то моя собака за ним погналась и принесла мне его, а другого, видя, что он погружается в канаву, я к нему бросился. Полагаясь на свои сапоги, которые были очень высокие, подавши ногу вперед, подо мной расступилась почва; хоть гуся я и достал, сапог у меня на правой ноге был весь полон воды. Подняв ногу в воздух, я слил воду, и, сев на коней, мы торопились вернуться в Рим; но так как было очень холодно, то я чувствовал, что у меня так леденеет нога, что я сказал Феличе: «Нужно помочь этой ноге, потому что я больше не вижу способа, чтобы можно было это терпеть». Добрый Феличе, ни слова не говоря, слез с коня и, набрав чертополоху и сучьев и приготовившись развести огонь, в то время как я ожидал, положив руки промеж грудных перьев этих самых гусей, и почувствовал великое тепло; поэтому я не дал разводиться

никакого огня, а наполнил этот мой сапог этими гусиными перьями и сразу же почувствовал такое облегчение, что ожил.

LXXXIX

Сев на коней, мы торопливо ехали по направлению к Риму. Когда мы выехали на некий небольшой бугор, — а уже настала ночь, — и взглянули в сторону Флоренции, то оба мы зараз издали великий крик изумления, говоря: «О боже небесный, что это за великое дело такое видно над Флоренцией?» Это было как бы большое огненное бревно, каковое искрилось и издавало превеликий блеск. Я сказал Феличе: «Наверное, завтра мы услышим, какое-нибудь великое дело случилось во Флоренции». Так приехали мы в Рим; тьма была превеликая; и когда мы подъезжали к Банки и к нашему дому, подо мной была лошадка, которая шла иноходью во всю прыть, так что, благо за день посреди улицы образовалась груда щебня и битой черепицы, то эта моя лошадка, не видя этой груды, да и я тоже, со всей своей прыти на нее взбежала, затем, спускаясь, перекинулась, словно кувырнувшись: сунула голову между ног; так что я единственно божьей силой не причинил себе ни малейшего вреда. Вынесли огни от соседей на этот великий шум, а я, который уже вскочил на ноги, так, не сядясь уже больше, побежал домой, смеясь, что избежал случая сломать себе шею. Придя домой, я там застал некоторых моих друзей, каковым, пока мы вместе ужинали, я им рассказал злоключения на охоте и эту чертовщину с огненным бревном, которую мы видели; каковые говорили: «Что-то завтра это будет значить?» Я сказал: «Какая-нибудь новость непременно случилась во Флоренции». Так приятно прошел ужин, а на следующий день вечером пришло в Рим известие о смерти герцога Лессандро¹. Поэтому многие мои знакомые приходили ко мне, говоря: «Ты верно говорил, что над Флоренцией

содеется какое-нибудь великое дело». В это время подъезжал вприпрыжку на своем мулишке этот мессер Франческо Содерини. Смеясь на ходу громко, как сумасшедший, он говорил: «Это и есть оборот медали этого преступного тирана, который тебе обещал твой Лоренцино де'Медичи». И потом добавлял: «Ты нам хотел обессмертить герцогов; мы не желаем больше герцогов!» И тут он начал издеваться надо мной, как если бы я был главой какого-нибудь из этих толков, которые делают герцогов. Тут подоспел некий Баччо Беттини, у которого была голова, как кузов, и он тоже стал надо мной издеваться насчет этих герцогов, говоря мне: «Мы их разгерцоговали, и у нас больше герцогов не будет, а ты нам хотел их сделать бессмертными»²; со многими такими нудными словами. Каковые чересчур мне надоев, я им сказал: «О дурачье! Я бедный золотых дел мастер, который служу тому, кто мне платит, а вы надо мной издеваетесь, как если бы я был глава партии; но я из-за этого не стану попрекать вас ненасытностью, безумствами и никчемностью ваших предков; но я все-таки говорю на этот ваш дурацкий смех, что не пройдет и двух или трех дней, самое большее, как у вас будет новый герцог, может быть, куда хуже этого прежнего». На следующий за тем день пришел ко мне в мастерскую этот Беттини и сказал мне: «Незачем и тратить деньги на гонцов, потому что ты все знаешь раньше, чем оно случится; какой дух тебе это говорит?» И он мне сказал, что Козимо де'Медичи, сын синьора Джованни, избран герцогом³; но что он избран на неких условиях, каковые будут его сдерживать, так чтобы он не мог порхать по-своему. Тогда довелось и мне посмеяться над ними, и я сказал: «Эти люди во Флоренции посадили юношу на изумительного коня, потом надели ему шпоры, и дали ему в руку повод на полную волю, и поставили его на прекраснейший луг, где и цветы, и плоды, и всевозможные улады; потом сказали ему, чтобы он не переступал неких назначенных пределов; теперь вы мне скажите, кто тот человек, который сможет его

удержать, когда он захочет их переступить? Нельзя давать законов тому, кто их хозяин». Так они от меня отстали и больше мне не надоедали.

XC

Занявшись своей мастерской, я продолжал кое-какие мои работы, не то чтобы большой важности, потому что я был занят восстановлением здоровья и мне казалось, что я все еще не оправился от великой болезни, которую я перенес. В это время император возвращался победоносно из тунисского похода¹, и папа послал за мной и со мной советовался, какого рода пристойный подарок я бы ему посоветовал поднести императору. На что я сказал, что самым подходящим мне казалось бы поднести его величеству золотой крест с Христом, к каковому я почти что сделал убранство, каковой был бы весьма подходящим и сделал бы превеликую честь его святейшеству и мне. Потому что я уже сделал три золотых фигурки, круглых, величиною около пяди; эти сказанные фигуры были те самые, которые я начал для чаши папы Климента²; они были изображены для Веры, Надежды и Любви; поэтому я прибавил из воска все остальное подножие сказанного креста; и, отнеся его к папе с Христом из воска и со множеством прекраснейших украшений, удовлетворил папу весьма; и прежде, чем я ушел от его святейства, мы договорились обо всем, что нужно было сделать, и затем исчислили стоимость сказанной работы. Это было вечером, в четыре часа ночи; папа велел мессер Латино Ювинале, чтобы он распорядился дать мне денег на следующее утро. Захотелось сказанному мессер Латино, у которого была изрядная сумасшедшая жилка, дать папе новый замысел, каковой исходил бы только от него; так что он расстроил все, что было налажено; и утром, когда я вздумал прийти за деньгами, сказал с этой своей скотской заносчивостью: «Наше дело быть изобретателями, а ваше — исполнителями, Прежде чем я ушел вчера от папы,

мы придумали нечто гораздо лучшее». На каковые первые же слова, не давая ему идти дальше, я сказал: «Ни вам, ни папе никогда не придумать ничего лучшего, чем то, где участвует Христос; а теперь можете говорить всю придворную чепуху, какую знаете». Не говоря ни слова больше, он ушел от меня во гневе и старался дать сказанную работу другому золотых дел мастеру; но папа не захотел и тотчас же послал за мной и сказал мне, что я хорошо сказал, но что они хотят воспользоваться молитвенничком мадонне, каковой был изумительно расписан и который обошелся кардиналу де'Медичи, чтобы его расписать, в две с лишним тысячи скудо; и он был бы подходящим, чтобы сделать подарок императрице, а что императору они потом сделают то, что предполагал я, что поистине будет достойным его подарком; но это делается потому, что мало времени, так как император ожидается в Рим через полтора месяца. К сказанной книге он хотел сделать оклад массивного золота, богато отделанный и украшенный множеством драгоценных камней. Камни стоили около шести тысяч скудо; так что, когда мне дали камни и золото, я принялся за сказанную работу и, торопя ее, в несколько дней придал ей такую красоту, что папа изумлялся и оказывал мне величайшие милости, с уговором, что эта скотина Ювинале не будет ко мне подступаться. Когда сказанная работа была у меня близка к концу, явился император³, для которого было сделано много чудесных триумфальных ворот, и, прибыв в Рим с изумительной пышностью, о каковой придется писать другим, потому что я хочу говорить только о том, что касается меня, при своем прибытии он тотчас же подарил папе алмаз, каковой он купил за двенадцать тысяч скудо. Этот алмаз, папа за мной послал и дал мне его, чтобы я ему сделал перстень по мерке пальца его святейшества; но что он хочет, чтобы я сначала принес книгу в том виде, как она есть. Принеся книгу к папе, я весьма его удовлетворил; затем он посоветовался со мной, какое извинение можно было бы подыскать перед императором, которое бы годилось, в том, что эта

сказанная работа не закончена. Тогда я сказал, что годится то извинение, что я скажу о своем недомогании, каковому его величество весьма легко поверит, видя меня таким худым и темным, как я есть. На это папа сказал, что это ему очень нравится, но чтобы я присовокупил от имени его святейшества, поднося ему книгу, что подношу ему и самого себя; и он мне сказал весь способ, как я должен держаться, слова, какие я должен сказать, каковые слова я их сказал папе, спросив его, нравится ли ему, если я скажу так. И он мне сказал: «Ты слишком хорошо скажешь, если у тебя хватит духу говорить таким же образом с императором, как ты говоришь со мной». Тогда я сказал, что с гораздо большей уверенностью у меня хватит духу говорить с императором; ибо император ходит одетым, как хожу я, и мне будет казаться, будто я говорю с человеком, который создан, как я; чего со мной не бывает, когда я говорю с его святейшеством, в каковом я вижу гораздо больше божественности как из-за церковных убранств, каковые мне являют как бы некое сияние, так и вместе с прекрасной старостью его святейшества; все это внушает мне больший трепет, чем то, что есть у императора. На эти слова папа сказал: «Ступай, мой Бенвенуто, ты молодец; сделай нам честь, и благо тебе будет».

XCI

Велел папа приготовить двух турецких коней, каковые принадлежали папе Клименту, и были они прекраснее всех, когда-либо приходивших в христианский мир. Этих двух коней папа велел мессер Дуранте¹, своему камерарию, чтобы он привел их вниз, в коридоры дворца, и там вручил их императору, сказав некои слова, которые он ему велел. Мы спустились вниз вместе; и когда мы явились перед императора, эти два коня вошли с такой величавостью и с таким изяществом по этим комнатам, что и император, и все изумлялись. Тут выступил вперед сказанный мессер Дуранте, таким неуклюжим образом

и с какими-то своими брешийскими словами, причем язык заплетался у него во рту, что ничего хуже никогда не было ни видано, ни слышано; император даже усмехнулся немного. Тем временем я уже развернул сказанную мою работу; и, видя, что император весьма благоволительно обратил глаза в мою сторону, я, тотчас же выступив вперед, сказал: «Священное величество, наш святейший папа Павел шлет эту книгу мадонны для подношения вашему величеству, каковая написана от руки и расписана рукой величайшего человека, который когда-либо занимался этим художеством; а этот богатый оклад из золота и драгоценных камней столь не закончен по причине моего недомогания; поэтому его святейшество вместе со сказанной книгой преподносит также и меня, и чтобы я последовал за вашим величеством кончать ему его книгу; и кроме того, во всем, что оно пожелало бы сделать, дотеле, пока я жив, я бы ему служил». На это император сказал: «Книге я рад, и вам также; но я хочу, чтобы вы мне ее кончили в Риме; а когда она будет кончена, а вы здоровы, привезите мне ее и приходите ко мне». Затем, беседуя со мной, он назвал меня по имени, так что я изумился, потому что не попадалось слов, где бы встречалось мое имя; и он мне сказал, что видел эту застежку для ризы папы Климента, где я сделал столько удивительных фигур. Так мы тянули разговоры целых полчаса, говоря обо многих разных вещах, все художественных и приятных; и так как мне казалось, что я вышел из этого с гораздо большей честью, чем я ожидал, то когда разговор немного замер, я откланялся и ушел. Император было слышно как сказал: «Пусть дадут Бенвенуто пятьсот золотых скудо сейчас же». Так что тот, кто их принес, спросил, кто тот папский человек, который говорил с императором. Выступил вперед мессер Дуранте, каковой у меня и похитил мои пятьсот скудо. Я пожаловался на это папе; и тот сказал, чтобы я не беспокоился, что он знает все, как я хорошо себя держал, говоря с императором, и что из этих денег я получу свою долю во всяком случае.

ХСII

Вернувшись к себе в мастерскую, я принялся с великим усердием кончать перстень к алмазу; для чего мне были присланы четверо, первейшие ювелиры Рима; потому что папе было сказано, что этот алмаз оправлен рукою первейшего ювелира в мире, в Венеции, какового звали маэстро Милиано Таргетта, и так как этот алмаз немного тонок, то это дело слишком трудное для того, чтобы делать его без великого совета. Я был рад этим четверем людям ювелирам, среди каковых был один миланец по имени Гайо. Это была самая заносчивая скотина на свете и тот, который знал меньше всех; а ему казалось, что он знает больше всех; остальные были скромнейшие и искуснейшие люди. Этот Гайо перед всеми начал говорить и сказал: «Надо сохранить Милианову блесну¹, и перед ней, Бенвенуто, ты снимешь шляпу; потому что, как подсвечивание алмаза самое прекрасное и самое трудное дело, какое имеется в ювелирном искусстве, так Милиано величайший ювелир, который когда-либо был на свете, а это самый трудный из алмазов». Тогда я сказал, что тем больше славы мне сразиться с таким искусным человеком в таком искусстве. Затем я обернулся к остальным ювелирам и сказал: «Вот я сохраняю Милианову блесну и попробую, не выйдет ли у меня лучше; если нет, то мы этой самой его опять и подцветим». Этот скотский Гайо сказал, что если я ее сделаю даже так, то он готов снять перед нею шляпу. На что я сказал: «Значит, если я ее сделаю лучше, то она заслуживает двух взмахов шляпы». «Да», говорит. И так я начал делать свои блесны. Я принялся с превеликим старанием делать блесны, каковые в своем месте я научу, как они делаются². Правда, что сказанный алмаз был самый трудный, какой когда-либо, и раньше, и потом, мне попадался, а эта Милианова блесна была мастерски сделана; однако же она меня не испугала. Навострив свой ум, я сделал так, что не то чтобы сравняться с ней, но и намного ее превзошел. Затем, увидав, что я его победил, я стал стараться победить самого себя

и по новому способу сделал блесну, которая была куда лучше той, что я было сделал. Затем я велел позвать ювелиров и, подцветив алмаз Милиановой блесной, потом хорошенько его почистив, подцветил его своей собственной. Когда я показал его ювелирам, один первейший искусник среди них, какового звали Раффаель дель Моро, взяв алмаз в руку, сказал Гайо: «Бенвенуто превзошел Милианову блесну». Гайо, которым не хотел этому верить, взяв алмаз в руку, сказал: «Бенвенуто, этот алмаз на две тысячи дукатов дороже, чем с Милиановой блесной». Тогда я сказал: «Раз я победил Милиано, посмотрим, могу ли я победить самого себя». И, попросив их, чтобы они подождали меня немного, я ушел в один свой чуланчик, и в их отсутствие перецветил алмаз, и когда я вынес его ювелирам, Гайо сразу же сказал: «Это самое изумительное из всего, что я когда-либо видел за все время своей жизни, потому что этот алмаз стоит больше восемнадцати тысяч скудо, тогда как мы только что оценивали его в двенадцать». Остальные ювелиры, обернувшись к Гайо, сказали: «Бенвенуто — слава нашего искусства, и по заслугам и перед его блеснами, и перед ним мы должны снять шляпы». Гайо тогда сказал: «Я хочу пойти сказать об этом папе и хочу, чтобы он получил тысячу золотых скудо за оправу этого алмаза». И, побежав к папе, все ему рассказал; поэтому папа три раза в этот день присылал узнать, готов ли перстень. Затем, в двадцать три часа, я понес перстень; и так как дверь для меня не запиралась, то, приподняв этак осторожно портьеру, я увидел папу вдвоем с маркизом дель Гуасто³, каковой, должно быть, понуждал его к чему-то такому, чего тот не хотел делать, и я слышал, как он сказал маркизу: «Я вам говорю — нет, потому что мне надлежит не вмешиваться, и только». Я быстро отступил назад, но папа сам меня позвал; тогда я быстро вошел и, когда я подал ему в руку этот красивый алмаз, папа отвел меня этак в сторону, так что маркиз отошел. Папа, пока рассматривал алмаз, мне сказал: «Бенвенуто, начни со мной разговор, который

казался бы важным, и не останавливайся, пока маркиз будет здесь, в этой комнате». И он начал расхаживать, и так как мне это было на руку, то это мне понравилось, и я начал беседовать с папой о том, каким образом я поступил, чтобы подцветить алмаз. Маркиз оставался стоять в стороне, прислонившись к тканой шпалере, и корчился то на одной ноге, то на другой. Тема этого разговора была такая важная, если хотеть сказать ее хорошо, что можно было бы разговаривать целых три часа. Папа находил в этом столь великое удовольствие, что оно превосходило удовольствие свое, которое у него было от маркиза, что он тут стоит. Я, который примешал к разговорам ту долю философии, какая полагается в этом искусстве, так что, когда я побеседовал таким образом около часу, маркизу надоело, и он почти что в гневе ушел; тогда папа учинил мне самые задушевные ласки, какие только можно себе представить, и сказал: «Подожди, мой Бенвенуто, и я дам тебе иную награду за твои таланты, чем та тысяча скудо, которые мне сказал Гайо, что заслуживает твой труд». И когда я ушел, папа хвалил меня в присутствии этих своих приближенных, среди каковых был этот Латино Ювинале, о котором я недавно говорил. Каковой, став моим врагом, старался со всяческим усердием мне досадить; и видя, что папа говорит обо мне с такой приятностью и силой, сказал: «Нет никакого сомнения, что Бенвенуто — человек изумительных дарований; но если даже всякий человек естественно готов больше любить своих земляков, чем других, то все ж таки следовало бы хорошенько соображать, каким образом надлежит говорить о папе. Ему довелось сказать, что папа Климент был прекраснейший государь, какой когда-либо бывал, и столь же даровитый, но только неудачливый; и говорит, что ваше святейшество как раз наоборот, и что эта тиара плачет у вас на голове, и что вы похожи на разодетый сноп соломы, и что ничего-то в вас нет, кроме удачи». Эти слова были такой силы, сказанные тем, кто отлично умел их сказать, что папа им поверил. Я же не только чтобы их сказать, но и в разум мне

ничего подобного никогда не приходило. Если бы только папа с честью мог, то он досадил бы мне величайшим образом; но как человек величайшего ума, он сделал вид, что смеется этому; тем не менее он затаил в себе такую великую ненависть ко мне, что это было нечто неопишное, и я начал это замечать, потому что я уже не входил в комнаты с тою легкостью, как прежде, а даже с превеликим затруднением. А так как я уже много лет бывал при этих самых дворах, то я догадался, что кто-то такой оказал мне скверную услугу; и когда я ловко расспросил, то мне все рассказали, но только мне не сказали, кто это был; а я не мог догадаться, кто бы это сказал, потому что, если бы я это знал, я бы отомстил поверх головы.

ХСШ

Я был занят тем, что кончал свою книжку; и, когда ее я кончил, я отнес ее папе, каковой поистине не мог удержаться от того, чтобы не похвалить мне ее прелестью. На что я сказал, чтобы он послал меня отвезти ее, как он мне обещал. Папа мне ответил, что он сделает так, как сочтет за благо сделать, а что я сделал то, что полагалось мне. И отдал распоряжение, чтобы мне хорошо заплатили. На этих работах за два с небольшим месяца я заработал пятьсот скудо; за алмаз мне заплатили в размере полутора скудо, и только; все остальное было мне дано за отделку этой книжки, каковая отделка заслуживала больше тысячи, потому что это была работа, богатая множеством фигур, и листьев, и финифти, и камней. Я взял то, что мог получить, и вознамерился уехать себе с богом из Рима. Тем временем папа послал сказанную книжку императору с одним своим внуком, по имени синьоре Сфорца, каковой когда преподнес книгу императору, император был ей весьма рад и тотчас же спросил про меня. Молоденький синьоре Сфорца, наученный, сказал, что, так как я болен, то я не поехал. Все это мне пересказали. Между тем я снарядился, чтобы ехать во Францию,

и хотел ехать совсем один; но не мог, потому что один молодой юноша, который у меня жил, какого звали Асканио; этот юноша был возраста очень нежного и был самый удивительный слуга, который когда-либо бывал на свете; и когда я его взял, он ушел от одного своего хозяина, которого звали Франческо, который был испанец и золотых дел мастер. Я, которому не хотелось брать этого юношу, чтобы не затевать ссоры со сказанным испанцем, сказал Асканио: «Не хочу тебя, чтобы не обижать твоего хозяина». Он сделал так, что его хозяин написал мне записку, чтобы я свободно его брал. Так он жил у меня много месяцев; и так как он явился худой и бледный, то мы его звали старичком; да я и думал, что это старичок, потому что он служил так хорошо; и так как он был такой умный, то казалось невозможным, чтобы в тринадцать лет, — как он говорил, что ему было, — могло быть столько разума. Итак, чтобы вернуться: он в эти несколько месяцев нагулял тело и, оправившись от лишений, стал самым красивым юношей в Риме; и так как он был такой хороший слуга, как я сказал, а также потому, что он удивительно успевал в искусстве, я возымел к нему превеликую любовь, как к сыну, и одевал его, как если бы он был мне сыном. Когда юноша увидел, что он оправился, он счел, что ему очень повезло, что он попал мне в руки. Он часто ходил благодарить своего хозяина, который был причиной его великого благополучия; а так как у этого его хозяина жена была красивая молодуха, то она говорила: «Мышонок, что ты сделал, чтобы стать таким красивым?» Так они его звали, когда он у них жил. Асканио ей ответил: «Мадонна Франческа, это мой хозяин сделал меня таким красивым и гораздо более добрым». Эта ядовитенькая очень рассердилась, что Асканио так сказал; и так как она слыла женщиной бесстыдной, то она сумела приласкать этого юношу, быть может, больше, чем допускает скромность; поэтому я замечал, что этот юноша ходил чаще обычного повиждать свою хозяйку. Случилось, что однажды он люто надавал колотушек одному ученику в мастерской,

каковой, когда я пришел, потому что я уходил, то сказанный мальчик, плача, жаловался, говоря мне, что Асканио прибил его без всякой причины. На какие слова я сказал Асканио: «С причиной или без причины, но только чтобы ты у меня никого больше не бил в моем доме, не то увидишь, как умею бить я». Он стал мне отвечать; тогда я вдруг накинулся на него и надавал ему кулаками и пинками самых жестоких колотушек, которые он когда-либо испытывал. Как только ему удалось уйти из моих рук, он без плаща и шапки выбежал вон, и целых два дня я так и не знал, где он, да и не старался узнать; но только, на третий день, ко мне зашел поговорить один испанский дворянин, какого звали дон Дьего. Это был самый щедрый человек, которого я когда-либо знал на свете. Я ему делал и продолжал делать кое-какие работы, так что он был большим моим другом. Он мне сказал, что Асканио вернулся к прежнему своему хозяину и что если это мне удобно, то чтобы я отдал ему его шапку и плащ, которые я ему подарил. На эти слова я сказал, что Франческо повел себя дурно, и что он поступил, как человек дурно воспитанный; потому что если бы он мне сразу сказал, как только Асканио к нему ушел, что он у него в доме, то я бы весьма охотно его отпустил; но так как он держал его у себя два дня и даже не дал мне об этом знать, то я не желаю, чтобы он у него жил; и пусть он устроится так, чтобы я ни в каком случае не видел его у него в доме. Дон Дьего это передал; на что сказанный Франческо стал над этим потешаться. На следующее другое утро я увидел Асканио, который выделявал какие-то проволочные безделушки рядом со сказанным хозяином. Когда я проходил мимо, сказанный Асканио поклонился мне, а его хозяин меня чуть ли не высмеял. Он послал мне сказать через этого дворянина, дон Дьего, что, если это мне удобно, то чтобы я вернул Асканио платье, которое я ему подарил; если же нет, то ему все равно, и что у Асканио недостатка в платье не будет. При этих словах я обратился к дон Дьего и сказал: «Синьор дон Дьего, во всех ваших делах

я никого не видал щедрее и порядочнее вас; но этот Франческо совершенно обратное тому, что вы есть, потому что он — бесчестный нехристь. Скажите ему так от моего имени, что если, пока не зазвонят к вечерне, он сам не приведет мне Асканио сюда в мою мастерскую, то я его убью во что бы то ни стало, и скажите Асканио, что если он не уйдет оттуда в этот же час, уготованный его хозяину, то я сделаю с ним не многим меньше». На эти слова этот синьор дон Дьего ничего мне не ответил, но ушел и напустил на сказанного Франческо такого страху, что тот не знал, что с собой и делать. Тем временем Асканио сходил за своим отцом, каковой приехал в Рим из Тальякоцци, откуда он был; и, услышав про этот переполох, он точно так же советовал Франческо, что тот должен отвести Асканио ко мне. Франческо говорил Асканио: «Иди туда сам, и твой отец пойдет с тобой». Дон Дьего говорил: «Франческо, я предвижу какой-нибудь большой скандал; ты лучше моего знаешь, кто такой Бенвенуто; веди его смело, а я пойду с тобой». Я, который приготовился, расхаживал по мастерской, поджидая звона к вечерне, расположившись учинить одно из самых гибельных дел, какие я за время своей жизни когда-либо учинял. Тут подошли дон Дьего, Франческо, и Асканио, и отец, с которым я не был знаком. Когда Асканио вошел, — а я на них смотрел на всех глазом гнева, — Франческо, цветом мертвенный, сказал: «Вот я вам привел Асканио, какового я держал у себя, не думая вас обидеть». Асканио почтительно сказал: «Хозяин мой, простите меня, я здесь затем, чтобы делать все, что вы мне прикажете». Тогда я сказал: «Ты пришел, чтобы доработать срок, который ты мне обещал?» Он сказал да, и чтобы никогда уже больше от меня не уходить. Тогда я обернулся и сказал тому ученику, которого он прибил, чтобы он подал ему этот сверток с платьем; а ему сказал: «Вот все то платье, что я тебе подарил, и с ним получай свободу и иди, куда хочешь». Дон Дьего стоял, изумленный этим, потому что он ожидал совсем другого. Между тем Асканио вместе с отцом упрасивал меня, что я должен его

простить и взять к себе обратно. Когда я спросил, кто это говорит за него, он мне сказал, что это его отец; каковому, после многих просьб, я сказал: «И так как вы его отец, то ради вас я беру его обратно».

XCIV

Решив, как я сказал немного раньше, ехать во Францию, как потому, что я увидел, что папа обо мне уже не того мнения, что прежде, потому что злые языки замутили мне мою великую службу, и из страха, чтобы те, кто мог, не сделали мне хуже; поэтому я расположился поискать другую страну, чтобы посмотреть, не найду ли я лучшей удачи, и охотно уезжал себе с богом, один. Решив, однажды вечером, ехать наутро, я сказал этому верному Феличе, чтобы он пользовался всем моим добром до моего возвращения; а если бы случилось, что я не вернусь, то я хотел, чтобы все было его. И так как у меня был подмастерье перуджинец, каковой мне помогал кончать эти работы для папы, то этого я отпустил, заплатив ему за его труды. Каковой мне сказал, что он меня просит, чтобы я ему позволил ехать со мной, и что он поедет на свой счет; что если случится, что я останусь работать у французского короля, то все же лучше будет, если у меня будут с собой свои же итальянцы и особенно такие люди, которые я знаю, что они могли бы мне помочь. Он так меня упрашивал, что я согласился взять его с собой, тем способом, как он говорил. Асканио, находясь точно так же в присутствии этого разговора, сказал, чуть не плача: «Когда вы взяли меня к себе обратно, я сказал, что хочу остаться у вас на всю жизнь, и так и намерен сделать». Я ему сказал, что я этого не хочу ни в коем случае. Бедный юноша стал собираться, чтобы идти за мной пешком. Видя, что он принял такое решение, я взял лошадь также и для него и, поместив ей один мой чемоданчик на круп, нагрузил себя гораздо большими причинадами, чем то бы сделал; и, выехав из Рима¹, поехал

во Флоренцию, а из Флоренции в Болонью, а из Болоньи в Венецию, а из Венеции поехал в Падую; где меня из гостиницы взял к себе этот дорогой мой друг, которого звали Альбертаччо дель Бене. На другой затем день я пошел поцеловать руки мессер Пьетро Бембо², каковой еще не был кардиналом. Сказанный мессер Пьетро учинил мне самые беспредельные ласки, какие только можно учинить на свете человеку; потом обернулся к Альбертаччо и сказал: «Я хочу, чтобы Бенвенуто остался здесь со всеми своими людьми, хотя бы у него их было сто; поэтому решайтесь, если вы тоже хотите Бенвенуто, остаться здесь у меня, иначе я вам не хочу его отдавать». И так я остался услаждаться у этого даровитейшего синьора. Он приготовил мне комнату, которая была бы слишком почетна и для кардинала, и постоянно хотел, чтобы я ел рядом с его милостью. Затем подошел со смиреннейшими разговорами, показывая мне, что имел бы желание, чтобы я его изобразил; и я, который ничего другого на свете и не желал, приготовив себе некий белейший гипс в коробочке, начал его; и первый день я работал два часа кряду, и набросал эту замечательную голову настолько удачно, что его милость остался поражен; и так как тот, кто был превелик в своих науках и в поэзии в превосходной степени, но в этом моем художестве его милость не понимал ничего решительно, то поэтому ему казалось, что я ее кончил, в то время как я ее едва только начал; так что я никак не мог ему объяснить, что она требует много времени, чтобы быть сделанной хорошо. Наконец, я решил сделать ее, насколько могу лучше, в тот срок, какой она заслуживает; а так как он носил бороду короткой, по-венециански, то мне стоило большого труда сделать голову, которая бы меня удовлетворяла. Все ж таки я ее кончил и считал, что сделал лучшую работу, какую когда-либо делал, в том, что относится к моему искусству. Поэтому я увидел его растерянным, потому что он думал, что если я ее сделал в воске в два часа, то должен в десять часов сделать ее на стали, Когда он затем увидал, что я и

в двести часов не мог сделать ее в воске и прошу отпустить меня, чтобы ехать во Францию, то поэтому он весьма расстроился и просил меня, чтобы я ему сделал по крайней мере оборот к этой его медали, и это был конь Пегас посреди миртовой гирлянды. Его я сделал приблизительно часа в три времени, и он у меня вышел очень удачно; и, будучи весьма удовлетворен, он сказал: «Этот конь кажется мне, однако же, делом в десять раз большим, чем сделать головку, где вы столько бились; я не могу понять, в чем тут трудность». Все же он говорил мне и просил меня, что я должен ему ее сделать на стали, говоря мне: «Пожалуйста, сделайте мне ее, потому что вы мне ее сделаете очень быстро, если захотите». Я ему обещал, что здесь я ее не хочу делать, но там, где я остановлюсь работать, я ему ее сделаю непременно³. Пока мы вели этот разговор, я пошел при-торговать трех коней, чтобы ехать во Францию; а он велел тайно следить за мной, потому что имел превеликий вес в Падуе; так что, когда я хотел заплатить за коней, каких-я сторговал за пятьдесят дукатов, то хозяин этих лошадей мне сказал: «Даровитый человек, я вам дарю этих трех коней». На что я ответил: «Это не ты мне их даришь, а от того, кто мне их дарит, я их не хочу, потому что я ему ничего не мог дать от моих трудов». Этот добрый человек мне сказал, что, если я не возьму этих коней, я других коней в Падуе не достану и буду вынужден идти пешком. Тогда я пошел к великолепному мессер Пьетро, который делал вид, будто ничего не знает, и только ласкал меня, говоря, чтобы я оставался в Падуе. Я, который вовсе этого делать не хотел и расположился ехать во что бы то ни стало, мне пришлось поневоле принять этих трех коней; и с ними я уехал.

ХСV

Я направил путь через землю Серых¹, потому что другой путь не был безопасен ввиду войн. Мы миновали горы Альбу и Берлину;² это было восьмого дня

мая, и снег был превеликий. С превеликой опасностью для жизни нашей миновали мы эти две горы. Когда мы их миновали, мы остановились в одном городе, каковой, если я верно помню, называется Вальдиста;³ здесь мы заночевали. Ночью туда приехал флорентийский гонец, какового звали Бузбакка. Этого гонца я слышал, что поминали, как человека верного и искусного в своем деле, и я не знал, что он упал через свои мошенничества. Когда он увидел меня в гостинице, он окликнул меня по имени и сказал мне, что едет по важным делам в Лион и чтобы я, пожалуйста, ссудил его деньгами на дорогу. На это я сказал, что у меня нет денег, чтобы я мог его ссудить, но что если он хочет ехать со мною вместе, то я буду за него платить вплоть до Лиона. Этот мошенник плакал и всячески подъезжал ко мне, говоря мне, что если для дел важных, национальных у бедного гонца не хватило денег, то такой человек, как вы, обязан ему помочь; и кроме того, сказал мне, что везет вещи величайшей важности от мессер Филиппо Строщи;⁴ и так как у него был с собой чехол от стакана, покрытый кожей, то он сказал мне на ухо, что в этом чехле — серебряный стакан, а что в этом стакане — драгоценных камней на много тысяч дукатов и что там письма величайшей важности, каковые посылает мессер Филиппо Строщи. На это я ему сказал, чтобы он позволил мне спрятать драгоценные камни на нем самом, каковые подвергнутся меньшей опасности, чем если везти их в этом стакане; а чтобы стакан он отдал мне, каковой мог стоить около десяти скудо, а я ему услугу двадцатью пятью. На эти слова гонец сказал, что он поедет со мной, так как не может сделать иначе, потому что если он отдаст этот стакан, то ему не будет чести. На этом мы и покончили; и, тронувшись утром, приехали к озеру, что между Вальдистате и Вессой;⁵ озеро это длиною в пятнадцать миль, если ехать на Вессу. Увидев лодки этого озера, я испугался; потому что сказанные лодки — еловые, не очень большие и не очень толстые, и они не сколочены и даже не просмолены; и если бы я не увидел, как в другую та-

кую же село четверо немецких дворян со своими четырьмя лошадьми, я бы ни за что не сел в эту; я бы даже скорее повернул обратно; но я решил, видя, какое они выделывают зверство, что эти немецкие воды не топят, как наши итальянские. Эти мои двое юношей мне все ж таки говорили: «Бенвенуто, ведь это опасное дело садиться в нее с четырьмя лошадьми». На что я им говорил: «Разве вы не видите, трусы, что эти четверо дворян сели у нас на глазах и плывут себе, смеясь? Если бы это было видно, так же, как это вода, то я бы сказал, что они плывут весело, чтобы в нем потонуть; но так как это вода, то я отлично знаю, что им нет радости в ней тонуть, так же, как и нам». Это озеро было длиной пятнадцать миль, а шириной около трех; по одну сторону была гора, превысокая и пещеристая, по другую было плоско и травянисто. Когда мы были посередине миль в четырех, сказанное озеро начало бурлить, так что те, которые гребли, попросили нашей помощи, чтобы мы им помогли грести; так мы и делали некоторое время. Я указывал и говорил, чтобы они нас высадили на тот берег; они говорили, что это невозможно, потому что там нет воды, чтобы нести лодку, и что там есть такие мели, о каковые лодка сразу же разобьется и мы все потонем, и они все просили, чтобы мы им помогли. Лодочники кричали друг другу, прося помощи. Увидев, что они перепуганы, и так как лошадь у меня была умная, я накинул ей повод на шею и взял часть недоуздки в левую руку. Лошадь, которая была, как они бывают, с некоторым разумением, она как будто поняла, что я хочу сделать, потому что, повернув ей голову к этой свежей траве, я хотел, чтобы, пlying, она и меня потащила с собой. Тут нашла такая большая волна с этого озера, что она покрыла лодку. Асканио, крича: «Милость божия, отец мой, помогите мне!» хотел броситься ко мне; поэтому я взялся за свой кинжальчик и сказал ему, чтобы они сделали так, как я им показал, потому что лошади спасут им жизнь точно так же, как я надеюсь и сам уберечь

ее этим путем; а если он еще раз ко мне бросится, то я его убью. Так мы плыли дальше еще несколько миль с этой смертельной опасностью.

XCVI

Когда мы были у середины озера, мы увидели маленькую равнинку, где можно было пристать, и на эту равнинку я видел, как вышли те четверо немецких дворян. Когда мы хотели выйти, лодочник не хотел ни за что. Тогда я сказал своим юношам: «Теперь время показать, кто мы такие; так что беритесь за шпаги, и заставим их силой нас высадить». Так мы и сделали с великим затруднением, потому что те учинили превеликое сопротивление. Когда мы все-таки ступили на землю, надо было взбираться две мили вверх по этой горе, что было труднее, чем взбираться по приставной лестнице. Я был весь облачен в кольчугу, в плотных сапогах и с пищалью в руке, и дождь лил, сколько бог умел послать. Эти черти, немецкие дворяне, с этими своими лошадами в поводу, вытворяли чудеса, потому что наши лошади не годились на этот предмет, и мы околевали от усталости, заставляя их взбираться на эту трудную гору. Когда мы поднялись кусок, лошадь Асканио, а это была чудеснейшая венгерская лошадь; она была чуточку впереди Бузбакки, гонца, и сказанный Асканио дал ему свое копьё, чтобы тот ему помог его нести; случилось, что на скверном месте эта лошадь поскользнулась и так поехала, шатаясь, не в силах себе помочь, что наткнулась на острие копья этого мошенника-гонца, который не сумел его отвести; и так как у лошади шея оказалась проткнутой насквозь, то этот другой мой подмастерье, желая помочь тоже и своей лошади, которая была вороная лошадь, поскользнулся к озеру и удержался за кустик, каковой был совсем жиденький. На этой лошади было две суммы, в каковых были внутри все мои деньги и то, что у меня было ценного; я сказал юноше, чтобы он спасал свою жизнь, а лошадь пусть идет к черту; падение было больше чем с милю, и шло нависая, и падало в озеро. Как раз под

этим местом остановились эти наши лодочники; так что, если бы лошадь упала, то она бы угодила как раз на них. Я был впереди всех, и мы стояли и смотрели, как кувыркается лошадь, каковая казалось, что идет к верной гибели. При этом я говорил моим юношам: «Не беспокойтесь ни о чем, будем спасаться сами и возблагодарим бога за все; мне только жаль этого бедного человека Бузбакку, который привязал свой стакан и свои драгоценные камни, которые стоят несколько тысяч дукатов, этой лошади к луке, думая, что так надежнее; а моих — всего несколько сот скудо, и я не боюсь ничего на свете, была бы со мной милость божия». Тогда Бузбакка сказал: «Мне жаль не своего, а мне жаль вашего». Я ему сказал: «Почему это тебе жаль моего малого и не жаль своего многого?» Бузбакка тогда сказал: «Скажу вам во имя божие; в этих случаях и в положении, в каком мы находимся, надо говорить правду. Я знаю, что ваши-то — скудо и настоящие; а этот мой футляр от стакана, где я сказал, что столько драгоценных камней и столько всяких врак, весь полон икры». Услышав это, я не мог сделать так, чтобы не рассмеяться; эти мои юноши рассмеялись; он плакал. Эта лошадь себе помогла, когда мы уже считали ее пропавшей. И вот, смеясь, мы собрались с силами и снова двинулись в гору. Эти четверо немецких дворян, которые достигли раньше нас вершины этой крутой горы, прислали нам несколько человек, каковые нам помогли; так что мы достигли этого дичайшего пристанища; где, будучи мокры, утомлены и голодны, мы были наиприветливейше приняты, и здесь мы пообсушились, отдохнули, утолили голод, и некоими травами была врачевана раненая лошадь; и нам был показан этот род трав, каковыми были полны изгороди. И нам было сказано, что если мы все время будем держать рану набитою этими травами, то лошадь не только что выздоровеет, но будет нам служить, как если бы с ней ничего и не случилось; так мы и делали. Поблагодарив дворян и очень хорошо подкрепившись, мы оттуда уехали и двинулись вперед, благодаря бога, что он нас спас от этой великой опасности.

ХСVII

Прибыли мы в один город за Вессой; здесь мы остановились на ночь, где слышали во все часы ночи сто-рожа, который пел весьма приятным образом; и так как все эти дома в этих городах из елового дерева, то сто-рож ничего другого не говорил, как только чтобы смотре-ли за огнем. Бузбакка, который напугался за день, всякий час, как тот пел, Бузбакка кричал во сне, говоря: «О боже мой, я тону!» И это был испуг миновавшего дня; и добавить к этому, что вечером он напился, пото-му что желал перепить в этот вечер всех немцев, какие там были; и то он говорил: «Горю!» — то: «Тону!» Иной раз ему казалось, будто он в аду и его мучат с этой ик-рой на шее. Эта ночь была такая забавная, что все наши горести обратились в смех. Наутро, встав при пре-краснейшей погоде, мы поехали обедать в веселый го-род, называемый Лакка¹. Здесь нас удивительно накормили; потом мы взяли проводников, каковые возвра-щались в некий город, называемый Сурик². Проводник, который вел, ехал по озерной плотине, и другого пути не было; а эта плотина и сама была покрыта водой, так что дурак-проводник поскользнулся, и лошадь, и он по-шли под воду. Я, который был как раз за проводником, остановив коня, стоял и смотрел, как этот дурак выле-зает из воды; а он, как ни в чем не бывало, снова запел и махал мне, чтобы я ехал дальше. Я бросился вправо и поломал какие-то изгороди; так я повел за собой моих юношей и Бузбакку. Проводник кричал, говоря мне, од-нако ж, по-немецки, что если эти люди меня увидят, то они меня убьют. Мы поехали вперед и избегли и этой грозы. Прибыли мы в Сурик, город изумительный, чи-стенький, как ювелирное изделие. Здесь мы отдыхали целый день; затем, однажды утром, спозаранку выеха-ли, попали в другой красивый город, называемый Солу-торно³; оттуда попали в Узанну⁴, из Узанны в Женеву, из Женевы в Лион, все время распевая и смеясь. В Лио-не я отдыхал четыре дня; много веселился с некото-рыми моими друзьями; мне возместили расходы, кото-рые я произвел за Бузбакку. Затем на пятый день я на-правил путь к Парижу. Это было приятное путешествие,

кроме того, что, когда мы прибыли в Палиссу⁵, шайка разбойников хотела нас убить, и мы с немалой доблестью спаслись. Затем мы ехали до самого Парижа без всякой как есть помехи; все время распевая и смеясь, мы благополучно прибыли.

ХСVIII

Отдохнув в Париже немного, я пошел навестить живописца Россо¹, каковой состоял на службе у короля. Этот Россо, я думал, что он величайший друг, какой у меня есть на свете, потому что я делал ему в Риме величайшие одолжения, какие человек может делать человеку; и так как эти самые одолжения могут быть сказаны в кратких словах, то я не хочу преминуть их сказать, показывая, сколь бесстыдна неблагодарность. Из-за своего злого языка, будучи в Риме, он наговорил так много худого о работах Раффаэлло да Урбино, что его ученики хотели его убить во что бы то ни стало; от этого я его спас, охраняя его дни и ночи с превеликими усилиями. И еще, так как он плохо говорил о маэстро Антонио да Сан Галло², весьма превосходном зодчем, тот велел у него отнять работу, которую он ему достал у мессер Аньоло да Чези; затем он начал так против него действовать, что довел его до того, что тот умирал с голоду; поэтому я ссудил его многими десятками скудо, чтобы жить. И, не получив их еще обратно, зная, что он на королевской службе, я пошел, как я сказал, его навестить; я не столько думал о том, чтобы он мне вернул мои деньги, но думал, что он мне окажет помощь и покровительство, чтобы устроить меня на службу к этому великому королю. Когда он меня увидел, он сразу же смутился и сказал: «Бенвенуто, ты зря потратился на такое длинное путешествие, особенно в такое время, когда заняты войной, а не безделками наших работ». Тогда я сказал, что я привез с собой столько денег, что могу вернуться в Рим тем же способом, каким приехал в Париж, и что это не оплата за труды, которые я для него понес, и что я начинаю верить тому, что мне говорил про него маэстро Антонио да Сан Галло. Так как

он хотел обратить все это в шутку, заметив свое негодяйство, то я ему показал платежный приказ на пятьсот скудо на Ричхардо дель Бене. Этот несчастный все-таки стыдился, и так как он хотел меня удержать чуть ли не силой, то я посмеялся над ним и ушел прочь вместе с одним живописцем, который тут же присутствовал. Этого звали Згуаццелла³; он тоже был флорентинец; я переехал жить к нему в дом, с тремя лошадьми и тремя слугами, за столько-то в неделю. Он отлично меня содержал, а я еще лучше ему платил. Затем я стал искать, как бы поговорить с королем, каковому меня и представил некий мессер Джулиано Буонаккорси, его казначей. Ждал я этого долго; потому что я не знал, что Россо прилагает всяческое старание, чтобы я не говорил с королем. Когда сказанный мессер Джованни⁴ это заметил, он тотчас же повез меня в Фонтана Билио⁵ и провел меня к королю, у какового я имел целый час милостивейшей аудиенции; и так как король собирался ехать в Лион, то он сказал сказанному мессер Джованни, чтобы тот взял меня с собой и что в дороге поговорят о кое-каких прекрасных работах, которые его величество намеревался заказать. Так я и поехал вместе с придворной свитой и в дороге вошел в великую службу к кардиналу феррарскому⁶, у которого тогда еще не было шляпы. И так как каждый вечер я имел превеликие разговоры со сказанным кардиналом, и его высокопреосвященство говорил, что я должен остаться в Лионе в одном его аббатстве и что там я могу жить себе до тех пор, пока король не вернется с войны, что сам он едет в Гранополи⁷, а в его лионском аббатстве у меня будут все удобства. Когда мы приехали в Лион, я захворал, а этот мой юноша Асканио схватил перемежную лихорадку; так что мне опостыли и французы, и их двор, и мне не терпелось вернуться в Рим. Увидев, что я расположен вернуться в Рим, кардинал дал мне столько денег, чтобы я сделал ему в Риме серебряный таз и кувшин. Так мы поехали обратно в Рим, на отличных лошадях, и направляясь через Санпионские горы⁸ и соединившись с некоими французами, с каковыми мы и ехали кусок, Асканио со своей перемежной лихорадкой, а я с легонькой горячкой, каковая, казалось, ни на

миг меня не оставляла; и я так раздражил себе желудок, что я провел четыре месяца и не думаю, чтобы мне случилось съесть целый хлеб за неделю, и я очень желал доехать до Италии, желая умереть в Италии, а не во Франции.

XCIX

Когда мы миновали горы сказанного Санпионе, увидели мы реку около места, называемого Индеведро¹. Эта река была очень широка, весьма глубока, и на ней был мостик, длинный и узкий, без перил. Так как утром был очень густой иней, то, подъехав к мосту, — а я был впереди всех, — и увидав, что он очень опасен, я велел моим юношам и слугам, чтобы они спешились, ведя своих лошадей в поводу. Так я миновал сказанный мост весьма счастливо, и ехал себе, беседуя с одним из этих двух французов, каковой был дворянин; а другой был нотариус, каковой остался немного позади и подшучивал над этим французским дворянином и надо мной, что из страха ни перед чем мы пожелали это неудобство идти пешком. К каковому я обернулся, увидев его посередине моста, и попросил его, чтобы он ехал тихо, потому что он был в месте весьма опасном. Этот человек, который не мог изменить своей французской природе, сказал мне по-французски, что я человек малодушный и что тут нет ровно никакой опасности. Пока он говорил эти слова, он захотел подбоднуть немного лошадь, ввиду чего лошадь вдруг соскользнула с моста прочь и, ногами к небу, упала рядом с громаднейшим камнем. И так как бог часто милостив к безумцам, то это животное вместе с другим животным и его лошадыю угодили в превеликий омут, где они и пошли к низу, и он, и лошадь. Как только я это увидел, я с превеликой поспешностью бросился бегом и с великой трудностью спрыгнул на этот камень и, свесившись с него, ухватился за полу балахона, который был на этом человеке, и за эту полу вытащил его наверх, а то он был еще покрыт водой; и так как он выпил много воды и еще немного и утонул бы, то, увидев его вне опасности, я порадовался за него, что спас ему жизнь. Поэтому он

мне ответил по-французски и сказал мне, что я ровно ничего не сделал; что важны его бумаги, которые стоят много десятков скудо; и казалось, что эти слова он мне их говорит во гневе, весь мокрый и бормочущий. Тогда я повернулся к неким проводникам, которые у нас были, и велел, чтобы они помогли этому животному и что я им заплачу. Один из этих проводников доблестно и с большим трудом принялся ему помогать и выудил ему его бумаги, так что он ничего не потерял; а другой проводник так и не захотел нести никакого труда, чтобы ему помочь. Когда мы затем приехали в это выше-сказанное место, — а мы устроили общий кошелек, из какого полагалось расходовать мне, — то, когда мы пообедали, я дал немного денег из общего кошелька тому проводнику, который помогал тащить его из воды; на это он мне говорил, что эти деньги я бы ему дал из своих, потому что он не намерен давать ему ничего, кроме того, о чем мы уговорились, за то, что он исполнял обязанность проводника. На это я ему сказал много поносных слов. Тогда ко мне подошел второй проводник, который не нес трудов и желал, однако, чтобы я заплатил также и ему; и так как я сказал: «Но ведь он заслуживает награды, потому что нес крест»; то он мне ответил, что скоро покажет мне крест, перед которым я заплачу. Я ему сказал, что я зажгу такую свечу перед этим крестом, что надеюсь, что ему первому придется заплакать. А так как это место на границе между венецианцами и немцами, то он побежал за народом и пришел с ним, с большой рогатиной впереди. Я, который был на своем добром коне, опустил кремьень у своей аркебузы; обернувшись к товарищам, я сказал: «Первым я убиваю этого; а вы, остальные, исполняйте ваш долг, потому что это — подорожные убийцы и ухватились за этот маленький случай только для того, чтобы нас убить». Этот хозяин, у которого мы поели, подозревал одного из этих главарей, который был старик, и просил его, чтобы он предотвратил такое неудобство, говоря ему: «Это прехрабрый молодой человек, и, если вы даже изрежете его в куски, он вот сколько ваших убьет и, может быть, еще и улизнет у вас из рук, наделав все

то зло, которое он наделает». Дело улеглось, и этот старый их глава мне сказал: «Ступай с миром, потому что ты все равно не сварил бы каши, даже если бы у тебя было сто человек с собой». Я, который знал, что он говорит правду, и уже решился, и считал себя мертвым, — не слыша больше, чтобы мне говорили оскорбительные слова, потряс головой и сказал: «Я бы сделал псе, что могу, чтобы показать, что я живая тварь и мужчина». И, двинувшись в путь, вечером, на первом привале, мы подсчитали кошелек, и я отделился от этого скотины француза, оставшись очень дружен с этим другим, который был дворянин; и с моими тремя лошадьми мы одни поехали в Феррару. Когда я спешившись, я пошел к герцогскому двору, чтобы учинить приветствие его светлости, дабы я мог уехать наутро в Санта Мариа да Лорето². Я прождал до двух часов ночи, и тогда явился герцог; я поцеловал ему руки; он оказал мне великий прием и велел, чтобы мне дали воды для рук. Поэтому я шуточно сказал: «Светлейший государь, вот уже четыре месяца, как я не ел столько, чтобы можно было поверить, что такой малостью можно жить; зная поэтому, что я не мог бы подкрепиться королевскими брашнами вашего стола, я просто останусь побеседовать с вами, пока ваша светлость будете ужинать, и вы, и я в одно и то же время получим больше удовольствия, чем если бы я с вами ужинал». Так мы завязали разговор и пробыли до пяти часов. В пять часов я затем откланялся и, придя к себе в гостиницу, нашел изумительно накрытый стол, потому что герцог прислал мне в подарок гостинцы со своего блюда с очень хорошим вином; и так как я таким образом прождал два с лишним часа против моего часа еды, то я поел с превеликим аппетитом, и это было первый раз, что после четырех месяцев я мог есть.

С

Выехав утром, я поехал в Санта Мариа да Лорето, а оттуда, сотворив свои молитвы, поехал в Рим;¹ где я нашел моего вернейшего Феличе, каковому я и

оставил мастерскую со всем ее скарбом и причиндалами и открыл другую, рядом с Сугерелло, душмяником, гораздо больше и просторнее; и думал, что этот великий король Франциск не вспомнит обо мне. Поэтому я набрал много заказов от разных синьоров, а тем временем работал над тем кувшином и тазом, которые я взялся сделать кардиналу феррарскому. У меня было много работников и много больших заказов, золотых и серебряных. Я уговорился с этим моим перуджийским работником, который сам записал все деньги, которые на его долю были истрачены, каковые Деньги были истрачены на его одежду и на многое другое; вместе с путевыми издержками их было около семидесяти скудо; из коих мы условились, что он будет списывать по три скудо в месяц; потому что больше восьми скудо я давал ему зарабатывать. По прошествии двух месяцев этот мошенник ушел себе с богом из моей мастерской и оставил меня заваленным множеством заказов, и сказал, что ничего больше не желает мне давать. По этой причине мне посоветовали превозмочь его судебным путем, потому что я решил в душе отрезать ему руку; и всенепременнейше сделал бы это, но мои друзья мне говорили, что нехорошо, чтобы я так делал, ибо я лишусь своих денег и, может быть, еще раз Рима, благо бьешь не по уговору, а что с этой запиской, которая у меня есть его рукой, я могу тотчас же велеть его схватить. Я последовал совету, но хотел более свободно повести это дело. Я действительно вчинил иск у камерального аудитора и такой выиграл; и по силе его, на что ушло несколько месяцев, я затем посадил его в темницу. Мастерская у меня оказалась загружена превеликими заказами, и среди прочих все украшения из золота и драгоценных камней супруги синьора Джеролимо Орсино, отца синьора Паоло, ныне зятя нашего герцога Козимо². Эти работы были очень близки к концу, и однако у меня все нарастали наиважнейшие. У меня было восемь работников, и с ними вместе, и ради чести, и ради пользы, я работал день и ночь.

С

В то время как я так усиленно продолжал свои предприятия, мне пришло письмо, посланное мне спешно кардиналом феррарским, каковое гласило таким образом:

«Бенвенуто, дорогой друг наш. В минувшие дни этот великий христианнейший король вспомнил о тебе, говоря, что желает иметь тебя на своей службе. На что я ответил, что ты мне обещал, что всякий раз, как я пошлю за тобой для службы его величеству, ты тотчас же приедешь. На эти слова его величество сказал: «Я хочу, чтобы ему было послано удобство, дабы он мог приехать, как того заслуживает такой человек, как он»; и тотчас же приказал своему адмиралу, чтобы он велел казнохранителю выплатить мне тысячу золотых скудо. В присутствии этого разговора был кардинал де'Гадди, каковой тотчас же выступил вперед и сказал его величеству, что незачем, чтобы его величество отдавал такое распоряжение, потому что он сказал, что послал тебе достаточно денег и что ты в пути. Так вот, если окажется, что дело обстоит, как я и думаю, наоборот тому, что сказал кардинал де'Гадди, то, получив это мое письмо, ответь тотчас же, потому что я свяжу нитку наново и устрою, чтобы тебе дали обещанные деньги этим великодушным королем».

Теперь пусть видит мир и кто в нем живет, сколько могут зловердные звезды с супротивной судьбой над нами смертными! Я и двух раз не говорил за все свои дни с этим дурачком кардиналишкой де'Гадди; и это свое умничанье он учинил вовсе не для того, чтобы как-нибудь мне повредить, а учинил его единственно из-за чудаковатости и никчемности своей, показывая; что и он тоже заботится о делах даровитых людей, которых хочет иметь король, как это делал кардинал феррарский. Но он был такой олух потом, что ни о чем меня не известил; а то, конечно, чтобы не срамить глупое чучело, из любви к отечеству, я бы нашел какое-нибудь извинение, чтобы заштопать это дурацкое умничанье. Как только я получил письмо от высокопреосвященнейшего кардинала феррарского, я ответил, что о

кардинале де'Гадди я ровно ничего не знаю и что если бы он даже и попытал меня на этот счет, то я бы не двинулся из Италии без ведома его высокопреосвященства, а главное, что у меня в Риме большее количество заказов, чем у меня когда-либо раньше было; но что по слову его христианнейшего величества, сказанному мне таким вельможей, как его высокопреосвященство, я бы поднялся тотчас же, бросив все другое, как оно есть. Когда я отослал письмо, этот предатель, мой перуджийский работник, задумал хитрость, каковая сразу же ему удалась, ввиду жадности папы Паголо да Фарнезе, а еще больше — его побочного сына, называвшегося тогда герцогом ди Кастро¹. Этот сказанный работник сообщил одному из этих секретарей сказанного синьора Пьерлуиджи, что, прожив у меня в рабочих местах несколько лет, он знает все мои дела, в виду которых он заверяет сказанного синьора Пьерлуиджи, что я человеке состоянием в восемьдесят с лишним тысяч дукатов и что эти деньги они у меня большей частью в драгоценных камнях; каковые камни — церковные, и что я их похитил во время разгрома Рима, в замке Святого Ангела, и что надобно меня велеть схватить немедленно и тайно. Раз как-то утром я больше трех часов работал перед рассветом над вещами вышесказанной супруги и, пока моя мастерская отпиралась и подметалась, я накинул плащ, чтобы немного пройтись; и, направив путь по страда Юлиа, вышел на угол Кьявики, где барджелл Креспино со всей своей стражей двинулся мне навстречу и сказал мне: «Ты пленник папы». На что я сказал: «Креспино, ты меня с кем-нибудь спутал». — «Нет, — сказал Креспино, — ты даровитый Бенвенуто, и я отлично тебя знаю, и должен отвести тебя в замок Святого Ангела, куда отправляются вельможи и даровитые люди, как ты». И так как четверо этих его капралов накинулись на меня и силой хотели отнять у меня кортик, который у меня был при себе, и некои перстни, которые у меня были на пальце, то сказанный Креспино им сказал: «Чтобы никто из вас его не трогал! Вполне достаточно, если вы исполните вашу обязанность, чтобы он у меня не сбежал», Затем, подойдя ко мне, с учтивыми словами

попросил у меня оружие. Пока я ему отдавал оружие, мне вспомнилось, что на этом самом месте я убил Помпео. Отсюда меня повели в замок и в одной из верхних комнат в башне заперли меня в тюрьму. Это было в первый раз, что я отведал тюрьмы за все эти свои тридцать семь лет.

СИ

Синьор Пьерлуиджи, сын папы, приняв в соображение большое количество денег, каким было то, в котором я обвинялся, тотчас же попросил их в милость у этого своего отца, папы, чтобы эту сумму денег он ему дал в подарок. Поэтому папа охотно их ему уступил и, кроме того, сказал ему, что еще и поможет ему их взыскать; так что, продержав меня в тюрьме целую неделю, по прошествии этой недели, чтобы положить какой-нибудь конец этому делу, меня вызвали на допрос. Так что меня пригласили в одну из этих зал, которые имеются в папском замке, место весьма почетное, и допросчиками были римский губернатор, которого звали мессер Бенедетто Конверсини, пистойец, который потом был епископом иезийским; другой был фискальный прокурор, а имени его я не помню; другой, который был третьим, был уголовный судья, которого звали мессер Бенедетто да Кальи. Эти три человека начали меня допрашивать, сперва ласковыми словами, затем резчайшими и устрашающими словами, вызванными потому, что я им сказал: «Государь мой, вот уже больше получаса, как вы не перестаете спрашивать меня о таких баснях и вещах, что поистине можно сказать, что вы балабоните или что вы пустобаете; я хочу сказать — балабонить, это когда нет звука, а пустобаять, это когда ничего не означает; так что я вас прошу, чтобы вы мне сказали, чего вы от меня хотите, и чтобы я слышал выходящими из ваших уст речи, а не пустобайки и балаболу». На эти мои слова губернатор, который был пистойец, и не в силах больше скрывать свою бешеную природу, сказал мне: «Ты говоришь весьма уверенно и даже чересчур надменно; так что эту твою надменность я тебе сделаю

смирнее собачонки речами, которые ты от меня услышишь, каковые будут не балабола и не пустобайки, как ты говоришь, а будут предложением речей, на каковые уже придется, чтобы ты приложил старание сказать нам их смысл». И начал так: «Мы знаем достоверно, что ты был в Риме во время разгрома, который был учинен в этом злополучном городе Риме; и в это время ты находился в этом замке Святого Ангела и здесь был употреблен как пушкарь; и так как искусство твое — золотых дел мастерство и ювелирное, то папа Климент, зная тебя и раньше, и так как здесь не было никого другого по этим художествам, призвал тебя к себе тайно и велел тебе вынуть все драгоценные камни из своих тиар, и митр, и перстней и затем, доверяя тебе, пожелал, чтобы ты их на нем зашил; поэтому ты из них удержал себе, втайне от его святейшества, на цену в восемьдесят тысяч скудо. Это нам сказал один твой работник, каковому ты признался и хвастал этим. Так вот, мы тебе говорим открыто, чтобы ты достал эти камни или стоимость этих камней; затем мы тебя выпустим на свободу».

СШ

Когда я услышал эти слова, я не мог удержаться от того, чтобы не разразиться превеликим хохотом; затем, похохотав немного, я сказал: «Премного благодарю бога, что в этот первый раз, когда величеству его было угодно, чтобы я был заточен, мое счастье, что я не заточен за какое-нибудь пустое дело, как это по большей части, говорят, случается с молодыми людьми. Если бы то, что вы говорите, было правдой, то мне нечего опасаться, чтобы я мог быть наказан телесной карой, потому что законы в то время утратили все свои силы; так что я мог бы себя извинить, сказав, что, как приближенный, я это сокровище хранил для пресвятой апостольской церкви, ожидая того, чтобы вручить его законному папе или тому, кто бы его от меня потребовал, как сейчас это были бы вы, если бы дело обстояло так». На эти слова

этот бешеный пистойский губернатор не дал мне докончить говорить мои доводы, как яростно сказал: «Представляй это, в каком хочешь виде, Бенвенуто, а нам достаточно получить назад свое; и торопись, если не хочешь, чтобы мы действовали не только словами». И так как они хотели встать и уйти, я им сказал: «Синьоры, меня не кончили допрашивать, так что кончайте меня допрашивать; а затем идите, куда вам угодно». Они тотчас же снова уселись, весьма изрядно в гневе, как бы показывая, что не желают больше слушать ни одного слова, которое я им говорю, и наполовину привстав, потому что им казалось, что они нашли все то, что хотели узнать. Поэтому я начал таким образом: «Знайте, синьоры, что вот уже лет двадцать, как я живу в Риме, и ни разу, ни здесь, ни где бы то ни было, не был заточен». На эти слова этот ярыга губернатор сказал: «Ты здесь, однако же, поубивал людей». Тогда я сказал: «Вы так говорите, а я нет; но если бы кто-нибудь явился, чтобы убить вас, то вы, хоть и священники, стали бы защищаться, и если бы вы его убили, то святые законы вам это позволяют; так что дайте мне сказать мои доводы, если вы хотите, чтобы вы могли доложить папе, и если вы хотите, чтобы вы могли справедливо меня судить. Я вам еще раз говорю, что вот уже скоро двадцать лет, как я живу в этом изумительном Риме, и в нем я произвел величайшие работы по своему художеству; и так как я знаю, что это престол Христов, я был бы готов уповать уверенно, что если бы какой-либо светский государь захотел учинить надо мной какое-нибудь смертоубийство, то я бы прибежал к этой святой кафедре и к этому наместнику Христову, чтобы он защитил мою правоту. Увы, куда же мне теперь идти? И к какому государю, который бы меня защитил от такого злодейского смертоубийства? Разве не были вы должны, прежде чем взять меня, узнать, куда я девал эти восемьдесят тысяч дукатов? И разве не были вы должны справиться с ведомостью драгоценным камням, которые в этой апостольской камере тщательно записываются вот уже пятьсот лет? И если бы вы нашли недостачу, тогда вы были бы должны забрать все мои книги, вместе со

мною самим. Я вам заявляю, что книги, где записаны все драгоценные камни папы и тиар, все в целости, и вы не найдете отсутствующим ничего из того, что было у папы Климента, что не было бы тщательно записано. Единственно могло случиться, что когда этот бедняга папа Климент хотел договориться с этими разбойниками имперцами, которые у него отняли Рим и осквернили церковь, то являлся вести об этом переговоры один, которого звали Чезаре Искатинаро¹, если я верно помню; каковой, когда уже почти что заключил договор с этим смертоубитым папой, тот, чтобы его обласкать немного, уронил с пальца алмаз, который стоил приблизительно четыре тысячи скудо; и так как сказанный Искатинаро наклонился, чтобы поднять его, то папа ему сказал, чтобы он его себе оставил из одолжения к нему. В присутствии этого я действительно находился; и если этого сказанного алмаза вы не досчитываетесь, то я вам говорю, куда он девался; но я совершенно уверен, что также и это вы найдете записанным. И тогда можете стыдиться, сколько вам угодно, что зарезали такого человека, как я, который совершил столько славных дел для этого апостолического престола. Знайте, что, если бы не я, то в то утро, когда имперцы вступили в Борго², они без малейшей помехи вступили бы в замок; а я, без всякой за то награды, отважно кинулся к орудиям, которые и пушки, и гарнизонные солдаты побросали, и придал духу одному моему приятелю, которого звали Раффаэлло да Монтелупо³, ваятель, который тоже, бросив все, забился в угол, совсем испуганный и ничего не делая; я его расшевелил; и мы с ним вдвоем побили столько врагов, что солдаты пошли другой дорогой. Это я выстрелил из аркебузы в Скатинаро⁴, потому что видел, что он говорит с папой Климентом без всякого почтения, а с грубейшей издевкой, как лютеранин и нечестивец, каким он и был. На это папа Климент велел искать по замку, кто это такой был, чтобы его повесить. Это я ранил принца Оранского выстрелом в голову, здесь, под окопами замка. Затем я сделал для святой церкви столько украшений из серебра, из золота

и из драгоценных камней, столько медалей и монет, таких прекрасных и таких ценимых. Так вот какова дерзостная поповская награда, которая воздается человеку, который с такой преданностью и с таким талантом вам служил и вас любил? Так ступайте пере-сказать все, как я вам сказал, папе, сказав ему, что его камни все у него; и что я от церкви никогда ничего не получал, кроме неких ран и ушибов в эти самые времена разгрома; и что я ни на что не рассчитывал, как только на небольшую награду от папы Павла, каковую он мне обещал. Теперь я вижу насквозь и его святейшество, и вас, его ставленников». Пока я говорил эти слова, они ошеломленно меня слушали; и, поглядывая в лицо один другому, с удивленным видом удалились от меня. Они пошли все трое вместе доложить папе все, что я сказал. Папа, устыдившись, с величайшим тщанием приказал проверить все счета драгоценных камней. Когда они увидели, что там нет никакой недостачи, они оставили меня в замке, не сказав ни слова; синьор Пьерлуиджи также увидел, что плохо сделал, и они стали усердно стараться меня умертвить.

CIV

В течение треволнений этого малого времени король Франциск успел досконально узнать, что папа держит меня в тюрьме и столь несправедливо; так как он отправил к папе послом некоего своего дворянина, какового звали монсиньор ди Морлюк, то он написал ему, чтобы тот вытребовал меня у папы, как человека его величества. Папа, который был искуснейший и удивительный человек, но в этом моем деле вел себя как никчемный и дурак, он ответил сказанному королевскому нунцию, чтобы его величество обо мне не заботился, потому что я человек весьма беспокойный по части оружия, и поэтому он уведомляет его величество, чтобы тот меня оставил, потому что он держит меня в тюрьме за убийства и всякую прочую мою чертовщину. Король снова ответил, что в его королевстве отправляется отличнейшее правосудие; и как его величе-

ство награждает и поощряет удивительнейшим образом даровитых людей, так, наоборот, он карает непокойных; и так как его святейшество отпустил меня уехать, не печась о службе сказанного Бенвенуто, а увидев его в своем королевстве, он охотно взял его к себе на службу; и, как своего человека, он его и требует. Все это причинило мне превеликую доuku и вред, хоть это и было самым лестным благоволением, какого можно желать для такого человека, как я. Папа пришел в такую ярость от страха, как бы я не пошел разглашать это преступное злодейство, надо мной учиненное, что измышлял все способы, какие мог, соблюдая честь, чтобы меня умертвить. Каstellаном замка Святого Ангела был наш флорентинец, какового звали мессер Джорджо, кавалер дельи Уголини. Этот достойный человек оказывал мне величайшие любезности, какие только можно оказывать на свете, давая мне свободно ходить по замку, на одно лишь мое слово; и так как он знал о великой несправедливости, мне учиненной, то, когда я хотел дать ему обеспечение, чтобы гулять по замку, он мне сказал, что не может его взять, потому что папа придает слишком большое значение этому моему делу, но что он свободно положится на мое слово, потому что знает ото всех, сколь я достойный человек; и я ему дал слово, и так он дал мне удобства, чтобы я мог хоть как-нибудь работать. Тем временем, полагая, что это негодование папы, как ввиду моей невинности, так и ввиду благоволения короля, должно кончиться, держа свою мастерскую по-прежнему открытой, приходил Асканио, мой подмастерье, в замок и приносил мне кое-какие вещи для работы. Хоть я и мало мог работать, видя себя таким образом заточенным столь несправедливо, я все же делал из необходимости доблесть: весело, насколько я мог, я сносил эту мою превратную судьбу. Со мною очень подружились все эти стражи и многие солдаты в замке. И так как папа приходил иной раз в замок ужинать, и на то время, пока там был папа, замок не держал стражи, но был свободно открыт, как обыкновенный дворец, и так как на то время, пока бывал папа, все тюрьмы обычно запирались с еще

большим тщанием, то со мной ничего такого не делали, но я свободно во всякое такое время ходил по замку; и много раз некоторые из этих солдат советовали мне, что я должен бежать, и что они подставят мне плечи, зная великую несправедливость, которая мне учинена; каковым я отвечал, что дал слово кастеллану, который такой достойный человек и который учинил мне такие великие льготы. Был там один солдат, очень славный и очень остроумный; и он мне говорил: «Мой Бенвенуто, знай, что тот, кто в тюрьме, не обязан и не может быть обязан соблюдать слово, как и все другое; сделай то, что я тебе говорю, беги от этого разбойника папы и от этого ублюдка, его сына, каковые отымут у тебя жизнь во что бы то ни стало». Я, который порешил охотнее утратить жизнь, чем нарушить данное мое слово этому достойному человеку, кастеллану, сносил это неопишное злополучие вместе с одним монахом из Палавизинского дома, превеликим проповедником.

CV

Он был посажен, как лютеранин; это был отличнейший добрый товарищ, но, как монах, это был величайший злодей, какой бывал на свете, и уживался со всеми видами пороков. Прекрасными достоинствами его я восхищался, грубым его порокам премного ужасался и открыто его за них порицал. Этот монах только и делал, что напоминал мне, что я не обязан соблюдать слово перед кастелланом, потому что я в тюрьме. На что я отвечал, что если, как монах, он говорит правду, то, как человек, он говорит неправду; потому что всякий, кто человек, а не монах, должен соблюдать свое слово во всякого рода обстоятельствах, в которых он окажется; поэтому я, который есмь человек, а не монах, никогда не нарушу этого моего простого и честного слова. Видя сказанный монах, что ему не удастся совратить меня путем своих хитроумнейших и замысловатых доводов, столь изумительно им излагаемых, он задумал искутить меня другим путем; и, дав таким образом пройти многим дням, тем временем чи-

тал мне проповеди фра Иеролимо Савонароло¹ и давал к ним такое удивительное пояснение, что оно было прекраснее, чем самые проповеди; каковым я был околдован, и не было бы на свете вещи, которой бы я для него не сделал, за исключением того, чтобы нарушить мое слово, как я сказал. Видя, что я ошеломлен его талантами, монах измыслил другой путь; и вот, с невинным видом, он начал меня расспрашивать, какого пути я стал бы держаться, если бы мне пришло желание, когда бы они меня снова заперли, отпереть эту тюрьму, чтобы бежать. Точно так же и я, желая показать некоторую тонкость моего ума этому даровитому монаху, сказал ему, что всякий наитруднейший замок я наверняка отомкну, а в особенности замки этой тюрьмы, каковые для меня были бы, как поесть немного свежего сыру. Сказанный монах, чтобы заставить меня сказать мою тайну, уничижал меня, говоря, что есть много такого, что говорят люди, которые вошли в некоторую славу хитроумцев, а что если бы им затем пришлось приложить к делу то, чем они хвастают, они настолько лишились бы славы, что беда; и он, мол, слышит от меня вещи настолько далекие от истины, что если бы от меня это потребовалось, он полагает, что я вышел бы из этого с невеликой честью. На это, чувствуя себя задетым этим чертовым монахом, я ему сказал, что я имею обыкновение всегда обещать на словах много меньше того, что я могу сделать; и что то, что я обещал насчет ключей, еще самое пустое дело; и что в немногих словах я его вполне вразумлю, что так оно и есть, как я говорю; и опрометчиво, как я сказал, я с легкостью показал ему все то, о чем я говорил. Монах, делая вид, что это ему ни к чему, сразу же отлично усвоил хитроумнейшим образом все. А как я выше сказал, этот достойный человек, кастеллан, позволял мне свободно ходить по всему замку; и даже на ночь меня не запирали, как это он делал со всеми остальными; да еще позволял мне работать из всего, что я хочу, из золота, серебра и воска; и хотя работал несколько недель над некоим тазом, который я делал для кардинала феррарского, но так как мне опротивела тюрьма,

то мне надоело работать над такими вещами; и я только выделывал, для меньшей скуки, из воска кое-какие свои фигурки; какого-то воска сказанный монах у меня похитил кусок и со сказанным куском применил на деле тот род ключей, которому я опрометчиво его научил. Он взял себе в товарищи и в помощь писца, который жил у сказанного кастеллана. Писца этого знали Луиджи, и был он падуанец. Когда они хотели заказать сказанные ключи, слесарь их выдал; а так как кастеллан заходил иной раз меня проведать ко мне в камеру, то, увидев, что и работаю над этим воском, тотчас же узнал сказанный воск и сказал: «Хотя над этим беднягой Бенвенуто учинили одну из величайших несправедливостей, которая когда-либо учинялась, со мной ему не следовало учинять таких действий, который предоставлял ему льготы, каких я не мог ему предоставлять; отныне я буду держать его в строжайшем заключении и никогда больше не предоставлю ему ни единой на свете льготы». И так он велел меня запереть с разными неприятностями, особенно от слов, сказанных мне некоторыми его преданными слугами, каковые любили меня чрезвычайно и час за часом рассказывали мне все добрые дела, какие делал для меня этот синьор кастеллан; так что в этом случае они называли меня человеком неблагодарным, пустым и вероломным. И так как один из этих слуг более дерзко, чем то ему подобало, говорил мне эти оскорбления, то я, чувствуя себя невинным, смело отвечал, говоря, что никогда я не нарушал слова, и что эти слова я берусь подтвердить ценою моей жизни, и что если еще когда-нибудь он мне скажет, или он, или кто другой, такие несправедливые слова, то я скажу, что всякий, кто это говорит, лжет в глаза. Не в силах снести оскорбление, он побежал в комнату к кастеллану и принес мне воск с этой сделанной моделью ключа. Едва я увидел воск, я ему сказал, что оба мы правы; но чтобы он дал мне поговорить с синьором кастелланом, потому что я ему расскажу откровенно все дело, как оно было, каковое гораздо большей важности, нежели они думают. Тотчас же кастеллан велел меня позвать, и я ему рассказал все случившееся; поэтому он запер монаха, како-

вой выдал писца, которого и собрались вешать. Сказанный кастеллан замял дело, какое уже дошло до ушей папы; избавил своего писца от виселицы, а мне предоставил такую же свободу, какая у меня была раньше.

CVI

Когда я увидел, что это дело ведется с такой строгостью, я начал подумывать о своей участи, говоря: «Если еще раз наступит одно из этих неистовств и этот человек мне не поверит, я больше не буду перед ним обязан и хотел бы применить немного мои хитрости, каковы, я уверен, что удадутся мне не так, как у этого несчастного монаха». И я начал с того, что велел приносить мне новые и грубые простыни, а грязных не отсылал. Когда мои слуги их у меня спрашивали, я им говорил, чтобы они молчали, потому что я их отдал кое-кому из этих бедных солдат; что если это узнается, то этим бедняжкам грозит каторга; так что мои молодцы и слуги самым верным образом, особенно Феличе, держали мне это дело в полнейшей тайне, сказанные простыни. Я опоражнивал соломенник и солому жег, потому что в моей тюрьме имелся камин, где можно было разводить огонь. Я начал из этих простынь делать полосы, шириною в треть локтя; когда я наделал такое количество, которое мне казалось, что будет достаточно, чтобы спуститься с этой великой высоты этой башни замка Святого Ангела, я сказал моим слугам, что раздарил те, которые хотел, и чтобы они теперь приносили мне тонкие, а что грязные я им всякий раз буду возвращать. Это дело и забылось. Этим моим работникам и слугам кардинал Санткватро¹ и Корнаро² велели закрыть мне мастерскую, говоря мне откровенно, что папа и слышать не хочет о том, чтобы меня выпустить, и что это великое благоволение короля гораздо больше повредило мне, нежели помогло; потому что последние слова, которые сказал монсиньор ди Морлюк от имени короля, были те, что монсиньор ди Морлюк сказал папе, что тот должен предать меня в руки обыкновенных судей; и что если я

прегрешил, то он может меня покарать, но что если я не прегрешал, то справедливость требует, чтобы он меня выпустил. Эти слова до того извели папу, что он возымел желание никогда больше меня не выпускать. Этот самый кастеллан наверняка помогал мне, сколько мог. Видя тем временем эти мои враги, что мастерская моя заперта, они с издевкой говорили каждый день какое-нибудь оскорбительное слово этим моим слугам и друзьям, которые приходили навещать меня в тюрьме. Случилось как-то раз среди прочих, что Асканио, каковой каждый день приходил ко мне по два раза, попросил меня, чтобы я ему сделал некий кафтанчик из одного моего атласного голубого кафтана, какового я никогда не носил; служил он мне только тот раз, когда я шел в нем с процессией; но я ему сказал, что сейчас не такие времена, да и я не в таком месте, чтобы носить такие кафтаны. Юноша до того обиделся, что я ему не дал этого несчастного кафтана, что сказал мне, что хочет уехать к себе домой в Тальякоцце. Я, весь распаясь, сказал ему, что он сделает мне удовольствие, если от меня уберется; а он поклялся с величайшей запальчивостью никогда больше со мною не встречаться. Когда мы это говорили, мы прогуливались вокруг замковой башни. Случилось, что и кастеллан тоже прогуливался; мы как раз поравнялись с его милостью, и Асканио сказал: «Я ухожу, и прощайте навсегда». На это я сказал: «Я и хочу, чтобы навсегда, и пусть так и будет вправду: я велю страже, чтобы она никогда больше тебя не пропускала». И, обратившись к кастеллану, я от всего сердца стал его просить, чтобы он велел страже, чтобы она никогда больше не пропускала Асканио, говоря его милости: «Этот парнишка приходит добавлять горя к моему великому горю; так что вас прошу, государь мой, чтобы вы никогда больше его не выпускали». Кастеллану было очень жаль, потому что он знал, что тот удивительно одарен; кроме того, он был так прекрасен телом, что казалось, что всякий, увидев его хотя бы раз, особенно к нему привязывался. Сказанный юноша ушел, плача, и нес такую свою сабельку, которую он иной раз тайком носил при себе. Выходя из замка и имея лицо так вот

заплаканное, он повстречался с двумя из этих наибольших моих врагов, из которых один был тот самый Иеронимо перуджинец, вышесказанный, а другой был некто Микеле, оба золотых дел мастера. Этот Микеле, будучи приятелем этого разбойника-перуджинца и врагом Асканио, сказал: «Что это значит, что Асканио плачет? Или у него умер отец? Я разумею того отца, что в замке». Асканио сказал на это: «Он-то жив, а ты сейчас умрешь». И, подняв руку, этой своей саблей нанес ему два удара, оба по голове, так что первым повалил его наземь, а затем вторым отрубил ему три пальца на правой руке, хоть и бил его по голове. Тут он и остался, как мертвый. Тотчас же донесли папе, и папа, в великом гневе, сказал такие слова: «Так как король хочет, чтобы его судили, ступайте к нему и дайте три дня срока, чтобы защитить свою правоту». Тотчас же пришли и исполнили сказанное поручение, которое им дал папа. Этот достойный человек, кастеллан, тотчас же отправился к папе и разъяснил ему, что я непричастен к этому делу и что я прогнал его прочь. Он так удивительно меня защищал, что спас мне жизнь от этой великой ярости. Асканио бежал в Тальякоцце, к себе домой, и оттуда мне написал, прося у меня тысячу раз прощения, что он сознает, что поступил дурно, добавляя огорчения к моим великим бедствиям; но если бог пошлет мне милость, что я выйду из этой темницы, то он хочет никогда больше меня не покидать. Я дал ему знать, чтобы он продолжал учиться и что, если бог даст мне свободу, то я позову его во что бы то ни стало.

СVII

У этого кастеллана бывали каждый год некои недуги, которые совершенно лишали его рассудка; и когда это на него находило, он очень много говорил; вроде как бы тараторил; и эта его дурь бывала каждый год другая, потому что один раз ему казалось, что он кувшин с маслом; иной раз ему казалось, что он лягушка, и он прыгал, как лягушка; иной раз ему казалось,

что он умер, и надо было его хоронить; и так он каждый год впадал в одну какую-нибудь такую дурь. На этот раз он начал воображать, будто он нетопырь, и когда он выходил на прогулку, то иногда он глухо этак вскрикивал, как делают нетопыри, и при этом изображал руками и туловищем, словно лететь собирался. Его врачи, которые это заметили, а также его старые слуги, доставляли ему все удовольствия, какие могли придумать; и так как им казалось, что он находит большое удовольствие в том, чтобы слушать, как я говорю, они то и дело приходили за мной и уводили меня к нему. Таким образом, этот бедный человек держал меня иной раз целых четыре или пять часов, причем я, не переставая, с ним говорил. Он сажал меня за свой стол ест напротив него и, не переставая, говорил или заставлял меня говорить; но я за этими разговорами все-таки ел очень хорошо. Он, бедный человек, не ел и не спал, так что извел меня до того, что я больше не мог; и, глядя ему иной раз в лицо, я видел, что светлы очей у него испуганные, потому что один смотрел в одну сторону, а другой в другую. Он начал меня спрашивать, бывало ли у меня когда-нибудь желание летать; на что я сказал, что все то, что наиболее трудно для людей, я наиболее охотно старался делать и делал; что же касается летания, то так как бог природы даровал мне тело весьма способное и расположенное бегать и скакать много больше обычного, то при некотором хитроумии, применив его с помощью рук, я возьмусь полететь наверное. Этот человек начал меня спрашивать, каких способов я бы стал держаться; на что и сказал, что, в рассуждении животных, которые летают, если желать им подражать искусством в том, что они имеют от природы, то нет ни одного, которому можно было бы подражать, кроме нетопыря. Когда этот бедный человек услышал это слово — нетопырь, что было как раз той дурью, которою он в тот год грешил, он поднял громчайший голос, говоря: «Он правду говорит, он правду говорит; так оно и есть, так оно и есть!» И затем повернулся ко мне и сказал мне: «Бенвенуто, если бы дать тебе удобства, ты бы взялся полететь?» На что я сказал, что если он согласен дать

мне затем свободу, то я возьмусь полететь до Прати, сделав себе пару вошених крыльев из тонкого льняного полотна. Тогда он сказал: «И я тоже взялся бы; но так как папа велел мне хранить тебя как зеницу его очей; я знаю, что ты хитроумный черт, который сбежал бы; поэтому я велю запереть тебя на сто ключей, чтобы ты у меня не сбежал». Я стал его упрашивать, напоминая ему, что я мог сбежать, но ради слова, которое я ему дал, я бы никогда его не обманул; что поэтому я его прошу, ради бога и ради всех тех льгот, которые он мне оказывал, чтобы он не прибавлял еще большего зла к великому злу, которое я терплю. Пока я ему говорил эти слова, он строго велел, чтобы меня связали и чтобы меня отвели в тюрьму, заперши хорошенько. Когда я увидел, что ничем уже не помочь, я ему сказал в присутствии всех его людей: «Заприте меня хорошенько и стерегите меня хорошенько, потому что я сбегу во что бы то ни стало». И так они отвели меня и заперли меня с удивительным старанием.

CVIII

Тогда я начал раздумывать о способе, какого мне держаться, чтобы бежать. Как только я увидел себя запертым, я стал соображать, как устроена тюрьма, где я был заключен; и так как мне казалось, что я наверняка нашел способ из нее выйти, то я начал раздумывать, каким способом надо мне спуститься с этой великой высоты этой башни, потому что так называется эта высокая цитадель; и, взяв эти мои новые простыни, про которые я уже говорил, что я из них наделал полос и отлично сшил, я стал соображать, какого количества мне достаточно, чтобы можно было спуститься. Рассудив, сколько мне могло понадобиться, и вполне приготовившись, я раздобыл клещи, которые я взял у одного савойца, каковой был из замковой стражи. Он имел попечение о бочках и цистернах; любил также столярничать; и так как у него было несколько клещей, среди них были одни очень толстые и большие; считая, что они мне как раз подойдут, я их у него взял

и спрятал в этот самый соломенник. Когда пришло затем время, что я захотел ими воспользоваться, я начал ими пытаться гвозди, на которых держались петли; а так как дверь была двойная, то заклепок этих гвоздей нельзя было видеть; так что, пытаюсь вытащить один из них, я понес превеликий труд; но все же затем, в конце концов, мне удалось. После того как я вытащил этот первый гвоздь, я начал соображать, какого способа я должен держаться, чтобы они этого не заметили. Тотчас же я приготовил себе немного оскоблины ржавого железа с воском, который получился точь-в-точь такого же цвета, что и гвоздяные головки, которые я вытащил; и из этого воска я тщательно начал подделывать эти гвоздяные головки в их петлях; и от раза к разу, столько, сколько я их вытаскивал, столько я их и подделывал из воска. Петли я оставил прикрепленными, каждую сверху и снизу, некоторыми из этих самых гвоздей, которые я вытащил; потом я вставил их снова, но они были подрезаны, потом вставлены слегка, так чтобы они у меня держали петли. Это я делал с превеликой трудностью, потому что кастеллану каждую ночь снилось, что я сбежал, и потому он то и дело присылал посмотреть тюрьму; и тот, кто приходил ее смотреть, был и по званию, и по делам ярыга. Этого звали Боцца, и он всегда приводил с собой другого, которого звали Джованни, по прозвищу Пединьоне; этот был солдат, а Боцца был слуга. Этот Джованни ни разу не приходил в эту мою тюрьму без того, чтобы не сказать мне чего-нибудь оскорбительного. Был он из Прато, и в Прато он служил в аптеке; он тщательно осматривал каждый вечер эти самые петли и всю тюрьму, и я ему говорил: «Стерегите меня хорошенько, потому что я хочу сбежать во что бы то ни стало». Эти слова породили превеликую вражду между ним и мной; так что я с превеликим тщанием все это мое железо, как-то сказать клещи, и кинжал очень большой, и прочие принадлежности, тщательно все укладывал в мой соломенник; тоже и эти полосы, которые я наделал, также и их я держал в этом соломеннике; и когда наступал день, я тотчас же у себя подметал; и если от природы я люблю опрятность, то тогда я был наиопрятнейшим.

Подметая, я убирал постель как можно милее, и даже цветами, которые почти что каждое утро я велел себе приносить некоему савойцу. Этот савойец имел попечение о цистерне и о бочках, а также любил столярничать; и у него-то я и похитил клещи, которыми я вынул гвозди из этих петель.

СIX

Чтобы вернуться к моей постели: когда Боцца и Пединьоне приходили, я им никогда ничего другого не говорил, как только чтобы они держались подальше от моей постели, дабы они мне ее не испачкали и мне ее не испортили; говоря им в некоторых случаях, потому что все-таки иной раз они в насмешку слегка так потрагивали мне немножко постель, почему я и говорил: «Ах, грязные лодыри! Я возьму одну из этих ваших шпаг и так вам досажу, что вы у меня изумитесь. Или вам кажется, что вы достойны касаться постели такого человека, как я? Тут я не уважу своей жизни, потому что уверен, что вашей я вас лишу. Так что оставьте меня с моими огорчениями и с моими терзаниями; и не причиняйте мне больше горя, чем сколько у меня есть; не то я вам покажу, что может сделать отчаянный». Эти слова они пересказали кастеллану, каковой приказал им настрого, чтобы они никогда не подходили к этой моей постели и чтобы, когда они приходят ко мне, приходили без шпаг, а в остальном чтобы имели обо мне величайшее попечение. Обезопасив себя насчет постели, я считал, что сделал все; потому что здесь было самое главное всего моего предприятия. Раз как-то в праздничный вечер, когда кастеллан чувствовал себя очень не по себе и эта его дурь возросла, так что он ничего другого не говорил, как только, что он нетопырь и что если они услышат, что Бенвенуто улетел, то чтобы они его пустили, что он меня нагонит, потому что он и сам полетит ночью, наверное, быстрее меня, говоря: «Бенвенуто нетопырь поддельный, а я нетопырь настоящий; и так как он мне дан под охрану, то вы мне только

не мешайте, а уж я его настигну». Проведя несколько ночей в этой дури, он утомил всех своих слуг; а я разными путями узнавал обо всем, главным образом от этого савойца, который меня любил. Решив в этот праздничный вечер бежать во что бы то ни стало, прежде всего я благоговеннейше сотворил богу молитву, прося его божеское величество, что он должен меня защитить и помочь мне в этом столь опасном предприятии; затем я взялся за все то, что я хотел сделать, и работал всю эту ночь. Когда мне оставалось два часа до рассвета, я вынул эти самые петли с превеликим трудом, потому что деревянная створка двери, а также засов создавали упор, так что я не мог открыть; мне пришлось откалывать дерево; все ж таки наконец я отпер и, захватив эти полосы, каковые я намотал, вроде как мотки пряжи, на две деревяшки, выйдя вон, прошел в отхожие места на башне; и, вынув изнутри две черепицы в крыше, я тотчас же легко на нее вскочил. Я был в белой куртке и в белых штанах, и в таких же сапогах, в каковые я заткнул этот мой кинжалчик уже сказанный. Затем взял один конец этих моих полос и приладил его к куску древней черепицы, которая была вделана в сказанную башню: она как раз выступала наружу почти на четыре пальца. Полоса была приспособлена в виде стремени. Когда я ее прикрепил к этому куску черепицы, обратившись к богу, я сказал: «Господи боже, помоги моей правоте, потому что она со мной, как ты знаешь, и потому что я себе помогаю». Начав спускаться потихоньку, удерживаясь силой рук, я достиг земли. Лунного света не было, но было очень ясно. Когда я очутился на земле, я взглянул на великую высоту, с которой я спустился так отважно, и весело пошел прочь, думая, что я свободен. Однако же это было неправда, потому что кастеллан с этой стороны велел выстроить две стены, очень высокие, и пользовался ими, как стойлом и как курятником; это место было заперто толстыми засовами снаружи. Увидев, что я не могу выйти отсюда, это меня чрезвычайно огорчило. В то время как я ходил взад и вперед, раздумывая о том, как мне быть, я задел ногами за большое бревно, каковое было покрыто соломой. Его я

с великой трудностью приставил к этой стене; затем, силой рук, взобрался по нему до верха стены. А так как стена эта была острая, то у меня не хватало силы притянуть кверху сказанное бревно; поэтому я решил прикрепить кусок этих самых полос, а это был второй моток, потому что один из двух мотков я его оставил привязанным к замковой башне; и так я взял кусок этой второй полосы, как я сказал, и, привязав к этой балке, спустился с этой стены, каковая стоила мне превеликого труда и очень меня утомила, и, кроме того, я ободрал руки изнутри, так что из них шла кровь; поэтому я остановился отдохнуть и обмыл себе руки собственной своей мочой. И вот, когда мне показалось, что силы мои вернулись, я поднялся на крайний пояс стен, который смотрит в сторону Прати; и, положив этот мой моток полос, каковым я хотел обхватить зубец и таким же способом, как я сделал при той большей высоте, сделать и при этой меньшей; положив, как я говорю, мою полосу, со мною встретился один из этих часовых, которые несли стражу. Видя помеху своему замыслу и видя себя в опасности для жизни, я расположился двинуться на этого стража; каковой, видя мой решительный дух и что я иду в его сторону с вооруженной рукой, ускорил шаг, показывая, что избегает меня. Немного отдавшись от моих полос, я как можно скорее повернул обратно; и хоть я и увидел другого стража, однако же тот не захотел меня видеть. Подойдя к моим полосам, привязав их к зубцу, я начал спускаться; но или мне показалось, что я близко от земли, и я разжал руки, чтобы спрыгнуть, или руки утомились и не могли выдержать этого усилия, только я упал, и при этом падении своим ушибся затылком и лежал без чувств больше полутора часов, насколько я могу судить. Затем, когда собралось светать, эта легкая свежесть, которая наступает за час до солнца, она-то меня и привела в себя; но я все-таки был еще без памяти, потому что мне казалось, будто у меня отрублена голова, и мне казалось, будто я в чистилище. И вот, мало-помалу, ко мне вернулись способности в их прежнем виде, и я увидел, что я вне замка, и сразу вспомнил все, что я сделал. И так как ушиб затылка я

его почувствовал раньше, нежели заметил перелом ноги, то, поднеся руки к голове, я их отнял все в крови; потом, ощупав себя хорошенько, я признал и решил, что это не такое повреждение, которое было бы существенно; однако, когда я захотел подняться с земли, я обнаружил, что у меня сломана правая нога выше пятки на три пальца. Меня и это не испугало; я вытащил мой кинжальчик вместе с ножнами; так как у него был наконечник с очень толстым шариком на вершине наконечника, то это и было причиной того, что я сломал себе ногу; потому что, когда кость столкнулась с этой толщиной этого шарика, то так как кость не могла согнуться, поэтому в этом месте она и сломалась; так что я бросил прочь ножны от кинжала и кинжалом отрезал кусок этой полосы, которая у меня оставалась, и, насколько мог лучше, вправил ногу; затем, на четвереньках, со сказанным кинжалом в руке, пошел к воротам; ¹ однако, достигнув ворот, я нашел их запертыми; и, увидев некий камень под самыми воротами, каковой, полагая, что он не очень тяжел, я попытался подкопать; затем я за него взялся и, чувствуя, что он шевелится, он мне легко повиновался, и я вытащил его вон; и тут и пролез.

СХ

Было больше пятисот ходовых шагов от того места, где я упал, до ворот, куда я пролез. Когда я вошел вовнутрь Рима, некои медеянские псы набросились на меня и люто меня искушали; каковых, так как они несколько раз принимались меня терзать, я бил этим моим кинжалом и ткнул одного из них так здорово, что он громко завизжал, так что остальные псы, как это у них в природе, побежали к этой собаке; а я поскорее стал уходить в сторону Треспонтинской церкви, все так же на четвереньках. Когда я достиг начала улицы, которая поворачивает к Святому Ангелу, оттуда я направил путь, чтобы выйти к Святому Петру, и так как вокруг меня начинало светать, то я считал, что мне грозит опасность; и, повстречав водоноса, у кото-

рого был навьюченный осел и полные воды кувшины, подзвав его к себе, я попросил его, чтобы он меня поднял на руки и отнес на площадку лестницы Святого Петра, говоря ему: «Я несчастный молодой человек, который по любовному случаю хотел спуститься из окна; и вот я упал и сломал себе ногу. А так как место, откуда я вышел, очень важное, и мне грозила бы опасность быть изрубленным на куски, то я прошу тебя, чтобы ты меня живо поднял, и я тебе дам золотой скудо». И я взялся за кошелек, где их у меня было доброе количество. Тотчас же он меня взял, и охотно взвалил на себя, и отнес меня на сказанную площадку лестницы Святого Петра; и там я велел меня оставить и сказал, чтобы он бегом возвращался к своему ослу. Я тотчас же двинулся в путь, все так же на четвереньках, и пошел к дому герцогини, супруги герцога Оттавио¹ и дочери императора, побочной, не законной, бывшей супруги герцога Лессандро, герцога флорентийского; и так как я знал наверно, что возле этой великой принцессы много моих друзей, которые вместе с нею приехали из Флоренции; а также так как она оказала мне благоволение, при содействии кастеллана; который, желая мне помочь, сказал папе, когда герцогиня совершала въезд в Рим², что я был причиной предотвращения убытка в тысячу с лишним скудо, который им причинял сильный дождь; так что он сказал, что был в отчаянии и что я ему придал духу, и сказал, как я навел несколько крупных артиллерийских орудий в ту сторону, где тучи были всего гуще и уже начали проливать сильнейший ливень; но когда я качал палить из этих орудий, дождь перестал, а с четвертым разом показалось солнце, и что я был всецелой причиной, что этот праздник прошел отлично; поэтому, когда герцогиня об этом услышала, она сказала: «Этот Бенвенуто — один из тех даровитых людей, которые жили у блаженной памяти герцога Лессандро, моего мужа, и я всегда буду иметь их в виду, когда представится случай сделать им приятное»; и еще поговорила обо мне с герцогом Оттавио, своим мужем. По этим причинам я пошел прямо к дому ее светлости, каковая жила в Борго Веккио в прекрас-

нейшем дворце, который там есть; и там я был бы вполне уверен, что папа меня не тронет; но так как то, что я сделал до сих пор, было слишком чудесно для человеческого тела, то бог, не желая, чтобы я впал в такое тщеславие, ради моего блага захотел послать мне еще большее испытание, чем было прежде; и причиной тому было, что пока я шел все так же на четвереньках по этой лестнице, меня вдруг узнал один слуга, который жил у кардинала Корнаро; каковой кардинал обитал во дворце. Этот слуга вбежал в комнату к кардиналу и, разбудив его, сказал: «Преосвященнейший монсиньор, там внизу наш Бенвенуто, который бежал из замка и идет на четвереньках весь в крови; насколько видно, он сломал ногу, и мы не знаем, куда он идет». Кардинал тотчас же сказал: «Бегите и принесите мне его на руках сюда ко мне в комнату». Когда я к нему явился, он мне сказал, чтобы я ни о чем не беспокоился; и тотчас же послал за первейшими римскими врачами; и ими я был врачуюем; и это был некий маэстро Якомо да Перуджа, весьма превосходнейший хирург. Он удивительно соединил мне кость, затем перевязал меня и собственноручно пустил мне кровь; а так как жилы у меня были вздуты гораздо больше, чем обычно, а также потому, что он хотел сделать надрез немного открытым, то хлынула такой великой ярости кровь, что попала ему в лицо, и с таким избытком его покрыла, что он не мог превозмочь себя, чтобы лечить меня; и, приняв это за весьма дурное предзнаменование, с великим затруднением меня лечил; и много раз хотел меня бросить, памятуя, что и ему грозит немалое наказание за то, что он меня лечил или, вернее, долечил до конца. Кардинал велел поместить меня в потайную комнату и тотчас же пошел во дворец с намерением выпросить меня у папы.

CXI

Тем временем поднялся в Риме превеликий шум; потому что уже увидели полосы, привязанные к высокой башне цитадели замка, и весь Рим бежал взгля-

нуть на это неопишное дело. Между тем кастеллан впал в свою наибольшую дурь безумства и хотел, наперекор всем своим слугам, сам тоже полететь с этой башни, говоря, что никто не может меня поймать, как только он, полетев за мной. В это время мессер Руберто Пуччи, отец мессер Пандольфо, услышав про это великое дело, пошел самолично взглянуть на него; потом пришел во дворец, где повстречался с кардиналом Корнато, каковой рассказал все последовавшее и что я в одной из его комнат, уже врачуемый. Эти два достойных человека совместно пошли броситься на колени перед папой; каковой, прежде чем дать им что-нибудь сказать, он сказал: «Я знаю все, чего вы от меня хотите». Мессер Руберто Пуччи сказал: «Всеблаженный отче, мы просим у вас, из милости, этого бедного человека, который своими дарованиями заслуживает некоторого внимания, и наряду с ними он выказал такую храбрость вместе с такой изобретательностью, что это кажется нечеловеческим делом. Мы не знаем, за какие грехи ваше святейшество держали его столько времени в тюрьме; поэтому, если эти грехи слишком непомерны, ваше святейшество свято и мудро и да исполнит в великом и в малом свою волю; но если это такое, что может отпустить, то мы вас просим, чтобы вы нам оказали эту милость». Папа на это, устыдившись, сказал, «что держал меня в тюрьме по ходатайству некоторых своих, потому что он немножко слишком смел; но что, признавая его дарования и желая удержать его возле нас, мы решили дать ему столько благ, чтобы у него не было причины возвращаться во Францию; я очень сожалею об его великой беде; скажите ему, чтобы он старался поправиться; а за его несчастья, когда он поправится, мы его вознаградим». Пришли эти два больших человека и сказали мне эту добрую весть от имени папы. Тем временем меня приходила навестить римская знать, и молодые, и старые, и всякого рода. Кастеллан, все так же вне себя, велел себя снести к папе; и когда он явился перед его святейшеством, он начал кричать, говоря, что если тот не вернет меня к нему в тюрьму, то учинит ему великую обиду, говоря: «Он от меня сбежал под словом, кото-

рое он мне дал; увы, он улетел от меня, а ведь обещал не улетать!» Папа, смеясь, сказал: «Идите, идите, я вам его верну во что бы то ни стало». Каstellан прибавил, говоря папе: «Пошлите к нему губернатора, чтобы тот узнал, кто ему помог бежать, потому что если это кто-нибудь из моих людей, то я хочу его повесить за горло на том зубце, откуда Бенвенуто сбежал». Когда каstellан ушел, папа позвал губернатора, улыбаясь, и сказал: «Вот храбрый человек, и вот изумительное дело; однако, когда я был молод, я тоже спустился с этого самого места». Это папа говорил правду, потому что он был заточен в замке за то, что подделал бревно, будучи аббревиатором *Parco majoris*;¹ папа Александр долго держал его в тюрьме;² затем, так как дело было слишком скверное, решил отрубить ему голову, но так как он хотел переждать праздник тела господня, то Фарнезе, узнав обо всем, велел явиться Пьетро Кьявеллуцци с несколькими лошадьми, а в замке подкупил деньгами некоторых из этих стражей; так что в день тела господня, пока папа был в процессии, Фарнезе был помещен в корзину и на веревке спущен до земли. Еще не был сделан пояс стен у замка, а была только цитадель, так что у него не было тех великих трудностей бежать оттуда, как было у меня; к тому же он был взят за дело, а я без вины. Словом, он хотел похвастать губернатору, что и он тоже был в своей молодости мужественным и храбрым, и не замечал, что открывает великие свои негодяйства. Он сказал: «Идите и скажите ему, пусть он вам откровенно скажет, кто ему помог, кто бы это ни был, благо ему прощено, и это вы ему обещайте откровенно».

СХП

Пришел ко мне этот губернатор, каковой был сделан за два дня до того епископом иезийским; придя ко мне, он мне сказал: «Мой Бенвенуто, хотя мое звание такое, что пугает людей, я прихожу к тебе, чтобы тебя успокоить, и это я имею полномочие обещать тебе по особому распоряжению его святейшества, каковой мне

сказал, что он и сам бежал оттуда, но что у него было много помощи и много товарищей, потому что иначе он не мог бы этого сделать. Я клянусь тебе благодатью, которая на мне, потому что я сделан епископом два дня тому назад, что папа тебя освободил и простил, и он очень сожалеет о твоей великой беде; но старайся поправиться и считай, что все к лучшему, потому что эта тюрьма, которая, разумеется, была у тебя совершенно безвинная, станет твоим благополучием навеки, потому что ты попрешь бедность и тебе не придется возвращаться во Францию, мыкая свою жизнь то там, то сям. Так что скажи мне откровенно все дело, как оно было, и кто тебе помог; затем утешайся, и отдыхай, и поправляйся». Я начал сначала и рассказал ему все, как оно было в точности, и привел ему величайшие подробности, вплоть до водоноса, который нес меня на себе. Когда губернатор выслушал все, он сказал: «Поистине, это слишком великие дела, сделанные одним-единственным человеком; они недостойны никакого другого человека, кроме тебя». И, заставив меня вынуть руку, сказал: «Будь покоен и утешься, потому что этой рукой, которую я тебе трогаю, ты свободен и, живя, будешь счастлив». Когда он ушел от меня, задержав целую гору знатных вельмож и синьоров, которые пришли меня навестить, говоря меж собой: «Пойдем посмотреть на человека, который творит чудеса», то они остались со мной; и кто из них мне предлагал, и кто дарил. Между тем губернатор, придя к папе, начал рассказывать то, что я ему говорил; и как раз случилось, что тут же присутствовал синьор Пьерлуиджи, его сын; и все премного дивились. Папа сказал: «Поистине, это слишком великое дело». Тогда синьор Пьерлуиджи добавил, говоря: «Всеблаженный отче, если вы его освободите, он вам покажет дела еще того побольше, потому что это человеческая душа слишком уж предрезкая. Я хочу вам рассказать другое дело, которого вы не знаете. Имел препирательство этот ваш Бенвенуто, еще до того, как он был в тюрьме, с одним дворянином кардинала Санта Фиоре, каковое препирательство пошло от пустяка, который этот дво-

рянин сказал Бенвенуто; так что тот наисмелейше и с такой запальчивостью отвечал, вплоть до того, что хотел показать, что хочет ссоры. Сказанный дворянин передал кардиналу Санта Фиоре, каковой сказал, что если он попадется ему в руки, что он ему вынет дурь из головы. Бенвенуто, услышав это, держал наготове некую свою пищаль, из каковой он постоянно попадает в кватрино; и когда однажды кардинал подошел к окну, и так как мастерская сказанного Бенвенуто как раз под дворцом кардинала, то он, взяв свою пищаль, приготовился стрелять в кардинала. И так как кардинала об этом предупредили, то он тотчас же отошел. Бенвенуто, чтобы этого дела не заметили, выстрелил в дикого голубя, который сидел в отверстии на верху дворца, и попал сказанному голубю в голову; вещь невозможная, чтобы ей можно было поверить. Теперь ваше святейшество пусть делает с ним все, что ему угодно; я не хотел преминуть вам это сказать. Ему бы также могла прийти охота, считая, что он был посажен в тюрьму безвинно, выстрелить когда-нибудь в ваше святейшество. Это душа слишком свирепая и слишком самонадеянная. Когда он убил Помпео, он два раза всадил ему кинжал в горло посреди десятка людей, которые его охраняли, и потом скрылся, к немалому поношению для них, каковые были, однако же, люди достойные и уважаемые».

СХІІІ

В присутствии этих слов находился тот самый дворянин Санта Фиоре, с каковым у меня было препирательство, и подтвердил папе все то, что его сын ему сказал. Папа надулся и ничего не говорил. Я не хочу преминуть, чтобы не сказать свою правоту справедливо и свято. Этот дворянин Санта Фиоре пришел однажды ко мне и подал мне маленькое золотое колечко, каковое было все запачкано ртутью, говоря: «Наложи мне это колечко, да поживее». Я, у которого было много важнейших золотых работ с камнями, и притом

слыша, что мне так самонадеянно приказывает какой-то, с каким-то я никогда не разговаривал и никогда его не видел, сказал ему, что у меня сейчас нет ложила и чтобы он шел к кому-нибудь другому. Тот, безо всякого решительно повода, сказал мне, что я осел. На каковые слова я отвечал, что он говорит неправду и что я человек во всех смыслах побольше его; но что если он будет меня раздражать, то я его лягну посильнее, чем осел. Тот передал кардиналу и распisał ему целый ад. Два дня спустя я выстрелил позади дворца в превысоком отверстии в дикого голубя, который сидел на яйцах в этом отверстии; а в этого самого голубя я видел, как стрелял много раз один золотых дел мастер, которого звали Джован Франческо делла Такка, миланец, и ни разу в него не попал. В тот день, когда я выстрелил, голубь высовывал только голову, остерегаясь из-за других раз, когда в него стреляли; а так как этот Джован Франческо и я, мы были соперники по ружейной охоте, то некоторые господа и мои приятели, бывшие у меня в мастерской, стали мне показывать, говоря: «Вон там голубь Джован Франческо делла Такка, в которого он столько раз стрелял, посмотри, это бедное животное остерегается, едва высовывает голову». Подняв глаза, я сказал: «Этой чуточки головы мне бы хватило, чтобы его убить, если бы только он меня подождет, пока я наведу свою пищаль». Эти господа сказали, что в него не попал бы и тот, кто был изобретателем пищали. На что я сказал: «Идет на кувшин греческого, того хорошего, от Паломбо-трактирщика, и что если он меня подождет, пока я наведу мой чудесный Броккардо, — потому что так я называл свою пищаль, — то я ему попаду в эту чуточку головки, которую он мне высовывает». Тотчас же прицелившись, с рук, не опирая и ничего такого, я сделал то, что обещал, не помышляя ни о кардинале и ни о ком другом; я даже считал кардинала весьма моим покровителем. Итак, да видит мир, когда судьба хочет взять и смертоубить человека, какие различные пути она избирает. Папа, надутый и хмурый, раздумывал о том, что ему сказал его сын.

Два дня спустя пошел кардинал Корнаро просить епископию у папы для одного своего дворянина, которого звали мессер Андреа Чентано. Папа, это верно, что обещал ему епископию; так как имелась свободная и кардинал напомнил папе, что тот ему это обещал, то папа подтвердил, что это правда и что он так и хочет ему ее дать; но что он хочет одолжения от его высокопреосвященства, а именно он хочет, чтобы тот вернул ему в руки Бенвенуто. Тогда кардинал сказал: «О, если ваше святейшество его простили и отдали его мне свободным, что скажет свет и про ваше святейшество, и про меня?» Папа возразил: «Я хочу Бенвенуто, и пусть всякий говорит, что хочет, раз вы хотите епископию». Добрый кардинал сказал, чтобы его святейшество дал ему епископию, а про остальное решил бы сам и делал бы затем все, что его святейшество и хочет, и может. Папа сказал, все-таки немного стыдась своего злодейского уже данного слова: «Я пошлю за Бенвенуто и, чтобы дать себе маленькое удовлетворение, помещу его внизу, в этих комнатах потайного сада, где он может поправляться, и ему не будет воспрещено, чтобы все его друзья приходили его повидать, и, кроме того, я велю его содержать, пока у нас не пройдет эта маленькая прихоть». Кардинал вернулся домой и послал мне тотчас же сказать через того, который ожидал епископию, что папа хочет меня обратно в руки; но что он будет держать меня в нижней комнате в потайном саду, где я буду посещаем всяким, так же, как это было в его доме. Тогда я попросил этого мессер Андреа, чтобы он согласился сказать кардиналу, чтобы тот не отдавал меня папе и чтобы предоставил сделать по-своему; потому что я велю себя завернуть в тюфяк и велю себя вынести из Рима в надежное место; потому что если он меня отдаст папе, то он наверняка отдаст меня на смерть. Кардинал, когда услышал это, думается, что он был бы готов это сделать; но этот мессер Андреа, которому выходила епископия, раскрыл это дело. Между тем папа тотчас же прислал за мной и велел меня поместить, как он и говорил, в нижнюю

комнату в своем потайном саду. Кардинал прислал мне сказать, чтобы я не ел ничего из тех кушаний, которые мне присылает папа, и что он будет присылать мне есть; а что то, что он сделал, он не мог сделать иначе, и чтобы я был покоен, что он будет мне помогать, пока я не стану свободен. Живучи таким образом, я был каждый день посещаем, и многие знатные вельможи предлагали мне много знатных вещей. От папы приходила пища, каковой я не трогал, а ел ту, которая приходила от кардинала Корнаро, и так я жил. Был у меня среди прочих моих друзей юноша грек, двадцати пяти лет от роду; был он силен чрезвычайно и действовал шпагой лучше, чем какой бы то ни было другой человек в Риме; умом он был недалек, но был вернейший честный человек и весьма легкий на веру. Он слышал, как говорили, что папа сказал, что хочет вознаградить меня за мои невзгоды. Это было верно, что папа вначале так говорил, но затем, впоследствии, он говорил иначе. Поэтому я доверился этому юноше греку и говорил ему: «Дорогой брат, они хотят меня убить, так что пора мне помочь; или они думают, что я этого не вижу, когда они мне оказывают эти необычайные милости, которые все делаются для того, чтобы меня предать?» Этот честный юноша говорил: «Мой Бенвенуто, в Риме говорят, что папа дал тебе должность с доходом в пятьсот скудо; так что я тебя прошу, уж пожалуйста, чтобы ты не делал так, чтобы это твое подозрение лишило тебя такой благостыни». А я все же просил его, скрестив руки, чтобы он убрал меня отсюда, потому что я хорошо знаю, что папа, подобный этому, может сделать мне много добра, но что я знаю наверное, что он замышляет сделать мне втайне, ради своей чести, много зла; поэтому пусть он делает скорее и постарается спасти мою жизнь от него; что если он вызволит меня отсюда, тем способом, каким я ему скажу, то я вечно буду ему обязан жизнью; если придет надобность, я ею пожертвую. Этот бедный юноша, плача, говорил мне: «О дорогой мой брат, ты все ж таки хочешь погубить себя, а я не могу тебя послушаться в том, что ты мне велишь; так что скажи мне способ, и я сделаю все то, что ты мне скажешь, хотя

бы это и было против моей воли». Так мы решили, и я ему дал все распоряжения, которые очень легко должны были нам удаться. Когда я думал, что он пришел, чтобы применить на деле то, что я ему велел, он пришел мне сказать, что, ради моего спасения, хочет меня послушаться и что хорошо знает то, что слышал от людей, которые стоят близко к папе и которые знают всю правду обо мне. Я, который не мог себе помочь никаким другим способом, пришел в недовольство и отчаяние. Это было в день тела господня в тысяча пятьсот тридцать девятом году.

CXV

Когда прошел, вслед за этой ссорой, весь этот день вплоть до ночи, из папской кухни пришла обильная пища; также из кухни кардинала Корнаро пришла отличнейшая еда; так как при этом случилось несколько моих друзей, то я их оставил у себя ужинать; и вот, держа перевязанную ногу в кровати, я весело поел с ними; так они оставались у меня. После часа ночи они затем ушли; и двое моих слуг уложили меня спать, затем легли в передней. Была у меня собака, черная, как ежевика, из этих лохматых, и служила мне удивительно на ружейной охоте, и никогда не отходила от меня ни на шаг. Ночью, так как она была у меня под кроватью, я добрых три раза звал слугу, чтобы он убрал ее у меня из-под кровати, потому что она скулила ужасно. Когда слуги входили, эта собака кидалась на них, чтобы их укусить. Они были напуганы и боялись, не взбесилась ли собака, потому что она беспрерывно выла. Так мы провели до четырех часов ночи. Когда пробило четыре часа ночи, вошел барджелл со многими челядью ко мне в комнату; тогда собака вылезла и набросилась на них с такой яростью, рвя их плащи и штаны, и привела их в такой страх, что они думали, что она бешеная. Поэтому барджелл, как лицо опытное, сказал: «Такова уж природа хороших собак, что они всегда угадывают и предсказывают беду, которая должна случиться с их хозяевами; возь-

мите двое палки и защищайтесь от собаки, а остальные пусть привяжут Бенвенуто к этому стулу, и несите его, вы знаете куда». Как я сказал, это было по прошествии дня тела господня и около четырех часов ночи. Эти понесли меня закутанным и укрытым, и четверо из них шли впереди, отгоняя тех немногих людей, которые еще встречались по дороге. Так они принесли меня в Торре ди Нона, место, называемое так, и поместили меня в смертную тюрьму, положив меня на тюфячишко и дав мне одного из этих стражей, каковой всю ночь печаловался о моей злой судьбе, говоря мне: «Увы, бедный Бенвенуто, что ты им сделал?» Так что я отлично понял, что должно со мной произойти, как потому, что место было такое, а также потому, что он дал мне это понять. Я провел часть этой ночи, мучась мыслью, какова может быть причина, что богу угодно послать мне такое наказание; и так как я ее не находил, то сильно терзался. Этот страж начал затем, как только умел, утешать меня; поэтому я заклинал его господом богом, чтобы он ничего мне не говорил и не разговаривал со мной, потому что сам по себе я скорее и лучше приму такое решение. Так он и обещал мне. Тогда я обратил все сердце к богу; и благоговейнейше его просил, чтобы ему угодно было принять меня в свое царствие; и что хотя я жаловался, то это потому, что эта такая кончина таким способом казалась мне весьма безвинной, поскольку позволяют повеления законов; и хотя я совершил человекоубийства, этот его наместник меня из моего города призвал и простил властью законов и своей; и то, что я сделал, все было сделано для защиты этого тела, которым его величество меня ссудило; так что я не сознаю, согласно повелениям, по которым живут на свете, чтобы я заслужил эту смерть; но что мне кажется, что со мной происходит то, что случается с некоторыми злополучными лицами, каковые, идучи по улице, им падает камень с какой-нибудь большой высоты на голову и убивает их; что явствует очевидно быть могуществом звезд; не то, чтобы они сговорились против нас, чтобы делать нам добро или зло, но это делается от их сочетаний, каковым мы подчинены; хоть я и сознаю, что обладаю

свободной волей, и если бы моя вера была свято упражнена, я вполне уверен, что ангелы неба унесли бы меня из этой темницы и надежно избавили бы меня от всех моих печалей; но так как мне не кажется, чтобы я был удостоен этого богом, то поэтому неизбежно, чтобы эти небесные влияния исполнили надо мною свою зловредность. И этим потерзавшись некоторое время, я затем решился и тотчас же унул.

CXVI

Когда рассвело, страж разбудил меня и сказал: «О злополучный честный человек, теперь не время больше спать, потому что пришел тот, который должен сообщить тебе дурную весть». Тогда я сказал: «Чем скорее я выйду из этой мирской темницы, тем для меня будет лучше, тем более, что я уверен, что душа моя спасена и что я умираю напрасно. Христос, славный и божественный, приобщает меня к своим ученикам и друзьям, которые, и он, и они, были умерщвлены напрасно; так же напрасно умерщвляюсь и я, и свято благодарю за это бога. Почему не входит тот, кто должен меня приговорить?» Страж тогда сказал: «Ему слишком жаль тебя, и он плачет». Тогда я окликнул его по имени, каковому имя было мессер Бенедетто да Кальи; я сказал: «Войдите, мой мессер Бенедетто, потому что я вполне готов и решился; мне гораздо больше славы умереть напрасно, чем если бы я умер по справедливости; войдите, прошу вас, и дайте мне священнослужителя, чтобы я мог сказать ему четыре слова; хоть этого не требуется, потому что мою святую исповедь я ее принес господу моему богу: но только, чтобы соблюсти то, что нам велит святая мать церковь; потому что, хоть она и чинит мне эту злодейскую несправедливость, я чистосердечно ей прощаю. Так что войдите, мой мессер Бенедетто, и кончайте со мной, пока чувства не начали мне изменять». Когда я сказал эти слова, этот достойный человек сказал стражу, чтобы он запер дверь, потому что без него не могла быть исполнена

эта обязанность. Он отправился в дом к супруге синьора Пьерлуиджи, каковая была вместе с выше-сказанной герцогиней; и, являсь к ним, этот человек сказал: «Светлейшая моя госпожа, соблаговолите, прошу вас ради бога, послать сказать папе, чтобы он послал кого-нибудь другого объявить этот приговор Бенвенуто и исполнить эту мою обязанность, потому что я от нее отказываюсь и никогда больше не хочу ее исполнять». И с превеликим сокрушением, вздыхая, удалился. Герцогиня, которая тут же присутствовала, искажая лицо, сказала: «Вот оно, правосудие, которое отправляется в Риме наместником божиим! Герцог, покойный мой муж, очень любил этого человека за его качества и за его дарования и не хотел, чтобы он возвращался в Рим, очень дорожа им возле себя». И ушла прочь, ворча, со многими недовольными словами. Супруга синьора Пьерлуиджи, ее звали синьора Иеролима, пошла к папе, и, бросившись на колени, при этом присутствовало несколько кардиналов, эта дама наговорила такого, что заставила папу покраснеть, каковой сказал: «Ради вас, мы его оставим, хоть мы никогда и не имели злых мыслей против него». Эти слова, папа их сказал, потому что он был в присутствии этих кардиналов, каковые слышали слова, которые сказала эта удивительная и смелая дама. Я был в превеликом беспокойстве, и сердце у меня билось непрерывно. Также были в беспокойстве все те люди, которые были назначены для этой недоброй обязанности, пока не настал обеденный час; в каковой час всякий человек пошел по другим своим делам, так что мне принесли обедать; поэтому, удивясь, я сказал: «Здесь возмогла больше правда, нежели зловерность небесных влияний; и я молю бога, если на то будет его воля, чтобы он избавил меня от этой ярости». Я начал есть и, как я сперва возымел решимость на мою великую беду, так теперь я возымел надежду на мое великое счастье. Я спокойно пообедал; так я оставался, никого не видя и не слыша, до часа ночи. В этот час явился барджелл с доброй частью своей челяди, каковой посадил меня опять на тот самый стул, на котором накануне вечером он меня принес в это место, и от-

туда, со многими ласковыми словами, мне, чтобы я не беспокоился, а своим стражникам велел заботиться о том, чтобы не ушибить мне эту ногу, которая у меня была сломана, как зеницу ока. Так они и сделали и отнесли меня в замок, откуда я ушел; и когда мы очутились высоко в башне, где дворик, там они меня оставили на время.

СХVII

Между тем вышесказанный кастеллан велел снести себя в то место, где я был, и, все такой же больной и удрученный, сказал: «Видишь, я тебя поймал?» — «Да, — сказал я, — но видишь, я все-таки убежал, как я тебе говорю? И если бы я не был продан, под папским словом, за епископию венецианским кардиналом и римским Фарнезе, каковые, и тот, и другой, исцарапали лицо пресвятым законам, ты бы никогда меня не поймал; но раз уж теперь ими введен этот скверный обычай, делай также и ты все самое дурное, что только можешь, потому что мне все безразлично на свете». Этот бедный человек начал очень громко кричать, говоря: «Увы! Увы! Ему безразлично, жить или умереть, и он еще смелее, чем когда был здоров; поместите его там, под садом, и никогда больше не говорите мне про него, потому что он причина моей смерти». Меня снесли под сад, в темнейшую комнату, где было много воды, полную тарантулов и множества ядовитых червей. Бросили мне наземь пакляный тюфячишко, и вечером мне не дали ужинать, и заперли меня на четыре двери; так я оставался до девятнадцати часов следующего дня. Тогда мне принесли есть; каковых я попросил, чтобы они дали мне некоторые из моих книг почитать; ни один из них ничего мне не сказал, но они передали этому бедному человеку, кастеллану, каковой спрашивал, что я говорю. На другое затем утро мне принесли одну мою книгу, итальянскую библию, и некую другую книгу, где были летописи Джован Виллани¹. Когда я попросил некоторые другие мои книги, мне было сказано, что больше я ничего не получу и что с меня

слишком много и этих. Так злосчастно я жил на этом тюфяке, насквозь промокшем, так что в три дня все стало водой, и я был все время не в состоянии двигаться, потому что у меня была сломана нога; и когда я все-таки хотел сойти с постели за нуждой моих испражнений, то я шел на четвереньках с превеликим трудом, чтобы не делать нечистоты в том месте, где я спал. Полтора часа в день у меня бывал небольшой отблеск света, каковой проникал ко мне в эту несчастную пещеру через крохотное отверстие; и только в эту малость времени я читал, а остальную часть дня и ночи я все время оставался во тьме терпеливо, никогда без мыслей о боге и об этой нашей бренности человеческой; и мне казалось, что, наверное, через немного дней я этим образом здесь и кончу мою злополучную жизнь. Однако, как только я мог, я сам себя утешал, размышляя, насколько мне было бы неприятнее, при разлучении с моей жизнью, почувствовать эту неопишемую муку ножа; тогда как, будучи в таком положении, я с нею разлучался в сонном дурмане, каковой стал для меня гораздо приятнее, чем то, что было прежде; и мало-помалу я чувствовал, как я гасну, пока наконец мое крепкое сложение не приспособилось к этому чистилищу. Когда я почувствовал, что оно приспособилось и привыкло, я решил сносить эту неопишемую тяготу до тех пор, пока оно само его у меня сносит.

СХVIII

Я начал сперва библию, и благоговейно ее читал и обдумывал, и так пленился ею, что, если бы я мог, я только бы и делал, что читал; но так как мне недоставало света, то тотчас же на меня набрасывались все мои горести и причиняли мне такое мучение, что много раз я решал каким-нибудь образом истребить себя сам; но так как они не давали мне ножа, то мне трудно было найти способ это сделать. Но один раз среди прочих я приладил толстое бревно, которое там было, и подпер его, вроде как западню; и хотел, чтобы оно обрушилось мне на голову; каковое размож-

жило бы мне ее сразу; и таким образом, когда я приладил все это сооружение, двинувшись решительно, чтобы его обрушить, как только я хотел ударить по нему рукой, я был подхвачен чем-то невидимым, и отброшен на четыре локтя в сторону от того места, и так испуган, что остался в обмороке; и так пробыл от расвета до девятнадцати часов, когда они мне принесли мой обед. Каковые, должно быть, приходили уже несколько раз, но я их не слышал; потому что когда я их услышал, вошел капитан Сандрино Мональди¹, и я слышал, как он сказал: «О несчастный человек! Так вот чем кончил такой редкий талант!» Услышав эти слова, я открыл глаза; поэтому увидел священников в столах², каковые сказали: «О, вы говорили, что он умер». Боцца сказал: «Я его застал мертвым, потому и сказал». Тотчас же они взяли меня оттуда, где я был, и, взяв тюфяк, который, весь промокший, стал, как макароны, выбросили его из этой комнаты; и когда пересказали все это кастеллану, он велел дать мне другой тюфяк. И так, припоминая, что это могло быть такое, что отвратило меня от этого самого предприятия, я решил, что это было нечто божественное и меня защитившее.

СХІХ

Затем ночью мне явилось во сне чудесное создание во образе прекраснейшего юноши и, как бы упрекая меня, говорило: «Знаешь ли ты, кто тот, кто ссудил тебя этим телом, которое ты хотел разрушить раньше времени?» Мне казалось, будто я отвечаю ему, что признаю все от бога природы. «Так значит, — сказал он мне, — ты пренебрегаешь его делами, раз ты хочешь их разрушить? Предоставь ему руководить тобою и не теряй упования на его могущество»; со многими другими словами столь удивительными, что я не помню и тысячной доли. Я начал размышлять о том, что этот ангельский образ сказал мне правду; и, окинув глазами тюрьму, увидел немного сырого кирпича, и вот потер его друг о друга, и сделал вроде как бы жижицу; затем, все так же на четвереньках, подошел к ребру этой самой

тюремной двери и зубами сделал так, что отколол от него небольшую щепочку: и, когда я сделал это, я стал дожидаться того светлого часа, который приходил ко мне в тюрьму, каковой был от двадцати с половиной до двадцати одного с половиной. Тогда я начал писать, как мог, на некоторых листках, которые имелись в книге библии, и укорял возмущенный дух моего рассудка, что он не хочет больше жить; каковой отвечал моему телу, извиняясь своим злополучием; а тело ему подавало надежду блага; и я написал диалогом так:

Мой дух, поникший в горе,
Увы, жестокий, ты устал от жизни!

Когда ты с небом в споре,
Кто мне поможет? Как вернусь к отчизне?
Дай, дай мне удалиться к лучшей жизни.

Помедли, ради бога,
Затем что небо к счастью
Готовит нас, какого мы не знали.

Я подожду немного,
Лишь бы творец своей всевышней властью
Меня от горшей оградил печали.

Обретая снова силу, после того как я сам себя утешил, продолжая читать свою библию, я так приучил свои глаза к этой темноте, что там, где сперва я читал обычно полтора часа, я теперь читал целых три. И так удивительно размышлял о силе могущества божьего в тех простейших людях, которые у меня с таким жаром верили, что бог изволял им все то, что они себе представляли; уповая также и сам на помощь от бога, как ради его божественности и милосердия, а также и ради моей невинности; и постоянно, то молитвою, то помыслами обращаясь к богу, я всегда пребывал в этих высоких мыслях в боге; так что на меня начала находить столь великая отрада от этих мыслей в боге, что я уже не вспоминал больше ни о каких горестях, которые когда-либо в прошлом у меня были, а пел целый день псалмы и многие другие мои сочинения, все направленные к богу. Только великое мучение мне

причиняли ногти, которые у меня отрастали; потому что я не мог до себя дотронуться без того, чтобы себя ими не поранить; не мог одеваться, потому что они у меня выворачивались то вовнутрь, то наружу, причиняя мне великую боль. Кроме того, у меня умирали зубы во рту; я это замечал, потому что мертвые зубы, подталкиваемые теми, которые были живы, мало-помалу продырявливали десны, и острия корней вылезали сквозь дно ячеек. Когда я это замечал, я их вытягивал, словно вынимал их из ножен, безо всякой боли или крови; так у меня их повылезло весьма изрядно. Примирившись, однако, и с этими новыми неприятностями, я то пел, то молился, то писал этим толченым кирпичом вышесказанным; и начал капитоло¹ в похвалу тюрьме, и в нем рассказывал все те приключения, которые я от нее имел, каковой капитоло напишется погода в своем месте.

СХХ

Добрый кастеллан часто втайне посылал узнать, что я делаю; и так как в последний день июля я много ликовал сам в себе, вспоминая великий праздник, который принято устраивать в Риме в этот первый день августа, то я сам себе говорил: «Все эти прошедшие годы этот веселый праздник я проводил с брэнностями мира; в этом году я его проведу уже с божественностью бога». И говоря себе: «О, насколько более рад я этой, нежели тем!» Те, кто слышал, как я говорил эти слова, все это передали кастеллану, каковом с изумительным неудовольствием сказал: «О боже! Он торжествует и живет в такой нужде. А я бедствую в таких удобствах, и умираю единственно из-за него! Идите живо и поместите его в ту наиболее подземную пещеру, где был умерщвлен голодом проповедник Фойано;¹ быть может, когда он увидит себя в такой беде, у него выйдет блажь из головы». Тотчас же пришел ко мне в тюрьму капитан Сандрино Мональди и с ним человек двадцать этих самых слуг кастеллана; и застали меня, что я был на коленях, и не оборачивался к ним, но молился

богу отцу, украшенному ангелами, и Христу, воскресающему победоносно, которых я себе нарисовал на стене куском угля, который я нашел прикрытым землей, после четырех месяцев, что я пролежал навзничь в постели со своей сломанной ногой; и столько раз мне снилось, что ангелы приходили мне ее врачевать, что после четырех месяцев я стал крепок, как если бы она никогда не была сломана. И вот они пришли ко мне, до того вооруженные, словно боялись, не ядовитый ли я дракон. Сказанный капитан сказал: «Ты же слышишь, что нас много и что мы с великим шумом к тебе идем, а ты к нам не оборачиваешься». При этих словах, представив себе отлично то худшее, что со мной могло случиться, и став привычным и стойким к беде, я им сказал: «К этому богу, который возносит меня к тому, что в небесах, я обратил душу мою, и мои созерцания, и все мои жизненные силы, а к вам я обернул как раз то, что нам подобает, потому что то, что есть доброго но мне, вы недостойны видеть и тронуть его не можете; так что делайте с тем, что ваше, все то, что вы можете». Этот сказанный капитан, боясь, не зная, что я хочу сделать, сказал четверым из тех, что были покрепче: «Положите в сторону все свое оружие». Когда они его положили, он сказал: «Живо, живо кидайтесь на него и хватайте. Ведь не дьявол же он, чтобы столько нас должно было его бояться? Теперь держите крепко, чтобы он у вас не вырвался». Я, схваченный и насилуемый ими, воображая много худшее, чем то, что со мной потом случилось, поднимая глаза к Христу, сказал: «О праведный боже, ты же оплатил на этом высоком древе все долги наши; почему же теперь должна оплачивать моя невинность долги тех, кого я не знаю? Но да будет воля твоя». Между тем они понесли меня прочь с зажженным факелом; думал я, что они хотят меня бросить в провал Саммало; так называется ужасающее место, каковое поглотило многих вот так же живьем, потому что они падают в основания замка, вниз, в колодезь. Этого со мной не случилось; поэтому мне казалось, что я очень дешево отделался: потому что они положили меня в эту отвратительную пещеру вышесказанную, где умер Фойано от

голода, и там меня оставили лежать, не причиняя мне иного зла. Когда они меня оставили, я начал петь «*De profundis clamavit*», «*Miserere*» и «*In te Domine speravi*»². Весь этот день первого августа я праздновал с богом, и все время у меня ликовало сердце надеждой и верой. На второй день они меня вытащили из этой ямы и отнесли меня обратно туда, где были эти мои первые рисунки этих образов божьих. К каковым когда я прибыл, то в присутствии их от сладости и веселия я много плакал. После этого кастеллан каждый день хотел знать, что я делаю и что я говорю. Папа, который слышал обо всем происшедшем, — а уж врачи приговорили к смерти сказанного кастеллана, — сказал: «Прежде, чем мой кастеллан умрет, я хочу, чтобы он умертвил, как ему угодно, этого Бенвенуто, который причина его смерти, дабы он не умер неотомщенным». Слыша эти слова из уст герцога Пьерлуиджи, кастеллан сказал ему: «Так, значит, папа отдает мне Бенвенуто и хочет, чтобы я ему отомстил? Не думайте в таком случае ни о чем и предоставьте это мне». Подобно тому, как сердце папы было злобным по отношению ко мне, так прехудо и мучительно было на первый взгляд сердце кастеллана; и в этот миг тот невидимый, который отвратил меня от желания убить себя, пришел ко мне, хоть невидимо, но с голосом ясным, и встряхнул меня, и поднял меня с ложа, и сказал: «Увы, мой Бенвенуто, скорее, скорее прибеги к богу с твоими обычными молитвами и кричи громко, громко!» Тотчас же, испуганный, я стал на колени и прочел много моих молитв громким голосом; после всех — «*Qui habitat in aëtorium*»;³ после этого я побеседовал с богом некоторое время; и в некое мгновение тот же голос, открытый и ясный, мне сказал: «Иди отдохнуть и не бойся больше». И это было, когда кастеллан, дав жесточайший приказ о моей смерти, вдруг взял его назад и сказал: «Разве не Бенвенуто тот, кого я так защищал, и тот, о ком я знаю навверное, что он невинен и что все это зло причинено ему напрасно? И как же бог смилостивится надо мной и над моими грехами, если я не прощу тем, кто учинил мне величайшие обиды? И почему я стану обижать человека достойного, невинного,

который оказал мне услугу и честь? Ладно, вместо того, чтобы его убивать, я даю ему жизнь и свободу; и оставляю в завещании, чтобы никто ничего с него не требовал по долгу за большие издержки, который он здесь должен был бы заплатить». Об этом услышал папа и очень рассердился.

СХХІ

Я пребывал тем временем с моими обычными молитвами и писал свой капитоло, и мне начали каждую ночь сниться самые веселые и самые приятные сны, какие только можно себе вообразить; и все время мне казалось, что я видимо вместе с тем, кого я невидимо услышал и слышал очень часто, у какого я не требовал никакой другой милости, как только просил его, и настойчиво, чтобы он свел меня куда-нибудь, откуда я бы мог увидеть солнце, говоря ему, что это единственное желание, которое у меня есть; и что если бы я, хотя бы только раз, мог его увидеть, то я бы затем умер довольным. Из всего того, что у меня было в этой тюрьме неприятного, все мне стало дружественным и любезным, и ничто меня не расстраивало. Однако эти приверженцы кастеллана, которые ожидали, что кастеллан меня повесит на том зубце, откуда я спустился, как он это говорил, увидев затем, что сказанный кастеллан принял другое решение, совершенно обратное тому, они, которые не могли этого вынести, все время учиняли мне какой-нибудь новый страх, через какой я должен был возыметь боязнь лишиться жизни. Как я говорю, ко всему этому я так привык, что ничего уже не страшился и ничто меня уже не трогало. Только это желание, чтобы мне приснилось, что я вижу солнечный шар. Так что, продолжая мои великие молитвы, все обращенные с любовью к Христу, я постоянно говорил: «О истинный сын божий, я молю тебя ради рождества твоего, ради твоей крестной смерти и ради славного твоего воскресения, чтобы ты меня удостоил, чтобы я увидел солнце, если не иначе, то хотя бы во сне; но если ты меня удостоишь, чтобы я его увидел этими

моими смертными глазами, я тебе обещаю прийти посетить тебя у твоего святого гроба». Это решение и эти мои наибольшие мольбы к богу, я их сотворил во второй день октября года тысяча пятьсот тридцать девятого. Когда настало затем следующее утро, каковое было в третий день сказанного октября, я проснулся на рассвете, до восхода солнца, приблизительно за час; и, приподнявшись с этого моего несчастного одра, я надел на себя кое-какую одежду, какая у меня была, потому что начало становиться свежо; и так, приподнявшись, я творил молитвы, еще более прилежные, чем когда-либо творил прежде; и в сказанных молитвах я с великими просьбами говорил Христу, чтобы он ниспослал мне хотя бы столько милости, чтобы я узнал, божественным внушением, за какой мой грех я несу столь великое наказание; и так как его божеское величество не пожелало удостоить меня лицецерения солнца, хотя бы во сне, то я просил его, ради всего его могущества и силы, чтобы он меня удостоил того, чтобы я знал, какова причина этого наказания.

СХХII

Сказав эти слова, этим невидимым, словно как бы ветром, я был подхвачен и унесен прочь и был приведен в палату, где этот мой невидимый теперь уже видимо мне явился в человеческом образе, в виде юноши с первым пушком; с лицом изумительнейшим, прекрасным, но строгим, не веселым; и показал мне на эту палату, говоря мне: «Все эти люди, которых ты видишь, это все те, которые доселе родились и затем умерли». Поэтому я его спросил, по какой причине он привел меня сюда; каковой мне сказал: «Иди со мной, и ты скоро узнаешь». В руке у меня оказался кинжальчик, а на теле кольчуга; и вот он повел меня по этой великой палате, показывая мне всех этих, которые бесконечными тысячами, то в одну сторону, то в другую, проходили. Проведя меня дальше, он вышел передо мной через маленькую дверцу в какое-то место, вроде как бы в узкую улицу; и когда он повлек меня за со-

бой в сказанную улицу, то при выходе из этой палаты я оказался безоружен и был в белой рубашке, а на голове у меня ничего не было, и я был по правую руку от сказанного моего спутника. Увидев себя таким образом, я удивился, потому что не узнавал этой улицы; и, подняв глаза, увидел, что солнечный свет ударяет в стену, как бы в фасад дома, у меня над головой. Тогда я сказал: «О друг мой, как мне сделать, чтобы я мог подняться настолько, чтобы мне увидеть самый солнечный шар?» Он указал мне на несколько ступеней, которые были тут же по правую от меня руку, и сказал мне: «Ступай туда сам». Я, отойдя от него немного, стал подниматься, задом наперед, вверх по этим нескольким ступеням, и начинал мало-помалу открывать близость солнца. Я торопился подняться; и настолько взошел кверху этим сказанным образом, что открыл весь солнечный шар. И так как сила его лучей, по их обыкновению, заставила меня закрыть глаза, то, заметив свою ошибку, я открыл глаза и, глядя в упор на солнце, сказал: «О мое солнце, которого я так желал, я больше не хочу видеть ничего другого, хотя бы твои лучи меня ослепили». Так я стоял, вперив в него глаза; и когда я постоял немножко таким образом, я вдруг увидел, как вся эта сила этих великих лучей кинулась в левую сторону сказанного солнца; и так как солнце осталось чистым, без своих лучей, я с превеликим наслаждением на него смотрел; и мне казалось удивительным, что эти лучи исчезли таким образом. Я размышлял, что это за божественная милость, которая мне была в это утро от бога, и говорил громко: «О дивное твое могущество, о славная твоя сила! Сколь большую милость ты мне творишь, чем то, чего я ожидал!» Мне казалось это солнце без своих лучей ни более ни менее как сосудом с чистейшим расплавленным золотом. Пока я созерцал это великое дело, я увидел, как посередине сказанного солнца что-то начало вздуться и как росли эти очертания этого самого вздутия, и вдруг получился Христос на кресте из того же вещества, что и солнце; и он был такой красоты в своем всеблагостном виде, какой разум человеческий не мог бы вообразить и тысячной доли; и

пока я это созерцал, я говорил громко: «Чудеса, чудеса! О боже, о милосердие твое, о могущество твое бесконечное, чего ты меня удостаиваешь в это утро!» И пока я созерцал и пока говорил эти слова, этот Христос подвигался в ту сторону, куда ушли его лучи, и посередине солнца снова что-то начало вздуться, как уже было раньше; и когда вздутие выросло, оно вдруг превратилось во образ прекраснейшей мадонны, которая как бы восседала очень высоко со сказанным сыном на руках, с прелестнейшим видом, словно смеясь; с той и с другой стороны она была помещена посреди двух ангелов, прекрасных настолько, насколько воображение не достигает. И еще я видел на этом солнце, по правую руку, фигуру, одетую подобно священнослужителю; она стояла ко мне спиной, а лицо имела обращенным к этой мадонне и к этому Христу. Все это я видел подлинным, ясным и живым, и беспрестанно благодарил славу божию превеликим голосом. Когда это удивительное дело было у меня перед глазами немногим более восьмой часа, оно от меня ушло; и я был перенесен на этот мой одр. Тотчас же я начал сильно кричать, громким голосом говоря: «Могущество божие удостило меня показать мне всю славу свою, каковой, быть может, никогда еще не видело ничье смертное око; так что поэтому я знаю, что буду свободен, и счастлив, и в милости у бога; а вы, злодеи, злодеями останетесь, несчастными, и в немилости божьей. Знайте, что я совершенно уверен, что в день всех святых, каковой был тот, когда я явился на свет ровно в тысяча пятисотом году, в первый день ноября, в следующую ночь в четыре часа, в этот день, который настанет, вы будете принуждены вывести меня из этой мрачной темницы; и не сможете поступить иначе, потому что я это видел своими глазами и на этом престоле божьем. Этот священнослужитель, который был обращен к богу и который стоял ко мне спиной, это был святой Петр, каковой предстательствовал за меня, стыдясь, что в его доме чинятся христианам такие тяжкие неправды. Так что скажите это, кому хотите, что никто не имеет власти делать мне отныне зло; и скажите этому господину, который держит меня здесь, что

если он даст мне или воску, или бумаги, и способ, чтобы я мог ему выразить эту славу божию, которая была мне явлена, я ему, наверное, сделаю ясным то, в чем, быть может, он сомневается».

СXXXII

Кастеллан, хотя врачи не имели больше никакой надежды на его спасение, все еще пребывал в твердом уме, и у него прошла эта сумасшедшая дурь, которая одолевала его каждый год; и так как он целиком и полностью предался душе, то совесть его угрызала, и он по-прежнему считал, что я потерпел и терплю величайшую неправду; и когда он велел передать папе те великие вещи, которые я говорил, папа послал ему сказать, как человек, который не верил ни в бога и ни во что, говоря, что я сошел с ума и чтобы он заботился, насколько можно больше, о своем здоровье. Услышав эти ответы, кастеллан прислал меня утешить и прислал мне чем писать, и воску, и некие палочки, сделанные, чтобы работать по воску, со многими любезными словами, которые мне сказал некий из этих его слуг, который меня любил. Этот был совсем обратное той шайке этих прочих злодеев, которым хотелось бы видеть меня мертвым. Я взял эту бумагу и этот воск и начал работать; и, пока я работал, я написал этот сонет, обращенный к кастеллану.

Когда б моя могла явить вам лира
Тот вечный свет, который в смертной доле
Мне дал господь, вам эта вера боле
Была б ценна, чем скипетр и порфира.

О, если б знал великий пастырь клира,
Что зрел я бога на его престоле,
Чего душа не может зреть, доколе
Не бросит лютого и злого мира;

Вмиг правосудия снятие двери
Разверзлись бы, и пал бы, цепью связан,
Гнев нечестивый, воссылая крики.

Имей я свет, дабы по крайней мере
Чертеж небес искусством был показан,
Мне был бы легче крест скорбей великий.

Когда на другой день пришел и принес мне мою еду этот слуга кастеллана, каковой меня любил, я ему дал этот сонет написанным; каковой, втайне от тех других, злых слуг, которые меня не любили, дал его кастеллану; каковой охотно выпустил бы меня, потому что ему казалось, что эта великая неправда, которая была мне учинена, была немалой причиной его смерти. Он взял сонет и, прочтя его несколько раз, сказал: «Это не слова и не мысли безумца, но человека хорошего и честного»; и тотчас же велел одному своему секретарю, чтобы тот отнес его папе и чтобы отдал его в собственные руки, прося его, чтобы он меня выпустил. Пока сказанный секретарь носил сонет папе, кастеллан прислал мне света на день и на ночь, со всеми удобствами, каких в этом месте можно было желать; почему я и начал оправляться от недомогания моей жизни, каковое стало превеликим. Папа прочел сонет несколько раз; затем послал сказать кастеллану, что очень скоро сделает нечто такое, что будет ему приятно. И несомненно, что папа затем охотно выпустил бы меня; но синьор Пьер Луиджи сказанный, его сын, почти против воли папы, держал меня там насильно. Когда уже приближалась смерть кастеллана, а я тем временем нарисовал и вылепил это удивительное чудо, в утро всех святых он прислал с Пьеро Уголини, своим племянником, показать мне некои драгоценные камни; каковые когда я увидел, я тотчас же сказал: «Это знак моего освобождения». Тогда этот юноша, который был человек премалого рассуждения, сказал: «Об этом ты никогда и не думай, Бенвенуто». Тогда я сказал: «Унеси прочь свои камни, потому что меня держат так, что я не вижу света, как только в этой темной пещере, в каковой нельзя распознать качества камней; а что до выхода из этой темницы, то не успеет кончиться этот день, как вы придете меня из нее взять; и это непременно должно быть так, и иначе сделать вы не можете». Он ушел и велел меня снова запереть; и, уйдя, отсутствовал больше двух часов по часам; затем пришел за мной без вооруженных, с двумя мальчиками,

чтобы они помогли меня поддерживать, и так повел меня в те большие комнаты, которые у меня были раньше, — это было в 1538 году, — дав мне все удобства, какие я требовал.

CXXV

Немного дней спустя, кастеллан, который считал, что я на воле и свободен, утесненный своим великим недугом, преставился от этой настоящей жизни, и взамен его остался мессер Антонио Уголини, его брат, каковой сообщил покойному кастеллану, своему брату, что он меня выпустил. Этот мессер Антонио, насколько я слышал, имел распоряжение от папы оставить меня в этой просторной тюрьме до тех пор, пока тот ему не скажет, что ему со мною делать. Этот мессер Дуранте¹, брешинянец, уже выше сказанный, сговорился с этим солдатом, аптекарем из Прато², дать мне съесть какую-нибудь жидкость среди моих кушаний, которая была бы смертоносной, но не сразу; подействовала бы через четыре или через пять месяцев. Они придумали положить в пищу толченого алмазу; каковой никакого рода яду в себе не имеет, но по своей неопишуемой твердости остается с преострыми краями и делает не так, как другие камни; потому что эта мельчайшая острота у всех камней, если их истолочь, не остается, а они остаются как бы круглыми; и только один алмаз остается с этой остротой; так что, входя в желудок, вместе с прочими кушаньями, при том вращении, которое производят кушанья, чтобы произвести пищеварение, этот алмаз пристаёт к хрящам желудка и кишок, и, по мере того, как новая пища подталкивает его все время вперед, этот приставший к ним алмаз в небольшой промежуток времени их прободает; и по этой причине умирают; тогда как всякий другой род камней или стеклов, смешанный с пищей, не имеет силы пристать и так и уходит с пищей. Поэтому этот мессер Дуранте вышесказанный дал алмаз кое-какой ценности одному из этих стражей. Говорили, что это было поручено некоему Лионе³, аретинскому золотых дел мастеру, вели-

кому моему врагу. Этот Лионе получил алмаз, чтобы его истолочь; и так как Лионе был очень беден, а алмаз должен был стоить несколько десятков скудо, то он заявил этому стражу, что этот порошок, который он ему даст, и есть тот самый толченный алмаз, который назначено было мне дать; и в то утро, когда я его получил, они мне его положили во все кушанья; было это в пятницу; я получил его и в салате, и в подливке, и в супе. Я с охотой принялся есть, потому что накануне постился. День этот был праздничный. Правда, я чувствовал, что пища у меня хрустит на зубах, но я и подумать не мог о таких злодействах. Когда я кончил обедать, то, так как на тарелке оставалось немного салата, мне попались на глаза некои мельчайшие осколки, каковые у меня остались. Я их тотчас же взял, и, подойдя к свету окна, которое было очень светлое, пока я их разглядывал, мне вспомнился тот хруст, который у меня производила утром пища, больше, чем обычно; и когда я еще раз хорошенько их рассмотрел, поскольку глаза могли судить, мне показалось решительно, что это толченный алмаз. Я тотчас же счел себя мертвым самым решительным образом и так, сокрушенно, прибег набожно к святым молитвам; и благо я так решил, то мне казалось наверное, что я кончен и мертв; и целый час я творил превеликие молитвы богу, благодаря его за эту столь приятную смерть. Раз мои звезды так уж мне судили, мне казалось, что я дешево отделался, уходя этой легкой дорогой; и я был доволен, и благословил свет и то время, что я на нем пробыл. Теперь я возвращался в лучшее царство, милостью божьей, ибо мне казалось, что я всенаверное ее обрел; и в то время, как я стоял с этими мыслями, я держал в руке некие мельчайшие крупинки этого мнимого алмаза, каковой я несомненнейше почитал таковым. Но так как надежда никогда не умирает, то я словно как бы прельстился чуточкой пустой надежды; каковая была причиной, что я взял чуточку ножик, и взял этих сказанных крупиц, и положил их на некое тюремное железо; затем, накрыв их плашмя острием ножа, сильно надавив, я почувствовал, что сказанный камень распадается; и, посмотрев хорошенько глазами, увидел, что

так оно действительно и есть. Тотчас же я облекся новой надеждой и сказал: «Это не мой враг, мессер Дуранте, а мягкий камешек⁴, каковой не может мне сделать ни малейшего вреда». И подобно тому, как я было решил молчать и умереть с миром этим способом, я принял новое намерение, но прежде всего возблагодарив бога и благословив бедность, которая, подобно тому, как много раз бывает причиной человеческой смерти, на этот раз была прямой причиной моей жизни; потому что, когда этот мессер Дуранте, мой враг, или кто бы он ни был, дал Лионе алмаз, чтобы тот мне его истолок, ценою в сто с лишком скудо, то этот, по бедности, взял его себе, а для меня истолок голубой берилл ценою в два карлино, думая, быть может, так как и это тоже камень, что он произведет то же действие, что и алмаз.

CXXVI

В это время епископ павийский, брат графа Сан Секондо, по имени монсиньор де'Росси Пармский, этот епископ был заточен в замке за некоем непорядки, некогда учиненные в Павии; и так как он был большой мой друг¹, то я высунулся из отверстия моей тюрьмы и позвал его громким голосом, говоря ему, что, дабы убить меня, эти разбойники дали мне толченого алмазу; и велел ему показать через одного его слугу некоторые из этих порошинок, у меня оставшихся; но я ему не сказал, что распознал, что это не алмаз; но говорил ему, что они, наверное, меня отравили после смерти этого достойного человека, кастеллана; и ту малость, что я еще живу, я просил его, чтобы он мне давал от своих хлебов по одному в день, потому что я больше не хочу есть ничего, что идет от них; и он мне обещал присылать мне от своей пищи. Этот мессер Антонио, который, конечно, к такому делу не был причастен, учинил весьма великий шум и пожелал увидеть этот толченый камень, думая также и он, что это алмаз; и, думая, что это предприятие исходит от папы, отнесся к нему этак полегоньку, после того как поразмыслил об этом случае. Я продолжал есть пищу, которую мне

присылал епископ, и писал непрерывно этот мой капитоло о тюрьме, помещая в него ежедневно все те приключения, которые вновь со мной случались, от раза к разу. Также сказанный мессер Антонио присылал мне есть с неким вышесказанным Джованни, аптекарем из Прато, тамошним солдатом. Этому, который был мне превраждебен и который и был тот, что принес мне этот толченый алмаз, я ему сказал, что ничего не желаю есть из того, что он мне носит, если сперва он сам передо мной не отведаст; он же мне сказал, что отведывают кушанья перед папами. На что я ответил, что подобно тому как дворяне обязаны отведывать кушанья перед папой, так и он, солдат, аптекарь, мужик из Прато, обязан отведывать их перед таким флорентинцем, как я. Этот наговорил великих слов, а я ему. Этот мессер Антонио, стыдясь немного, а также намереваясь заставить меня оплатить те издержки, которые бедный покойный кастеллан мне подарил, нашел другого из этих своих слуг, каковой был мне друг, и присылал мне мою еду; каковую вышесказанный любезно передо мной отведывал без дальнейших споров. Этот слуга говорил мне, что папа каждый день докучаем этим монсиньором ди Морлюком, каковой от имени короля беспрестанно меня требует, и что у папы нет особой охоты меня отдавать; и что кардиналу Фарнезе², некогда такому моему покровителю и другу, пришлось сказать, чтобы я не рассчитывал выйти из этой тюрьмы пока что; на что я говорил, что я из нее выйду наперекор всем. Этот достойный юноша просил меня, чтобы я молчал и чтобы не услышали, что я это говорю, потому что это мне очень повредило бы; и что это упование, которое я имею на бога, должно ожидать его милости, а мне надо молчать. Ему я говорил, что могуществу божию нечего бояться злобы неправосудия.

СХХVII

Когда так прошло немного дней, появился в Риме кардинал феррарский; каковой когда пошел учинить приветствие папе, папа так его задержал, что настало

время ужина. И так как папа был искуснейший человек, то ему хотелось иметь побольше досугу, чтобы поговорить с кардиналом об этих французских делишках. И так как за выпивкой говорят такие вещи, которые вне такого дела иной раз и не сказались бы; то поэтому, так как этот великий король Франциск во всех своих делах был весьма щедр, кардинал, который хорошо знал вкус короля, также и он вполне угодил папе, гораздо больше даже, нежели папа ожидал; так что папа пришел вот в какое веселье как поэтому, а также и потому, что имел обыкновение раз в неделю учинять весьма здоровенный кутеж, так что потом его выблевывал. Когда кардинал увидел доброе расположение папы, способное оказывать милости, он попросил меня от имени короля с великой настойчивостью, заявляя, что король имеет великое к тому желание. Тогда папа, чувствуя, что приближается к часу своего блева, и так как чрезмерное изобилие вина также делало свое дело, сказал кардиналу с великим смехом: «Сейчас же, сейчас же я хочу, чтобы вы отвели его домой». И, отдав точные распоряжения, встал из-за стола; а кардинал тотчас же послал за мной, пока синьор Пьер Луиджи про это не узнал, потому что он бы не дал мне никоим образом выйти из тюрьмы. Пришел папский посланец вместе с двумя вельможами сказанного кардинала феррарского, и в пятом часу ночи они взяли меня из сказанной темницы¹ и привели меня перед кардинала, каковой оказал мне неопикуемый прием; и там, хорошо устроенный, я остался себе жить. Мессер Антонио, брат кастеллана и на его месте, пожелал, чтобы я оплатил ему все издержки, со всеми теми прибавками, которых обычно хотят пристава и подобный народ, и не пожелал соблюсти ничего из того, что покойный кастеллан завещал, чтобы для меня было сделано. Это мне стоило многих десятков скудо, также и потому, что кардинал мне потом сказал, чтобы я очень остерегался, если я желаю блага своей жизни, и что если бы в тот вечер он меня не взял из этой темницы, то мне бы никогда не выйти; ибо он уже слышал, будто папа весьма жалеет, что меня выпустил.

Мне необходимо вернуться на шаг назад, потому что в моем капитоло встречается все то, о чем я говорю. Когда я жил эти несколько дней в комнате у кардинала, а затем в потайном саду у папы, то среди прочих моих дорогих друзей меня навестил один казначей, мессер Биндо Альтовити, какового по имени звали Бернардо Галуцци, каковому я доверил стоимость нескольких сот скудо, и этот юноша в потайном саду у папы меня навестил и хотел мне все вернуть, на что я ему сказал, что не сумел бы отдать свое имущество ни более дорогому другу, ни в место, где бы я считал, что оно будет более сохранно; каковой мой друг, казалось, корчился, до того не хотел, и я чуть ли не силой заставил его его сохранить. Выйдя в последний раз из замка, я узнал, что этот бедный юноша, этот сказанный Бернардо Галуцци, разорился; так что я лишился своего имущества. И еще, в то время, когда я был в темнице, ужасный сон; мне были изображены, словно как бы пером написаны у меня на лбу, слова величайшей важности; и тот, кто мне их изобразил, повторил мне добрых три раза, чтобы я молчал и не передавал их другим. Когда я проснулся, я почувствовал, что у меня лоб запачкан. Поэтому в моем капитоло о тюрьме встречается множество таких вот вещей. И еще мне было сказано, причем я не знал, что такое я говорю, все то, что потом случилось с синьором Пьер Луиджи¹, до того ясно и до того точно, что я сам рассудил, что это ангел небесный мне это внушил. И еще я не хочу оставить в стороне одну вещь, величайшую, какая случалась с другими людьми; и это для подтверждения божественности бога и его тайн, каковой удостоил меня этого удостоиться; что с тех пор, как я это увидел², у меня осталось сияние, удивительное дело, над моей головой, каковое очевидно всякого рода человеку, которому я хотел его показать, каковых было весьма немного. Это видно на моей тени утром при восходе солнца вплоть до двух часов по солнцу, и много лучше видно, когда на травке бывает этакая влажная роса; также видно и вечером при закате солнца. Я это заметил во Франции, в Па-

риже, потому что воздух в тамошних местах настолько более чист от туманов, что там оно виделось выраженным много лучше, нежели в Италии, потому что туманы здесь много более часты; но не бывает, чтобы я во всяком случае его не видел; и я могу показывать его другим, но не так хорошо, как в этих сказанных местах. Я хочу написать свой капитоло, сочиненный в тюрьме и в похвалу сказанной тюрьме; затем продолжу хорошее и худое, случавшееся со мной от времени до времени, а также и то, которое со мной случится в моей жизни.

Это капитоло я пишу для Лука Мартини³, обращаясь в нем к нему, как здесь можно слышать.

Кто хочет знать о всемогущем боге
И можно ли сравниться с ним хоть в мале,
Тот должен, я скажу, побыть в остроге,

Пусть тяготят его семья, печали
И немощи телесного недуга,
Да пусть еще придет из дальней дали.

А чтоб еще славней была заслуга,
Будь взят безвинно; без конца сиденье,
И не иметь ни помощи, ни друга.

Да пусть разграбят все твое именье;
Жизнь под угрозой; подчинен холую,
И никакой надежды на спасенье.

С отчаянья пойти напропалую,
Взломать темницу, прыгнуть с цитадели,
Чтоб в худшей яме пожалеть былую.

Но слушай, Лука, о главнейшем деле:
Нога в лубках, обманут в том, что свято,
Тюрьма течет, и нет сухой постели.

Забудешь, что и говорил когда-то,
А корм приносит с невеселым словом
Солдат, аптекарь, мужичье из Прато.

Но нет предела и искусе суровом:
Сесть не на что, единственно на судно;
А между тем все думаешь о новом.

Служителю велят неправосудно
Дверь отворять не больше узкой щели,
Тебя не слушать, не помочь, коль трудно.

Вот где рассудку множество веселий:
Быть без чернил, пера, бумаги, света,
А полон лучших дум от колыбели.

Жаль, что так мало сказано про это;
Измысли сам наитягчайший жребий,
Он подойдет для моего предмета.

Но чтобы нашей послужить потребе
И спеть хвалы, которых ждет Темница,
Не хватит всех, кто обитает в небе.

Здесь честные не мучились бы лица,
Когда б не слуги, не дурные власти,
Гнев, зависть, или спор, или блудница ⁴.

Чтоб мысль свою поведать без пристрастий:
Здесь познаешь и славить лик господень,
Все адские претерпевая страсти.

Иной, по мненью всех, как есть негоден,
А просидев два года без надежды,
Выходит свят, и мудр, и всем угоден.

Здесь утончаются дух, плоть, одежды;
И самый тучный исхудает ликом,
И на престол небес разверсты вежды.

Скажу тебе о чуде превеликом:
Пришла мне как-то мысль писать блажная,
Чего не сыщешь в случае толиком.

Хожу в каморке, голову терзая,
Затем, к тюремной двери ставши боком,
Откусываю щепочку у края;

Я мял кирпич, тут бывший ненароком,
И в порошок растер его, как тесто,
Затем его заквасил мертвым соком.

Пыл вдохновенья с первого присеста
Вошел мне в плоть, ей-ей, по тем дорогам,
Где хлеб выходит; нет другого места.

Вернусь к тому, что я избрал предлогом:
Пусть всякий, кто добро постигнуть хочет,
Постигнет зло, ниспосланное богом.

Любое из искусств тюрьма упрочит;
Так если ты захочешь врачеванья,
Она тебе всю кровь из жил источит.

Ты станешь в ней, не приложив старанья,
Речистым, дерзким, смелым без завета,
В добре и зле исполненным познанья.

Блажен, кто долго пролежит без света
Один в тюрьме и вольных дней дождется:
Он и в войне, и в мире муж совета.

Ему любое дело удастся,
И он настолько стал богат дарами,
Что мозг его уже не пошатнется.

Ты скажешь мне: «Ты оскудел годами,
А что ты в ней обрел столь нерушимо,
Чтоб грудь и перси наполнялись сами?»

Что до меня, то мной она хвалима;
Но я б хотел, чтоб всем была награда:
Кто заслужил, пусть не проходит мимо.

Пусть всякий, кто блюдет людское стадо,
В темнице умудряется сначала;
Тогда бы он узнал, как править надо.

Себя он вел бы, как и всем пристало,
И никогда не сбился бы с дороги,
И меньше бы смятенья всюду стало.

За те года, что я провел в остроге,
Там были чернецы, попы, солдаты,
И к наихудшим были меньше строги.

Когда б ты знал, как чувства болью сжаты,
Коль на твоих глазах уйдет подобный!
Жалеешь, что рожден на свет проклятый.

Но я молчу: я слиток чистопробный,
Который тратить надо очень редко,
И для работы не вполне удобный.

Еще одна для памяти заметка:
На чем я написал все это, Лука;
На книге нашего с тобою предка⁵.

Вдоль по полям располагалась мука,
Которая все члены мне скрутила,
А жидкость получилась вроде тука.

Чтоб сделать «О», три раза надо было
Макать перо; не мучат так ужасно
Повитых душ средь адского горнила.

Но так как я не первый здесь напрасно,
То я смолчу; и возвращусь к неволе,
Где мозг и сердце мучу ежечасно.

Я меж людей хвалю ее всех боле
И не познавшим заявляю круто:
Добру научат только в этой школе.

О, если бы позволили кому-то
Произнести, как я прочел намеренно:
«Возьми свой одр и выйди, Бенвенуто!»

Я пел бы «Верую», и «День последний»,
И «Отче наш», лия щедрот потоки
Хромым, слепым и нищим у обедни.

О, сколько раз мои бледнели щеки
От этих лилий, так что сердцу стали
Флоренция и Франция далеки!⁶

И если мне случится быть в шпитале⁷
И там бы благовещенье висело,
Сбегу, как зверь, чтоб очи не видали.

Не из-за той, чье непорочно тело,
Не от ее святых и славных лилий,
Красы небес и дольного предела;

Но так как нынче все углы покрыли
Те, у которых ствол в крюках ужасных,
Мне станет страшно, это не они ли.

О, сколько есть под их ярмом злосчастных,
Как я, рабов эмблемы незаконной,
Высоких душ, божественных и ясных!

Я видел, как упал с небес⁸, сраженный,
Тлетворный символ, устранив народы,
Потом на камне новый свет зажженный;

Как в замке, где я тщетно ждал свободы,
Разбился колокол,¹⁰ предрек мне это
Творящий в небе суд из рода в роды;

И вскоре черный гроб я видел где-то
Меж лилий сломанных;¹¹ и крест, и горе,
И множество простертых, в скорбь одето.

Я видел ту, с кем души в вечном споре,
Страшашей всех; и был мне голос внятней:
«Тебе вредящих я похищу вскоре».

Петровой тростью вестник благодатный
Мне начертал на лбу святые строки
И дал завет молчанья троекратный.

Того, кто солнца правит бег высокий,
В его лучах я зрел во всей святине,
Как человек не видит смертноокий.

Пел воробей вверху скалы в пустыне
Пронзительно; и я сказал: «Наверно,
Он к жизни мне поет, а вам к кончине».

И я писал и пел нелицемерно,
Прося у бога милости, защиты,
Затем что смерть мой взор гасила мерно.

Волк, лев, медведь и тигр не так сердиты,
У них до снежен крови меньше жажды,
И сами змеи меньше ядовиты:

Такой был лютый капитан¹² однажды,
Вор и злодей, с ним сволочь кой-какая;
Но молвлю тихо, чтоб не слышал каждый.

Ты видел, как валит ярыжъя стая
К бедняге забирать и скарб, и платье,
Христа и деву на землю швыряя?

В день августа они пришли всей братьей
Зарыть меня в еще сквернейшей яме;
Ноябрь, и всех рассеяло проклятье.

Я некоей трубе внимал ушами,
Вещавшей мне, а я вещал им въяве,
Не размышляя, одолен скорбями.

Увидев, что надеяться не вправе,
Они алмаз мне тайно дали и пище
Толченный, чтобы съесть, а не в оправе.

Я стал давать на пробу мужичище,
Мне корм носившему, и впал в тревогу:
«Должно быть, то Дуранте, мой дружище!»

Но мысли я сперва доверил богу,
Проя его простить мне прегрешенья,
И «Misereere» повторял помногу.

Когда затихли тяжкие мученья
И дух вступал в предел иной державы,
Готовый взнестся в лучшие селенья,

Ко мне с небес, несущий пальму славы,
Пресветлый ангел снизошел господень
И обещал мне долгий век и здравый,

Так говоря: «Тот богу не угоден,
Кто враг тебе, и будет в битве сгублен,
Чтоб стал ты счастлив, весел и свободен,

Отцом небесным и земным излюблен».



КНИГА ВТОРАЯ



I

Когда я жил во дворце вышесказанного кардинала феррарского¹, весьма уважаемый вообще всяким и много более посещаемый, нежели был прежде, ибо всякий человек еще пуше удивлялся тому, что я вышел и что я жил посреди стольких непомерных бедствий; пока я переводил дух, стараясь вспомнить свое искусство, я находил превеликое удовольствие в том, чтобы переписывать этот вышеписанный капитоло. Затем, чтобы лучше набраться сил, я принял решение отправиться прогуляться на воздух несколько дней, и с разрешением и лошадьми моего доброго кардинала, вместе с двумя римскими юношами, из которых один был работник моего цеха; другой его товарищ не был из цеха, но поехал, чтобы мне сопутствовать. Выехав из Рима, я направился в Тальякоче, думая найти там Асканио, вышесказанного моего воспитанника; и, приехав в Тальякоче, нашел сказанного Асканио, вместе с его отцом, и братьями, и сестрами, и мачехой. Целых два дня я был ими так ласкаем, что невозможно было бы и сказать; я поехал в Рим и увез с собой Асканио. По дороге мы начали разговаривать об искусстве, так что я изнывал от желания вернуться в Рим, чтобы

снова начать мои работы. Как только мы прибыли в Рим, я тотчас же приготовился работать и отыскал серебряный таз, каковой я начал для кардинала прежде, чем был заточен. Вместе со сказанным тазом был начат красивейший кувшинчик. Этот был у меня похищен с великим множеством других вещей большой цены. Над сказанным тазом я поставил работать Паголо вышесказанного. Также начал я сызнова кувшин, каковой был составлен из фигурок круглых и барельефом; и подобным же образом был составлен из круглых фигур и из рыб барельефом сказанный таз, такой богатый и так хорошо слаженный, что всякий, кто его видел, оставался восхищен как силою рисунка и замыслом, так и тщательностью, которую проявили эти юноши в сказанных работах. Кардинал приходил каждый день по меньшей мере два раза побыть со мною, вместе с мессер Луиджи Аламанни² и с мессер Габриель Чезано³, и тут час-другой весело проходило время. Несмотря на то, что у меня было много дела, он еще заваливал меня новыми работами; и дал мне делать свою архипастырскую печать. Каковая была величиною, как рука двенадцатилетнего мальчика; и на этой печати я вырезал две историйки воглубь; и одна была, когда святой Иоанн проповедовал в пустыне, другая — когда святой Амвросий изгнал этих ариан, изображенный на коне с бичом в руке⁴, так смело и хорошо нарисованный и так тщательно сработанный, что всякий говорил, что я превзошел этого великого Лаутицио, каковой занимался только этим искусством; и кардинал сравнивал ее, ради собственной гордости, с другими печатями римских кардиналов, каковые были почти все руки вышесказанного Лаутицио.

II

Еще добавил мне кардинал, вместе с этими двумя вышесказанными, что я должен ему сделать модель солонки; но что он хотел бы отступить от обычая тех, кто делал солонки. Мессер Луиджи об этом, по поводу

этой соли, сказал много удивительных вещей; мессер Габриелло Чезано, также и он, по этому поводу, сказал прекраснейшие вещи. Кардинал, весьма благосклонный слушатель и чрезвычайно удовлетворенный рисунками, которые на словах сделали эти два даровитейших человека, обратясь ко мне, сказал: «Мой Бенвенуто, рисунок мессер Луиджи и рисунок мессер Габриелло так мне нравятся, что я не знал бы, который из двух мне выбрать. Поэтому полагаюсь на тебя, которому придется его выполнять». Тогда я сказал: «Взгляните, господа, сколь важны дети королей и императоров и на тот изумительный блеск и божественность, что в них является. Тем не менее, если вы спросите у бедного смиренного пастуха, к кому у него больше любви и больше привязанности, к этим сказанным детям или к своим, наверное он скажет, что у него больше любви к своим детям. Поэтому также и у меня великая любовь к моим детям, которых из этого моего художества я рождаю; так что первое, что я вам покажу, высокопреосвященный монсиньор мой покровитель, будет моей работой и моим измышлением, потому что многое бывает прекрасно на словах, а когда потом делаешь, то в работе оно не слаживается». И, обратясь к обоим этим даровитейшим людям, я сказал: «Вы сказали, а я сделаю». Мессер Луиджи Аламанти, тогда смеясь, с величайшей приятностью добавил в мою пользу много остроумных слов; и они ему шли, потому что он был красивой внешности и телосложения, и с мягким голосом; мессер Габриелло Чезано был совершенная изнанка, настолько некрасивый и настолько неприятный; и так, сообразно своей наружности, он и сказал. Мессер Луиджи на словах начертал, чтобы я сделал Венеру с Купидоном, вместе со многими приятностями, все подходящими; мессер Габриелло начертал, чтобы я сделал Амфитриту, жену Нептуна, вместе с этими Нептуновыми Тритонами и многим другим, весьма хорошим на словах, но не на деле. Я сделал овальную подставку, величиной изрядно больше полулоктя, почти в две трети, а поверх этой подставки, подобно тому, как бывает, что море обнимается с землей, я сделал две

фигуры размером изрядно больше пяди, каковые сидели, заходя ногами одна в другую, как мы видим иные длинные морские заливы, которые заходят в землю; и в руку мужчине-моря я дал корабль, богатейшей работы; в этом корабле удобно и хорошо умещалось много соли; под ним¹ я приспособил этих четырех морских коней; в правой руке сказанного моря я поместил ему трезубец. Землю я сделал женщиной, настолько прекрасного вида, насколько я мог и умел, красивой и изящной; под руку ей я поместил храм, богатый и разукрашенный, поставленный наземь, и она на него опиралась сказанной рукой; его я сделал, чтобы держать перец. В другую руку поместил рог изобилия, украшенный всеми красотами, какие я только знал на свете. Под этой богиней, и в той части, которая являла быть землей, я приспособил всех тех красивейших зверей, каких производит земля. Под частью моря я изобразил весь прекраснейший подбор рыб и раковин, какой могло вместить это малое пространство; на остальной части овала, по его толще, я сделал много богатейших украшений. Затем, дождавшись кардинала, каковой пришел с этими двумя даровитыми людьми, я вынул эту мою восковую работу; при виде каковой с великим шумом первый начал мессер Габриель Чезано и сказал: «Это работа, которой не кончить и в десять человеческих жизней; и вы, высокопреосвященнейший монсиньор, который ее хотите, в жизнь свою ее не получите; таким образом, Бенвенуто хотел вам свое детище показать, но не дать, как то делали мы, каковые говорили о таких вещах, которые можно сделать, а он вам показал такие, которых сделать нельзя». Тут мессер Луиджи Аламанни стал на мою сторону, потому что тот² не хотел затевать столь великого предприятия. Тогда я повернулся к ним и сказал: «Высокопреосвященнейший монсиньор, и вам, исполненным дарований, я говорю, что эту работу я надеюсь сделать тому, кто будет ее иметь, и каждый из вас, вы ее увидите оконченной в сто раз богаче, нежели модель; и я надеюсь, что у нас останется еще много времени, чтобы понаделать и гораздо

больших; чем эта». Кардинал сказал, рассерженный: «Если ты ее не сделаешь для короля, куда я тебя везу, то я не думаю, чтобы ты для кого-нибудь другого мог ее сделать». И он показал мне письмо, где король, в одном месте, писал, чтобы он скоро возвращался, взяв с собою Бенвенуто, а я поднял руки к небу, говоря: «О, когда же наступит это скоро?» Кардинал сказал, чтобы я привел в порядок и справил мои дела, какие у меня были в Риме, в десять дней.

III

Когда пришло время отъезда, он дал мне красивого и доброго коня; и звал он его Торнон, потому что кардинал Торнон¹ подарил его ему. Также и Паголо и Асканио, мои воспитанники, были снабжены лошадьми. Кардинал поделил свой двор, каковой был превелик: одну часть, более знатную, он повез с собой; с нею он поехал по Романье, чтобы захватить поклониться Лоретской мадонне, а оттуда затем в Феррару, к себе домой; другую часть он направил на Флоренцию. Это была наибольшая часть; и было ее великое множество, с красною его конницы. Мне он сказал, что если я хочу ехать безопасно, то чтобы я ехал с ним; если же нет, то я подвергаю опасности жизнь. Я выразил намерение его высокопреосвященству поехать с ним; а так как то, что предуказано небесами, должно случиться, то богу было угодно, чтобы мне пришла на память бедная моя родная сестра, у которой было столько великих огорчений из-за моих великих бед. Также пришли мне на память мои двоюродные сестры, каковые были в Витербо монахинями, одна аббатисой, а другая ключницей, так что они были управительницами этого богатого монастыря; и так как они имели обо мне столь тяжкие печали и столько за меня сотворили молитв, то я был совершенно уверен, что молитвами этих бедных девушек снискал у бога милость моего спасения. Поэтому, когда все это мне пришло на память, я повернул в сторону Флоренции; и хотя я бы ехал без всяких расхо-

дов либо с кардиналом, либо с другим его поездом, я решил ехать сам по себе; и сопутствовал мне один превосходнейший часовых дел мастер, которого звали маэстро Керубино, большой мой друг. Случайно встретившись, мы совершали это путешествие весьма приятно вместе. Выехав из Рима в страстной понедельник², мы ехали только втроем³, а в Монте Руози я нашел сказанного попутчика, а так как я выразил намерение ехать с кардиналом, то я никак не думал, что кто-нибудь из этих моих врагов станет меня как-нибудь подстергать. На самом же деле я попал в Монте Руози неудачно, потому что вперед нас был послан отряд хорошо вооруженных людей, чтобы мне досадить; и богу было угодно, чтобы, пока мы обещали, они, которые получили указание, что я еду отдельно от кардинальского поезда, приготовились учинить мне зло. Тут как раз подоспел сказанный кардинальский поезд, и с ним весело и невредимо я ехал до самого Витербо; так что оттуда и дальше я уже не знал больше опасности, и даже ехал всегда впереди на несколько миль; а те лучшие люди, которые были в этом поезде, весьма меня почитали. Прибыл я с божьей помощью здоров и невредим в Витербо, и здесь мне были учинены превеликие ласки этими моими сестрами и всем монастырем.

IV

Выехав из Витербо с вышесказанными, мы ехали верхами, когда впереди, а когда позади сказанного кардинальского поезда, так что в страстной четверг, в двадцать два часа, мы оказались в одном перегоне от Сиены; и увидав, что там имеется несколько обратных кобыл и что почтари поджидают, чтобы дать их какому-нибудь путешественнику, за небольшие деньги, чтобы он вернул их на сиенскую почту, увидав это, я слез с моего коня Торнона, и приладил на эту кобылу мою подушку и стремяна, и дал джулио одному из этих почтовых слуг. Оставив своего коня моим юношам, чтобы они мне его доставили, я сразу поехал

вперед, чтобы прибыть в Сиену на полчаса раньше, как для того, чтобы навестить некоего моего друга, и для того, чтобы справить кое-какие другие мои дела; однако, хоть я и ехал быстро, сказанную кобылу я не гнал. Когда я прибыл в Сиену, и взял в гостинице хорошие комнаты, сколько их было нужно для пяти человек, и с хозяйским слугой отослал сказанную кобылу на почту, которая находилась за Камоллийскими воротами, и на сказанной кобыле я забыл свои стремена и свою подушку. Провели мы вечер страстного четверга очень весело; наутро затем, которое было страстная пятница, я вспомнил про свои стремена и про свою подушку. Когда я за нею послал, этот почтовый смотритель сказал, что не желает мне ее возвращать, потому что я загнал его кобылу, Несколько раз посылалось туда и обратно, и он всякий раз говорил, что не желает мне их возвращать, со многими оскорбительными и нестерпимыми словами; и хозяин, у которого я остановился, мне сказал: «Вы дешево отдаетесь, если он вам ничего другого не сделает, как только не отдаст подушку и стремена». И добавил, говоря: «Знайте, что это самый зверский человек, какой когда-либо имелся в этом городе, и при нем здесь двое сыновей, люди военные, храбрейшие, еще более зверские, чем он; так что купите заново то, что вам нужно, и поезжайте себе, ничего ему не говоря». Я купил пару стремян, думая все же ласковыми словами заполучить обратно свою славную подушку; и так как у меня была отличная лошадь, и я был хорошо защищен кольчугой и наручами, и с чудесной аркебузой у луки, то меня не страшило это великое зверство, которым тот говорил, что отличается этот сумасшедший зверь. К тому же я приучил этих моих юношей носить кольчугу и наручи, и очень полагался на этого римского юношу, который, мне казалось, никогда ее не снимал, когда мы жили в Риме; также и Асканио, который хоть и был совсем молоденький, также и он ее носил; а так как была страстная пятница, то я думал, что сумасшествие сумасшедших должно же иметь хоть немного отдыха. Приехали мы к сказанным Камоллийским воротам; тут я увидел

и узнал, по приметам, которые мне были даны, потому что он был крив на левый глаз, этого почтового смотрителя. Подъехав к нему и оставив в стороне этих моих юношей и этих спутников, я любезно сказал: «Почтовый смотритель, если я вас заверяю, что я не гнал вашей кобылы, почему вам не согласиться вернуть мне мою подушку и мои стремяна?» На это он ответил поистине тем сумасшедшим, зверским образом, как мне говорили; поэтому я ему сказал: «Как, разве вы не христианин!? Или вы хотите в страстную пятницу срамить и себя, и меня?» Он сказал, что ему все равно, что страстная пятница, что чертова пятница, и что если я отсюда не уберусь, то копьем, которое он взял, он меня скинет наземь вместе с этой аркебузой, что у меня в руке. На эти суровые слова подошел пожилой дворянин, сиенец, одетый по-гражданскому, каковой возвращался с молитв, какие приняты в этот день; и, отлично услышав издали все мои речи, смело подошел выговаривать сказанному почтовому смотрителю, став на мою сторону, и бранил обоих его сыновей за то, что они не исполняют долга перед проезжими иностранцами и что таким образом они поступают против бога и учиняют срам городу Сиене. Эти два молодца, его сыновья, покачав головой, ничего не сказав, ушли себе прочь внутрь своего дома. Бешеный отец, растравленный словами этого почтенного дворянина, вдруг с постыдными богохульствами наклонил копьё, клянясь, что им он хочет меня убить во что бы то ни стало. Увидев эту зверскую решимость, чтобы держать его поодаль, я показал вид, что навожу на него дуло моей аркебузы. Когда он, еще пуще разъярясь, кинулся на меня, то аркебуза, которую я держал, хоть я была готова для моей защиты, но я еще не опустил ее настолько, чтобы она приходилась против него, а была дулом кверху; и сама выстрелила. Пуля ударилась об свод двери и, отскочив назад, попала в ствол горла сказанному, каковой и упал наземь мертвым. Прибежали оба сына второпях, и один схватил оружие из козел, другой схватил отцовское копьё: и набросившись на этих моих юношей, тот сын, у которого было копьё, ударил сперва

Паголо, римлянина, повыше левой груди; другой кинулся на одного миланца, который был с нами, у какового был вид как у ошалелого; и не помогло ему, что он умолял, говоря, что не имеет со мной ничего общего, и защищаясь против остря протазана палочкой, которая у него была в руке; каковою он не так уж мог отбиваться; так что был ранен немного в рот. Этот мессер Керубино был одет священником, и, хотя он был превосходнейший часовых дел мастер, как я сказал, он имел от папы бенефиции с хорошими доходами. Асканио, хоть он и был отлично вооружен, и не подумал бежать, как сделал этот миланец; так что обоих их не тронули. Я подбоднул коня и, пока он скакал, живо привел в порядок и зарядил свою аркебузу, и повернул в бешенстве обратно, считая, что до сих пор я шутил, и чтобы теперь поступить по-настоящему, и думал, что эти мои юноши убиты; я с решимостью ехал, чтобы умереть и сам. Не много шагов пробежал конь обратно, как я их встретил, едущими мне навстречу, у каковых я спросил, не пострадали ли они. Асканио ответил, что Паголо ранен копьем на смерть. Тогда я сказал: «О Паголо, сын мой, так значит, копье пробило кольчугу?» — «Нет, — он сказал, — потому что кольчугу я уложил в мешок сегодня утром». — «Так значит, кольчуги носят в Риме, чтобы показаться красавцем перед дамами? А в местах опасных, там, где требуется их иметь, их держат в мешке? Все те беды, которые с тобой случились, ты вполне заслужил, и ты причиной, что я еду умереть туда и сам сейчас». И пока я говорил эти слова, я все время упорно поворачивал обратно. Асканио и он просили меня, чтобы я согласился ради бога спасти себя и спасти их, потому что это значило ехать на верную смерть. Тут я встретил этого мессер Керубино, вместе с этим раненым миланцем; он мне сразу же закричал, говоря, что никто не пострадал и что удар по Паголо пришелся настолько вскользь, что не проткнул; а что этот почтовый старик остался на земле мертвым, и что сыновья со многими другими людьми приготовились, и что они, наверно, всех нас изрубили бы на куски. «Поэтому, Бенвенуто, раз уж судьба спасла

нас от этой первой грозы, не пытай ее больше, потому что она нас не спасла бы». Тогда я сказал: «Раз вам этого довольно, то и мне довольно». И, обернувшись к Паголо и Асканио, я им сказал: «Подбодните ваших коней, и поскачем до самой Стаджи¹, не останавливаясь, и там мы будем безопасны». Этот раненый миланец сказал: «Чтобы черт побрал грехи! Потому что эта беда, которая со мной случилась, это только из-за греха мясной похлебки, которой я поел вчера немного, не имея ничего другого, чем бы пообедать». При всех наших великих мучениях, мы были вынуждены как-никак посмеяться над этим дураком и над этими глупыми словами, которые он сказал. Мы подбоднули коней и оставили мессер Керубино и миланца, чтобы они ехали себе, как им удобно.

V

Тем временем сыновья умершего побежали к герцогу Мельфи¹, чтобы он дал им несколько всадников, чтобы настигнуть нас и схватить. Сказанный герцог, узнав, что мы из людей кардинала феррарского, не пожелал дать ни лошадей, ни разрешения. Тем временем мы прибыли в Стаджу, где там мы были безопасны. Прибыв в Стаджу, мы стали искать врача, самого лучшего, какого в этом месте можно было достать; и когда ему показали сказанного Паголо, то рана проходила только кожей, и я увидал, что никакого худа ему не будет. Мы велели подать обедать. Тем временем появился мессер Керубино и этот шалый миланец, который то и дело посылал к чертям всякие ссоры и говорил, что он отлучен от церкви, потому что ему не удалось прочесть в это святое утро ни одного «Отче наш». Так как он был уродлив лицом, а рот имел большой от природы; к тому же от раны, которую он в него получил, рот у него вырос на три с лишним пальца; и с этим своим забавным миланским говором, и с этим дурацким языком, все те слова, которые он говорил, давали нам такой повод смеяться, что, вместо того, чтобы сетовать на судьбу,

мы не могли не смеяться при каждом слове, которое он говорил. Когда врач хотел ему зашить эту рану у рта и уже сделал три стежка, он сказал врачу, чтобы тот подождал немного, потому что он бы не хотел, чтобы тот ему по какой-либо вражде зашил его весь; и взял в руку ложку, и говорил, что хочет, чтобы тот ему его оставил настолько открытым, чтобы эта ложка могла туда войти, так чтобы он мог вернуться живым к своим. Эти слова, которые он говорил с таким мотаньем головой, давали столь великие поводы смеяться, что, вместо того, чтобы сетовать на нашу злую судьбу, мы не переставали смеяться; и так, все время смеясь, мы добрались до Флоренции. Мы поехали спешиться у дома моей бедной сестры, где мы и были моим шурином и ею весьма удивительно обласканы. Этот мессер Керубино и миланец отправились по своим делам. Мы пробыли во Флоренции четыре дня, в течение каковых Паголо выздоровел; но удивительное было дело, что всякий раз, когда говорилось об этом глупом миланце, нас разбирал такой же смех, как разбирали слезы об остальных случившихся несчастях; так что всякий раз в одно и то же время и смеялось, и плакалось. Паголо выздоровел легко; затем мы отправились в Феррару, и нашего кардинала застали, что он еще не приехал в Феррару, и он уже слышал обо всех наших приключениях; и, соблезнуя, сказал: «Я молю бога, чтобы он даровал мне такую милость, чтобы я довез тебя живым к этому королю, которому я тебя обещал». Сказанный кардинал отвел мне в Ферраре один свой дворец, прекраснейшее место, называемое Бельфиоре; примыкает к городским стенам; тут он велел меня устроить, чтобы работать. Затем собрался ехать без меня во Францию; и, видя, что я остался очень недоволен, сказал мне: «Бенвенуто, все то, что я делаю, это для твоего же блага; потому что прежде, чем взять тебя из Италии, я хочу, чтобы ты в точности знал заранее, что ты едешь делать во Францию; тем временем торопи, как только можешь, этот мой таз и кувшинчик; и все то, что тебе требуется, я оставлю распорядке одному моему управляющему, чтобы он

тебе давал». И когда он уехал, я остался очень недоволен, и много раз имел желание уехать себе с богом; но только меня удерживало то, что он освободил меня от папы Павла, потому что, в остальном, я был недоволен и в большом убытке. Однако же, облечшись в ту благодарность, которой заслуживало полученное благодеяние, я расположился иметь терпение и посмотреть, какой будет конец этому предприятию; и, принявшись работать с этими моими двумя юношами, я подвинул весьма удивительно вперед этот таз и этот кувшин. Там, где нас поселили, воздух был плохой, и так как дело шло к лету, то все мы захворали немало. В этих наших недомоганиях мы ходили смотреть место, где мы жили, каковое было огромнейшее и оставлено диким почти на милю открытой земли, на каковой было множество местных павлинов, которые как дикие птицы там плодились. Увидев это, я зарядил свою пищаль неким бесшумным порохом; затем подстерегал этих молодых павлинов, и каждые два дня я убивал по одному, каковой преизбыточно нас питал, но такого качества, что все болезни от нас ушли; и мы были заняты эти несколько месяцев тем, что превесело работали и подвигали вперед этот кувшин и этот таз, что было делом, которое брало очень много времени.

VI

В это время герцог феррарский договорился с папой Павлом римским насчет некоторых их давних распрей, которые у них были из-за Модены и некоторых других городов; каковые, так как права здесь была церковь, герцог заключил этот мир¹ со сказанным папой силою денег; каковое количество было велико; мне кажется, что оно превышало триста тысяч камеральных дукатов. Был у герцога в это время некий старый казначей, воспитанник герцога Альфонсо, его отца, какового звали мессер Джироламо Джиролиоло. Не мог этот старик снести эту обиду, что такое множество денег уходит к папе, и ходил, крича по ули-

цам, говоря: «Герцог Альфонсо, его отец, с этими деньгами скорее отнял бы у него с ними Рим, чем показал бы их ему». И не было такого способа, чтобы он согласился их выплатить. Когда, наконец, герцог заставил его их выплатить, этого старика постиг столь великий понос, что привел его почти что к смерти. Тем временем, что он был болен, меня позвал сказанный герцог и пожелал, чтобы я его изобразил, что я и сделал в круге черного камня, величиною со столовое блюдо. Герцогу нравились эти мои труды вместе со многими приятными разговорами; каковые две вещи нередко приводили к тому, что по четыре и по пять часов, по меньшей мере, он бывал занят тем, что давал себя изображать, и иной раз сажал меня ужинать за свой стол. На протяжении недели я ему кончил это изображение его головы; затем он мне велел, чтобы я сделал оборот; на каковом была изображена в виде Мира женщина с факельцем в руке, которая сжигала оружейный трофей; каковую я сделал, эту сказанную женщину, с радостной осанкой, в легчайших одеждах, прекраснейшего изящества; а под ногами у нее я изобразил, удрученным, и печальным, и связанным многими цепями, отчаявшийся Раздор². Эту работу я сделал со многим старанием, и она принесла мне превеликую честь. Герцог не мог насытиться провозглашать себя удовлетворенным и дал мне надписи к голове его светлости и к обороту. Та, что к обороту, гласила: «*Pretiosa in conspectu Domini*»³. Она показывала, что этот мир проданся ценою денег.

VII

В то время, пока я делал этот сказанный оборот, кардинал мне написал, говоря мне, чтобы я готовился, потому что король меня спрашивал; и что в первом же его письме будет перечень всего того, что он мне обещал. Я велел уложить мой таз и мой кувшин как следует и уже показал его герцогу. Ведал кардинальские дела один феррарский дворянин, какового звали по имени мессер Альберто Бендедио. Этот человек

просидел дома двенадцать лет, не выходя никогда, по причине некоей своей немощи. Однажды он с превеликой поспешностью послал за мной, говоря мне, что я немедленно должен сесть на почтовых, чтобы ехать к королю, каковой с великой настойчивостью меня спрашивал, думая, что я во Франции. Кардинал в свое извинение сказал, что я остался в одном его аббатстве в Лионе немного больным, но что он устроил, чтобы я был скоро у его величества; потому-то он так и заботится, чтобы я ехал на почтовых. Этот мессер Альберто был весьма достойный человек, но он был горд, а из-за болезни горд невыносимо; и, как я говорю, он мне сказал, чтобы я живо собрался, чтобы ехать на почтовых. На что я сказал, что моим искусством на почтовых не занимаются и что если я должен туда ехать; то я хочу ехать спокойными перегонами и взять с собой Асканио и Паголо, моих работников, каковых я вывез из Рима; и, кроме того, я хочу с нами слугу верхом, для моих услуг, и столько денег, чтобы мне хватило доехать дотуда. Этот больной старик с надменнейшими словами мне ответил, что таким способом, как я говорю, и не иначе, ездят сыновья герцога. Я ему тотчас же ответил, что сыновья моего искусства ездят таким способом, как я сказал, и что так как я никогда не был герцогским сыном, то, как те ездят, я не знаю, а что если он будет употреблять со мной эти непривычные для моих ушей слова, то я и вовсе не поеду, так как кардинал не исполнил передо мной своего обещания, а он еще прибавил мне эти грубые слова, то я решу наверняка, что не желаю больше связываться с феррарцами; и, повернувшись к нему спиной, я ворча, а он грозя, я ушел. Я отправился к вышесказанному герцогу с оконченной его медалью; каковой учинил мне самые лестные ласки, какие когда-либо учинялись на свете человеку; и велел этому своему мессер Джироламо Джилиоло, чтобы за эти мои труды он сыскал перстень с алмазом ценою в двести скудо и чтобы дал его Фиаскино, его дворецкому, дабы тот мне его дал. Так и сделали. Сказанный Фиаскино, в тот вечер, когда днем я ему дал медаль, в час ночи мне вручил перстень с алмазом в нем, каковой был

весьма видный, и сказал такие слова от имени своего герцога: чтобы эта единственная мастерская рука, которая так хорошо работала, на память об его светлости этим алмазом себя украсила, сказанная рука. Когда наступил день, я рассмотрел сказанный перстень, каковой был тоненький алмазишко, ценою скудо в десять приблизительно; и так как столь изумительные слова, которые этот герцог велел мне передать, я, который не хотел, чтобы они были облечены в столь малую награду, причем бы герцог считал, что он вполне меня удовлетворил; и я, который догадывался, что все это идет от этого его жулика-казначея, отдал кольцо одному моему приятелю, чтобы он его вернул дворецкому Фиаскино, каким только способом он может. Это был Бернардо Салити, который исполнил это поручение изумительно. Сказанный Фиаскино тотчас же явился ко мне с превеликими восклицаниями, говоря мне, что если герцог узнает, что я ему таким способом отсылаю подарок, который он столь милостиво мне пожаловал, то он очень рассердится и мне, быть может, придется в этом раскаяться. Ему я ответил, что перстень, который его светлость мне пожаловал, стоит приблизительно десять скудо, а что работа, которую я сделал его светлости, стоит больше двухсот. Но чтобы показать его светлости, что я ценю знак его внимания, пусть он мне просто пришлет кольцо против судорог, из тех, что привозятся из Англии, которые стоят приблизительно один карлино; его я буду хранить на память об его светлости, пока я жив, вместе с теми лестными словами, которые его светлость велел мне передать; потому что я считаю, что великолепие его светлости широко оплатило мои труды, тогда как этот жалкий камень мне их бесчестит. Эти слова были так неприятны герцогу, что он призвал этого своего сказанного казначея и наговорил ему наибольшую брань, которую когда-либо в прошлом ему говорил; а мне велел приказать, под страхом его немилости, чтобы я не уезжал из Феррары, если он мне этого не скажет; а своему казначею приказал, чтобы он дал мне алмаз, который достигал бы

трехсот скудо. Скупой казначей нашел один, который превышал немногим шестьдесят скудо, и дал знать, что оказанный алмаз стоит много больше двухсот.

VIII

Тем временем вышесказанный мессер Альберто вернулся на правый путь и снабдил меня всем тем, о чем я просил. В этот день я расположился уехать из Феррары во что бы то ни стало; но этот расторопный герцогский дворецкий так устроил со сказанным мессер Альберто, чтобы в этот день я не получил лошадей. Я навьючил мула множеством своей клади и с нею уложил этот таз и этот кувшин, которые я сделал для кардинала. Тут как раз пришел один феррарский вельможа, какового звали по имени мессер Альфонсо де'Тротти. Этот вельможа был очень стар, и был человек любезнейший, и искусства любил весьма; но он был один из тех людей, которым очень трудно угодить; и если, случайно, им доведется увидеть что-нибудь такое, что им нравится, то они себе его расписывают в мозгу таким превосходным, что думают, будто никогда уже больше не увидят ничего, что бы им понравилось. Пришел этот мессер Альфонсо; почему мессер Альберто ему и сказал: «Я жалею, что вы поздно пришли; потому что уже уложены и заделаны этот кувшин и этот таз, которые мы посылаем кардиналу во Францию». Этот мессер Альфонсо сказал, что у него нет охоты; и, подозвав одного своего слугу, послал его к себе на дом; каковой принес кувшин из белой глины, из этих фаенцских глин¹, очень тонко сработанный. Пока слуга ходил и возвращался, этот мессер Альфонсо говорил сказанному мессер Альберто: «Я вам скажу, почему у меня больше нет охоты видеть вазы; дело в том, что однажды я видел одну серебряную, античную, такую прекрасную и такую изумительную, что человеческое изображение не могло бы и помыслить о таком совершенстве; и поэтому у меня нет охоты видеть что-нибудь в этом роде, чтобы оно мне не испортило этого

чудесного представления о ней. Было это так, что один даровитый вельможа ездил в Рим по некоторым своим делам, и тайно ему была показана эта античная ваза; каковой силою большого количества скудо подкупил того, у кого она была, и увез ее с собой в эти наши края, но держит ее в великой тайне, чтобы не узнал герцог, потому что ему было бы страшно лишиться ее каким-нибудь образом». Этот мессер Альфонсо, пока рассказывал эти свои длинные небылицы, не остерегался меня, который тут же присутствовал, потому что он меня не знал. Тем временем появился этот благословенный глиняный слепок, раскрытый с таким тщеславием, фокусами и торжественностью, что, когда я его увидел, то, повернувшись к мессер Альберто, я сказал: «Какое счастье, что я его увидел!» Мессер Альфонсо, рассердясь, с оскорбительными кое-какими словами, сказал: «А кто ты такой, который сам не знает, что он говорит?» На это я сказал: «Сперва послушайте меня, а потом увидите, кто из нас лучше знает, что он говорит». Повернувшись к мессер Альберто, человеку весьма степенному и умному, я сказал: «Это серебряный кувшинчик, столько-то весом, который я сделал тогда-то этому шарлатану маэстро Якопо, хирургу из Карпи², каковой приезжал в Рим, и пробыл там полгода, и какой-то своей мазью перепачкал много десятков синьоров и бедных вельмож, из коих он извлек много тысяч дукатов. В то время я ему сделал эту вазу и еще другую, отличную от этой, и он мне за них заплатил, за ту и за другую, очень плохо, а в Риме сейчас все эти несчастные, которых он мазал, искалечены и плохи. Для меня превеликая слава, что мои работы в такой чести у вас, у богатых господ; но только я вам говорю, что за все эти столькие годы с тех пор я старался, сколько мог, учиться; так что я полагаю, что эта ваза, которую я везу во Францию, будет подостойнее кардинала и короля, нежели та — этого вашего врачешки». Когда я сказал эти мои слова, этот мессер Альфонсо, казалось, просто тайл от желания увидеть этот таз и этот кувшин, в каковых я по-прежнему ему отказывал. Когда мы некоторое время так побыли, он сказал, что

пойдет к герцогу и через посредство его светлости его увидит. Тогда мессер Альберто Бендидио, который был, как я говорил, прегорд, сказал: «Прежде чем вы уйдете отсюда, мессер Альфонсо, вы его увидите, не прибегая к покровительству герцога». При этих словах я ушел и оставил Асканио и Паголо, чтобы он им его показал; каковой говорил потом, что они говорили величайшие вещи в мою хвалу. Захотел потом мессер Альфонсо, чтобы я с ним сблизился, так что мне не терпелось уехать из Феррары и убраться от них. Что у меня там было хорошего, так это общение с кардиналом Сальвиати³, и с кардиналом равеннским⁴, и кое с кем другим из этих даровитых музыкантов⁵, и больше ни с кем; потому что феррарцы народ жаднейший, и любо им чужое добро, каким бы способом им ни удалось его заполучить; все они такие. Явился в двадцать два часа вышесказанный Фиаскино и вручил мне сказанный алмаз ценою около шестидесяти скудо, сказав мне с печальным лицом и в кратких словах, чтобы я носил его ради любви к его светлости. На что я ответил: «Я так и сделаю». Поставив ноги в стремя в его присутствии, я тронулся в путь, чтобы уехать себе с богом; он заметил поступок и слова; и, когда передал герцогу, тот, во гневе, имел превеликое желание воротить меня обратно.

IX

Я проехал вечером десять с лишним миль, все время рысью; и когда на следующий день я оказался вне феррарской земли, я возымел превеликое удовольствие; потому что, за исключением этих павлинчиков, которых я там ел, причины моего выздоровления, ничего другого я там не знал хорошего. Мы совершили путь через Монсанезе¹, не задевая города Милана, из-за вышесказанного опасения; так что здоровы и невредимы приехали в Лион. Вместе с Паголо, и Асканио, и одним слугой нас было четверо с четырьмя очень хорошими лошадьми. Прибыв в Лион, мы остановились на несколько дней, чтобы

подождать ослятника, у какового были этот серебряный таз и кувшин вместе с другой нашей кладью; нас поселили в одном аббатстве, которое принадлежало кардиналу. Когда подъехал ослятник, мы уложили все наши вещи на повозку и двинулись по направлению к Парижу; так мы ехали в сторону Парижа и имели по дороге кое-какое беспокойство, но оно не было весьма значительно. Королевский двор мы застали в Фонтана Белио;² мы представились кардиналу, каковой тотчас же велел нам отвести жильё, и этот вечер нам было хорошо. На другой день явилась повозка; и когда мы взяли наши вещи и кардинал услышал об этом, то он сказал королю, каковой тотчас же пожелал меня видеть. Я пошел к его величеству со сказанным тазом и кувшином и, явясь перед него, поцеловал ему колено, а он преблагосклонно меня поднял. Пока я благодарил его величество за то, что он освободил меня из темницы, говоря, что так обязан всякий государь, добрый и единственный в мире, как его величество, освобождать людей, на что-нибудь годных, а особенно невинных, как я; что эти благодеяния прежде записываются в книги божи, чем всякие другие, какие только могут быть сотворены на свете, — этот добрый король слушал меня, пока я не договорил, с великой любезностью и с несколькими словами, достойными его одного. Когда я кончил, он взял вазу и таз и затем сказал: «Право, я не думаю, чтобы и древние когда-либо видели столь прекрасного рода произведение; потому что мне хорошо помнится, что я видел все лучшие произведения, и созданные лучшими мастерами всей Италии, но я никогда не видел ничего, что бы меня больше восхищало, чем это». Эти слова сказанный король говорил по-французски кардиналу феррарскому со многими другими, еще большими, чем эти. Затем, повернувшись ко мне, заговорил со мной по-итальянски и сказал: «Бенвенуто, повеселитесь несколько дней, и потешьте свою душу, и старайтесь хорошенько кушать, а мы тем временем подумаем о том, чтобы дать вам добрые удобства, чтобы вы могли нам создать какое-нибудь прекрасное произведение».

Х

Так как вышесказанный кардинал феррарский увидал, что король возымел превеликое удовольствие от моего приезда и так как и он также увидал, что по этим немногим работам король уверился, что может удовлетворить свое желание исполнить некие превеликие работы, которые у него были в мыслях, а так как в это время мы ехали вслед за двором, можно сказать мучась, потому что королевский поезд тащит всякий раз за собой двенадцать тысяч лошадей, и это самое меньшее, потому что когда двор в мирные времена бывает полностью, то их восемнадцать тысяч, так что их всегда бывает свыше двенадцати тысяч, ввиду чего мы ехали, следуя за сказанным двором в таких местах иной раз, где едва было два дома, и, как делают цыгане, приходилось ставить парусиновые палатки и нередко изрядно терпеть, то я торопил кардинала, чтобы он побудил короля послать меня работать. Кардинал мне говорил, что лучшее в этом случае, это ждать, чтобы король сам об этом вспомнил, и чтобы я иной раз показывался на глаза его величеству, когда он ест. Я так и делал, и однажды утром, за обедом, король меня подозвал; он заговорил со мной по-итальянски и сказал, что намерен исполнить много больших работ и что он скоро отдаст мне распоряжение, где я должен работать, снабдив меня всем тем, что мне необходимо; со многими другими речами о приятных и различных вещах. Кардинал феррарский тут же присутствовал, потому что почти постоянно ел утром за королевским столом; и, услышав все эти речи, когда король встал из-за стола, кардинал феррарский в мою пользу сказал, поскольку мне было передано: «Священное величество, этот Бенвенуто имеет весьма великое желание работать; можно было бы почти что сказать, что грех заставлять подобного художника терять время». Король добавил, что он сказал правильно и чтобы он установил со мной все то, что я хочу себе как жалованье. Каковой кардинал в тот же вечер, когда утром он получил пору-

чение, вызвав меня после ужина, сказал мне от имени его величества, как его величество решило, чтобы я принялся за работу; но сперва он хочет, чтобы я знал, какое должно быть мое жалованье. При этом кардинал сказал: «Мне кажется, что если его величество даст вам жалованья триста скудо в год, то вы отлично можете устроиться; кроме того, я вам говорю, чтобы вы предоставили заботу мне, потому что каждый день является случай, когда можно сделать добро в этом великом королевстве, и я всегда вам помогу удивительно». Тогда я сказал: «Без того, чтобы я просил ваше высокопреосвященство, когда оно оставило меня в Ферраре, оно мне обещало не удалять меня из Италии, если сперва я не буду знать вполне того положения, в котором я буду у его величества; ваше высокопреосвященство, вместо того, чтобы прислать мне сказать о том положении, в котором я буду, прислало особое распоряжение, что я должен приехать на почтовых, как будто подобным искусством занимаются на почтовых; и если бы вы мне прислали сказать о трехстах скудо, как вы мне говорите сейчас, то я бы не двинулся и за шестьсот. Но я за все благодарю бога и ваше высокопреосвященство также, потому что бог употребил его как орудие для столь великого блага, каковым было мое освобождение из темницы. Поэтому я говорю вашему высокопреосвященству, что все то великое зло, которое я теперь имею от него, не может достигнуть и тысячной доли того великого добра, которое я от него получил; и за него я от всего сердца его благодарю, и откланиваюсь, и, где бы я ни был, всегда, пока я буду жив, я буду молить бога за него». Кардинал, рассерженный, сказал во гневе: «Ступай куда хочешь, потому что насильно никому добра не сделаешь». Некоторые из этих его дармоедов-придворных говорили: «Ему кажется, что он невесть что, раз он отказывается от трехсот дукатов дохода». Другие, из тех, что были даровиты, говорили: «Король никогда не найдет ему равного; а этот наш кардинал хочет торговать им, словно это вязанка дров». Это был мессер Луиджи Аламанти,

который так мне было передано, что он сказал. Это было в Дельфинате¹, в замке, которого я не помню имени; и было в последний день октября.

XI

Выйдя от кардинала, я пошел к своему жилью, в трех милях оттуда, вместе с одним секретарем кардинала, который также шел к этому самому жилью. Всю дорогу этот секретарь не переставал меня спрашивать, что я собираюсь с собой делать и сколько бы мне самому хотелось жалованья. Я ему ничего не отвечал, кроме одного только слова, говоря: «Я так и знал». Придя потом к жилью, я застал Паголо и Асканио, которые там были; и, видя меня весьма расстроенным, они понуждали меня сказать им, что такое со мной; и, увидя бедных юношей испуганными, я им сказал: «Завтра утром я вам дам столько денег, что вы широко сможете вернуться к себе домой; а я поеду по одному важнейшему моему делу, без вас, которое я уже давно имел в мыслях сделать». Комната наша была стена об стену рядом с комнатой сказанного секретаря, и, пожалуй, возможно, что он написал кардиналу все то, что я имел в мыслях сделать, хоть я об этом так никогда ничего и не узнал. Ночь прошла без сна; мне не терпелось, чтобы настал день, дабы последовать решению, которое я принял. Когда рассвело, велел приготовить лошадей и живо собравшись сам, я отдал этим двум юношам все то, что я привез с собой, и, кроме того, пятьдесят золотых дукатов; и столько же оставил себе, кроме того тот алмаз, который мне подарил герцог; только две рубашки я брал с собой и некую не слишком хорошую верхнюю одежду, которая была на мне. Я не мог отделиться от обоих юношей, которые хотели ехать со мной во что бы то ни стало; поэтому я очень их стыдил, говоря им: «У одного уже борода растет, а у другого вот-вот начнет расти, и от меня вы научились столькому в этом бедном искусстве, которое мне уда-

лось вам преподавать, что вы теперь первые юноши в Италии; и вам не стыдно, что у вас не хватает духу выйти из детских ходулк, в которых вам вечно так и ходить? Это все-таки дело трусливое; а если бы я вас отпустил без денег, что бы вы сказали? А теперь уберите от меня, да благословит вас бог тысячу раз; прощайте». Я повернул коня и оставил их плачущими. Я двинулся красивойшей дорогой через лес, чтобы отъехать за этот день на сорок миль, по меньшей мере, в место самое неведомое, какое бы я мог придумать; и уже я отъехал приблизительно мили на две; и за этот малый путь я решил никогда больше не бывать в таких краях, где бы меня знали, и не хотел больше делать никакой другой работы, как только Христа величиною в три локтя, приближаясь, насколько я могу, к той бесконечной красоте, которая им самим была мне явлена. Решившись таким образом вполне, я ехал ко гробу господню. Думая, что я настолько отъехал, что никто уже не может меня найти, я в это самое время услышал, что позади меня скачут лошади; и они мне внушили некоторое опасение, потому что в этих краях была некая порода шаек, каковые называются вольницей, которые усердно убивают по дорогам; и хотя каждый день изрядно их вешается, это им как будто все равно. Когда они ко мне подъехали ближе, я увидел, что это королевский посланец, вместе с этим моим юношей Асканио; и, настигнув меня, он сказал: «От имени короля говорю вам, чтобы вы немедленно ехали к нему». Каковому человеку я сказал: «Ты приехал от имени кардинала; поэтому я не желаю ехать». Человек сказал, что, раз я не желаю ехать по-хорошему, то он имеет полномочие созвать народ, каковой повезет меня связанным, как узника. Также и Асканио, как только мог, меня упрашивал, напоминая мне, что когда король сажает кого в тюрьму, то потом он пять лет по меньшей мере не решается его выпустить. Это слово о тюрьме, когда я вспомнил ту, что в Риме, навело на меня такой ужас, что я живо повернул коня, куда королевский посланец мне сказал. Каковой, все время бормоча

по-французски, не переставал всю дорогу, пока не доставил меня ко двору; то он мне грозил, то говорил одно, то другое, так что я готов был отречься от мира.

XII

Когда мы прибыли к королевскому жилью, мы проходили мимо жилья кардинала феррарского. Кардинал, стоя в дверях, подозвал меня к себе и сказал: «Наш христианнейший король сам от себя назначил вам такое же жалованье, какое его величество давал Лионардо да Винчи, живописцу, то есть семьсот скудо в год; и, кроме того, оплачивает вам все работы, которые вы ему сделаете; а еще ради вашего приезда дает вам пятьсот золотых скудо, каковые он желает, чтобы были вам выплачены прежде, нежели вы уедете отсюда». Когда кардинал кончил говорить, я ответил, что это предложения именно такого короля, как он, Этот королевский посланец, не зная, кто я такой, увидев, что мне делаются эти великие предложения от имени короля, просил у меня много раз прощения. Паголо и Асканио сказали: «Бог нам помог вернуться в столь почетные ходульки». Затем на другой день я пошел поблагодарить короля, каковой мне велел, чтобы я ему сделал модели двенадцати серебряных статуй, каковые он желал, чтобы служили двенадцатью светильниками вокруг его стола; и он желал, чтобы были изображены шесть богов и шесть богинь, точь-в-точь высоты его величества, каковой был немногим меньше четырех локтей ростом. Дав мне это поручение, он обернулся к казнохранителю и спросил его, выплатил ли он мне пятьсот скудо. Тот сказал, что ему ничего не было сказано. Король очень рассердился, потому что он поручил кардиналу, чтобы тот ему это сказал. Еще он мне сказал, чтобы я ехал в Париж и искал, какое помещение было бы подходящим, чтобы делать такие работы, потому что он велит мне его дать. Я взял пятьсот золотых скудо и поехал в Париж, в один дом кардинала феррарского; и там начал, во имя божие, работать и сделал четыре мо-

дели маленьких, в две трети локтя каждую, из воска: Юпитера, Юнону, Аполлона, Вулкана. Тем временем король приехал в Париж; поэтому я тотчас же пошел к нему и понес сказанные модели с собой, вместе с этими моими двумя юношами, то есть Асканио и Паголо. Когда я увидел, что король удовлетворен сказанными моделями, он велел мне первым делом, чтобы я ему сделал серебряного Юпитера сказанной высоты. Я показал его величеству, что этих двух сказанных юношей я их привез из Италии для службы его величеству и так как я их себе воспитал, то я много лучше на первых порах извлек бы из них помощь, чем из тех, что в городе Париже. На это король сказал, чтобы я назначил оказанным юношам плату, которая бы мне, по-моему, казалась, что будет достаточной для того, чтобы можно было себя содержать. Я сказал, что по ста золотых скудо каждому будет хорошо и что я сделаю так, что они будут наилучшим образом зарабатывать эту плату. Так мы и порешили. Еще я сказал, что я нашел место, каковое мне кажется весьма подходящим, чтобы делать там такие работы; и сказанное место — его величества собственное, называемое Маленький Нель¹, и что сейчас его занимает парижский наместник, которому его величество его дало; но так как этот наместник им не пользуется, то его величество может дать его мне, который употреблю его для его службы. Король тотчас же сказал: «Это место — мой дом; и я хорошо знаю, что тот, кому я его дал, не живет в нем и им не пользуется; поэтому вы им воспользуетесь для наших работ». И тотчас же приказал своему лейтенанту, чтобы он поместил меня в сказанном Неле. Каковой учинил некоторое сопротивление, говоря королю, что не может этого сделать. На это король ответил во гневе, что желает давать свое добро, кому ему угодно, и человеку, который будет ему служить, потому что от того нет никакой службы; поэтому пусть он ему не говорит больше об этом. Еще добавил лейтенант, что будет необходимо применить немного силы. На что король сказал: «Идите сейчас же, и если малой силы недостаточно, употребите большую». Он тотчас же повел меня на

место; и ему пришлось применить силу, чтобы ввести меня во владение; затем он мне сказал, чтобы я весьма остерегался, чтобы меня тут не убили. Я въехал, и тотчас же нанял слуг, и купил несколько крупных штук оружия на древках, и несколько дней провел с превеликими неприятностями; потому что это был большой парижский вельможа, и прочие вельможи были мне все враждебны, так что они учиняли мне такие оскорбления, что я не мог выдержать. Не хочу оставить в стороне, что в то время, когда я поступил к его величеству, шел как раз 1540-й год, что было как раз роковым моим возрастом.

XIII

Из-за этих великих оскорблений я вернулся к королю, прося его величество, чтобы он меня устроил в другом месте; на каковые слова король мне сказал: «Кто вы такой, и как ваше имя?» Я остался весьма растерян и не знал, что король хочет сказать; и так как я молчал, то король повторил еще раз те же самые слова, почти рассерженный. Тогда я ответил, что мое имя Бенвенуто. Король сказал: «Итак, если вы тот самый Бенвенуто, о котором я слышал, то поступите по вашему обычаю, а я вам на то даю полную волю». Я сказал его величеству, что с меня достаточно сохранить его благоволение; кроме этого, я не знаю ничего, что могло бы мне повредить. Король, усмехнувшись чуточку, сказал: «Итак, ступайте, а мое благоволение вас никогда не оставит». Тотчас же он мне определил одного своего первого секретаря, которого звали монсиньор ди Виллуруа, чтобы тот распорядился меня снабдить и устроить для всех моих надобностей. Этот Виллуруа был весьма большим другом этого вельможи, называемого наместником, которому принадлежало сказанное место Нель. Это место было трехугольной формы, и примыкало к городским стенам, и было старинным замком, но стражи не держали; величины было изрядной. Этот сказанный монсиньор ди Виллуруа мне советовал, чтобы я поискал

что-нибудь другое и чтобы я его бросил во что бы то ни стало; потому что тот, кому оно принадлежит, человек превеликого могущества и что он наверняка велит меня убить. На что я ответил, что я приехал из Италии во Францию единственно, чтобы служить этому удивительному королю, а что до того, чтобы умереть, то я знаю наверное, что умереть мне придется; так что немного раньше или немного позже, мне решительно все равно. Этот Виллуруа был человек величайшего ума и удивительный во всех своих делах, преогромно богат; нет ничего на свете, чего бы он не сделал, чтобы мне досадить, но он никак этого не показывал; это был человек степенный, красивого вида, говорил медленно. Поручил он это другому дворянину, которого звали монсеньор ди Марманья, каковой был лангедокским казначеем. Этот человек, первое, что он сделал, выискав лучшие комнаты этого места, велел устроить их для себя: на что я сказал, что это место мне дал король, чтобы я ему служил, и что здесь я не желаю, чтобы жил кто-нибудь другой, кроме меня и моих слуг. Этот человек был горд, смел и горяч; и сказал мне, что желает делать, как ему угодно, и что я бьюсь головой об стену, желая ему перечить, и что все, что он делает, на это он получил от Виллуруа полномочие так делать. Тогда я сказал, что я получил полномочие от короля, что ни он, ни Виллуруа этого делать не могут. Когда я сказал это слово, этот гордый человек сказал мне на своем французском языке много грубых слов, на какие я ответил на своем языке, что он лжет. Подвигнутый гневом, он показал вид, что берется за кинжал; поэтому я взялся за большой свой кортик, который постоянно носил при себе для своей защиты, и сказал ему: «Если ты настолько смел, что обнажишь это оружие, я тотчас же тебя убью». С ним было двое слуг, а у меня были мои двое юношей; и пока сказанный Марманья стоял этак задумавшись, не зная, что делать, скорее склонный к худому, он говорил, бормоча: «Никогда этого не потерплю». Я видел, что дело идет по скверному пути, тотчас же решил и оказал Паголо и Асканио: «Как только вы увидите, что я обнажу свой кортик, кидайтесь

на обоих слуг и убейте их, если можете; потому что этого я убью сразу; затем мы уедем с богом вместе тотчас же». Когда Марманья услышал это решение, ему показалось, что он много сделает, если уйдет из этого места живым. Обо всем этом, несколько более скромно, я написал кардиналу феррарскому, каковой тотчас же сказал об этом королю. Король, рассерженный, отдал меня под охрану другому из этих своих окольных, какового звали монсиньор виконт д'Орбек. Этот человек, с такой любезностью, какую только можно себе представить, позаботился обо всех моих надобностях.

XIV

Когда я кончил все устройства по дому и по мастерской, чтобы они наиудобнейше могли служить, и весьма пристойно, для ведения моего дома, я тотчас же принялся делать три модели точь-в-точь той величины, как они должны были быть из серебра; это были Юпитер, и Вулкан, и Марс. Я их сделал из глины, отлично укрепив железом, затем отправился к королю, каковой велел мне выдать, если я верно помню, триста фунтов серебра, чтобы я начал работать. Пока я все это подготавливал, заканчивались вазочка и овальный таз, каковые отняли несколько месяцев. Когда я их кончил, я их велел отлично вызолотить. Это показалось самой прекрасной работой, которую когда-либо видели во Франции. Я тотчас же понес их к кардиналу феррарскому, каковой весьма меня благодарил, затем, без меня, понес их к королю и поднес их ему¹. Король был им очень рад и хвалил меня более непомерно, чем когда-либо бывал хвалим такой человек, как я; и за это подношение пожаловал кардиналу феррарскому аббатство с доходом в семь тысяч скудо; и мне хотел сделать подарок. Однако кардинал ему помешал, говоря его величеству, что он слишком спешит, потому что я еще не сделал ему никакой работы. Король, который был прещедр, сказал: «Потому-то я и хочу придать ему бодрости, чтобы он мог мне ее сделать», Кардинал, при этом устыдив-

шись, сказал: «Государь, я вас прошу, чтобы вы предоставили это мне; потому что я ему назначу содержание в триста скудо самое меньшее, как только я вступлю ео владение аббатством». Я их так никогда и не получил, и слишком было бы длинно желать рассказывать про чертовство этого кардинала; но я хочу заняться вещами более важными.

XV

Я вернулся в Париж. При таком благоволении, сказанном мне королем, мне дивился всякий. Я получил серебро и начал сказанную статую Юпитера. Я нанял много работников и с превеликим усердием, днем и ночью, не переставал работать; так что, когда я кончил из глины Юпитера, Вулкана и Марса и уже начал из серебра подвигать вперед весьма изрядно Юпитера, мастерская уже имела очень богатый вид. В это время появился в Париже король; я пошел ему представиться; и как только его величество меня увидел, он весело меня подозвал и спросил меня, нет ли у меня в моем жилище чего-нибудь красивого показать ему, потому что он туда пришел бы. На что я рассказал все то, что я сделал. Тотчас же ему пришла превеликая охота пойти; и после своего обеда он собрался с госпожою де Тамп¹, с кардиналом лотарингский и некоторыми другими из этих господ, как-то королем наваррским², шурином короля Франциска, и королевой, сестрою сказанного короля Франциска³; явились дофин⁴ и дофина⁵; так что в этот день явилась вся придворная знать. Я уже вернулся домой и принялся работать. Когда король появился у двери моего замка, слыша, что стучат в несколько молотков, он велел каждому молчать; в доме у меня всякий был за работой; так что я оказался застигнут королем врасплох, потому что я его не ждал. Он вошел в мою палату; и первое, что он увидел, он увидел меня с большой серебряной пластиной в руках, каковая служила для туловища Юпитера; другой делал голову, третий ноги, так что грохот был превеликий. В то время как

я работал, возле меня был один мой французский мальчуган, который мне, не помню уж чем, досадил как-то, и я поэтому дал ему пинка и, попав ему, на мое счастье, ступней в развилину ног, толкнул его вперед на четыре с лишним локтя, так что при входе короля этот малыш налетел на короля; поэтому король премного этому смеялся, а я остался весьма растерян. Начал король меня расспрашивать о том, что я делаю, и пожелал, чтобы я работал; затем сказал мне, что я сделал бы ему гораздо больше удовольствия, если бы не утруждал себя вовсе, а нанял сколько людей я хочу и им поручал работу; потому что он хочет, чтобы я сохранил себя здоровым, дабы я мог служить ему дольше. Я ответил его величеству, что сразу же заболел бы, если бы не стал работать, да и самые работы получились бы не такие, как я желаю делать для его величества. Король, думая, что то, что я говорил, было сказано, чтобы похвастать, а не потому, чтобы это была правда, заставил меня это повторить кардиналу лотарингскому, каковому я так широко изложил мои доводы и так открыто, что он воспринял их вполне; поэтому он уговорил короля, чтобы тот предоставил мне работать мало или много, сообразно моему желанию.

XVI

Оставшись удовлетворен моими работами, король возвратился к себе во дворец, а меня покинул преисполненным стольких милостей, что было бы долго о них рассказывать. На другой затем день, за своим обедом, он послал за мной. Тут же присутствовал кардинал феррарский, который с ним обедал. Когда я явился, король был еще за вторым блюдом; как только я подошел к его величеству, он начал со мной беседовать, говоря, что раз у него имеются такой красивый таз и такой красивый кувшин моей руки, что в придачу к этим вещам ему требуется красивая солонка и что он хочет, чтобы я ему сделал к ней рисунок; но ему очень бы хотелось увидеть его скоро. То-

гда я прибавил, говоря: «Ваше величество увидит такой рисунок гораздо скорее, нежели оно того от меня требует; потому что, пока я делал таз, я думал, что в придачу к нему следует сделать солонку», и что это уже сделано и что, если ему угодно, я ему покажу тотчас же. Король отнесся с большой живостью и, обернувшись к этим господам, как-то королю наваррскому, и кардиналу лотарингскому, и кардиналу феррарскому, сказал: «Вот поистине человек, которого должен любить и желать всякий, кто только его знает». Затем сказал мне, что охотно посмотрел бы этот рисунок, который я сделал к этой вещи. Я двинулся в путь и быстро сходил и вернулся, потому что мне надо было только перейти реку, то есть Сену; я принес с собой восковую модель, каковую я сделал еще по просьбе кардинала феррарского в Риме. Когда я явился к королю и раскрыл перед ним модель, король, изумившись, сказал: «Это нечто в сто раз более божественное, чем я когда-либо мог подумать. Удивительный это человек! Он, должно быть, никогда не отдыхает». Затем повернулся ко мне с лицом весьма веселым и сказал мне, что это работа, которая ему очень нравится, и что он желает, чтобы я ему сделал ее из золота. Кардинал феррарский, который тут же присутствовал, посмотрел мне в лицо и намекнул мне, как человек, который ее узнает, что это та самая модель, которую я сделал для него в Риме. На это я сказал, что эту работу я уже сказал, что сделаю тому, кто будет ее иметь. Кардинал, вспомнив эти самые слова, почти что рассердившись, потому что ему показалось, будто я хочу ему отомстить, сказал королю: «Государь, это огромнейшая работа, и поэтому я бы ничего другого не опасался, как только того, что мне бы не верилось, что я когда-либо увижу ее законченной; потому что эти искусные люди, у которых имеются эти великие замыслы в искусстве, охотно дают им начало, не помышляя хорошенько о том, когда им может быть конец. Поэтому, заказывая такие большие работы, я бы желал знать, когда я их получу», На это король ответил, говоря, что тот, кто стал бы так точно доискиваться конца работ, никогда бы ни одной не начал; и

он сказал это особенным образом, показывая, что такие работы не дело людей малодушных. Тогда я сказал: «Все те государи, которые придают духу своим слугам, так, как это делает и говорит его величество, все великие предприятия облегчаются; и раз бог даровал мне такого удивительного покровителя, я надеюсь дать ему законченными много великих и удивительных работ». — «И я этому верю», — сказал король и встал из-за стола. Он позвал меня к себе в комнату и спросил меня, сколько золота требуется для этой солонки. «Тысяча с кудо», — сказал я. Тотчас же король позвал своего казначея, которого звали монсиньор виконт ди Орбек¹, и велел ему, чтобы сей же час он выдал мне тысячу старых полновесных золотых скудо. Когда мы шли от его величества, я послал за теми двумя нотариусами, через которых я получал серебро для Юпитера и многое другое, и, перейдя Сену, взял малюсенькую корзиночку, которую мне подарила одна моя двоюродная сестра, монахиня, проездом через Флоренцию; и это я на свое счастье захватил эту корзиночку, а не мешок; и, думая, что я справлю это дело засветло, потому что было еще рано, и не желая отрывать работников, я также не хотел брать с собой слуги. Я пришел на дом к казначею, перед которым уже лежали деньги, и он их отбирал, так, как ему сказал король. Как мне показалось, этот разбойник казначей умышленно затянул до трех часов ночи отсчитывание мне сказанных денег. Я, у которого не было недостатка в осмотрительности, послал за несколькими своими работниками, чтобы они пришли меня сопровождать, потому что дело было большой важности. Видя, что они не идут, я спросил у этого посланного, исполнил ли он мое поручение. Этот какой-то мошенник слуга сказал, что он его исполнил и что они сказали, что не могут прийти, но что он охотно снесет мне эти деньги; на что я сказал, что деньги я хочу нести сам. Тем временем был справлен договор, отсчитаны деньги и все. Положив их себе в сказанную корзиночку, я затем продел руку в обе ручки; и так как она проходила с большим усилием, то они были хорошо укрыты, и я с большим для себя удобством их

нес, чем если бы это был мешок. Я был хорошо защищен кольчугой и наручами, и со своей шпажкой сбоку и кинжалом быстро пустил себе дорогу под ноги.

XVII

В этот миг я увидел каких-то слуг, которые, шушукаясь, точно так же быстро вышли из дому, показывая, что идут другой дорогой, чем та, которой я шел. Я, который поспешно шагал, пройдя Меновой мост, шел над рекой вдоль стенки, каковая вела меня домой в Нель. Когда я был как раз против Августинец¹, места опаснейшего, хоть от него до моего дома было пятьсот шагов, так как до жилья в замке было внутрь еще почти столько же, то не было бы слышно голоса, если бы я принялся звать; но, мигом решившись, когда я увидел перед собой четверых с четырьмя шпагами, я быстро накрыл эту самую корзиночку плащом и, взявшись за шпагу, видя, что они с усердием меня теснят, сказал: «У солдата ничего не выгадаешь, кроме плаща и шпаги; а ее, прежде, чем я вам ее отдам, я надеюсь, вы получите с малой для себя выгодой». И, сражаясь смело против них, я несколько раз распахивался, для того, чтобы если бы они оказались из тех подговоренных этими слугами, которые видели, как я брал деньги, то чтобы они могли с некоторым основанием полагать, что у меня нет при себе такой суммы денег. Битва длилась недолго, потому что мало-помалу они отступали; и промеж себя говорили на своем языке: «Это храбрый итальянец, и, наверное, это не тот, которого мы искали; а если это и он, то у него ничего с собой нет». Я говорил по-итальянски и, непрерывно коля и прямо, и сверху, иной раз почти что совсем ударял их в поясницу; и так как я отлично действовал оружием, то они скорее полагали, что я солдат, нежели что-либо иное; и, скучившись вместе, они мало-помалу отдалялись от меня, все время бормоча вполголоса на своем языке; также и я все время говорил, хоть и скромно, что, кто желает мое оружие и мой плащ, тот без труда их не получит. Я начал ускорять шаг, а они все время шли

медленным шагом позади меня; поэтому у меня возник страх, думая, как бы не угодить в какую-нибудь засаду нескольких других подобных, у которых я бы оказался посередине; так что, когда я был уже в ста шагах, я пустился полным бегом и громким голосом кричал: «Оружие, оружие, сюда, сюда, потому что меня убивают!» Тотчас же выбежало четверо юношей с четырьмя штуками оружия на древках; и так как они хотели преследовать этих, которых они еще видели, то я их остановил, говоря, однако же, громко: «Эти четверо трусов не сумели захватить, у одного человека, добычу в тысячу золотых скудо золотом, которые руку мне сломали; так что пойдем сперва их спрячем, а затем я готов вам сопутствовать с моим двуручным мечом, куда вам будет угодно». Мы пошли спрятать деньги; и эти мои юноши, много сетуя о великой опасности, которую я перенес, как бы журуя меня, говорили: «Вы слишком полагаетесь на себя и когда-нибудь заставите всех нас плакать». Я говорил многое, и они мне отвечали также; противники мои бежали; и мы очень радостно и весело поужинали, смеясь над теми великими наскоками, какие чинит судьба как в хорошем, так и в плохом; и если она нас не задевает, то как будто бы ничего и не было. Правда, говорится: «Это тебе урок на другой раз». Это не так, потому что она приходит всегда по-иному и совсем по-негаданному.

XVIII

На следующее утро я сразу же положил начало большой солонке и с усердием ее и другие работы подвигал вперед. Уже я понял много работников как по части ваяния, так и по части золотых дел. Были эти работники итальянцы, французы, немцы, и иной раз у меня их бывало изрядное количество, смотря по тому, находил ли я хороших; потому что изо дня в день я их менял, беря тех, которые лучше умели, и этих я так подгонял, что от постоянного утомления, видя, как делаю я, а мне служило немного лучше телесное сложение, нежели им, не в силах вынести великих трудов,

думая подкрепить себя многим питьем и едой, некоторые из этих немцев, которые лучше умели, чем остальные, желая следовать мне, не потерпела от них природа таких насилий и их убила. Пока я подвигал вперед серебряного Юпитера, увидев, что у меня остается весьма изрядно серебра, я принялся, без ведома короля, делать большую вазу с двумя ручками, высотой приблизительно в полтора локтя. Пришла мне также охота отлить из бронзы ту большую модель, которую я сделал для серебряного Юпитера. Взявшись за эту новую работу, какой я никогда еще не делал, и побеседовав с некоторыми стариками из этих парижских мастеров, я рассказал им все те способы, которые мы в Италии применяем, чтобы делать такую работу. Эти мне сказали, что таким путем они никогда не шли, но что если я предоставлю делать по их способам, то они мне его дадут сделанным и отлитым таким же чистым и красивым, как и сам глиняный. Я решил заключить договор, передав эту работу им; и сверх того, что они с меня просили, обещал им несколько скудо лишних. Принялись они за эту работу; и, видя, что они берут неверный путь, я живо начал голову Юлия Цезаря, по грудь, в латах, гораздо больше настоящего, каковую я лепил с маленькой модели, которую привез с собой из Рима, сделанной с чудеснейшей античной головы. Принялся я также за другую голову такой же величины, каковую я лепил с одной красивейшей девушки, которую я ради плотской моей утехы возле себя держал. Этой я дал имя Фонтана Белио, что было тем местом, которое избрал король для своего собственного услаждения. Сделав отличнейший горн, чтобы плавить бронзу, и приготовив и обжегши наши формы, они — Юпитера, а я — мои две головы¹, я им сказал: «Я не думаю, чтобы ваш Юпитер у вас вышел, потому что вы не дали ему достаточно душников снизу, чтобы ветер мог обращаться; так что вы зря теряете время». Эти мне сказали, что если их работа не выйдет, то они мне вернут все те деньги, которые я им уже дал, и возместят мне весь потерянный расход; но чтобы я хорошенько заметил, что эти мои прекрасные головы, которые я хочу отлить по своему итальянскому способу, ни за что

у меня не выйдут. При этом споре присутствовали эти казначеи и другие знатные люди, которые по поручению короля заходили меня проведать; и все, что говорилось и делалось, обо всем они докладывали королю. Эти два старика, которые хотели отливать Юпитера, задержали немного начало отливки; потому что они говорили, что хотели бы приладить эти две формы моих голов; потому что тем способом, как я делаю, невозможно, чтобы они вышли, а великий грех погубить такие прекрасные работы. Когда об этом дали знать королю, его величество ответил, чтобы они старались учиться и не пытались указывать наставнику. Эти с великим смехом опустили в яму свою работу; я же, стойко, безо всякого оказательства смеха или гнева, а он у меня был, поместил Юпитера между моих двух форм; и когда наш металл был отличнейше расплавлен, мы с превеликим удовольствием дали путь расплавленному металлу, и отличнейше наполнилась форма Юпитера; в то же самое время наполнилась форма обеих моих голов; так что и они были веселы, и я доволен; потому что я был рад, что сказал неправду про их работу, и они были, видимо, очень рады, что сказали неправду про мою. И, по французскому обычаю, они с великим веселием попросили пить; я весьма охотно велел устроить им богатый завтрак. Затем они у меня спросили деньги, которые им следовало получить, и те лишние, которые я им обещал. На это я сказал: «Вы смеялись тому, о чем я очень боюсь, как бы вам не пришлось плакать; потому что я поразмыслил, что в эту вашу форму вошло гораздо больше добра, чем ему следовало бы; поэтому я не хочу вам давать больше денег, чем то, что вы получили, до завтрашнего утра». Начали размышлять эти бедные люди о том, что я им сказал, и, ничего не сказав, пошли домой. Придя утром, они тихохонько начали вынимать из ямы; и так как они не могли открыть свою большую форму, если бы сперва не вынули эти мои две головы, каковые они и вынули, и они удались отлично, и они их поставили стоймя, так что их отлично было видно. Начав затем открывать Юпитера, не прошли они и двух локтей вглубь, как они, с четырьмя их работниками, подняли такой вели-

кий крик, что я их услышал. Думая, что это крик радости, я бросился бежать, потому что я был у себя в комнате, больше чем в пятистах шагах. Я прибыл к ним и застал их в том виде, в каком изображают тех, что взирали на гроб Христов, опечаленных и испуганных. Я устремил глаза на мои две головы и, увидав, что они удались хорошо, я примирил удовольствие с неудовольствием; а они оправдывались, говоря: «Наша злая судьба!» На каковые слова я сказал: «Судьба ваша была прекрасная, но действительно плохо было ваше малое умение. Если бы я видел, как вы ставите в форму сердечник, я бы единым словом вас научил, и фигура вышла бы отлично, так что мне бы от этого проистекла весьма большая честь, а вам большой барыш; но я-то в своей чести себя оправдаю, а вам ни чести, ни барыша не спасти; поэтому другой раз учитесь работать, а не издеваться учитесь». Тут они стали ко мне взывать, говоря, что я прав и что если я им не помогу, что, имея возместить этот крупный расход и этот убыток, они пойдут по миру вместе со своими семьями. На это я сказал, что, если королевские казначеи пожелают, чтобы они заплатили то, что они обязались, я им обещаю заплатить из своих, потому что я видел действительно, что они сделали от чистого сердца все, что умели. Это снискало мне такое благоволение этих казначеев и этих приближенных короля, что это было неописуемо. Обо всем было написано королю, каковой, единственный, щедрейший, велел, чтобы все было сделано так, как я скажу.

XIX

Прибыл тем временем изумительнейший храбрец Пьеро Строчици¹; и, когда он напомнил королю о своей грамоте на гражданство, король тотчас же велел, чтобы она была изготовлена. «И заодно с нею, — сказал он, — изготовьте также грамоту Бенвенуто, топ ами, и отнесите ее тотчас же от моего имени к нему на дом, и дайте ее ему без всякой платы». Грамота великого Пьеро Строчици стоила ему много сотен дукатов; мою мне принес один из этих первых его секретарей, како-

вого звали мессер Антонио Массоне². Этот вельможа вручил мне грамоту с удивительными оказательствами, от имени его величества, говоря: «Это вам жалует король, чтобы вы с еще большим воодушевлением могли ему служить. Это грамота на гражданство». И рассказал мне, как после долгого времени и по особой милости он, по просьбе Пьеро Строцци, дал ее ему, а что эту он сам от себя посылает мне вручить; что подобная милость никогда еще не оказывалась в этом королевстве. На эти слова я с великими оказательствами поблагодарил короля; затем попросил сказанного секретаря, чтобы он пожалуйста мне сказал, что такое значит эта грамота на гражданство. Этот секретарь был весьма даровит и любезен и отлично говорил по-итальянски; сперва весьма рассмеявшись, затем вернувшись к степенности, он сказал мне на моем языке, то есть по-итальянски, что такое значит грамота на гражданство, каковое есть одно из величайших званий, даваемых иностранцу, и сказал: «Это куда больше, чем сделаться венецианским дворянином». Выйдя от меня, вернувшись к королю, он обо всем доложил его величеству, каковой посмеялся немного, потом сказал: «Теперь я хочу, чтобы он знал, почему я ему послал грамоту на гражданство. Ступайте и сделайте его владельцем замка Маленький Нель, в котором он живет, каковой моя вотчина. Это он поймет, что это такое, гораздо легче, нежели он понял, что такое грамота на гражданство». Пришел ко мне посланный с этим подарком, ввиду чего я хотел оказать ему любезность; он не захотел ничего принять, говоря, что таково повеление его величества. Сказанную грамоту на гражданство, вместе с дарственной на замок, когда я уехал в Италию, я взял с собой; и куда бы я ни поехал, и где бы я ни кончил жизнь мою, я там постараюсь иметь их при себе.

XX

Теперь продолжаю дальше начатый рассказ о жизни моей. Имея на руках вышесказанные работы, то есть серебряного Юпитера, уже начатого, сказанную золо-

тую солонку, большую сказанную вазу серебряную, две головы бронзовых, над этими работами усердно трудилась. Готовился я также отлить подножие сказанного Юпитера, каковое я сделал из бронзы пребогато, полное украшений, посреди каковых украшений я изваял барельефом похищение Ганимеда; а с другой стороны Леду и Лебеда; его я отлил из бронзы, и вышло оно отлично. Сделал я также и другое, подобное, чтобы поставить на нем статую Юноны, поджидая, чтобы начать также и эту, если король даст мне серебро, дабы можно было ее сделать. Работая усердно, я уже собрал серебряного Юпитера; также собрал я и золотую солонку; ваза очень подвинулась; обе бронзовых головы были уже окончены. Сделал я также несколько работок для кардинала феррарского; кроме того, серебряную вазочку, богато отделанную. Я сделал, чтобы подарить ее госпоже де Тамп; для многих итальянских синьоров, то есть для синьора Пьеро Строцци, для графа делл' Анвиллара, для графа ди Питильяно, для графа делла Мирандола и для многих других я сделал много работ. Возвращаясь к моему великому королю, когда, как я сказал, я отлично подвинул вперед эти его работы, в это время он вернулся в Париж, и на третий день явился ко мне на дом с великим множеством наивысшей знати своего двора, и весьма изумлялся такому множеству работ, которые у меня были так благополучно подвинуты вперед; и так как с ним была его госпожа ди Тамп, то они начали говорить о Фонтана Белио. Госпожа ди Тамп сказала его величеству, что он должен бы велеть мне сделать что-нибудь красивое для украшения его Фонтана Белио. Тотчас же король сказал: «Это верно, то, что вы говорите, и я сейчас же хочу решить, чтобы там было сделано что-нибудь красивое». И, обернувшись ко мне, начал меня спрашивать, что бы я думал сделать для этого красивого источника. На это я предложил кое-какие мои выдумки; также и его величество сказал свое мнение; затем сказал мне, что хочет съездить дней на пятнадцать, двадцать в Сан Джермано делл'Айя, каковой отстоит на двенадцать миль от Парижа, и чтобы тем временем я сделал модель для этого его красивого источника,

с самыми богатыми измышлениями, какие я умею, потому что это место — наибольшая усада, какая у него есть в его королевстве; поэтому он мне велел и просил меня, чтобы я уж постарался сделать что-нибудь красивое; и я ему это обещал. Увидев столько подвинутых работ, король оказал госпоже де Тамп: «У меня никогда еще не было человека этого ремесла, который бы мне так нравился и который бы так заслуживал награждения, как этот; поэтому надо подумать о том, как бы удержать его. Так как он тратит много, и добрый товарищ, и много работает, то необходимо, чтобы мы сами помнили о нем; это потому, что, заметьте, сударыня, сколько раз он ни приходил ко мне и сколько я ни приходил сюда, он никогда ни о чем не просил; видно, что сердце его целиком занято работами; надо сделать для него что-нибудь хорошее поскорее, чтобы нам его не потерять». Госпожа де Тамп сказала: «Я вам об этом напомню». Они ушли; я принялся с великим усердием за работы мои начатые и, кроме того, взялся за модель источника и с усердием подвигал ее вперед.

XXI

По прошествии полутора месяца король возвратился в Париж; и я, который работал день и ночь, отправился к нему и понес с собой мою модель, так хорошо набросанную, что она ясно понималась. Уже начали возобновляться дьявольства войны между императором и им¹, так что я застал его очень смутным; однако я поговорил с кардиналом феррарским, сказав ему, что у меня с собой некие модели, каковые мне заказал его величество; и я его попросил, что если он усмотрит время вставить несколько слов для того, чтобы эти модели могли быть показаны, то я думаю, что король получит от этого много удовольствия. Кардинал так и сделал; предложил королю сказанные модели; король тотчас же пришел туда, где у меня были модели, Во-первых, я сделал дворцовую дверь Фонтана Белио. Чтобы не изменять, насколько можно меньше, строй

двери, которая была сделана в сказанном дворце, каковая была велика и приземиста, на этот их дурной французский лад; у каковой отверстие было немного больше квадрата, а над этим квадратом полукружие, приплюснутое, как ручка корзины; в этом полукружии король желал, чтобы была фигура, которая бы изображала Фонтана Белио; я придал прекраснейшие размеры сказанному пролету; затем поместил над сказанным пролетом правильное полукружие; а по бокам сделал некои приятные выступы, под каковыми, в нижней части, которая была в соответствии с верхней, я поместил по цоколю, а также и сверху; а взамен двух колонн, которые видно было, что требовались сообразно с приполками, сделанными внизу и вверху, я в каждом из мест для колонн сделал сатира. Он был больше, чем в полурельеф, и одной рукой как бы поддерживал ту часть, которая прикасается к колоннам; в другой руке он держал толстую палицу, смелый и свирепый со своей головой, которая как бы устрасала смотрящих. Другая фигура была такая же по своему положению, но различная и иная головой и кое-чем другим таким; в руке она держала бич о трех шарах, прикрепленных некими цепями. Хоть я и говорю сатиры, но у них от сатира были только некои маленькие рожки и козлиная голова; все остальное было человеческим обликом. В полукружии я сделал женщину в красивом лежачем положении: она держала левую руку вокруг шеи оленя, каковой был одной из эмблем короля; с одного края я сделал полурельефом козуль, и некои кабанов, и другую дичину, более низким рельефом. С другого края легавых и борзых разного рода, потому что так производит этот прекраснейший лес, где рождается источник. Затем всю эту работу я заключил в продолговатый четверугольник, и в верхних углах четверугольника, в каждом, я сделал по Победе, барельефом, с этими факельцами в руках, как было принято у древних. Над сказанным четверугольником я сделал саламандру, собственную эмблему короля, со многими изящнейшими другими украшениями под стать сказанной работе², каковая явствовала быть ионического строя.

Когда король увидел эту модель, она тотчас же его развеселила и отвлекла от тех докучных разговоров, в которых он провел больше двух часов. Увидав, что он весел на мой лад, я ему раскрыл вторую модель, каковой он вовсе и не ожидал, потому что ему казалось, что он видел немало работы и в этой. Эта модель была величиной больше двух локтей, в каковой я сделал фонтан в виде совершенного квадрата, с красивейшими лестницами вокруг, каковые пересекались одна с другой, вещь, никогда еще не виданная в тех краях и редчайшая в этих. Посередине сказанного фонтана я сделал основание, каковое являлось немного выше, нежели сказанная чаша фонтана; на основании этом я сделал, соответственно, нагую фигуру большой красоты. Она держала сломанное копьё в правой руке, поднятой ввысь, а левую держала на рукояти сабли, сделанной в очень красивом виде; она опиралась на левую ногу, а правой наступала на шлем, так богато отделанный, как только можно вообразить; а по четырем углам фонтана я сделал, в каждом, по сидящей фигуре, возвышенной, со многими красивыми эмблемами для каждой. Начал меня спрашивать король, чтобы я ему сказал, что это за красивый вымысел я создал, говоря мне, что все то, что я сделал на двери, он, не спрашивая меня ни о чем, это понял, но того, что у фонтана, хоть это и кажется ему очень красивым, он совсем не понимает; а между тем он знает, что я не сделал, как прочие глупцы, которые хоть и делают вещи с кое-каким изяществом, но делают их без всякого значения. Тут я приготовился; потому что, раз я понравился тем, что я сделал, мне хотелось, чтобы понравилось также и то, что я скажу. «Знайте, священное величество, что вся эта маленькая работа точнее вымерена в маленьких футах, так что если выполнить ее потом на деле, она выйдет точно такой же красоты, как вы видите. Эта фигура посередине — в пятьдесят четыре фута». При этом слове король выказал превеликое изумление. «Затем, сделана она, изображая бога Марса; эти остальные четыре фигуры сделаны для дарований,

которые так любит и поощряет ваше величество. Эта, по правую руку, изображена для науки всех словесностей; вы видите, что у нее ее приметы, что являет философию со всеми знаниями, ей сопутствующими. Эта вот являет собою все изобразительное искусство, то есть ваяние, живопись и зодчество. Эта вот изображена для музыки, каковой подобает сопутствовать всем этим наукам. Эта вот, которая является такой приветливой и благосклонной, изображена для щедрости, потому что без нее не может проявиться ни одно из этих чудесных дарований, которые бог нам являет. Эта статуя посередине, большая, изображена для самого вашего величества, каковое есть бог Марс, потому что вы единственный в мире храбрец, и эту храбрость вы ее применяете справедливо и свято в защиту вашей славы». Как только он был настолько терпелив, что дал мне договорить, он, возвысив громкий голос, сказал: «Поистине, я нашел человека себе по сердцу!» И позвал казначеев, определенных ко мне, и сказал, чтобы они меня снабдили всем, что мне надобно, и чтобы расход был велик, как угодно; затем хлопнул меня по плечу рукой, говоря мне: «*Mon ami*, — что означает: мой друг, — я не знаю, какое удовольствие больше, удовольствие ли государя, что он нашел человека себе по сердцу, или удовольствие этого художника, что он нашел государя, который ему предоставляет такие удобства, чтобы он мог выражать свои великие художественные замыслы». Я ответил, что если я тот, о ком говорит его величество, то моя удача гораздо больше. Он ответил смеясь: «Скажем, что она одинакова». Я ушел в великом веселье и вернулся к моим работам.

XXIII

Угодно было моей злой судьбе, чтобы я не догадался разыграть такую же комедию с госпожою де Тамп, которая, когда узнала вечером обо всем том, что произошло, из собственных уст короля, у нее родилось такое ядовитое бешенство в груди, что она с гневом сказала: «Если бы Бенвенуто показал мне свои

красивые работы, он дал бы мне повод вспомнить о нем при случае». Король хотел меня извинить, и ничего не вышло. Я, который об этом узнал, две недели спустя, когда, проехав по Нормандии через Руан и Дьеп, они затем вернулись в вышесказанный Сан Джермано делл' Айа, взял эту красивую вазочку, которую я сделал по просьбе сказанной госпожи ди Тамп, думая, что, подарив ее ей, я должен снова снискать ее милость. Итак, я понес ее с собой; и, когда я дал ей знать через одну ее кормилицу и показал этой сказанной красивую вазу, которую я сделал для ее госпожи, и что я хочу ей подарить ее, оказанная кормилица учинила мне непомерные ласки и сказала мне, что скажет слово госпоже, каковая еще не одета, и как только она ей скажет, она меня впустит. Кормилица сказала все это госпоже, каковая ответила гневно: «Скажите ему, чтобы он подождал». Я, узнав об этом, облачился терпением, что для меня очень трудно; однако же я имел терпение вплоть до того, как она отобедала; и, когда я увидел затем, что час поздний, голод причинил мне такую злону, что, не в силах более вынести, послал ее в сердце благочестиво к черту, я оттуда ушел, и отправился к кардиналу лотарингскому, и поднес ему сказанную вазу, прося его только, чтобы он поддержал меня в милости у короля. Он сказал, что этого не требуется, а если бы потребовалось, то он сделал бы это охотно; затем, позвав одного своего казначея, сказал ему что-то на ухо. Сказанный казначей подождал, пока я выйду от кардинала; затем оказал мне: «Бенвенуто, идите со мной, потому что я дам вам выпить стакан доброго вина». На что я сказал, не зная того, что он хотел сказать: «Пожалуйста, господин казначей, велите дать мне стакан вина и кусок хлеба, потому что я поистине лишаюсь сил, потому что сегодня с раннего утра вплоть до этого часа, который вы видите, я прождал натошак у дверей госпожи ди Тамп, чтобы подарить ей эту красивую серебряную позолоченную вазочку, и обо всем я дал ей знать, а она, чтобы меня все время мучить, велела мне сказать, чтобы я подождал. И вот, меня одолел голод, и я почувствовал, что ослабеваю; и, как богу было угодно, я подарил свой товар и свои труды тому, кто

много лучше их заслуживал, и я у вас ничего не прошу, как только немного выпить, потому что, так как я немного слишком вспыльчив, голод удручает меня настолько, что я готов упасть наземь без чувств». Пока я силится говорить эти слова, появилось чудесное вино и другие приятности, чтобы закусить, так что я усладился очень хорошо; и, как только я обрел снова жизненные силы, досада у меня прошла. Добрый казначей вручил мне сто золотых скудо, каковым я учинил сопротивление, что не желаю их никоим образом. Он пошел передать об этом кардиналу; каковой, наговорив ему великую брань, велел ему, чтобы он заставил меня взять их насильно, а иначе, чтобы он больше к нему не являлся. Казначей пришел ко мне сердитый, говоря, что никогда еще раньше кардинал так на него не кричал; и когда он хотел мне их дать, а я учинил немного сопротивление, он весьма сердито мне сказал, что заставит меня взять их насильно. Я взял деньги. Когда я хотел пойти поблагодарить кардинала, тот велел мне сказать через одного своего секретаря, что всегда, когда он сможет сделать мне удовольствие, что он мне его делает от всего сердца; я вернулся в Париж в тот же вечер. Король узнал обо всем. Над госпожой де Тамп подшучивали, что было причиной того, что она еще больше растравилась действовать против меня, так что я понес великую опасность для моей жизни, каковое будет сказано в своем месте.

XXIV

Хоть и много раньше должен был я вспомнить о приобретенной дружбе самого даровитого, самого сердечного и самого обходительного честного человека, которого я когда-либо знал на свете; это был мессер Гвидо Гвиди¹, превосходный врач, и ученый, и благородный флорентийский гражданин; из-за бесконечных испытаний, посланных мне превратной судьбой, я его немного оставлял слегка в стороне. Хоть это и не очень важно, я думал, что если я постоянно буду иметь его в сердце, то этого довольно; но, увидев затем, что моя

жизнь без него не в порядке, я его включил среди этих моих наибольших испытаний, чтобы как там он был мне утешением и помощью, так чтобы и здесь он служил мне памятью об этом благе. Приехал сказанный мессер Гвидо в Париж; и, начав быть с ним знакомым, я его привел к себе в замок и там дал ему отдельное само по себе жилье; так мы прожили вместе несколько лет. Приехал также епископ павийский, то есть монсиньор де'Росси², брат графа ди Сан Секондо. Этого синьора я взял из гостиницы и поместил его к себе в замок, дав также и ему отдельное жилье, где он жил, отлично устроенный, со своими слугами и лошадьми много месяцев. Другой раз также я устроил мессер Луиджи Аламанти с сыновьями на несколько месяцев; все-таки даровал мне милость господь, что я мог сделать некоторое удовольствие, также и я, людям и великим, и даровитым. С вышесказанным мессер Гвидо мы вкушали дружбу столько лет, сколько я там прожил, хвалясь нередко вместе, что мы совершенствуемся в кое-каких искусствах за счет этого столь великого и удивительного государя, каждый из нас по своей части. Я могу сказать поистине, что то, что я есть, и то, что я произвел хорошего и прекрасного, все это было по причине этого удивительного короля; поэтому продолжаю нить рассказа о нем и о моих больших работах, для него сделанных.

XXV

Имелся у меня в этом моем замке жедепом¹, чтобы играть в мяч, из какового я извлекал большой барыш, давая им пользоваться. Было в этом помещении несколько маленьких комнаток, где обитали разного рода люди, среди каковых был один весьма искусный печатник книг; этот держал чуть ли не всю свою мастерскую внутри моего замка, и это был тот, который напечатал эту первую прекрасную медицинскую книгу² мессер Гвидо. Желая воспользоваться этими комнатами, я его прогнал, хоть и с некоторой немалой трудностью. Жил там еще один селитряный мастер; и так как я хотел воспользоваться этими маленькими комнат-

ками для неких моих добрых немецких работников, этот сказанный селитряный мастер не хотел съезжать; и я любезно много раз говорил ему, чтобы он меня устроил с моими комнатами, потому что я хочу ими воспользоваться для жительства моих работников для службы королю. Чем смиреннее я говорил, тем этот скот надменнее мне отвечал; затем, наконец, я дал ему сроку три дня. Каковой этому рассмеялся и сказал мне, что через три года начнет об этом подумывать. Я не знал, что он ближайший прислужник госпожи ди Тамп; и если бы не было того, что эта причина с госпожой ди Тамп заставляла меня немножко больше думать о моих делах, нежели я то делал раньше, то я сразу бы его выгнал вон; но я решил иметь терпение эти три дня, каковые когда прошли, то, не говоря ни слова, я взял немцев, итальянцев и французов, с оружием в руках, и много подручных, которые у меня имелись; и в короткое время разнес весь дом и его пожитки выкинул вон из моего замка; и это действие, несколько суровое, я совершил потому, что он мне сказал, что не знает ни за одним итальянцем такой смелой силы, которая бы у него сдвинула с места хоть одну петлю. Поэтому, когда это случилось, он явился; каковому я сказал: «Я наименьший итальянец во всей Италии, и я тебе не сделал ничего, по сравнению с тем, что у меня хватило бы духу тебе сделать и что я тебе и сделаю, если ты вымолвишь хоть одно словечко»; с другими оскорбительными словами, которые я ему сказал. Этот человек, пораженный и испуганный, собрал свои пожитки, как только мог; потом побежал к госпоже де Тамп и расписал целый ад; и эта моя великая врагиня, настолько большим, насколько она была красноречивее, и еще того пуще расписала его королю; каковой дважды, мне говорили, хотел на меня рассердиться и отдать плохие распоряжения против меня; но так как дофин Арриго³, его сын, ныне король французский, получил кое-какие неприятности от этой слишком смелой дамы, то вместе с королевой наваррской, сестрой короля Франциска, они с таким искусством мне порадили, что король обратил все это в смех; таким образом, с истинной помощью божьей, я избежал великой бури.

Еще пришлось мне сделать то же самое и с другим, подобным этому, но дома я не разрушал; только выкинул ему все его пожитки вон. Поэтому госпожа де Тамп возымела такую смелость, что сказала королю: «Мне кажется, что этот дьявол когда-нибудь разгромит вам Париж». На эти слова король гневно ответил госпоже де Тамп, говоря ей, что я делаю только очень хорошо, защищаясь от этой сволочи, которая хочет мне помешать служить ему. Возрастало все пуще бешенство у этой жестокой женщины; она призвала к себе одного живописца, каковой имел жительство в Фонтана Белио, где король жил почти постоянно. Этот живописец был итальянец и болонец, и был известен как Болонья; собственным же своим именем он звался Франческо Приматиччо¹. Госпожа ди Тамп сказала ему, что он должен был бы попросить у короля эту работу над фонтаном, которую его величество определил мне, и что она всей своей мощью ему в этом поможет; так они и порешили. Возымел этот Болонья наибольшую радость, какую когда-либо имел, и на это дело рассчитывал наверное, хоть оно и не было по его части. Но так как он очень хорошо владел рисунком, он обзавелся некими работниками, каковые образовали себя под началом у Россо, нашего флорентийского живописца², поистине удивительнейшего искусника; и то, что он делал хорошего, он это взял от чудесного пошиба сказанного Россо, каковой тогда уже умер. Возмогли вполне эти хитроумные доводы, с великой помощью госпожи ди Тамп и с постоянным стучаньем день и ночь, то госпожа, то Болонья, в уши этому великому королю. И что было мощной причиной того, что он уступил, это то, что она и Болонья согласно сказали: «Как это возможно, священное величество, чтобы, как оно желает, Бенвенуто ему сделал двенадцать серебряных статуй? Ведь он еще не кончил ни одной? А если вы его употребите на столь великое предприятие, то необходимо, чтобы этих других, которых вы так хотите, вы себя наверное лишили; потому что и сто искуснейших людей не смогли бы кончить столько больших работ, сколько этот искус-

ный человек замыслил; ясно видно, что у него имеется великое желание сделать; и это будет причиной того, что ваше величество разом утратите и его, и работы». Из-за этих и многих других подобных слов король, оказавшись в расположении, соизволил все то, о чем они его просили; а между тем он еще не посмотрел ни рисунков, ни моделей чего бы то ни было руки сказанного Болоньи.

XXVII

В это самое время в Париже выступил против меня этот второй жилец, которого я прогнал из моего замка, и затеял со мною тяжбу, говоря, что я у него похитил великое множество его пожитков, когда его выселял. Эта тяжба причиняла мне превеликое мучение и отнимала у меня столько времени, что я много раз хотел уже прийти в отчаяние, чтобы уехать себе с богом. Есть у них обычай во Франции возлагать величайшие надежды на тяжбу, которую они начинают с иностранцем или с другим лицом, которое они видят, что сколько-нибудь оплошно тягается; и как только они начинают видеть для себя какое-нибудь преимущество в сказанной тяжбе, они находят, кому ее продать; а иные давали ее в приданое некоторым, которые только и заняты этим промыслом, что покупают тяжбы. Есть у них еще и другая дурная вещь, это то, что нормандцы, почти большинство, промышленяют тем, что свидетельствуют ложно; так что те, кто покупает тяжбы, тотчас же подучивают четверых таких свидетелей, или шестерых, смотря по надобности, и, благодаря им, тот, кто не подумал выставить стольких же в противность, раз он не знает про этот обычай, тотчас же получает приговор против себя. И со мной случились эти сказанные происшествия; и так как я считал, что это вещь весьма бесчестная, я явился в большой парижский зал, чтобы защищать свою правоту, где я увидел судью, королевского наместника по гражданской части, возвышавшегося на большом помосте. Этот человек был рослый, толстый и жирный, и вида

суровейшего; возле него, с одного боку и с другого было множество стряпчих и поверенных, все выстроенные в ряд справа и слева; другие подходили, по одному раз, и излагали сказанному судье какое-нибудь дело. Те поверенные, что были с краю, я видел иной раз, как они говорили все разом; так что я был изумлен, как этот удивительный человек, истинный облик Плутона, с явной видимостью склонял ухо то к одному, то к другому и преискусно всем отвечал. А так как я всегда любил видеть и вкушать всякого рода искусства, то это вот показалось мне таким удивительным, что я ни за что не согласился бы его не повидать. Случилось, что так как этот зал был превелик и полон великого множества людей, то они прилагали еще старание, чтобы туда не входили те, кому там нечего было делать, и держали дверь запертой и стража у сказанной двери; каковой страж иной раз, чиня сопротивление тем, которые он не хотел, чтобы входили, мешал этим великим шумом этому изумительному судье, который гневно говорил брань сказанному стражу. И я много раз замечал и наблюдал такое происшествие; и доподлинные слова, которые я слышал, были эти, каковые сказал сам судья, который заметил двух господ, что пришли посмотреть; и так как этот привратник чинил превеликое сопротивление, то сказанный судья сказал, крича громким голосом: «Тише, тише, сатана, уходи отсюда, и тише!» Эти слова на французском языке звучат таким образом: «Phe phe Satan phe phe Satan alé phe»¹. Я, который отлично научился французскому языку, услышав это выражение, мне пришло на память то, что Данте хотел сказать², когда он вошел с Виргилием, своим учителем, в ворота Ада. Потому что Данте в одно время с Джотто, живописцем, были вместе во Франции³ и преимущественно в Париже, где, по сказанным причинам, то место, где судятся, может быть названо Адом; поэтому также Данте, хорошо зная французский язык, воспользовался этим выражением; и мне показалось удивительным делом, что оно никогда не было понято как таковое; так что я говорю и полагаю, что эти толкователи заставляют его говорить такое, чего он никогда и не думал.

XXVIII

Возвращаясь к моим делам, когда я увидел, что мне вручают некои приговоры через этих поверенных, то, не видя никакого способа помочь себе, я прибег для помощи себе к большому кортику, который у меня имелся, потому что я всегда любил держать хорошее оружие; и первый, с кого я начал нападение, был тот главный, который затеял со мной неправую тяжбу; и однажды вечером я нанес ему столько ударов, остерегаясь все же, чтобы его не убить, в ноги и в руки, что обеих ног я его лишил. Затем я разыскал того другого, который купил тяжбу, и также и его тронул так, что эта тяжба прекратилась. Возблагодарив за это и за все другое всегда бога, думая тогда пожить немного без того, чтобы меня беспокоили, я сказал у себя дома моим юношам, особенно итальянцам, чтобы, ради бога, каждый занимался своим делом и помог мне некоторое время, так чтобы я мог кончить эти начатые работы, потому что я скоро их кончу; затем я хочу вернуться в Италию, не в силах будучи ужиться со злодействами этих французов; и что если этот добрый король на меня когда-нибудь разгневется, то мне от него придется плохо, потому что я для своей защиты учинил много этих самых дел. Эти сказанные итальянцы были, первый и самый дорогой, Асканио, из Неаполитанского королевства, из места, называемого Тальякоче; другой был Паголо, римлянин, человек рождения весьма низкого, и отец его был неизвестен; эти двое были те, которых я привез из Рима, каковые в сказанном Риме жили у меня. Другой римлянин, который приехал, также и он, ко мне из Рима нарочно, также и этот звался по имени Паголо и был сын бедного римского дворянина из рода Макарони; этот юноша не много знал в искусстве, но преотменно владел оружием. Один у меня был, который был феррарец и по имени Бартоломмео Кьочча. И еще один у меня был; этот был флорентинец, и имя ему было Паголо Миччери. И так как его брат, который звался по прозвищу «il Gatta»¹, этот был искусен в счетоводстве, но слишком много потратил, управляя имуществом Томмазо Гуаданьи,

богатеяшего купца; этот Гатта привел мне в порядок некие книги, где я вел счета великого христианнейшего короля и других; этот Паголо Миччери, переняв способ от своего брата, с этими моими книгами, он мне их продолжал, и я ему платил отличнейшее жалованье. И так как он мне казался очень хорошим юношей, потому что я видел его набожным, слыша его постоянно то бормочущим псалмы, то с четками в руках, то я много ожидал от его притворной доброты. Отозвав его одного в сторону, я ему сказал: «Паголо, дражайший брат, ты видишь, как тебе хорошо жить у меня, и знаешь, что у тебя не было никакой поддержки, и к тому же еще ты флорентинец; поэтому я особенно полагаюсь на тебя, потому что вижу тебя весьма преданным делам веры, а это такое, что очень мне нравится. Я тебя прошу, чтобы ты мне помог, потому что я не слишком полагаюсь ни на кого из этих остальных; поэтому я тебя прошу, чтобы ты у меня позаботился об этих двух первейших вещах, которые очень были бы мне досадны; одна это то, чтобы ты отлично берег мое добро, чтобы его у меня не брали, и ты сам у меня его не трогай; затем ты видишь эту бедную девушку, Катерину, каковую я держу главным образом для надобностей моего искусства, потому что без нее я бы не мог; кроме того, так как я человек, я ею пользовался для моих плотских утех, и может случиться, что она мне учинит ребенка; а так как я не желаю содержать чужих детей, я также не потерплю, чтобы мне было учинено такое оскорбление. Если бы кто-нибудь в этом доме был настолько смел, что сделал бы это, и я бы это заметил, мне, право, кажется, что я бы убил и ее, и его; поэтому прошу тебя, дорогой брат, чтобы ты мне помог; и если ты что-нибудь увидишь, сейчас же мне скажи, потому что я пошлю к бесу и ее, и мать, и того, кто бы этим занялся; поэтому ты сам первый берегись». Этот мошенник осенил себя крестным знаменем, которое достигло от головы до ног, и сказал: «О Иисусе благословенный, боже меня избави, чтобы я когда-либо подумал о чем-нибудь таком, во-первых, потому что я не привержен к этим делишкам; а затем, разве вы думаете, что я не понимаю того великого

блага, которое я от вас имею?» При этих словах, видя, что они мне сказаны с видом простым и сердечным по отношению ко мне, я поверил, что все обстоит именно так, как он говорит.

XXIX

Затем, два дня спустя, когда наступил праздник, мессер Маттео дель Надзаро, также итальянец и слуга королю, того же самого ремесла, искуснейший человек, пригласил меня с этими моими юношами погулять в одном саду. Поэтому я собрался и сказал также и Паголо, что он должен бы съездить, потому что мне казалось, что я немного утихомирил слегка эту сказанную докучливую тяжбу. Этот юноша ответил мне, говоря: «Право, было бы большой ошибкой оставлять дом так один; посмотрите, сколько у вас тут золота, серебра и камней. Живя вот таким образом в городе воров, необходимо остерегаться как ночью, так и днем; я займусь тем, что буду читать некие мои молитвы, охраняя тем временем дом; поезжайте со спокойною душой насладиться и развлечься; другой раз эту обязанность исполнит другой». Так как мне казалось, что можно ехать с покойной душой, то вместе с Паголо, Асканио и Кьоччей в сказанный сад мы поехали погулять, и этот день, большой его кусок, провели весело. Когда стало близиться больше к вечеру, после полудня, меня взяла тоска, и я начал думать о тех словах, которые с притворной простотой мне сказал этот несчастный; я сел на своего коня и с двумя моими слугами вернулся к себе в замок, где я застал Паголо и эту дрянь Катерину почти что в грехе; потому что, когда я прибыл, эта французская сводница-мать великим голосом сказала: «Паголо, Катерина, хозяин приехал!» Видя, как оба они явились испуганные, и когда они наткнулись на меня совсем переполошенные, сами не зная, ни что они говорят, ни, как ошалелые, куда они идут, явно узнался содеянный их грех. Поэтому, так как разум был осилен гневом, я взялся за шпагу, решившись на то, чтобы убить их обоих; один убежал, другая упала

наземь на колени и вопила о небесном милосердии. Я, который хотел было сперва ударить мужчину, так как не мог таким образом настичь его сразу, то, когда я потом его нагнал, я тем временем рассудил, что самое лучшее будет прогнать их обоих прочь; потому что, вместе со стольким другим, случившимся рядом с этим, я с затруднением спас бы жизнь. Поэтому я сказал Паголо: «Если бы мои глаза видели то, что ты, негодяй, заставляешь меня думать, я бы десять раз проткнул тебе требуху этой шпагой; а теперь убирайся отсюда, и если тебе придется когда-нибудь читать «Отче наш», то знай, то это будет «Отче наш» святого Юлиана»¹. Затем я прогнал прочь мать и дочь в толчки, пинки и кулаки. Они задумали отомстить за эту обиду и, посоветовавшись с одним нормандским поверенным, он их научил, чтобы она сказала, что я имел с нею общение по итальянскому способу; каковой способ разумелся против естества, то есть содомский, говоря: «Во всяком случае, когда этот итальянец услышит про такое дело и зная, сколь много оно опасно, он тотчас же даст вам несколько сот дукатов, чтобы вы об этом не говорили, имея в виду великое наказание, какое учиняется во Франции за этот самый грех». Так они и порешили. На меня возвели обвинение, и я был вызван.

XXX

Чем больше я искал покоя, тем больше мне являлось терзаний. Обижаемый судьбою каждый день на разные лады, я начал раздумывать, то ли мне сделать, или другое, уехать ли с богом и бросить Францию на ее погибель, или же выдержать и эту битву и посмотреть, на какой конец создал меня бог. Долгое время терзался я этим; потом, наконец, приняв решение уехать с богом, не желая настолько пытать мою превратную судьбу, чтобы она сломала мне шею, когда я расположился совсем и окончательно и двинул шаги, чтобы быстро разместить то имущество, которое я не мог взять с собой, а прочее, помельче, приладил, как

мог, на себе и на своих слугах, я все же с весьма тяжким моим огорчением совершал этот отъезд. Я остался один в одной моей горенке; потому что эти мои юноши, которые меня поддерживали, что я должен уезжать с богом, я им сказал, что было бы хорошо, чтобы я посоветовался немного сам с собой, хотя, при всем том, я и знаю, что они говорят в большой доле правду; потому что когда я буду вне тюрьмы и дам немного улечься этой буре, я гораздо лучше смогу извиниться перед королем, рассказав в письме это самое смертоубийство, учиненное надо мной единственно из зависти. И, как я сказал, я решил так и сделать; и лишь только я двинулся, я был взят за плечо и повернут, и некий голос, который сказал горячо: «Бенвенуто, поступи, как всегда, и не бойся». Тотчас же приняв обратное решение тому, которое у меня было, я сказал этим моим итальянским юношам: «Берите доброе оружие, и идите со мной, и повинуйтесь тому, что я вам говорю, и ни о чем другом не думайте, потому что я хочу явиться; если бы я уехал, вы бы все на другой же день пошли дымом; так что повинуйтесь и идите со мной». Все согласно эти юноши сказали: «Раз мы здесь и живем его добром, мы должны идти с ним и помогать ему, пока есть жизнь, в том, что он предположит; потому что он сказал вернее, чем думали мы; как только его не будет в этом месте, его враги нас всех погонят вон. Подумаем хорошенько о великих работах, которые тут начаты, и о том, сколь великой они важности; у нас не хватило бы умения кончить их без него, а его враги говорили бы, что он уехал потому, что у него не хватило умения кончить эти самые предприятия». Они сказали много других дельных слов, кроме этих. Этот римский юноша Макарони первый придал духу остальным. Также позвал он некоторых из этих немцев и французов, которые меня любили. Было нас всех десять; я двинулся в путь приготовившись, решив не дать себя заточить живым. Явясь перед уголовных судей, я нашел сказанную Катерину и ее мать; я застал их, что они смеялись с неким своим поверенным; я вошел внутрь и смело спросил судью, который, раздутый, толстый и жирный, возвышался над остальными

на некоем помосте. Увидев меня, этот человек, угрожая головой, сказал тихим голосом: «Хотя имя тебе Бенвенуто, на этот раз ты пришел плохо». Я расслышал и повторил еще раз, говоря: «Поскорей со мной кончайте; скажите мне, что я пришел тут делать». Тогда сказанный судья обернулся к Катерине и сказал ей: «Катерина, расскажи все, что у тебя было с Бенвенуто». Катерина сказала, что я имел с нею общение по итальянскому способу. Судья, обернувшись ко мне, сказал: «Ты слышишь, что Катерина говорит, Бенвенуто?» Тогда я сказал: «Если бы я имел с нею общение по итальянскому способу, я бы делал это единственно из желания иметь ребенка, как делаете вы прочие». Тогда судья возразил, говоря: «Она хочет сказать, что ты имел с нею общение вне того сосуда, где делают детей». На это я сказал, что это не итальянский способ, а, должно быть, способ французский, раз она его знает, а я нет; и что я хочу, чтобы она рассказала точно, каким образом я с нею поступал. Эта негодная потаскуха подлым образом рассказала открыто и ясно гнусный способ, который она хотела сказать. Я велел ей это подтвердить три раза один за другим; и когда она это сказала, я сказал громким голосом: «Господин судья, наместник христианнейшего короля, я прошу у вас правосудия; потому что я знаю, что законы христианнейшего короля за подобный грех уготовляют костер и содеявшему, и претерпевшему; однако она сознается в грехе; я ее не знаю никоим образом; сводница-мать здесь, которая за то и другое преступление заслуживает костра; я прошу у вас правосудия». И эти слова я повторял весьма часто и громким голосом, все время требуя костра для нее и для матери; говоря судье, что если он не посадит ее в тюрьму в моем присутствии, то я побегу к королю и расскажу несправедливость, которую мне чинит его уголовный наместник. Те при этом моем великом шуме начали понижать голоса; тогда я подымал его еще больше; потаскушка — в слезы, вместе с матерью, а я судье кричал: «Костер, костер!» Этот трусище, видя, что дело прошло не так, как он замыслил, начал более мягкими словами извинять слабый женский пол. Тут я увидел,

что я как будто все же выиграл великую битву, и, бормоча и грозя, охотно ушел себе с богом; и я, конечно, заплатил бы пятьсот скудо, лишь бы никогда туда не являться. Выйдя из этой пучины, я от всего сердца возблагодарил бога и, веселый, вернулся с моими юношами к себе в замок.

XXXI

Когда превратная судьба, или, скажем, эта наша супротивная звезда, берется преследовать человека, у нее никогда не бывает недостатка в новых способах, чтобы выдвинуть их против него. Когда мне казалось, что я вышел из некоей неопишуемой пучины, когда я уже думал, что хоть на малое время это мое превратное светило должно меня оставить в покое, не успел я перенести дух после этой неопишуемой опасности, как оно выдвинуло мне их целых две сразу. На протяжении трех дней со мною приключилось два случая; и в каждом из них жизнь моя была на стрелке весов. Дело в том, что, поехав в Фонтана Белио поговорить с королем, который написал мне письмо, в каком он хотел, чтобы я сделал чеканы для монет всего его королевства, и с этим письмом прислал мне кое-какие рисунки, чтобы показать мне часть своего намерения; но вполне давал мне волю, чтобы я делал все то, что мне нравилось; я сделал новые рисунки, сообразно своему разумению и сообразно красоте искусства; итак, когда я прибыл в Фонтана Белио, один из этих казначеев, которые имели от короля распоряжение снабжать меня, его звали монсиньор делла Фа, каковой тотчас же мне сказал: «Бенвенуто, живописец Болонья¹ получил от короля распоряжение делать ваш большой колосс, и все распоряжения, которые наш король сделал нам относительно вас, он их все отменил и сделал их нам относительно него. Нам это представилось весьма дурным, и нам казалось, что этот ваш итальянец весьма дерзостно повел себя по отношению к вам; потому что вы уже получили эту работу благодаря вашим моделям и вашим трудам; он ее у вас отнимает,

единственно по милости госпожи ди Тамп; и вот уже много месяцев, как он получил этот заказ, а еще не видно, чтобы он что-либо готовил». Я, изумленный, сказал: «Как это возможно, чтобы я ничего об этом не знал?» Тогда он мне сказал, что тот держал его в величайшей тайне и что он получил его с превеликими трудностями, потому что король не хотел его ему давать; но старания госпожи ди Тамп единственно помогли ему его получить. Я, почувствовав себя подобным образом обиженным и столь несправедливо, и увидев, что у меня отнимают работу, каковую я заслужил моими великими трудами, расположившись учинить что-нибудь немалое, с оружием отправился прямо к Болонье. Застал я его у себя в комнате и за своими занятиями; он велел позвать меня внутрь и с этими своими ломбардскими любезностями сказал мне, какое такое хорошее дело привело меня сюда. Тогда я сказал: «Дело отличнейшее и большое». Этот человек велел своим слугам, чтобы они принесли пить, и сказал: «Прежде, чем нам о чем-нибудь беседовать, я хочу, чтобы мы выпили вместе, потому что таков французский обычай». Тогда я сказал: «Мессер Франческо, знайте, что те беседы, которые мы имеем с вами вести, не требуют того, чтобы мы сперва пили; может быть, потом можно будет выпить». Я начал беседовать с ним, говоря: «Все люди, которые желают слыть порядочными людьми, делают дела свои так, чтобы по ним узнавалось, что это порядочные люди; а поступая наоборот, они уже не носят имени порядочных людей. Я знаю, что вы знали, что король дал мне сделать этот большой колосс, о каком говорилось полтора года, и ни вы, ни другие ни разу не выступили, чтобы сказать что-либо об этом; я же моими великими трудами объявился великому королю, каковой, так как ему понравились мои модели, эту большую работу дал делать мне; и вот уже сколько месяцев, что я ничего не слышал; только сегодня утром я узнал, что вы ее получили и отняли у меня; каковую работу я себе заслужил моими удивительными делами, а вы ее у меня отнимаете единственно вашими пустыми словами».

На это Болонья ответил и сказал: «О Бенвенуто, каждый старается делать свое дело всеми способами, какими можно; раз король желает так, то что же еще вы желаете возразить? Вы только зря потратили бы время, потому что мне ее поручили, и она моя. Теперь скажите то, что вы хотите, и я вас выслушаю». Я сказал так: «Знайте, мессер Франческо, что я мог бы вам сказать много слов, каковыми с удивительной и истинной справедливостью я бы заставил вас признать, что такие способы не приняты, как те, что вы учинили и сказали, среди разумных животных; однако я в кратких словах быстро приду к точке заключения, но откройте уши и слушайте меня хорошенько, потому что это важно». Он хотел было встать с места, потому что увидел, что я окрасился в лице и весьма изменился; я сказал, что еще не время вставать; чтобы он оставался сидеть и слушал меня. Тогда я начал, говоря так: «Мессер Франческо, вы знаете, что работа была сначала моей и что, по мирской справедливости, прошло то время, когда кто бы то ни было мог еще об этом говорить; теперь я вам говорю, что я согласен, чтобы вы сделали модель, а я, кроме той, которую я сделал, сделаю еще другую; затем мы, ни слова не говоря, снесем их нашему великому королю; и кто таким путем добьется чести, что сделал лучше, тот заслуженно будет достоин колосса; и если вам достанется его делать, я отложу всю эту великую обиду, которую вы мне учинили, и благословлю ваши руки, как более достойные, нежели мои, такой славы; так что остановимся на этом и будем друзьями, иначе мы будем врагами; и бог, который всегда помогает правоте, и я, который открываю ей дорогу, я вам покажу, в каком вы были великом заблуждении». Мессер Франческо сказал: «Работа — моя, и раз она мне дана, я не хочу поступаться своим». Я ему отвечаю: «Мессер Франческо, раз вы не желаете избрать добрый способ, который справедлив и разумен, я вам покажу другой, который будет, как ваш, каковой дурен и неприятен. Я вам говорю так, что, если я когда-нибудь, каким-либо образом, услышу,

что вы говорите об этой моей работе, я тотчас же вас убью, как собаку; и так как мы не в Риме, и не в Болонье, и не во Флоренции, здесь живут по-другому, то если я когда-нибудь узнаю, что вы говорите об этом с королем или с кем другим, я вас убью во что бы то ни стало; подумайте о том, какой путь вы хотите избрать, этот ли первый, добрый, который я сказал, или этот последний, плохой, который я говорю». Этот человек не знал, ни что сказать, ни что делать; а я был готов учинить это действие охотнее тогда же, чем класть еще время промеж. Не сказал ничего другого, как эти слова, сказанный Болонья: «Если я буду делать то, что должен делать порядочный человек, я ничего на свете не убоюсь». На это я сказал: «Вы хорошо сказали; но, поступая наоборот, бойтесь, потому что для вас это важно». И я тотчас же ушел от него, и отправился к королю, и с его величеством долго обсуждал дело с монетами, в каковом мы были не очень согласны; потому что, так как тут же был его совет, они его убеждали, что монеты должны делаться на их французский лад, как они делались до тех пор. Каковым я отвечал, что его величество вызвал меня из Италии для того, чтобы я ему делал работы, которые были бы хороши; и если бы его величество велел мне наоборот, у меня бы никогда душа не потерпела их делать. На этом отложили, чтобы поговорить другой раз; я тотчас же вернулся в Париж.

XXXIII

Не успел я спешиться, как одна добрая особа, из тех, которые находят удовольствие в том, чтобы видеть зло, пришла мне сказать, что Паголо Миччери снял дом для этой потаскушки Катерины и для ее матери, и что он постоянно бывает там, и что, говоря обо мне, он всегда с насмешкой говорит: «Бенвенуто дал гусям стеречь латук и думал, что я его не съем; пусть теперь он грозитя и думает, что я его боюсь; я ношу теперь эту шпагу и этот кинжал, чтобы показать ему, что и моя шпага режет и что я флорентинец, как и он, из

Миччери, много лучшего рода, чем их Челлини». Этот негодяй, который принес мне это известие, сказал мне его с такой силой, что я тотчас же почувствовал, как меня схватила лихорадка, я говорю лихорадка, говоря не в виде сравнения. И так как, может быть, от такой зверской страсти я бы умер, то я избрал лекарством дать ей тот исход, который мне давался этим случаем, по тому способу, который я в себе чувствовал. Я сказал этому моему феррарскому работнику, которого звали Кьочча, чтобы он шел со мной, и велел слуге вести за мною следом моего коня; и, прибыв в дом, где был этот несчастный, найдя дверь приотворенной, я вошел внутрь; я увидел его, что он был при шпаге и кинжале, и сидел на сундуке, и обнимал Катерину рукой за шею, только что придя; услышал, как он и ее мать проходились на мой счет. Толкнув дверь, в то же самое время выхватив шпагу, я ему приставил ее острие к горлу, не дав ему времени сообразить, что и у него тоже имеется шпага, и при этом сказал: «Подлый трус, поручи себя богу, потому что ты умер». Тот, не шевелясь, сказал три раза: «Мамочка, помогите мне!» Я, который имел желание убить его во что бы то ни стало, когда я услышал эти слова, такие глупые, у меня прошла половина злобы. Тем временем я сказал этому моему работнику Кьочче, чтобы он не выпускал ни ее, ни мать, потому что если я его ударю, то такое же зло я хочу учинить и этим двум потаскухам. Держа по-прежнему острие шпаги у горла, я немного чуточку его покалывал, все время с устрашающими словами; затем, когда я увидел, что он совсем никак не защищается, а я не знал уж, что и делать, и этому страшанию, мне казалось, никогда не будет конца, мне пришло в голову, на худой конец, заставить его на ней жениться, с намерением учинить потом мою месть. Так решив, я сказал: «Сними это кольцо, которое у тебя на пальце, трус, и женись на ней, дабы я мог учинить месть, которой ты заслуживаешь». Он тотчас же сказал: «Лишь бы вы меня не убивали, я все сделаю». — «Тогда, — сказал я, — надень ей кольцо». Я отстранил ему немного шпагу от горла, и он надел ей кольцо. Тогда я сказал: «Этого недостаточно, потому

что я хочу, чтобы сходили за двумя нотариусами, дабы это совершилось по договору». Сказав Кьочче, чтобы он сходил за нотариусами, я тотчас же обернулся к ней и к матери. Говоря по-французски, я сказал: «Сюда придут нотариусы и прочие свидетели; первую из вас, которую я услышу, что она что-нибудь об этом скажет, я тотчас же убью, и я вас убью всех троих; так что будьте разумны». Ему я сказал по-итальянски: «Если ты возразишь хоть что-нибудь на то, что я предложу, при малейшем слове, которое ты скажешь, я тебя так истыкаю кинжалом, что ты у меня выпустишь все, что у тебя в кишках». На это он ответил: «С меня достаточно, чтобы вы меня не убивали, и я сделаю то, что вы хотите». Явились нотариусы и свидетели, заключили подлинный договор, и удивительно прошли у меня и злоба, и лихорадка. Я расплатился с нотариусами и ушел. На другой день приехал в Париж Болонья, нарочно, и велел меня позвать через Маттио дель Назаро; я пошел и застал сказанного Болонью, каковой с веселым лицом вышел мне навстречу, прося меня, чтобы я считал его добрым братом и что он никогда больше не будет говорить об этой работе, потому что отлично сознает, что я прав.

XXXIV

Если бы я не говорил, в некоторых из этих моих приключениях, что сознаю, что поступил дурно, то те другие, где я сознаю, что поступил хорошо, не сошли бы за истинные; поэтому я сознаю, что сделал ошибку, желая отомстить столь странным образом Паголо Миччери. Хотя, если бы я знал, что это такой слабый человек, мне бы никогда не пришла на ум такая постыдная месть, какую я учинил; потому что мне мало было того, что я заставил его взять в жены такую подлую потаскушку, но еще потом, желая закончить остаток моей мести, я за ней посылая и лепил ее; каждый день я ей давал по тридцать сольдо; и так как я заставлял ее оставаться голой, то она требовала, во-первых, чтобы

я платил ей ее деньги вперед; во-вторых, она требовала очень хороший завтрак; в-третьих, я из мести имел с нею общение, попрекая ее и мужа теми разными рогами, которые я ему учинял; в-четвертых, я держал ее в очень неудобном положении по многу и многу часов; и быть в этом неудобном положении ей очень надоедало, настолько же, насколько мне это нравилось, потому что она была прекрасно сложена и приносила мне превеликую честь. И так как ей казалось, что я ей не оказываю того внимания, какое я оказывал раньше, до того, как она вышла замуж, и это было ей весьма в тягость, то она начинала ворчать; и на этот свой французский лад грозилась на словах, упоминая своего мужа, каковой уехал жить к приору капуанскому¹, брату Пьеро Строцци. И, как я сказал, она упоминала этого своего мужа; а когда я слышал, что о нем говорят, тотчас же на меня находил неопикуемый гнев; однако я его сносил, с неохотой, как только мог, памятуя, что для моего искусства мне не найти ничего более подходящего, чем она; и говорил про себя: «Я учиняю здесь две разных мести; первую — тем, что она замужем; это не мнимые рога, как его, когда она была для меня потаскухой; поэтому, если я учиняю эту столь отменную месть по отношению к нему, а также и по отношению к ней такую странность, держа ее здесь в таком неудобном положении, которое, кроме удовольствия, приносит мне такую честь и такую пользу, — то чего же мне еще желать?» Пока я подводил этот мой счет, эта дрянь распространялась в этих оскорбительных словах, говоря все время о своем муже, и такое делала и говорила, что выводила меня из границ рассудка; и, отдавшись в добычу гневу, я схватил ее за волосы и таскал ее по комнате, колотя ее ногами и кулаками, пока не устал. И туда никто не мог войти ей на помощь. После того, как я ее порядком потрепал, она стала клясться, что не желает никогда больше ко мне возвращаться; поэтому первый раз мне показалось, что я очень плохо сделал, потому что мне казалось, что я теряю удивительный случай доставить себе честь. Притом же я видел, что она вся истерзана, по-

синела и распухла, думая, что если она и вернется, то необходимо будет лечить ее недели две, раньше чем я мог бы ею пользоваться.

XXXV

Возвращаясь к ней: я послал одну мою служанку, чтобы она помогла ей одеться, каковая служанка была старая женщина, которую звали Руберта, душевнейшая; и, придя к этой негоднице, она принесла ей снова выпить и поесть; затем намазала ей немного поджаренным солонинным жиром эти больные ушибы, которые я ей насадил, а прочий жир, который оставался, они вместе съели. Одевшись, она затем ушла, богохульствуя и проклиная всех итальянцев и короля, который их держит; так она шла, плача и бормоча до самого дома. Правда, что первый этот раз мне показалось, что я очень плохо сделал, и моя Руберта меня попрекала и все мне говорила: «Очень вы жестоки, что так свирепо колотите такую красивую девочку». Когда я хотел извиниться перед этой моей Рубертой, рассказывая ей про негодяйства, которые чинила и она, и мать, когда жила у меня, на это Руберта меня бранила, говоря, что это пустяки, потому что таков французский обычай, и что она знает наверное, что во Франции нет мужа, у которого не было бы рожек. На эти слова я рассмеялся и потом сказал Руберте, чтобы она сходила посмотреть, как Катерина себя чувствует, потому что мне было бы приятно, если бы я мог кончить эту мою работу, пользуясь ею. Моя Руберта меня попрекала, говоря мне, что я не умею себя вести; потому что едва настанет день, как она сама сюда придет; тогда как, если вы пошлете спросить о ней или навестить, она начнет ломаться и не пожелает идти. Когда настал следующий день, эта сказанная Катерина пришла к моей двери и с великой яростью стучалась в сказанную дверь, так что, будучи внизу, я побежал посмотреть, сумасшедший ли это, или кто из домашних. Когда я отворил дверь, эта скотина, смеясь, бро-

силась мне на шею, обнимала меня и целовала, и спросила меня, сержусь ли я еще на нее. Я сказал, что нет. Она сказала: «Так дайте мне хорошенько закусить». Я дал ей хорошенько закусить и поел с нею в знак мира. Затем принялся ее лепить, и тем временем у нас случились плотские улады, а затем, в тот же самый час, что и в прошедший день, она до того меня разбедрила, что мне пришлось надавать ей таких же самых колотушек, и так мы продолжали несколько дней, продельвая каждый день все то же самое, как из-под чекана; немного разнилось от большего к меньшему. Тем временем я, который учинил себе превеликую честь и кончил свою фигуру, приготовился отлить ее из бронзы; в какой-то я имел кое-какие трудности, так что было бы прекрасно для надобностей искусства рассказать об этом; но так как я бы слишком задержался, я это обойду. Довольно того, что моя фигура вышла отлично, и это было такое прекрасное литье, какого никогда не делалось ¹.

XXXVI

Пока эта работа подвигалась вперед, я уделял по несколько часов в день и работал над солонкой, а иногда над Юпитером. Так как солонку работало гораздо больше людей, нежели у меня было к тому удобство, чтобы работать над Юпитером, то уже к этому времени я ее кончил во всем. Король вернулся в Париж ¹, и я к нему отправился, неся ему сказанную оконченную солонку; каковая, как я сказал выше ², была овальной формы и величиной была приблизительно в две трети локтя, вся из золота, сработанная при помощи чекана. И, как я сказал, когда я говорил о модели, я изобразил море и землю, обоих сидящими, и они перемежались ногами, как иные морские заливы заходят внутрь земли, а земля внутрь сказанного моря; так точно и я придал им это изящество. Морю я поместил в руку трезубец в правую; а в левую поместил ладью, тонко сработанную, в каковую клалась соль. Под этой сказанной фигурой были ее четыре морских коня, которые по грудь и передние лапы были конские; вся часть от

середины кзади была рыба; эти рыбы хвосты приятным образом переплетались вместе; над каковой группой сидело с горделивейшей осанкой оказанное море; вокруг него были многого рода рыбы и другие морские животные. Вода была изображена со своими волнами; затем была отлично помуравлена собственным своим цветом. Для земли я изобразил прекраснейшую женщину, с рогом ее изобилия в руке, совсем нагую, точь-в-точь как и мужчина; в другой ее, левой руке я сделал храмик ионического строя, тончайше сработанный; и в нем я приспособил перец. Пониже этой женщины я сделал самых красивых животных, каких производит земля; и ее земные скалы я частью помуравил, а частью оставил золотыми. Затем я поставил эту сказанную работу и насадил на подножие из черного дерева; оно было некоей подходящей толщины, и в нем была небольшая выкружка, в каковой я разместил четыре золотых фигуры, сделанных больше чем в полурельеф; эти изображали ночь, день, сумерки и зарю. Еще там были четыре других фигуры такой же величины, сделанные для четырех главных ветров, с такой тщательностью сработанные и частью помуравленные, как только можно вообразить. Когда эту работу я поставил перед глазами короля, он издал возглас изумления и не мог насытиться, рассматривая ее; затем сказал мне, чтобы я ее отнес к себе домой и что он мне скажет в свое время, что я должен с нею сделать. Я отнес ее домой, и тотчас же пригласил нескольких моих дорогих друзей, и с ними с превеликим весельем пообедал, поставив солонку посреди стола; и мы были первые, кто ее употребил. Затем я продолжал кончать серебряного Юпитера и большую вазу, уже сказанную³, всю отделанную многими приятнейшими украшениями и множеством фигур.

XXXVII

В это время Болонья, живописец вышесказанный, заявил королю, что было бы хорошо, чтобы его величество отпустил его в Рим и дал ему сопроводительные письма, через каковые он бы мог слепить¹ эти первей-

шие прекрасные древности, то есть Леоконта, Клеопатру, Венеру, Комода, Цыганку и Аполлона². Это действительно самое прекрасное из того, что есть в Риме. И он говорил королю, что когда его величество затем увидит эти изумительные произведения, тогда он сможет рассуждать об изобразительном искусстве, потому что все то, что он видел у нас, современных, весьма далеко от умения этих древних. Король согласился и учинил ему все милости, о которых тот просил. Так уехал, себе на беду, этот скотина. Так как у него не хватило духу состязаться со мною своими руками, то он избрал этот ломбардский способ, пытаясь принизить мои работы, сделавшись лепщиком древностей. И хотя их ему отлично слепили, для него из этого вышло совершенно обратное следствие, чем то, которое он воображал; о чем будет сказано потом в своем месте. Когда я совсем прогнал сказанную дрянью Катерину, а этот несчастный бедный юноша, ее муж, уехал с богом из Парижа, то, желая кончить отделкой свою Фонтана Белио, каковая была уже сделана в бронзе, а также чтобы хорошо сделать эти две Победы, которые шли в боковые углы дверного полукружия, я взял одну бедную девушку в возрасте приблизительно лет пятнадцати. Она была очень хороша телосложением и была немного черновата; и так как она была чуточку дикарка и очень неразговорчива, с быстрыми движениями, с хмурыми глазами, то все это было причиной, что я дал ей имя «дичок»; ее настоящее имя было Жанна. С этой сказанной девочкой я отлично закончил в бронзе сказанную Фонтана Белио и обе эти Победы оказанные для сказанной двери. Эта малютка была чиста и девственна, и я ее сделал беременной; каковая мне родила девочку июня седьмого дня, в тринадцать часов дня, 1544-го года, что было временем как раз сорокачетырехлетнего моего возраста. Сказанной девочке, я ей дал имя Констанца; и крестил мне ее мессер Гвидо Гвиди, королевский врач, превеликий мой друг, как я выше писал. Он был единственным крестным отцом, потому что во Франции таков обычай, чтобы был один крестный отец и две крестных матери, из которых одна была синьора Маддалена, жена мессер

Луиджи Аламанти, флорентийского дворянина и удивительного поэта; другая крестная мать была жена мессер Риччардо дель Бене, нашего флорентийского гражданина, а там³ крупного купца; она же знатная французская дворянка. Это был первый ребенок, который у меня когда-либо был, насколько я помню. Я назначил сказанной девушке столько денег в приданое, на сколько согласилась одна ее тетка, которой я ее отдал; и никогда больше с тех пор ее не знал.

XXXVIII

Я усердствовал над своими работами и намного продвинул их вперед: Юпитер был почти что кончен, ваза также; дверь начинала являть свои красоты. В это время король прибыл в Париж; и хотя я сказал, из-за рождения моей дочери, о 1544-м годе, мы еще были в 1543-м; но так как мне сейчас уже случилось рассказать об этой моей дочери, то, чтобы не мешать себе в остальном более важном, я ничего больше о ней не скажу вплоть до своего места. Король приехал в Париж, как я сказал, и тотчас же пришел ко мне на дом; и, увидав столько этих подвинутых работ, таких, что глаза могли вполне удовлетвориться, как и было с глазами этого удивительного короля, какового настолько удовлетворили сказанные работы, насколько может желать тот, кто несет труды, как понес я, он тотчас же сам собой вспомнил, что вышесказанный кардинал феррарский не дал мне ничего, ни содержания, ни чего другого из того, что он мне обещал; и, пробормотав со своим адмиралом, оказал, что кардинал феррарский повел себя очень плохо, что не дал мне ничего; но что он хочет исправить эту непристойность, потому что он видит, что я человек, который говорит немного, и я когда-нибудь, — был и сгинул, — возьму и уеду себе с богом, ничего ему не сказав. Когда они вернулись домой, то, после обеда его величества, он сказал кардиналу, чтобы он от его имени сказал его казнохранителю, чтобы тот уплатил мне как можно скорее семь тысяч золотых скудо, в три или четыре платежа, смо-

тря по тому, как ему будет удобно, лишь бы он этого не преминул; и потом заметил ему, говоря: «Я вам отдал Бенвенуто под охрану, а вы о нем забыли». Кардинал сказал, что охотно сделает все то, что говорит его величество. Сказанный кардинал, по своей дурной природе, дал пройти у короля этому желанию. Тем временем войны возрастали;¹ и это было как раз в ту пору, когда император со своим огромнейшим войском шел на Париж. Видя, что Франция в великой денежной нужде, кардинал, найдя однажды случай заговорить обо мне, сказал: «Священное величество, чтобы сделать лучше, я не велел давать денег Бенвенуто; во-первых потому, что сейчас они слишком нужны; другая причина та, что такая большая сумма денег вас бы скорее лишила Бенвенуто; потому что, решив, что он богат, он накупил бы себе земель в Италии, и как только ему бы взбрела причуда, он бы охотнее уехал от вас; так что я подумал, что было бы лучше, чтобы ваше величество подарило ему что-нибудь в своем королевстве, имея желание, чтобы он остался на более долгое время в его службе». Король одобрил эти речи, потому что был в денежной нужде; тем не менее, как благороднейшая душа, поистине достойная такого короля, каким он был, он рассудил, что сказанный кардинал сделал это скорее, чтобы выслужиться, чем по нужде и потому чтобы он мог настолько представить себе вперед нужды такого великого королевства.

XXXIX

И хотя, как я говорил, король показал, будто одобряет эти его сказанные речи, втайне он думал не так, потому что, как я говорил выше, он возвратился в Париж и на следующий день, без того, чтобы я его побуждал, сам по себе пришел ко мне на дом; где, выйдя к нему навстречу, я его повел по разным комнатам, где были разного рода работы, и, начиная с вещей более низких, показал ему великое множество бронзовых работ, каковых он давно уже не видывал в таком числе. Затем я повел его посмотреть серебряного Юпитера и

показал его почти оконченным, со всеми его прекраснейшими украшениями; каковой показался ему много более изумительным, чем показался бы другому человеку, по причине некоего ужасного случая, который с ним приключился за несколько лет до того; потому что когда, после взятия Туниса, император проезжал через Париж¹, по уговору со своим кузеном, королем Франциском, то сказанный король, желая сделать подарок, достойный столь великого императора, велел для него сделать серебряного Геркулеса, величиной точь-в-точь такого, каким я сделал Юпитера; каковой Геркулес, по признанию короля, был самой безобразной работой, которую он когда-либо видывал, и когда он ее таковой и назвал этим парижским искусникам, каковые считали себя первыми на свете искусниками в этом художестве, то они заявили королю, что это все, что можно сделать из серебра, и тем не менее пожелали две тысячи дукатов за эту свою свинячью работу; по этой причине, когда король увидел эту мою работу, он в ней увидел такую отделанность, о которой никогда не мог бы и думать. Так что он рассудил справедливо и пожелал, чтобы моя работа с Юпитером была точно так же оценена в две тысячи дукатов, говоря: «Тем я не платил никакого жалованья; а этот, которому я плачу жалованья около тысячи скудо, конечно может мне ее сделать за две тысячи золотых скудо, раз он имеет вдобавок это свое жалованье». Затем я его пошел посмотреть другие серебряные и золотые работы и много других моделей для измышления новых работ. Потом, перед самым его уходом, на моем замковом лугу я открыл этого моего великого гиганта, каковому король еще более дивился, нежели чему бы то ни было другому; и, повернувшись к адмиралу, какового звали монсиньор Анибалле², сказал: «Так как кардинал ничем его не обеспечил, то надо непременно, благо он и сам ленив просить и ничего не говорит, то я хочу, чтобы он был обеспечен; ведь этим людям, которые никогда ни о чем не просят, им кажется, будто их труды сами о многом просят; поэтому обеспечьте его первым же свободным аббатством, которое было бы стоимостью до двух тысяч скудо дохода; и если это не вый-

дет целиком, то пусть это будет в двух или в трех частях, потому что для него это будет все равно». При-
сутствуя при этом, я слышал все и тотчас же принял
его благодарить, как если бы я его уже получил, го-
воря его величеству, что я хочу, когда это наступит,
трудиться для его величества без всякого вознагра-
ждения, ни жалованьем, ни какой-либо платой за работы,
до тех пор, пока, понуждаемый старостью, не в силах
больше трудиться, я не упокою в мире мою усталую
жизнь, достойно живя на этот доход, вспоминая, что
я служил такому великому королю, как его величество.
На эти мои слова король с великой живостью, преве-
село обратясь ко мне, сказал: «И пусть так и будет».
И его величество, довольный, от меня ушел, а я
остался.

XL

Госпожа ди Тамп, узнав про эти мои дела, еще
пуще против меня растравилась, говоря сама себе:
«Я теперь правлю миром, а какой-то человек, подоб-
ный этому, не ставит меня ни во что!» Она принялась со
всяческим усердием действовать мне во всем напере-
кор. И когда ей как-то подвернулся под руку некий
человек, каковой был великий перегонщик, он ей дал
некоторые благовонные и чудесные воды, каковые на-
тягивали ей кожу, вещь во Франции дотоле небывалая;
она его представила королю; каковой человек показал
некоторые из этих перегонов, каковые весьма пона-
равились королю; и среди этих забав случилось, что он
попросил у его величества жедепом, который имелся
у меня в замке, с некими малыми комнатками, про
каковые он говорил, что я ими не пользуюсь. Этот доб-
рый король, который понимал, откуда это дело идет, не
дал никакого ответа. Госпожа ди Тамп принялась до-
могаться теми путями, какими женщины могут у муж-
чин, так что ей легко удался этот ее замысел, потому
что, когда она застала короля в любовном расположе-
нии, каковому он был весьма подвержен, он предоста-
вил госпоже все то, чего она желала. Пришел этот ска-
занный человек вместе с казначеем Гролье¹, знатней-

шим французским вельможей; и так как этот казначей отлично говорил по-итальянски, то он пришел ко мне в замок и вошел в него, в мое присутствие, заговорив со мною по-итальянски, пошучивая. Улучив удобный случай, он сказал: «Я ввожу во владение от имени короля этого вот человека этим жедепомом и этими строеньицами, которые к сказанному жедепому принадлежат». На это я сказал: «Священному королю принадлежит все; однако вы могли бы войти сюда более открыто; потому что таким способом, учиненным путем нотариусов и суда, это скорее похоже на путь обмана, нежели на подлинный приказ столь великого короля; и я вам заявляю, что, прежде чем пойти жаловаться королю, я буду защищаться тем способом, как его величество третьего дня мне велел, чтобы я сделал, и выкину вам этого человека, которого вы мне сюда водворили, в окна, если я не увижу другого прямого приказа собственною рукою короля». На эти мои слова сказанный казначей ушел, грозя и ворча, а я, делая того же самое, остался и тогда не хотел учинять какого-либо иного оказательства; затем отправился я к этим нотариусам, которые ввели его во владение. Это были хорошие мои знакомые, и они мне сказали, что это был обряд, учиненный действительно по приказу короля, но что это не так уж важно; и что если бы я оказал ему хоть некоторое сопротивление, то он не вступил бы во владение, как он это сделал; и что это дела и обычаи судебные, каковые ничуть не касаются повиновения королю; так что если бы мне удалось изгнать его из владения таким же способом, как он в него вступил, то это будет хорошо, и ничего другого не будет. Мне было достаточно, чтобы мне намекнули, и на следующий день я начал браться за оружие; и хотя у меня были некоторые трудности, мне это понравилось. Каждый день по разу я учинял нападение камнями, пиками, аркебузами, заряжая, однако, без пули; но наводил на них такой страх, что никто уже не желал прийти ему на помощь. Поэтому, видя однажды, что он сражается слабо, я силою вступил в дом и выгнал его оттуда, выбросив ему вон все то, что он туда принес. Затем я прибег к королю и сказал ему, что я поступил точь-в-

точь так, как его величество мне велел, защищаясь против всех тех, кто желал бы мне помешать в службе его величеству. На это король рассмеялся и выдал мне новую бумагу², по каковой меня не могли уже притеснять.

XLI

Тем временем, с великим тщанием, я закончил своего прекрасного серебряного Юпитера вместе с его золоченым подножием, каковое я поместил на деревянном цоколе, который был мало заметен; и в этот деревянный цоколь я вставил четыре шарика из твердого дерева, каковые были более чем наполовину скрыты в своих гнездах, наподобие взвода у самострела. Все это было так хорошо прилажено, что маленький мальчик легко, во все стороны, без малейшего труда, двигал взад и вперед и поворачивал сказанную статую Юпитера. Устроив ее по-своему, я отправился с нею в Фонтана Белио, где был король. Между тем вышесказанный Болонья привез из Рима вышесказанные статуи и с великим тщанием велел их отлить из бронзы. Я, который ничего об этом не знал как потому, что он исполнил эту свою работу весьма тайно, и потому, что Фонтана Белио удален от Парижа больше чем на сорок миль, поэтому я ничего не мог знать. Когда я попросил сказать королю, где он желает, чтобы я поставил Юпитера, так как при этом присутствовала госпожа ди Тамп, то она сказала королю, что нет места более подходящего, чтобы его поставить, чем в его красивой галерее. Это была, как мы бы сказали в Тоскане, лоджа, или переход; скорее переходом можно бы ее назвать, потому что лоджами мы называем такие комнаты, которые открыты с одной стороны. Комната эта была длиною много больше ста шагов, и была украшена, и преобгата живописью руки этого удивительного Россо, нашего флорентинца, а между картин было размещено множество изваянных работ, частью круглых, частью барельефных; была она шириною шагов двенадцать приблизительно. Вышесказанный Болонья поместил в этой сказанной галерее все вышесказанные

античные произведения, сделанные в бронзе и отлично исполненные, и расставил их в прекраснейшем порядке, возвышающимися на своих подножиях; и, как я выше сказал, это были все самые прекрасные вещи, выше-реннее с античных римских. В эту сказанную комнату я внес моего Юпитера; и когда я увидел эти великие приготовления, сделанные все с умыслом, я сказал себе: «Это то же, что пройти сквозь копьё; уж пусть мне бог поможет». Установив его на его место и, насколько я мог, отлично расположив, я стал ждать, чтобы пришел этот великий король. Имел сказанный Юпитер в правой своей руке прилаженной молнию, как если бы собирался ее метнуть, а в левую я ему приладил Мир. Посреди пламени я с большой ловкостью вставил кусок белого факела. И так как госпожа ди Тамп задержала короля до самой ночи, чтобы причинить одно из двух зол, либо чтобы он не пришел, либо чтобы мое произведение, из-за ночи, показалось менее прекрасным; и как бог обещает тем созданиям, которые в него верят, случилось как раз обратное, потому что, увидав, что настала ночь, я зажег сказанный факел, который был в руке у Юпитера; и так как он был несколько приподнят над головою сказанного Юпитера, то свет падал сверху, и получался гораздо более красивый вид, чем получился бы днем. Появился сказанный король, вместе со своей госпожой ди Тамп, с дофином, сыном своим, и с дофиной, теперешним королем¹, с королем наваррским, своим шурином², с госпожой Маргаритой, своей дочерью, и с некоторыми другими вельможами, каковые были нарочно подучены госпожою ди Тамп говорить против меня. Увидав, что входит король, я велел подталкивать вперед этому моему подмастерью уже сказанному, Асканию, который тихонько двигал прекрасного моего Юпитера навстречу королю; а так как я его сделал, к тому же, с некоторым искусством, то при этом легком движении, которое было придано сказанной фигуре, благо она была очень хорошо сделана, она казалась как бы живой; и, оставляя немного сказанные античные фигуры позади, я сразу же давал большое удовольствие глазам моим произведением. Тотчас же король сказал: «Это много

прекраснее всего того, что когда-либо видел человек, и хоть я и любитель, и знаток, я не мог бы себе представить и сотой доли этого». Эти вельможи, которые должны были говорить против меня, казалось, не могли насытиться, восхваляя сказанное произведение. Госпожа ди Тамп дерзко сказала: «Можно подумать, что у вас нет глаз; или вы не видите, сколько прекрасных античных фигур из бронзы стоит вон там, в каких и состоит подлинная суть этого искусства, а не в этих современных безделицах?» Тогда король двинулся, и остальные за ним; и, взглянув на сказанные фигуры, а они, так как свет падал на них снизу, не имели никакого вида, на это король сказал: «Тот, кто хотел повредить этому человеку, оказал ему великую услугу; потому что, при посредстве этих чудесных фигур, видишь и понимаешь, что эта вот его фигура намного прекраснее и удивительнее, чем они; поэтому надо высоко ставить Бенвенуто, потому что его произведения не только достигают сравнения с античными, но и превосходят их». На это госпожа ди Тамп сказала, что если посмотреть на эту работу днем, то она покажется в тысячу раз хуже, чем кажется ночью; к тому же надо заметить, что я накинул на эту фигуру покрывало, чтобы прикрыть недостатки. Это было тончайшее покрывало, которое я с большим изяществом накинул на сказанного Юпитера, чтобы прибавить ему величия; каковое при этих словах я взял, приподняв снизу, открывая эти прекрасные детородные части, и с некоторой явной досадой все его изодрал. Она подумала, что я ему открыл эту часть ради личной насмешки. Король заметил это негодование, а я, побежденный страстью, хотел заговорить; тотчас же мудрый король сказал доподлинно такие слова на своем языке: «Бенвенуто, я тебя лишаю слова; поэтому молчи, и ты получишь больше сокровищ, чем даже желаешь, в тысячу раз». Не будучи в состоянии говорить, я в великой ярости корчился; от чего она еще сердитее ворчала; и король, гораздо скорее, чем он иначе сделал бы, ушел, говоря громко, чтобы придать мне духу, что он достал из Италии величайшего человека, который когда-либо рождался, полного стольких художеств.

XLII

Оставив там Юпитера ¹, когда я наутро хотел уехать, он велел дать мне тысячу золотых скудо; частью это было мое жалованье, частью — по счетам, которые я показал, что истратил из своих. Взяв деньги, веселый и довольный, я вернулся в Париж; и, как только я приехал, повеселившись дома, я после обеда велел принести всю свою одежду, каковой было великое множество шелка, отборнейших мехов, а также тончайших сукон. Ее я роздал всем этим моим работникам в подарок, жалуя ее смотря по достоинствам этих слуг, вплоть до служанок и конюхов, придавая всем духу, чтобы помогали мне от всего сердца. Набравшись снова сил, я с превеликим усердием и старанием принялся заканчивать эту великую статую Марса ², каковую я сделал из брусьев, отлично пригнанных в виде остова; а поверх этого его мясом была кора, толщиною в осьмушку локтя, сделанная из гипса и тщательно сработанная; затем я определил вылепить сказанную фигуру из многих кусков, а потом связать ее в лапу, как учит искусство; что мне было весьма легко сделать. Не хочу преминуть дать доказательство этой громадной работы, нечто поистине достойное смеха; потому что я приказал всем тем, кого я содержал, чтобы ко мне в дом и в замок ко мне не приводили непотребных женщин: и за этим я очень следил, чтобы этого не случилось. Был этот мой молодой Асканио влюблен и красивейшую девушку, а та в него; поэтому эта сказанная девушка, убежав от матери, придя однажды ночью к Асканио и не желая затем от него уходить, а он, не зная, куда бы ее спрятать, в конце концов, как человек изобретательный, поместил ее внутри фигуры сказанного Марса, и в самой его голове устроил ее спать; и там она прожила долго, а ночью он иногда тихонько ее доставал. Так как эту голову я оставил очень близкой к окончанию, а из некоторого тщеславия я оставлял открытой сказанную голову, каковую можно было видеть из большей части города Парижа, то начали те, кто был ближе по соседству, взлезать на крыши, и ходили многие народы на-

рочно ее посмотреть. А так как был слух по Парижу, что в этом моем замке издревле обитает дух, чему я не видел ни одного доказательства, чтобы поверить, что это правда (сказанный дух повсюду в парижской черни называли именем Леммонио Борео³); и так как эта девушка, которая обитала в сказанной голове, иной раз не могла, чтобы через глаза не было видно некое легкое движение; то некоторые из этих глупых народов говорили, что этот сказанный дух вошел в это тело этой великой фигуры и что он заставляет эту голову двигать глазами и ртом, как если бы она хотела заговорить; и многие, испугавшись, уходили, а иные хитрецы, придя посмотреть и не в состоянии будучи разувериться в этом мигании глаз, которое учиняла сказанная фигура, также и они утверждали, что там имеется дух, не зная, что там имелся и дух, и знатное тело в придачу.

XLIII

Тем временем я был занят сборкой моей красивой двери, со всем нижеописанным. А так как я не имею намерения описывать в этой моей жизни такие вещи, которые принадлежат тем, кто пишет летописи, то я оставил в стороне нашествие императора с его великим войском и короля со всей его вооруженной силой. И в эти времена он обратился ко мне за советом, чтобы спешно укрепить Париж: ¹ он нарочно пришел за мною на дом и повел меня вокруг всего города Парижа; и, услышав, с каким здравым смыслом я ему спешно укрепил Париж, он дал мне прямое распоряжение, чтобы все, что я сказал, я тотчас же исполнил; и приказал своему адмиралу, чтобы тот приказал этим народам, чтобы они меня слушались, под властью его немилости. Адмирал, который был сделан таковым через покровительство госпожи ди Тамп, а не за свои добрые дела, будучи человеком малого ума, а так как имя его было монсиньор д'Ангебо, хоть на нашем языке это значит монсиньор д'Анибалле, но на тамошнем их языке это звучит так, что эти народы большей частью называли его монсиньоре Азино Буэ², — эта скотина передал все

это госпоже ди Тамп, и она ему велела, чтобы он спешно вызвал Джироламо Беллармато³. Это был сиенский инженер, и он был в Диеппе, удаленном от Парижа немногим больше, чем на день пути. Он тотчас же приехал, и так как он принялся укреплять самым долгим способом, то я устранился от этого предприятия; и если бы император двинулся вперед, он бы с большой легкостью взял Париж. Действительно, говорят, что при том договоре, который потом был заключен, госпожа ди Тамп, которая больше, чем кто-либо другой в нем участвовала, предала короля⁴. Большого мне не приходится сказать об этом, потому что мне это ни к чему. Я принялся с великим усердием собирать мою бронзовую дверь и кончать эту большую вазу и две других средних, сделанных из моего серебра. После этих тревожений приехал добрый король отдохнуть немного в Париж⁵. Так как эта проклятая женщина словно родилась на погибель миру, то мне все же кажется, что я что-нибудь да значу, раз она меня считала главным своим врагом. Заведя как-то речь с этим добрым королем о моих делах, она ему наговорила столько дурного про меня, что этот добрый человек, дабы угодить ей, начал клясться, что никогда больше не будет со мною считаться, как если бы никогда меня не знал. Эти слова мне тотчас же пришел сказать один паж кардинала феррарского, которого звали Вилла, и оказал мне, что сам их слышал из уст короля. Это привело меня в такой гнев, что, раскидав кругом все свои орудия и все работы также, я собрался уезжать с богом и тотчас же отправился к королю. После его обеда я вошел в комнату, где был его величество с весьма многими особами; и когда он увидел, что я вошел, и когда я сделал ему этот положенный поклон, который подобает королю, он тотчас же с веселым лицом кивнул мне головой. Поэтому я возымел надежду и начал мало-помалу приближаться к его величеству, потому что показывались кое-какие вещи по части моего художества, и когда поговорили немножко о сказанных вещах, его величество спросил меня, нет ли у меня дома чего-нибудь красивого, чтобы ему показать; затем сказал, когда я хочу, чтобы он пришел их посмотреть. Тогда я сказал,

что я готов показать ему кое-что, если бы он пожелал, сейчас же. Он тотчас же сказал, чтобы я шел домой и что он сейчас придет.

XLIV

Я отправился, поджидая этого доброго короля, каковой пошел попрощаться с госпожой ди Тамп. Пожелав узнать, куда он идет, потому что она говорила, что хотела бы ему сопутствовать, и когда король ей оказал, куда он идет, она сказала его величеству, что не хочет с ним идти и что она его просит, чтобы он сделал ей такую милость на этот день и не ходил также и сам. Ей пришлось возвращаться к этому больше двух раз, желая отвратить короля от этого намерения; в этот день он ко мне на дом не пришел. На другой за тем день я вернулся к королю в тот же самый час; как только он меня завидел, он поклялся, что хочет тотчас же прийти ко мне на дом. Когда он, по своему обыкновению, пошел проститься со своей госпожой ди Тамп, то, увидав, что при всей своей власти ей не удалось отвлечь короля, она начала своим кусачим языком говорить столько дурного про меня, сколько можно наговорить про человека, который был бы смертельным врагом этой достойной короны. На это добрый этот король сказал, что хочет сходить ко мне на дом только для того, чтобы разнести меня так, чтобы я испугался; и обещал госпоже ди Тамп так и сделать; и тотчас пришел на дом, где я его повел в некие большие нижние комнаты, в каковых я собрал всю эту мою большую дверь; и, подойдя к ней, король остался до того ошеломленным, что не находил пути, чтобы наговорить мне ту великую брань, которую он обещал госпоже ди Тамп. Но и тут он не хотел преминуть найти повод наговорить мне эту обещанную брань и начал, говоря: «Ведь это все-таки удивительное дело, Бенвенуто, и такие люди, как вы, хоть вы и даровиты, должны бы понимать, что эти ваши дарования сами по себе вы не можете выказывать; и вы себя выказываете великими только благодаря случаям, которые получаете от нас. И вам бы

следовало быть немного послушнее, и не такими гордыми и самочинными. Я помню, что приказал вам точно, чтобы вы мне сделали двенадцать серебряных статуй; и это было единственное мое желание; вы у меня пожелали сделать солонку, и вазы, и головы, и двери, и всякие другие вещи, так что я весьма теряюсь, видя, что вы оставили в стороне все желания моей воли и занялись угождением всем вашим желаниям; так что если вы думаете поступать таким образом, я вам покажу, как я имею обыкновение поступать, когда желаю, чтобы делалось по-моему. Поэтому я вам говорю: старайтесь повиноваться тому, что вам сказано; потому что, упорствуя в этих ваших прихотях, вы будете биться головой об стену». И пока он говорил эти слова, все эти господа стояли настороже, видя, что он трясет головой, хмурит глаза, то одною рукой, то другою делает знаки; так что все эти люди, которые там присутствовали, дрожали от страха за меня, потому что я решил не бояться ни чуточки.

XLV

И как только он кончил учинять мне это стращание, которое он обещал своей госпоже ди Тамп, я опустился на одно колено и, поцеловав ему платье у его колена, сказал: «Священное величество, я подтверждаю, что все, что вы говорите, правда; но только я ему говорю, что сердце мое было постоянно, день и ночь, со всеми моими жизненными силами направлено единственно к тому, чтобы повиноваться ему и служить ему; а все то, что вашему величеству кажется, будто находится в противности тому, что я говорю, то да будет ведомо вашему величеству, что это был не Бенвенуто, а, быть может, мой злой рок или жестокая судьба, каковая пожелала сделать меня недостойным служить самому изумительному государю, который когда-либо имелся на земле; поэтому я вас прошу, чтобы вы меня простили. Но только мне казалось, что ваше величество дали мне серебра на одну только статую; и, не имея своего, я не мог сделать больше, чем эту; а из того не-

многого серебра, которое от сказанной фигуры у меня осталось, я из него сделал эту вазу, чтобы показать вашему величеству эту прекрасную манеру древних; каковую, быть может, раньше вы в таком роде еще не видели. Что до солонки, то мне казалось, если я верно помню, что ваше величество сами у меня ее потребовали однажды, когда зашла речь об одной, которую вам принесли; поэтому, когда я вам показал модель, каковую я сделал еще в Италии, вы по собственному своему требованию велели тотчас же выдать мне тысячу золотых дукатов, чтобы я ее сделал, говоря, что признательны мне за это; и особенно мне казалось, что вы много меня благодарили, когда я вам ее дал оконченной. Что до двери, то мне казалось, что, беседуя о ней при случае, ваше величество отдали приказание монсеньору ди Виллуруа, своему первому секретарю, каковой приказал монсеньору ди Марманья и монсеньору делль'Ана ¹ чтобы с этой работой они меня торопили и чтобы они меня обеспечили; а без этих приказаний, сам по себе, я бы никогда не мог подвинуть вперед столь великие предприятия. Что до бронзовых голов, и подножий к Юпитеру, и остального, то головы я сделал действительно сам от себя, чтобы испытать эти французские глины, каковых я, как чужеземец, совсем не знал; а не сделав опыта над сказанными глинами, я бы не взялся отливать эти большие работы; что до подножий, то я их сделал, потому что мне казалось, что это отлично подходит в придачу к этим самым фигурам; поэтому все то, что я делал, я думал, что делаю к лучшему и отнюдь не отклоняюсь от желаний вашего величества. Правда, что этого великого колосса я сделал всего, в том виде, как он есть, за счет моего кошелька, единственно потому, что мне казалось, что раз вы такой великий король, то такой малый художник, как я, должен сделать, для вашей славы и для моей, статую, каковой у древних не было никогда. Узнав теперь, что богу не было угодно удостоить меня столь почетной службы, я у вас прошу, чтобы взамен той почетной награды, которую ваше величество предназначало моим трудам, оно мне просто уделило немного благоволения и отпустило меня на волю; по-

тому что, если оно меня этого удостоит, я в тот же миг уеду, возвращаясь в Италию, вечно благодаря бога и ваше величество за те счастливые часы, которые я провел в его службе».

XLVI

Он взял меня собственными руками и с великой обходительностью поднял меня с колен; затем он сказал мне, что я должен согласиться ему служить и что все, что я сделал, хорошо и он очень доволен. И, обернувшись к этим господам, сказал доподлинно такие слова: «Мне, право, кажется, что если бы для рая нужны были двери, то прекраснее этой ему бы не найти». Когда я увидел, что немного остановилась живость этих слов, каковые были все в мою пользу, я снова с превеликим поклоном его поблагодарил, повторяя, однако, что хочу увольнения; потому что у меня не прошел еще гнев. Когда этот великий король увидал, что я не придал той цены, какую следовало этим его необычным и великим ласкам, он приказал мне громким и устрашающим голосом, чтобы я не говорил больше ни слова, не то горе мне; и потом прибавил, что утопит меня в золоте и что он дает мне разрешение, чтобы после работ, порученных мне его величеством, на все то, что я делаю в промежутке от себя, он вполне согласен, и что никогда больше у меня не будет с ним разногласия, потому что он меня узнал; и чтобы и я также постарался узнать его величество, как этого требует долг. Я сказал, что благодарю бога и его величество за все; затем попросил его, чтобы он пошел посмотреть большую фигуру, как я ее подвинул вперед; и он пошел за мной. Я велел ее открыть; эта вещь привела его в такое изумление, что и представить себе нельзя; и он тотчас же велел одному своему секретарю, чтобы тот немедленно вернул мне все деньги, которые я истратил из своих, каковая бы сумма ни была, раз только я ее напишу собственной рукой. Затем он ушел и сказал мне: «До свидания, топ амі»; каковое великое слово королями не употребляется.

Возвратясь к себе во дворец, он начал повторять великие слова, столь удивительно смиренные и столь возвышенно горделивые, которые я употребил с его величеством, каковые слова премного его рассердили, и рассказывая некоторые подробности этих слов в присутствии госпожи ди Тамп, где был монсиньор ди Сан Поло, знатный французский барон¹. Этот человек явил в прошлом весьма великие свидетельства тому, что он мне друг; и действительно, на этот раз он с большим искусством, по-французски, доказал это. Потому что, после многих разговоров, король пожаловался на кардинала феррарского, что отдал меня ему под охрану, а тот ни разу с тех пор и не подумал обо мне, и что не по вине кардинала случилось, что я не уехал с богом из его королевства, и что он в самом деле подумает о том, чтобы отдать меня под охрану какому-нибудь лицу, которое знает меня лучше, чем кардинал феррарский, потому что он не желает больше давать мне повода лишиться меня. На эти слова тотчас же предложил себя монсиньор ди Сан Поло, говоря королю, чтобы он отдал меня под охрану ему и что он сделает так, что у меня никогда больше не будет причин уезжать из его королевства. На это король сказал, что он вполне согласен, если Сан Поло скажет ему способ, которого тот хочет держаться, чтобы я не уезжал. Госпожа, которая при этом присутствовала, очень дулась, и Сан Поло вел себя осторожно, не желая сказать королю того способа, которого он хочет держаться. Король снова его спросил, и он, чтобы угодить госпоже ди Тамп, сказал: «Я бы его повесил за горло, этого вашего Бенвенуто; и таким способом вы бы его не утратили из вашего королевства». Тотчас же госпожа ди Тамп подняла великий смех, говоря, что я вполне этого заслужил. На это король за компанию рассмеялся и сказал, что вполне согласен, чтобы Сан Поло меня повесил, если только он приищет ему другого, равного мне; что хоть я этого несколько не заслужил, он дает ему полную волю. Сказанным образом кончился этот день, и я остался здрав и невредим; за что богу хвала и благодарение.

XLVIII

Тем временем король замирил войну с императором, но не с англичанами, так что эти дьяволы держали нас в великом треволнении¹. Так как голова у короля была занята совсем другим, нежели удовольствиями, то он велел Пьеро Строщи², чтобы тот повел некие галеры в эти английские моря; что было делом превеликим и трудным повести их туда даже для этого удивительного воина, единственного в свои времена в этом ремесле и столь же единственно злосчастливого. Прошло несколько месяцев, как я не получал денег и никаких распоряжений работать; так что я отослал всех моих работников, кроме этих двух итальянцев, каковым я велел делать две небольших вазы из моего серебра, потому что они не умели работать из бронзы. Когда они кончили обе вазы, я с ними поехал в один город, который принадлежал королеве наваррской; зовется он Арджентана³ и удален от Парижа на много дней пути. Прибыл я в сказанное место и застал короля нездоровым; кардинал феррарский сказал его величеству, что я приехал в это место. На это король ничего не ответил; и это было причиной, что мне пришлось на много дней задержаться. И, право, никогда еще я так не досадовал; все ж таки через несколько дней я к нему однажды вечером явился и представил его глазам эти две красивых вазы, каковые чрезвычайно ему понравились. Когда я увидал, что король отлично расположен, я попросил его величество, чтобы он соблаговолил сделать мне такую милость, чтобы я мог съездить в Италию, и что я оставлю семь месяцев жалованья, которые мне должны, каковые деньги его величество соизволит распорядиться потом мне заплатить, если бы они мне потребовались для моего возвращения. Я просил его величество, чтобы он оказал мне эту такую милость, ибо тогда поистине время было воевать, а не ваять; еще и потому, что его величество разрешил это своему живописцу Болонье, поэтому я почтительнейше его просил, чтобы он соблаговолил удостоить этого также и меня. Король, пока я ему говорил эти слова, рассматривал с превеликим вниманием обе эти вазы и по време-

нам пронзал меня таким своим ужасным взглядом; я же, как только мог и умел, просил его, чтобы он оказал мне эту такую милость. Вдруг я увидел его разгневанным, и он встал с места, и сказал мне по-итальянски: «Бенвенуто, вы великий чудаки; свезите эти вазы в Париж, потому что я хочу их позолоченными». И, не дав мне никакого другого ответа, ушел. Я подошел к кардиналу феррарскому, который тут же присутствовал, и просил его, раз уж он сделал мне такое добро, изъясв меня из римской темницы, то чтобы заодно со столькими другими благодеяниями он оказал мне еще и это, чтобы я мог съездить в Италию. Сказанный кардинал мне сказал, что весьма охотно сделает все, что может, чтобы сделать мне это удовольствие, и чтобы я спокойно предоставил заботу об этом ему, и даже, если я хочу, я могу спокойно ехать, потому что он отлично поддержит меня перед королем. Я сказал оказанному кардиналу, что так как я знаю, что его величество отдал меня под охрану его высокопреосвященству, и раз оно меня отпускает, то я охотно уеду, чтобы вернуться по малейшему знаку его высокопреосвященства. Тогда кардинал оказал мне, чтобы я ехал в Париж и ждал там неделю, а он тем временем испросит милость у короля, чтобы я мог ехать; и, в случае, если король не согласится, чтобы я уезжал, он непременно меня известит; поэтому, если он мне ничего не напишет, это будет знаком, что я могу спокойно ехать.

XLIX

Уехав в Париж, как мне сказал кардинал, я сделал чудесные ящики для этих трех серебряных ваз. Когда прошло двадцать дней, я собрался, а эти три вазы взвьючил на мула, каковым меня одолжил вплоть до Лиона епископ павийский¹, какового я снова поселил у себя в замке. И поехал я, на свою беду, вместе с синьором Иполито Гонзага, каковой синьор состоял на жалованье у короля и содержался графом Галеотто делла Мирандола, и с некоторыми другими господами сказанного графа. Еще присоединился к нам Лионардо

Тедальди, наш флорентинец. Я оставил Асканио и Паоло охранять мой замок и все мое имущество, среди какового были некие начатые вазочки, каковые я оставлял, чтобы эти юноши не останавливались. Еще там было много домашнего скарба большой стоимости, потому что жил я весьма пристойно; стоимость этого моего сказанного имущества была свыше тысячи пяти-сот скудо. Я сказал Асканио, чтобы он помнил, какие великие благодеяния он от меня имел, а что до тех пор он был неразумным мальчишкой; что теперь ему пора иметь разум мужчины; поэтому я хочу оставить под его охраной все мое имущество, вместе со всей моей честью; что если он что-нибудь услышит от этих скотов французов, то пусть тотчас же меня об этом известит, потому что я возьму почтовых и полечу откуда бы я ни был, как ради великого моего обязательства перед этим добрым королем, так и ради моей чести. Сказанный Асканио с притворными и воровскими слезами сказал мне: «Я никогда не знал лучшего отца, чем вы, и все, что должен делать добрый сын по отношению к своему доброму отцу, я всегда буду делать по отношению к вам». Так, в добром согласии, я уехал², со слугою и с маленьким мальчугом французом. Когда миновал полдень, пришли ко мне в замок некои из этих казначеев, каковые отнюдь не были моими друзьями. Эти негодные сволочи тотчас же сказали, что я уехал с королевским серебром, и сказали мессер Гвидо³ и епископу павийскому, чтобы они живо послали за королевскими вазами, не то они пошлют за ними вдогонку мне к весьма великой для меня неприятности. Епископ и мессер Гвидо гораздо больше испугались, нежели то требовалось, и живо послали мне вдогонку на почтовых этого предателя Асканио, каковой появился о полуночи. А я, который не спал, сам с собою печаловался, говоря: «На кого я оставляю мое имущество, мой замок? О, что это за судьба моя, которая меня силит предпринимать это путешествие? Только бы кардинал не был заодно с госпожой ди Тамп, каковая ничего другого на свете не желает, как только чтобы я утратил милость этого доброго короля».

L

Пока я сам с собою вел это препирательство, я услышал, что меня зовет Асканио; и я сразу встал с постели и опросил его, добрые или печальные вести он мне привез. Этот разбойник сказал: «Вести я привез добрые; но только надо, чтобы вы вернули обратно эти три вазы, потому что эти негодяи казначеи кричат караул, так что епископ и мессер Гвидо говорят, чтобы вы их вернули во что бы то ни стало, а в остальном пусть ничто вас не заботит, и поезжайте благополучно услаждаться этим путешествием». Я ему тотчас же отдал вазы, из которых две было моих, а серебром и всем остальным. Я их вез в аббатство кардинала феррарского в Лионе; потому что хоть меня и ославили, будто я хотел увезти их с собою в Италию, всякому хорошо известно, что нельзя вывозить ни денег, ни золота, ли серебра без великого разрешения. Вот и нужно рассудить, мог ли я вывезти эти три большие вазы, каковые занимали с их ящиками целого мула. Правда, что, так как вещи это были очень красивые и большой ценности, я опасался смерти короля, потому что действительно оставил его очень нездоровым; и говорил себе: «Если это случится, то, имея их в руках у кардинала, я не могу их потерять». Итак, словом, я отослал сказанного мула с вазами¹ и другими важными вещами, и со сказанной компанией на следующее утро собрался ехать дальше, но всю как есть дорогу не мог удержаться от того, чтобы не вздыхать и не плакать. Однако же по временам я утешался богом, говоря: «Господи боже, ты, который знаешь правду, ты ведаешь, что эта моя поездка только для того, чтобы свезти благостыню шестерым бедным жалким девушкам и матери их, моей родимой сестре; что хоть у них и есть отец, но он так стар, а ремесло его ничего не приносит; и они легко могли бы пойти дурной дорогой; так что, делая это благочестивое дело, я чаю от твоего величества помощи и совета». Это и было все то увещание, которое я имел, едуци дальше. Когда мы находились однажды от Лиона в одном дне пути, — было около двадцати двух часов, — небо начало издавать

какие-то сухие громы, и воздух был пребелый; я был впереди моих спутников на самострельный выстрел; после громов небо издавало шум такой великий и такой устрашающий, что я про себя решил, что это судный день; и, чуть я остановился немного, начал падать град без единой капли воды. Он был величиною больше сарбаканных пулек² и, колотя меня, делал мне очень больно; мало-помалу он начал крупнеть, так что стал, как пульки самострела. Увидав, что лошадь моя сильно испугалась, я повернул ее обратно с превеликой поспешностью вскачь, пока не встретил моих спутников, каковые от такого же страха остановились в сосновом лесу. Град крупнел, как крупные лимоны; я запел «Miserere»; и в то время как я таким образом благоговейно говорил к богу, упало одно из этих зерен, такое крупное, что сломало толстейшую ветку той самой сосны, где мне казалось, что я безопасен. Другая часть этих зерен ударила в голову моей лошади, которая чуть не упала наземь; и меня задело одно, но не прямо, а то бы убило меня. Так же задело одно этого бедного старика Лионардо Тедадьди, так что он, который стоял, как и я, на коленях, упал на руки. Тогда я, быстро увидав, что эта ветка уже не может меня защитить и что кроме «Miserere» надо что-то сделать, начал складывать у себя на голове одежду; и также сказал Лионардо, который звал на помощь: «Иисусе, Иисусе!», что тот ему поможет, если он сам себе поможет. Мне стоило куда большего труда спасти его, чем себя самого. Это длилось долго, но потом перестало, и мы, совсем избитые, снова, как могли, сели на коней; и пока мы ехали к жилью, показывая друг другу ссадины и ушибы, мы застали на милою дальше настолько большее разрушение, чем наше, что кажется невозможным это и сказать. Все деревья были оголены и обломаны, и столько убитых животных, сколько он их застиг; и много пастухов тоже убитых; мы видели великое множество этих градин, каковых нельзя было бы обхватить двумя руками. Нам показалось, что мы дешево отделались, и мы поняли тогда, что призывание бога и эти наши «Miserere» больше нам послужили, чем мы сами могли бы то сделать. Так, благодаря бога, мы

приехали в Лион на другой за тем день, и там остановились на неделю. По прошествии недели, очень хорошо отдохнув, мы продолжали путь и очень счастливо миновали горы. Там я купил маленькую лошадку, потому что кое-какая небольшая кладь немного утомила моих лошадей.

II

После дня пути в Италии нас настиг граф Галетто делла Мирандола, каковой проезжал на почтовых, и, остановившись вместе с нами, сказал мне, что я сделал ошибку, что уехал, и что я должен не ехать дальше, потому что дела мои, если я сразу вернусь, пойдут лучше, чем когда-либо; но что если я поеду дальше, то я уступлю поле моим врагам и удобство делать мне зло; так что если я сразу вернусь, то я загражу им дорогу к том, что они замыслили против меня; а те, кому я больше всех верю, и суть те, кто меня обманывает. Он не хотел мне сказать ничего другого, как только то, что отлично это знает; а кардинал феррарский сговорился с этими двумя моими мошенниками, которых я оставил стеречь все мое добро. Сказанный молодой граф повторил мне много раз, что я должен вернуться во что бы то ни стало. Сев на почтовых, он поехал дальше, а я, из-за вышесказанной компании, также решил ехать дальше. У меня было томление в сердце то доехать наискорейше до Флоренции, то вернуться во Францию; я был в такой муке от этой нерешительности, что, наконец, решил сесть на почтовых, чтобы быстро доехать до Флоренции. С первой почтой я не сговорился; поэтому я принял твердое намерение ехать мучиться во Флоренцию. Покинув компанию синьора Иполито Гонзага, который взял путь, чтобы ехать в Мирандолу, а я на Парму и Пьяченцу, и когда я приехал в Пьяченцу, я встретил на улице герцога Пьерлуиджи¹, каковой на меня посмотрел и меня узнал. И я, который знал, что все то зло, которое со мною было в римском замке Святого Ангела, причиной ему был всецело он, меня привело в немалую

страсть увидеть его; и, не ведая никакого способа уйти из его рук, я решил сходить ему представиться; и пришел как раз, когда убрали со стола, и были с ним те самые люди из дома Ланди, которые потом были те, кто его убил. Когда я вошел к его светлости, этот человек учинил мне самые непомерные ласки, какие только можно себе представить; и среди этих ласк сам завел речь, говоря тем, кто тут же присутствовал, что я первый человек на свете в моем художестве и что я пробыл долгое время в темнице в Риме. И, обернувшись ко мне, сказал: «Мой Бенвенуто, все то зло, какое с вами было, я очень о нем сожалел; и я знал, что вы были невинны, и ничем не мог вам помочь, потому что мой отец, чтобы угодить неким вашим врагам, как-вые к тому же заявили ему, что вы про него злословили; я знаю наверно, что этого никогда не было; и мне было очень жаль вас». И к этим словам он присокупил столько других подобных, что казалось, будто он просит у меня прощения. Затем он меня опросил про все те работы, которые я сделал христианнейшему королю; и когда я ему про них говорил, он прилежно слушал, уделяя мне самое благосклонное внимание, какое вообще возможно. Затем опросил меня, не хочу ли я ему служить; на это я ответил, что, по чести моей, я не могу этого сделать; что если бы я оставил оконченными эти столь великие работы, которые я начал для этого великого короля, то я оставил бы любого властителя, только чтобы служить его светлости. И вот здесь познается, насколько великое могущество божие никогда не оставляет безнаказанными какого угодно рода людей, которые чинят неправду и несправедливость невинным. Этот человек как будто прощения у меня просил в присутствии тех, кто вскоре после того за меня отомстил, а также и за многих других, которые были им умерщвлены; поэтому ни один властитель, как бы велик он ни был, пусть не глумится над правосудием божьим, как это делают некоторые из тех, кого я знаю, которые так жестоко меня умерщвляли, как в своем месте я это скажу. И про эти мои дела я пишу не из мирского тщеславия, но единственно, чтобы

возблагодарить бога, который меня вывел из стольких великих испытаний. Также и в тех, которые постигают меня каждодневно, во всех я к нему обращаюсь и как своего заступника зову и умоляю. И всегда, хоть я и помогаю себе, как могу, если я потом сплешаю, там, где слабых сил моих недостаточно, тотчас же мне являет себя эта великая сила божия, каковая приходит неожиданно для тех, кто несправедливо обижает других, и для тех, кто мало заботится о великом и почетном бремени, которое дал им бог.

ЛП

Я вернулся в гостиницу и застал, что вышесказанный герцог прислал мне в подарок в превеликом изобилии кушанья и напитки, весьма пристойные; я с удовольствием поел; затем, сев на коня, поехал во Флоренцию; прибыв туда, я застал мою сестру родную с шестью дочурками, из которых одна была на выданье, а одна еще у кормилицы; застал ее мужа, каковой из-за разных городских обстоятельств не работал больше по своему ремеслу. Я послал, за год с лишним до того, камней и французских золотых изделий на две с лишним тысячи дукатов, да с собой привез на тысячу скудо приблизительно. Я узнал, что, хоть я давал им постоянно четыре золотых скудо в месяц, они еще постоянно зарабатывали большие деньги на этих моих золотых изделиях, которые они изо дня в день продавали. Этот мой зять был настолько честный человек, что, из страха, как бы я не рассердился на него, потому что ему не хватало тех денег, которые я ему посылал на его надобности, давая их ему как благостыню, он заложил почти все, что у него было на свете, предоставляя себя поедать процентам, только чтобы не трогать тех денег, которые не были назначены для него. Из этого я увидел, что он очень честный человек, и у меня возникло желание оказать ему благостыню побольше; и прежде, чем мне уехать из Флоренции, я хотел устроить всех его дочек.

ЛШ

Так как наш герцог флорентийский ¹ в это время, а был у нас август месяц 1545 года, находился в Поджо а Кайано, месте, удаленном от Флоренции на десять миль, то я к нему поехал, единственно чтобы исполнить свой долг, потому что и я тоже флорентийский гражданин и потому что предки мои были весьма привержены к Медицейскому дому, и я, больше, чем кто-либо из них, любил этого герцога Козимо. Так вот, как я говорю, я поехал в сказанный Поджо, единственно чтобы учинить ему приветствие, а отнюдь не с каким-либо намерением у него остаться, как это богу, который все устраивает ко благу, было угодно; потому что когда сказанный герцог меня увидел, то, учинив мне сперва множество бесконечных ласк, и он, и герцогиня ² спросили меня о работах, которые я делал королю; на что я охотно, и по порядку, все рассказал. Когда он меня выслушал, он сказал, что он это слышал и что, стало быть, это правда; и затем добавил с сочувственным видом, и сказал: «О, малая награда за столь прекрасные и великие труды! Мой Бенвенуто, если бы ты захотел сделать что-нибудь для меня, я бы тебе заплатил совсем иначе, чем это сделал этот твой король, которого, по твоей доброй природе, ты так восхваляешь». На эти слова я присовокупил те великие обязательства, какие у меня были перед его величеством, раз он меня извлек из столь несправедливой темницы, а потом дал мне случаи сделать такие изумительные работы, как ни одному другому подобному мне художнику, который когда-либо рождался. Пока я так говорил, герцог мой корчился, и казалось, что он дольше не может меня слушать. После того, как я кончил, он мне сказал: «Если ты захочешь сделать что-нибудь для меня, я тебе учиню такие ласки, что ты, пожалуй, останешься изумлен, лишь бы твои работы мне понравились; в чем я ни сколько не сомневаюсь». Я, злополучный бедняга, желая показать в этой чудесной школе ³, что за то время, что я был вне ее, я потрудился в ином художестве, чем то сказанная школа полагала, ответил моему герцогу, что охотно, либо из мрамора, либо из бронзы, сделаю

ему большую статую на этой его прекрасной площади⁴. На это он мне ответил, что хотел бы от меня, как первую же работу, единственно Персея;⁵ это было то, чего он уже давно желал; и попросил меня, чтобы я ему сделал модельку. Я охотно принялся делать сказанную модель и в несколько недель ее кончил, вышиною приблизительно в локоть; она была из желтого воска, очень удачно исполненная; хорошо была сделана, с величайшим тщанием и искусством. Приехал герцог во Флоренцию, и прежде, чем я мог ему показать эту сказанную модель, прошло несколько дней; казалось прямо-таки, что он никогда меня не видал и не знал, так что я составил плохое суждение о моих делах с его светлостью. Однако потом, однажды после обеда, когда я ее принес к нему в скарбницу, он пришел на нее взглянуть вместе с герцогиней и с некоторыми другими вельможами. Как только он на нее взглянул, она ему понравилась, и хвалил он ее необычайно; чем подал мне немного надежды, что он кое-что в этом понимает. После того как он долго ее рассматривал, причем она все больше ему нравилась, он сказал такие слова: «Если бы ты выполнил, мой Бенвенуто, вот так в большом виде эту маленькую модельку, то это была бы самая красивая работа на площади». Тогда я сказал: «Светлейший мой государь, на площади стоят работы великого Донателло⁶ и изумительного Микеланьоло⁷, каковые оба величайшие люди от древних доныне. Однако ваша высокая светлость придает великого духу моей модели, так что я чувствую силу сделать работу лучше, чем модель, еще в три раза». На этом был немалый спор, потому что герцог все время говорил, что понимает в этом отлично и знает точно, что можно сделать. На это я ему сказал, что мои работы разрешат этот вопрос и это его сомнение, и что я наверняка исполню его светлости гораздо больше, чем я ему обещаю, и чтобы он только дал мне удобства, дабы я мог это сделать, потому что без этих удобств я не смогу ему исполнить это великое дело, которое я ему обещаю. На это его светлость мне сказал, чтобы я подал ходатайство обо всем, что я у него прошу, и включил в него все мои нужды, а что он широчайшим образом его

удовлетворит. Конечно, если бы я догадался установить договором все то, что мне было нужно для этой моей работы, то у меня не было бы тех великих мучений, которые по моей вине меня постигли; потому что в нем видно было величайшее желание как в том, чтобы работы делались, так и в том, чтобы хорошо их обставить; поэтому, не зная, что этот государь имеет обычай скорее купца, чем герцога, я весьма торопато поступил с его светлостью, как с герцогом, а не как с купцом⁸. Я подал ему ходатайство, на каковое его светлость весьма торопато ответил. На что я сказал: «Единственный мой покровитель, настоящие ходатайства и настоящие наши условия состоят не в этих словах и не в этих писаниях, а все состоит в том, чтобы я мог справиться с моими работами так, как я это обещал; а если я справлюсь, тогда я уверен, что ваша высокая светлость отлично вспомнит все то, что она мне обещает». При этих словах его светлость, очарованный и моими делами, и моими словами, он и герцогиня оказали мне самые беспредельные милости, какие только можно себе представить.

LIV

Так как у меня было превеликое желание начать работать, то я сказал его светлости, что мне нужен дом, который был бы таков, чтобы я мог в нем устроиться с моими горнами, и годен для того, чтобы в нем выделывать работы из глины и бронзы, и затем, отдельно, из золота и серебра; потому что я знаю, что он знает, насколько я вполне способен служить ему всеми этими художествами; и мне нужны удобные помещения, чтобы я мог все это делать. И дабы его светлость видел, какое я имею желание служить ему, то я уже и приискал и дом, каковой мне подходит и стоит в таком месте, которое мне очень нравится. И так как я не хочу приставать к его светлости ни с деньгами и ни с чем бы то ни было, пока он не увидит моих работ, то я привез из Франции две ювелирных вещицы, на каковые я прошу его светлость, чтобы он купил мне

сказанный дом, а их сохранил бы до тех пор, пока я работами моими и трудами его не выслужу. Сказанные вещицы были отлично сработаны рукою моих работников, по моим рисункам. Посмотрев на них долго, он сказал эти вот горячие слова, каковые меня облекли ложной надеждой: «Возьми себе, Бенвенуто, свои вещицы, потому что мне нужен ты, а не они, а ты получи свой дом и так». После этого он мне сделал надписание под одним моим ходатайством, каковое я всегда хранил. Сказанное надписание гласило так: «Посмотреть сказанный дом, и от кого зависит его продать, и цену, которую за него спрашивают; потому что мы хотим пожаловать им Бенвенуто». Мне казалось, что этим надписанием дом за мной обеспечен; потому что я уверенно уповал, что работы мои гораздо больше понравятся, нежели я то обещал. После этого его светлость отдал особое распоряжение некоему своему майордому, какового звали сер Пьер Франческо Риччо. Был он из Прато и прежде был училишкой сказанного герцога. Я поговорил с этой скотиной и сказал ему все про то, что мне было нужно, потому что там, где был огород в сказанном доме, я хотел устроить мастерскую. Тотчас же этот человек отдал распоряжение некоему расходчику, сухопарому и тощему, какового звали Латтанцио Горини. Этот человечико, с такими паучьими ручонками и комариным голоском, проворный, как улитка, прислал-таки на мое горе камней, песку и извести столько, что хватило бы построить кое-как голубятню. Увидав, что дело подвигается с такой скверной прохладцей, я начал пугаться; однако же говорил себе: «У малых начал иной раз бывают великие концы». И еще мне подавало некоторую надежду то, что я видел, сколько тысяч дукатов герцог выбросил на некие безобразные ваяльные поделки, исполненные рукою этого скотины Буаччо Бандинелло¹. Сам себе придавая духу, я поддувал в задницу этому Латтанцио Горини, чтобы он пошевеливался; кричал на каких-то хромых ослов и на слепенького, который их погонял; и с этими трудностями, притом на свои деньги, я наметил место для мастерской и выкорчевал деревья и лозы; словом, по своему обыкновению, смело,

с некоторой долей ярости, я действовал. С другой стороны, я был в руках у Тассо деревщика, превеликого моего друга², и ему я заказал некои деревянные остовы, чтобы начать большого Персея. Этот Тассо был превосходнейший искусник, я думаю величайший, который когда-либо бывал по его ремеслу; с другой стороны, он был забавник и весельчак, и всякий раз, как я к нему приходил, он меня встречал, смеясь, с песенкой фальцетом; и хоть я и был уже почти в полном отчаянии, как потому, что доходили слухи про дела во Франции, что они идут плохо, да и от здешних я ожидал не многого из-за их прохладцы, он заставлял меня выслушать всегда по меньшей мере половину этой своей песенки; и в конце концов я с ним веселел немного, силясь растерять, насколько я мог, малую толику этих моих отчаянных мыслей.

LV

Когда все вышесказанное я наладил и начал двигать дальше, чтобы скорее приготовиться к этому вышесказанному предприятию, — уже была израсходована часть извести, — меня вдруг вызвал к себе вышесказанный майордом; и, пойдя к нему, я его застал после обеда его светлости в зале так называемой Часовой;¹ и когда я к нему подошел, я к нему с превеликой почтительностью, а он ко мне с превеликой сухостью, он меня спросил, кто это меня поместил в этом доме и по какому праву я в нем начал строить; и что он весьма мне удивляется, что я столь дерзко самонадеян. На это я ответил, что в доме меня поместил его светлость, и от имени его светлости его милость, каковая отдала о том распоряжения Латтанцио Горини; и сказанный Латтанцио привез камней, песку, извести и устроил все, о чем я просил, и говорил, что получил распоряжение на это от вашей милости. Когда я сказал эти слова, этот самый скотина повернулся ко мне с еще большей кислотью, чем поначалу, и сказал мне, что и я, и все те, на кого я ссылаюсь, говорят неправду. Тогда я рассердился и сказал ему: «О майордом, до тех

пор, пока ваша милость будет говорить соответственно с тем благороднейшим саном, которым она облечена, я буду ее уважать и буду с ней говорить столь же почтительно, как я говорю с герцогом; но если она будет действовать иначе, я буду с ней говорить как с сер Пьер Франческо Риччо»². Этот человек пришел в такое бешенство, что я подумал, что он тут же хочет сойти с ума, чтобы упредить срок, который ему назначили небеса;³ и сказал мне, вместе со всякими поносными словами, что весьма удивляется, что удостоил меня беседы с таким человеком, как он. На эти слова я вспылил и сказал: «Теперь выслушайте меня, сер Пьер Франческо Риччо, и я вам скажу, кто такие люди, как я, и кто такие люди, как вы, учителя, обучающие грамоте ребят». Когда я оказал эти слова, этот человек, с перекошенным лицом, возвысил голос, повторяя еще более нагло те же самые слова. На каковые, приняв точно так же вооруженный вид, я напустил на себя ради него некоторую заносчивость и сказал, что такие, как я, достойны беседовать с папами, и с императорами, и с великими королями, и что таких, как я, ходит, может быть, один на свете, а таких, как он, ходит по десять в каждую дверь. Когда он услышал эти слова, он вскочил на приполочек, который имеется в этой зале, потом сказал мне, чтобы я повторил еще раз те слова, которые я ему сказал; каковые еще дерзостнее, чем то было раньше, я и повторил, и вдобавок сказал, что у меня больше нет охоты служить герцогу, и что я вернусь во Францию, куда я всегда волен вернуться. Этот скотина остался ошарашен и земляного цвета, а я в бешенстве ушел, с намерением уехать себе с богом; и позволил бы бог, чтобы это исполнил! Должно быть, его герцогская светлость не сразу узнал про эту случившуюся чертовщину, потому что несколько дней я пребывал отложившим всякие мысли о Флоренции, кроме мыслей о моей сестре и о моих племянницах, каковых я старался устроить; потому что с тем малым, что я привез, я хотел их оставить обеспеченными как можно лучше, затем, насколько можно скорее, хотел вернуться во Францию, чтобы никогда уже больше не пытаться увидеть Италию. Когда я таким образом решил

убраться насколько можно скорее и уехать, не прощаясь ни с герцогом и ни с кем, однажды утром этот вышесказанный майордом сам от себя весьма смиренно меня позвал и принялся за некую свою учительскую речь, в какой-то я не усмотрел ни строя, ни красоты, ни ума, ни начала, ни конца; из нее я понял только, что он говорит, что поступает, как добрый христианин, и что ни к кому не желает иметь злобы, и спрашивает меня от имени герцога, какое я для своего содержания хочу жалованье. На это я немного постоял, задумавшись, и не отвечал, с чистым намерением не желать связываться. Видя, что я не даю ответа, он все же возымел настолько ума, что сказал: «О Бенвенуто, герцогам отвечают; и то, что я тебе говорю, я это тебе говорю от имени его светлости». Тогда я сказал, что если он мне это говорит от имени его светлости, то я весьма охотно хочу ответить; и сказал ему, чтобы он сказал его светлости, что я не хочу быть поставленным ниже кого бы то ни было из людей моего художества, которых он держит. Майордом сказал: «Бандинелло дается двести скудо на его содержание, так что, если ты этим довольствуешься, жалованье тебе назначено». Я ответил, что доволен, а чтобы то, что я заслужу сверх этого, было мне дано после того, как увидят мои работы, полагал все на справедливый суд его высокой светлости. Так, против моей воли, я снова связал нить и принялся работать, причем герцог оказывал мне постоянно самые непомерные милости, какие только можно вообразить.

LVI

Я получал очень часто письма из Франции от этого моего вернейшего друга мессер Гвидо Гвиди; письма эти пока еще ничего мне не говорили, кроме хорошего; этот мой Асканио также и он меня извещал, говоря мне, чтобы я старался развлекаться и что, если что-нибудь случится, он меня известит. Было доложено королю, что я начал работать для герцога флорентийского; а так как этот человек был самый лучший на свете, то он много раз говорил: «Отчего не возвра-

щается Бенвенуто?» И когда он об этом спросил особливо этих моих юношей, оба они ему сказали, что я им пишу, что так мне хорошо, и что они думают, что у меня больше нет охоты возвращаться служить его величеству. Так как случилось, что король был сердит, то, услышав эти дерзкие слова, каковые никогда от меня не исходили, он сказал: «Раз он уехал от нас безо всякой причины, я его никогда больше не вызову; так что пусть остается там, где он есть». Эти разбойные убийцы привели дело к тому концу, какого они желали, потому что всякий раз, что я вернулся бы во Францию, они возвращались в работники подо мною, как были раньше; тогда как, если к не возвращался, они оставались свободными и взамен меня; поэтому они прилагали все усилия, чтобы я не вернулся.

LVII

Пока у меня строили мастерскую, чтобы мне в ней начать Персея, я работал в нижней комнате, в которой я и делал Персея из гипса, той величины, которой он должен был быть, с мыслью сформовать его по гипсовому. Когда я увидел, что делать его таким путем выходит у меня немножко долго, я избрал другой прием, потому что уже был возведен, кирпич за кирпичом, кусочек мастерской, сделанной с таким паскудством, что слишком мне обидно это вспоминать. Я начал фигуру Медузы и сделал железный костяк; затем начал делать ее из глины, и когда я ее сделал из глины, я ее обжег. Был я один с некоторыми ученичками, среди каковых один был очень красивый; это был сын одной непотребной женщины по прозвищу Гамбетта. Я пользовался этим мальчуганом, чтобы его лепить, потому что у нас не имеется других книг, чтобы научить нас искусству, кроме природной. Я старался достать работников, чтобы быстро оправить эту мою работу, и не мог найти, а один я не мог все делать. Был кое-кто во Флоренции, кто охотно бы пошел, но Бандинелло тотчас же мне мешал, чтобы они не шли, и, долго меня таким образом изводя, говорил герцогу, что я доиски-

ваюсь его работников, потому что самому мне никак невозможно, чтобы я сумел собрать большую фигуру. Я пожаловался герцогу на великую доuku, которую мне чинил этот скотина, и просил его, чтобы он распорядился дать мне кого-нибудь из этих работников с Постройки¹. Эти мои слова были причиной, что герцог поверил тому, что ему говорил Бандинелло. Заметив это, я расположился сделать сам, сколько могу. И, принявшись с самыми крайними трудами, какие только можно себе представить, пока я день и ночь утруждался, заболел муж моей сестры и в несколько дней умер. Оставил сестру мою, молодую, с шестью дочками, от малых до больших; это было первое большое испытание, которое меня постигло во Флоренции: остаться отцом и вожатым такой невзгоды.

LVIII

Желая, однако же, чтобы ничто не шло плохо, так как огород мой был завален множеством мусора, я позвал двух подручных, каковых мне привели со Старого моста; из них был старик шестидесяти лет, другой был юноша восемнадцати. Когда я их подержал около трех дней, этот юноша мне сказал, что этот старик не желает работать и что я лучше сделаю, если отошлю его прочь, потому что не только что он не желает работать, он мешает и юноше, чтобы тот не работал; и сказал мне, что то малое, что там нужно сделать, он это может сделать сам, без того, чтобы выбрасывать деньги на других лиц; имя ему было Бернардино Манеллини из Муджелло. Видя, что он столь охотно утруждается, я его спросил, не хочет ли он устроиться у меня служителем; сразу же мы и уговорились. Этот юноша смотрел у меня за лошадью, обрабатывал огород, затем старался помогать мне в мастерской, так что мало-помалу он начал научиться искусству с таким изяществом, что у меня никогда не было лучшего помощника, чем этот. И, решив сделать с ним все, я начал показывать герцогу, что Бандинелло говорит ложь и что я сделаю отлично без Бандинелловых работни-

ков. Случилась у меня в это время небольшая боль в пояснице; и так как я не мог работать, то я охотно бывал в герцогской скарбнице с некоторыми молодыми золотых дел мастерами, которых звали Джанпаголо и Доменико Поджини, каковым я велел сделать золотую вазочку, всю отделанную барельефом с фигурами и другими красивыми украшениями; она была для герцогини, каковую ее светлость заказала, чтобы пить воду. Еще она меня попросила, чтобы я ей сделал золотой пояс; также и эту работу богачейшим образом, с камнями и множеством приятных измышлений в виде машкерок и прочего; ее я сделал ей¹. Приходил то и дело герцог в эту скарбницу и находил превеликое удовольствие в том, чтобы смотреть, как работают, и беседовать со мною. Начав немного оправляться от моей поясницы, я велел принести себе глины, и, меж тем как герцог проводил там время, я его вылепил, сделав голову много больше живья. От этой работы его светлость был в превеликом удовольствии и возымел ко мне такую любовь, что он мне сказал, что для него было бы превеликим удовольствием, чтобы я устроился работать во дворце, подыскав себе в этом дворце подходящие комнаты, каковые я должен велеть для себя оборудовать горнами и всем, что мне надобно; потому что удовольствие в таких вещах он находил превеликое. На это я сказал его светлости, что это невозможно, потому что я не кончил бы моих работ и в сто лет.

LIX

Герцогиня оказывала мне милости неопишемые и хотела бы, чтобы я был занят работой на нее и не помышлял ни о Персее и ни о чем. Я же, видя себя в этих суетных милостях, знал наверное, что моя превратная и кусачая судьба не замедлит учинить мне какое-нибудь новое смертоубийство, потому что всякий час передо мною представало то великое зло, какое я учинил, стараясь учинить столь великое добро: говорю касательно французских дел. Король не мог проглотить то великое неудовольствие, какое он имел от моего отъезда, и

все ж таки хотел бы, чтобы я вернулся, но с особенной для него честью; мне казалось, что я превесьма прав, и я не хотел унижаться, потому что думал, что если я унижусь написать смиренно, то эти люди, по французскому обычаю, скажут, что я грешен и что, стало быть, правда кое-какие проступки, которые несправедливо мне приписывались. Поэтому я важничал и, как человек, который прав, писал надменно; что было наибольшим удовольствием, какое могли получить эти два предателя, мои воспитанники. Потому что я хвастал, пишучи им, великими ласками, какие мне учиняют на моей родине государь и государыня, неограниченные властители города Флоренции, моей родины; как только они получали одно из этих самых писем, они шли к королю и понуждали его величество отдать им мой замок таким же образом, как он отдал его мне. Король, который был личность добрая и удивительная, ни за что не хотел согласиться на дерзкие просьбы этих великих мошенников, потому что он начал догадываться о том, чего они злокозненно домогались; и чтобы подать им немного надежды, а мне случай сразу вернуться, он велел написать мне несколько сердито через одного своего казначея, которого звали мессер Джулиано Буонаккорси, флорентийского гражданина. Письмо содержало следующее: ¹ что если я хочу сохранить то имя честного человека, которое я там носил, то раз я оттуда уехал безо всякой причины, то я поистине обязан дать отчет во всем том, что я исполнил и сделал для его величества. Когда я получил это письмо, оно мне доставило такое удовольствие, что, проси я собственным языком, я бы не спросил ни больше, ни меньше. Я сел писать, заполнил девять листов обыкновенной бумаги, и в них я рассказал подробно все те работы, какие я сделал, и все те приключения, какие у меня с ними были, и все то количество денег, какие на сказанные работы были истрачены, каковые все были выданы руками двух нотариусов и одного его казначея и подписаны всеми теми людьми, которые их получили, каковые одни давали свой товар, а другие свои труды; и что из этих денег я не положил себе в кошелек ни одного кватрино, а за оконченные мои ра-

боты я не получил как есть ничего; я только увез с собой в Италию некоторые милости и царственнейшие обещания, поистине достойные его величества. И хоть я не могу похвастать, что извлек что-либо иное из моих работ, кроме некоего жалованья, положенного мне его величеством на мое содержание, да из него еще мне причитается получить семьсот с лишним золотых скудо, каковые я нарочно оставил, чтобы они мне были высланы на обратный мой путь; однако же, зная, что некоторые лукавцы из собственной зависти сослужили некую злую службу, истина всегда одержит верх; я восхваляю его христианнейшее величество, и мною не движет алчность. Хоть я и знаю, что исполнил гораздо больше его величеству, нежели то, что я брался сделать; и хоть мне не воспоследовала обещанная отплата, я ни о чем другом на свете не помышляю, как только чтобы остаться, во мнении его величества, честным и порядочным человеком, таким, каким я был всегда. И если бы хоть какое-нибудь сомнение в этом было у вашего величества, по малейшему знаку я прилечу дать отчет о себе вместе с собственной жизнью; но видя, что со мною так мало считаются, я не пожелал вернуться, чтобы предложить себя, зная, что мне всегда хватит хлеба, куда бы я ни пошел; а когда меня позовут, я всегда откликнусь. Были в оказанном письме многие другие частности, достойные этого удивительного короля и спасения моей чести. Это письмо, раньше чем послать, я его снес к моему герцогу, каковому было весьма приятно его увидеть; затем я тотчас же отослал его во Францию, направив к кардиналу феррарскому.

LX

В это время Бернардоне¹ Бальдини, поставщик драгоценных камней его светлости, привез из Венеции большой алмаз, свыше тридцати пяти каратов весом; также и Антонио, сыну Витторио, Ланди была корысть в том, чтобы герцог его купил. Этот алмаз был прежде острецом², но так как он не выходил с той сверкающей прозрачностью, которой от такого камня

следовало желать, то хозяева этого алмаза срезали этот сказанный острец, каковой, по правде, не получался хорошо ни тафелью³, ни острцом. Наш герцог, который очень любил драгоценные камни, но однако же в них не разбирался, подал верную надежду этому мошеннику Бернардаччо, что хочет купить этот сказанный алмаз. А так как этот Бернардо искал получить для себя одного честь этого обмана, который он хотел учинить герцогу флорентийскому, то он ничего не сообщал своему товарищу, сказанному Антонио Ланди. Этот сказанный Антонио был большим моим другом с самого детства, и так как он видел, что я так близок с моим герцогом, то как-то раз среди прочих он отозвал меня в сторону, было это около полудня и на углу Нового рынка; и сказал мне так: «Бенвенуто, я уверен, что герцог покажет вам алмаз, каковой он выказывает желание купить; вы увидите крупный алмаз; помогите продаже; и я вам говорю, что могу его отдать за семнадцать тысяч скудо. Я уверен, что герцог захочет вашего совета; если вы увидите, что он действительно склонен его желать, то будет сделано так, чтобы он мог его получить». Этот Антонио выказывал большую уверенность в том, что может устроить этот камень. Я ему обещал, что если мне его покажут и спросят мое мнение, то я скажу все то, что я думаю, без того, чтобы повредить камню. Как я сказал выше, герцог приходил каждый день в эту золотых дел мастерскую на несколько часов; и с того дня, когда со мною говорил Антонио Ланди, больше недели спустя, герцог показал мне однажды после обеда этот сказанный алмаз, каковой я узнал по тем приметам, которые мне сказал Антонио Ланди и насчет формы, и насчет веса. И так как этот сказанный алмаз был воды, как я сказал выше, мутноватой, и по этой причине срезали этот острец, то, видя, что он такого рода, я бы, конечно, отсоветовал ему учинять такой расход; поэтому, когда он мне его показал, я спросил его светлость, что он желает, чтобы я сказал, потому что не одно и то же для ювелиров оценивать камень после того, как государь его уже купил, или же класть ему цену, чтобы тот мог его купить. Тогда его светлость мне сказал, что он его уже купил и чтобы я

сказал только мое мнение. Я не захотел преминуть на-
мекнуть ему скромно, что именно я об этом камне ду-
маю. Он мне оказал, чтобы я взглянул на красоту этих
длинных его ребер. Тогда я сказал, что это не та вели-
кая красота, какую его светлость себе представляет, и
что это срезанный острец. При этих словах мой госу-
дарь, который увидел, что я говорю правду, соорил
рожу и сказал мне, чтобы я постарался оценить камень
и рассудить, сколько мне кажется, что он стоит. Пола-
гая, что, раз Антонио Ланди предлагал мне его за
семнадцать тысяч скудо, я думал, что герцог получил
его за пятнадцать тысяч самое большое, и поэтому, видя,
что он недоволен тем, что я говорю ему правду, я решил
поддержать его в его ложном мнении и, подавая ему
алмаз, сказал: «Восемнадцать тысяч скудо вы истра-
тили». При этих словах герцог поднял крик, сделав
«О» шире, чем отверстие колодца, и сказал: «Теперь я
вижу, что ты в этом не разбираешься». Я ему сказал:
«Ясно, государь мой, что вы видите плохо; постарай-
тесь создать славу вашему камню, а я постараюсь разо-
браться; скажите мне хотя бы, что вы на него истра-
тили, дабы я научился разбираться по способу вашей
светлости». Поднявшись, герцог с презрительной усме-
шечкой оказал: «Двадцать пять тысяч скудо, и даже
больше, Бенвенуто, он мне стоил». И ушел. При этих
словах тут же присутствовали Джанпаоло и Доменико
Поджини, золотых дел мастера; и Бакьякка вышиваль-
щик⁴, так же и он, который работал в комнате по сосед-
ству с нашей, прибежал на этот крик; тут я сказал:
«Я бы никогда ему не посоветовал, чтобы он его поку-
пал; а если бы ему все-таки его хотелось, так Антонио
Ланди неделю тому назад мне его предлагал за семна-
дцать тысяч скудо; я думаю, что я получил бы его
за пятнадцать или даже меньше. Но герцог желает
создать славу своему камню; ведь если мне Анто-
нио Ланди предлагал его за такую цену, то каким
чертом Бернардоне учинил бы с герцогом такой позор-
ный обман!» И, так и не веря, что это правда, хоть
это так и было, мы спустили, смеясь, эту простоту
герцога.

Совсем уже выполнив фигуру большой Медузы, как я сказал, костью ее я сделал из железа; затем, сделав ее из глины, как по анатомии, и худее на полпальца, я отлично ее обжег; затем наложил сверху воск и закончил ее в том виде, как я хотел, чтобы она была. Герцог, который несколько раз приходил ее посмотреть, до того опасался, что она у меня не выйдет в бронзе, что ему хотелось бы, чтобы я позвал какого-нибудь мастера, который бы мне ее отлил. А так как его светлость говорил постоянно и с превеликим благоволением о моих совершенствах, то его майордом, который постоянно искал какой-нибудь силок, чтобы я сломал себе шею, и так как он имел власть приказывать барджеллам и всем чинам этого бедного злосчастливого города Флоренции; (чтобы пратезец, наш враг, сын бондаря, невежественнейший, за то что был паршивым учителем Козимо де'Медичи, когда тот еще не был герцогом, дошел до такой великой власти!); так вот, как я сказал, стоя на страже, насколько он мог, чтобы сделать мне зло, видя, что ни с какой стороны он не может меня припечатать, он придумал способ нечто учинить. И, сходя к матери этого моего ученика, имя которому было Ченчо, а ей Гамбетта, они замыслили, этот жулик учитель и эта мошенница шлюха, задать мне такого страху, чтобы я от него уехал с богом. Гамбетта, следуя своему промыслу, вышла из дому, по поручению этого шалого разбойника, учителя-майордома; а так как они подговорили еще и барджелла, каковым был некий болонец, которого за такие дела герцог потом выгнал вон, то когда наступил однажды субботний вечер, в три часа ночи ко мне явилась сказанная Гамбетта со своим сыном и сказала мне, что она держала его несколько дней взаперти для моего блага. На что я ответил, чтобы ради меня она не держала его взаперти; и, смеясь над ее непотребным промыслом, повернулся к сыну в ее присутствии и сказал ему: «Ты сам знаешь, Ченчо, грешил ли я с тобой»; каковой, плача, сказал, что нет. Тогда мать, трясая головой, сказала сыну: «Ах, плутишка, или я не знаю, как это делается?» Затем повернулась ко мне, говоря мне,

чтобы я держал его спрятанным в доме, потому что барджелл его ищет и заберет его во что бы то ни стало вне моего дома, но что у меня в доме его не тронут. На это я ей сказал, что в доме у меня сестра-вдова с шестью святыми дочурками и что я не желаю в доме у себя никого. Тогда она сказала, что майордом отдал распоряжение барджеллу и что меня заберут во что бы то ни стало; но раз я не хочу взять сына в дом, то, если я ей дам сто скудо, я могу ни о чем больше не беспокоиться, потому что, так как майордом такой превеликий ее друг, то я могу быть уверен, что она заставит его сделать все, что ей угодно, лишь бы я ей дал сто скудо. Я пришел вот в какую ярость; с каковой я ей сказал: «Убирайся вон отсюда, постыдная шлюха, потому что, если бы не ради уважения к людям и не ради невинности этого твоего несчастного сына, который здесь с тобой, я бы тебя уже зарезал этим кинжальчиком, который я уже два или три раза брал в руки». И с этими словами, со множеством грубых пинков, ее и сына я вытолкал вон из дома.

LXII

Поразмыслив затем о негодяйстве и могуществе этого скверного учителя, я решил, что лучше всего будет дать немного улечься этой чертовщине, и утром рано, сдав моей сестре драгоценных камней и вещей на около двух тысяч скудо, я сел на коня и поехал в Венецию, и взял с собой этого моего Бернардино из Муджелло. И когда я приехал в Феррару, я написал его герцогской светлости, что хоть я и уехал не будучи послан, я вернусь не будучи позван. Приехав затем в Венецию, поразмыслив о том, сколькими разными способами моя жестокая судьба меня терзает, и тем не менее видя себя здоровым и крепким, я решил сразиться с нею по своему обыкновению. А пока что я раздумывал таким образом о своих делах, проводя себе время в этом прекрасном и богатейшем городе, навестив этого удивительного Тициана живописца и Якопо дель Сансовино, искусного ваятеля и зодчего, нашего

флорентинца, весьма хорошо содержимого Венецианской Синьорией, и потому что мы были знакомы в молодости в Риме и во Флоренции, как с нашим флорентинцем, оба этих даровитых человека весьма меня обладали. На другой затем день я встретился с мессер Лоренцо де'Медичи¹, каковой тотчас же взял меня за руку с величайшим радушием, какое только можно видеть на свете, потому что мы были знакомы во Флоренции, когда я делал монеты для герцога Лессандро, а потом в Париже, когда я был в службе у короля. Он проживал в доме у мессер Джулиано Буонаккорси и, так как ему некуда больше было пойти провести время без величайшей для себя опасности, то он проводил большую часть времени в моем доме, смотря, как я выделяю эти большие работы. Так вот, как я говорю, из-за этого бывшего знакомства, он взял меня за руку и повел к себе в дом, где был синьор приор делли Строщи², брат синьора Пьетро, и, обрадовавшись, они меня спросили, сколько я хочу пробыть в Венеции, думая, что я хочу вернуться во Францию. Каковым синьорам я сказал, что я уехал из Флоренции из-за такого-то вышесказанного случая и что через два-три дня я хочу вернуться во Флоренцию служить великому моему герцогу. Когда я сказал эти слова, синьор приор и мессер Лоренцо повернулись ко мне с такой суровостью, что я превесьма испугался, и сказали мне: «Ты сделал бы лучше всего, если бы вернулся во Францию, где ты богат и известен; потому что, если ты вернешься во Флоренцию, ты потеряешь все то, что заработал во Франции, а из Флоренции не извлечешь ничего, кроме неприятностей». Я не ответил на их слова и, уехав на другой день насколько я мог тайно, вернулся во Флоренцию, а тем временем чертовщины перезрели, потому что я написал великому моему герцогу весь тот случай, который меня перенес в Венецию. И, при всей его обычной осмотрительности и строгости, я ему представился без всяких церемоний. Побыв немного со сказанной строгостью, он затем любезно ко мне повернулся и спросил меня, где я был. На что я ответил, что сердце мое никогда и на палец не отстранялось от его высокой светлости, хотя по некоторым справедливым причинам

мне оказалось необходимым дать моему телу немного прогуляться. Тогда, сделавшись приветливее, он начал меня расспрашивать про Венецию, и так мы беседовали немного; затем наконец он мне сказал, чтобы я принимался за работу и чтобы я ему кончил его Персея. Так я вернулся домой веселый и радостный, и обрадовал мою семью, то есть мою сестру с ее шестью дочерьми, и, взявшись снова за свои работы, со всем усердием, с каким я мог, я подвигал их вперед.

LXIII

И первая работа, которую я отлил из бронзы, была эта большая голова, портрет его светлости¹, которую я сделал из глины в золотых дел мастерской, пока у меня болела спина. Это была работа, которая понравилась, а я ее сделал не для чего другого, как только чтобы испытать глины для отливки из бронзы. И хоть я и видел, что этот удивительный Донателло делал свои работы из бронзы, каковые он отливал по флорентийской глине, но мне казалось, что он их выполнял с превеликой трудностью; и, думая, что это происходит от недостатков глины, раньше чем приняться за отливку моего Персея, я хотел сделать эти первые попытки; из каковых я нашел, что глина хороша, хоть и не была хорошо понята этим удивительным Донателло, потому что я видел, что с превеликой трудностью выполнены его работы. Итак, как я говорю выше, с помощью искусства я составил глину, каковая послужила мне отлично; и, как я говорю, по ней я отлил сказанную голову; но так как я еще не сделал горна, я воспользовался горном маэстро Дзаноби ди Паньо, колокольщика. И, увидев, что голова очень хорошо вышла чистой, я тотчас же принялся делать горн в мастерской, которую мне сделал герцог, по моему замыслу и чертежу, в том самом доме, который он мне подарил; и как только был сделан горн, с наибольшим усердием, с каким я мог, я приготовился отливать статую Медузы, каковая есть та скорченная женщина, что под ногами у Персея. И так как эта отливка дело труднейшее, то я не хотел

упустить всех тех предосторожностей, каким я научился, дабы у меня не вышло какой-нибудь ошибки; и таким образом первая отливка, которую я сделал в оказанном моем горне, удалась в превосходной степени и была до того чистая, что моим друзьям не казалось нужным, чтобы я еще как-нибудь должен был ее отделять; это находили некоторые немцы и французы, каковые говорят и хвастают прекраснейшими секретами отливать бронзу без отделки; истинное безумие, потому что бронза, после того как она отлита, ее необходимо уминать молотками и чеканами, как эти удивительнейшие древние, и как делали также и современные, я говорю те современные, которые умели работать бронзу. Эта отливка весьма понравилась его высокой светлости, который несколько раз приходил ее посмотреть ко мне на дом, придавая мне превеликого духу делать хорошо; но настолько возмогла эта бешеная зависть Бандинелло, который с таким усердием наушничал его высокой светлости, что он склонил его думать, что если я и отолью кое-какие из этих статуй, то никогда я их не соберу, потому что для меня это искусство новое, и что его светлость должен остерегаться, чтобы не выбрасывать вон свои деньги. Настолько возмогли эти слова в этих преславных ушах, что мне сократили расходы на работников; так что я был вынужден резко пожаловаться его светлости; поэтому однажды утром, выждав его на Виа де'Серви, я ему сказал: «Государь мой, мне нет помощи в моих нуждах, так что я подозреваю, не разуверилась ли во мне ваша светлость; поэтому я снова ей говорю, что у меня хватит глазу в три раза лучше выполнить эту работу, чем была модель, как я вам обещал».

LXIV

Когда я сказал эти слова его светлости и увидел, что они не дают никакого плода, потому что я не извлекал от него ответа, тотчас же меня одолела досада, вместе с нестерпимой яростью, и я снова начал говорить герцогу и сказал ему: «Государь мой, этот город поистине всегда был школой величайших дарований; но

когда кто-нибудь себя познал, научившись чему-нибудь, желая прибавить славы своему городу и своему славному государю, тому хорошо отправиться работать в другое место. А что это, государь мой, правда, то я знаю, что ваша светлость знала, кто такой был Донателло, и кто такой был великий Леонардо да Винчи, и кто такой сейчас чудесный Микеланжело Буонарроти. Эти умножают своими дарованиями славу вашей светлости; поэтому и я также надеюсь сделать свою долю; так что, государь мой, пустите меня уехать. Но пусть ваша светлость следит хорошенько, чтобы не пускать уехать Бандинелло, и даже давайте ему всегда больше, чем он у вас просит; потому что если этот куда-нибудь выедет, то невежество его настолько самонадеянно, что он способен опозорить эту благороднейшую школу. Итак, отпустите меня, государь; и я ничего другого не прошу за мои труды по сей день, как только милость вашей высокой светлости». Когда его светлость увидел, что я до такой степени решителен, он с некоторым гневом повернулся ко мне, говоря: «Бенвенуто, если у тебя есть желание окончить работу, недостатка не будет ни в чем». Тогда я его поблагодарил и сказал, что у меня нет другого желания, как показать этим завистникам, что у меня хватает глаза выполнить обещанную работу. Когда я так расстался с его светлостью, мне была дана некоторая помощь; однако я был вынужден взяться за свой кошель, желая, чтобы моя работа шла немного больше, чем шагом. А так как по вечерам я всегда ходил побеседовать в скарбницу его светлости, где бывал Доменико и Джанпаволо Поджини, его брат, каковые работали над золотой вазой, о которой сказано раньше, для герцогини, и над золотым поясом; то еще его светлость велел мне сделать модельку подвески, куда должен был быть вправлен тот большой алмаз, который он купил у Бернардоне и Антонио Ланди. И хотя я избегал, не желая этого делать, герцог всякими хорошими приятностями заставлял меня над ней работать каждый вечер вплоть до четырех часов. Еще он меня понуждал приятнейшим образом делать так, чтобы я над ней работал еще и днем; на что я никак не хотел согласиться; и поэтому я думал, наверное, что его светлость на меня

разгневаается; и раз как-то вечером, когда я явился не-много позже, чем обычно, герцог мне сказал: «Ты malvenuto»¹. На каковые слова я сказал: «Государь мой, это не мое имя, потому что имя мне Бенвенуто, и так как я думаю, что ваша светлость со мною шутит, то я ни во что входить не буду». На это герцог сказал, что он говорит отчаянно серьезно и не шутит, и чтобы я следил хорошенько за тем, что я делаю, потому что до ушей его дошло, что, пользуясь его благоволением, я провожу то того, то этого. На эти слова я попросил его высокую светлость удостоить меня того, чтобы сказать мне хотя бы одного человека на свете, которого бы я когда-либо провел. Вдруг он ко мне повернулся во гневе и сказал мне: «Ступай и верни то, что у тебя есть от Бернардоне; вот тебе один». На это я сказал: «Государь мой, я вас благодарю и прошу вас, удостоьте меня того, чтобы выслушать от меня четыре слова: это правда, что он ссудил меня старыми весами, и парой наковален, и тремя маленькими молоточками, за каковым скарбом сегодня прошло две недели, как я сказал его Джорджо да Кортоне, чтобы он прислал за ним; и поэтому сказанный Джорджо приходил за ним сам; и если только ваша высокая светлость найдет, что, с того дня, когда я родился, и по сию пору, я когда-нибудь имел хоть что бы то ни было от кого-либо подобным образом, будь то хоть в Риме или во Франции, то пусть она велит разузнать у тех, кто ей об этом сообщил, или у других, и, найдя, что это правда, пусть она меня покарает поверх головы». Герцог, увидев меня в превеликой ярости, как государь внимательнейший и сердечный, повернулся ко мне и сказал: «Так не говорят с теми, кто не совершает проступков; так что если это так, как ты говоришь, то я всегда буду рад тебя видеть, как я это делал раньше». На это я сказал: «Пусть знает ваша светлость, что негодяйства Бернардоне вынуждают меня просить у нее и ходатайствовать, чтобы она мне сказала, сколько она издержала на большой алмаз, срезанный острец; потому что я надеюсь показать ей, почему этот злой человек ищет ввести меня в немилость». Тогда его светлость мне сказал: «Алмаз мне стоил двадцать пять тысяч дукатов; почему ты

меня об этом спрашиваешь?» — «Потому, государь мой, что в такой-то день, в таком-то часу, на углу Нового рынка, Антонио, сын Ветторио, Ланди сказал мне, чтобы я постарался сторговаться с вашей высокой светлостью, и с первого же раза спросил за него шестнадцать тысяч дукатов; а ваша светлость знает, за сколько она его купила. И что это правда, спросите у сер Доменико Поджини и у Джанпаволо, его брата, которые тут; потому что я им это сказал сразу же, а потом никогда больше не говорил, потому что ваша светлость сказала, что я в этом не разбираюсь, откуда я и думал, что она желает создать ему славу. Знайте, государь мой, что я в этом разбираюсь, а что до другой стороны, то я считаю себя честным человеком, как любой другой, который рождался на свет, и будь он кто угодно; я не стану искать ограбить вас на восемь или десять тысяч дукатов разом, а постараюсь заработать их моими трудами; и я подрядился служить вашей светлости, как ваятель, золотых дел мастер и монетный; а доносить ей про чужие дела, никогда. И то, что я ей говорю сейчас, это я говорю в мою защиту, и четверти за это не желаю;² и говорю ей об этом в присутствии стольких честных людей, которые тут, дабы ваша высокая светлость не верила Бернардоне тому, что он говорит». Вдруг герцог поднялся в гневе и послал за Бернардоне, каковой был вынужден бежать в Венецию, он и Антонио Ланди; каковой Антонио мне говорил, что он хотел сказать не об этом алмазе. Они съездили и вернулись из Венеции, и я пошел к герцогу и сказал: «Государь, то, что я вам сказал, правда, а то, что вам сказал насчет скарба Бернардоне, была неправда; и вы хорошо бы сделали, если бы это испытали, и я отправлюсь к барджеллу». На эти слова герцог повернулся ко мне, говоря мне: «Бенвенуто, старайся быть честным человеком, как ты делал раньше, и никогда ни о чем не беспокойся». Дело это пошло дымом, и я никогда больше о нем не слышал. Я был занят тем, что кончал его подвеску; и когда я понес ее однажды конченной герцогине, она сама мне сказала, что ценит столько же мою работу, сколько алмаз, который она купила у Бернардаччо, и пожелала, чтобы я ей прицепил его на

грудь своей рукой, и дала мне в руку толстенную булавку, и ею я прицепил ей его, и ушел со многой ее милостью. Потом я слышал, будто они дали его переоправить какому-то немцу или другому иностранцу, если только это правда, потому что сказанный Бернардоне сказал, что сказанный алмаз будет иметь больше вида, оправленный с меньшей отделкой.

LXV

Доменико и Джованпаоло Поджини, золотых дел мастера и братья, работали, как, мне кажется, я уже сказал, в скарбнице его высокой светлости, по моим рисункам, некие золотые вазочки, чеканные, с историями из барельефных фигурок и другими весьма изрядными вещами; и так как я много раз говорил герцогу: «Государь мой, если бы ваша высокая светлость оплатили мне нескольких работников, я бы стал вам делать монеты для вашего монетного двора и медали с головою вашей высокой светлости, каковые стал бы делать, соревнуя древним, и имел бы надежду их превзойти; потому что с тех пор, как я делал медали папы Климента, я столькому научился, что стал бы делать много лучше, чем те, и также стал бы делать лучше, чем монеты, которые я делал герцогу Алессандро, каковые все еще почитаются прекрасными; и я также стал бы вам делать большие вазы, золотые и серебряные, как я их столько сделал этому удивительному королю Франциску французскому, единственно из-за великих удобств, которые он мне давал, и никогда не терялось времени для больших колоссов и для прочих статуи». На эти мои слова герцог мне говорил: «Делай, а я посмотрю»; и никогда не давал мне удобств и никакой помощи. Однажды его высокая светлость велел дать мне несколько фунтов серебра и сказал мне: «Это серебро из моих рудников; сделай мне красивую вазу». И так как я не хотел запускать моего Персея, а имел притом же большое желание услужить ему, то я отдал ее сделать, по моим рисункам и восковым моделькам, некоему разбойнику, который зовется Пьеро ди Мар-

тино, золотых дел мастер; каковой начал ее плохо, да еще над ней и не работал, так что я потерял на этом больше времени, чем если бы сделал ее всю своей рукой. Промучившись так несколько месяцев и видя, что сказанный Пьеро над ней не работает, а также и не велит над ней работать, я велел ее мне вернуть, и мне стоило великого труда получить обратно, вместе с телом вазы, плохо начатой, как я сказал, остаток серебра, которое я ему дал. Герцог, который услышал кое-что из этого шума, послал за вазой и за моделями, и ни разу потом мне не сказал, ни почему, ни как; а только по неким моим рисункам он их заказал разным лицам и в Венеции, и в других местах, и был прескверно услужен. Герцогиня часто мне говорила, чтобы я работал для нее золотые вещи; каковой я много раз сказывал, что свет отлично знает, и вся Италия, что я хороший золотых дел мастер; но что Италия никогда еще не видела работ моей руки ваяльных; и в цехе некои бешеные ваятели, смеясь надо мною, зовут меня новым ваятелем; каковым я надеюсь доказать, что я ваятель старый, если бог подаст мне такую милость, чтобы я мог показать оконченным моего Персея на этой почетной площади ее высокой светлости. И, засева дома, я усердно работал день и ночь и не показывался во дворце. И, намереваясь все же пребыть в милости у герцогини, я велел для нее сделать некие маленькие вазочки, величиною с горшочек на два кватрино, серебряные, с красивыми машкерками редчайшего облика, на античный лад, и когда я ей снес сказанные вазочки, она мне оказала самый милостивый прием, какой только можно себе представить, и оплатила мне мое серебро и золото, которое я на это положил; я же поручил себя ее высокой светлости, прося ее, чтобы она сказала герцогу, что я имею мало помощи в столь великой работе, и что ее высокая светлость должна бы сказать герцогу, чтобы он не так охотно верил этому злomu языку Бандинелло, каковым тот мешает мне кончить моего Персея. На эти мои слезные слова герцогиня пожала плечами и сказала мне: «Право же, герцог должен бы все-таки знать, что этот его Бандинелло ничего не стоит».

Я оставался дома, и редко являлся во дворец, и с великим усердием трудился, чтобы окончить мою работу; и мне приходилось оплачивать работников из своих; потому что герцог, распорядившись оплачивать мне неких работников через Латтанцио Горини около полутора лет, и когда это ему надоело, отменил распоряжение, так что я спросил у сказанного Латтанцио, почему он мне не платит. Он мне ответил, поводя этакими паучьими ручонками, комариным голосишком: «Почему ты не кончаешь эту свою работу? Ты, кажется, никогда ее не кончишь». Я тотчас же ответил ему сердито и сказал: «Черт бы вас побрал, и вас, и всех, кто не верит, что я ее кончу». И так, в отчаянии, я вернулся домой, к моему злосчастному Персею, и не без слез, потому что мне приходило на память мое прекрасное положение, которое я покинул в Париже, на службе у этого удивительного короля Франциска, у какового мне всего было вдвоель, а здесь мне всего не хватало. И несколько раз я готов был пойти напропалую; и один раз среди прочих я сел на доброго моего конька, и захватил с собою сотню скудо, и поехал во Фьезоле повидать одного моего незаконного сыночка, какового я держал у кормилицы, у одной моей кумы, жены одного моего работника. И, приехав к моему сыночку, я нашел его в хорошем виде, и, таким вот хмурым, я его поцеловал; и когда я хотел уезжать, он меня не отпускал, потому что держал меня крепко ручонками, и с неистовым плачем и криками, что в этом возрасте, около двух лет, было делом более чем удивительным. И так как я решил, что, если я встречу Бандинелло, каковой обыкновенно каждый вечер ездил на эту свою мызу над Сан Доменико, я как отчаянный, хотел повергнуть его наземь, то я расстался с моим малышом, оставив его с этим его горьким плачем. И направляясь в сторону Флоренции, когда я прибыл на площадь Сан Доменико, как раз Бандинелло выезжал на площадь с другой стороны. Тотчас же решившись свершить это кровавое дело, я приблизился к нему и, подняв глаза, увидел его без орудия, на лошачишке, вроде осла, и с ним был маль-

чонок десяти лет, и как только он меня увидал, он стал цветом, как мертвец, и дрожал от головы до ног. Я, уразумев это гнуснейшее дело, сказал: «Не бойся, жалкий трус, я не желаю тебя удостаивать моих ударов». Он посмотрел на меня смиренно и ничего не сказал. Тогда я вернулся к рассудку и возблагодарил бога за то, что, по истинному своему могуществу, он не пожелал, чтобы я содеял такое бесчинство. Так, освобождаясь от этого бесовского неистовства, я воспрянул духом и сам с собою говорил: «Если бог подаст мне такую милость, чтобы я кончил мою работу, я надеюсь сокрушить ею всех моих злодеев врагов, чем я учиню много большее и славнейшее мщение, чем если бы я отвел душу на одном». И с этим добрым решением я вернулся домой. Три дня спустя я узнал, что эта моя кума задушила мне моего единственного сыночка, каковой причинил мне столько горя, что я никогда не испытывал большего. Однако же я опустил на колени и, не без слез, по моему обыкновению, возблагодарил моего бога, говоря: «Господи, ты мне его дал, а теперь ты его у меня взял, и за все я всем сердцем моим тебя благодарю». И хотя от великого горя я почти совсем потерялся, но все ж таки, по моему обыкновению, сделал из необходимости доблесть, я, насколько мог, старался примириться.

LXVII

Ушел один юноша в это время от Бандинелло, имя каковому было Франческо, сын Маттео кузнеца. Этот сказанный юноша послал у меня спросить, не хочу ли я дать ему работу, и я согласился, и поставил его отделять фигуру Медузы, которая была уже отлита. Этот юноша, спустя две недели, сказал мне, что он говорил со своим учителем, то есть с Бандинелло, и что он мне говорит от его имени, что ежели я хочу сделать фигуру из мрамора, то он посылает предложить мне дать мне отличный кусок мрамора. Я тотчас же сказал: «Скажи ему, что я его принимаю; и мрамор этот может принести ему беду, потому что он не перестает

меня задевать и не помнит той великой опасности, которой он миновал со мною на площади Сан Доменико; скажи же ему, что я его хочу во что бы то ни стало; я никогда о нем не говорю, и вечно эта скотина мне докучает; и мне кажется, что ты пришел работать у меня, подосланный им, для того только, чтобы выведывать про мои дела. Ступай же и скажи ему, что я пожелаю этот мрамор даже против его воли; и возвращайся к нему».

LXVIII

Когда прошло уже много дней, что я не показывался во дворце, я туда пошел однажды утром, потому что мне пришла такая прихоть, и герцог почти кончил обедать, и, насколько я слышал, его светлость в это утро беседовал и сказал много хорошего обо мне, и между прочим он весьма хвалил меня за то, что я оправляю камни; и поэтому, когда герцогиня меня увидела, она велела меня подозвать через мессер Сфорца;¹ и когда я приблизился к ее высокой светлости, она меня попросила, чтобы я ей вправил алмазико-острец в кольцо, и сказала, что хочет всегда его носить на пальце, и дала мне мерку и алмаз, каковой стоил около ста скудо, и попросила меня, чтобы я его сделал быстро. Тотчас же герцог начал беседовать с герцогиней и оказал ей: «Правда, что Бенвенуто в этом искусстве не имел равных; но теперь, когда он его бросил, мне кажется, что сделать такое колечко, как вам бы хотелось, было бы для него слишком большим трудом; так что я вас прошу, чтобы вы его не утруждали этой маленькой вещью, каковая для него была бы большой, потому что он отвык». На эти слова я поблагодарил герцога и затем попросил его, чтобы он позволил мне сослужить эту небольшую службу государыне герцогине; и тотчас же взявшись за него, в несколько дней я его кончил. Кольцо это было для мизинца; так что я сделал четыре детских фигурки круглых и четыре машкерки, каковые и образовали сказанное колечко; и еще я разместил там кое-какие плоды и связочки финифтяные, так что камень и кольцо имели отличный вид

вместе. И тотчас же отнес его герцогине; каковая с милостивыми словами сказала мне, что я сделал ей прекраснейшую работу и что она будет меня помнить. Сказанное колечко она послала в подарок королю Филлипу² и с тех пор всегда мне заказывала что-нибудь, но так ласково, что я всегда силился услужить ей, хотя денег я видел мало, а богу известно, какую я в них имел великую нужду, потому что я желал кончить моего Персея и нашел неких молодцов, которые мне помогали, каковым я платил из своих; и я снова начал показываться чаще, нежели делал это прежде.

LXIX

Раз как-то в праздничный день я пошел во дворец после обеда и, придя в Часовую залу, увидел открытой дверь в скарбницу, и когда я приблизился немного, герцог меня подозвал и с приятным радушием сказал мне: «В добрый час! Видишь этот ящичек, который мне прислал в подарок синьор Стефано ди Пилестина;¹ открой его, и посмотрим, что там такое». Тотчас же открыв его, я сказал герцогу: «Государь мой, это фигура из греческого мрамора, и это вещь изумительная; я скажу, что для мальчика, я не помню, чтобы когда-либо видел среди древностей такую прекрасную работу и в таком прекрасном роде; так что я предлагаю себя вашей высокой светлости, чтобы вам ее восстановить, и голову, и руки, ноги. И сделаю ему орла, чтобы его окрестить Ганимедом². И хотя мне и не подходит платать статуи, потому что это ремесло неких чеботарей, каковые делают его весьма скверно; однако же совершенство этого великого мастера призывает меня услужить ему». Понравилось герцогу очень, что статуя так хороша, и он стал меня спрашивать о множестве вещей, говоря мне: «Расскажи мне, мой Бенвенуто, подробно, в чем состоит столь великое искусство этого мастера, каковое приводит тебя в такое изумление». Тогда я показал его высокой светлости наилучшим способом, каким я умел, чтобы сделать ему понятной эту красоту,

и силу умения, и редкостный пошиб; о каковых вещах я поговорил много, и делал это тем охотнее, зная, что его светлость находит в этом превеликое удовольствие.

LXX

Пока я так приятно занимал герцога, случилось, что один паж вышел вон из скарбницы и что, когда он выходил, вошел Бандинелло. Увидав его, герцог почти возмутился и со строгим лицом сказал ему: «Чего вам здесь?» Сказанный Бандинелло, ничего не ответив, тотчас же бросил взгляд на этот ящик, где была сказанная раскрытая статуя, и с таким скверным смешком, покачивая головой, сказал, повернувшись к герцогу: «Государь, это все то же, о чем я столько раз говорил вашей высокой светлости. Знайте, что эти древние ничего не смыслили в анатомии, и поэтому их работы сплошь полны ошибок». Я молчал и не обращал внимания на то, что он говорит; даже повернулся к нему спиной. Как только этот скотина кончил свою противную болтовню, герцог сказал: «О Бенвенуто, это совсем обратное тому, что такими прекрасными доводами ты мне только что так хороню доказывал; так что защити ее немножко». На эти герцогские слова, обращенные ко мне с такой любезностью, я тотчас же ответил и сказал: «Государь мой, вашей высокой светлости да будет известно, что Баччо Бандинелли состоит весь из скверны, и таким он был всегда; поэтому, на что бы он ни взглянул, тотчас же в его противных глазах, хотя бы вещь была в превосходной степени сплошным благом, тотчас же она превращается в наихудшую скверну. Но я, который единственно влеком ко благу, вижу правду более свято; поэтому то, что я сказал про эту прекраснейшую статую вашей высокой светлости, это сплошь чистая правда, а то, что про нее сказал Бандинелло, это сплошь та скверна, из которой единственно он состоит». Герцог слушал меня с большим удовольствием; и пока я все это говорил, Бандинелло корчился и строил самые безобразные лица из своего лица, которое было пребезобразно, какие только можно

себе представить. Вдруг герцог двинулся, направляясь через некие нижние комнаты, и сказанный Бандинелло следовал за ним. Дворецкие взяли меня за плащ и повели меня позади него, и так мы следовали за герцогом, покамест его высокая светлость, придя в одну комнату, не уселся, а Бандинелло и я, мы стояли один по правую сторону, а другой по левую сторону от его высокой светлости. Я молчал, а те, что были вокруг, несколько слуг его светлости, все смотрели пристально на Бандинелло, слегка посмеиваясь меж собой тем словам, которые я ему сказал в той верхней комнате. И вот сказанный Бандинелло начал разглагольствовать и сказал: «Государь, когда я открыл моего Геркулеса и Кака¹; мне, право, кажется, что больше ста сонетишек на меня было сочинено, каковые говорили все самое дурное, что только может вообразить это простонародье». Я тогда ответил и сказал: «Государь, когда наш Микеланьоло Буонарроти открыл свою ризницу², где можно видеть столько прекрасных фигур, то эта чудесная и даровитая Школа, подруга истины и блага, сочинила на него больше ста сонетов, состязаясь друг с другом, кто лучше про нее скажет; и вот, как работа Бандинелло заслуживала всего того плохого, что он говорит, что было про нее оказано, так заслуживала всего того хорошего работа Буонарроти, что про нее было сказано». При этих моих словах Бандинелло пришел в такое бешенство, что готов был лопнуть, и повернулся ко мне и сказал: «А ты что сумел бы ей вменить?» — «Я тебе это скажу, если у тебя хватит настолько терпения, чтобы меня выслушать». Он сказал: «Ну, говори». Герцог и остальные, которые тут были, все насторожились. Я начал и прежде всего сказал: «Знай, что я сожалею, что должен сказать тебе недостатки этой твоей работы; но не я это скажу, а скажу тебе все то, что говорит эта даровитейшая Школа». И так как этот человечешко то говорил что-нибудь неприятное, то выделывал руками и ногами, то он привел меня в такую злобу, что я начал гораздо более неприятным образом, нежели, действуй он иначе, я бы сделал. «Эта даровитая Школа говорит, что если обстричь волосы Геркулесу, то у него не останется башки,

достаточной для того, чтобы упрятать в нее мозг; и что это его лицо, неизвестно, человека оно, или быкольва, и что оно не смотрит на то, что делает, и что оно плохо прилажено к шее, так неуклюже и так неуклюже, что никогда не было видано хуже; и что эти его плечища похожи на две луки ослиного вьючного седла; и что его груди и остальные эти мышцы вылеплены не с человека, а вылеплены с мешка, набитого дынями, который поставлен стоймя, прислоненный к стенке. Также и спина кажется вылепленной с мешка, набитого длинными тыквами; ноги неизвестно каким образом прилажены к этому туловищу; потому что неизвестно, на которую ногу он опирается или которую он сколько-нибудь выражает силу; не видно также, чтобы он опирался на обе, как принято иной раз делать у тех мастеров, которые что-то умеют. Ясно видно, что она падает вперед больше, чем на треть локтя; а уже это одно — величайшая и самая нестерпимая ошибка, которую делают все эти дюжинные мастеровые пошляки. Про руки говорят, что обе они вытянуты книзу без всякой красоты, и в них не видно искусства, словно вы никогда не видели голых живых, и что правая нога Геркулеса и нога у Кака делают икры своих ног пополам; что если один из них отстранится от другого, то не только один из них, но и оба они останутся без икр, в той части, где они соприкасаются; и говорят, что одна нога у Геркулеса ушла в землю, а что под другой у него словно огонь».

LXXI

Этот человек не мог ждать, что у него хватит терпения, чтобы я сказал также и великие недостатки Кака; во-первых потому, что я говорил правду, во-вторых потому, что я давал это ясно понять герцогу и остальным, которые были в нашем присутствии, которые делали величайшие знаки и оказательства, что удивляются и затем понимают, что я говорю сущую правду. Вдруг этот человечешко сказал: «Ах ты, злой язычище, а куда ты деваешь мой рисунок?» Я сказал, что кто

хорошо рисует, тот никогда не может плохо работать; поэтому я готов думать, что твой рисунок таков же, как и работы. Тут, видя эти герцогские лица и остальных, которые взглядами и действиями его терзали, он дал себя слишком победить своей дерзости и, повернувшись ко мне с этим своим безобразнейшим личием, вдруг сказал мне: «О, замолчи, содомитище!» Герцог при этом слове насупил брови не по-доброму в его сторону, и остальные сомкнули рты и нахмурили глаза в его сторону. Я, который услышал, что меня так подло оскорбляют, осилен был яростью, но вдруг нашел выход и сказал: «О безумец, ты выходишь из границ; но дал бы бог, чтобы я знал столь благородное искусство, потому что мы читаем, что им занимался Юпитер с Ганимедом в раю, а здесь на земле им занимаются величайшие императоры и наибольшие короли мира. Я низкий и смиренный человек, который и не мог бы, и не сумел бы вмешиваться в столь дивное дело». При этом никто не смог быть настолько сдержанным, чтобы герцог и остальные не подняли шум величайшего смеха, какой только можно себе представить. И хоть я и выказал себя столь веселым, знайте, благосклонные читатели, что внутри у меня разрывалось сердце при мысли о том, что человек; самый грязный негодяй, который когда-либо рождался на свет, осмелился, в присутствии столь великого государя, сказать мне такое вот оскорбление; но знайте, что он оскорбил герцога, а не меня; потому что, не будь я в столь великом присутствии, он бы у меня пал мертвым. Когда этот грязный неуклюжий мошенник увидел, что смех этих господ не прекращается, он начал, чтобы отвлечь их от этих над ним насмешек, заводить новую речь, говоря: «Этот Бенвенуто хвастает, будто я обещал ему мрамор». На эти слова я тотчас же сказал: «Как! Разве ты не посылаешь мне сказать через Франческо, сына Маттео кузнеца, твоего подмастерья, что если я хочу работать из мрамора, то ты хочешь дать мне мрамор? И я его принял, и хочу». Тогда он оказал: «Так считай, что никогда его не получишь». Тогда я, все еще полный бешенства из-за несправедливых оскорблений, сказанных мне вначале, утратив разум и ослепнув

к присутствию герцога, с великой яростью сказал: «Я тебе говорю прямо, что если ты не пришлешь мне мрамор на дом, то поищи себе другой свет, потому что на этом свете я из тебя выпущу дух во что бы то ни стало». Вдруг, заметив, что я смиренно повернулся к его светлости и сказал: «Государь мой, один безумец родит сотню; безумства этого человека заставили меня забыть славу вашей высокой светлости и самого себя; так что простите меня». Тогда герцог сказал Бандинелло: «Правда ли, что ты обещал ему мрамор?» Сказанный Бандинелло сказал, что это правда. Герцог сказал мне: «Сходи на Постройку¹ и выбери себе по твоему вкусу». Я сказал, что он обещал мне прислать мне его на дом. Речи были ужасные; и я никаким другим способом не желал его. На следующее утро ко мне на дом принесли мрамор; про каковой я спросил, кто мне его посылает; сказали, что мне его посылает Бандинелло и что это тот самый мрамор, который он мне обещал.

LXXII

Тотчас же я велел отнести его ко мне в мастерскую и начал его обтесывать; и пока я его обрабатывал, я делал и модель; и такая мне была охота работать из мрамора, что я не мог обождать, чтобы решиться сделать модель с той рассудительностью, какая требуется в таком искусстве. И так как я слышал, что звук у него надтреснутый, то я много раз раскаивался, что вообще начал над ним работать; однако я добывал из него, что мог, то есть Аполлона и Гиацинта, которого все еще можно видеть незаконченным у меня в мастерской. И пока я над ним работал, герцог приходил ко мне на дом и много раз говорил мне: «Оставь немного бронзу и поработай немного над мрамором, чтобы мне на тебя посмотреть». Я тотчас же брал орудия для мрамора и уверенно принимался работать. Герцог меня спрашивал про модель, которую я сделал для сказанного мрамора; на что я сказал: «Государь, этот мрамор весь разбит, но я назло ему добуду из него что-нибудь;

поэтому я не мог решиться на модель, но я и дальше буду так делать, насколько можно будет». С большой быстротой выписал мне герцог кусок греческого мрамора из Рима, чтобы я восстановил его античного Ганимеда, который был причиной сказанной ссоры с Бандинелло. Когда прибыл греческий мрамор, я подумал, что было бы грешно наделать из него кусков, чтобы сделать из них голову, и руки, и прочее для Ганимеда, и раздобыл себе другой мрамор, а для этого куска греческого мрамора сделал маленькую восковую модельку, каковой дал имя Нарцисса¹. И так как в этом мраморе были две дыры, которые шли вглубь больше чем на четверть локтя и шириною в два добрых пальца, то поэтому я сделал то положение, какое мы видим, чтобы защититься от этих дыр; так что я их убрал из моей фигуры. Но за эти столько десятков лет, что на него шел дождь, потому что эти дыры всегда оставались полны воды, она проникла настолько, что сказанный мрамор порухлел и словно загнил в части верхней дыры; и это сказалось, после того как случилось это великое половодье на Арно², каковое поднялось в моей мастерской на полтора с лишком локтя. А так как сказанный Нарцисс стоял на деревянной подставке, то сказанная вода его опрокинула, так что он сломался в грудях; и я его починил; и чтобы не видна была эта щель починки, я ему сделал эту цветочную перевязь, которая видна у него на груди; и я его кончал в некои часы до света или же по праздникам, лишь бы не терять времени от моей работы с Персеем. И так как однажды утром я ладил некои ваяльца, чтобы над ним работать, мне брызнул тончайший осколок стали в правый глаз; и он настолько вошел в зрачок, что никаким способом его нельзя было вынуть; я считал за верное, что потеряю свет этого глаза. Я позвал по прошествии нескольких дней маэстро Раффаелло де'Пилли, хирурга, каковой взял двух живых голубей и, положив меня навзничь на стол, взял сказанных голубей и ножиком вскрыл им жилку, которая у них имеется в крыльях, так что эта кровь мне стекала внутрь моего глаза; каковой кровью я тотчас же почувствовал себя облегченным, и на расстоянии двух дней осколок стали

вышел, и я остался свободен и с улучшенным зрением. И так как подходил праздник святой Лючии, до которого оставалось три дня, то я сделал золотой глаз из французского скудо и велел поднести его ей одной из шести моих племянниц, дочерей Липераты, моей сестры, каковой было от роду лет десять, и через нее возблагодарил бога и святую Лючию;³ и долгое время я не хотел работать над сказанным Нарциссом, а подвигал вперед Персея с вышесказанными трудностями и расположился окончить его и уехать себе с ботом.

LXXIII

Отлив Медузу, а вышла она хорошо, я с великой надеждой подвигал моего Персея к концу, потому что он у меня был уже в воске, и я был уверен, что он так же хорошо выйдет у меня в бронзе, как вышла сказанная Медуза. И так как, при виде его в воске вполне законченным, он казался таким прекрасным, то герцог, видя его в таком образе и находя его прекрасным, потому ли, что нашелся кто-нибудь, кто заверил герцога, что он не может выйти таким же в бронзе, или потому, что герцог сам по себе это вообразил, и, приходя на дом чаще, нежели обычно, он один раз среди прочих мне сказал: «Бенвенуто, эта фигура не может у тебя выйти в бронзе, потому что искусство тебе этого не позволит». На эти слова его светлости я премного рассердился, говоря: «Государь, я знаю, что ваша высокая светлость имеет ко мне эту весьма малую веру, и это, я думаю, происходит от того, что ваша высокая светлость слишком верит тем, кто ей говорит столько плохого про меня, или же она в этом не разбирается». Он едва дал мне окончить слова, как сказал: «Я считаю, что разбираюсь в этом, и разбираюсь отлично». Я тотчас же ответил и сказал: «Да, как государь, но не как художник; потому что если бы ваша высокая светлость разбиралась в этом так, как ей кажется, что она разбирается, она бы мне поверила благодаря прекрасной бронзовой голове, которую я ей сделал, такую большую, портрет вашей высокой светлости, который послан на Эльбу¹,

и благодаря тому, что я ей восстановил прекрасного мраморного Ганимеда с такой крайней трудностью, где я понес гораздо больший труд, чем ежели бы я его сделал всего заново², а также и потому, что я отлил Медузу, которая видна вот здесь, в присутствии вашей светлости, такое трудное литье, где я сделал то, чего никогда ни один другой человек не делал до меня в этом чертовском искусстве. Взгляните, государь мой: я сделал горн по-новому, не таким способом, как другие, потому что я, кроме многих других разностей и замечательных хитростей, которые в нем видны, я ему сделал два выхода для бронзы, потому что эта трудная и скрюченная фигура другим способом невозможно было, чтобы она вышла; и единственно через эти мои ухищрения она так хорошо вышла, чему бы никогда не поверил ни один из всех этих работников в этом искусстве. И знайте, государь мой, наидостовернейше, что все великие и труднейшие работы, которые я сделал во Франции при этом удивительнейшем короле Франциске, все они отлично мне удались единственно благодаря тому великому духу, который этот добрый король всегда придавал мне этим великим жалованьем и тем, что предоставлял мне столько работников, сколько я требовал, так что иной раз бывало, что я пользовался сорока с лишком работниками, все по моему выбору; и по этим причинам я там сделал такое количество работ в столь короткое время. Так поверьте же мне, государь мой, и поддержите меня помощью, в которой я нуждаюсь, потому что я надеюсь довести до конца работу, которая вам понравится; тогда как, если ваша высокая светлость меня принизит духом и не подаст мне помощь, в которой я нуждаюсь, тогда невозможно ни чтобы я, ни чтобы какой бы то ни было человек на свете мог сделать что-нибудь, что было бы хорошо».

LXXIV

С великим трудом выслушивал герцог эти мои речи, потому что то поворачивался в одну сторону, то в другую; а я, в отчаянии, бедняга, что вспомнил мое пре-

красное положение, которое у меня было во Франции, так вот удручался. Вдруг герцог сказал: «Скажите-ка мне, Бенвенуто, как это возможно, чтобы эта прекрасная голова Медузы, которая вон там в высоте, в этой руке у Персея, могла выйти?» Тотчас же я сказал: «Вот видите, государь мой, если бы у вашей высокой светлости было то знание искусства, которое вы говорите, что у вас есть, то вы бы не боялись за эту прекрасную голову, как вы говорите, что она не выйдет; а скорее должны были бы бояться за эту правую ступню, каковая здесь внизу, так далеко». При этих моих словах герцог, почти гневаясь, повернулся к неким господам, которые были с его высокой светлостью, и сказал: «Мне кажется, что этот Бенвенуто делает это ради умничанья, что всему перечит»; и вдруг, повернувшись ко мне почти насмешливо, причем все, кто при этом присутствовал, сделали то же самое, он начал говорить: «Я хочу иметь с тобой настолько терпения, чтобы выслушать, какой довод ты измыслишь привести мне, чтобы я этому поверил». Тогда я сказал: «Я вам приведу такой верный довод, что ваша светлость воспримет его вполне». И я начал: «Знайте, государь, что естество огня в том, чтобы идти кверху, и поэтому я вам обещаю, что эта голова Медузы выйдет отлично; но так как естество огня не в том, чтобы идти книзу, и так как тут придется проталкивать его на шесть локтей вниз силою искусства, то из-за этого живого довода я говорю вашей высокой светлости, что невозможно, чтобы эта ступня вышла; но мне будет легко ее поправить». Герцог сказал: «А почему ты не подумал о том, чтобы эта ступня вышла таким же образом, как ты говоришь, что выйдет голова?» Я сказал: «Потребовалось бы сделать много больше горн, где бы я мог сделать литейный рукав такой толщины, как у меня нога; и при этой тяжести горячего металла я бы поневоле заставил его идти туда; тогда как мой рукав, который идет к ступням эти шесть локтей, которые я говорю, не толще двух пальцев. Однако же это не стоило того; потому что легко будет исправить. Но когда моя форма наполнится больше, чем наполовину, как я надеюсь, от этой середины кверху, то, так как огонь по естеству

своему подымается, эта голова Персея и голова Медузы выйдут отлично; так что будьте в этом вполне уверены». Когда я ему высказал эти мои прекрасные доводы со многими другими бесконечными, о которых, чтобы не быть слишком длинным, я не пишу, герцог, покачивая головой, ушел себе с богом.

LXXV

Сам себе придав душевную уверенность и прогнав все те мысли, которые то и дело у меня являлись, каковые часто заставляли меня горько плакать от раскаяния в отъезде моем из Франции, что я приехал во Флоренцию, на родину мою милую, единственно чтобы подать благостыню сказанным моим шести племянницам, и за это содеянное благо я видел, что она для меня оказывалась началом столького зла; при всем том я уверенно рассчитывал, что, окончив мою начатую работу над Персеем, что все мои испытания должны обратиться в высшее наслаждение и славное благополучие. И так, набравшись бодрости, изо всех сил и тела, и кошелька, на те немногие деньги, что у меня оставались, я начал с того, что раздобылся несколькими кучами сосновых бревен, каковые получил из бора Серристоры, по соседству с Монте Лупо; и пока я их поджидал, я одевал моего Персея теми самыми глинами, которые я заготовил за несколько месяцев до того, чтобы они дошли как следует. И когда я сделал его глиняный кожух, потому что в искусстве это называется кожухом, и отлично укрепил его и опоясал с великим тщанием железамы, я начал на медленном огне извлекать оттуда воск, каковой выходил через множество душников, которые я сделал; потому что чем больше их сделать, тем лучше наполняются формы. И когда я кончил выводить воск, я сделал воронку вокруг моего Персея, то есть вокруг сказанной формы, из кирпичей, переплетая одни поверх другого, и оставляя много промежутков, где бы огонь мог лучше дышать; затем я начал укладывать туда дрова, так ровно, и жег их два дня и две ночи непрерывно; убрав таким

образом оттуда весь воск и после того как сказанная форма отлично обожглась, я тотчас же начал копать яму, чтобы зарыть в нее мою форму, со всеми теми прекрасными приемами, какие это прекрасное искусство нам велит. Когда я кончил копать оказанную яму, тогда я взял мою форму и с помощью воротов и добрых веревок осторожно ее выпрямил; и, подвесив ее локтем выше уровня моего горна, отлично ее выпрямив, так что она свисала как раз над серединой своей ямы, я тихонько ее опустил вплоть до пода горна, и ее закрепили со всеми предосторожностями, какие только можно себе представить. И когда я исполнил этот прекрасный труд, я начал обкладывать ее той самой землей, которую я оттуда вынул; и по мере того как я там возвышал землю, я вставлял туда ее душники, каковые были трубочками из жженой глины, которые употребляются для водостоков и других подобных вещей. Когда я увидел, что я ее отлично укрепил и что этот способ обкладывать ее, вставляя эти трубы точно в свои места, и что эти мои работники хорошо поняли мой способ, каковой был весьма отличен от всех других мастеров этого дела; уверившись, что я могу на них положиться, я обратился к моему горну, каковой я велел наполнить множеством медных болванок и других бронзовых кусков; и, расположив их друг на дружке тем способом, как нам указывает искусство, то есть приподнятыми, давая дорогу пламени огня, чтобы сказанный металл быстрее получил свой жар и с ним расплавился и превратился в жидкость, я смело сказал, чтобы запалили сказанный горн. И когда были положены эти сосновые дрова, каковые, благодаря этой жирности смолы, какую дает сосна, и благодаря тому, что мой горн был так хорошо сделан, он работал так хорошо, что я был вынужден подсоблять то с одной стороны, то с другой, с таким трудом, что он был для меня невыносим; и все-таки я силился. И вдобавок меня постигло еще и то, что начался пожар в мастерской, и мы боялись, как бы на нас не упала крыша; с другой стороны, с огорода небо гнало мне столько воды и ветра, что студило мне горн. Сражаясь таким образом с этими превратными обстоятельствами не-

сколько часов, пересиливаемый трудом намного больше, нежели крепкое здоровье моего сложения могло выдержать, так что меня схватила скоротечная лихорадка, величайшая, какую только можно себе представить, ввиду чего я был принужден пойти броситься на постель. И так, весьма недовольный, вынуждаемый поневоле уйти, я повернулся ко всем тем, кто мне помогал, каковых было около десяти или больше, из мастеров по плавке бронзы, и подручных, и крестьян, и собственных моих работников по мастерской, среди каковых был некий Бернардино Маннеллини из Муджелло, которого я у себя воспитывал несколько лет; и сказанному я сказал, после того как препоручил себя всем: «Смотри, Бернардино мой дорогой, соблюдай порядок, который я тебе показал, и делай быстро, насколько можешь, потому что металл будет скоро готов; ошибиться ты не можешь, а остальные эти честные люди быстро сделают желоба, и вы уверенно можете этими двумя кочергами ударить по обеим втулкам, и я уверен, что моя форма наполнится отлично; я чувствую себя так худо, как никогда не чувствовал с тех пор, как явился на свет, и уверен, что через несколько часов эта великая болезнь меня убьет». Так, весьма недовольный, я расстался с ними и пошел в постель.

LXXVI

Улегшись в постель, я велел моим служанкам, чтобы они снесли в мастерскую всем поесть и попить, и говорил им: «Меня уже не будет в живых завтра утром». Они мне придавали, однако же, духу, говоря мне, что моя великая болезнь пройдет и что она меня постигла из-за чрезмерного труда. Когда я так провел два часа в этом великом борении лихорадки и непрерывно чувствуя, что она у меня возрастает, и все время говорил: «Я чувствую, что я умираю», моя служанка, которая управляла всем домом, которую звали мона Фиоре да Кастель дель Рио; эта женщина была самая искусная, которая когда-либо рождалась, и настолько же самая сердечная, и непрерывно меня

журила, что я растерялся, а с другой стороны оказывала мне величайшие сердечности услужения, какие только можно оказывать. Однако же, видя меня в такой безмерной болезни и таким растерянным, при всем своем храбром сердце она не могла удержаться, чтобы некоторое количество слез не упало у нее из глаз; и все ж таки она, насколько могла, остерегалась, чтобы я их не увидел. Находясь в этих безмерных терзаниях, я вижу, что в комнату ко мне входит некий человек, каковой своею особой вид имел изогнутый, как прописное S; и начал говорить неким звуком голоса печальным, удрученным, как те, кто дает душевное наставление тем, кто должен идти на казнь, и сказал: «О Бенвенуто, ваша работа испорчена, и этого ничем уже не поправить». Едва я услышал слова этого несчастного, я испустил крик такой безмерный, что его было бы слышно на огненном небе; и, встав с постели, взял свою одежду и начал одеваться; и служанкам, и моему мальчику, и всякому, кто ко мне подходил, чтобы помочь мне, всем я давал либо пинка, либо тумака и сетовал, говоря: «Ах, предатели, завистники! Это — предательство, учиненное с умыслом; но я клянусь богом, что отлично в нем разберусь; и раньше, чем умереть, оставлю о себе такое свидетельство миру, что не один останется изумлен». Кончив одеваться, я направился с недоброй душой в мастерскую, я увидел всех этих людей, которых я покинул в таком воодушевлении; все стояли ошеломленные и растерянные. Я начал и сказал: «Ну-ка, слушайте меня, и раз вы не сумели или не пожелали повиноваться способу, который я вам указал, так повинуйтесь мне теперь, когда я с вами в присутствии моей работы, и пусть ни один не станет мне перечить, потому что такие вот случаи нуждаются в помощи, а не в совете». На эти мои слова мне ответил некий маэстро Алессандро Ластрикати¹ и сказал: «Смотрите, Бенвенуто, вы хотите взяться исполнить предприятие, которого никак не дозволяет искусство и которого нельзя исполнить никоим образом». При этих словах я обернулся с такой яростью и готовый на худое, что и он и все остальные все в один голос сказали: «Ну, приказывайте, и все мы вам по-

можем во всем, что вы нам прикажете, насколько можно будет выдержать при жизни». И эти сердечные слова, я думаю, что они их сказали, думая, что я должен не замедлить упасть мертвым. Я тотчас же пошел взглянуть на горн и увидел, что металл весь сгустился, то, что называется получилось тесто. Я сказал двум подручным, чтобы сходили насупротив, в дом к Капретте мяснику, за кучей дров из молодых дубков, которые были сухи уже больше года, каковые дрова мадонна Джиневра, жена сказанного Капретты, мне предлагала; и когда пришли первые охапки, я начал наполнять зольник. И так как дуб этого рода дает самый сильный огонь, чем все другие роды дров, ибо применяются дрова ольховые или сосновые для плавки, для пушек, потому что это огонь мягкий, так вот когда это тесто начало чувствовать этот ужасный огонь, оно начало светлеть и засверкало. С другой стороны, я तोпил желоба, а других послал на крышу тушить пожар, каковой из-за пущей силы этого огня начался еще пуще; а со стороны огорода я велел водрузить всякие доски и другие ковры и полотнища, которые защищали меня от воды.

LXXVII

После того как я исправил все эти великие неистовства, я превеликим голосом говорил то тому, то этому: «Неси сюда, убери там!» Так что, увидав, что сказанное тесто начинает разжигаться, весь этот народ с такой охотой мне повиновался, что всякий делал за троих. Тогда я велел взять половинки олова, каковая весила около шестидесяти фунтов, и бросил ее на тесто в горне, каковое при остальной подмоге и дровами, и размешиванием то железамы, то шестами, через небольшой промежуток времени оно стало жидким. И когда я увидел, что воскресил мертвого, вопреки ожиданию всех этих невежд, ко мне вернулась такая сила, что я уже не замечал, есть ли у меня еще лихорадка или страх смерти. Вдруг слышится грохот с превеликим сиянием огня, так что казалось прямо-таки,

будто молния образовалась тут же в нашем присутствии; из-за какого необычного ужасающего страха всякий растерялся, и я больше других. Когда прошел этот великий грохот и блеск, мы начали снова смотреть друг другу в лицо; и увидав, что крышка горна треснула и поднялась таким образом, что бронза выливалась, я тотчас же велел открыть отверстия моей формы и в то же самое время велел ударить по обеим втулкам. И увидав что металл не бежит с той быстротой, как обычно, сообразив, что причина, вероятно, потому, что выгорела примесь благодаря этому страшному огню, я велел взять все мои оловянные блюда, и чашки, и тарелки, каковых было около двухсот, и одну за другой я их ставил перед моими желобами, а часть их велел бросить в горн; так что, когда всякий увидел, что моя бронза отлично сделалась жидкой и что моя форма наполняется, все усердно и весело мне помогали и повиновались, а я то здесь, то там приказывал, помогал и говорил: «О боже, ты, который твоим безмерным могуществом воскрес из мертвых и во славе взошел на небеса»; так что вдруг моя форма наполнилась; ввиду чего я опустил на колени и всем сердцем возблагодарил бога; затем повернулся к блюду салата, которое тут было на скамеечке, и с большим аппетитом поел и выпил вместе со всем этим народом; затем пошел в постель, здоровый и веселый, потому что было два часа до рассвета, и, как если бы я никогда ничем не болел, так сладко я отдыхал. Эта моя добрая служанка, без того, чтобы я ей что-нибудь говорил, снабдила меня жирным каплуночком; так что когда я встал с постели, а было это около обеденного часа, она весело вышла ко мне навстречу, говоря: «О, тот ли это самый человек, который чувствовал, что умирает? Мне кажется, что эти тумачи и пинки, которых вы нам давали нынче ночью, когда вы были такой бешеный, что при этом бесовском неистовстве, которое вы выказали, эта ваша столь непомерная лихорадка, вероятно испугавшись, чтобы вы не приколотили также и ее, бросилась бежать». И так вся моя бедная семейшка, отойдя от такого страха и от таких непомерных трудов, разом отправилась закупать, взамен этих оловянных

блюды и чашек, всякую глиняную посуду, и все мы весело пообедали, и я не помню за всю свою жизнь, чтобы я когда-либо обедал с большим весельем или с лучшим аппетитом. После обеда пришли ко мне все те, кто мне помогал, каковые весело радовались, благодаря богу за все, что случилось, и говорили, что узнали и увидели такие вещи, каковые другими мастерами считались невозможными. Также и я, с некоторой гордостью, считая себя чуточку сведущим, этим хвалился; и, взявшись за кошелек, всем заплатил и угодил. Этот злой человек, смертельный мой враг, мессер Пьерфранческо Риччи, герцогский майордом, с великим усердием старался разузнать, как это все произошло; так что те двое, о которых у меня было подозрение, что они мне устроили это тесто, сказали ему, что я не человек, а что я сущий великий дьявол, потому что я сделал то, чего искусство не могло сделать; и столько других великих дел, каковых было бы слишком даже для дьявола. Так как они говорили много больше того, что произошло, быть может, в свое извинение, сказанный майордом тотчас же написал об этом герцогу, каковой был в Пизе, еще более ужасно и полное еще больших чудес, чем сами они ему сказали.

LXXVIII

Оставив два дня остывать отлитую мою работу, я начал открывать ее потихоньку; и нашел, первым делом, что голова Медузы вышла отлично благодаря душикам, как я и говорил герцогу, что естество огня в том, чтобы идти сверху; затем я продолжал открывать остальное и нашел, что другая голова, то есть Персея, вышла также отлично; и она привела меня в гораздо большее удивление, потому что, как можно видеть, она намного ниже головы Медузы. И так как отверстия сказанной работы были расположены над головой Персея и у плеч, то я нашел, что с окончанием сказанной головы Персея как раз кончилась вся та бронза, какая была у меня в горне. И было удивитель-

ным делом, что не осталось ничего в литейном отверстии, а также не получилось никакой недочетки; так что это привело меня в такое удивление, что казалось прямо-таки, что это дело чудесное, поистине направленное и содеянное богом. Я продолжал счастливо кончать ее открывать и все время находил, что все вышло отлично, до тех пор, пока не дошло до ступни правой ноги, которая опирается, где я нашел, что пятка вышла, и, идя дальше, увидел, что вся она полна, так что я, с одной стороны, очень радовался, а с другой стороны, я был этим почти что недоволен, единственно потому, что я сказал герцогу, что она не может выйти; однако же, кончая ее открывать, я нашел, что пальцы не вышли у сказанной ступни, и не только пальцы, но не хватало и повыше пальцев чуточку, так что недоставало почти половины; и хотя мне прибавлялась эта малость труда, я был этим весьма доволен, лишь бы показать герцогу, что я знаю то, что делаю. И хотя вышло гораздо больше этой ступни, нежели я думал, причиной тому было, что из-за сказанных столь различных обстоятельств металл нагрелся больше, чем позволяет правило искусства; и еще потому, что мне пришлось подсоблять ему примесью, тем способом, как было сказано, этими оловянными блюдами, чего другие никогда еще не делали. И вот, увидев, что работа моя так хорошо вышла, я тотчас же отправился в Пизу повидать моего герцога; каковой оказал мне столь милостивейший прием, какой только можно себе представить, и таковой же оказала мне и герцогиня; и хотя этот их майордом известил их обо всем, их светлостям показалось чем-то еще более поразительным и чудесным услышать, как я рассказываю об этом своим голосом; и когда я дошел до этой ступни Персея, которая не вышла, как я об этом известил заранее его высокую светлость, я увидел, как он исполнился изумления и рассказал об этом герцогине, как я это сказал ему раньше. И вот, увидев этих моих государей столь приветливыми ко мне, я тогда попросил герцога, чтобы он позволил мне съездить в Рим. И он благосклонно отпустил меня и сказал, чтобы я

возвращался поскорее кончать его Персея, и дал мне сопроводительное письмо к своему послу, каковым был Аверардо Серристри; и было это в первые годы папы Юлия де'Монти¹.

LXXIX

Прежде, чем мне уехать, я отдал распоряжение моим работникам, чтобы они продолжали тем способом, как я им показал. А причиной, почему я ехал в Рим, было то, что, сделав Биндо, сыну Антонио, Альтовити изображение его головы¹, величиной как самое живье, из бронзы и послав его ему в Рим, это свое изображение он поставил в некий свой кабинет, какой был весьма богато украшен древностями и другими красивыми вещами, но сказанный кабинет не был сделан для изваяний, а также и не для картин, потому что окна приходились ниже сказанных красивых работ, так что эти изваяния и картины, получая свет наоборот, не имели того вида, какой они имели бы, если бы они получали свой разумный свет. Однажды случилось сказанному Биндо стоять у своих дверей, и так как проходил Микеланьоло Буонарроти, ваятель, то он его попросил, чтобы тот соблаговолил зайти к нему в дом, посмотреть некий его кабинет, и повел его. Как только тот вошел и увидел, он сказал: «Кто этот мастер, который вас изобразил так хорошо и в такой прекрасной манере? И знайте, что эта голова мне нравится так же и даже больше немного, чем эти античные; а между тем среди них видны хорошие; и если бы эти окна были выше, чем они, как сейчас они ниже, чем они, то они имели бы тем больше вида, что это ваше изображение среди этих столь прекрасных произведений снискало бы великую честь». Как только сказанный Микеланьоло вышел из дома сказанного Биндо, он написал мне любезнейшее письмо, каковое гласило так: «Мой Бенвенуто, я вас знал столько лет как величайшего золотых дел мастера, который когда-либо был известен; а теперь я буду вас знать как такого же ваятеля. Знайте, что мессер Биндо Альтовити свел меня посмотреть голову

своего изображения, из бронзы, и сказал мне, что она вашей руки; она доставила мне большое удовольствие; но мне было очень досадно, что она поставлена в плохом свете, потому что, если бы она получала свой разумный свет, она являла бы себя тем прекрасным произведением, какое она есть». Это письмо было полно самых сердечных слов и самых благосклонных ко мне; и прежде чем мне уехать, чтобы отправиться в Рим, я его показал герцогу, каковой прочел его с большим сочувствием и сказал мне: «Бенвенуто, если ты ему напишешь и придашь ему охоту вернуться во Флоренцию, я его сделаю одним из Сорока Восьми²». И так я написал ему самое сердечное письмо и в нем наговорил ему от имени герцога в сто раз больше того, что мне было поручено; и, чтобы не сделать ошибки, показал его герцогу, прежде чем запечатать, и сказал его высокой светлости: «Государь, я, может быть, наобещал ему слишком». Он ответил и сказал: «Он заслуживает больше того, что ты ему обещал, и я ему исполню это с избытком». На это мое письмо Микеланьоло так и не дал никогда ответа, и поэтому герцог показал мне себя очень рассерженным на него.

LXXX

Когда я прибыл в Рим, я пошел поселиться в доме у сказанного Биндо Альтовити; и тотчас же он мне сказал, как он показывал свое бронзовое изображение Микеланьоло и что тот его так хвалил; так мы об этом весьма долго беседовали. А так как у него на руках было моих денег тысяча двести золотых скудо золотом, каковые сказанный Биндо от меня имел в числе пяти тысяч подобных, которыми он ссудил герцога, причем четыре тысячи из них были его, и от его же имени были и мои, и мне он давал ту прибыль на мою долю, какая мне причиталась; что и было причиной, почему я принялся делать ему сказанное изображение. И так как, когда сказанный Биндо увидел его в воске, он послал мне дать пятьдесят золотых скудо через некоего своего сер Джулиано Паккалли,

нотариуса, который у него жил, каких денег я не захотел у него брать и через того же самого ему их отослал, а потом сказал сказанному Биндо: «С меня довольно, что эти мои деньги вы мне держите живыми и что они мне приносят кое-что». Я увидел, что у него плохая душа, потому что, вместо того, чтобы меня обласкать, как он это обычно делал, он показал себя сухим со мной; и хоть он и держал меня у себя в доме, он ни разу не показал себя со мной ясным, а ходил надутым; все ж таки мы в немногих словах дело порешили; я потерял свою работу над этим его изображением, и бронзу также; и мы условились, что эти мои деньги он оставит себе из пятнадцати процентов на срок естественной моей жизни ¹.

LXXXI

Прежде всего я пошел поцеловать ноги папе; и пока я беседовал с папой, подоспел мессер Аверардо Серристоры, каковой был послом нашего герцога; и так как я завел некие речи с папой, каковыми мне кажется, что я легко договорился бы с ним и охотно вернулся бы в Рим, из-за великих трудностей, которые у меня были во Флоренции; но сказанный посол, я заметил, что он уже воздействовал наперекор. Я пошел повидать Микеланьоло Буонарроти и повторил ему то письмо, которое из Флоренции я ему написал от имени герцога. Он мне ответил, что занят на постройке Святого Петра и что по этой причине он не может уехать. Тогда я ему сказал, что так как он уже порешил с моделью сказанной постройки, то он может оставить своего Урбино ¹, каковой отлично повинуетя всему, что он ему прикажет, и прибавил много других слов обещания, говоря их ему от имени герцога. Он вдруг взглянул на меня пристально и, улыбаясь, сказал: «А вы как им довольны?» Хотя я сказал, что доволен и что меня очень хорошо содержат, он показал, что знает большую часть моих неприятностей; и так он мне ответил, что ему было бы трудно получить возможность уехать, Тогда я прибавил, что он сделал

бы лучше всего, если бы вернулся на свою родину, каковая управляется государем справедливейшим и большим любителем искусств, чем какой-либо другой государь, который когда-либо рождался на свет. Как я уже выше сказал, у него был некий его подмастерье, который был из Урбино, каковой жил у него много лет и служил ему скорее как мальчик и как служанка, чем как кто-либо другой, и поэтому видно было, что сказанный ничему не научился в художестве; и так как я прижал Микеланьоло столькими здравыми доводами, что он не знал, что ему тотчас же ответить, то он повернулся к своему Урбино, как будто спрашивая его, что он об этом думает. Этот его Урбино тотчас же, на этакий мужицкий лад, превеликим голосом так сказал: «Я никогда не хочу расставаться с моим мессер Микеланьоло, покамест или я не сдеру с него кожу, или он с меня не сдерет». При этих дурацких словах я был вынужден засмеяться и, не попрощавшись с ним, понуриив плечи, повернулся и ушел.

LXXXII

После того как я так плохо обделал свое дело с Биндо Альтовити, потеряв мою бронзовую голову и отдав ему мои деньги на всю мою жизнь, мне стало ясно, какого рода купеческая совесть, и так вот, недовольный, я вернулся во Флоренцию. Я тотчас же пошел во дворец представиться герцогу, а его высокая светлость был в Кастелло¹, у Понте а Рифредди. Я застал во дворце мессер Пьерфранческо Риччи, майордома, и когда я хотел подойти к сказанному, чтобы учинить обычные приветствия, он вдруг с непомерным удивлением сказал: «О, ты вернулся!» — и с тем же удивлением, всплеснув руками, сказал: «Герцог в Кастелло», и, повернувшись ко мне спиной, ушел. Я не мог ни знать, ни угадать, почему этот скотина учинил подобные действия. Я тотчас же отправился в Кастелло и, войдя в сад, где был герцог, я увидел его издали, что когда он меня увидел, он выказал удивление и велел мне сказать, чтобы я ушел. Я, который

сулил себе, что его светлость учинит мне такие же ласки и даже еще большие, чем он учинил мне, когда я уезжал, видя вдруг такую странность, весьма недозвольный вернулся во Флоренцию; и, принявшись снова за свои дела, торопясь привести к концу свою работу, я не мог себе представить, откуда такой случай мог произойти; но только, наблюдая, каким образом на меня смотрит мессер Сфорца и некоторые другие из более близких к герцогу, мне пришла охота спросить у мессер Сфорца, что это должно значить; каковой, улыбнувшись этак, сказал: «Бенвенуто, старайтесь быть честным человеком, а об остальном не заботьтесь». Несколько дней спустя мне дано было удобство, чтобы я поговорил с герцогом, и он учинил мне некие хмурые ласки, и спросил меня о том, что делается в Риме; и вот я, насколько умел, повел речь и сказал ему про голову, которую я сделал из бронзы для Биндо Альтовити, со всем тем, что впоследствии. Я заметил, что он меня слушает с большим вниманием; и сказал ему равным образом про Микеланьоло Буонарроти все. Каковой выказал некоторый гнев, а над словами его Урбино, над этим сдиранием кожи, о котором тот сказал, громко посмеялся; затем сказал: «Тем хуже для него»; и я ушел. Несомненно, что этот сер Пьерфранческо, майордом, сослужил некую злую службу против меня перед герцогом, каковая ему не удалась; потому что бог, любитель правды, меня защитил, так же как всегда вплоть до этих моих лет от стольких безмерных опасностей меня избавлял, и надеюсь, что избавит меня вплоть до конца этой моей, хоть и многотрудной, жизни; я все-таки иду вперед, единственно его могуществом, смело, и не страшит меня никакая ярость судьбы или превратных звезд; лишь бы сохранил ко мне бог свою милость.

LXXXIII

Теперь послушай ужасное происшествие, любезнейший читатель. Со всем усердием, с каким я умел и мог, я старался кончать мою работу, а по вечерам

ходил побеседовать в герцогскую скарбницу, помогая тем золотых дел мастерам, которые там работали для его высокой светлости, потому что большая часть тех работ, которые они делали, была по моим рисункам; и так как я видел, что герцог находит большое удовольствие как в том, чтобы смотреть на работу, так и в том, чтобы потолковать со мной, то мне случилось также ходить туда иной раз и днем. Когда как-то раз среди прочих я находился в сказанной скарбнице, герцог пришел, как обычно, и тем более охотно, что его высокая светлость узнал, что я там; и как только он вошел, он начал рассуждать со мною о всяких разнообразных и приятнейших вещах, и я ему отвечал под стать, и так его очаровал, что он выказал себя еще приветливее со мной, чем когда-либо выказывал себя в прошлом. Вдруг явился один из его секретарей, каковой сказал что-то на ухо его светлости, и так как дело было, должно быть, большой важности, то герцог тотчас же встал и вышел в другую комнату со сказанным секретарем. А так как герцогиня послала взглянуть, что делает его высокая светлость, то паж сказал герцогине: «Герцог разговаривает и смеется с Бенвенуто, и в самом хорошем расположении». Услышав это, герцогиня тотчас же пришла в скарбницу и, не застав там герцога, присела рядом с нами; и, посмотрев немного, как работают, с большой приветливостью повернулась ко мне и показала мне нить жемчужин, крупных и поистине редкостнейших, и так как она меня спросила, как они мне кажутся, то я ей сказал, что это вещь очень красивая. Тогда ее высокая светлость сказала мне: «Я хочу, чтобы герцог мне ее купил; так что, мой Бенвенуто, расхвали ее герцогу, как только умеешь и можешь». На эти слова я, со всею, какой умел, почтительностью, открылся герцогине и сказал: «Государыня моя, я думал, что эта жемчужная нить вашей высокой светлости; и так как разум не велит, чтобы говорилось что-либо из того, что, зная, что она не вашей высокой светлости, мне приходится сказать и даже необходимо, чтобы я сказал; то пусть ваша высокая свет-

лость знает, что, благо это всячески мое ремесло, я вижу в этих жемчужинах премного недостатков, из-за каковых я никогда бы вам не посоветовал, чтобы ваша светлость их покупала». На эти мои слова она сказала: «Торговец мне ее отдает за шесть тысяч скудо; а если бы у нее не было некоторых этих маленьких недостатков, то она бы стоила больше двенадцати тысяч». Тогда я сказал, что если бы даже эта нить была самой бесконечной добротности, я и то бы никогда никому не посоветовал, чтобы он доходил до пяти тысяч скудо; потому что жемчуга, это не драгоценные камни; жемчуга, это рыба кость, и с течением времени они теряют цену; а алмазы, и рубины, и изумруды не стареют, и сапфиры. Эти четыре — драгоценные камни, и их-то и надобно покупать. На эти мои слова, чуточку сердитая, герцогиня мне сказала: «А я хочу эти жемчуга, и поэтому я прошу тебя, чтобы ты снес их герцогу, и расхвали их, как только можешь и умеешь, и даже если бы тебе пришлось сказать чуточку неправды, скажи ее, чтобы оказать мне услугу, и благо тебе будет». Я, который всегда был превеликим другом истины и врагом неправды, и будучи в необходимости, желая не утратить милости столь великой государыни, взял, недовольный, эти проклятые жемчуга и пошел с ними в ту другую комнату, куда удалился герцог. Каковой, как только меня увидел, сказал: «О Бенвенуто, что ты тут делаешь?» Раскрыв эти жемчуга, я сказал: «Государь мой, я пришел показать вам прекраснейшую жемчужную нить, редчайшую и поистине достойную вашей высокой светлости; и для восьмидесяти жемчужин, я не думаю, чтобы когда-либо было столько подобрано, которые имели бы лучший вид в одной нити; так что купите их, государь, потому что они изумительны». Герцог тотчас же сказал: «Я не хочу их покупать, потому что не такие это жемчуга и не такой добротности, как ты говоришь, и я их видел, и они мне не нравятся». Тогда я сказал: «Простите меня, государь, но эти жемчуга превосходят бесконечной красотой все жемчуга, которые когда-либо были нанизаны на нить». Герцогиня встала, и стояла за дверью, и слышала все

то, что я говорил; так что когда я наговорил в тысячу раз больше того, что я пишу, герцог повернулся ко мне с благосклонным видом и сказал мне: «О мой Бенвенуто, я знаю, что ты отлично в том разбираешься; и если бы эти жемчуга были с теми столь редкими достоинствами, которые ты им приписываешь, то для меня не составило бы труда купить их как для того, чтобы угодить герцогине, так и для того, чтобы их иметь, потому что подобного рода вещи мне необходимы не столько для герцогини, сколько для других моих надобностей моих сыновей и дочерей». И я на эти его слова, раз уже начав говорить неправду, с еще большей смелостью продолжал ее говорить, придавая ей наибольшую окраску истины, дабы герцог мне поверил, и полагаясь на герцогиню, что она вовремя должна мне помочь. И так как мне причиталось больше двухсот скудо, устрой я такую сделку, и герцогиня мне на это намекнула, то я решил и расположился не брать ни одного сольдо, единственно ради собственного спасения, дабы герцог никогда не мог подумать, будто я это делаю из жадности. Снова герцог с приветливейшими словами начал говорить мне: «Я знаю, что ты отлично в этом разбираешься; поэтому, если ты тот честный человек, который я всегда думал, что ты есть, то скажи мне правду». Тогда, с покрасневшими глазами и ставшими слегка влажными от слез, я сказал: «Государь мой, если я скажу правду вашей высокой светлости, то герцогиня станет мне смертельнейшим врагом, и поэтому я буду вынужден уехать с богом, и честь моего Персея, какового я обещал этой благороднейшей школе вашей высокой светлости, тотчас же враги мои мне опозорят; так что я препоручаю себя вашей высокой светлости».

LXXXIV

Герцог, увидав, что все то, что я сказал, мне было велено сказать как бы насильно, сказал: «Если ты мне доверяешь, то ни о чем не беспокойся». Снова я ска-

зал: «Увы, государь мой, как это может быть, чтобы герцогиня про это не узнала?» На эти мои слова герцог поднял руку и сказал: «Считай, что ты их похоронил в алмазном ларчике». На эти достойные слова я тотчас же сказал правду о том, что я думаю об этих жемчугах, и что они не многим больше стоят, чем две тысячи скудо. Услыхав герцогиня, что мы смолкли, потому что мы говорили, насколько можно выразить, тихо, она вошла и сказала: «Государь мой, пусть ваша светлость купит мне, пожалуйста, эту жемчужную нить, потому что мне ее премного хочется, и ваш Бенвенуто говорит, что он никогда не видел более красивой». Тогда герцог сказал: «Я не хочу ее покупать». — «Почему, государь мой, ваша светлость не хочет сделать мне удовольствие купить эту жемчужную нить?» — «Потому что мне не нравится выбрасывать деньги». Герцогиня снова сказала: «О, как же это выбрасывать деньги, когда ваш Бенвенуто, которому вы заслуженно так доверяете, мне сказал, что это значит выгадать больше трех тысяч скудо?» Тогда герцог сказал: «Государыня, мой Бенвенуто сказал мне, что если я их куплю, то я выброшу свои деньги, потому что эти жемчужины и не круглые, и не ровные, и среди них много старых; и что это правда, так посмотрите эту и вот эту, и посмотрите здесь и тут; так что они мне не подходят». При этих словах герцогиня взглянула на меня с самой недоброй душой и, погрозив мне головой, ушла оттуда, так что я был совсем искушаем уехать себе с богом и развязаться с Италией; но так как мой Персей был почти окончен, то я не захотел преминуть извлечь его наружу; но да посудит всякий человек, в каком тяжком испытании я находился. Герцог приказал своим привратникам в моем присутствии, чтобы они всегда пускали меня входить в комнаты и где бы его светлость ни был; а герцогиня приказала им же, чтобы всякий раз, как я приду в этот дворец, они гнали меня прочь; так что когда они меня видели, они тотчас же отходили от этих дверей и гнали меня прочь; но они остерегались, чтобы герцог их не видел, так что если герцог замечал меня раньше, чем эти несчастные, то он либо подзывал

меня, либо делал мне знак, чтобы я уходил. Герцогиня призвала этого Бернардоне маклера, про которого она так мне жаловалась на его дрянность и жалкую никчемность, и ему себя препоручила, так же, как сделала это со мной; каковой сказал: «Государыня моя, предоставьте это мне». Этот мошенник пошел к герцогу с этой нитью в руках. Герцог, как только его увидал, сказал ему, чтобы он убирался прочь. Тогда сказанный мошенник, этим своим голощиком, который у него гудел через его ослиный нос, сказал; «Ах, государь мой, купите эту нить для этой бедной государыни, каковая по ней умирает от желанья и не может жить без нее». И, присоединяя много других своих дурацких разглагольствований и надоев герцогу, тот ему сказал: «Или ты убирайся прочь, или ты надуйся разок». Этот скверный мошенник, который отлично знал, что он делает, потому что, если, либо надувшись, либо спев «*La bella Francesca*»¹, он бы мог добиться, чтобы герцог сделал эту покупку, то он зарабатывал милость герцогини и вдобавок свой куртаж, каковой составлял несколько сот скудо; и он надулся; герцог дал ему несколько затрещин по этим его мордасам и, чтобы он убрался прочь, дал ему немного сильнее, нежели то обычно делал. При этих сильных ударах по этим его мордасам не только они стали слишком красными, но по ним покатались и слезы. С каковыми он начал говорить: «Эх, государь, вот верный ваш слуга, каковой старается поступать хорошо и соглашается сносить всякого рода неприятности, лишь бы эта бедная государыня была довольна!» Так как слишком уж надоел герцогу этот человечешко, то и ради пощечин, и ради любви к герцогине, каковой его высокая светлость всегда желал угождать, он вдруг сказал: «Убирайся прочь, ко всем бедам, которые пошли тебе господь, и ступай купи ее, потому что я согласен сделать все, что хочет государыня герцогиня». И вот здесь познается ярость злой судьбы бедного человека и как постыдная судьба благоволит негодяю. Я утратил всю милость герцогини, что было изрядной причи-

ной того, что я лишился милости герцога; а он заработал себе этот крупный куртаж и милость их; так что недостаточно быть человеком честным и даровитым.

LXXXV

В это время разразилась сиенская война;¹ и герцог, желая укрепить Флоренцию, распределил ворота между своими ваятелями и зодчими, причем мне были назначены ворота Прато и воротца над Арно, что на лугу, как идти к мельницам; кавалеру Бандинелло — ворота Сан Фриано; Пасквалино д'Анкона — ворота Сан Пьер Гаттолини; Джулиану, сыну Баджо, д'Аньоло, деревщику, — ворота Сан Джорджо; Партичино, деревщику², — ворота Санто Никколо; Франческо да Сангалло³, ваятелю, по прозванию Марголла, даны были ворота Кроче; а Джованбатиста, называемому Тассо⁴, даны были ворота Пинти; и так некоторые другие бастионы и ворота разным инженерам, каковых я не помню, да они мне и ни к чему. Герцог, у которого действительно всегда было хорошее понимание, сам собственнорично обошел свой город; и когда его высокая светлость хорошо осмотрел и решил, то он призвал Латтанцио Горини, каковой был у него расходчиком; и так как также и этот Латтанцио любительствовал немного по этой части, то его высокая светлость велел ему начертить все те способы, по которым он желал, чтобы были укреплены сказанные ворота, и каждому из нас послал начерченными его ворота; так что когда я увидел те, которые касались до меня, и так как мне казалось, что способ их не такой, как надо, и даже весьма неправильный, то я тотчас же с этим чертежом в руке отправился к моему герцогу; и когда я пожелал показать его светлости недостатки этого чертежа, мне данного, то не успел я начать говорить, как герцог, взбешенный, повернулся ко мне и сказал: «Бенвенуто, по части отличного выделывания фигур я уступлю тебе, но по этой части я хочу, чтобы ты уступил мне; так что соблюдай чертеж, который я тебе дал». На эти грозные слова я

отвечал, как только умел благостно, и сказал: «Опять-таки, государь мой, и хорошему способу выделывать фигуры я научился от вашей высокой светлости, потому что мы всегда это обсуждали немного с вами; так и об этом укреплении вашего города, что гораздо важнее, чем выделывание фигур, я прошу вашу высокую светлость, чтобы она соизволила меня выслушать; и в такой беседе с вашей светлостью она лучше сможет показать мне тот способ, каким я должен ей услужить». Так что, при этих моих обходительнейших словах, он благосклонно принялся обсуждать со мной; и когда я доказал его высокой светлостью живыми и ясными доводами, что тем способом, как он мне начертил, будет нехорошо, то его светлость сказал мне: «Ну, так ступай и сделай чертеж ты, а я посмотрю, понравится ли он мне». И так я сделал два чертежа сообразно истинному способу укрепить эти двое ворот, и понес их ему, и, распознав верное от неверного, его светлость приветливо мне сказал: «Ну, так ступай и делай по-своему, потому что я согласен». Тогда я с великим усердием начал.

LXXXVI

Был на страже у ворот Прато один ломбардский капитан; это был человек сложения страшно могучего и речами весьма грубый; и был он заносчив и пренебрежествен. Этот человек тотчас же начал меня спрашивать, что я собираюсь делать; на что я любезно показал ему мои чертежи и с крайним трудом стал ему объяснять тот способ, которого я хотел держаться. А этот грубый скотина то покачивал головой, то поворачивался и сюда, и туда, меняя то и дело положение ног, покручивая усы, которые у него были превеликие, и то и дело натягивал себе отворот шляпы на глаза, говоря то и дело: «Черт проклятый! Не понимаю я этой твоей затеи». Так что этот скотина мне надоел, и я сказал: «Так предоставьте ее мне, потому что я ее понимаю». И когда я повернулся к нему спиной, чтобы идти по своим делам, этот человек

начал грозить головой; и левой рукой, положив ее на рукоять своей шпаги, он слегка приподнял ее острие и сказал: «Эй, мастер, ты хочешь, чтобы я поспорил с тобой до крови?» Я повернулся к нему в великом гневе, потому что он меня рассердил, и сказал: «Мне будет стоять меньшего труда поспорить с тобой, чем сделать этот бастион и эти ворота». В один миг оба мы схватились за наши шпаги, и не успели мы их обнажить, как вдруг двинулось множество честных людей, как наших флорентинцев, так и других придворных; и большая часть изругала его, говоря ему, что он неправ, и что я такой человек, который бы с ним посчитался, и что если бы герцог это узнал, то горе ему. Так он ушел по своим делам, а я начал мой бастион; и когда я устроил сказанный бастион, я пошел к другим воротцам, над Арно, где я застал одного капитана из Чезены, самого милого, обходительного человека, какого я когда-либо знавал по этому ремеслу; он был похож на молодую барышню, а при случае это был мужчина из самых храбрых и величайший головорез, какого только можно вообразить. Этот милый человек так за мной ухаживал, что много раз заставлял меня стыдиться; он желал понять, и я любезно ему показывал; словом, мы старались учинить, кто учинит друг другу наибольшие ласки; так что я сделал лучше этот бастион, чем тот, гораздо. Когда я почти что кончил мои бастионы, то, так как некои люди этого Пьеро Строцци¹ учинили набег, округа Прато так перепугалась, что вся она стала выселяться, и по этой причине все телеги этой округи приезжали нагруженные, потому что всякий вез свое имущество в город. И так как телеги задевали друг за друга, каковых была превеликая бесконечность, то, видя подобный беспорядок, я сказал страже у ворот, чтобы они следили, чтобы у этих ворот не приключился такой же беспорядок, как случилось у ворот в Турине, потому что если бы потребовалось прибегнуть к опускной решетке, то она не смогла бы сделать свое дело, ибо осталась бы висеть на одной из этих самых телег². Услышав эти мои слова, этот скотинище капитан повернулся ко мне с

поносными словами, и я ему ответил тем же; так что мы учинили бы много хуже, чем тот первый раз; однако же нас развели; а я, окончив мои бастионы, получил несколько скудо неожиданно, что было мне кстати, и охотно вернулся кончать моего Персея.

LXXXVII

Так как в эти дни были найдены некие древности в округе Ареццо, среди каковых была Химера, то есть тот самый бронзовый лев, какового можно видеть в комнатах рядом с большой дворцовой залой, и вместе со сказанной Химерой было найдено множество маленьких статуэток, также из бронзы, каковые были покрыты землей и ржавчиной, и у каждой из них не хватало либо головы, либо рук, либо ног, то герцог находил удовольствие в том, чтобы очищать их себе самолично некими чеканчиками, как у золотых дел мастеров. Случилось, что мне довелось говорить с его высокой светлостью; и пока я с ним беседовал, он подал мне маленький молоточек, каковым я и постукивал по этим чеканчикам, которые герцог держал в руке, и таким образом сказанные фигурки опрастывались от земли и ржавчины. Проведя так еще несколько вечеров, герцог поставил меня на работу, и я начал доделывать те члены, которых не хватало сказанным фигуркам. И так как его светлость находил такое удовольствие в этих маленьких вещичках, то он заставлял меня работать также и днем, и если я медлил прийти, то его высокая светлость посылал за мной. Много раз я заявлял его светлости, что если я буду отклоняться днем от Персея, то от этого впоследствии несколько неудобств; и первое, которое больше всего меня пугало, было то, как бы то большое время, которое я видел, что берет моя работа, не было причиной тому, чтобы надоесть его высокой светлости, как оно потом со мной и случилось; другое было то, что у меня было несколько работников, и когда я не присутствовал, то они учиняли два значительных неудобства. И первое было то, что они

мне портили мою работу, а другое, что они работали насколько можно меньше; так что герцог согласился, чтобы я приходил только после двадцати четырех часов. И я так удивительно ублажил к себе его высокую светлость, что вечером, когда я являлся к нему, всякий раз он мне усугублял ласки. В эти дни строились эти новые покои в сторону Львов¹; так что его светлость, желая удалиться в более потаенное место, велел для себя устроить некую комнатку в этих покоех, сделанных вновь, а мне приказал, чтобы я ходил через его скарбницу, откуда я проходил тайком по галерее большой залы и некими закоулками шел в сказанную комнатку совсем тайком; однако же по прошествии немногих дней герцогиня меня этого лишила, велел запереть все эти мои удобства; так что всякий вечер, что я являлся во дворец, мне приходилось долго ждать благодаря тому, что герцогиня находилась в тех передних, где мне надо было пройти, за своими удобствами; и так как она была хвора, я туда не являлся ни разу без того, чтобы ее не побеспокоить. Не то по этой, не то по другой причине, я стал ей до того в тягость, что она ни с какой стороны не могла выносить моего вида; и при всей этой великой для меня докуке и бесконечной неприятности я терпеливо продолжал ходить туда; а герцог такого рода отдал особые приказания, что как только я стучался в эти двери, то мне открывали и, не говоря мне ничего, меня впускали повсюду; так что случалось иногда, что, входя тихонько этак неожиданно в эти потаенные комнаты, я заставал герцогиню за ее удобствами, каковая тотчас же раздражалась такой бешеной яростью на меня, что я пугался, и всякий раз говорила мне: «Когда же ты кончишь чинить эти маленькие фигурки? Потому что это твое хождение мне слишком уж надоело». Каковой я благостно отвечал: «Государыня, единственная госпожа моя, я ничего не желаю другого, как только верно и с крайней покорностью служить вам; и так как эти работы, которые назначил мне герцог, продлятся много месяцев, то пусть ваша высокая светлость мне скажет: если она

не желает больше, чтобы я сюда приходил, я сюда не буду приходить никоим образом, и пусть зовет, кто хочет; а если меня позовет герцог, то я скажу, что чувствую себя плохо, и никоим образом не явлюсь сюда». На эти мои слова она говорила: «Я не говорю, чтобы ты не приходил сюда, и не говорю, чтобы ты не слушался герцога; но только мне кажется, что этим твоим работам никогда не будет конца». Не то герцог об этом что-нибудь прослышал, не то по-другому это было, но только его светлость начал опять: когда близилось к двадцати четырем часам, он посылал меня звать; и тот, кто приходил меня звать, всякий раз говорил мне: «Смотри, непременно приходи, потому что герцог тебя ждет». И так я продолжал, с теми же самыми трудностями, несколько вечеров. И однажды вечером, когда я вошел, как обычно, герцог, который разговаривал с герцогиней о вещах, должно быть, тайных, повернулся ко мне с величайшей на свете яростью; и когда я, немного испугавшись, хотел быстро удалиться, он вдруг сказал: «Войди, мой Бенвенуто, и ступай к своей работе, а я через малость приду побыть с тобой». В то время как я проходил, меня схватил за плащ синьор дон Грация, мальчонок малых лет², и стал учинять со мной самые забавные шуточки, какие может учинять такой малыш; так что герцог, удивляясь, сказал: «О, какая забавная дружба у моих сыновей с тобой!»

LXXXVIII

В то время как я работал над этими малой важности пустяками, принц, и дон Джованни, и дон Арнандо¹, и дон Грация весь вечер были около меня и тайком от герцога меня теребили; так что я просил их, чтобы они, уж пожалуйста, стояли смирно. Они мне отвечали, говоря: «Мы не можем». И я им сказал: «Чего нельзя, того не желают; поэтому продолжайте». Тут вдруг герцог и герцогиня разразились смехом. В другой вечер, окончив эти четыре бронзовых фи-

гурки, которые вделаны в подножие², каковые суть Юпитер, Меркурий, Минерва и Даная, мать Персея, со своим Персейчиком, сидящим у ее ног, велев их отнести в сказанную комнату, где я работал по вечерам, я их расставил в ряд, слегка приподнятыми, выше глаз, так что они являли чудеснейшее зрелище. Когда герцог об этом услышал, он пришел немного раньше, чем обычно; и так как та особа, которая доложила его высокой светлости, должно быть поставила их много выше того, чем они были, потому что она ему сказала: «Лучше чем античные», и тому подобные вещи, то герцог мой пришел вместе с герцогиней, весело беседуя все о моей работе; и я, тотчас же встав, пошел им навстречу. Каковой с этой своей герцогской и красивой приветливостью поднял правую руку, в каковой он держал шпалерную грушу, самую большую, какая только видана, и красивейшую, и сказал: «Возьми, мой Бенвенуто, посади эту грушу в саду твоего дома». На эти слова я учтиво ответил: «О государь мой, ваша высокая светлость говорит взаправду, чтобы я ее посадил в саду моего дома?» Снова сказал герцог: «В саду дома, который твой, понял ты меня?» Тогда я поблагодарил его светлость, а равно и герцогиню, со всей той наилучшей обходительностью, с какой только умел. Затем оба они уселись напротив сказанных фигурок, и два с лишним часа ни о чем другом не говорили, как только о прекрасных этих фигурках; так что герцогине их до того непомерно захотелось, что она мне сказала тогда: «Я не хочу, чтобы эти прекрасные фигурки потерялись на этом подножии, внизу на площади, где они подвергались бы опасности быть попорченными, а хочу, чтобы ты мне их приладил в какой-нибудь моей комнате, где они будут храниться с тем уважением, какого заслуживают их редчайшие достоинства». На эти слова я воспротивился многими бесконечными доводами; и, видя, что она решила, чтобы я их не помещал на подножии, где они сейчас, я подождал следующего дня; пошел во дворец в двадцать два часа и, увидав, что герцог и герцогиня уехали верхом, я, уже приготовив мое подножие, велел снести вниз сказанные фи-

гурки и тотчас же их припаял, как они должны были стоять. О, когда герцогиня это узнала, ее одолела такая злоба, что, если бы не герцог, который преискусно мне помог, мне пришлось бы весьма плохо; и из-за той своей злобы за жемчужную нить, и из-за этой она сделала так, что герцог отстал от этого маленького удовольствия, что было причиной того, что мне не надо было больше ходить туда, и я тотчас же вернулся к тем же самым прежним трудностям касательно входа во дворец.

LXXXIX

Я вернулся к Лодже¹, куда я уже велел перенести Персея, и кончал его с уже сказанными трудностями, то есть без денег и со столькими другими приключениями, что и половина их устрасила бы человека в алмазной броне. Продолжая, однако же, дальше, по моему обыкновению, раз как-то утром, прослушав обедню у Сан Пьеро Скераджо, мимо меня прошел Бернардоне, маклер, золотых дел мастеришко, и по доброте герцога он был поставщиком монетного двора, и чуть только он вышел из церковных дверей, этот свинья испустил четыре залпа, каковые, должно быть, слышно было у Сан Миниато². Каковому я сказал: «Ах ты, свинья, лодырь, осел, это вот и есть гром твоих грязных талантов?» — и побежал за палкой. Каковой живо удалился в монетный двор³, а я стоял в пролете моей двери, а наружи держал одного моего мальчишку, чтобы он подал мне знак, когда этот свинья выйдет из монетного двора. И вот, увидав, что я прождал долго, и так как мне стало надоедать, и так как поулеглась эта маленькая злость, то, рассудив, что бьешь не по уговору, так что из этого могло бы произойти какое-нибудь неудобство, я решил отомстить другим способом. И так как случай этот был незадолго до праздника нашего святого Иоанна, за день или за два, то я на него написал эти четыре стиха и прикрепил их на углу церкви, где мочились и испражнялись, и гласили они так:

Здесь Бернардоне спит, осел, скотина,
Шпион, вор, маклер, в чьем вместила теле
Пандора все дурное, и отселе
Возрос Буаччо⁴ бык и дурачина.

Случай этот и стихи дошли до дворца, и герцог и герцогиня им посмеялись; и раньше, чем он это заметил, остановилось великое множество народу и подняло величайший на свете смех; и так как они смотрели в сторону монетного двора и уставляли глаза на Бернардоне, то, заметив это, его сын, маэстро Баччо, тотчас же с великим гневом его сорвал и укусил себе палец, грозясь этим своим голосенком, каковой выходит у него через нос; он учинил великое стращение.

XC

Когда герцог узнал, что вся моя работа с Персеем может быть показана как оконченная, однажды он пришел ее посмотреть и показал многими явными знаками, что она удовлетворяет его превесьма; и, обернувшись к неким господам, которые были с его высокою светлостью, сказал: «При всем том, что эта работа кажется мне очень красивой, она должна понравиться и народу; поэтому, мой Бенвенуто, прежде чем ты ей придашь последнее окончание, я бы хотел, чтобы, ради меня, ты мне открыл немного эту переднюю сторону, на полдня, на мою площадь, чтобы посмотреть, что говорит народ; потому что нет сомнения, что если видеть ее таким вот образом стесненной или если видеть ее на открытом поле, то она будет иметь другой вид, чем она имеет такой вот стесненной». На эти слова я смиренно сказал его высокой светлости: «Знайте, государь мой, что она будет иметь вид вдвое лучший; о, разве не помни ваша высокая светлость, как она ее видела в саду моего дома, в каковом она имела, на таком большом просторе, такой отличный вид, что через сад Невинных Младенцев на нее пришел посмотреть Бандинелло, и, при всей его дурной и сквернейшей природе, она его принудила, и он сказал про нее хорошо,

который никогда ни о ком не сказал хорошо за всю свою жизнь? Я вижу, что ваша высокая светлость слишком ему верит». На эти мои слова, усмехнувшись немного сердито, он все же со многими приветливыми словами сказал: «Сделай это, мой Бенвенуто, единственно ради маленького мне удовлетворения». И когда он ушел, я начал распорядиться, чтобы открыть; итак как не хватало кое-какой малости золота, и кое-какого лака, и других таких мелочей, которые требуются для окончания работы, то я сердито ворчал и сетовал, проклиная тот злосчастный день, который был причиной того, что привел меня во Флоренцию; потому что я уже видел превеликую и верную потерю, которую я понес со своим отъездом из Франции, и еще не видел и не знал, какого рода я должен ожидать добра с этим моим государем во Флоренции; потому что от начала до середины, до конца, вечно все то, что я делал, делалось к великому моему вредному ущербу; и так, недовольный, на следующий день я ее открыл. Но как богу было угодно, как только ее увидели, поднялся такой непомерный крик в похвалу сказанной работе, что было причиной того, что я немного утешился. И народ не переставал постоянно привешивать¹ к створкам двери, которая была немного завешена, пока я ее кончал. Я скажу, что в тот самый день, что она пробыла несколько часов открытой, было привешено больше двадцати сонетов, все в непомернейшую похвалу моей работе; после того как я снова ее закрыл, мне каждый день привешивали множество сонетов, и латинских стихов, и греческих стихов, потому что были каникулы в Пизанской школе², и все эти превосходнейшие ученые и ученики состязались друг с другом. Но что давало мне наибольшее удовлетворение с надеждой на наибольшее мое благополучие по отношению к моему герцогу, это было то, что люди искусства, то есть ваятели и живописцы, также и они состязались, кто лучше скажет. И среди прочих, что я ценил особенно, был искусный живописец Якопо да Пунторно³, а еще более его превосходный Брондзино⁴, живописец, который мало того, что велел привесить их несколько, но еще и прислал мне со своим Сандрино⁵

ко мне на дом, каковые говорили столько хорошего, на этот его прекрасный лад, каковой есть редчайший, что это было причиной того, что я немного утешился. И так я снова ее закрыл и торопился ее кончить.

ХСІ

Мой герцог, хоть его светлость и слышал про ту честь, которая мне была оказана при этом малом осмотре этой превосходнейшей школой, сказал: «Мне очень приятно, что Бенвенуто получил это небольшое удовлетворение, каковое будет причиной тому, что он скорее и с большим усердием приведет ее к желанному концу; но пусть он не думает, что потом, когда она будет видна совсем открытой и ее можно будет видеть всю кругом, что народ станет говорить таким же образом; тут в ней откроют все те недостатки, которые у нее есть, и ей припишут много таких, которых у нее нет; так что пусть он вооружится терпением». А это были слова Бандинелло, сказанные герцогу, при каковых он сослался на работы Андреа дель Вероккьо, который сделал этого прекрасного Христа и святого Фому из бронзы, которого можно видеть на фасаде Орсаммикеле;¹ и сослался на много других работ, вплоть до чудесного Давида божественного Микеланьоло Буонарроти², говоря, что он хорош только, если смотреть на него спереди; и затем сказал про своего Геркулеса и Кака, о бесконечных и поносных сонетах, которые к нему были привешены, и говорил дурно про этот народ. Мой герцог, который верил ему весьма, подвинул его сказать эти слова и считал, за верное, что в большой мере подобным образом все и произойдет, потому что этот завистник Бандинелло не переставал говорить дурное; и один раз среди многих прочих, присутствуя тут же, этот пройдоха Бернардоне, маклер, чтобы подкрепить слова Бандинелло, сказал герцогу: «Знайте, государь, что делать большие фигуры, это другая похлебка, чем делать маленькие; я ничего не говорю, маленькие фигурки он делал очень хорошо;

но вы увидите, что тут ему не удастся». И к этим разглагольствованиям он примешал много других, исполняя, свое шпионское ремесло, в каковое он примешивал гору лжи.

ХСII

И вот, как угодно было преславному моему господу и бессмертному богу, я окончил ее совсем и однажды в четверг утром открыл ее всю¹. Тотчас же, пока еще не рассвело, собралось такое бесконечное множество народу, что сказать невозможно; и все в один голос состязались, кто лучше про нее скажет. Герцог стоял у нижнего окна во дворце, которое над входом, и так, полуспрятанный внутри окна, слышал все то, что про сказанную работу говорилось; и после того как он послушал несколько часов, он встал с таким воодушевлением и такой довольный, что, повернувшись к своему мессер Сфорца, сказал ему так: «Сфорца, пойди и разыщи Бенвенуто, и скажи ему от моего имени, что он меня удовольствовал много больше, чем я сам ожидал, и скажи ему, что его я удовольствую так, что он у меня изумится; так что скажи ему, чтобы он был покоен». И вот сказанный мессер Сфорца передал мне это торжественное извещение, каковое меня утешило; и в этот день этой доброй вестью и потому, что люди показывали меня пальцем то одному, то другому, как нечто чудесное и новое. Среди других там было двое дворян, каковые были посланы вице-королем Сицилии к нашему герцогу по их делам. И вот эти любезные люди подошли ко мне на площади, потому что я был им показан вот так на ходу; так что они поспешно меня настигли и тотчас же, со шляпами в руках, обратили ко мне самую церемонную речь, каковой было бы слишком и для папы; я же, как только мог, уничтожался; но они так меня одолевали, что я начал их умолять, чтобы нам, уж пожалуйста, уйти вместе с площади, потому что народ останавливался и смотрел на меня еще упорнее, чем на моего Персея. И среди этих церемоний они были настолько смелы, что попросили меня уехать в Сицилию, и что они учинят со мной

такой договор, что я буду доволен, и сказали мне, как брат Джовананьоло, сервит, сделал им фонтан, цельный и украшенный многими фигурами², но что они не такого совершенства, какое они видят в Персее, и что они его обогатили. Я не дал им договорить всего того, что им хотелось бы сказать, как сказал им: «Весьма я вам дивлюсь, что вы от меня домогаетесь, чтобы я покинул такого государя, любителя искусств больше, чем всякий другой властитель, который когда-либо рождался, и тем более когда я нахожусь в своем отечестве, школе всех величайших искусств. О, если бы у меня была жажда большой наживы, я бы мог себе остаться во Франции, на службе у этого великого короля Франциска, каковой давал мне тысячу золотых скудо на корм и, кроме того, оплачивал мне стоимость всех моих работ, так что каждый год я зарабатывал больше четырех тысяч золотых скудо в год; и оставил в Париже свои труды целых четырех лет». С этими и другими словами я оборвал церемонии и поблагодарил их за великие хвалы, которые они мне воздали, каковые суть величайшие награды, какие можно дать тому, кто трудится в искусствах; и что они до того усугубили во мне желание делать хорошо, что я надеюсь в немногие будущие годы показать другую работу, каковая, я надеюсь, понравится чудесной флорентийской Школе много больше, чем эта. Эти двое дворян хотели было возобновить свои церемонии; но я, сняв шляпу, с низким поклоном простился с ними.

XCIII

После того как я дал пройти двум дням и увидел, что великие похвалы все возрастают, тогда я расположился пойти показаться государю моему герцогу; каковой с великой приветливостью сказал мне: «Мой Бенвенуто, ты меня удовлетворил и удовольствовал; но я тебе обещаю, что тебя я удовольствую так, что ты у меня изумишься; и притом я тебе говорю, что я не хочу, чтобы это было позже, чем завтрашний день».

При этих чудесных обещаниях я тотчас же обратил все мои наибольшие силы и души, и тела в единый миг к богу, благодаря его воистину; и в то же мгновение я приблизился к моему герцогу, и так, чуть не прослезясь от радости, поцеловал ему платье; затем добавил, говоря: «О преславный мой государь, истинно щедрейший любитель искусств и тех людей, которые в них трудятся, я прошу вашу высокую светлость, чтобы она сделала мне милость отпустить меня сперва отправиться на неделю поблагодарить бога; потому что я хорошо знаю мой непомерный великий труд и понимаю, что моя добрая вера подвигла бога на помощь мне; за это и за всякое иное чудесное вспоможение я хочу отправиться на неделю в паломничество, непрестанно благодаря бессмертного моего бога, каковой всегда помогает тому, кто воистину его призывает». Тогда герцог спросил меня, куда я хочу отправиться. На что я сказал: «Завтра утром я выеду и поеду в Валлеомброзу, потом в Камальдоли и в Эрмо¹ и доеду до Бани ди Санта Мариа², а может быть и до Сестиле³, потому что я слышал, что там есть прекрасные древности; затем возвращусь через Сан Франческо делла Верниа⁴ и, благодаря бога непрестанно, довольный вернусь служить вам». Тотчас же герцог весело сказал мне: «Поезжай и возвращайся, потому что поистине ты мне нравишься, но оставь мне две строки для памяти и предоставь дело мне». Тотчас же я написал четыре строки, в каковых я благодарил его высокую светлость, и дал их мессер Сфорца, каковой дал их в руки герцогу от моего имени; каковой их взял; затем дал их в руки сказанному мессер Сфорца и сказал ему: «Ты их каждый день клади передо мной, потому что если Бенвенуто вернется и увидит, что я его не устроил, то я думаю, что он меня убьет». И так, смеясь, его светлость сказал, чтобы он ему об этом напомнил. Эти доподлинные слова мне сказал вечером мессер Сфорца, смеясь, и даже удивляясь тому великому благоволению, какое мне оказывает герцог; и шутливо сказал мне: «Поезжай, Бенвенуто, и возвращайся, потому что я тебе завидую».

Во имя божие я выехал из Флоренции, все время распевая псалмы и молитвы в честь и славу божию, всю дорогу; от каковой я имел превеликое удовольствие, потому что время было прекраснейшее, и дорога, и край, где я никогда еще не бывал, показались мне до того красивыми, что я остался восхищен и доволен. И так как проводником со мной пошел один молодой мой работник, каковой был из Баньо, которого звали Чезере¹, то я был весьма обласкан его отцом и всем его домом; среди каковых был один старик, семидесяти с лишком лет, забавнейший человек; он приходился дядей сказанному Чезере, и был по ремеслу врачом-хирургом, и мороковал чуточку алхимии. Этот добрый человек показал мне, что в этом Баньи имеются золотые и серебряные рудники, и дал мне увидеть много прекраснейших вещей в этом краю; так что я имел такие большие удовольствия, как никогда. Сдружившись со мной по-своему, он как-то раз среди прочих мне сказал: «Я не хочу преминуть скатать вам одну мою мысль, на каковую если его светлость обратит внимание, то я думаю, что это будет дело весьма полезное; и это то, что поблизости от Камальдоли имеется проход, настолько открытый, что Пьеро Строцци² мог бы не только пройти безопасно, но он мог бы завладеть Поппи³ без всякого сопротивления». И при этом мало того, что, показав мне это на словах, он еще достал лист из кармана, на каком-то этом добрый старик начертил весь этот край таким образом, что отлично виделось и наглядно познавалось, что эта великая опасность есть истинная. Я взял чертеж, и тотчас же выехал из Баньо, и, насколько мог скорее, возвращаясь через Прато Маньо и Сан Франческо делла Верниа, вернулся во Флоренцию; и, не останавливаясь, только сняв сапоги, отправился во дворец. И когда я подошел к Аббатству, я повстречался с моим герцогом, который шел мимо Дворца Подеста; каковой, как только меня завидел, он мне оказал премилостивый прием, вместе с некоторым удивлением, говоря мне: «О, почему ты вернулся так

скоро? Я тебя не ждал еще всю эту неделю». На -что я сказал: «Ради службы вашей высокой светлости я вернулся; потому что я охотно погулял бы несколько дней по этим прекраснейшим краям». — «Что же это за хорошие дела?» — сказал герцог. На что я сказал: «Государь, необходимо, чтобы я вам сказал и показал нечто весьма важное». И я пошел с ним во дворец. Когда мы пришли во дворец, он провел меня тайно в комнату, где мы были одни. Тогда я сказал ему все и показал ему этот маленький чертеж; каковой показал, что он очень ему рад. И когда я сказал его светлости, что необходимо исправить это дело быстро, герцог постоял, этак задумавшись немного, и потом сказал мне: «Знай, что мы условились с герцогом урбинским⁴, каковой должен позаботиться об этом сам; но держи это про себя». И с весьма великим оказательством его благоволения я вернулся к себе домой.

XCV

На другой день я показался, и герцог, после некоторого разговора, весело мне сказал: «Завтра, непременно, я хочу справиться твое дело; так что будь покоен». Я, который был вполне в этом уверен, с великим желанием ожидал следующего дня. Когда настал желанный день, я пошел во дворец; и так как обычно, по-видимому, всегда так случается, что дурные вести доходят скорее, нежели хорошие, то мессер Якопо Гвиди, секретарь его высокой светлости¹, подозвал меня своим кривым ртом и надменным голосом и, весь подобрившись, с туловищем, как палка, словно окованев, начал таким образом говорить: «Герцог говорит, что хочет узнать от тебя, что ты спрашиваешь за твоего Персея». Я был растерян и удивлен; и тотчас же ответил, что я никогда не стану спрашивать цену за мои труды и что это не то, что мне обещал его светлость тому два дня. Тотчас же этот человек, повывсив голос, мне сказал, что он мне строго приказывает от имени герцога, чтобы я сказал, что я за него хочу, под страхом полной немилости его высокой светлости.

Я, который сулил себе, что не только заслужил кое-что, судя по великим ласкам, учиненным мне его высокой светлостью, а особенно сулил себе, что всю милость герцога, потому что я никогда его не просил ни о чем большем, как только об его благоволении; и вот этот способ, для меня неожиданный, привел меня вот в такую ярость; и особенно когда мне это подносили в таком виде, как это делала эта ядовитая жаба. Я сказал, что когда бы герцог дал мне десять тысяч скудо, то он бы мне не отплатил, и что если бы я когда-либо думал, что дойду до этих торгов, то я бы никогда не связывался. Тотчас же этот злюка наговорил мне множество оскорбительных слов; и я ему также. На другой затем день, когда я учинял приветствие герцогу, его светлость меня подозвал; так что я подошел; и он в гневе сказал мне: «Города и большие дворцы строятся на десять тысяч дукатов». На что я тотчас же ответил, что его светлость найдет без конца людей, которые ему сумеют построить города и дворцы; а что нот Персеев, он не найдет, пожалуй, никого на свете, кто бы сумел ему сделать такого. И я тотчас же ушел, ничего больше не говоря и не делая. Несколько дней спустя, за мной прислала герцогиня и сказала мне, чтобы размолю, которая у меня вышла с герцогом, я доверил ей, потому что она хвалилась, что делает нечто такое, чем я буду доволен. На эти благосклонные слова я ответил, что я никогда не просил иной большей награды за мои труды, нежели благоволение герцога, и что его высокая светлость мне его обещал; и что нет надобности, чтобы я еще раз доверял их высоким светлостям то, что, с первых же дней, как я начал им служить, я вполне открыто им доверил; и, кроме того, добавил, что если бы его высокая светлость дал мне всего только одну крацию², которая стоит пять кватрино, за мои труды, то я бы назвал себя довольным и удовлетворенным, лишь бы его светлость не лишил меня своего благоволения. На эти мои слова герцогиня, слегка улыбаясь, сказала: «Бенвенуто, ты бы лучше сделал, сделав так, как я тебе говорю». И, повернувшись ко мне спиной, ушла от меня. Я, который думал, что делаю для себя лучше, употребляя такие

вот смиренные слова, случилось, что из этого вышло для меня хуже, потому что хоть она и была на меня немного сердита, в ней все ж таки был некий образ действий, каковой был хорош.

ХСVI

В это время я был весьма дружен с Джиролимо дельи Альбици¹, каковой был комиссаром войск его светлости; и как-то раз среди прочих он мне сказал: «О Бенвенуто, было бы все-таки хорошо привести в какой-нибудь порядок эту маленькую неприятность, которая у тебя вышла с герцогом; и я тебе говорю, что если бы ты мне доверился, то я бы сумел это уладить, потому что я знаю, что говорю; если герцог рассердится по-настоящему, для тебя это будет очень плохо; довольно с тебя этого; я не могу сказать тебе всего». И так как мне было сказано неким, быть может проказником, после того как герцогиня со мной поговорила, каковой сказал, что он слышал, будто герцог, по не знаю какому уж случаю, который ему дали, сказал: «За меньше чем два кватрино я выброшу вон Персея, и так будут кончены все разногласия»; так вот из-за этого опасения я сказал Джиролимо дельи Альбици, что я полагаюсь на него во всем, и что бы он ни сделал, я всем буду предоволен, лишь бы мне остаться в милости у герцога. Этот почтенный человек, который отлично разумел искусство солдата, особенно искусства войск, каковые все мужики, но искусства делать изваяния он не любил и поэтому ничего в нем не разумел, так что, говоря с герцогом, сказал: «Государь, Бенвенуто положился на меня и просил меня, чтобы я препоручил его вашей высокой светлости». Тогда герцог сказал: «И я также полагаюсь на вас и соглашусь со всем тем, что вы решите». Так что сказанный Джиролимо составил письмо, весьма хитроумное и к великой для меня чести, и решил, чтобы герцог дал мне три тысячи золотых скудо золотом, каковые достаточны не как награда за столь прекрасную работу, а только как некоторое мне содержание, словом, что я согла-

сен; со многими другими словами, каковыя во всем подтверждали сказанную цену. Герцог подписал его весьма охотно, настолько же, насколько я им был недоволен. Когда герцогиня об этом узнала, она сказала: «Гораздо было бы лучше для этого бедного человека, чтобы он доверил это мне, потому что я бы сделала так, чтобы ему дали пять тысяч золотых скудо». И однажды, когда я пошел во дворец, герцогиня сказала мне эти самые слова в присутствии мессер Аламанно Сальвиати и посмеялась надо мной, говоря мне, что я заслужил всю ту беду, которая со мной случилась. Герцог распорядился, чтобы мне выплачивали по ста золотых скудо золотом в месяц, вплоть до сказанной суммы, и так оно продолжалось несколько месяцев. Затем мессер Антонио де'Нобили², который имел сказанное поручение, начал давать мне по пятьдесят, а затем когда давал мне по двадцать пять, а когда и не давал; так что, видя, что со мной так тянут, я сказал ласково сказанному мессер Антонио, прося его, чтобы он сказал мне причину, почему он не кончает мне платить. Также и он благосклонно мне ответил; в каковом ответе мне показалось, что он откровенничает немного слишком, потому что, — пусть судит, кто понимает, — прежде всего он мне сказал, что причина, почему он не продолжает мой платеж, это чрезмерная стесненность, какая имеется у дворца в деньгах, но что он мне обещает, что, как только к нему придут деньги, он мне заплатит; и прибавил, говоря: «Увы, если бы я тебе не заплатил, я был бы великим мошенником». Я удивился, слыша, что он говорит такое слово, и поэтому посулил себе, что, когда он сможет, он мне заплатит. Между тем последовало совсем обратное, так что, видя, что меня изводят, я на него рассердился, и сказал ему много дерзких и гневных слов, и напомнил ему все то, чем он мне сказал, что он будет. Однако он умер, и мне остается еще получить пятьсот золотых скудо и по сию пору, когда уже близок конец тысяча пятьсот шестьдесят шестого года. Еще мне оставалось получить остаток моего жалованья, каковой мне казалось, что мне не считают больше нужным уплатить его, потому что прошло уже приблизительно три года;

но приключилась опасная болезнь с герцогом, и он целых двое суток не мог мочиться; и, видя, что лекарства врачей ему не помогают, он, вероятно, прибег к богу, и поэтому он пожелал, чтобы каждому было выплачено его просроченное содержание, и также и мне было выплачено; но мне так никогда и не был выплачен мой остаток за Персея.

XCVII

Почти было совсем я уже расположился ничего больше не говорить про злополучного моего Персея; но так как имеется один случай, который меня вынуждает, настолько замечательный, то поэтому я восстанавлю нить ненадолго, вернувшись несколько назад. Я думал сделать для себя лучше, когда сказал герцогине, что уже не могу прибегать к посредничеству в таком деле, в котором я уже не властен, потому что я сказал герцогу, что удовольствуюсь всем тем, что его высокая светлость пожелает мне дать; и это я сказал, думая угодить немного; и вместе с этой чуточкой смирения я искал всяким удобным способом умиловить немного герцога, потому что за несколько дней до того, как пришли к соглашению с Альбици, герцог весьма показал, что сердит на меня, и причиной было, что, жалуюсь его светлости на некой жесточайшие смертоубийства, которые мне учиняли мессер Альфонсо Квистелло и мессер Якопо Польверино, фискал¹, а больше всех сер Джованбатиста Брандини, вольтерранец; и так, высказывая с некоторым оказательством страсти эти мои доводы, я увидел, что герцог пришел в такую злость, что и вообразить себе нельзя. И когда его высокая светлость пришел в эту великую ярость, он мне сказал: «Этот случай совсем такой же, как с твоим Персеем, когда ты за него спросил десять тысяч скудо; ты слишком даешь одолевать себя своей корысти; поэтому я хочу велеть его оценить и дам тебе за него все то, что будет решено». На эти слова я тотчас же ответил немного чуть-чуть слишком дерзко и почти что рассердясь, — нечто, чего не подобает учинять с вели-

кими особами, — и сказал: «Как же это возможно, чтобы мою работу мне оценили по ее стоимости, когда сейчас нет ни одного человека во Флоренции, который сумел бы ее сделать?» Тогда герцог пришел в еще большую ярость и наговорил много гневных слов, среди каковых сказал: «Во Флоренции есть сейчас человек, который тоже сумел бы сделать такого же, и поэтому он отлично сможет о нем судить». Он хотел сказать про Бандинелло, кавалера святого Якова. Тогда я сказал: «Государь мой, ваша высокая светлость дали мне возможность, чтобы я сделал в величайшей Школе мира большую и труднейшую работу, каковую мне восхвалили больше, чем любую работу, которая когда-либо открывалась в этой божественнейшей Школе; и что больше всего делает меня гордым, это то, что эти выдающиеся люди, которые понимают и которые принадлежат к искусству, как Брондзино живописец, этот человек потрудился и написал мне четыре сонета, говоря самые изысканные и торжественные слова, какие возможно сказать, и по этой причине, от этого удивительного человека, быть может, и подвигся весь город на столь великий шум; и я скажу, что если бы он занимался ваянием, как он занимается живописью, то ой также смог бы, пожалуй, суметь ее сделать. И потом я скажу вашей высокой светлости, что мой учитель Микеланьоло Буонарроти, он также сделал бы такую же, когда он был помоложе, и понес бы не меньше трудов, чем понес я; но теперь, когда он очень стар², он бы ее не сделал наверняка; так что я не думаю, чтобы сейчас был на примете человек, который сумел бы ее выполнить. Таким образом, моя работа получила величайшую награду, каковую я бы мог желать на свете; и особенно, раз ваша высокая светлость не только что называли себя довольным моей работой, но и больше всякого другого человека мне ее хвалили. Какой же еще высшей и какой более почетной награды можно желать? Я говорю наидостовернейше, что ваша светлость не могли мне заплатить более славной монетой; и ни каким бы то ни было сокровищем наверняка нельзя сравняться с этим; так что мне заплачено с избытком, и я благодарю вашу высокую светлость от

всего сердца». На эти слова герцог ответил и сказал: «Ты даже не думаешь, чтобы у меня было столько, чтобы я ее мог тебе оплатить; а я тебе говорю, что я ее тебе оплачу много больше, чем она стоит». Тогда я сказал: «Я себе и не представлял, что получу какую-нибудь другую награду от вашей светлости, но я называю себя вполне вознагражденным той первой, какую мне дала Школа, и с нею я сей же час хочу уехать с богом, чтобы никогда больше не возвращаться в тот дом, который ваша высокая светлость мне подарили, и никогда больше не буду пытаться увидеть Флоренцию». Мы были как раз возле Санта Феличита, и его светлость возвращался во дворец. На эти мои сердитые слова герцог вдруг с великим гневом повернулся и сказал мне: «Не уезжай, и смотри, чтобы ты не уехал!» Так что я почти испуганно сопровождал его во дворец. Когда его светлость прибыл во дворец, он позвал епископа де'Бартолини, который был архиепископом пизанским, и позвал мессер Пандольфо делла Стуфа, и сказал им, чтобы они сказали Баччо Бандинелли от его имени, чтобы он рассмотрел хорошенько эту мою работу с Персеем и чтобы он ее оценил, потому что герцог хочет мне ее оплатить по справедливой цене. Эти почтенные люди тотчас же разыскали сказанного Бандинелло, и когда они передали ему это извещение, он им сказал, что эту работу он отлично рассмотрел и слишком хорошо знает, что она стоит; но так как он в раздоре со мной из-за других прошлых дел, то он не желает вмешиваться в мои обстоятельства никоим образом. Тогда эти господа прибавили и сказали: «Герцог нам сказал, что, под страхом своей немилости, он вам приказывает, чтобы вы назначили ей цену, и если вы хотите два или три дня времени, чтобы рассмотреть ее хорошенько, возьмите их себе; затем скажите нам, чего, по-вашему, этот труд заслуживает». Сказанный ответил, что он отлично его рассмотрел и что он не может ослушаться приказаний герцога, и что эта работа удалась очень богато и красиво, так что ему кажется, что она заслуживает шестнадцать тысяч золотых скудо и больше того. Тотчас же эти добрые господа доложили об этом герцогу, каковой раз-

гневался люто; и подобным же образом они пересказали это и мне. Каковым я ответил, что никоим образом не желаю принимать похвал Бандинелло, потому что этот дурной человек говорит дурно обо всяком. Эти мои слова были пересказаны герцогу, и потому-то герцогиня и хотела, чтобы я положился на нее. Все это чистая правда; словом, я бы лучше для себя сделал, если бы предоставил решать герцогине, потому что мне бы вскорости заплатили, и я получил бы награду больше.

ХСVIII

Герцог велел мне сказать через мессер Лелио Торелло, своего докладчика, что он желает, чтобы я сделал некие истории барельефом из бронзы вокруг хора Санта Мариа дель Фиоре;¹ а так как сказанный хор был работой Бандинелло, то я не хотел обогащать егостряпню моими трудами; и хотя сказанный хор был и не по его рисунку, потому что он ровно ничего не смыслил в зодчестве, рисунок был Джулиано, сына Баччо д'Аньоло, деревщика, того, что испортил купол;² но, словом, в нем нет никакого искусства; и по той, и по другой причине я не желал никоим образом делать эту работу, но всегда вежливо говорил герцогу, что сделаю все, что мне прикажет его высокая светлость; так что его светлость поручил старостам Санта Мариа дель Фиоре, чтобы они договорились со мной, и что его светлость будет мне давать только мое жалованье по вести скудо в год, а что все остальное он желает, чтобы сказанные старосты добавляли со сказанной Постройки³. Так что я явился к сказанным старостам, каковые мне и сказали все распоряжение, какое они имели от герцога; и так как с ними мне казалось, что я гораздо увереннее могу высказать мои доводы, то я начал им доказывать, что столько историй из бронзы будут превеликим расходом, каковой весь выброшен вон; и сказал все причины; каковые они восприняли вполне. Первая была та, что этот строй хора совсем неправильный, и сделан без всякого разума, и в нем не видно ни искусства, ни удобства, ни красоты, ни

изящества; другая была та, что сказанные истории оказались бы помещены настолько низко, что они пригодились бы гораздо ниже глаза, и что они были бы мочильней для собак и постоянно были бы полны всякой грязи, и что по сказанным причинам я никоим образом не хочу их делать. Но чтобы не выбрасывать вон остаток Моих лучших лет и не служить его высокой светлости, каковому я так желаю угождать и служить; поэтому если его светлость желает воспользоваться моими трудами, то пусть он даст мне сделать средние двери Санта Мариа дель Фиоре, каковые были бы работой, которая была бы видна и была бы гораздо большей славой его высокой светлости, а я бы обязался по договору, что если я не сделаю их лучше, чем те, которые всех красивее из дверей Сан Джованни⁴, то я не хочу ничего за мои труды; но если я их вполне сообразно своему обещанию, то я согласен, чтобы их оценили, а потом пусть мне дадут на тысячу скудо меньше того, во что людьми искусства они будут оценены. Этим старостам весьма понравилось то, что я им предложил, и они пошли поговорить об этом с герцогом, причем, среди прочих, был Пьеро Сальвиати, думая сказать герцогу нечто такое, что будет ему очень приятно, а оно было ему как раз наоборот; и он сказал, что я всегда хочу делать как раз наоборот тому, что ему угодно, чтобы я делал; и без всякого другого заключения сказанный Пьеро ушел от герцога. Когда я это услышал, я тотчас же отправился к герцогу, каковой выказал мне себя немного сердитым на меня, какового я попросил, чтобы он соблаговолил меня выслушать, и он мне это обещал; так что я начал сначала; и такими прекрасными доводами дал ему понять справедливость этого, показав вашей светлости, что это большой расход, выброшенный вон; так что я весьма его смягчил, сказав ему, что если его высокой светлости не угодно, чтобы я делал эти двери, то необходимо сделать для этого хора две кафедры, и что это будут две великие работы и будут славой его высокой светлости, и что я там сделаю великое множество историй из бронзы, барельефом, со многими украшениями; так я его умягчил, и он мне поручил, чтобы я сделал мо-

дели. Я сделал несколько моделей и понес превеликие труды; и среди других я сделал одну восьмигранную с гораздо большим старанием, нежели делал другие, и мне казалось, что она гораздо удобнее для той надобности, какую она должна была исполнять. И так как я много раз носил их во дворец, то его светлость велел мне сказать через мессер Чезере, скарбничего, чтобы я их оставил. После того как герцог их посмотрел, я увидел, что из них его светлость выбрал наименее красивую. Однажды его светлость велел меня позвать, и в разговоре об этих сказанных моделях я ему сказал и доказал многими доводами, что восьмигранная была бы гораздо более удобной для такой надобности и гораздо более красивой на вид. Герцог мне ответил, что хочет, чтобы я ее сделал четырехугольной, потому что ему нравится гораздо больше таким образом; и так весьма приветливо долгое время беседовал со мной. Я не преминул сказать все, что мне довелось, в защиту искусства. Признал ли герцог, что я говорю правду, и все-таки хотел сделать по-своему, но только прошло много времени, что мне ничего не говорили.

XCIX

В это время ¹ большой мрамор для Нептуна был привезен по реке Арно, а затем доставлен по Гриве ² на дорогу в Поджо а Кайано, чтобы лучше можно было доставить его во Флоренцию по этой ровной дороге, куда я и поехал его посмотреть. И хоть я и знал достоверно, что герцогиня личным своим покровительством сделала так, что его получил кавалер Бандинелло, не из зависти, которую бы я питал к Бандинелло, но движимый жалостью к бедному злополучному мрамору, — заметьте, что какая бы то ни было вещь, каковая подвержена злой участи, если кто-нибудь ищет ее избавить от какого-либо очевидного зла, то случается, что она впадает во много худшее, как сказанный мрамор в руки Бартоломео Амманнато ³, о каковом будет сказана правда в своем месте, — когда я увидел этот прекраснейший мрамор, я тотчас же взял его высоту и его

толщину во все стороны и, вернувшись во Флоренцию, сделал несколько подходящих моделек. Затем я поехал в Поджо а Кайано, где были герцог и герцогиня, и принц, их сын; и застав их всех за столом, герцог с герцогиней кушали отдельно, так что я начал занимать принца. И когда я позанимал его долгое время, то герцог, который был в комнате тут же по соседству, меня услышал, и с великим благоволением велел меня позвать; и когда я явился перед их светлости, то со многими приветливыми словами герцогиня начала беседовать со мной; за каковой беседой я мало-помалу начал беседовать об этом прекраснейшем мраморе, который я видел, и начал говорить, как их благороднейшую Школу их предки сделали такой преискусной единственно тем, что заставляли состязаться всех искусников в их художествах; и этим-то искусным способом и сделаны чудесный Купол⁴, и прекраснейшие двери Санто Джованни, и столько других прекрасных храмов и статуй, каковые создают венец стольких искусств их городу, каковой от древних донныне никогда не имел равных. Тотчас же герцогиня с досадой мне сказала, что она отлично знает, что я хочу сказать, и сказала, чтобы в ее присутствии я никогда больше не говорил об этом мраморе, потому что я ей делаю этим неприятность. Я сказал: «Так я вам делаю неприятность, когда хочу быть стряпчим ваших светлостей, делая все, что можно, чтобы они были лучше обслужены? Посудите, государыня моя: если ваши высокие светлости согласятся, чтобы каждый сделал по модели Нептуна, то, хотя бы вы и решили, что получит его Бандинелло, это будет причиной тому, что Бандинелло ради чести своей примется с большим старанием делать красивую модель, нежели он то будет делать, зная, что у него нет соперников; и таким образом вы, государи, будете много лучше обслужены, и не отнимете духа у даровитой Школы, и увидите, кто возбуждается к добру, я говорю — к хорошему роду этого чудесного искусства, и покажете, что вы, государи, его любите и понимаете». Герцогиня в великом гневе мне сказала, что я ее извел и что она хочет, чтобы этот мрамор достался Бандинелло, и сказала: «Спроси у герцога, вот и его свет-

лость хочет, чтобы он достался Бандинелло». Когда герцогиня отговорила, герцог, который все время молчал, сказал: «Вот уже двадцать лет, как я велел добыть этот прекрасный мрамор нарочно для Бандинелло, и потому я хочу, чтобы Бандинелло его получил и чтобы он был его». Тотчас же я повернулся к герцогу и сказал: «Государь мой, я прошу вашу высокую светлость, чтобы она сделала мне милость сказать вашей светлости несколько слов в услужение ей». Герцог мне сказал, чтобы я говорил все, что я хочу, и что он меня выслушает. Тогда я сказал: «Знайте, государь мой, что этот мрамор, из которого Бандинелло сделал Геркулеса и Кака, он был добыт для этого удивительного Микеланьоло Буонарроти, каковой сделал модель Самсона с четырьмя фигурами, каковой был бы самой прекрасной работой в мире, а ваш Бандинелло добыл из него две фигуры только, плохо сделанные и все заплатанные; поэтому даровитая Школа до сих пор кричит о великой обиде, которая учинена этому прекрасному мрамору. Мне кажется, что к нему было привешено больше тысячи сонетов, в поношение этой стряпни, и я знаю, что ваша высокая светлость отлично это помнит. И поэтому, доблестный мой государь, если эти люди, которые имели об этом заботу, были настолько неужественны, что отняли этот прекрасный мрамор у Микеланьоло, который был добыт для него, и отдали его Бандинелло, каковой его испортил, как мы видим, о, неужели же вы потерпите, чтобы этот еще гораздо более прекраснейший мрамор, хоть он и Бандинелло, каковой его испортил бы, не дать его другому искусному человеку, который бы вам его устроил? Велите, государь мой, чтобы каждый, кто хочет, сделал модель, а затем пусть все они будут открыты перед Школой, и ваша высокая светлость услышит то, что говорит Школа; и ваша светлость, с этим своим здравым суждением, сумеет выбрать лучшую, и таким образом вы не выбросите ваших денег, а также не отнимете художественного духа у столь чудесной Школы, каковая сейчас единственная в мире; в чем вашей высокой светлости одна лишь слава». Когда герцог преблагосклонно меня выслушал, он вдруг встал из-за стола и,

повернувшись ко мне, сказал: «Ступай, мой Бенвенуто, и сделай модель, и заслужи этот прекрасный мрамор, потому что ты говоришь мне правду, и я это признаю». Герцогиня, грозя мне головой, сердито сказала, ворча не знаю уж что; и я откланялся и возвратился во Флоренцию, потому что мне не терпелось взяться за сказанную модель.

С

Когда герцог прибыл во Флоренцию, то, ничего не дав мне знать, он явился ко мне на дом, где я ему показал две модельки, отличных одна от другой; и хоть он и хвалил мне их обе, он мне сказал, что одна ему нравится больше, чем другая, и чтобы я закончил хорошенько ту, которая ему нравится, и благо мне будет; и так как его светлость видел ту, что сделал Бандинелло, а также и других, то его светлость хвалил гораздо больше мою намного, потому что так мне было сказано многими из его придворных, которые это слышали. Среди прочих достопамятностей, которые надобно весьма отметить, было то, что когда приехал во Флоренцию кардинал ди Санта Фиоре и герцог повез его в Поджо а Кайано, то, проезжая, в дороге, и увидев сказанный мрамор, кардинал весьма его похвалил и затем спросил, кому его светлость его предназначил, чтобы его обработать. Герцог тотчас же сказал: «Моему Бенвенуто, каковой к нему сделал прекраснейшую модель». И это было мне пересказано людьми достоверными; и поэтому я отправился к герцогине и снес ей несколько приятных вещей моего художества, каковым ее высокая светлость была очень рада; затем она меня спросила, над чем я работаю; каковой я сказал: «Государыня моя, я взял себе за удовольствие сделать одну из самых многотрудных работ, которые когда-либо делались на свете; и это — распятие из белейшего мрамора, на кресте из чернейшего мрамора, и величиной оно, как большой живой человек». Тотчас же она меня спросила, что я с ним хочу сделать. Я ей сказал: «Знайте, государыня моя,

что я бы его не отдал тому, кто бы мне за него дал две тысячи золотых дукатов золотом; потому что для такой работы ни один человек никогда еще не брался за такой крайний труд, а также я бы не обязался сделать его для какого бы то ни было государя, из страха, как бы не осрамиться. Я купил себе эти мраморы на свои деньги и держал молодца около двух лет, который мне помогал; и с мраморами, и с железами, на которых оно укреплено, и с жалованьем оно мне стоит более трехсот скудо; так что я не отдал бы его за две тысячи золотых скудо; но если ваша высокая светлость желает мне сделать наидозволенной милость, я ей охотно поднесу его и так; я только прошу вашу высокую светлость, чтобы она была ко мне ни неблагосклонной, ни благосклонной в тех моделях, которые его высокая светлость заказала, чтобы были сделаны к Нептуну для большого мрамора». Она сказала с великим гневом: «Так ты ничуть не ценишь ни моей помощи, ни моей помехи?» — «Наоборот, ценю их, государыня моя; иначе почему я вам предлагаю подарить вам то, что я ценю в две тысячи дукатов? Но я настолько полагаюсь на мой многотрудный и суровый опыт, что я сулю себе снискать победу, хотя бы здесь был этот великий Микеланьоло Буонарроти, от которого, а никак не от других, я научился всему тому, что знаю; и мне было бы гораздо более дорого, чтобы модель сделал он, который столько знает, чем эти другие, которые знают мало; потому что с этим моим столь великим учителем я бы мог снискать много, тогда как с этими другими нечего снискать». Когда я сказал свои слова, она почти рассерженная встала, а я вернулся к своей работе, торопя свою модель, как только я мог. И когда я ее кончил, герцог пришел ее посмотреть, и были с ним два посла, посол герцога феррарского и посол луккской синьории, и она весьма понравилась, и герцог сказал этим господам: «Бенвенуто действительно его заслуживает». Тогда эти сказанные прेमного расхвалили меня оба, и особенно луккский посол, который был лицом образованным и ученым. Я, который отошел немного, чтобы они могли говорить все то, что им думается, услышав, что меня расхваливают,

тотчас же подошел и, повернувшись к герцогу, сказал: «Государь мой, ваша высокая светлость должна бы учинить еще одну замечательную предосторожность: приказать, чтобы, кто хочет, сделал еще одну модель глиняную, величиной как раз, как она выходит из этого мрамора; и таким способом ваша высокая светлость увидит много лучше, кто его заслуживает; и я вам говорю: если ваша светлость отдаст его тому, кто его не заслуживает, она учинит обиду не тому, кто его заслуживает, а учинит великую обиду себе самой, потому что она этим приобретет ущерб и стыд, тогда как сделав наоборот и отдав его тому, кто его заслуживает, во-первых, она приобретет этим превеликую славу, и хорошо истратит свое сокровище, и люди искусства тогда поверят, что она это любит и понимает». Тотчас же как я сказал эти слова, герцог пожал плечами, и когда он двинулся, чтобы уходить, луккский посол сказал герцогу: «Государь, этот ваш Бенвенуто ужасный человек». *Герцог сказал: «Он еще много ужаснее, чем вы говорите, и благо ему, если бы он не был таким ужасным, потому что у него было бы сейчас такое, чего у него нет».* Эти¹ доподлинные слова мне их пересказал этот самый посол, как бы упрекая меня, что я не должен был так делать. На что я сказал, что я желаю добра моему государю, как его любящий верный слуга, и не умею изображать льстеца. По прошествии нескольких недель Бандинелло умер²; и считали, что, кроме его беспутств, это его огорчение, видя, что он теряет мрамор, было тому доброй причиной.

С

Сказанный Бандинелло услышал, что я сделал это распятие, о котором я сказал выше; он тотчас же взялся за кусок мрамора и сделал то снятие с креста, которое можно видеть в церкви делла Нунциата¹. И так как я предназначил мое распятие для Святой Марии Новелла и уже приладил там крюки, чтобы его поместить на них, я только попросил сделать под ногами у моего распятия, в земле, небольшой ящичек,

чтобы войти в него после того, как я умру. Сказанные братья мне сказали, что они не могут предоставить мне это, не спросившись у своих старост; каковым я сказал: «О братья, почему вы не спрашивались сперва у старост, давая место моему прекрасному распятию, когда без их разрешения вы мне дали поместить крюки и все прочее?» И по этой причине я не пожелал больше отдавать церкви Санта Мариа Новелла мои столь крайние труды, хотя потом ко мне и являлись эти старосты и просили меня об этом. Я тотчас же обратился к церкви делла Нунциата, и когда я беседовал о том, чтобы отдать его таким же образом, как я хотел для Санта Мариа Новелла, то эти достойные братья сказанной Нунциаты все дружно мне сказали, чтобы я поместил его у них в церкви и чтобы я устраивал в ней свою гробницу всеми теми способами, как мне думается и нравится. Так как Бандинелло это предчувствовал, то он принялся с великой поспешностью кончать свое снятие с креста и попросил герцогиню, чтобы она дала ему получить ту часовню, которою владели Пацци; каковую получил с трудом; и как только он ее получил, он с большой быстротой поместил туда свою работу; каковая не была еще совсем кончена, как он умер. Герцогиня сказала, что она помогла ему в жизни, и что она будет помогать ему также и в смерти, и что хоть он и умер, чтобы я никогда не вознамеривался получить этот мрамор. Так что Бернардоне маклер сказал мне однажды, встретившись со мною в деревне, что герцогиня отдала мрамор; на что я сказал: «О злополучный мрамор! Правда, что в руках у Бандинелло ему пришлось бы плохо, но в руках у Амманато ему придется в сто раз хуже». Я имел распоряжение от герцога сделать глиняную модель той величины, как она выходила из мрамора, и он велел меня снабдить деревом и глиной, и велел сделать мне небольшую загородку в лодже, где стоит мой Персей, и оплатил мне подручного. Я принялся со всем усердием, с каким я мог, и сделал деревянный костяк по своему доброму правилу, и счастливо подвигал ее к концу, не помышляя о том, чтобы сделать ее из мрамора, потому что я знал, что герцогиня расположилась, чтобы я его

не получил, и потому я об этом не помышлял; но только мне нравилось нести этот труд, вместе с которым я себе сулил, что когда я его кончу, то герцогиня, которая была все же особа умная, буде она потом ее увидит, я себе сулил, что ей будет жаль, что она учинила мрамору и себе самой такую непомерную обиду. И еще делал одну Джованни Фиамминго² в монастыре Санта Кроче, и одну делал Винченцио Данти³, перуджинец, в доме мессер Оттавиано де'Медичи⁴; другую начал сын Москино⁵ в Пизе, а еще другую делал Бартоломео Амманнато в Лодже, потому что мы ее разделили. Когда я ее всю хорошенько набросал и хотел начать кончать голову, по которой я уже по первому разу немного прошелся, то герцог спустился из дворца, и Джорджетто живописец⁶ свел его в мастерскую Амманнато, чтобы показать ему Нептуна, над каковым сказанный Джорджино поработал своей рукой много дней вместе со сказанным Амманнато и со всеми его работниками. Пока герцог его смотрел, мне было сказано, что он им удовлетворяется весьма мало; и хотя сказанный Джорджино хотел его наполнить этой своей болтовней, герцог покачивал головой и, обернувшись к своему мессер Джанстефано, сказал: «Поди и спроси Бенвенуто, насколько ли его гигант подвинут, чтобы он согласился дать мне на него немного взглянуть». Сказанный мессер Джанстефано весьма умело и преблагосклонно передал мне это извещение от имени герцога; и притом сказал мне, что если моя работа мне кажется, что еще не такова, чтобы ее показывать, то чтобы я откровенно это сказал, потому что герцог знает отлично, что у меня было мало помощи в столь большом предприятии. Я сказал, чтобы он пожалуйста приходил, и хотя моя работа мало подвинута, разум его высокой светлости таков, что он отлично рассудит, что из нее может выйти оконченным. Так сказанный вельможа передал это извещение герцогу, каковой пришел охотно; и как только его светлость вошел в мастерскую, то, бросив взгляд на мою работу, он показал, что весьма ею удовлетворен; затем он обошел ее всю кругом, останавливаясь на четырех ее видах, так что не иначе сделал бы человек, который был бы наи-

опытнейшим в искусстве, затем учинил много великих знаков и действий в оказательство того, что ему нравится, и сказал только: «Бенвенуто, тебе остается только придать ему последний лоск». Затем повернулся к тем, кто был с его светлостью, и сказал много хорошего о моей работе, говоря: «Маленькая модель, которую я видел у него в доме, понравилась мне очень, но эта его работа превзошла добротность модели»⁷.

СИ

Как угодно было богу, который все делает к нашему благу, — я говорю о тех, кто его признает и кто в него верит, бог всегда их защищает, — в эти дни мне повстречался некий мошенник из Виккьо, называемый Пьермариа д'Антериголи, а по прозвищу Збиетта; ремесло его пастух, и так как он близкий родственник мессер Гвидо Гвиди¹, врача, а сейчас старшины в Пеший, то я и открыл перед ним уши. Он мне предложил продать мне одну свою мызу на всю мою естественную жизнь. Каковую мызу я ее не хотел смотреть, потому что я имел желание кончить мою модель гиганта Нептуна, а также потому, что не было надобности, чтобы я ее смотрел, потому что он мне ее продавал ради дохода; каковой он мне показал в памятке во столько-то мер зерна, и вина, масла, и овса, и каштанов, и прочего, каковые я подсчитал, что по тем временам сказанное добро стоило много больше ста золотых скудо золотом, а я ему давал шестьсот пятьдесят скудо, считая пошлины. Так что, благо он мне оставил записку своей рукой, что будет всегда, дотеле, доколе я жив, обеспечивать мне сказанные доходы, я и не заботился о том, чтобы съездить посмотреть сказанную мызу; но все-таки я, насколько мог, справился, настолько ли сказанный Збиетта и сер Филиппо, его родной брат, достаточны, чтобы я был спокоен. И от многих различных лиц, которые их знали, мне было сказано, что я могу быть вполне спокоен. Мы призвали сообща сер Пьерфранческо Бертольди, нотариуса при торговом суде; и, первым делом, я дал ему в руки все

то, что сказанный Збиетта хотел мне обеспечить, думая, что сказанная записка должна быть помянута в договоре²; как бы там ни было, сказанный нотариус, который его составлял, слушал про двадцать две грации, о которых ему говорил сказанный Збиетта, и, по-моему, забыл включить в сказанный договор то, что сказанный продавец мне предложил; а я, пока нотариус писал, я работал; и так как он потрудился несколько часов над писанием, то я сделал большой кусок головы у сказанного Нептуна. И вот, окончив сказанный договор, Збиетта начал мне учинять величайшие на свете ласки, и я учинял то же самое ему. Он мне подносил козлят, сыры, каплунов, творог и всякие плоды, так что я начал почти что стыдиться, и за эти сердечности я его перенимал, всякий раз, как он приезжал во Флоренцию, из гостиницы; и много раз он бывал с кем-нибудь из своих родственников, каковые являлись также и они; и он приятным образом начал мне говорить, что это стыд, что я купил мызу и что вот уже прошло столько недель, как я все не решаюсь оставить на три дня немного мои дела на моих работников и съездить ее посмотреть. Он настолько возмог своим улещиванием меня, что я, на свою беду, поехал ее посмотреть; и сказанный Збиетта принял меня в своем доме с такими ласками и с таким почетом, что он не мог бы учинить больших и герцогу; а его жена учиняла мне еще большие ласки, чем он; и таким образом у нас длилось некоторое время, покамест не сделалось все то, что они замыслили сделать, он и его брат сер Филиппо.

СН

Я не упускал торопить мою работу над Нептуном и уже всего его набросал, как я сказал выше, по отличнейшему правилу, какового никогда еще не применял и не знал никто до меня; так что, хоть я и был уверен, что не получу мрамора по причинам, сказанным выше, я думал, что скоро кончу и тотчас же дам его увидеть Площади единственно ради моего удовлетворения. Время было жаркое и приятное, так что, будучи

так ласкаем этими двумя мошенниками, я двинулся однажды в среду, когда было два праздника, со своей дачи в Треспиано и хорошо позавтракал, так что было больше двадцати часов, когда я приехал в Виккьо, и сразу же встретил сер Филиппо у ворот Виккьо, каковой, казалось, будто знает, что я туда еду; такие уж он ласки мне учинил, и когда он меня привел в дом к Збиетте, где была эта его бесстыдная жена, то и она также учинила мне непомерные ласки; каковой я подарил тончайшую соломенную шляпу, так что она сказала, что никогда не видывала красивее; Збиетты тогда там не было. Когда стал близиться вечер, мы поужинали все вместе весьма приятно; затем мне дали пристойную комнату, где я улегся в опрятнейшей постели; и обоим моим слугам им было дано то же самое, по их чину. Утром, когда я встал, мне были учинены такие же ласки. Я пошел посмотреть мою мызу, каковая мне понравилась; и мне было передано столько-то зерна и прочих хлебов; и затем, когда я вернулся в Виккьо, священник сер Филиппо мне сказал: «Бенвенуто, вы не тревожьтесь; хоть вы тут и не нашли все то полностью, что вам было обещано, будьте покойны, что это вам выполнят с избытком, потому что вы связались с честными особами; и знайте, что этому рабочему мы ему дали расчет, потому что он жулик». Этого рабочего звали Мариано Розельи, каковой несколько раз мне сказал: «Присматривайте хорошенько за вашими делами; под конец вы узнаете, кто из нас будет наибольший жулик». Этот мужик, когда он мне говорил эти слова, он улыбался неким скверным образом, поводя головой, как бы говоря: «Погоди, ты еще увидишь». Я себе составил из этого некоторое плохое суждение, но я не воображал себе ничего из того, что со мной случилось. Вернувшись с мызы, каковая отстоит на две мили от Виккьо, в сторону Альп¹, я застал сказанного священника, который с обычными своими ласками меня поджидал; так мы пошли завтракать все вместе; это не был обед, а был хороший завтрак. Когда я потом пошел погулять по Виккьо, а уже начался рынок, то я увидел, что на меня все эти люди из Виккьо смотрят как на нечто непривычное на

вид, и больше всех остальных один честный человек, который живет, уже много лет, в Виккьо, и его жена делает хлеб на продажу. У него там есть, в миле оттуда, некои добрые владения; однако он довольствуется жить так. Этот честный человек обитает в одном моем доме, каковой имеется в Виккьо, который был мне передан со сказанной мызой, каковая именуется мызой у Ручья; и, сказал мне: «Я в вашем доме, и в свое время я вам вручу вашу плату; а если вы захотите ее вперед, я любым образом сделаю, как вы захотите; словом, со мной вы всегда поладите». И пока мы беседовали, я видел, что этот человек уставляется на меня глазами; так что я, вынуждаемый этим, сказал ему: «Скажите-ка мне, Джованни мой дорогой, почему это вы несколько раз смотрели на меня так пристально?» Этот честный человек мне сказал: «Я это вам охотно скажу, если вы, как тот человек, который вы есть, обещаете мне не говорить, что я вам это сказал». Я так ему обещал. Тогда он мне сказал: «Знайте, что этот попишко сер Филиппо, тому не так много дней, как он ходил и хвастал ловкостью своего брата Збиетты, говоря, что тот продал свою мызу одному старику на всю его жизнь, а тот не дотянет и до конца года. Вы связались с мошенниками, так что старайтесь жить как можно дольше и откройте глаза, потому что это вам надобно; я вам ничего больше не скажу».

CIV

Гуляя по рынку, я там встретил Джованбатиста Сантини, и он и я были поведены ужинать сказанным священником; и, как я сказал раньше, было около двадцати часов, и это из-за меня ужинали так рано, потому что я сказал, что вечером хочу вернуться в Трессиано; так что живо приготовили, и жена Збиетты утруждалась, и среди прочих некий Чеккино Бути, их телохранитель. Когда салаты были готовы и начали собираться садиться за стол, сказанный дурной священник, изображая этакую скверную улыбочку, сказал: «Надобно, чтобы вы меня простили, потому что

я не могу ужинать с вами, потому что у меня случилось одно очень важное дело, касающееся Збиетты, моего брата; так как его здесь нет, то надобно, чтобы я его заменил». Мы все его упрашивали, и так и не могли его отговорить; он ушел, а мы начали ужинать. Когда мы поели салатов с неких общих блюд и нам начали подавать вареное мясо, то поднесли по тарелке каждому. Сантино, который сидел напротив меня, сказал: «Вам подают всю посуду, непохожую на остальную; видывали вы когда-нибудь более красивую»? Я ему сказал, что этого я не заметил. Еще он мне сказал, чтобы я позвал к столу жену Збиетты, каковая она и этот Чеккино Бути бегали взад и вперед, занятые необычайно. Наконец я так упрямил эту женщину, что она пришла; каковая жаловалась, говоря мне: «Мои кушанья вам не понравились, поэтому вы и едите так мало». Когда я ей несколько раз похвалил ужин, говоря ей, что я никогда не едал ни с большей охотой, ни лучше, я наконец ей сказал, что ем ровно столько, сколько мне надо. Я бы никогда не мог себе вообразить, почему эта женщина так от меня добивается, чтобы я ел. Когда мы кончили ужинать, было уже больше двадцати одного часа, и я имел желание вернуться вечером же в Треспиано, чтобы мне можно было отправиться на другой день на мою работу в Лоджу; и вот я попрощался со всеми и, поблагодарив женщину, уехал. Не отъехал я и трех миль, как мне показалось, что желудок у меня жжет, и я чувствовал такие мучения, что не мог дожидаться, когда доеду до своей мызы в Треспиано. Как богу было угодно, доехал я ночью, с великим трудом, и тотчас же собрался идти спать. Ночью я так и не мог уснуть, и, кроме того, у меня действовал живот, каковый меня принудил несколько раз сходить в нужник, так что когда рассвело и, чувствуя, что у меня жжет седалище, я хотел посмотреть, в чем тут дело; оказалось, что тряпка вся в крови; мне тотчас же представилось, что я съел что-нибудь ядовитое, и я много и много раз раздумывал сам с собой, что бы это такое могло быть; и мне пришли на память все эти тарелки, и чашки, и чашечки, поданные мне отдельно от других, сказанная

жена Збиетты, и почему этот дурной священник, брат сказанного Збиетты, и столько потрудившись, чтобы сделать мне такую честь, а потом не пожелать остаться ужинать с нами; и еще мне пришло на память, как говорил сказанный священник, что его Збиетта выкинул такую здоровую штуку, продав мызу пожизненно старику, каковой не проживет и года; потому что эти слова мне их пересказал этот честный человек Джованни Сарделла; так что я решил, что они мне дали в чашечке с подливкой, каковая была приготовлена очень хорошо и весьма приятно для еды, толику сулемы, потому что сулема производит все те боли, какие я видел, что у меня есть; но так как я обыкновенно ем мало подливок или приправ с мясом, кроме соли, то поэтому мне привелось съесть два глоточка этой подливки, благо она была так хороша на вкус. И я вспоминал, как много раз сказанная жена Збиетты меня понуждала разными способами, говоря мне, чтобы я ел эту подливку; так что я признал за достовернейшее, что с этой сказанной подливкой они мне дали эту малость сулемы.

CV

Будучи в таком виде недужным, я во что бы то ни стало ходил работать в сказанную Лоджу над моим гигантом, до того, что, несколько дней спустя, великая болезнь одолела меня до того, что приковала меня к постели. Как только герцогиня услышала, что я болен, она велела отдать работу над несчастным мрамором просто Бартоломео Амманнато, каковой прислал мне сказать через мессер чтобы я делал, что хочу, с моей начатой моделью, потому что мрамор получил он. Этот мессер был одним из влюбленных жены сказанного Бартоломео Амманнато; и так как он был самым любимым, как милый и скромный, то этот сказанный Амманнато давал ему все удобства; о каковых можно было бы сказать многое. Однако я не хочу делать, как Бандинелло, его учитель, который своими разговорами заходил, куда не надо; словом, я сказал¹ я всегда это предугадывал; и чтобы он

сказал Бартоломео, чтобы тот потрудился, дабы показать, что он благодарен судьбе за эту великую милость, которую так незаслуженно она ему сделала. Так, недовольный, я лежал в постели и лечился у этого превосходнейшего человека, маэстро Франческо да Монте Варки, врача, и вместе с ним меня лечил хирургией маэстро Раффаелло де'Пилли; потому что эта сулема до того сожгла мне седалищную кишку, что я совсем не держал кала; и так как сказанный маэстро Франческо, увидав, что яд уже сделал все то зло, какое он мог, потому что его не было столько, чтобы он одолел силу крепкой природы, которую он нашел во мне, то поэтому он мне сказал однажды: «Бенвенуто, благодари бога, потому что ты победил; и не беспокойся, потому что я хочу тебя вылечить, чтобы досадить мошенникам, которые хотели сделать тебе зло». Тогда маэстро Раффаеллино сказал: «Это будет одно из самых прекрасных и самых трудных исцелений, которое когда-либо было известно; знай, Бенвенуто, что ты съел кусок сулемы». При этих словах маэстро Франческо набросился на него и сказал: «Может быть, это был какой-нибудь ядовитый червяк». Я сказал, что знаю достоверно, какой это был яд и кто мне его дал; и тут каждый из нас примолк. Они меня усердно лечили больше шести месяцев; и больше года я провел, прежде чем смог пользоваться жизнью.

CVI

В это время герцог поехал совершать въезд в Сиену¹, и Амманнато поехал за несколько месяцев вперед делать триумфальные арки. Один побочный сын, который имелся у Амманнато, остался в Лодже и снял у меня некои полотна, которые были на моей модели Нептуна², потому что, как неоконченную, я ее держал покрытой. Я тотчас же пошел жаловаться синьору дон Франческо, сыну герцога, каковой показывал, что меня любит, и сказал ему, как мне раскрыли мою фигуру, каковая была недовершенной, что, если бы она была окончена, меня бы это не заботило.

На это мне ответил сказанный принц, слегка грозя головой, и сказал: «Бенвенуто, пусть вас не заботит, что она раскрыта, потому что они делают тем хуже для себя; а если вам все-таки угодно, чтобы я велел ее вам покрыть, я тотчас велю ее покрыть»; и с этими словами его высокая светлость добавил много других к моей великой чести в присутствии многих вельмож. Тогда я ему сказал, что я прошу, чтобы его светлость дал мне удобства, дабы я мог его кончить, потому что я хочу поднести его, вместе с маленькой моделькой, его светлости. Он мне ответил, что охотно принимает и то, и другое, и что он велит дать мне все удобства, какие я попрошу. Так я утолился этой малой милостью, которая была для меня причиной спасения моей жизни; потому что, когда на меня нашло столько непомерных зол и огорчений сразу, я видел, что изнемогаю; через эту малую милость я подкрепился некоторой надеждой жизни.

СVII

Так как прошел уже год, как у меня была мыза у Ручья от Збиетты, и, кроме всех неприятностей, сделанных мне и ядами, и прочими их воровствами, видя, что сказанная мыза мне не приносит и половины того, что они мне предлагали, а у меня была, кроме договоров, записка рукою Збиетты, каковой мне обязывался при свидетелях обеспечивать сказанные доходы, то я пошел к господам советникам; потому что в то время еще жил мессер Альфонсо Квистелло, и был фискалом, и заседал с господами советниками, а из советников были Аверардо Серристори и Федерико де'Риччи; я не помню имени всех; еще там был один дельи Алесандри; словом, это был род людей с большим весом. И вот, когда я рассказал мои доводы суду, все в один голос захотели, чтобы сказанный Збиетта вернул мне мои деньги, исключая только Федерико де'Риччи, каковой услужался в то время сказанным Збиеттой; так что все они сетовали мне, что Федерико де'Риччи мешает, чтобы они мне это устроили; и среди прочих Аверардо Серристори со всеми прочими; даром что он

учинял необыкновенный шум, а также и этот дельи Алессандри; так что когда сказанный Федерико настолько затянул дело, что суд кончил занятия, меня встретил сказанный вельможа однажды утром, после того как они вышли на площадь Нунциаты, и, безо всякого как есть почтения, громким голосом сказал: «Федерико де'Риччи настолько возмог, больше чем все мы остальные, что ты оказался зарезан против нашей воли». Я не хочу ничего больше говорить об этом, потому что слишком оскорбился бы тот, что имеет верховную власть правления; словом, я был зарезан нарочно богатым гражданином единственно потому, что он услужался этим пастухом.

CVIII

Так как герцог находился в Ливорно, то я поехал его повидать, единственно чтобы попросить у него увольнения. Чувствуя, что ко мне возвращаются мои силы, и видя, что меня ни к чему не употребляют, мне было жаль учинять столь великую обиду моим занятиям; так что, решившись, я поехал в Ливорно и застал там моего герцога, который оказал мне премилостивый прием. И так как я провел там несколько дней, то я каждый день ездил верхом с его светлостью и имел много досугу говорить все то, что я хотел, потому что герцог выезжал из Ливорно и проезжал четыре мили вдоль моря, где он велел строить небольшую крепостцу; и чтобы не быть докучаему слишком многими лицами, он находил удовольствие в том, чтобы я с ним разговаривал; так что однажды, видя, что мне оказывают некое весьма приметное благоволение, я умышленно завел речь о Збиетте, то есть о Пьермариа д'Антериголи, и сказал: «Государь, я хочу рассказать вашей высокой светлости удивительный случай, из какового ваша светлость узнает причину, которая мне мешает, что я не могу кончить моего глиняного Нептуна, которого я работал в Лодже. Да будет известно вашей высокой светлости, что я купил у Збиетты пожизненно мызу». Словом, я все сказал подробно,

ничуть не пятная правды ложью. И вот, когда я дошел до яда, я сказал, что если я когда-либо был угодным слугой в глазах его высокой светлости, то она должна бы, вместо того, чтобы наказывать Збиетту или тех, кто дал мне яду, дать им что-нибудь хорошее; потому что яда не было столько, чтобы он меня убил; но зато его было ровно столько, чтобы очистить меня от смертоносной липкости, которая у меня была в желудке и во внутренностях; каковой подействовал таким образом, что, ежели в том состоянии, в каком я находился, я мог прожить три или четыре года, то этот род лекарства сделал так, что я думаю, что запасся жизнью лет на двадцать с лишним; и за это, охотнее, чем когда-либо, я еще больше благодарю бога; и поэтому правда то, что я иной раз слышал от некоторых, которые говорят:

Пошли нам бог беду для нашей пользы.

Герцог слушал меня две с лишним мили пути, все время с большим вниманием; и только сказал: «О, скверные личности!» Я заключил на том, что я им обязан, и вступил в другие приятные разговоры. Я улучил подходящий день, и, застав его приветливым на мой лад, я попросил его высокую светлость, чтобы он отпустил меня на волю, дабы мне не выбрасывать вон нескольких лет, когда я еще годен на то, чтобы сделать что-нибудь, а что до того, что мне остается еще получить за моего Персея, то чтобы его высокая светлость мне это отдал, когда ему будет угодно. И при этом разговоре я распространился, со множеством длинных церемоний, в благодарностях его высокой светлости, каковой мне как есть ничего не ответил, и мне даже показалось, что он имеет такой вид, будто недоволен этим. На следующий после этого день мессер Бартоломео Кончино, секретарь герцога, из первых, явился ко мне; и почти с вызовом мне сказал: «Герцог говорит, что если ты хочешь увольнения, то он тебе его даст; но если ты хочешь работать, то он поставит тебя на работу; лишь бы вы могли столько сделать, сколько его светлость даст вам делать!» Я ему ответил, что ничего другого не желаю, как только по-

лучить работу, и особенно от его высокой светлости больше, чем от всех остальных людей на свете; и будь то папа, или императоры, или короли, я с большей охотой послужу его высокой светлости за один сольдо, чем всем другим за дукат. Тогда он мне сказал: «Если таковы твои мысли, то вы уже договорились, без лишних слов; так что возвращайтесь во Флоренцию и будьте покойны, потому что герцог тебя любит». Так я вернулся во Флоренцию.

СIX

Как только я оказался во Флоренции, ко мне явился некий человек, называемый Раффаеллоне Скеджа, парчовый ткач, каковой сказал мне так: «Мой Бенвенуто, я вас хочу помирить с Пьермариа Збиеттой». Каковому я сказал, что нас никто не может помирить, кроме господ советников, и что в этой кучке советников у Збиетты уже не будет Федериги де'Риччи, который за подношение двух жирных козлят, не помышляя ни о боге, ни о своей чести, стал бы поддерживать такую злодейскую битву и чинить столь жестокую обиду святой справедливости. Когда я сказал эти слова, вместе со многими другими, этот Раффаелло все так же ласково стал мне говорить, что гораздо лучше дрозд, если его можно скушать в мире, чем самый жирный каплун, хотя бы иной и был уверен, что его получит, но получит с таким боем; и он стал мне говорить, что обычно тяжбы иной раз волочатся до того долго, что это время я бы много лучше сделал, потратив его на какую-нибудь красивую работу; через каковую я бы стяжал себе гораздо большую честь и гораздо большую пользу. Я, который понимал, что он говорит правду, начал склонять слух к его словам; так что вскорости он нас помирил таким образом, что Збиетта возьмет сказанную мызу у меня внаймы за семьдесят золотых скудо золотом в год, на все время в течение естественной моей жизни. Когда мы стали учинять договор, каковой был составлен сер Джованни, сыном сер Маттео да Фальгано, Збиетта сказал, что тем способом, как мы

говорили, потребуется большая пошлина; а что он не обманет; и поэтому хорошо, если бы мы учиняли этот наем от пяти лет до пяти лет; и что он мне сдержит слово, никогда больше не возобновляя никаких тяжб. И так же мне обещал и этот мошенник, этот его брат священник; и этим сказанным способом на пять лет и был учинен договор¹.

СХ

Желая вступить в другой разговор и оставить на время речь об этом непомерном мошенничестве, я вынужден сперва сказать о последовавшем после пяти лет найма; каковые когда прошли, то эти мошенники, не желая исполнять ни одного из данных мне обещаний, пожелали вернуть мне мою мызу и не желали больше держать ее внаймах. Поэтому я начал жаловаться, а они мне разворачивали договор; так что из-за их бессовестности я не мог себе помочь. Видя это, я им сказал, что герцог и принц флорентийские не потерпят, чтобы в их городе так гнусно зарезывали людей. И вот, эта острастка оказалась такой силы, что они наслали на меня опять этого самого Раффаелло Скеджа, который учинил то первое соглашение; а они говорили, что не желают мне давать за нее семьдесят золотых скудо золотом, как они давали мне прежние пять лет; каковым я отвечал, что меньше я за нее не желаю. Сказанный Раффаелло явился ко мне и сказал мне: «Мой Бенвенуто, вы знаете, что я на вашей стороне; так вот, они все это доверили мне»; и показал мне это написанным их рукой. Я, который не знал, что он их близкий родственник, мне показалось, что все обстоит отлично, и так я ему доверился целиком и полностью. Этот почтенный человек пришел однажды вечером в половине первого ночи, а было это в августе месяце, и всякими своими словами он меня принудил велеть составить договор единственно потому, что он знал, что если бы промедлили до утра, то этот обман, который он хотел со мной учинить, ему бы не удался. И вот

учинили договор¹, что мне должны платить шестьдесят пять скудо монетой в год за наем, в два платежа каждый год, в течение всей моей естественной жизни. И хоть я и отбивался и ни за что не желал сидеть смиренно, он мне показывал написанное моей рукой, каковым подвигал каждого меня осуждать; и он говорил, что все это сделал для моего же блага и что он на моей стороне; и так как ни нотариус, ни остальные не знали, что он им родственник, то все меня осуждали; поэтому я уступил наконец и постараюсь жить, насколько возможно будет дольше. Вслед за этим я сделал другую ошибку в декабре месяце следующего, 1566 года. Купил половину мызы у Колодца у них, то есть у Збиетты, за двести скудо монетой, каковая граничит с этой моей первой у Ручья, условно на три года, и отдал им ее внаймы. Сделал, чтобы сделать хорошо. Слишком понадобилось бы длинно распространяться в писании, желая рассказать великие жестокости, которые они мне учинили; хочу положиться целиком и полностью на бога, который всегда защищал меня против тех, кто хотел сделать мне зло.

СХІ

Когда я совсем кончил мое мраморное распятие, мне показалось, что если поставить его стоймя и поместить приподнятым от земли на несколько локтей, то оно должно иметь много лучший вид, чем если держать его на земле; и хоть оно и имело хороший вид, но когда я его поставил стоймя, оно стало иметь вид гораздо лучший, так что я им удовлетворялся весьма; и так я начал его показывать тем, кто желал его видеть. Как богу было угодно, об этом было сказано герцогу и герцогине; так что когда они приехали из Пизы, то однажды неожиданно обе их высоких светлости со всей придворной знатью пришли ко мне на дом, единственно, чтобы посмотреть сказанное распятие; как-вое до того понравилось, что герцог и герцогиня не переставали воздавать мне бесконечные похвалы; и так

же, следовательно, все эти вельможи и господа, которые тут же присутствовали. И вот, когда я увидел, что они весьма удовлетворились, я этак учтиво начал их благодарить, говоря им, что то, что меня избавили от труда над мрамором Нептуна, и было собственной причиной того, что мне дали выполнить подобную работу, за которую никогда еще никто другой не брался до меня; и хоть я понес величайший труд, какой я когда-либо нес на свете, мне кажется, что я хорошо его потратил, и особенно раз их высокие светлости так мне его хвалят; и так как я не могу думать, что когда-либо найду что-либо, что могло бы быть более достойно их высоких светлостей, то я охотно им его подношу¹, только я их прошу, чтобы прежде, нежели они уйдут, они сообразовали зайти в нижнее жилье моего дома. На эти мои слова, любезно тотчас же встав, они вышли из мастерской и, войдя в дом, увидели мою модельку Нептуна и фонтана, каковую никогда еще раньше, чем тогда, герцогиня не видела. И она до того возмогла в глазах герцогини, что тотчас же она подняла неопикуемый крик изумления; и, повернувшись к герцогу, сказала: «Клянусь жизнью, что я не думала и о десятой доле такой красоты». На эти слова герцог ей несколько раз сказал: «А я вам не говорил?» И так промеж себя к великой моей чести они беседовали о ней долгое время; затем герцогиня подозвала меня к себе и после многих похвал, возданных мне как бы извиняясь, так что в пояснение этих слов она словно показывала, что прощит, она мне затем сказала, что она хочет, чтобы я достал себе мрамор по моему вкусу, и хочет, чтобы я пустил его в работу. На эти благосклонные слова я сказал, что если их высокие светлости дадут мне удобства, то я охотно ради них возьмусь за столь многотрудное предприятие. На это герцог тотчас же ответил и сказал: «Бенвенуто, тебе будут даны все те удобства, какие ты только потребуешь, а кроме того, те, которые я тебе дам от себя, каковые будут большей ценности намного». И с этими приветливыми словами они ушли и оставили меня весьма довольным.

Прошло много недель, а обо мне не говорилось, так что, видя, что делать ничего не собираются, я был почти в отчаянии. В это время королева французская послала мессер Баччо дель Бене к нашему герцогу попросить у него денег взаймы;¹ и герцог благосклонно ей ими услужил, как говорили; и так как мессер Баччо дель Бене и я, мы были весьма близкие друзья, то, опознав друг друга во Флоренции, весьма мы виделись охотно; так что он мне рассказывал про все те великие милости, которые ему оказывал его высокая светлость; и в беседе он меня спросил, какие у меня большие работы на руках. Таким образом, я ему сказал, как все последовало, весь случай с большим Нептуном и фонтаном и великую обиду, которую мне учинила герцогиня. На эти слова он мне сказал от имени королевы, что ее величество имеет превеликое желание окончить гробницу короля Генриха, своего мужа, и что Даниелло да Вольтерра² предпринял сделать большого бронзового коня, и что уже прошло то время, к которому он обещал, и что для сказанной гробницы нужны превеликие украшения; так что если я желаю вернуться во Францию в мой замок, то она велит мне дать все те удобства, какие я только потребую, лишь бы я имел желание служить ей. Я сказал сказанному мессер Баччо, чтобы он выпросил меня у моего герцога; что если на то согласен его высокая светлость, я охотно вернусь во Францию. Мессер Баччо весело сказал: «Мы вернемся вместе». И считал дело сделанным. И вот на следующий день, когда он беседовал с герцогом, зашла речь обо мне, так что он сказал герцогу, что если бы на то была его милость, то королева услужилась бы мной. На это герцог тотчас же ответил и сказал: «Бенвенуто — тот искусник, которого знает мир, но теперь он не желает больше работать». И вступив в другие разговоры, на другой день я пошел к сказанному мессер Баччо, каковой мне пересказал все. Тут я, который не мог больше выдержать, сказал: «О, если после того как его высокая светлость, не давая мне ничего делать, и я сам от себя сделал одну из са-

мых трудных работ, которая когда-либо другим была сделана на свете и стоит мне больше двухсот скудо, которые я истратил от своей бедности; о, что бы я сделал, если бы его высокая светлость поставил меня на работу! Я вам говорю поистине, что мне учинена великая обида». Этот добрый вельможа пересказал герцогу все то, что я возразил. Герцог ему сказал, что он шутил и что он хочет меня для себя; так что меня разбирало несколько раз уехать себе с богом. Королева не хотела об этом больше говорить, чтобы не досаждала герцогу, и так я остался весьма изрядно недоволен.

СХІІІ

В это время герцог уехал, со всем своим двором и со всеми своими сыновьями, за исключением принца, каковой был в Испании; ¹ поехали сиенскими болотами; и этим путем он добрался до Пизы. Схватил отраву этого дурного воздуха раньше остальных кардинал; и вот, спустя несколько дней, на него напала чумная лихорадка, и вскорости она его убила. Это был правый глаз герцога; он был красивый и добрый, него было премного жаль ². Я дал пройти нескольким дням, пока не решил, что слезы высохли; затем я поехал в Пизу ³.



ПРИМЕЧАНИЯ



ПИСЬМО БЕНВЕНУТО ЧЕЛЛИНИ К БЕНЕДЕТТО ВАРКИ

¹ *Бенедетто Варки* (1503—1565) — известный поэт, ученый, историк Флоренции, близкий друг Челлини. В 1559 г. Челлини послал ему часть своей автобиографии, с просьбой выправить слог. Однако Варки предпочел сохранить своеобразие слога Челлини в первоначальном виде, ограничившись исправлением орфографии отдельных слов и тем, что подписал свой сонет «На мнимую и не бывшую смерть Бенвенуто Челлини» (см. кн. 1, гл. 84).

СОНЕТ И ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ СТРОКИ

¹ *...желанный...* — по-итальянски *il benvenuto*. В гл. 3, кн. 1 Челлини рассказывает историю своего имени.

² *В цветке, возросшем в доблестной Тоскане* — т. е. во Флоренции, главном городе Тосканы.

КНИГА ПЕРВАЯ

II

¹ *Джованни Виллани* (1276—1318) — известный летописец Флоренции, автор «Истории Флоренции».

² *...изобильнейшее множество цветов.* — Имеется в виду связь латинского названия Флоренции со словом *flores* — цветы, а также старинного итальянского названия *Fiorenza* —

с соответствующим итальянским словом *fiore*, что тоже значит цветы.

³ ...*она стоит на Арно*. — Намек на предполагаемое первоначальное название города *Fluenzia* (от итальянского слова *fluente* — текучий).

III

¹ *Витрувий* — Марк Витрувий Поллион — римский архитектор, и инженер I в. до н. э., автор «Десяти книг об архитектуре».

² ...*после дня всех святых*... — т. е. 2 ноября 1500 г.; в церковной записи о крещении Челлини значится 3 ноября.

³ ...*в половине пятого*... — По староитальянской системе время исчислялось от захода и до захода солнца. Поэтому при переводе указаний времени на нашу систему необходимо учитывать, к какому месяцу относится рассказ.

IV

¹ *Кватрино* — мелкая монета.

V

¹ *Медичи* — флорентийский род, правивший во Флоренции с 1434 по 1737 г. (с перерывами). Банкирский дом Медичи, один из крупнейших в Европе XV в., вел широкую торговлю с Лондоном, Любеком, Прагой, Новгородом, Египтом, Ираном. Наибольшего экономического могущества Медичи достигли при Козимо Старшем (1389—1464), который, формально сохранив республиканские учреждения, фактически стал полновластным правителем Флоренции. При внуке Козимо, Лоренцо Великолепном (1449—1492; правил с 1469 г.), против тирании Медичи в 1478 г. был организован заговор, возглавляемый семьей Пацци. Заговорщики совершили покушение на Лоренцо и убили его брата Джулиано. Жестоко расправившись с Пацци и их приверженцами, Лоренцо в 1480 г. создал прочную опору медичейской деспотии, учредив фактически несменяемый Совет Семидесяти, подобранный из сторонников Медичи. Годы правления Лоренцо, оказывавшего покровительство поэтам, художникам и ученым-гуманистам (Полициано, Пульчи, Пико делла Мирандола, Марсилио Фичино, Сандро Боттичелли и др.), ознаменовались блестящим расцветом флорентийской культуры и искус-

ства. Однако при Лоренцо уже начинается экономический упадок Флоренции, обусловленный общим экономическим упадком Италии того времени. Связанное с этим усиление тирании Медичи усугубляется при его сыне Пьеро Медичи (1471—1503). В описываемый Челлини период происходила ожесточенная борьба флорентийских республиканцев против тирании Медичи, которых дважды изгоняли из Флоренции (в 1494 и в 1527 гг.). Восстановление их власти оба раза происходило при содействии испанских войск.

² *Локоть* — мера длины (58 сантиметров).

³ *...к старшим цехам...* — Цехи во Флоренции подразделялись на старшие — более древние и почетные — и младшие.

VI

¹ *...и когда Пьеро был изгнан...* — 9 ноября 1494 г. флорентийцы восстали против тирании Медичи и изгнали сыновей Лоренцо — Пьеро, Джованни и Джулиано.

² *Пьеро Содерини* (1450—1513) — был первым и единственным пожизненным гонфалоньером, т. е. главой Флорентийской республики (с 1502 по 1512 г.). Свергнут приверженцами Медичи.

³ *...один из этих старых господ...* — т. е. член совета гонфалоньера, состоявшего из восьми цеховых приоров.

⁴ *...пока не вернулись Медичи.* — Изгнанные из Флоренции, Джованни и Джулиано де Медичи в 1512 г. вернулись во Флоренцию и восстановили свою власть с помощью войск испанского короля Фердинанда Католика. Брат их Пьеро утонул в 1503 году.

⁵ *...кардинал, который стал потом папой Львом...* — Джованни де Медичи. С 1513 по 1521 г. — папа Лев X.

⁶ *...с него были убраны шары...* — В гербе Медичи шесть червлёных шаров символизировали аптекарские пилюли, напоминая о происхождении их рода от медиков.

VII

¹ *Бандинелло* — Баччо (или Бартоломео) Бандинелли (1488—1560), флорентийский скульптор и архитектор, работавший при дворе Медичи. Враг и соперник Челлини.

² *Микеляньоло* — Микеляньоло Брандини (1459—1528) — отец Бандинелли. По мнению Вазари (см. прим. 3, гл. 86, кн. 1) — лучший ювелир Флоренции.

VIII

¹ *Джованнино де'Медичи* — Джованни де Медичи (1498—1526), прозванный Непобедимым, но более известный под именем Джованни «delle Bande Nere» (т. е. «Черных Отрядов»). Кондотьер, предводитель известных в Италии «черных отрядов». Служил папе Льву X, флорентийцам, миланцам и французскому королю Франциску I.

² ...около 22 часов... — См. прим. 3, гл. 3, кн. 1.

³ *Совет Восьми* — флорентийский суд, в компетенцию которого входила охрана порядка в городе.

IX

¹ *Папа Климент* — Джулио де Медичи, побочный сын Джулиано Медичи, убитого в 1478 г. во время заговора Пацци. С 1523 по 1534 г. — папа Климент VII. Играет значительную роль в повествовании Челлини, который в годы его правления жил в Риме, был мастером его монетного двора и выполнял для него много работ.

X

¹ *Рыбий камень*. — Так назывался рынок на набережной реки Арно в Пизе, где торговали морской рыбой.

XI

¹ *Кампо Санто* — знаменитое кладбище в Пизе, где сохранились работы Чимабуэ, Джотто и других мастеров.

XII

¹ *Пьеро Торриджани* (1472—1522) — флорентийский скульптор, изгнанный из Флоренции за то, что нанес увечье Микеланджело Буонарроти (этот эпизод описан в гл. 13, кн. 1). Работал в Риме, затем, после нескольких лет военной службы, вернулся к ваянию и был приглашен в Англию; там по заказу Генриха VIII выполнил монумент Генриха VII и ряд других работ. Закончил свою бурную жизнь в Испании, где, возмущенный тем, что ему заплатили меньше обещанного, в гневе разбил

изваянную им статую мадонны, за что был обвинен в кощунстве и погиб в тюрьме, уморив себя голодом.

² ...они были школой всему свету. — Речь идет о знаменитых картинах, которые Микеланджело и Леонардо да Винчи выполнили по поручению Пьеро Содерини для зала Совета во дворце Синьории. Картон Микеланджело изображал битву при Кашине 1364 г., Леонардо да Винчи избрал сюжетом победу флорентийцев над миланцами при Ангиари в 1440 г. Работа молодого Микеланджело вызвала всеобщее восхищение. Как сообщает Вазари, по ней учились Рафаэль, Гирландайо, Бандинелли, Андреа дель Сарто, Якопо Сансовино, Россо и др. мастера; изучать и копировать оба картона стало обычаем. Ни одна из этих работ не уцелела. Картон Микеланджело известен по его наброскам и копиям старых мастеров, картон Леонардо — по рисунку Рубенса, хранящемуся в Лувре.

³ *Капелла папы Юлия* — т. е. Сикстинская капелла в Ватикане.

XIII

¹ ...в церковь дель Кармине, в капеллу Мазаччо... — Церковь Санта Мариа дель Кармине во Флоренции с фресками Мазаччо (1401—1428) — один из важнейших памятников искусства флорентийских художников XV в. Здесь учились Боттичелли, Леонардо, Рафаэль и др. художники.

² ...сын Филиппо и внук Фра Филиппо... — Фра Филиппо Липпи (1406—1469), один из известнейших флорентийских художников XV в. Был кармелитским монахом (фра — сокращение от frater — брат, монах). Учитель Боттичелли и др. художников. Его сын, Филиппино Липпи (1457—1504) — флорентийский художник, ученик Боттичелли.

³ ...некий Джованбатиста, по прозвищу Тассо... — Джованбатиста Тассо (1500—1555) — резчик по дереву и архитектор, большой друг Челлини, строитель Нового рынка во Флоренции.

XIV

¹ Это был ларец, копия с порфиروهого, который перед дверьми Ротонды. — Ротонда — народное название римского Пантеона. Перед Пантеоном стоял порфиновый саркофаг, впоследствии перенесенный в церковь Сан Джованни ин Латерано,

XVI

¹ *Принцивале дела Стуфа* — приверженец Медичи. В 1510 г. организовал заговор против гонфалоньера Содерини.

XVII

¹ ...несколько замотанных куколей... — Странники Савонаролы (см. ниже прим. 2) загибали кверху и обматывали вокруг головы концы своих капюшонов.

² *Фра Джироламо* — Фра Джироламо Савонарола (1452—1498), монах-доминиканец, знаменитый проповедник и религиозно-политический реформатор. В его страстных проповедях, направленных против папы и католической церкви, отразились настроения народных масс Италии. В 1494 г. возглавил восстание флорентийских республиканцев против Медичи и, став фактическим правителем Флоренции, провел ряд демократических реформ, несколько облегчавших положение бедноты. Усилиями папской партии в 1498 г. Савонарола был свергнут, предан суду как еретик и сожжен.

XVIII

¹ *Санта Мариа Новелла* — церковь во Флоренции.

² ...один из этих бешеных... — Так называли в то время последователей Савонаролы.

³ ...родной брат мессер Бенедетто да Монте Варки. — См. прим. 1 к письму Бенвенуто Челлини к Бенедетто Варки.

XIX

¹ ...каковой был папа Климент. — См. прим. 1, гл. 9, кн. 1.

² ...по имени Джанфранческо и по прозвищу Фатторе... — Джован-Франческо Пенни, по прозвищу Фатторе (1496—1536) — живописец, один из учеников Рафаэля, помогал ему в росписи Ватикана и виллы Фарнезина.

³ ...в Капеллу Микеланьоло... — т. е. в Сикстинскую капеллу.

⁴ *Агостино Киджи* — негодянт, промышленник и папский банкир, один из богатейших людей Италии того времени, друг и покровитель Рафаэля и др. художников. В его дворце (ныне

называемом виллой Фарнезина) Рафаэль написал свою «Галатею», а также выполнил картоны и расписал с помощью своих учеников фрески на сюжет Амура и Психеи.

XXI

¹ ...каковых было двадцать пять скудо в джулио... — Джулио — серебряная монета; десять джулио составляли скудо.

XXIII

¹ ...никогда Фаустина не была так красива... — Намек на жену римского императора Марка Аврелия.

² ...у нашего герцога... — т. е. у Козимо Медичи (1519—1574). Герцог Флоренции с 1537 г. Подробней о нем см. прим. 3, гл. 76, кн. 1.

³ ...на папском Феррагосто... — Речь идет о большом ежегодном празднике в Риме, происходившем 1 августа.

⁴ ...камеральных скудо... — т. е. денег из папской казны (Camera Apostolica).

XXV

¹ Кардинал Чибо — Инноченцио Чибо Маласпина, архиепископ Генуи, богатый прелат, покровитель литературы и искусств.

² Кардинал Корнaro — Марко Корнaro, епископ падуанский и верронский, с 1492 г. кардинал.

³ Ридольфи — Никколо Ридольфи, флорентиец, кардинал, обладатель богатейшей коллекции книг и произведений искусств.

⁴ Сальвиати — Джованни Сальвиати (ум. в 1553 г.), сын упоминаемого в гл. 6, кн. 1 Якопо Сальвиати, племянник папы Льва X (как и Чибо и Ридольфи), кардинал с 1517 г. Неоднократно выполнял при папском дворе сложные дипломатические поручения. Челлини часто жалуется на него в своей автобиографии, так как Сальвиати не всегда бывал снисходителен к его своевольному нраву.

⁵ ...на медали этой была изваяна Леда со своим лебедем... — Дальнейшая судьба этой работы неясна. Плон и некоторые другие исследователи Челлини склонны отождествлять «Леду» с венской реставрированной античной камеей. Однако это предположение остается спорным.

XXVI

¹ ...*день нашего святого Иоанна*... — 24 июня, праздник Иоанна Крестителя, покровителя Флоренции.

² ...*Россо, живописец*... — Джованбатиста Россо (1494—1540), флорентийский художник. В 1534 г. по приглашению Франциска I переехал во Францию, где получил известность под именем Ру (*maître Roux*). В 1541 г. за клевету был посажен в тюрьму и там отравился.

³ *Риенцо да Чери* — капитан кондотьеров. Служил Венеции, папе, королю Франции. В гл. 34, кн. 1 Челлини упоминает его среди защитников Рима.

⁴ *Лаутицио* — Лаутицио Ротелли, золотых дел мастер.

⁵ *Мессер Карадоссо* — прозвище Амброджо Фаппа (ум. в 1527 г.), золотых дел мастера, выдающегося чеканщика и лепщика. Сохранились его медали, сделанные для Юлия II и Льва X, и лепные украшения в церкви Сан Сатино в Милане. Вазари высоко оценивает его работы.

⁶ ...*«паче»*... — маленькие пластинки с изображением святых. В католической церкви верующие прикладываются к ним перед причастием. Одно «паче» работы Карадоссо сохранилось в Милане в церкви Сан Сатино.

⁷ *Америго* — Америго Америги (1420—1491), золотых дел мастер. Челлини отзываясь о нем с похвалой в своем «Трактате о ювелирном искусстве».

XXVII

¹ ...*объявилась моровая язва*... — В 1524 г. в Риме эпидемия чумы длилась с февраля по июнь.

² *Празем* — мелкий камень типа агата, темно-зеленого цвета. Используется для поделочных работ.

³ ...*избирательный боб*. — Имеются в виду сухие бобы белого и черного цвета, которые служили для голосования.

XXVIII

¹ *Мазетро Якомо да Карпи* — Джакомо Беренгарио да Карпи (ум. в 1530 г.), знаменитый врач-хирург, автор работ по медицине. Один из первых использовал ртуть при лечении венерических болезней. Был профессором хирургии в Болонье. По-

следние годы жизни провел в Ферраре при дворе Альфонсо I д'Эсте (см. ниже прим. 3), которому завещал все свое состояние. Челлини неправ, обвиняя его в шарлатанстве.

² *...очень хорошо мне за них заплатил...* — В описании этого эпизода Челлини противоречит сам себе: в гл. 8, кн. 2 он сообщает, что Якомо да Карпи «очень плохо» заплатил за сделанные для него вазы.

³ *Герцог феррарский* — Альфонсо I д'Эсте (1476—1534). Его покровительством пользовались многие ученые и поэты, в том числе Ариосто.

⁴ *...показал мне их глиняные слепки...* — См. рассказ об этом эпизоде в гл. 8, кн. 2.

XXIX

¹ *...написав ему ласково, как я сам это делал, насколько позволял обиход этого бешеного времени.* — Существует другая интерпретация этих слов: «...написав ему ласково, что и я тоже поступил согласно обычаю, который завело это бешеное время».

² *Россо.* — См. прим. 2, гл. 26, кн. 1.

³ *Мавританская фуста* — небольшое судно.

XXX

¹ *Из этого родилось содружество живописцев, ваятелей, золотых дел мастеров...* — Возникновение кружка стало возможным лишь в годы папства Климента VII (с ноября 1523 г.), так как при его предшественнике Адриане VI (1522—1523) художники были изгнаны из Рима.

² *Микеланьоло* — Микеланьоло ди Бернардино (или ди Сиенна) (1490—1540) — скульптор. С помощью Триболо (см. прим. 1, гл. 76, кн. 1) создал в Риме монумент папы Адриана VI.

³ *Джулио Романо* — или Джулио Пиппи (1492 или 1499—1546) — известный живописец и архитектор, испытавший сильное влияние римской школы. Любимый ученик Рафаэля; помогал ему в строительстве собора Святого Петра в Риме, в росписи Ватикана и виллы Фарнезина. Джулио Романо расписал фресками зал Константина в Ватикане, построил и отделал Палаццо дель Те в Мантуе.

⁴ *Джан Франческо.* — См. прим. 2, гл. 19, кн. 1.

⁵ *Бакьякка* — Франческо Верди, по прозвищу Бакьякка (1494—1557), живописец, ученик Перуджино, создатель гротесков и миниатюр.

XXXI

¹ *...гробницу умершего папы Адриана*. — Гробница папы Адриана VI, о которой идет речь, находится в церкви Санта Мариа дель Анима во Флоренции.

² *Маркиз Мантуанский* — Федерико II Гонзага (правил с 1519 по 1540 г.). Джулио Романо был приглашен к нему на службу в 1524 г.

³ *Часть их...* — т. е. звериных образов.

XXXII

¹ *Луиджи Пульчи* — внук известного флорентийского поэта Луиджи Пульчи (1432—1484), автора героикомической поэмы «Морганте».

² *Епископ гуркский* — Джироламо Бальбо, епископ в городе Гурке (Каринтия); ученый и поэт.

XXXIII

¹ *Прати* — открытая местность к северу от замка Святого Ангела.

² *Банко* — название торговой улицы в Риме.

³ *«Клянись господним...»* — в рукописи слово зачеркнуто.

XXXIV

¹ *Уже весь мир был под оружием*. — С конца XV в. начинаются вторжения иноземных войск в Италию, ослабевшую экономически и раздираемую междоусобными войнами. Между Францией и Испанией началось военное соперничество из-за итальянских земель. Папа и итальянские государи старались использовать эту борьбу в своих интересах, а в городах вспыхивали восстания против местных тиранов. В 1525 г., нанеся войскам французского короля Франциска I тяжелое поражение при Павии, войска императора Карла V (он же король испан-

ский) заняли Милан и двинулись в глубь страны. Папа Климент VII вел весьма неудачную политику, пытаясь лавировать между Франциском I и Карлом V. В мае 1526 г. он создал против императора так называемую Коньякскую лигу (папа, Франция, Англия, Швейцария, Венеция). 15 марта 1527 г. между папой и императором был заключен мирный договор, по которому папа обязался распустить лигу, а император — отвести войска из Италии. Однако стремившиеся к добыче императорские солдаты отказались подчиниться условиям договора, и 5 мая около сорока тысяч испанцев и немцев во главе с бывшим коннетаблем Франции Карлом Бурбоном (с 1523 г. воевал на стороне Карла V), подступили к Риму. В распоряжении папы было менее трех тысяч воинов. Отряды Бурбона взяли и варварски разграбили Рим. Сам Карл Бурбон был убит 6 мая, в момент, когда вел солдат на штурм городских стен.

² *Джованни де'Медичи*. — См. прим. 1, гл. 8, кн. 1.

³ *...и когда таковые пришли...* — Отряды Джованни де Медичи были призваны Климентом VII для борьбы с Неаполитанским королевством в октябре 1526 г., пробыли в Риме шесть месяцев и, согласно условиям мирного договора с Карлом V, были распущены в марте 1527 г.

⁴ *...когда колонницы приходили в Рим...* — Отряды сторонника Карла V кардинала Помпео Колонна занимали Рим и грабили Ватикан с 20 по 23 сентября 1527 г. Колонна заставил папу, осажденного в замке Святого Ангела, подписать выгодное для императора перемирие, которое папа вскоре нарушил.

⁵ *Кампо Санто* — немецкое кладбище близ Ватикана.

⁶ *...до ворот замка...* — т. е. замка Святого Ангела, на правом берегу Тибра.

⁷ *Синьор Ренцо да Чери*. — См. прим. 3, гл. 26, кн. 1.

⁸ *Синьор Орацио Бальони* — кондотьер, выходец из знатного перуджийского рода. За нарушение мира в Перудже, где добиваясь власти, он убил нескольких своих родственников, был заключен папой в замок Святого Ангела, но при появлении у стен Рима войск Бурбона был освобожден и поставлен во главе защитников замка и городских стен.

⁹ *...так как я принадлежал к людям замка...* — в качестве музыканта при папском дворе.

¹⁰ *Дворец Сан Пьеро* — Ватиканский дворец.

¹¹ *...«у Ангела»...* — т. е. около статуи ангела на верхней площадке замка.

XXXV

¹ *...папа Климент послал просить помощи у герцога урбинского...* — Франческо Мариа делла Ровере (1491—1538), герцог урбинский, племянник Юлия II, был начальником его церковных войск. Потом служил венецианцам. Мотивы его поведения в описываемом Челлини эпизоде неясны.

XXXVI

¹ *...некоторые из этих кардиналов, которые были в замке...* — В замке Святого Ангела было заключено тринадцать кардиналов.

² *Кардинал Равенна* — Бенедетто Аккольти (1497—1519). С 1524 г. архиепископ Равенны, секретарь Климента VII. Знарок литературы, высоко ценимый Бембо и Ариосто.

³ *Кардинал деГадди* — Никколо Гадди (ум. в 1552 г.), флорентиец. Ученый и государственный деятель. Позднее, после смерти Алессандро Медичи, безуспешно пытался восстановить республику во Флоренции.

⁴ *Кардинал Фарнезе* — Алессандро Фарнезе, впоследствии преемник Климента VII, папа Павел III (1534—1549), причинивший Челлини много страданий.

⁵ *...мессер Якопо — причина разгрома Рима...* — В марте 1527 г. под влиянием Якопо Сальвиати папа распустил отряды Джованни Медичи.

XXXVII

¹ *Джан ди Урбино* — Хуан д'Урбино, испанский капитан, выдвинувшийся во время войны Карла V против Франциска I. В 1527 г. был генерал-лейтенантом в осаждавшей Рим армии принца Оранского (см. прим. 2, гл. 38, кн. 1). По свидетельству Варки, отличался большой жестокостью.

XXXVIII

¹ *Филиппо Строцци* (1488—1538) — знатный флорентиец, женатый на дочери Пьеро Медичи. После того как Алессандро стал герцогом, Строцци присоединился к сторонникам республики, изгнанным из Флоренции. В 1537 г. войска изгнанников-

республиканцев вторглись в Тоскану с целью свергнуть только что избранного герцога Козимо и потерпели жестокое поражение в битве при Монтемурло (2 августа 1538). Филиппо Строщи попал в руки Козимо и покончил жизнь самоубийством в тюрьме, оставив записку: «*Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor*» («Да восстанет из наших костей некий мститель за нас») (*лат.*).

² *Принц Оранский* — Филиберт Шалонский, принц Оранский (1500—1530), перешел на сторону Карла V, изменив Франциску I. После гибели Карла Бурбона принял командование отрядами, захватившими Рим. В 1530 г. командовал войском, осаждавшим восставшую Флоренцию (см. прим. 2, гл. 41, кн. 1) и погиб при осаде.

³ *Кардинал Орсино* — Франчотто Орсини, из знатного римского рода, воспитывался в доме своего родственника Лоренцо Медичи. С 1517 г. — кардинал. Подписав капитуляцию 6 июня 1527 г., Климент VII выдал Карлу V заложников, которые бежали, запуганные шантажом императорских солдат. На их место папа послал пятерых кардиналов, в том числе Орсини. Умер в 1553 г.

XXXIX

¹ *Спустя несколько дней было заключено соглашение.* — 6 июня 1527 г. папа подписал капитуляцию. В ноябре 1527 г. был заключен мирный договор, по которому папа отдавал лучшие города Папской области и обязался уплатить выкуп в четыреста тысяч дукатов. Однако собрать такую сумму ему не удалось, хотя он, как рассказывает Челлини в гл. 38, кн. 1, велел переплавить для этого все свое золото. Климент VII в течение пяти месяцев оставался пленником в замке Святого Ангела и бежал оттуда 9 декабря, переодевшись слугой.

² *...выкупить изгнание, какое у меня было из Флоренции.* — Историю изгнания Челлини см. в гл. 18, кн. 1.

XL

¹ *...у герцога сказанной Мантуи.* — Федерико II Гонзага (см. прим. 2, гл. 31, кн. 1).

² *Мессер Юлио Романо.* — См. прим. 3, гл. 30, кн. 1.

³ *...в месте, называемом Те.* — См. прим. 3, гл. 30, кн. 1.

⁴ *Лонгин* — по христианскому преданию, римский центурион, который возглавлял стражу во время казни Иисуса

Христа. Уверовав в него после «воскресения», стал христианским проповедником и мученически погиб в Каппадокии.

⁵ *Когда эта модель была закончена...* — Ковчега, полностью соответствующего этому описанию, не существует, но сохранился рисунок и бронзовая копия ковчега для крови Христовой, хранившегося в Мантуе в церкви Сант'Андреа и увезенного оттуда в 1848 г. австрийскими солдатами. Ковчег датирован 1529 г. и помечен буквами В. С. (латинские инициалы Бенвенуто Челлини). Но фигуры Христа, описанной у Челлини, на нем нет. Возможно, ковчег был лишь начат Челлини, а закончен кем-нибудь другим.

⁶ *...я представился его брату, кардиналу...* — Эрколе Гонзага (1505—1563), епископ Мантуи, кардинал с 1527 г. После смерти Федерико II Гонзага он в течение шестнадцати лет был регентом Мантуи и оказывал покровительство ученым, художникам и поэтам.

⁷ *Когда я кончил мою печать...* — В 6-й главе «Трактата о ювелирном искусстве» Челлини описывает эту печать, на которой было выгравировано усупение девы Марии и двенадцати апостолов. Два оттиска этой печати сохранились в архиве мантуанской епископской курии.

⁸ *Синьор Джованни* — Джованни де Медичи (см. прим. 1, гл. 8, кн. 1).

⁹ *...умерли от чумы...* — С мая по ноябрь 1527 г. в Мантуе умерло от чумы сорок тысяч человек.

¹⁰ *Липерата* — искаженное имя Репарата.

¹¹ *Джованни Ригольи*. — См. гл. 29, кн. 1.

XLI

¹ *...Пьеро, сын Джованни Ланди...* — О нем см. в гл. 18, кн. 1.

² *...Медичи были изгнаны из Флоренции...* — 17 мая 1527 г., когда папа был осажден в замке Святого Ангела, флорентийцы подняли восстание и изгнали малолетних Ипполито (1511—1535) и Алессандро (1510—1537) Медичи вместе с управлявшим вместо них ставленником папы кардиналом Ассерини. В городе было восстановлено республиканское управление, создан Великий Совет, и Никколо Сфорца избран гонфалоньером. В 1529 г. после подписания мира в Камбре между Франциском I и Карлом V последний стал королем Италии, и 24 октября 1529 г.

объединенные войска папы и Карла V осадили Флоренцию. После десятимесячного мужественного сопротивления Флоренция была взята и Алессандро Медичи поставлен во главе республики. Через два года он уничтожил республиканские учреждения и присвоил себе титул герцога. Его правление носило характер жестокой тирании, изобиловало преступлениями и необузданным развратом. Ипполито де Медичи, кардинал с 1529 г., живя в Риме, возглавил там партию флорентийских изгнанников-республиканцев. В 1535 г. он был отравлен подосланными герцогом Алессандро убийцами. Сам герцог был убит одним из своих приближенных, Лорензаччо (см. прим. 2, гл. 80, кн. 1).

³ *Джулиано Буджардини* (1475—1554) — соученик и друг Микеланджело, мастер копирования. Его работы сохранились в Болонье и Флоренции.

⁴ «*Summa tulisse juvat*» — «Высшее радостно нести» (лат.).

⁵ *Мессер Алуиджи Аламани* — Луиджи Аламани (1495—1556), родом флорентиец, поэт, сторонник республики. В 1522 г. участвовал в заговоре против кардинала Джулио Медичи, будущего папы Климента VII, после чего бежал во Францию.

XLII

¹ ...и тот приготовился к обороне... — См. прим. 2, гл. 41, кн. 1.

² ...с этими сумасбродными бешеными. — См. прим. 2, гл. 18, кн. 1.

XLIII

¹ *Архиепископ капуанский* — фра Никкола Шомберг (1470—1537), ученый доминиканец, архиепископ Капуи с 1522 г., позже — кардинал. Приближенный Климента VII и Павла III.

XLV

¹ «*Ecce Homo*» — «Се человек» (лат.).

² «*Linus spiritus et una fides erat in eis*» — «Единый дух и единая вера были в них» (лат.).

³ ...эту красивую монету... — Челлини сделал тогда для Климента VII два дублона. На лицевой стороне первого из них был изображен Климент VII, а на обороте — обнаженный Христос со

связанными руками. Папа и император, поддерживающие крест, были изображены на лицевой стороне второго дублона, а на обороте — апостолы Петр и Павел. Образчик первой монеты сохранился в нумизматическом кабинете в Турине, образчик второй — в Милане.

⁴ *...Бандинелло, ваятель, каковой не был еще сделан кавалером...* — См. прим. 1, гл. 7, кн. 1. В 1530 г. произведен Карлом V в кавалеры ордена св. Якова.

⁵ *...я ушел к себе работать.* — 16 апреля 1529 г. Челлини был назначен на должность чеканного мастера монетного двора.

XLVI

¹ *Мессер Антонио Аллегретти* — флорентийский поэт, автор двух сонетов в честь «Персея» Челлини.

² *Мессер Аннибаль Каро* — Аннибале Каро (1507—1566), известный в свое время поэт и прозаик, переводчик «Энеиды» Вергилия.

³ *...мессер Бастиано, венецианец, превосходнейший живописец...* — Себастиано Лучани, более известный под именем дель Пьомбо (1485—1547), известный живописец, ученик Беллини, а затем Джорджоне, один из самых одаренных последователей Рафаэля и Микеланджело. Прозван «дель Пьомбо», так как служил в канцелярии, привешивавшей печати к папским буллам и носившей название Пьомбо (по-итал. свинец) (см. гл. 56, кн. 1).

⁴ *«Quare dubitasti?»* — «Зачем ты усомнился?» (*лат.*). Образчики этой монеты хранятся во Французском нумизматическом кабинете.

XLVII

¹ *...на службе герцога Лессандро...* — т. е. Алессандро де Медичи (см. прим. 2, гл. 41, кн. 1).

² *...из школы этого величайшего синьора Джованни де'Медичи...* — См. прим. 1, гл. 8, кн. 1.

³ *...барджелла...* — Барджелло — начальник полиции в итальянских городах.

XLIX

¹ *Торре ди Нона* — старинная тюрьма в Риме.

² *...в церкви флорентинцев...* — т. е. в церкви Сан Джованни деи Фиорентини.

L

¹ «Франциску Челлини, флорентинцу, который в нежные годы у герцога Иоанна Медичи, одержав много побед и быв знаменосцем, дал несомненное доказательство того, сколь великой храбрости и совета он стал бы мужем, если бы, злополучным выстрелом пронзенный, на пятом пятилетии жизни не пал, брат Бенвенуто положил. Скончался мая 27 дня 1529» (*лат.*).

Возраст Джован Франческо Челлини указан ошибочно. В действительности он умер двадцати семи лет.

² *...челлиниевский герб.* — Описанная здесь Челлини плита не сохранилась. Но в Национальной библиотеке во Флоренции есть рисунок герба, выполненный и надписанный рукой Челлини.

LIII

¹ *Гуртильщик* — мастеровой монетного двора (от слова «гуртить», т. с. набивать на монете ребро).

LIV

¹ *...Чезери Макерони, фальшивомонетчика, повесили...* — Следствие по этому делу велось с 11 апреля по 2 мая 1532 г. Чезери Макероне был подвергнут пыткам и признал свою вину.

LV

¹ *...превеликое наводнение, каковое затопило водой весь Рим.* — Наводнение 8 и 9 октября 1530 г., унесшее много жизней.

² *Бастуано.* — См. прим. 3, гл. 46, кн. 1.

³ *...ее признали самой лучшей работой...* — Вазари с похвалой отзывался об этой работе Челлини, которая хранилась среди папских сокровищ в замке Святого Ангела, а впоследствии, при уплате контрибуции Бонапарту, была переплавлена в золото.

⁴ *Так и сделали.* — Челлини был назначен булавоносцем 14 апреля 1531 г. и отказался от этой должности в 1535 г. в пользу венецианца Пьетро Корнаро.

LVI

¹ *Браманте* (1444—1514) — Донато Лаццари, прозванный Браманте, знаменитый архитектор эпохи Возрождения. Выполнил ряд работ в Риме и Милане. Среди них лучшие: часовня Темпьетто, двор Санта Мария делла Паче, Палаццо Корнето и верхний этаж и дворик Палаццо делла Канцеллерия в Риме, церковь Сан Сатино в Милане.

² ...чтобы отправиться в Болонью... — 18 ноября 1532 г. Климент VII отправился в Болонью для встречи с Карлом V.

³ ...кончу, если он мне оставит денег. — Челлини не кончил эту чашу я впоследствии хотел использовать фигуры Веры, Надежды и Любви для скульптурной группы «Распятие». Неоконченная чаша была много лет спустя куплена Козимо I, доделана Никколо Сантини и в 1569 г. подарена папе Пио V. Чаша эта не сохранилась.

LVII

¹ *Кардинал Сальвиати*. — См. прим. 4, гл. 25, кн. 1.

² «...мешанина с луком...» — В подлиннике «cipollata» — кушанье из лука и тыквы.

LVIII

¹ ...я для тебя буду Бенвенуто. — См. прим. 1 к сонету и вступительным строкам.

LIX

¹ ...решившись принять дерево... — т. е. лекарство из гваякового дерева, воспетого некоторыми гуманистами Возрождения (напр., Ульрихом фон Гуттенем).

LX

¹ *Желая подарить его королю Франциску...* — Папа Климент VII собирался встретиться с Франциском I в Марселе, где должна была состояться свадьба его внучатной племянницы Катерины де Медичи с сыном Франциска I, будущим королем Франции Генрихом II.

LXI

¹ ...*достигаю тридцатилетнего возраста моей жизни...* — Возраст указан неточно, т. к. эта сцена происходит в конце декабря 1533 г. или в начале января 1534 г., т. е. когда Челлини было уже тридцать три года.

LXII

¹ *Corpus Domini* — тело господне (лат.).

LXIII

¹ *Баччино делла Кроче*. — См. гл. 47, кн. 1.

LXIV

¹ *Кулизей* — т. е. Колизей.

² *Пентакул* — магический талисман в форме пятиугольника.

³ ...*явилось несколько легионов...* — т. е. несколько легионов бесов.

⁴ *Цафетика* — асса-фетида или камедь (застывший сок), добываемая из корней ферулы; раньше применялась в медицине.

LXV

¹ *Джованни из Капель Болоньезе*. — Джованни Бернарди (1495—1555); знаменит своими камнями и резьбой на кристалле и стали; работал для герцога феррарского, для кардиналов Фарнезе, Медичи и Сальвиати, для Климента VII и Карла V. Автор многих замечательных изделий; в том числе известной медали с портретом Климента VII с одной стороны и с изображением Иосифа, открывающегося своим братьям, на обороте. Был булавоносцем папы и заменил Челлини на монетном дворе.

LXVI

¹ *Фиджи* — очевидно, описка, вместо Киджи.

LXVII

¹ ...*у кардинала де'Медичи...* — Речь идет об Ипполито де Медичи (см. прим. 2, гл. 41, кн. 1).

² ...*гробницу Пьера де'Медичи...* — т. е. изгнанного из Флоренции сына Лоренцо Великолепного.

³ *Монте Казини* — Монте Кассино.

⁴ *Солосмео* — Антонио Солосмео де Сетиньяно, живописец и скульптор, ученик Сансовино; закончил гробницу Пьеро Медичи в Монте Кассино, в сооружении которой приняли участие Антонио да Сангалло, Франческо да Сангалло и др.

LXVIII

¹ *Карло Джинори* — флорентиец, был гонфалоньером республики в 1527 году.

LXIX

¹ *Неаполитанский вице-король* — Педро Альварес де Толедо, маркиз Вильяфранка, дядя герцога Альбы; управлял Неаполем в течение двадцати лет, начиная с 1532 г.

LXX

¹ *Сельчате* — Понте а Селиче, в пятнадцати милях от Неаполя.

² *...место это было гнездом убийц...* — В гостинице Ананьи, о которой идет речь, в 1303 г. папа Бонифаций VIII был захвачен своими врагами, сторонниками французского короля Филиппа Красивого.

³ *«...что он родился сиенцем».* — Сиенцы слыли глупцами.

⁴ *«Clauduntur belli portae»* — «Затворяются врата войны» (лат.). Медаль была вычеканена в ознаменование мира, длившегося с 1530 по 1536 г. Чекан этой медали сохранился во Флорентийском национальном музее.

LXXI

¹ *«Ut bibat populus»* — «Чтобы пил народ» (лат.). Медаль была заказана по случаю окончания монументального колодца, построенного Антонио да Сангалло в Орвието в 1528 г. Чеканы обеих медалей хранятся во Флорентийском национальном музее. В Государственном Эрмитаже в Ленинграде имеется экземпляр медали с надписью «Ut bibat populus».

LXXXII

¹ *Три дня спустя папа умер...* — Климент VII умер 25 сентября 1534 года.

² *Авемариа* — т. е. «Ave Maria» (лат.), молитва деве Марии.

LXXXIV

¹ *Кардинал Корнаро* — Франческо Корнаро, кардинал с 1528 г., брат кардинала Марко Корнаро (см. прим. 2, гл. 25, кн. 1).

² *...папой был избран кардинал Фарнезе...* — Алессандро Фарнезе был избран папой 13 октября 1534 г. (см. прим. 4, гл. 36, кн. I).

³ *Мессер Латино Ювинале* — Латино Джовенале де Манети (1486—1553), каноник храма Святого Петра, поэт и знаток античности.

LXXXV

¹ «*Vas electionis*» — «Сосуд избрания» (лат.). Эта монета с изображением св. Павла должна была напоминать об единодушном избрании папы Павла III. Образчики ее находятся в Государственном Эрмитаже в Ленинграде и во Французском нумизматическом кабинете.

² *День святых. Марий* — во Флоренции праздник успения, 15 августа.

³ *Капориони* — старосты городских участков.

⁴ *...любимец синьора Пьер Луиджи, папского сына...* — Пьер Луиджи Фарнезе — побочный сын Павла III, гонфалоньер церкви, герцог Кастрский, впоследствии герцог Пармы и Пьяченцы. Один из самых жестоких тиранов в Италии XVI в., убит своими же придворными в Пьяченце в 1547 году.

LXXXVI

¹ *Триболино* — Никколо де Периколи, по прозвищу Триболо (1500—1565), известный флорентийский скульптор и архитектор, ученик Сансовино. Во Флоренции, Болонье, Пизе сохранились созданные им выдающиеся памятники.

² *Якопо дель Сансовино* — Якопо Татти, прозванный дель Сансовино (1486—1570), родом из Флоренции, выдающийся

скульптор и архитектор. Во Флоренции сохранились статуи его работы, а в Риме и Венеции — архитектурные памятники.

³ ...*Козимино де Медичи, нынешний герцог флорентийский...* — Козимино — уменьшительное от Козимо. Козимо I (1519—1574) — сын кондотьера Джованни делле Банде Нере (см. прим. 1, гл. 8, кн. 1), потомок младшей линии рода Медичи. После смерти герцога Алессандро в 1537 г. стал герцогом Флоренции, в 1538 г. разбил войска изгнанников-республиканцев в битве при Монтемурло и установил жесточайший террор. Его правление ознаменовалось многочисленными тайными убийствами и злодеяниями. В 1569 г. Козимо I получил титул великого герцога Тосканского. При его дворе Челлини провел последние годы жизни.

⁴ *Сер Маурицио* — секретарь Совета Восьми во Флоренции, известный своей жестокостью.

⁵ *Герцог феррарский* — Эрколе II д'Эсте, сын Альфонса I, брат кардинала Ипполито д'Эсте (см. прим. 3, гл. 28, и прим. 6, гл. 98, кн. 1).

⁶ *Бельфиоре* — загородная вилла герцога феррарского.

⁷ *Никколо Бенинтенди* — противник Медичи, в 1539 г. изгнан из Флоренции, где в 1529 г. был членом Совета Восьми.

⁸ *Якопо Нарди* (1476—1563) — флорентиец, республиканец, непримиримый враг Медичи, историк Флоренции. Изгнан из города в 1530 году.

LXXVII

¹ *Фузоьера* — плоскодонная лодка.

LXXIX

¹ ...*я ему наделаю больших...* — Игра слов: *correggia* (итал.), означает и ремень и непристойный звук.

LXXX

¹ ...*в подарок своей жене...* — В 1536 г. император Карл V выдал свою побочную дочь Маргариту Австрийскую замуж за Алессандро де Медичи. Свадьба происходила в Неаполе.

² *Лоренцино* — Лоренцо де Медичи, он же Лорензаччо (1514—1548). Потомок младшей ветви дома Медичи, за малый

рост прозванный Лоренцино. Фаворит герцога Алессандро, мощный в его любовных интригах и преступлениях. В ночь на 5 января 1537 г. заманил Алессандро в свой дом и убил его с помощью наемных убийц, оставив на трупе записку: «Любовь к родине победила. Жажду великой хвалы». Впоследствии Лоренцино написал «Апологию», в которой утверждает, что действовал из любви к свободе, подражая примеру Брута. После убийства герцога Алессандро бежал из Флоренции в Венецию. Был отравлен по приказу Козимо I в 1548 году.

LXXXI

¹ *Оттавиано де'Медичи* — дальний родственник Алессандро де Медичи, покровитель искусств, друг Микеланджело.

² «...*нечто такое, что изумит мир*». — Возможно, намек на задуманное Лоренцо убийство (см. прим. 2, гл. 80, кн. 1).

LXXXII

¹ *Синьор Пьерлуджи*. — См. прим. 4, гл. 75, кн. 1.

LXXXIII

¹ *Мессер Аннибаль Каро*. — См. прим. 2, гл. 46, кн. 1.

LXXXIV

¹ *Маттио Францези* — поэт, автор шуточных стихотворений. В его произведениях упоминается Челлини.

² «*Он читал Данте...*» — Имеется в виду образ Харона из «Ада» (см. «Ад», песнь 3, 82—87, перев. М. Лозинского).

LXXXVI

¹ *...о паре коробов...* — В тексте стоит слово *ceste*, что означает: 1) легкая повозка на одного человека, 2) плетеные коробы, которые навьючивали с двух сторон на лошадь или мула.

² *...я прибыл во Флоренцию...* — 9 ноября 1535 года.

³ *Джорджетто Васселарио* — Джорджо Вазари (1511—1574), флорентийский живописец, создавший многочисленные картины на аллегорические и религиозные сюжеты, а также архитектор, строитель знаменитой улицы Уффици во Флоренции.

Однако в историю Вазари вошел в основном как классик художественной критики, автор выдающегося труда «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих».

⁴ *Кардинал де'Медичи*. — См. прим. 2, гл. 41, кн. 1.

⁵ *Оттавиано де'Медичи*. — См. прим. 1, гл. 81, кн. 1.

⁶ *Лука Мартини* — поэт, автор шуточных стихотворений, впоследствии приближенное лицо Козимо I. Челлини посвятил Луке Мартини написанный в тюрьме капитоло (см. гл. 128, кн. 1).

LXXXVIII

¹ *Мессер Франческо Содерини* — сторонник республики, изгнан из Флоренции Алессандро Медичи в 1530 году.

² *...Лессандро, был сыном папы Климента*. — На самом деле Алессандро был побочным сыном Лоренцо Медичи, герцога урбинского.

³ *...чтобы сказали Лоренцино...* — См. прим. 2, гл. 80, кн. 1.

⁴ *«...я могу именовать себя Guadagni-assai»*. — Игра слов: *guadagni* по-итальянски — зарабатываешь; *guadagni poco* — мало зарабатываешь, *guadagni assai* — зарабатываешь порядочно.

LXXXIX

¹ *...известие о смерти герцога Лессандро*. — См. прим. 2, гл. 80, кн. 1.

² *«...а ты нам хотел их сделать бессмертными»*. — Намек на медаль с изображением герцога Алессандро, над которой Челлини работал в Риме. Обрат этой медали с латинской надписью в венке «*Solatia. Lvctvs. Exigva. Ingentis*» («Малые утешения в великой печали») был, по-видимому, сделан после смерти герцога Алессандро. Экземпляры этой медали находятся во Французском нумизматическом кабинете и в Британском музее.

³ *...Козимо де'Медичи... избран герцогом...* — Козимо Медичи (см. прим. 3, гл. 76, кн. 1) был избран герцогом 9 января 1537 года.

XC

¹ *В это время император возвращался победоносно из тунисского похода...* — События, описанные в предыдущих главах, относились к 1537 г. Челлини возвращается теперь к началу

1536 г. В июне 1535 г. Карл V предпринял крестовый поход в Тунис и, овладев им, вернулся в Неаполь 30 ноября 1535 года.

² *Чаша папы Климента*. — См. прим. 3, гл. 56, кн. 1.

³ *...явился император...* — Император Карл V прибыл в Рим 5 апреля 1536 года.

ХСІ

¹ *Мессер Дуранте* — Дуранте Дурантини, кардинал при папе Павле III.

ХСІІ

¹ *Блесна* — цветная фольга, которую подкладывали под брильянты и алмазы, чтобы придать им больше игры.

² *...я научу, как они делаются.* — Техника изготовления блесны подробно описывается Челлини в его «Трактате о ювелирном искусстве».

³ *Маркиз дель Гуасто* — Альфонсо д'Авалос, маркиз дель Васто, сподвижник Карла V по тунисскому походу; безуспешно пытался, по поручению императора, вовлечь папу в войну с Францией.

ХСІV

¹ *...выехав из Рима...* — 1 апреля 1537 года.

² *Мессер Пьетро Бембо* (1470—1547) — известный итальянский гуманист, автор диалогов о любви «Азоланские беседы», поэт и теоретик языка, историограф Венеции. Кардиналом стал в 1539 году.

³ *...я ему ее сделаю непременно.* — Медали, в точности соответствующей описанию Челлини, нет. Неизвестно, закончил ли он ее впоследствии. Сохранилась медаль, где Бембо изображен кардиналом с длинной бородой, а на обороте — Пегас, но без миртовой гирлянды (эмблема Бембо). Возможно, это и есть медаль, начатая Челлини в Падуе. Экземпляр ее находится в Государственном Эрмитаже в Ленинграде.

ХСV

¹ *Земля Серых* — Граубюнден.

² *Горы Альба и Берлина* — проходы Альбула и Бернина в Ретийских Альпах.

³ *Вальдиста* — Валленштадт.

- ⁴ *Мессер Филиппо Строцци*. — См. прим. 1, гл. 38, кн. 1.
⁵ ...к озеру, что между Вальдистате и Вессой... — озеро Валлензе между Валленштадтом и Везеном.

ХСVII

- ¹ ...город, называемый *Лакка* — Лахен.
² ...город, называемый *Сурик* — Цюрих.
³ ...город, называемый *Солуторно* — Золотурн.
⁴ *Узанна* — Лозанна.
⁵ *Палисса* — Ла Палис.

ХСVIII

- ¹ *Живописец Росо*. — См. прим. 2, гл. 26, кн. 1.
² *Мазетро Антонио да Сангалло* — Антонио да Сангалло младший (1485—1546), один из наиболее прославленных архитекторов, ученик и последователь Браманте и Джулиано да Сангалло. Из его работ наиболее известны Палаццо дель Банко и фасад и вестибюль знаменитого Палаццо Фарнезе в Риме, законченного Микеланджело. Во многих городах Италии сохранились сделанные им постройки.
³ *Зуаццелла* — флорентийский живописец, ученик Андреа дель Сарто, отправившийся с учителем во Францию и оставшийся там при дворе Франциска I.
⁴ *Мессер Джованни*. — Ошибка: вместо Джованни должно быть Джулиано.
⁵ *Фонтана Билио* — Фонтенбло.
⁶ *Кардинал феррарский* — Ипполито д'Эсте (1509—1572), сын Альфонсо I, герцога феррарского и Лукреции Борджиа; с 1539 г. кардинал, известный меценат. По его распоряжению была построена вилла д'Эсте в Тиволи.
⁷ *Гранополи* — Гренобль.
⁸ *Санпионские горы* — Симплонский перевал.

ХСIX

- ¹ *Индеведро* — вероятно, река Довериа в долине Валь ди Ведро.
² *Санта Мариа да Лорето* — известное место паломничества.

С

¹ ...*поехал в Рим...* — Челлини прибыл в Рим 16 декабря 1537 года.

² ...*ныне зятя нашего герцога Козимо.* — Паоло, сын Джироламо Орсини и Франчески Сфорца, женился в 1553 г. на Изабелле Медичи, дочери герцога Козимо I, которую убил в 1576 году.

СИ

¹ *Герцог ди Кастро.* — В 1537 г. Павел III сделал своего сына Пьер Луиджи Фарнезе герцогом Кастрским.

СИИ

¹ *Чезаре Искатинаро.* — Челлини имеет в виду Джован Бартоломео Гаттинара, подписавшего от имени Карла V с папой Климентом VII соглашение о капитуляции 6 июня 1527 года.

² *Борго* — окруженная стеной часть Рима около Ватиканского дворца.

³ *Раффаэлло да Монтедупо* (1503—1567 или 1588) — скульптор и зодчий. При Павле III архитектор замка Святого Ангела.

⁴ *Скатиначаро* — искаженное имя Искатинаро (см. выше прим. 1).

СИV

¹ *Фра Иеролимо Савонарола.* — См. прим. 2, гл. 17, кн. 1.

СИVІ

¹ *Кардинал Сантискватро.* — Челлини вместо фамилии кардинала Антонио Пуччи называет его титул «сантискватро» — кардинал четырех венчаных святых.

² *Корнаро.* — См. прим. 1, гл. 74, кн. 1.

СИХ

¹ ...*пошел к воротам...* — т. е. к городским воротам.

СИХ

¹ ...*к дому герцогини, супруги герцога Оттавио...* — После убийства герцога Алессандро в 1537 г. Карл V, отвергнув сватовство Козимо Медичи, выдал Маргариту Австрийскую за племян-

ника папы Павла III, Оттавио Фарнезе, которому было тогда пятнадцать лет.

² ...когда герцогиня совершала въезд в Рим... — 3 ноября 1538 г. В это время Челлини был в тюрьме.

СХI

¹ ...будучи аббревиатором *Parco majoris*... — Коллегия аббревиаторов, состоявшая из семидесяти чиновников-прелатов, занималась составлением проектов папских посланий (бреве) и булл.

² ...папа Александр долго держал его в тюрьме... — Фарнезе содержался в тюрьме по неизвестной нам причине и бежал оттуда, но не при Александре VI, как утверждает Челлини, а при его предшественнике, папе Иннокентии VIII.

СХVII

¹ ...летописи Джован Виллани. — См. прим. 1, гл. 1, кн. 1.

СХVIII

¹ *Капитан Сандрино Мональди* — командовал флорентийским войском во время осады в 1530 г. и после реставрации Медичи был изгнан из Флоренции.

² *Стола* — одно из облачений, надеваемых священниками во время богослужения.

СХIX

¹ *Капитоло* — дидактическое или шуточное стихотворение в терцинах.

СХХ

¹ *Проповедник Фойано* — монах-доминиканец, популярный проповедник, последователь Савонаролы. Выступал с проповедями против Медичи во Флоренции, за что в 1530 г. по приказу Климента VII был заточен в замок Святого Ангела, где его уморили голодом.

² «*De profundis clamavit*» (правильно: *clamavi*) — «Из глубин взывал я» (*лат.*), «*Miserere*» — «Сжался» (*лат.*), «*In te Do-*

mine speravi» — «На тебя, господи, я уповал» (*лат.*) — католические молитвы.

³ «*Qui habitat in adiutorium*» (правильно: *in adiutorio*) — «Кто всегда помогает» (*лат.*).

CXXXV

¹ *Мессер Дуранте*. — См. прим. 1, гл. 91, кн. 1.

² ...с этим солдатом, аптекарем из Прато... — О нем говорится в гл. 108, кн. 1.

³ *Лионе* — Леоне Леони из Ареццо (1509—1590), выдающийся золотых дел мастер и скульптор, соперник Челлини; был резчиком на римском монетном дворе. В 1540 г. изувечил папского ювелира Пеллегрино де Леути, за что был приговорен к отсечению правой руки, но впоследствии вместо этого отправлен на галеры. Позднее был помилован и стал придворным скульптором Карла V. Наиболее выдающиеся его работы: бронзовые фигуры на мавзолее Якопо де Медичи (по проекту Микеланджело) в миланском соборе, монументальная статуя Карла V в Мадриде, медаль с изображением Карла V. Собрал в Милане богатейшую коллекцию произведений искусства.

⁴ «*Это не мой враг, мессер Дуранте, а мягкий камешек...*» — Игра слов: *durante* по-итальянски означает твердый, прочный.

CXXXVI

¹ ...он был большой мой друг... — Джован Джироламо де Росси, епископ павийский и историк. В 1538 г. был заключен в замок Святого Ангела, так как его считали причастным к убийству графа Алессандро Лангаско. После освобождения в 1544 г. ездил во Францию, где пользовался гостеприимством Челлини (см. гл. 24, кн. 2). Впоследствии назначен губернатором Рима.

² *Кардинал Фарнезе* — Алессандро Фарнезе (1520—1585), сын Пьер Луиджи. С четырнадцати лет кардинал.

CXXXVII

¹ ...они взяли меня из сказанной темницы... — Челлини был освобожден из тюрьмы 4 декабря 1539 года.

СХХVIII

¹ ...все то, что потом случилось с синьором Пьер Луиджи. — См. прим. 4, гл. 75, кн. 1.

² ...как я это увидел... — Челлини говорит о видении солнца во сне (см. гл. 122, кн. 1).

³ Лука Мартини. — См. прим. 6, гл. 86, кн. 1.

⁴ ...блудница. — В подлиннике это слово зачеркнуто и замечено словом «зависть».

⁵ ...нашего с тобою предка. — Имеется в виду библейский Адам.

⁶ ...От этих лилий, так что сердцу стали // Флоренция и Франция далеки! — Челлини так ненавидит герб Фарнезе, на котором изображены шесть лилий, что ему не милы стали и Флоренция и Франция, в гербах которых тоже есть лилии (в гербе Флоренции — одна, в гербе Франции — три).

⁷ И если мне случится быть в штитале... — т. е. в госпитале. В итальянских больницах нередко встречается изображение благовещения девы Марии, причем архангел Гавриил нарисован с лилией в руке.

⁸ Я видел, как упал с небес... — В этой и в следующей терцинах Челлини иносказательно описывает посещавшие его в тюрьме видения.

⁹ Тлетворный символ... — т. е. герб Фарнезе.

¹⁰ Разбился колокол... — Имеется в виду смерть кастеллана.

¹¹ ...черный гроб... // Меж лилий сломанных... — Очевидно, подразумевается смерть Пьер Луиджи Фарнезе.

¹² ...лютый капитан... — Челлини, очевидно, имеет в виду капитана Сандрино Мональди (см. прим. 1, гл. 118, кн. 1).

КНИГА ВТОРАЯ

I

¹ Кардинал феррарский — Ипполито д'Эсте (см. прим. 6, гл. 98, кн. 1).

² Мессер Луиджи Аламани. — См. прим. 5, гл. 41, кн. 1.

³ Габриель Чезано — ученый правовед.

⁴ ...святой Амвросий... изображенный на коне с бичом в руке... — Существовала легенда о том, как св. Амвросий явился миланцам в битве при Парабиаго (в 1339 г.) и помог им одер-

жать победу над Лодовико Висконти. Поэтому его принято было изображать верхом на лошади, отражающим врагов. Свинцовый оттиск описанной здесь печати хранится в Лионском музее.

II

¹ ...*под ним...* — т. е. под мужчиной-морем.

² ...*потому что тот...* — т. е. кардинал.

III

¹ *Кардинал Торнон* — Франсуа де Турнон (1490—1562), кардинал с 1530 г., известный политический деятель Франции и покровитель литературы и искусства.

² ...*в страстной понедельник...* — т. е. 22 марта 1540 г.

³ ...*мы ехали только троєм...* — т. е. Челлини и двое его помощников: Паголо и Асканио.

IV

¹ *Стаджа* — замок в десяти милях от Сиены.

V

¹ *Герцог Мельфи* — Альфонсо Пикколомини, герцог Амальфи, поставленный Карлом V правитель Сиенской республики. Пользовался популярностью среди сиенцев.

VI

¹ ...*герцог заключил этот мир...* — В 1539 г. после длительных переговоров между Павлом III и Эрколе II д'Эсте был заключен договор, по которому герцогу феррарскому, за выкуп в сто восемьдесят тысяч дукатов, возвращались владения, полученные семьей д'Эсте от папы Александра VI.

² ...*отчаявшийся Раздор*. — Аналогичную композицию Челлини выполнил на обороте медали Климента VII (ср. описание этой медали в гл. 70, кн. 1). Описанная здесь медаль герцога феррарского не сохранилась. Найден лишь ее гипсовый оттиск.

³ «*Pretiosa in conspectu Domini*» — «Дорог в-очах господних» (лат.). (Псалом 116, 15).

VIII

¹ ...кувшин... из этих фаенцских глин... — т. е. фаянсовый кувшин.

² ...Якопо, хирургу из Карпи... — См. прим. 1 и 2, гл. 28, кн. 1.

³ Кардинал Сальвиати. — См. прим. 4, гл. 25, кн. 1.

⁴ Кардинал равеннский. — См. прим. 2, гл. 36, кн. 1.

⁵ ...и кое с кем другим из этих даровитых музыкантов... —

При феррарском дворе издавна процветало музыкальное искусство; в описываемый период в городе жило несколько знаменитых музыкантов.

IX

¹ Монсанезе — Мон-Сени.

² Фонтана Белио — Фонтенбло.

X

¹ Это было в Дельфинате... — т. е. в Дофине. Однако королевский двор не был в Дофине ни в 1540 г., ни в ближайшие несколько лет. В рассказе Челлини о его пребывании во Франции встречается ряд подобных неточностей в указании места и в датировке.

XII

¹ ...Маленький Нель... — В это время замок Нель (на левом берегу Сены) находился в ведении парижского прево (верховного судьи). Усадьба замка Нель делилась на две части — Большой и Малый Нель.

XIV

¹ ...и поднес их ему. — Кувшин и таз, о которых идет речь; не сохранились.

XV

¹ Госпожа де Тамп — Анна де Писселе, герцогиня д'Этамп (1508—1580), фаворитка Франциска I.

² Король наваррский — Генрих II д'Альбре (1503—1555), муж Маргариты Наваррской (см. ниже, прим. 3).

³ ...*сестрою... короля Франциска...* — Маргарита Валуа, или Маргарита Наваррская (1492—1549), сестра короля Франциска I и жена Генриха II, короля наваррского; выдающаяся писательница, известная своим «Гептамероном» (сборник новелл). Ее двор был одним из центров гуманистической культуры XVI в. Покровительница Рабле, поэта К. Маро и др.

⁴ *Дофин* — будущий король Франции Генрих II (1519—1559); правил с 1547 года.

⁵ *Дофина* — Катерина де Медичи (1519—1589), будущая французская королева, жена Генриха II (см. прим. 1, гл. 60, кн. 1), мать Франциска II, Карла IX и Генриха III, вдохновительница Варфоломеевской ночи.

XVI

¹ *Ди Орбек* — д'Орбек (см. гл. 13, кн. 2).

XVII

¹ ...*против Августинцев...* — т. е. против монастыря Гран Огюстен.

XVIII

¹ ...*мои две головы...* — Ни одна из этих работ не сохранилась.

XIX

¹ *Пьеро Строчи* (1508—1558) — сын Филиппо Строчи (см. прим. 1, гл. 38, кн. 1). Во время битвы при Монтемурло (1538) командовал войском флорентийских изгнанников, потерпевшим там жестокое поражение. Через некоторое время поступил на службу к Франциску I, впоследствии стал маршалом Франции. Командовал войсками восставших сиенцев в 1552 году.

² *Мессер Антонио Массоне* — Антуан Ле Массон, секретарь Маргариты Наваррской, писатель, первый переводчик «Декамерона» на французский язык.

XXI

¹ *Уже начали возобновляться дьявольства войны между императором и им...* — В мае 1542 г. между Франциском I и Карлом V началась четвертая и последняя война, закончившаяся через два года миром в Креспи.

² ...под стать сказанной работе... — Челлини не выполнил полностью описанную здесь работу. До его отъезда из Франции в 1545 г. была, по-видимому, отлита только фигура Нимфы, которую, однако, не перенесли в предназначенное для нее место. После смерти Франсиска I Генрих II подарил статую Нимфы Фонтенбло и фигуры двух Побед (очевидно, отлитые уже после отъезда Челлини) своей фаворитке Диане де Пуатье, которая поместила их у входа в замок Анэ. Там эти статуи оставались еще в 1780 г. Во время революции 1789 г. «Нимфа Фонтенбло» была перевезена в Париж в Луврский музей, где находится и поныне. Фигуры Побед были переданы в музей Пти Огюстэн. Там их видел Гете, о чем он сообщает в комментариях к своему переводу «Жизнеописания» Челлини. Во время реставрации эти работы перешли в собственность Луи-Филиппа и были помещены в замке Нейи, где оставались до революции 1848 г. Дальнейшая их судьба неизвестна. Копии сохранились во Французском музее декоративного искусства.

XXIV

¹ *Мессер Гвидо Гвиди* — в 1542 г. был приглашен Франциском I во Францию, где был королевским врачом и профессором медицины в Коллеж-Рояль. В 1548 г. вернулся во Флоренцию, позднее стал профессором медицины и философии в Пизе (ум. в 1569 г.). Ему посвящен один из сонетов Челлини.

² *Монсеньор де'Росси*. — См. прим. 1, гл. 126, кн. 1.

XXV

¹ *Жедепом* — помещение для игры в мяч.

² ...*тот, который напечатал эту первую прекрасную медицинскую книгу...* — Пьер Готье, издавший в 1544 г. сделанный Гвидо Гвиди перевод сочинений по хирургии Гиппократ, Галена и Орибасия.

³ *Дофин Арриго* — т. е. Генрих (см. прим. 4, гл. 15, кн. 2).

XXVI

¹ *Франческо Приматиччо* (1504—1570) — живописец, скульптор и архитектор, родился в Болонье, ученик Джулио Романо, помогал ему в работе над росписью дворца дель Те. В 1531 г.

был приглашен Франциском I во Францию для отделки дворцов в Фонтенбло и в Шамборе. В 1540 г. привез из Италии во Францию слепки нескольких античных бюстов и статуй, находящихся ныне в Лувре.

² ...у *Россо*, нашего флорентийского живописца... — См. прим. 2, гл. 26, кн. 1.

XXVII

¹ «*Phe phe Satan phe phe Satan alé phe*» — по-французски: «*Paix, paix, Satan! Paix, paix, Satan! Allez paix!*», т. е.: «Тише, тише, сатана! Да тише же!»

² ...то, что Данте хотел сказать... — Челлини имеет в виду следующие до сих пор не расшифрованные слова: «*Parè Satàn, parè Satàn alerpe!*» — Хриплоголосый Плутос закричал («Ад», Песнь VII, стихи 1—2, перев. М. Лозинского).

³ ...Данте... с *Джотто*, живописцем, были вместе во Франции... — Великий итальянский художник Джотто (1266 или 1276—1337) во Франции никогда не был.

XXVIII

¹ ...по прозвищу «*il Gatta*»... — т. е. кошка (*итал.*).

XXIX

¹ «...это будет «*Отче наш*» святого Юлиана». — Намек на одного из персонажей Боккаччо, Ринальдо д'Асти («Декамерон», день 2-й, новелла 2-я), который всегда молил покровителя путников, св. Юлиана, о хорошем ночлеге.

XXXI

¹ *Живописец Болонья* — т. е. Приматиччо (см. прим. 1, гл. 26, кн. 2).

XXXIV

¹ *Приор капуанский* — Леоне Строцци (1515—1554), сын Филиппо Строцци (ом. прим. 1, гл. 38, кн. 1); служил в это время в войсках Франциска I. Погиб, сражаясь на стороне восставших сиенцев против немецко-испанских войск, возглавляемых Козимо I.

XXXV

¹ *...прекрасное литье, какого никогда не делалось.* — Эта фигура и есть «Нимфа Фонтенбло», которую Челлини описывал в гл. 21, кн. 2.

XXXVI

¹ *Король вернулся в Париж...* — 5 апреля 1543 года.

² *...как я сказал выше...* — В гл. 2, кн. 2 Челлини подробно описал модель солонки. Судьба самой солонки весьма примечательна. В царствование Карла IX, в 1566 г., она была внесена в списки драгоценностей, предназначенных для переплавки в золото, но случайно уцелела. Затем, в 1570 г., по случаю бракосочетания короля с Елизаветой, дочерью императора Максимилиана, ее получил в подарок дядя невесты Фердинанд Австрийский и поместил в свою коллекцию в замке Амбраз. Только в 1819 г. после выхода в свет сделанного Гете перевода «Жизнеописания» Челлини солонку узнали по описанию и вспомнили, кто является ее создателем. Сейчас солонка хранится в Вене, в Художественно-историческом музее. Это единственная бесспорная из сохранившихся ювелирных работ Челлини.

³ *...большую вазу, уже сказанную...* — См. гл. 18, кн. 2.

XXXVII

¹ *...слепить...* — т. е. сделать слепки.

² *...Леоконта, Клеопатру, Венеру, Комода, Цыганку и Аполлона.* — Имеются в виду следующие античные статуи: Лаокоон, спящая Ариадна, прежде считавшаяся Клеопатрой, античная копия Афродиты Книдской, Геркулес в львиной шкуре с ребенком на руках, которого до исследования Винкельмана принимали за бога Комода, Диана, называвшаяся во времена Челлини Цыганкой, и Аполлон Бельведерский.

³ *...а там...* — т. е. в Париже.

XXXVIII

¹ *Тем временем войны возрастали...* — В ходе войны, начавшейся в 1542 г., Карл V занял Люксембург, вступил в Шампань и, захватив Сен-Дизье, Эперне и Шато-Тьерри, в июне 1554 г. оказался в двадцати лье от Парижа. На помощь столице подо-

шли войска дофина, и началось укрепление городских стен. В это же время английский король Генрих VIII осаждал Булонь. Хотя война с императором окончилась в сентябре 1544 г. подписанием мира в Креспи, англичане, захватившие Булонь, продолжали военные действия, и мир с Генрихом VIII был заключен лишь в 1546 году.

XXXIX

¹ *...император проезжал через Париж...* — 1 января 1540 года.

² *Монсеньор Анибалле* — Клод д'Аннебо, адмирал и маршал Франции, приближенный Франциска I, деливший с королем заключение в Павии.

XL

¹ *...вместе с казначеем Гролье...* — Жан Гролье (1479—1565) — суперинтендант финансов, одно время живший в Милане, был большим покровителем искусств и собрал самую богатую во Франции коллекцию книг и медалей.

² *...выдал мне новую бумагу...* — грамота от 15 июля 1544 г., в которой подтверждались дар короля и права Челлини на владение замком Малый Нель.

XLI

¹ *...с ...теперешним королем...* — Эти слова относятся к дофину, будущему королю Генриху II.

² *...с королем наваррским, своим шурином...* — См. прим. 2, гл. 15, кн. 2.

XLII

¹ *Оставив там Юпитера...* — Очевидно, это была единственная законченная из двенадцати заказанных Франциском I статуй-свечильников. Челлини описал ее в гл. 25 своего «Трактата о ювелирном искусстве», но судьба этой статуи неизвестна.

² *...принялся заканчивать эту великую статую Марса...* — Фонтан с фигурой Марса не был выполнен, а сделанный в 1543 г. колосс Марса впоследствии был разрушен.

³ *...называли именем Леммоньо Борео...* — Очевидно, искаженное *le moine bourgu (франц.)*, т. е. домовый в образе монаха,

одетого в грубую шерстяную ткань. В народе ходила дурная слава о Маленьком Неле из-за убийств, совершенных там в XIV в. королевой Иоанной, женой Филиппа V.

XLIII

¹ ...*спешно укрепить Париж*... — См. прим. 1, гл. 38, кн. 2.

² *Азино Буэ*. — Речь идет о Клоде д'Аннебо (см. прим. 2, гл. 39, кн. 2). *Asino vue* — по-французски «âne vueuf», т. е. «оселбык».

³ *Джиролимо Беллармато* — Джироламо Беллармати (1493—1555), математик и военный инженер, родился в Сиене; впоследствии был изгнан и переехал во Францию, где стал главным инженером Франциска I.

⁴ ...*госпожа ди Тамп ...предала короля*. — Существовало подозрение, что, побуждаемая ненавистью к дофину и его фаворитке Диане де Пуатье, госпожа д'Этамп, помешав разрушению моста в Эперне, способствовала тем самым приближению императора к Парижу и вынудила Франциска I заключить мир на предложенных Карлом V условиях.

⁵ ...*приехал ...отдохнуть немного в Париж* — с 21 по 28 ноября 1544 года.

XLV

¹ *Монсеньор дель'Апа* — искаженное имя Жака де ла Фа, упоминаемого в гл. 31, кн. 2.

XLVII

¹ ...*монсеньор ди Сан Поло, знатный французский барон*. — Франсуа де Бурбон, граф Сен-Поль (1501—1545), известный французский военачальник, приближенный Франциска I.

XLVIII

¹ ...*в великом треволнении*. — См. прим. 1, гл. 38, кн. 2.

² *Пьеро Строцци*. — См. прим. 1, гл. 19, кн. 2.

³ *Арджентана* — город Аржантан, расположенный к западу от Парижа.

XLIX

¹ *Епископ павийский.* — См. прим. 1, гл. 126, кн. 1.

² *... я уехал...* — между 16 июня и 7 июля 1545 г.

³ *Мессер Гвидо.* — См. прим. 1, гл. 24, кн. 2.

L

¹ *...я отослал сказанного мула с вазами...* — Вазы эти не сохранились.

² *...большие сарбаканных пулек...* — т. е. пуль для сарбакана (духового самострела).

LI

¹ *Герцог Пьерлуиджи.* — См. прим. 4, гл. 75, кн. 1.

LIII

¹ *...наш герцог флорентийский...* — Козимо I де Медичи (см. прим. 3, гл. 76, кн. 1).

² *...герцогиня...* — Элеонора де Толедо, дочь Педро Альвареса (см. прим. 1, гл. 69, кн. 1). С 1539 г. жена Козимо I.

³ *...показать в этой чудесной школе...* — т. е. во Флорентийской академии художеств, которая до этого не знала скульптурных работ Челлини.

⁴ *...на этой его прекрасной площади.* — Ныне площадь Синьории, перед Палаццо Веккьо.

⁵ *...единственно Персея...* — Статуя Персея, обезглавившего Медузу, была заказана Челлини герцогом Козимо I как символ его победы над сторонниками Республики.

⁶ *...работы великого Донателло...* — В Лоджии деи Ланци на площади Синьории находится скульптурная группа «Юдифь и Олоферн» великого флорентийского скульптора Донателло (1386—1466), возглавившего реалистическое направление в пластике раннего Возрождения. Там же впоследствии был поставлен «Персей» Челлини.

⁷ *...работы... изумительного Микеланьоло...* — Речь идет о знаменитом «Давиде» Микеланджело (создан в 1501—1504 гг.), стоявшем в то время перед Палаццо Веккьо. Впоследствии подлинная статуя Микеланджело была заменена копией и перенесена во Флорентийскую академию художеств.

⁸ ...как с купцом. — В рукописи это место потом было смягчено: «...Этот государь имел великое желание учинять величайшие предприятия, я весьма торовато поступил с его светлостью как с герцогом».

LIV

¹ *Буаччо Бандинелло* — Баччо Бандинелли (см. прим. 1, гл. 7, кн. 1). Челлини здесь насмешливо искажает его имя. Виассио означает «бычище» (итал.).

² ...у *Тассо* *деревщика, превеликого моего друга...* — См. прим. 3, гл. 13, кн. 1.

LV

¹ ...в зале так называемой *Часовой...* — В этой зале стояли знаменитые космографические часы, сделанные в 1484 г. Лоренцо делла Вольпайа.

² «...буду ...говорить как с сер Пьер Франческо Риччо». — «Мессер» употребляли, говоря о дворянах, а «сер» — по отношению к должностным лицам простого происхождения.

³ ...чтобы упредить срок, который ему назначили небеса... — Майордом Риччо в 1553 г. сошел с ума.

LVII

¹ ...с *Постройки*. — Имеется в виду попечительство над постройкой и охраной флорентийского собора, так называемая Opera del Duomo.

LVIII

¹ ...ее я сделал ей. — О судьбе этих работ ничего не известно.

LIX

¹ *Письмо содержало следующее...* — В своем «Трактате об искусстве ваяния» Челлини сообщает, что в этом письме Буонакорси предлагал ему от имени Франциска I 7000 скудо и просил вернуться для окончания колосса Марса. Различные версии одного и того же события в сочинениях Челлини встречаются нередко.

LX

¹ *Бернардоне* — пренебрежительная форма имени Бернардо.

² *Этот алмаз был прежде острецом...* — т. е. огранен остро-конечно.

³ *Табель* — от итальянского tavola (алмаз плоского граниения).

⁴ *...Бакьякка вышивальщик...* — Антонио Верди, прозванный Бакьякка, известный ковровый мастер, брат друга Челлини, живописца Франческо Верди (см. прим. 5, гл. 30, кн. 1).

LXII

¹ *Лоренцо де'Медичи*. — См. прим. 2, гл. 80, кн. I.

² *Приор делли Строчици*. — См. прим. 1, гл. 34, кн. 2.

LXIII

¹ *...портрет его светлости...* — Большой бронзовый бюст, изображающий облаченного в позолоченный панцирь Козимо I, с напряженным выражением лица, сжатыми губами и гневным взглядом. Эта работа Челлини (исполненная между 1545—1548 гг.) была в 1557 г. отвезена на остров Эльбу, стояла там на воротах крепости до 1781 г., когда ее перевезли обратно во Флоренцию, где она хранится в Национальном музее.

LXIV

¹ *«Ты malvenuto»* — игра слов: benvenuto — желанный, malvenuto — нежеланный (*итал.*).

² *...и четверти за это не желаю...* — Доносчик получал четвертую часть штрафа, поступавшего в казну.

LXVIII

¹ *Мессер Сфорца* — Сфорца Альмени, камергер герцога Козимо I. В 1566 г. герцог собственноручно убил его за то, что тот выдал тайну его любовной связи с Элеонорой Альбицци.

² *...в подарок королю Филиппу...* — т. е. сыну Карла V. С 1556 г. король испанский Филипп II. В описываемое Челлини время королем еще не был.

LXIX

¹ *Стефано ди Пилестина* — Стефано Колонна, князь Палестрина, военачальник Козимо I.

² *...чтобы его окрестить Ганимедом.* — Мраморная статуя Ганимеда, восстановленная Челлини, хранится в Национальном музее во Флоренции.

LXX

¹ *Геркулес и Как* — неудачная мраморная статуя перед Палаццо Веккьо, законченная Бандинелли в 1534 г. Статуя была сделана из мрамора, первоначально предназначавшегося Микеланджело, что усугубило враждебное отношение к ней публики. После открытия скульптуры к ней прикрепляли так много насмешливых стихов, что герцог Алессандро велел арестовать некоторых памфлетистов. Челлини также написал по этому поводу сонет с длинным прозаическим комментарием.

² *«...когда наш Микеланьоло Буонарроти открыл свою ризницу...»* — Речь идет о построенной Микеланджело в 1525—1527 гг. во флорентийской церкви Сан-Лоренцо усыпальнице Медичи со скульптурными портретами Медичи и с фигурами Дня, Ночи, Рассвета и Сумерек.

LXXI

¹ *«Сходи на Постройку...»* — См. прим. 1, гл. 67, кн. 2.

LXXII

¹ *...сделал маленькую восковую модельку, каковой дал имя Нарцисса.* — Мраморная статуя Нарцисса, а также скульптурная группа «Аполлон и Гиацинт», считавшиеся утерянными, обнаружена совсем недавно. «Нарцисс» хранится в Национальном музее во Флоренции.

² *...великое половодье на Арно...* — наводнение во Флоренции в августе 1547 года.

³ *...возблагодарил бога и святую Лючию...* — Святая Лючия считалась покровительницей зрения.

LXXIII

¹ *...который послан на Эльбу...* — См. прим. 1, гл. 63, кн. 2.

² *...чем ежели бы я его сделал всего заново...* — См. прим. 2, гл. 69, кн. 2.

LXXVI

¹ *Алессандро Ластрикатти* — литейщик и ваятель, брат известного во Флоренции скульптора Заноби ди Бернардо Ластрикатти, вместе с которым он помогал Челлини в отливке «Медузы».

LXXVIII

¹ *Папа Юлий де'Монти* — Джованни Мариа Чокки ди Монте Сансовино; с 1550 по 1555 г. папа Юлий III.

LXXIX

¹ *...сделав Биндо, сыну Антонио, Альтовити изображение его головы...* — Биндо Альтовити (1491—1557), родом из Флоренции, противник Медичи, богатый римский торговец, покровитель художников. Скульптурный портрет Биндо работы Челлини хранится в музее Гарднер в Бостоне.

² *«...одним из Сорока Восьми».* — Совет Сорока Восьми, или Сенат, был учрежден в 1532 г., когда Флорентийская республика была превращена в герцогство.

LXXX

¹ *...на срок естественной моей жизни.* — Известно, что впоследствии Биндо Альтовити нарушил этот договор и отказался платить Челлини обещанное месячное обеспечение. Лишь после смерти Биндо Челлини получил от его сыновей причитавшиеся ему деньги.

LXXXI

¹ *Урбино* — Франческо ди Бернардино д'Аматоре (Аматори), более известный под именем Урбино; скульптор, на протяжении двадцати шести лет помощник и преданный друг Микеланджело.

LXXXII

¹ *Кастелло* — вилла Медичи около Флоренции.

LXXXIV

¹ *«La bella Franceschina»* — популярная народная песенка.

LXXXV

¹ *В это время разразилась сиенская война...* — Враждебная Медичи республика Сиена, в которой часто находили приют флорентийские изгнанники, в 1552 г. поднялась против власти императора и с помощью войска, присланного Францией, изгнала из города испанский гарнизон. Козимо Медичи возглавил военные действия против Сиены, и после длительного героического сопротивления в апреле 1555 г. город был взят.

² *...Партичино, деревицику...* — Перечисленные мастера, за исключением Пасквалино, известны нам из книги Вазари.

³ *Франческо да Сангалло (1494—1576)* — сын Джулиано да Сангалло, знаменитого архитектора, помогавшего Рафаэлю в строительстве собора Святого Петра.

⁴ *...Джованбатиста, называемому Тассо...* — См. прим. 3, гл. 13. кн. 1.

LXXXVI

¹ *Пьеро Строцци.* — См. прим. 1, гл. 19, кн. 2.

² *...висеть на одной из этих самых телег.* — В феврале 1543 г. группа солдат императорского войска попыталась проникнуть в занятый французами Турин, спрятавшись в сене на повозках, въезжавших в осажденный город. Солдаты должны были помешать страже поднять спущенный для проезда повозок мост и дать возможность остальному войску войти в Турин. Однако предупрежденные стражники, пропустив повозки, вовремя подняли мост, опустили решетку и напали на скрывавшегося неприятеля.

LXXXVII

¹ *...в сторону Львов...* — т. е. в сторону улицы Львов.

² *Синьор дон Грациа, мальчонок малых лет...* — Дон Гарциа, сын Козимо I. В 1553 г. ему было шесть лет.

LXXXVIII

¹ *...принц, и дон Джованни, и дон Арнандо...* — Принцу — дону Франческо — было в это время двенадцать лет, его брату Джованни — десять, а Фердинанду (Арнандо) — четыре года.

² *...в подножие...* — т. е. в подножие статуи Персея.

LXXXIX

¹ ...к *Лодже*... — Имеется в виду Лоджиа деи Ланци.

² ...у *Сан Миниато* — т. е. у церкви, которая находилась на противоположном берегу реки Арно.

³ *Монетный двор*. — Флорентийский монетный двор был расположен позади Лоджии деи Ланци.

⁴ *Буаччо* — Баччо Бальдини, сын Бернардо Бальдини, врач и биограф Козимо I.

XC

¹ ...привешивать... — привешивать хвалебные стихи.

² ...в *Пизанской школе*... — т. е. в Пизанском университете.

³ *Якопо да Пунторно* — Якопо Каруччи да Понтормо (1494—1556) — известный флорентийский живописец, ученик Пьеро ди Козимо, Андреа дель Сарто. Работы Понтормо, за исключением немногих ранних, представляют собою характерные образцы маньеризма (кризисного течения в искусстве позднего Возрождения), одним из основоположников которого он является.

⁴ *Брондзино* (1503—1572) — ученик и помощник Понтормо. С 1539 г. придворный художник и поэт Козимо I. В историю живописи вошел как создатель замечательной галереи портретов, в которых отразил полную предательств и преступлений историю дома Медичи. Его крупные полотна на религиозно-мифологические сюжеты отмечены печатью маньеризма и особого интереса не представляют. Сохранилось два сонета Брондзино в честь «Персея» Челлини.

⁵ *Сандрино* — Алессандро Аллори (1535—1607) — ученик и родственник Брондзино.

XCI

¹ ...работы *Андреа дель Вероккьо*... на *фасаде Орсамми-келе*... — Андреа дель Вероккьо (1435—1488) — знаменитый флорентийский скульптор, художник, архитектор и ювелир, ученик Донателло и учитель Леонардо да Винчи, Перуджино и др. Находящаяся в одной из внешних ниш флорентийской церкви Ор Сан Микеле скульптурная группа «Христос и Фома» работы Вероккьо наряду с его статуями Давида и кондотьера Колеони принадлежат к числу лучших бронзовых скульптур того времени.

² ...*Давида божественного Микеланьоло Буонарроти*... — См. прим. 7, гл. 53, кн. 2.

XCII

¹ ...открыл ее всю. — Открытие статуи Персея состоялось 27 апреля 1554 г. В действительности восхищение ею не было таким всеобщим, как это описывает Челлини. Недостатки в фигуре Персея заметили не только враждебно настроенные соперники Челлини. Известны, например, сатирические стихи Альфонсо де Пацци, в которых высмеивается несоответствие «тела старика» и «ног девушки». Пьедестал же, в котором прекрасно сочетались архитектурное, скульптурное и ювелирное мастерство Челлини, получил почти всеобщую высокую оценку. С четырех сторон пьедестал украшен фигурами Юпитера, Минервы, Меркурия и Данаи с соответствующими латинскими надписями. На цоколе выполнен барельеф, изображающий освобождение Андромеды Персеем, впоследствии замененный на площади копией и перенесенный в Национальный музей, где находятся также восковая и бронзовая модели «Персея». Статуя стоит в первой аркаде портика Лоджии деи Ланци, на площади Синьории во Флоренции.

² ...Джовананьоло, сервит, сделал им фонтан... украшенный многими фигурами... — Джовананьоло, прозванный Монторсоли (1507—1563), — монах ордена сервитов, скульптор. Фонтан, о котором говорит Челлини, был сооружен им в Мессине на соборной площади в 1547—1551 гг.

XCIII

¹ ...поеду в Валлеомброзу, потом в Камальдоли и в Эрмо... — Валломброза, Камальдоли, Сакро Эрмо — названия монастырей, расположенных в горах к востоку от Флоренции.

² ...доеду до Баньи ди Санта Мариа... — к востоку от Флоренции.

³ ...до Сестиле... — Очевидно, искаженное Сестино.

⁴ Сан Франческо дела Верниа — монастырь на горе Ла Верна.

XCIV

¹ Чезере — Чезаре деи Федериги (1530—1564), скульптор, ученик Триболо и Челлини. Помогал Челлини в его работе над пьедесталом к «Персею».

² В рукописи против этих слов рукой Челлини написано: «Это было в то время, когда Пьеро перевалил и пришел с войском в Сиену». Пьеро Строщи со своим войском перешел через Альпы и встал во главе восставших сиенцев (см. прим. 1,

гл. 85, кн. 2). В это время его отряды находились в Вальдикьяне (на юго-востоке Тосканы) и совершали набеги вплоть до Ареццо.

³ *Понти* — город на реке Арно в двадцати милях севернее Ареццо.

⁴ *Герцог урбинский* — Гвидобальдо делла Ровере, генерал Венеции, возглавлял папские войска в 1554 году.

XCV

¹ *...мессер Якопо Гвиди, секретарь его высокой светлости...* — Якопо Гвиди из Вальтерра, секретарь герцога, впоследствии епископ пеннский. Из его письма к Бандинелли известно о его ненависти к Челлини.

² *Крация* — мелкая монета.

XCVI

¹ *Джиролимо дель Альбици* — Джироламо ди Лука дель Альбици — родственник матери Козимо I Марии Сальвиати, ревностный приверженец Медичи. Был одним из сорока восьми сенаторов при герцоге Алессандро и после его смерти способствовал возведению на престол Козимо I.

² *Мессер Антонио де'Нобили* — приверженец Медичи, казначей Козимо I.

XCVII

¹ *...мессер Якопо Польверино, фискал...* — ненавистный флорентийцам министр Козимо I. Его именем называли изданный в 1548 г. грабительский закон, обрекавший на нищету и вечное изгнание детей государственных преступников, достигших двенадцатилетнего возраста.

² *...теперь, когда он очень стар...* — Микеланджело было тогда восемьдесят лет.

XCVIII

¹ *Санта Мариа дель Фиоре* — знаменитый Флорентийский собор.

² *...рисунок был Джулиано, сына Баччо д'Аньоло, деревщика, того, что испортил купол...* — Козимо I поручил Джулиано

д'Аньоло и Баччо Бандинеллч постройку хоров Флорентийского собора, причем на первого возлагалась архитектурная, а на второго — скульптурная работа. До этого, в 1514 г., Баччо д'Аньоло начал постройку портика над тамбуром купола, изменив план Брунеллески. Эта работа вызвала резкое осуждение со стороны Микеланджело и осталась незаконченной.

³ ...со сказанной Постройки. — См. прим. 1, гл. 57, кн. 2.

⁴ ...которые всех красивее из дверей Сан Джованни... — Знаменитые вторые двери флорентийского Баптистерия (крестильни) работы Лоренцо Гиберти (1378—1455).

XCIX

¹ В это время... — Между главами 98 и 99, кн. 2 — пропуск в жизнеописании, охватывающий четыре года (1556—1559), богатых событиями, о которых Челлини ничего не сообщает. В сентябре 1556 г. Челлини был арестован за избиение золотых дел мастера Джованни ди Лоренцо, однако через сорок шесть дней вышел из тюрьмы, заключив мировую с пострадавшим. Новый арест последовал в феврале 1557 г. за содомию, в которой он сам признался. Челлини был приговорен к денежному штрафу и четырем годам тюремного заключения. В марте он добился у герцога разрешения отбывать наказание дома, чтобы иметь возможность закончить начатое им перед арестом мраморное «Распятие». В тюрьме Челлини написал несколько сонетов. Известно также, что 2 июня 1558 г. Челлини принял постриг, однако вскоре (в 1560 г.) от обетов отказался.

² ...по Гриве... — Челлини ошибается, называя вместо реки Омброне реку Гриве.

³ Бартоломео Амманато — Бартоломео д'Антонио Амманати (1511—1592) — флорентийский скульптор и придворный архитектор Козимо I. Известен своими работами по перестройке моста св. Троицы и ряда зданий. Козимо I, как будет видно из рассказа Челлини, отдал Амманати мрамор, о котором шел спор, и поручил сделать из него статую Нептуна. Статуя была закончена в 1563 г. и поныне находится на площади Синьории во Флоренции.

⁴ ...чудесный Купол... — купол Флорентийского собора, созданный великим итальянским архитектором Филиппо Брунеллески (1377—1446). В составлении плана этой работы составили лучшие архитекторы Европы.

С

¹ Подчеркнуто в рукописи.

² ...*Бандинелло умер...* — 7 февраля 1560 года.

СИ

¹ ...*в церкви делла Нунциата.* — Речь идет о мраморной скульптурной группе Бандинелли, находящейся в часовне Пацци в церкви Сантиссима Аннунциата.

² *Джованни Фиамминго* — Джованни Фламандец, или Джан Болонья (1524—1608), родом из Дуэ, выдающийся скульптор, ученик Микеланджело. Большую часть жизни провел во Флоренции. Наиболее известные его произведения: скульптурная группа «Похищение сабинянок» в Лоджии деи Ланци, конная статуя Козимо I на площади Синьории, «Меркурий» в национальном музее во Флоренции, фонтан «Нептун» в Болонье.

³ *Винченцио Данти* (1530—1576) — ювелир, скульптор и архитектор. Много лет жил во Флоренции и выполнил там ряд работ в бронзе и мраморе.

⁴ *Оттавиано де'Медичи.* — См. прим. 1, гл. 81, кн. 1.

⁵ ...*сын Москино...* — Франческо Моска (1523—1578) — скульптор, сын скульптора Симоне Моска (1492—1553).

⁶ *Джорджетто живописец.* — См. прим. 3, гл. 86, кн. 1.

⁷ «...*эта его работа превзошла добротность модели.*» — В действительности сравнение модели Амманнато и Челлини было, по-видимому, далеко не в пользу последнего. Леоне Леони в письме к Микеланджело сообщает: «Бенвенуто мечет молнии и изрыгает яд, из глаз у него исходит пламя, а языком он бросает вызов герцогу. Модель Амманнато, говорят, лучшая, я ее не видел. Бенвенуто показал мне свою, и я пожалел его, что к старости ему так плохо служат глина и другие материалы».

СИ

¹ *Гвидо Гвиди.* — См. прим. 1, гл. 24, кн. 2.

² ...*записка должна быть помянута в договоре...* — Договор, о котором идет речь, датирован 26 июня 1560 года.

СШ

¹ *...в сторону Альп...* — т. е. в сторону горных пастбищ в Апеннинах.

CV

¹ *...я сказал...* — Отмеченные многоточиями места в рукописи зачеркнуты. Некоторые комментаторы полагают, что Челлини раскаялся в своей клевете на поэтессу Лауру Баттифerra, жену Амманнати, которую сам когда-то восхвалял в сонете.

CVI

¹ *В это время герцог поехал совершать въезд в Сиену...* — После длительных переговоров император Карл V согласился признать Козимо I герцогом Сиены, и 28 октября 1560 г. Козимо I совершил торжественный въезд в Сиену.

² *...на моей модели Нептуна...* — Судьба этой модели неизвестна.

CIX

¹ *...и был учинен договор.* — В декабре 1561 года

CX

¹ *И вот учинили договор...* — 21 августа 1566 года.

CXI

¹ *...я охотно им его подношу...* — Белая мраморная фигура Христа в натуральную величину, прикрепленная к кресту из черного мрамора, была закончена Челлини в 1562 г. и справедливо считается одним из наиболее значительных его созданий. Герцогиня не согласилась принять «Распятие» в подарок, и в 1565 г. Козимо I купил его у Челлини за тысячу пятьсот золотых скудо (из которых заплатил лишь семьсот) и поместил его в Палаццо Питти. Сын Козимо I, Франческо I, в 1576 г. подарил «Распятие» испанскому королю Филиппу II, который велел поместить его в церкви св. Лаврентия в Эскуриале. Там оно находится и поныне. Челлини приписывают также бронзовое и серебряное «Распятие».

СХII

¹ *...попросить у него денег взаймы...* — Катерина Медичи (см. прим. 5, гл. 15, кн. 2), которая в 1560 г. стала регентшей при своем малолетнем сыне Карле IX, испытывала финансовые затруднения и в 1562 г. вынуждена была просить субсидию у Козимо I.

² *Даниелло да Вольтерра* — Даниелло Риччарелли из Вольтерры (ум. в 1566 г.) — живописец и скульптор. Бронзовый конь, заказанный Катериной Медичи, был закончен после смерти Даниелло его учениками и долгое время оставался в Риме. Только в 1639 г., по приказу кардинала Ришелье, его перевезли в Париж.

СХIII

¹ *...за исключением принца, каковой был в Испании...* — В мае 1562 г. Козимо I послал своего сына, будущего герцога Франческо, ко двору испанского короля Филиппа II.

² *...его было премного жаль.* — Осенью 1562 г. в Италии свирепствовала эпидемия, от которой погиб второй сын Козимо I кардинал Джованни, его третий сын дон Гарция и жена Элеонора Толедская.

³ *...затем я поехал в Пизу.* — Рассказ Челлини доведен до ноября—декабря 1562 г. Из всех событий последних восьми лет своей жизни автор «Жизнеописания» упоминает лишь о тяжбе со Збиеттой в 1565—1566 гг. (гл. 110, кн. 2). Однако сохранившиеся архивные документы и отдельные записи Челлини позволяют восстановить в основном картину безрадостной, полной нужды, забот и недугов старости художника.

Известно, что в 1562 г. Челлини женился на своей сожительнице, донье Пьере, стал заботливым и любящим отцом пятерых детей (кроме упомянутых им в «Жизнеописании» двоих незаконных). В 1563 г. скончались его старший сын Джованни и дочь Элизабета. В доме Челлини нашла приют одна из его натурщиц с двумя детьми, отец которых, буян и скандалист, находился в это время в тюрьме. Одного из этих детей, мальчика Антонио, Челлини усыновил. Впоследствии, под влиянием родного отца, этот Антонио дурно отплатил своему благодетелю, и Челлини от него отрекся. В 1570 г. завязалась тяжба о наследстве, в результате которой Челлини обязали платить Антонио ежегодное содержание.

Заботы о двух семьях (своей и сестры) требовали средств, и старость Челлини проходит в постоянной нужде и бескончаемых переговорах с герцогом об уплате денег за «Персея», мрачное «Распятие» и ювелирные работы. Из сохранившихся документов видно, что незадолго до смерти, в 1570 г. (т. е. через шестнадцать лет после окончания «Персея»), Челлини тщетно просит герцога расплатиться по давним счетам.

Известно, что в 1567 г. Челлини добивается у принца-регента права носить оружие. Очевидно, и в старости Челлини предпочитает расправляться с врагами и обидчиками на свой лад.

Много страдает Челлини в эти годы от недугов. Уже в 1564 г., во время похорон Микеланджело, болезнь не позволяет ему (избранному наряду с Амманнати, Брондзино и Вазари представлять Флорентийскую академию) присутствовать при погребении горячо любимого учителя.

Творческая биография Челлини-скульптора, по-видимому, заканчивается задолго до его смерти. В 1568 г. он вступает в компанию с тремя другими ювелирами и возвращается к своему старому ремеслу. Зато его литературные произведения созданы в основном в последние годы жизни. Кроме «Жизнеописания», Челлини написал два трактата (о ювелирном искусстве и об искусстве ваяния), несколько «Рассуждений» («Об искусстве рисования», «О зодчестве», «О распре, возникшей между ваятелями и живописцами по поводу правой стороны, предоставленной живописи на похоронах великого Микеланьоло Буонарроти»), отрывок «О приемах и способе изучения искусства рисования», более ста сонетов и других стихотворений. Трактаты его, переработанные писателем Герардо Спино, были изданы в 1568 г. и оказали заметное влияние на теорию и практику современного Челлини искусства. В подлинном виде трактаты впервые появились лишь в 1857 г. В них Челлини часто вспоминает уже описанные в своей автобиографии события, причем нередко вступает в существенные противоречия с самим собой.

Стихотворные опыты Челлини (частично включенные в «Жизнеописание») самостоятельного интереса не представляют.

Умер Челлини 14 февраля 1571 года в своем доме и был торжественно похоронен в часовне Флорентийской академии.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Джорджо Вазари. — Портрет Бенвенуто Челлини (деталь фрески, изображающей Козимо I, окруженного художниками)	1
Челлини. — Монета с изображением папы Климента VII	168
Челлини. — Печать кардинала Ипполито д'Эсте	232
Челлини. — Золотая солонка Франциска I	296
Челлини. — Нимфа Фонтенбло (бронза)	336
Челлини. — Нимфа Фонтенбло (деталь)	344
Челлини. — Персей	384
Челлини. — Бронзовый бюст Козимо I	408
Челлини. — Бронзовый бюст Козимо I (деталь)	416
Челлини. — Борзая (бронзовый барельеф)	424
Челлини. — Бронзовый бюст Биндо Альтовити	432
Челлини. — Мраморное распятие (деталь)	464

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Л. Пинский. Бенvenuto Челлини и его «Жизне- описание»</i>	3
Письмо Бенvenuto Челлини к Бенедетто Варки .	25
Жизнь Бенvenuto, сына маэстро Джованни Челлини, флорентинца, написанная им самим во Флоренции	27
Примечания	490
Перечень иллюстраций	542

*Жизнь Бенвенуто Челлини,
написанная им самим*

Редактор *Б. Вайсман*

Художественный редактор
Л. Калитовская

Технический редактор *С. Розова*

Корректоры

Р. Гольденберг, А. Юрьева

Сдано в набор 14/1 1953 г.
Подписано к печати 6/V 1958 г.
Бумага 84 X 108¹/₃₂ — 17 печ. л.
27,88 усл. печ. л. 27,247 уч.-изд.
л. + 12 вкл. = 27,247.
Тираж 150000 экз. Заказ № 1257.
Цена 14 р. 10 к.

Гослитиздат

Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

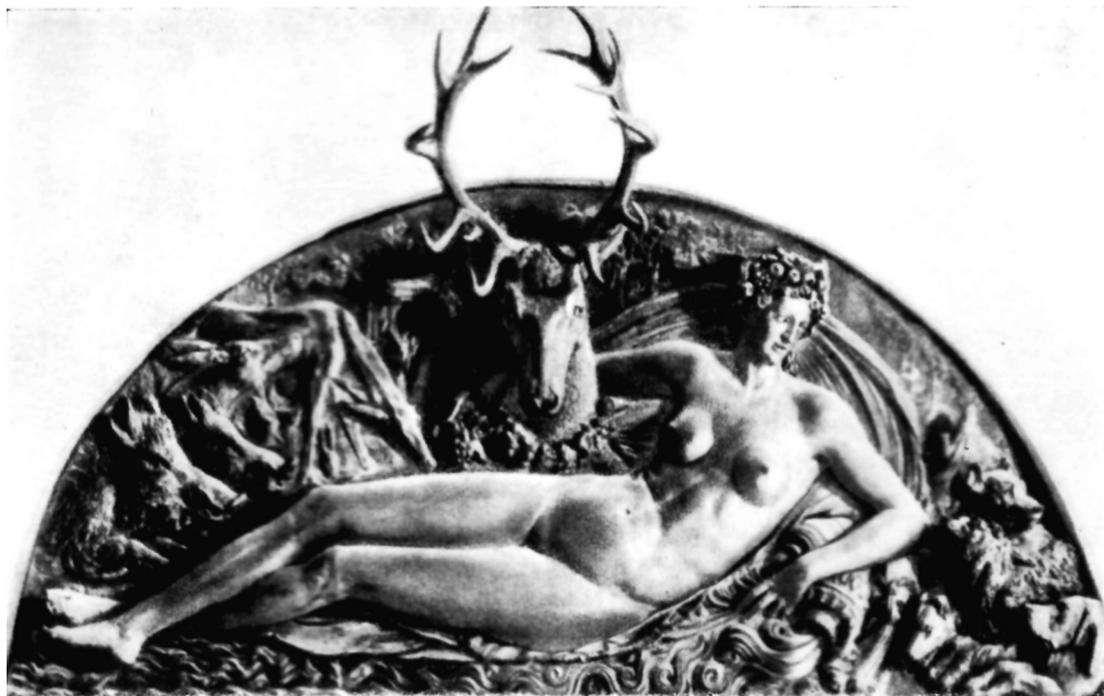
Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление полиграфической промышленности. Типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.



Челлини. — Монета с изображением
папы Климента VII



Челлини. — Золотая солонка Франциска I



Челлини. — Нимфа Фонтенбло (бронза)



Челлини. — Нимфа Фонтенбло (деталь)



Челлини. — Персей



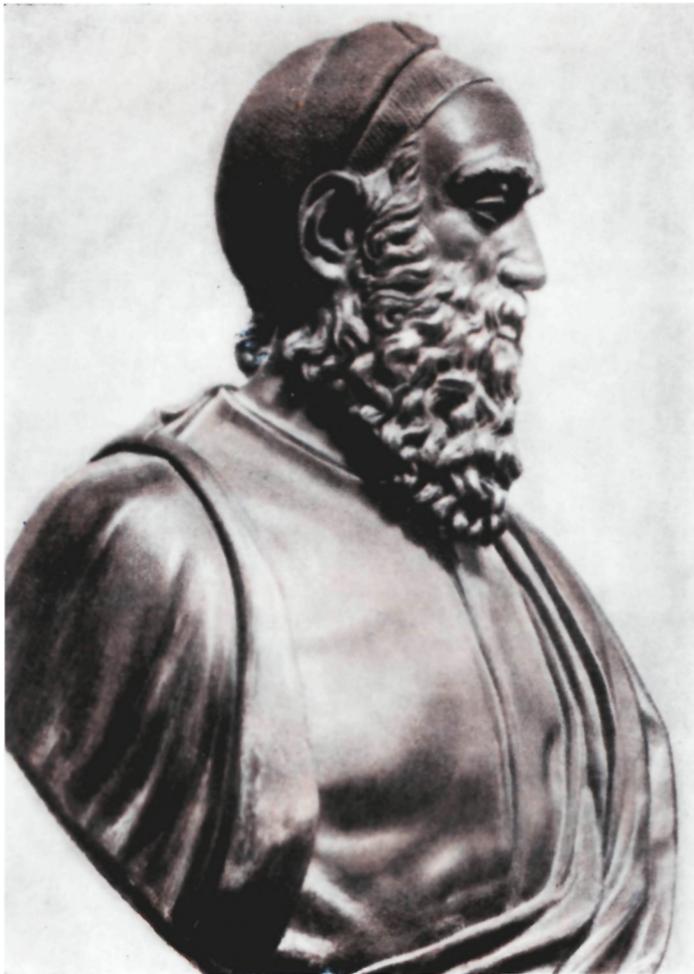
Челлини. — Бронзовый бюст Козимо I



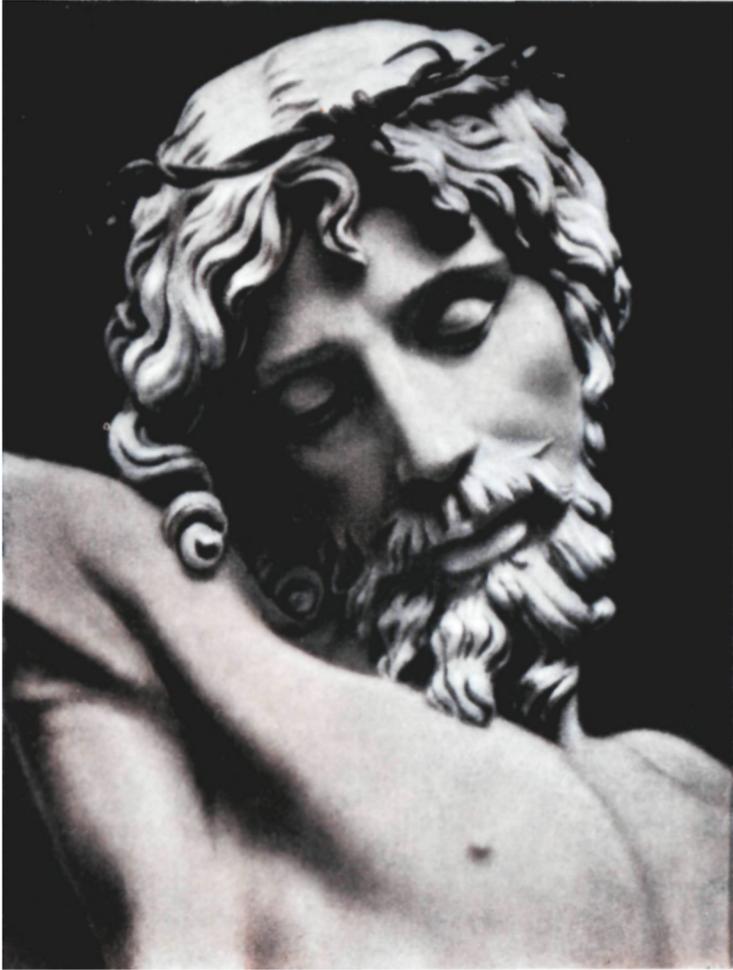
Челлини — Бронзовый бюст Козимо I (деталь)



Челлини. — Борзая (бронзовый барельеф)



Челлини. — Бронзовый бюст Биндо Альтовити



Челлини. — Мраморное распятие (деталь)